

ACTA ANTIQUA

ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

ADIUVANTIBUS

A DOBROVITS, I. HAHN, J. HARMATTA, J. HORVÁTH,
GY. MORAVCSIK

REDIGIT

I. TRENCSENYI-WALDAPFEL

TOMUS XV

FASCICULI 1-4



AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

1967

ACTA ANT. HUNG.

ACTA ANTIQUA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 21.

Az *Acta Antiqua* német, angol, francia, orosz és latin nyelven közöl értekezéseket a klasszika-filológia köréből.

Az *Acta Antiqua* változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet.

A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24.

Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés.

Az *Acta Antiqua* előfizetési ára kötetenként belföldre 120 Ft, külföldre 165 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap-Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181) vagy külföldi képviselőiteinél és bizományosainál.

Die *Acta Antiqua* veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der klassischen Philologie in deutscher, englischer, französischer, russischer und lateinischer Sprache.

Die *Acta Antiqua* erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band.

Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24.

An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten.

Abonnementspreis pro Band: 165 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Aussenhandels-Unternehmen «Kultúra» (Budapest I., Fő utca 32. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

ACTA ANTIQUA

ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

ADIUVANTIBUS

A. DOBROVITS, I. HAHN, J. HARMATTA, J. HORVÁTH,
GY. MORAVCSIK

REDIGIT

I. TRENCSENYI-WALDAPFEL

TOMUS XV



AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

1967

ACTA ANT. HUNG.

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО
ЯЗЫКА В РОССИИ (до 1917 г.)*

I

В России, равно как и в южнославянских землях, традиция изучения греческого языка относится к гораздо более раннему времени, чем в большинстве стран Западной Европы, где греческий язык в течение ряда веков был почти совершенно забыт. Киевская Русь находилась в постоянных сношениях с Византией, и изучение греческого языка получило новый импульс с распространением христианства. Во времена Ярослава и его преемников развертывалась оживленная деятельность по переводу церковно-религиозных, морально-назидательных и повествовательных памятников византийской, а в иных случаях и позднеантичной литературы. Показателем высокого уровня, достигнутого Киевской Русью в искусстве перевода с греческого языка, может служить перевод «Иудейской войны» Иосифа Флавия на древнерусский язык, выполненный не позднее начала XII в.¹ Однако это знание греческого языка, рождавшееся в живом общении с греками и укреплявшееся чтением греческих текстов, не вызывало потребности в теоретическом осмыслении.

Интерес к греческой грамматике появился лишь тогда, когда в XV—XVI вв. на Украине, в Белоруссии и в Московской Руси встал вопрос о грамматическом изучении церковнославянского языка.² Грамматическая схема, созданная александрийской школой греческих грамматиков и получившая на

* Для истории лингвистического изучения древнегреческого языка в СССР, после Октябрьской революции, см. статью автора «Классические языки» в сборнике: «Советское языкознание за 50 лет». Москва, 1967, стр. 143—157. Сокращения:

ВДИ — «Вестник Древней Истории».

ЖМНП — «Журнал Министерства Народного Просвещения».

МГУ — Московский Государственный Университет.

ОЛЯ — Отделение литературы и языка.

ОРЯС — Отделение русского языка и словесности Академии Наук.

¹ Н. А. Мещерский. История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.—Л., 1958; Он же. «Искусство перевода киевского периода» в XV т. «Трудов Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР», 1958, стр. 54—72.

² О причинах этого интереса см. П. С. Кузнецов. У истоков русской грамматической мысли. Москва, 1958; М. Кульман. Из истории русской грамматики. Петроград, 1917; С. К. Булич. Очерк истории языкознания в России. Т. I, СПб., 1904.

греческой почве каноническую форму в *Τέχνη γραμματικῆ* Дионисия Фракийского, а на римской — у Доната и Присциана, стала применяться к церковнославянскому языку, и это оживило интерес к греческой и латинской грамматике. Первой печатной греко-славянской грамматикой является «*Ἀδελφότης* || Грамматика доброглаголивого еллино-словенского азыка || Совершеннаго искусства осми частей слова || Ко наказанію многоименитомъ роуѣйскомъ родѣ». Книга эта вышла во Львове в 1591 г. и составлена была учащимися львовской братской школы под руководством ученого грека, митрополита Арсения. Это в сущности грамматика греческого языка, который назван еллино-словенским потому, что параллельно греческому тексту дается славянский с переводом всех терминов и парадигм на славянский язык. Основным источником «Аделфотиса» послужила первая печатная грамматика греческого языка, составленная в 60-х гг. XV в. и принадлежащая эмигрировавшему в Италию византийцу Константину Ласкарису.

Одновременно развивалась и лексикографическая работа по объяснению греческих слов и выражений. Вместо прежних sporadических глосс к греческим словам в церковных книгах³ стали появляться специальные словари и разговорники. Уже Максим Грек (начало XVI в.) составлял словарь иностранных, преимущественно греческих слов.⁴ К XV—XVI вв. относятся такие памятники, как «Речь тонкословия греческого»⁵ или «Греческий словарь якобы по Константинопольскому разноречию».⁶ Лексикографические труды эти касаются, правда, не столько античного, сколько средневекового греческого языка. Первым систематическим словарем греческого литературного языка явился на Руси «греко-славено-латинский лексикон» *Епифания Славинецкого*, киевского ученого, переселившегося в Москву.⁷ В основу этого словаря, оставшегося ненапечатанным, лег *Lexicon Graecolatinum* Иоанна Скапулы, сокращенное издание известного *Thesaurus Graecae linguae* Генриха Стефана, и самостоятельность Славинецкого проявилась, главным образом, в славянской части. Словарь Епифания Славинецкого послужил одним из

³ См. Л. С. Ковтун. Русская лексикография эпохи Средневековья. М.—Л., 1963. Р. М. Цейтлин. Краткий очерк истории русской лексикографии. М., 1958, стр. 6—17.

⁴ М. П. Алексеев. Западноевропейские словарные материалы в древнерусских азбуковниках XVI—XVII веков (в сб.: Академику Виктору Владимировичу Виноградову к его шестидесятилетию. М., 1956), стр. 27.

⁵ Речь тонкословия греческого. Русско-греческие разговоры XV—XVI в. Сообщения Николая Никольского. Памятники древней письменности CXIV. 1896. Список этого памятника опубликован также П. К. Симони в статье «Памятники старинной русской лексикографии по рукописям XV—XVI столетий». Известия ОРЯС, 13 (1909), стр. 175—212.

⁶ Опубликовано П. К. Симони. Ук. соч.

⁷ Епифаний Славинецкий. Полный греко-славено-латинский лексикон: ркп. Гос. Публ. биб-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, собр. А. А. Титова, № 67. О лексикографических трудах Славинецкого см. С. Брайловский. Филологические труды Епиф. Славинецкого. Русский Филологический Вестник, 1890, № 2, стр. 236—250; Он же. Заметка о греко-славено-латинском словаре Епифания Славинецкого. Там же, 1890, № 4, стр. 231—233.

важных источников для первого печатного русско-греко-латинского словаря — «Лексикона треязычного» Ф. П. Поликарпова 1704 г.⁸

С конца XVII в. в Москве начинается систематическое обучение греческому языку. Еще в 1681 г. была учреждена школа «греческого языка и писания» при Московской духовной типографии. В 1685 г. в Москву были приглашены ученые греки братья Лихуды для преподавания греческого и латинского языка, и с 1687 г. была открыта Славяно-Греко-Латинская Академия, в которую перешли учащиеся типографской школы. В 1706 г. была основана греко-славянская школа в Новгороде при Софийском соборе, где преподавали те же Лихуды. С 1723 г. стало вестись преподавание греческого языка в Петербурге в «славянской» школе при Александроневском монастыре. Однако в течение всего XVIII в. и в духовных учебных заведениях, и в Московском университете и состоявшей при нем гимназии изучение греческого языка не поднималось выше уровня школьной грамматики.⁹ Этимологическая фантастика, господствовавшая в то время у западноевропейских эллинистов (Hemsterhuis, Valckenaer и др.), не находила сочувствия у русских классиков.

II

Научное языкознание XIX в., пришедшее на смену и школьной грамматической традиции, и рационалистической общей грамматике XVII—XVIII вв., неразрывно было связано с идеей языкового развития, которая в корне преобразовала лингвистическую проблематику. Одним из первых достижений новой науки и мощным орудием ее дальнейшего развития стал сравнительно-исторический метод, создававшийся одновременно в разных странах и на различном языковом материале.

Однако новая историческая методология очень медленно внедрялась в исследование античных языков — греческого и латинского. Здесь старое грамматическое направление имело наиболее прочную традицию, восходящую к самой античности, и наиболее значительные достижения. Это были те языки, грамматический строй которых рассматривался как *scripta ratio*, как наиболее совершенное воплощение логики в языке и основа философской грамматики. В этой области переход от «неогуманистической» оценки древних языков, как нормативных, на историческую точку зрения был особенно

⁸ «Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллино-греческих и латинских сокровище, из различных древних и новых книг собранное и по славенскому алфавиту в чин расположенное». См. С. БРАЙЛОВСКИЙ. Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, директор Московской типографии. ЖМНП, 1894, сентябрь, отд. II, стр. 1—37; октябрь, стр. 242—286; ноябрь, стр. 50—91; Т. Д. ЯКУБОВИЧ. «Лексикон трехязычный» 1704 г. Ф. П. Поликарпова (источники и состав словаря). Ленинград, 1959 (Институт Языкознания) — автореферат диссертации.

⁹ Перечень учебных пособий по греческому языку, вышедших в России в XVIII в., см. у Булича, ук. соч., стр. 353—355.

труден. Не случайно крупнейший представитель критико-грамматического направления в классической филологии первой половины XIX в. Годфрид Герман весьма скептически отнесся к новому сравнительному языкознанию. Такое же отношение к нему мы находим и в России.

В начале XIX в. к Московскому университету присоединились вновь основанные русские университеты в Харькове, Казани, Петербурге, впоследствии в Киеве. Однако из русских филологов-классиков (преимущественно иностранцев) новое направление в языкознании увлекло лишь одного ученого. Это был *Федор Богданович Грефе* (1780—1851) — первый профессор греческой словесности в Петербургском университете, впоследствии академик.¹⁰ Выходец из Германии, ученик упомянутого Годфрида Германа, он лишь постепенно стал входить в круг интересов сравнительного языкознания. Свою деятельность компаративиста он начал с сопоставления греческой и латинской грамматик с грамматикой славянских языков,¹¹ но впоследствии заинтересовался также готским и санскритом. В своих больших работах о древнеиндийском спряжении и склонении в сопоставлении с греческой и латинской флективной системой¹² Грефе, задолго до Георга Курциуса, ставит себе задачу примирить новое языкознание с классической филологией. В противоположность мнению об особой архаичности санскрита он подчеркивает архаическую структуру греческого языка и тем самым стремится вернуть греко-латинской языковой семье утраченное ею в сравнительном языкознании первородство. Впрочем, о санскрите, равно как и об архаической латыни, представления Грефе довольно туманные. Веды вообще еще не были в то время изданы. В статьях Грефе встречаются верные наблюдения, но хаотические представления о звуковых переходах, смешение написания и звучания, произвольные грамматические гипотезы приводят к тому, что в целом работы эти не продвигают исследования вперед. В истории науки они остались изолированными и не нашли продолжения даже у непосредственных учеников автора. В петербургских диссертациях *Штейнмана*¹³ и *Нейлисова*¹⁴ сравнительно-историческая проблематика не затрагивается.

Интерес к сопоставлению греческого языка со славянским в 20-х—30-х гг. XIX в. диктовался также политическими причинами. Борьба греческого

¹⁰ С. С. УВАРОВ в «Ученых Записках» Акад. наук по I и III отд., 1853. Список трудов Грефе в «Compte rendu de l'Académie pour l'année 1851», СПб., 1852, стр. 61—67 (лингвистика — стр. 65—66).

¹¹ CH. F. GRAEFE. *Lingua Graeca et Latina cum Slavicis dialectis in re grammatica comparatur. Spec. I.* Petropoli, 1827.

¹² Он же. *Das Sanskrit-Verbum in Vergleich mit dem Griechischen und Lateinischen.* St-Petersbourg, 1836 (*Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St-Petersbourg*, VI sér., t. 4, вып. 1); Он же. *Die Einheit der Sanskrit-Declination mit der Griechischen und Lateinischen.* St-Petersbourg, 1843 (там же, т. 6, вып. 3).

¹³ IO. FR. STEINMANN. *Quaestiones de derivatione vocabulorum Graecorum.* Petropoli, 1851.

¹⁴ C. NEILISSOW. *De digammate.* Petropoli, 1854.

народа за независимость вызывала большое сочувствие в русском обществе. Греческий ученый священник *Константин Экономос*, бежавший в 1821 г. из Константинополя в Россию,¹⁵ составил обширный труд, в котором доказывал «ближайшее родство» греческого языка со славянорусским.¹⁶ Основанная на превосходном знании греческого языка и его современных диалектов, книга Экономоса содержит огромное количество языковых сближений, иногда правильных, а иногда совершенно фантастических: идеи закономерности звуковых соответствий во времена Экономоса еще не было, и сближения производились по одному внешнему созвучию.

С деятельностью Экономоса связан также и другой вопрос, впервые вставший перед русскими классиками в начале XIX в. Поскольку знание греческого языка пришло в Россию из Византии, еще в Киевской Руси установилось и не вызвало сомнений до XIX в. византийское произношение греческого языка. Между тем в школьной практике Западной Европы уже с XVI в. стала распространяться эразмовская реформа, ближе воспроизводившая произношение классического периода древнегреческого языка, и неогуманизм XVIII—XIX вв., ориентировавшийся, главным образом, на ранние периоды греческой культуры, способствовал почти повсеместному закреплению этой реформы. Когда в начале XIX в. к Московскому университету присоединился целый ряд новооснованных (см. выше, стр. . . .), профессора-иностранцы, преподававшие в этих высших учебных заведениях (Грефе в Петербурге, Маурер в Харькове), стали вводить эразмовское произношение в России, к большому неудовольствию сторонников церковной традиции, с одной стороны, и друзей новогреческого народа — с другой. Возникла полемика о школьном произношении древнегреческого языка.¹⁷ Экономос откликнулся на этот спор специальным трудом,¹⁸ кратко изложенным для русского читателя И. И. Мартыновым.¹⁹ Однако ни Мартынов, ни выступивший в защиту эразмовской реформы харьковский профессор Мау-

¹⁵ Г. Дестунис. О жизни и трудах Константина Экономоса. «Странник», 1860, июль, стр. 1—23.

¹⁶ *Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος. Λοκίμιον περὶ τῆς πλησιεστάτης συγγένειας τῆς σλαβονο-ρωσικῆς γλώσσης πρὸς τὴν ἑλληνικὴν. Μέρος α—β. Τόμος α—γ. Ἐν Πετροπόλει, 1828.*

¹⁷ Вопросу о школьном произношении древнегреческого языка посвящена известная книга: E. DRERUP. Die Schulaussprache des Griechischen von der Renaissance bis zur Gegenwart, T. 1—2, 1930—1932 (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, 6—7 Ergänzungsband); однако история этого вопроса в России изложена Дрерупом кратко и односторонне. См. мою статью «Из истории классической филологии в России. Споры о школьном произношении древнегреческого языка». Сборник «Вопросы классической филологии, № 5 (Иностранная филология, вып. 9)». Львов, 1966, стр. 82—86.

¹⁸ *Περὶ τῆς γνησίας προφορᾶς τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης βιβλίον, συνταχθέν ὑπὸ τοῦ Οἰκονόμου Κωνσταντῖνου, Πρεσβυτέρου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων γενεαλογουμένου. Ἐν Πετροπόλει. ΑΤΩΔ (1830).*

¹⁹ Наставление об истинном произношении некоторых греческих букв, извлеченное из книги о сем же предмете греческого священника Экономоса ИВАНОМ МАРТЫНОВЫМ СПб., 1831. Этот последний автор еще в 1822 г. опубликовал «Совет Российскому юношеству о произношении некоторых греческих букв» (Журнал Департамента Народного Просвещения, 1822, ч. I, стр. 52—77).

пер²⁰ не оперировали историко-лингвистическими аргументами. Первый ссылался на то, что византийское произношение освящено русской церковью; второй апеллировал к педагогическому удобству, указывая, что эразмовская реформа позволяет дифференцировать в произношении разные написания (например, η, η, ι, οι, υ, υι), одинаково звучащие при византийском способе чтения.

В течение первой половины XIX в. греческий язык сравнительно медленно вводился в русские гимназии. Высшие правительственные круги и сам царь Николай I подозрительно относились к античности, которую они привыкли воспринимать в революционно-классицистическом истолковании декабристов. После революции 1848 г. греческий язык был устранен из программы преподавания почти во всех гимназиях. Там, где он сохранился, его изучали ради чтения отцов церкви. В связи с этим эразмовское произношение было запрещено в высших и средних учебных заведениях реакционным министром Ширинским-Шихматовым (1852 г.).

На примере спора о школьном произношении мы видим, таким образом, что греческий язык еще не стал в это время для русских филологов исторической проблемой. Характерно, что в издававшихся П. М. Леонтьевым сборниках «Пропилеи» (I—V, 1851—1856), посвященных всестороннему рассмотрению истории античной культуры, нет статей по истории античных языков.

В этот период были созданы первые русские словари древнегреческого языка, заменившие употреблявшиеся до них греко-латинские лексиконы: это в первую очередь — четырехтомный «Полный греческо-русский словарь по руководству лучших известнейших в сем роде образцов» (М. 1838) С. Ивашковского, ставший основополагающим для последующих греческо-русских словарей, а также составленный братьями Коссовичами двухтомный «Греческо-русский словарь» (М. 1847).²¹ Однако деятельность Коссовичей в области изучения греческого языка²² не стояла еще на уровне науки своего времени.

«Российско-греческий словарь» И. Синайского (М., 1846, 2 изд. испр. и доп. 1869) не заменен до нашего времени каким-либо более совершенным пособием.

III

60-е годы XIX в. явились для многих сторон русской жизни началом нового этапа развития. Революционно-демократическое движение 60-х гг.,

²⁰ Е. MAURER. De pronuntiatione linguae Graecae diversa. Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Харьковского Университета 30 августа 1830 г. Харьков, 1830, стр. 1—26.

²¹ Ср. рец. ГРЕФЕ на словарь Ивашковского в IX присуждении Демидовских премий (ЖМНП, 1840, ч. 26, отд. III, стр. 58—60) и на словарь Коссовичей в XVII присуждении учрежденных Демидовым наград. СПб., 1848, стр. 51—60.

²² Ср., например, И. Коссович. Рассуждение о важности греческого языка, читанное в торжественном собрании Моск. 1-ой гимназии. М., 1846; Он же. Греческий глагол в своем развитии. М., 1846.

идеологическая основа его, заложенная Добролюбовым и Чернышевским, нашли разнообразное отражение во всех областях культуры, оказывая воздействие даже на деятелей, далеких от революционного образа мыслей. Весь цикл гуманитарных наук получил в 60-е гг. новые импульсы. Это отразилось и на научном изучении греческого языка.

В области античных языков положение осложнилось тем, что прогрессивные тенденции русской науки столкнулись с реакционным школьным классицизмом, который возродился при Александре II, с иной его оценкой, характерной для ситуации, которая возникла после 1848 г. Классицизм теперь рассматривался как предохранительное средство от материалистических и социалистических идей. Между тем, филологи, посвящавшие себя изучению античных языков, несмотря на то, что они как правило принадлежали к консервативному или, в лучшем случае, к умеренно-либеральному лагерю, зачастую все же были захвачены мощным идейным движением 60-х годов. Правительство поэтому мало доверяло русским классикам и приглашало иностранцев, людей, чуждых русской жизни и культуре, в качестве насадителей классицизма. Между русскими классиками и иностранцами нередко возникала борьба; при этом русские классики, в той или иной степени воспитанные на идеях 60-х годов, как, например, Модестов или Мищенко, неизменно оказывались носителями более прогрессивных научных взглядов. Не рассчитывая на питомцев университетов, правительство создало специальные рассадники школьного классицизма — Историко-филологические институты в Петербурге и Нежине. Однако именно университеты сделали основными центрами работ по научному изучению греческого языка в России.

В одном отношении школьный классицизм 60-х гг. знаменовал собой шаг вперед. Восстановление в средней школе греческого языка, изгнанного при Ширинском-Шихматове, сопровождалось введением новых принципов преподавания грамматики, ориентированных на результаты сравнительного языкознания. Вся деятельность Георга Курциуса (1820—1885), наиболее влиятельного в Западной Европе исследователя греческого языка в 50-е—60-е гг., была направлена к объединению сравнительного языкознания с классической филологией и к перенесению в школьное преподавание важнейших результатов сравнительного языкознания. Составленная Курциусом «Школьная грамматика греческого языка» («Griechische Schulgrammatik») была первым и притом весьма успешным опытом реформы греческой школьной грамматики с учетом научных данных. С начала 60-х гг. грамматика эта в различных переводах и переделках становится в России наиболее употребительным гимназическим учебником, и система Курциуса надолго определила характер грамматического преподавания древнегреческого языка в русской школе.

Вновь встал вопрос о школьном произношении. В 1867 г. министерство запросило университеты, и все они высказались в пользу реформы, кроме

Новороссийского университета в Одессе, центре области, в которой новогреки играли значительную роль. В результате эразмовское произношение было установлено для гимназий, в то время как церковные учебные заведения сохранили византийскую традицию.²³

В этих условиях русская классическая филология начинает вступать в более тесный контакт с общим и сравнительным языкознанием.

Стремление к такому контакту ясно проявляется в деятельности известного русского классика 60-х—80-х гг., профессора Петербургского университета *Карла Якимовича Люгебиля* (1830—1887).²⁴ Ученый этот, начавший свою деятельность как историк и археолог, с течением времени все больше сосредоточивался на лингвистических темах. О его интересах к общему и сравнительному языкознанию свидетельствуют его обширные примечания к переведенной им первой книге «*Grundzüge der griechischen Etymologie*» Курциуса.²⁵ Перевод, начатый печатанием в начале 70-х гг., был на долгое время прерван болезнью К. Я. Люгебиля и выпущен в свет лишь в 1882 г. За это время в языкознании наметился поворот, связанный с выступлением младограмматиков, и книга Курциуса оказалась в своей методологической части уже устаревшей. В результате русскому переводчику пришлось вести систематическую полемику с автором книги, принимавшую подчас очень резкие формы. Примечания превращаются в полемические экскурсы, занимающие по несколько страниц. Здесь все время мелькают имена новых лингвистов — Уитни, Остгофа, Бругмана, Сиверса, Де-Соссюра, Пауля и др. Поправки Люгебиля к теории Курциуса имеют в большинстве случаев позитивистический характер. Он выступает против романтической теории двух периодов в развитии языка, против представления о «порче» языка во второй период его развития, придает большое значение физиологии и психологии, как наукам, на которые должно опираться языкознание. Однако далеко не ко всем новым идеям в языкознании Люгебель относится положительно. Например, тезис о том, что звуковые законы действуют без исключений, представляется Люгебилю «странной теорией новейших лингвистов».²⁶

Самостоятельные работы Люгебиля в области истории греческого языка относятся уже к последним годам его жизни. В первую очередь надлежит отметить его большую статью «О формах родительного падежа единственного числа так называемого второго греческого склонения».²⁷ Историю конечного

²³ О немногочисленных и неинтересных с лингвистической точки зрения выступлениях в пользу византийского чтения древнегреческих текстов см. упомянутую статью «Из истории классической филологии в России», стр. 85—86.

²⁴ Ср. некролог Люгебиля, составленный В. К. Эрнштедтом, ЖМНП, 1888, апрель, соврем. летопись, стр. 126—138.

²⁵ К. Люгебель. Начала и главные вопросы греческой этимологии. Перевод с немецкого первой книги «Начертания греческой этимологии» Г. КУРЦИУСА. СПб., 1882.

²⁶ Ук. соч., стр. 199.

²⁷ ЖМНП, 1880, январь, стр. 1—23, февраль, стр. 33—60. Немецкая обработка этой статьи — *Der Genitivus Sing. in d. sog. 2-ten altgriech. Declination* — была напечатана в том же году в *Jahrbücher f. class. Philol., Suppl. Bd. XII*.

элемента родительного падежа единственного числа основ на —o— Люгевиль восстанавливает в следующем виде: —oio > —oïo или —oio > —ojo > —oo > —ω > ион.—атт. —ov, как это и принимали в дальнейшем многие лингвисты. Дигамму в известной коркирской форме *ΤλασίαFo* Люгевиль объясняет как переходный звук, развившийся между α и o. Объяснение это впоследствии было повторено Баком,²⁸ не знавшим о своем русском предшественнике. Попутно К. Я. Люгевиль касается многих других вопросов греческого вокализма, и статья эта дала повод к более глубокой и оригинальной трактовке всего комплекса рассмотренных здесь проблем у Ф. Е. Корша (см. ниже, стр. 17 сл.).

В статье о греческом ударении, напечатанной по-немецки и по-русски уже после смерти автора,²⁹ К. Я. Люгевиль дает весьма скептическую оценку акцентологической традиции греческих грамматиков. Он считает, что наблюдения над фонетикой даже родного языка требуют специальной сноровки, которой у александрийских ученых не было. Поэтому не только традиция ударения гомеровских поэм, но даже свидетельства об ударении греческих слов в эллинистическую и римскую эпоху представляются автору весьма ненадежным источником.³⁰

Вопросов греческого языка К. Я. Люгевиль касается также в своих исследованиях по грамматике, метрике и критике текста «Илиады» и «Одиссеи», печатавшихся под заглавием «*Homericæ*»,³¹ и в статье о номинальных и одночленных предложениях, основанной преимущественно на материале славянских языков.³²

Из учеников Люгевилья на первом месте следует назвать *Павла Ивановича Аландского* (1844—1883).³³ Как и большинство старых филологов-классиков, Аландский работал в разных областях, занимался историей, историей литературы, но свою научную деятельность он начал с языкознания. Его магистерская диссертация посвящена вопросу о значении конъюнктива в гомеровском языке.³⁴ Автор считает, что языкознание в прошлом только добывало материал и не приступило еще к его научной разработке; последняя возможна лишь на основе исследования физиологических и психологических

²⁸ C. D. Buck. The Genetives *ΤλασίαFo* and *ΠασιδάFo* Class. Rev. 1897, pp. 190—191. The Genetive *ΠασιδάFo* Там же, стр. 307.

²⁹ Zur Frage über die Accentuation der Wörter und Wortformen im Griechischen. Rhein. Mus. f. Philol. XLIII (1888), (1888), стр. 1—20. — К вопросу об акцентуации слов и грамматических форм в греческом языке. ЖМНП, 1889, январь, стр. 1—36.

³⁰ О непродуктивности такого скептического отношения к традициям греческих грамматиков см. И. М. Тронский. Древнегреческое ударение. М.—Л., 1962, стр. 20—23.

³¹ ЖМНП, 1886, июнь, стр. 138—161; сентябрь, стр. 99—113.

³² K. LUGEWIL. Zur Frage über zweitheilige und einheitliche Sätze. Archiv f. slavische Philologie, т. 8 (1885), стр. 36—68.

³³ См. составленный И. В. Помяловским некролог Аландского в ЖМНП, 1884, январь, соврем. летопись, стр. 18—26.

³⁴ П. И. АЛАНДСКИЙ. Синтаксические исследования. Значение и употребление Coniunctivi в языке «Илиады» и «Одиссеи» I. СПб., 1873.

условий речи и взаимоотношения этих условий между собой. С этой точки зрения П. И. Аландский на материале гомеровского эпоса подвергает анализу употребление конъюнктива в независимых предложениях, в первую очередь *coniunctivus adhortativus*, и приходит к выводу, что «первоначальное значение *coniunctivi* можно определить как сложное состояние сознания, или сочетание двух актов его: во-первых, представления о действии, которое в своей простейшей форме будет воспроизведением одного или немногих ощущений, сопровождавших действие; и во-вторых — стремления, — акта сознания, соответствующего возбуждению двигательного центра, посылающего импульс к мышцам, принимающим участие в совершении представляемого действия».³⁵ За установлением первоначального конъюнктива должно было бы следовать и разъяснение его формы с звуковой стороны. От решения этого последнего вопроса П. И. Аландский однако отказывается, считая, что, с одной стороны, сравнительно-историческое изучение языков не определило еще первоначальной формы конъюнктива, а с другой стороны, физиология еще не проникла во все особенности устройства и деятельности аппарата речи. Конъюнктив как особое, отличное от оптатива наклонение, сохранился, кроме греческого языка, в языке Вед, но Аландский этого сравнительного материала, использованного уже Дельбрюком,³⁶ не привлекает и вообще стремится не к обогащению материала, а лишь к его психологическому объяснению. В обширной рецензии на другую книгу Дельбрюка «Основы греческого синтаксиса»³⁷ Аландский намечает истолкование в том же направлении для ряда других грамматических категорий, именных и глагольных. Например, по его мнению, «первоначальное значение винительного падежа было сложным актом сознания, состоящим из двух долей, первой из них была идея о предмете (ее выражением служит именная основа), второй — сознание того, что этот предмет возбуждает в нас ощущения, испытываемые при действии»³⁸; значение желательного наклонения отличается от значения конъюнктива тем, что чувство и представление о действии, способном удовлетворить это чувство, сопровождаются не стремлением к совершению действия, а «сознанием противодействующей реакции со стороны прежних опытов».³⁹ В области психологической теории автор придерживается английской эмпирической школы XIX в., и исходит из Милля и Бэна. Надолго ли бы удовлетворил исследователя столь примитивный языковедческий психологизм, сказать трудно: П. И. Аландский рано умер и к тому же в последние годы жизни, отойдя от лингвистических тем, занимался преимущественно историей.

³⁵ «Синтактические исследования», стр. 153.

³⁶ B. DELBRÜCK. Der Gebrauch des Coniunctivi und Optativi im Sanscrit und Griechischen. Halle, 1871 (Syntaktische Forschungen von B. Delbrück und E. Windisch, I).

³⁷ B. DELBRÜCK. Die Grundlagen der griechischen Syntax. Halle, 1879 (Syntaktische Forschungen, т. 4) — Университетские известия, 1880, № 4—5. крит.-библ. отд., стр. 87—108 и 147—165.

³⁸ Ук. соч., стр. 102.

³⁹ Там же, стр. 162.

Как лингвист начинал свою научную деятельность также и другой ученик Люгебиля — *Дмитрий Федорович Беляев* (1840—1901),⁴⁰ ставший профессором греческой словесности в Казанском университете. Его подробный реферат книги Курциуса о греческом глаголе⁴¹ составлен вполне критично, хотя и содержит в себе мало самостоятельных наблюдений. Диссертация Д. Ф. Беляева, посвященная просодии «Одиссеи»,⁴² могла бы при более активном отношении исследователя к лингвистической проблематике дать основание для постановки многих вопросов, связанных с историей греческой фонетики, но автор предпочел ограничиться описанием просодических фактов, не углубляясь в историю эпического языка или в гомеровский вопрос. В своей последующей научной деятельности Д. Ф. Беляев также отошел от языкознания в сторону историко-литературных и историко-археологических вопросов, относившихся по преимуществу к византийскому периоду.

Таким образом, ученики Люгебиля не продолжили языковедческой традиции своего учителя. Его преемники по кафедре классической словесности в Петербургском университете — В. К. Ернштедт, Ф. Ф. Зелинский занимались совершенно иными областями филологического исследования, и лингвистическая работа над греческим языком в Петербурге надолго прекратилась, пока не была возобновлена уже в XX в. *М. Р. Фасмером* и *П. В. Ернштедтом* (см. ниже, стр. 24).

Из Петербургского Историко-филологического Института вышел лишь один языковед-грецист, *Сергей Николаевич Жданов* (1850—1903).⁴³ С. Н. Жданов дебютировал в 1878 г. интересной и самостоятельной диссертацией о греческом ударении, не утратившей своего значения и до сих пор.⁴⁴ Работа состоит из двух глав. Первая глава «К вопросу о природе греческого ударения» содержит критику распространенного у филологов-классиков того времени представления, будто греческое ударение являлось по своему существу «ритмическим», т. е. динамическим. Автор показывает несостоятельность ссылок Гетлинга и Шелля на свидетельства греческих грамматиков и в доказательство музыкального («мелодического») характера греческого ударения приводит неспособность его влиять на количество гласного, а также данные стихосложения. При этом учитываются новейшие труды по эксперименталь-

⁴⁰ Некролог Д. Ф. Беляева, составленный С. Шестаковым. ЖМНП, 1901, июль, соврем. летопись, стр. 9—31.

⁴¹ Д. Б(ЕЛЯЕ)В. Исследование Георга Курциуса о греческом глаголе. ЖМНП, 1875, декабрь, стр. 69—129. Ср. также его Объяснения и дополнения Георга Курциуса к его учебнику греческой грамматики. Перевод с 3-го нем. изд. Прилож. к Ученым Запискам Казанского Университета, 1880, стр. 1—186.

⁴² Д. Ф. БЕЛЯЕВ. Омировские вопросы. I. О знянии в «Одиссее». II. О начальном согласном, отпавшем перед гласным, в «Одиссее». СПб., 1875.

⁴³ Списки трудов С. Н. ЖДАНОВА см. в кн. «Историко-филологический институт кн. Безбородко в Нежине, 1875—1900. Преподаватели и воспитанники». Нежин, 1900, стр. 26; «Пятидесятилетие Петроградского историко-филологического института». ч. I. Петроград, 1917, стр. 12—13.

⁴⁴ С. ЖДАНОВ. К учению о греческом ударении. СПб., 1878.

ной фонетике (Сиверс и др.) и материалы сравнительного языкознания. По ходу исследования рассматривается также вопрос о природе латинского ударения, которое С. Н. Жданов признает музыкальным в той же мере, что и греческое. Во второй главе «К вопросу о системе греческого ударения» изучается ударение значительной части имен второго склонения, составляющих главную массу греческих имен — несложных нарицательных мужского и женского рода, образованных посредством суффиксов *-ο-*, *-ρο-*, *-λο-*, *-ιο-* (или *-ιο-*). Автор приходит к выводу, что «из слов, образованных посредством суффиксов *-ο-*, *-ρο-*, *-λο-*, главную массу баритонированных составляют отвлеченные, хотя весьма часто с измененным первоначальным значением; окситонированные же суть имена действующих лиц и предметов действия». По отношению к суффиксу *-ιο-*, *-ιο-* нельзя установить точного закона, хотя прилагательные в большинстве *barytona*, а существительные *oxytona*. Эту последнюю тенденцию С. Н. Жданов рассматривает как создающуюся в результате постепенно усиливавшегося влияния случайно образовавшегося большинства слов данного типа.⁴⁵

Докторская диссертация С. Н. Жданова⁴⁶ содержит ряд статей на разные темы. Наибольший интерес представляет первая статья «К учению о грамматическом роде в греческом языке, особенно языке древнейшей поэзии». Здесь поставлен трудный и еще до сих пор не получивший удовлетворительного разрешения вопрос о семантических основах родовой дифференциации имен существительных в греческом языке. По наблюдениям С. Н. Жданова, имена женского рода означают среду (кучу, вместилище, время, обстоятельство, действие, состояние), самку (женоподобное животное; дерево, растение). Имена среднего рода в греческом языке суть имена предметов, представляемых обыкновенно не одиночно и самостоятельно, а в виде членов групп, частей целого, принадлежностей других предметов. «Относительно этих сущ. заметим, что не совсем правильно говорить, что напр., *ὄπλα*, *ἔντερα*, *μῆλα* множественное число к ед. *ὄπλον*, *ἔντερον*, *μῆλον*; вернее, что последние суть единственное к множественному *ὄπλα*, *ἔντερα*, *μῆλα*».⁴⁷ Последнее замечание перекликается с выводами известного труда Иоганна Шмидта «Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra», появившегося в свет в том же году, что и диссертация С. Н. Жданова. Впоследствии С. Н. Жданов продолжал свои «Критически-эзегетические заметки» в форме многочисленных мелких статей по поводу различных мест из греческих авторов, особенно из Гомера.⁴⁸

⁴⁵ С. ЖДАНОВ. К учению о греческом ударении. СПб., 1878, стр. 86.

⁴⁶ С. ЖДАНОВ. Грамматические наблюдения и критически-эзегетические заметки. Москва и Киев, 1889.

⁴⁷ Там же, стр. 3. Слово *μῆλον* по ошибке пропущено.

⁴⁸ Статьи в «Филологическом обозрении» т. т. III, V, VII, VIII, IX, XIII, XV, XVII, XVIII, XXI (1892—1902). *Homericæ*. Известия ист.-филол. ин-та Безбородко, т. XVIII (1900), стр. 1—7.

Профессором Петербургского Историко-филологического Института был автор наиболее самостоятельной (несмотря на свою учебную цель) из русских дореволюционных лексикографических работ в области древнегреческого языка *Александр Давидович Вейсман* (1834—1913), составитель «Греческо-русского словаря» (1-е изд. СПб., 1879).⁴⁹

IV

Другим центром научного изучения греческого языка являлся в 70-е—80-е гг. XIX в. Харьковский университет. Развертывавшаяся здесь деятельность известного лингвиста А. А. Потебни, преподавание классика О. И. Пеховского (бывшего московского профессора) и санскритиста В. И. Шерцля создавали благоприятные условия для пробуждения языковедческих интересов у молодых филологов-классиков. В отличие от эллинистов петербургской школы, которые ссылались на данные сравнительного языкознания, но не решались в своих самостоятельных наблюдениях выходить за пределы классических языков, харьковские филологи гораздо свободнее пользовались материалом древнеиндийского языка. Так, в 1876 г. *И. Канский* опубликовал анализ греческих падежных окончаний единственного числа в именном и местоименном склонении с сравнительно-исторической точки зрения.⁵⁰ Книга Канского, относящаяся еще к домладограмматическому периоду сравнительной грамматики индоевропейских языков, имеет преимущественно реферативный характер,⁵¹ но содержит некоторые мысли, заслуживающие упоминания. Так, в согласии со Штерном,⁵² Канский считает, что родовая дифференциация первоначально разграничивала одушевленное и бездушное и что трехчленному родовому делению предшествовало двучленное, в котором среднему роду противостоял род одушевленных существ, в дальнейшем распавшийся на два рода. Как известно, этот взгляд на родовую классификацию впоследствии поддерживал А. Мейе, ссылаясь при этом на факты хеттского языка.

Большое внимание уделено материалу греческого языка в известном исследовании ученика Потебни А. В. *Попова* «Сравнительный синтаксис именительного, звательного и винительного падежей в санскрите, зенде, греческом, латинском, немецком, литовском, латышском и славянском наречиях».⁵³ Одновременно с печатанием этой работы в Харьковском университете были защищены две магистерские диссертации, касавшиеся синтаксиса

⁴⁹ См. рец. Э. ВЕРТА в ЖМНП, 1879, апрель, стр. 137—160; в IX присуждении премий имп. Петра в ЖМНП, 1885, июль, стр. 77—88.

⁵⁰ И. КАНСКИЙ. Сравнительный разбор греческого склонения. Харьков, 1876.

⁵¹ Реферативный характер имеет и другая работа КАНСКОГО, его «Рассуждение об эолийском наречии», ЖМНП, 1875, апрель, стр. 75—101.

⁵² S. STERN: Vorläufige Grundlegung zu einer Sprachphilosophie. Berlin, 1835.

⁵³ Филологические записки, 1879—1881. Об А. В. ПОПОВЕ и его труде см: некролог составленный А. А. ПОТЕБНЕЙ в «Филологических записках», 1881, май, и разбор Ф. Ф. ФОРТУНАТОВА при XXVI присуждении Уваровских наград — Приложения к т. 49 Записок Академии Наук № 1 (1884) стр. 87—121.

падежей в греческом языке. *Георгий Федорович Шульц* (1853—1908),⁵⁴ ученик О. И. Пеховского, исследуя значение косвенных падежей в греческом языке,⁵⁵ находит в этом языке все падежи, установленные сравнительной грамматикой индоевропейских языков; то обстоятельство, что некоторые падежи, как *Genetivus* и *Ablativus*, или *Dativus*, *Localis* и *Instrumentalis*, перестали различаться между собой по форме, не препятствует автору считать их самостоятельными падежами. Исследователя не удовлетворяет ни локалистическая теория Вюльнера и Гартунга, ни грамматические толкования Румпеля. Различая среди косвенных падежей две группы — одну с конкретными пространственными значениями (*Ablativus*, *Localis*, *Accusativus* и *Instrumentalis*), а другую с отвлеченными значениями (*Genetivus* и *Dativus*), Г. Ф. Шульц тем не менее полагает, что в основании значения каждого косвенного падежа лежит определенная интуиция («воззрение»), а именно — интуиция движения. В частности винительный падеж, который специально исследуется в диссертации Шульца, имеет значение указания на пункт, к которому направлено движение. Из этого первоначального значения автор выводит все функции греческого винительного падежа, иллюстрируя их сравнительно немногочисленными примерами, заимствованными исключительно из Гомера.

Более широкие компаративные задачи ставит перед собой вторая диссертация, принадлежащая *Ричарду Ивановичу Шерцлю* (ум. 1918 г.),⁵⁶ брату санскритиста Викентия Шерцля.⁵⁷ Автор стоит на локалистической точке зрения и считает, что в индоевропейских языках дательный падеж развился из местного через расширение или наслоение соответствующего окончания. Впрочем, историко-морфологическая часть работы Шерцля, основанная на устаревших теориях происхождения падежных окончаний, в настоящее время уже не представляет интереса. В синтаксической части своей книги автор устанавливает, что значения греческого дательного падежа в целом соответствуют санскритским местному, дательному и творительному, — однако дательный пользы (*commodi*) и нравственного участия (*ethicus*) составляют неизвестную санскриту особенность классических языков.

В 1885 г. профессором Харьковского университета стал *Иван Вячеславович Нетушиль* (1850—1928).⁵⁸ Уроженец Моравии, он окончил Пражский

⁵⁴ См. некролог Г. Ф. Шульца в ЖМНП, 1908, март, соврем. летопись, стр. 118—122, принадлежащий В. П. Бузескулу.

⁵⁵ Г. Шульц. О значении косвенных падежей в греческом языке. Харьков, 1880.

⁵⁶ За сообщение мне даты смерти Р. И. ШЕРЦЛЯ выражаю глубокую благодарность И. Я. Айзенштоку.

⁵⁷ Р. ШЕРЦЛЬ. Разбор местного и дательного в классических языках сравнительно с санскритским. Харьков, 1880. Диссертация была представлена на степень магистра римской словесности.

⁵⁸ См. некролог И. В. Нетушилы в Известиях АН СССР. Отд. гуманитар. наук, 1928, стр. 259—274, составленный В. П. Бузескулом и С. А. ЖЕВЕЛЕВЫМ. Список трудов Нетушилы до 1906 г. (лингвистические работы относятся, главным образом, к этому периоду) см. в кн.: Историко-Филологический Факультет Харьковского Университета за первые сто лет его существования. Харьков, 1908.

университет и оказался в числе молодых чешских филологов, приглашенных в Россию для преподавания древних языков. В отличие от многих своих коллег, для которых русская жизнь оставалась чуждой, И. В. Нетушил быстро освоился с общественной и научной атмосферой своей новой родины. Как указывают его биографы,⁵⁹ «в первый период научной и преподавательской деятельности И. В. Нетушила предметом его занятий являлась главным образом собственно филология и лингвистика», а «во второй период его внимание и интерес все более склонялись в сторону реальных и исторических». Широкое образование в области классической филологии сочеталось у И. В. Нетушила с лингвистическими интересами, направленными не только в сторону сравнительной грамматики индоевропейских языков, но и на вопросы дальнейшего развития античных языков в засвидетельствованные периоды их истории. Однако основным предметом лингвистических занятий И. В. Нетушила был не греческий язык, а латинский.⁶⁰ Из работ, в которых рассматривается греческий язык, наибольший интерес представляет сохранившаяся до сих пор свое значение обширная незаконченная статья о происхождении различных типов сложно-подчиненного предложения, печатавшаяся в течение многих лет в журнале «Филологическое обозрение».⁶¹ Вопросы происхождения языковых явлений были предметом особенного внимания Нетушила: в содержательной рецензии на «Сравнительный синтаксис индоевропейских языков» Дельбрюка⁶² отмечается как недостаток этой книги то, что автор отклоняет от себя рассмотрение глоттогонических вопросов. Слабой стороной труда Дельбрюка И. В. Нетушил считает также недостаточность предложенной немецким ученым теории видов. Этому вопросу посвящена статья И. В. Нетушила «Об основных значениях греческих времен».⁶³ В согласии с теорией видов, выработанной русской грамматической традицией, И. В. Нетушил усматривает также и в греческом языке противопоставление совершенного вида несовершенному, а не различие по длительности. Для И. В. Нетушила было совершенно ясно, что время является позднейшей категорией по сравнению с видом, и в отличие от большинства компаративистов того времени он считал будущее время категорией, не восходящей к общеиндоевропейскому языковому состоянию, а возникшей в процессе развития отдельных языковых ветвей, — взгляд, к которому впоследствии присоединились очень многие языковеды. Греческую форму будущего времени И. В. Нетушил связывал по ее генезису с конъюнктивом аориста. Вопросы теории греческого глагола

⁵⁹ БУЗЕСКУЛ и ЖЕБЕЛЕВ. Ук. соч., стр. 260.

⁶⁰ О работах И. В. НЕТУШИЛА в этой области см. автореферат диссертации Н. И. СЕЛЮМИНОВОЙ «Труды И. В. Нетушила по латинскому языку». Днепропетровск, 1954 (Киевский Гос. Унив. им. Т. Г. Шевченко).

⁶¹ И. В. НЕТУШИЛ. К синтаксису сложных предложений, греческих и латинских. Филологическое обозрение, тт. I, II, IV, IX, XIV, XXI, 1891—1902.

⁶² Филологическое обозрение, тт. XVIII—XX, 1900—1901.

⁶³ ЖМНП, 1891, июнь, стр. 81—108.

попутно затрагиваются и в книгах Нетушила, посвященных латинскому языку.⁶⁴

Из чешских филологов-эллинистов, научная деятельность которых протекала в России, заслуживают упоминания также А. В. Добиаш и В. И. Петр.

Антон Вячеславович Добиаш (1840—1911), работавший в области греческого синтаксиса,⁶⁵ создал своеобразную синтаксическую концепцию; он называл ее симасиологической и противопоставлял синтаксическим концепциям логицистов и психологистов.⁶⁶ Взгляды эти в известной мере восходили к античной синтаксической системе Аполлония Дискола, которому А. В. Добиаш посвятил специальное исследование.⁶⁷ Своеобразие концепции и связанная с этим необычная терминология, затрудняющие чтение трудов Добиаша, не должны заслонять многочисленных тонких наблюдений, рассыпанных в этих работах. Исследование местоимений, посвященное в основном местоимению *ὁ*, не ограничивается атомистическим рассмотрением употреблений этого слова. Автор трактует *ὁ* как часть системы (по терминологии А. В. Добиаша — «узла») указательных и анафорических местоимений и стремится определить семантические отношения внутри этой системы. В большой книге «Опыт симасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка» особенно интересны разделы о частицах, предлогах, значениях падежей. А. В. Добиаш не рассматривает синтаксических явлений в сравнительно-историческом плане, но нередко прибегает к типологическому сравнению, в частности к сравнению со славянскими языками. Обращает на себя внимание то, что рядом с общеизвестными в то время категориями «логического» и «психологического» подлежащего и сказуемого автор устанавливает еще «синтаксическое» подлежащее и сказуемое, понимая под этой последней парой «данное» и «искомое», т. е. устанавливает дизъюнкцию, которая в настоящее время называется «актуальным членением предложения».⁶⁸ Наряду с этим мы находим у А. В. Добиаша очень много элементов старой грамматической традиции, излишнее логизирование, любовь к непродуктивным классификациям, несмотря на всю полемику автора с логицистами.

⁶⁴ И. В. Нетушил. Об аористах в латинском языке. Историко-морфологический этюд из области латинского, отчасти также греческого и санскритского глагола. Харьков, 1881. Он же. Этюды и материалы для научного синтаксиса латинского языка. Т. 3, вып. 1 (1888); ср. также статьи «Местное значение винительного без предлога у Гомера», ЖМНП, 1882, декабрь, стр. 483—492 (при *ἰκνέομαι*); «К учению об основах» в кн.: Сборник Харьк. инст.-филол. общ-ва т. XV (1905), стр. 16—26.

⁶⁵ А. Добиаш. Исследование в области греческого местоимения. Изв. Ист.-филол. инст. кн. Безбородко т. 1 (1877). Он же. Краткий очерк симасиологии глагола. Там же, т. XIV (1895). Он же. Опыт симасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка. Там же, т. XVI (1898).

⁶⁶ Синтаксическую систему А. В. Добиаша подробно разбирает В. В. Виноградов. Синтаксические взгляды профессора А. В. Добиаша. Уч. Зап. МГУ, Вып. 137, Труды кафедры русского языка, Кн. 2, 1948, стр. 3—30.

⁶⁷ А. Добиаш. Синтаксис Аполлония Дискола. Изв. Ист.-филол. ин-та кн. Безбородко VI (1881), и VIII (1884). Ср. рец. К. Я. Люгебиля. ЖМНП, 1883, сентябрь, отд. II, стр. 113—138.

⁶⁸ Опыт симасиологии..., стр. 172—176.

В ином плане развивалась научная работа *Вячеслава Ивановича Петра* (1848—1923).⁶⁹ Этот ученый был одним из немногих в мире специалистов по греческой музыке и метрике, но интересовался также вопросами греческой фонетики и лексикологии, которые он разрабатывал преимущественно на гомеровском материале.⁷⁰

V

Наиболее значительную роль в научном изучении классических языков играла во второй половине XIX и в начале XX вв. московская школа, установившая в России наиболее тесную близость между классической филологией и научным языкознанием. Основоположником московской школы языковедов-классиков был *Федор Евгеньевич Корш* (1843—1915).⁷¹

По своей официальной деятельности, как профессор Московского университета, Корш был филолог-классик. Однако, в отличие от Люгебиля или Нетушила, универсальных филологов, для которых языковедческие интересы представляли лишь одну область внутри обширной «науки о древности», у Корша этот языковедческий интерес был главным средоточием его научной деятельности, распространявшейся на многочисленные языки, и притом не одни только индоевропейские. В рецензии на сборники диалектных надписей средней и южной Италии, составленные И. В. Цветаевым, Корш даже набрасывает иронический образ классика, замкнувшегося в изучение древнего мира: «Классик обыкновенно знает только классические языки, да и на них-то привык смотреть как на ряд фактов, *qui ne tirent pas à conséquences*. Классики превосходно собирают данные языка, но освещение их предоставляют другим, а если не предоставляют, то тем хуже для них и для дела. Разрабатывая область громадную и расследуя ее чуть не с микроскопом в руках, они так завалены разнообразными фактами, что им некогда заглядывать за пределы ее, и они отвыкают от этого запредельного мира и не стремятся к нему, потому что *ignoti nulla cupido*, или, если все-таки заглянут, увидят в нем не то, что на самом деле есть, потому что заметят только отдельные явления,

⁶⁹ О В. И. ПЕТРЕ см. некрологическую заметку Ф. Новотного в *Listy Filologické*, т. 30, 1923, стр. 171—173.

⁷⁰ В. ПЕТР. Об удвоении сигмы в темах аориста и будущего в гомеровском наречии. ЖМНП, 1877, октябрь, стр. 729—89, ноябрь, стр. 1—17. Он же. *Pomerica*. Прага, «Krok» 1889—1890. Он же. *Pomerica*. Отчет о состоянии Киево-печерской гимназии за семилетний период ее существования. Киев, 1892, стр. 45—83. Он же. *Etymologica*. Прилож. к отчету Киево-печерской гимназии за 1892—93 уч. год. Киев, 1893, стр. 63—95. Он же. Лингвистические этюды по Гомеру. Изв. Ист.-филол. ин-та кн. Безбородко, т. XXVII (1912).

⁷¹ Из большой литературы о Ф. Е. КОРШЕ указываем лишь те труды, в которых содержится оценка его деятельности в области античных языков: А. А. ШАХМАТОВ. Федор Евгеньевич Корш. Некролог. Петроград, 1915 (Известия Академии Наук 1915, стр. 373—400); Г. ЗЕНГЕР. Федор Евгеньевич Корш. Гермес, т. XVI (1915), № 5, стр. 172—185; Б. В. ВАРНЕКЕ. Памяти Ф. Е. Корша. Одесса, 1915; А. ГРУШКА. Федор Евгеньевич Корш. ЖМНП, 1916, апрель, соврем. летопись, стр. 85—131. Н. К. ДМИТРИЕВ. Федор Евгеньевич Корш. Москва, 1962.

связывают же их и объясняют поневоле собственным воображением». ⁷² Классик Корш в течение всей своей научной деятельности стремился в этот «запредельный» мир. В его обширной научной продукции работы, посвященные специально греческому языку, занимают очень небольшое место, но они обычно основаны на огромном материале разнообразнейших языков, древних и новых, привлекаемых для освещения фактов греческого языка. В повороте лингвистической науки, связанном с младограмматиками и с переориентацией языкознания на живые языки, Корш принял участие как один из выдающихся, хотя и недостаточно оцененных в этом отношении деятелей. Для филологов-классиков поворот этот прошел далеко не бесследно: он снова усилил расхождение между филологией и языкознанием, начавшими сближаться во времена Курциуса. Нам уже приходилось отмечать в отношении ряда русских филологов-классиков, что они начинали свой научный путь как языковеды, а впоследствии переходили к другим областям «науки о древности». Пути к преодолению нового расхождения наметились в Западной Европе лишь на рубеже XIX и XX столетия. В России преодоление этого было облегчено деятельностью Ф. Е. Корша и его учеников.

Первую свою значительную работу в области языкознания Корш озаглавил «Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса». ⁷³ Сравнительный синтаксис был в это время новой проблемой, которой не занимался еще почти никто, кроме Дельбрюка. Но Корш радикально изменил постановку вопроса. В то время как Дельбрюк создавал компаративный синтаксис индоевропейских языков на путях сравнительно-исторической методики, возводя его к синтаксической структуре праязыка, Корш выдвинул принцип типологического сравнения языков, независимо от родства между ними: «Стоит только сравнить словосочинение двух языков совершенно различного происхождения, — пишет Ф. Е. Корш в введении к «Способам относительного подчинения», — чтобы убедиться в той истине, что здесь законы, так сказать, физиологические отступают назад перед общими всем народам законами психическими. Одинаковые потребности духа вызывают и одинаковые явления: мышление, воля, чувство ищут для себя выражение во всех языках без различия и создают соответственные роды предложений. Употребление частей речи и даже флексий у всех народов в главных чертах одно и то же». ⁷⁴ Пользуясь материалом различных живых языков, автор ищет в них объяснения явлений, наблюдаемых в древних памятниках. Другой особенностью рассматриваемого исследования Ф. Е. Корша, также свидетельствующей о повысившемся интересе к живым языкам, является частое обращение к новогреческим диалектам как к непосредственным историческим

⁷² ЖМНП, 1887, август, отд. II, стр. 367.

⁷³ Москва, 1877, ср. В. В. Виноградов. Из истории изучения русского синтаксиса. М. 1958, стр. 364—368.

⁷⁴ Стр. 5.

источникам, сохраняющим в своих архаичных особенностях древнегреческое языковое состояние. Для филолога-классика такая апелляция к новогреческой диалектологии была в то время еще необычным явлением.

Метод типологического сравнения Корш применил также для объяснения постановки опатива в греческих придаточных предложениях, зависящих от исторического времени.⁷⁵ Параллели из многочисленных языков приводят исследователя к психологическому объяснению употребления прошедшего времени как способа выражения воображаемого, предполагаемого, и таким образом к установлению родства между претеритом и опативом в греческом языке.

Более описательный характер имеют статьи Ф. Е. Корша о значении местоимения *ὅστις*⁷⁶ и об употреблении будущего времени в футуральной форме условных предложений.⁷⁷ В этой последней статье, на основании большого собрания примеров, автор устанавливает, что *εἰ* с будущим временем обозначает нечто уже ранее упомянутое, произносимое с эмфазой («если действительно»).

Однако метод типологического сравнения, освещение мертвых языков живыми, которым так дорожил Ф. Е. Корш, пригоден не только для синтаксиса. Другой областью применения этого метода является фонетика. Фонетическое истолкование мертвых языков, известных лишь по письменным памятникам, должно опираться на закономерности физиологии речи, подтверждаемые материалом живых языков. Младограмматический принцип звукового закона и развитие экспериментальной фонетики повысили научную актуальность историко-фонетических исследований. Ф. Е. Корш, которого эти вопросы интересовали также по связи с метрикой и ритмикой, посвятил исторической фонетике греческого языка ряд содержательных работ. Наиболее ранняя из них — статья «О звуках *e* и *o* в греческом языке»;⁷⁸ согласно объяснению автора, работа эта была вызвана упомянутой уже нами статьей К. Я. Люгебиля «О формах родительного падежа единственного числа т. наз. второго греческого склонения» (ср. выше, стр. 8 сл.), но содержание ее много шире и чем заглавие, и чем вопрос, поднятый в статье Люгебиля. Исходя из принципа звукового закона и пользуясь данными физиологии речи, Корш рисует общий ход развития греческого вокализма от общиндоевропейских времен до византийского состояния, рассматривая при этом и ряд вопросов, касающихся истории согласных. По сравнению с греческой грамматикой Г. Мейера (1880 г.), единственным общим трудом, который в это время был

⁷⁵ Ф. В. Корш. *Præteritum in lingua Graeca eum optativo iungi solet*. ЖМНП, 1901, июль, стр. 18—26 = *Commentationes Nikitinianae*. Сборник статей по классической филологии в честь Петра Васильевича Никитина. СПб., 1901, стр. 153—161.

⁷⁶ De *ὅστις* pronomine ad definitam rem relato. Филологическое обозрение, т. XI (1896), стр. 87—90.

⁷⁷ Th. Korsch. De *εἰ* particula eum futuro indicativi coniuncta. Там же, т. XVIII (1900), стр. 61—80.

⁷⁸ ЖМНП, 1881, март, стр. 107—156.

основан на младограмматических принципах исследования, статья Корша содержит много новых и верных положений. Корш устанавливает, что звуки тембра *ε* и *ο* в греческом языке отличались между собой не только в количественном отношении, но и в качественном, что краткие гласные *ε* и *ο* были закрытыми звуками, а долгие были как открытыми, изображавшимися через *η* и *ω*, так и закрытыми, обозначавшимися через диграфы *ει* и *ου*. Эти последние изображения служили, таким образом, с одной стороны, для исконных дифтонгов, впоследствии монофтонгизировавшихся, с другой стороны, для простых долгих гласных закрытого типа. Попутно затрагиваются многие вопросы, на которые западноевропейские ученые обратили внимание лишь впоследствии, — о метрическом протяжении у Гомера, о протяжении в сложных словах и т. д. Большое значение придает Корш наблюдающемуся во многих живых языках различению между неслоговыми сонантами *ǵ* и *ǥ* и щелевыми согласными *ǵ* и *ǥ*, которое он находит также и в греческом языке. К этому последнему вопросу Ф. Е. Корш возвращается более подробно в другой своей статье «Несколько замечаний к греческой фонетике Бругмана»,⁷⁹ стараясь показать, что следы такой дифференциации отразились в различной трактовке групп, состоящих из согласного + неслоговое *ǵ*, *ǥ* или соответствующий спирант. В этой же статье Корш, в отличие от Бергка и Бругмана, доказывает, что *ā* после *ε*, *ι* и *ο*, которым аттическое наречие отличается от ионического, унаследовано от общегреческого языка, а не развилось во вторичном порядке из *η*, — вопрос, который остается спорным и поныне.⁸⁰ Сложные фонетико-просодические вопросы поставлены в статье о греческих дифтонгах.⁸¹ Здесь доказывается, что греческие дифтонги не являются соединением слогового гласного с неслоговым, т. е. группой в сущности не отличающейся от любого закрытого слога, а сочетанием двух полных гласных, не разделенных согласным приступом и произносимых одним духом. Такого рода дифтонги автор считает характерными для языков с музыкальным ударением, в то время как языкам с «ритмическим» (т. е. динамическим) ударением свойственны дифтонги, состоящие из слогового и неслогового гласного. В дифтонгах этого последнего типа толчок к взаимному уподоблению исходит от второй части, а в таком языке, как греческий, первая часть притягивает к себе вторую, а сама подчиняется ей лишь после того, как уже оказала на нее свое влияние: поэтому из *ae* выходит *aē* и только потом *āe*, *ēē* = *ē̄*. К этим выводам автор приходит на основании материала многих языков. Как обычно в статьях Корша, попутно затрагиваются другие вопросы — об условиях гласной эпентезы в греческом языке, об эпическом растяжении, об аттикизмах у Гомера и т. п. Интересное предположение высказывается о

⁷⁹ Сборник Харьк. Ист.-филол. общ-ва, т. 8 (1896), стр. 38—62.

⁸⁰ E. SCHWYZER. Griechische Grammatik. I, 2 изд., München, 1953, стр. 188.

⁸¹ Ф. КОРШ. Двоегласие в древнегреческом языке с физиологической точки зрения. Русский Филологический Вестник, 1902, т. 48 (1—2) = Сборник статей, посвященных Ф. Ф. Фортунатову, стр. 281—348.

конечных дифтонгах *oi*, *ai*, каждый из которых допускает двоякую трактовку в греческой акцентологической системе и рассматривается в одних случаях как краткий, в других случаях как долгий вокалический элемент: в *παιδεύσαι* или *οἶχοι* конечный вокалический элемент долг, в *παίδευσαι*, *παιδεύσαι*, *οἶχοι* — краток. По мнению Корша, это связано с различием между подлинными дифтонгами *oi*, *ai* и группами *oj*, *aj*, в которых вокалический элемент, конечно, краток. Западноевропейским ученым объяснение Корша осталось неизвестным, и Лучиди, спустя почти 50 лет после статьи Корша, вновь выдвинул это предположение.⁸²

Свои взгляды на позднейшую историю греческого языка Ф. Е. Корш изложил в докладе «Мысли о происхождении новогреческого языка».⁸³ Византийцы, по мнению Ф. Е. Корша, говорили на том же языке, что современные нам греки: «о разнице между византийским и новогреческим языком может говорить только стилист, изучающий преимущественно литературную речь, а не языковед, дорожающий исключительно теми изменениями языка, которые совершаются путем естественного развития».⁸⁴ Происхождение основных особенностей греческого языка византийского периода Корш возводит к IV—III в. до н. э., времени образования общего наречия, *κοινῆ*. Разрушение грамматической системы древнегреческого языка шло с севера, из наименее литературной части Греции. Нелитературное «общее наречие», которое образовалось под объединяющим и уравнивающим влиянием переворота, произведенного македонским владычеством, является предком современных греческих наречий (кроме цаконского). Дальнейшая история греческого языка, развивавшегося в аналитическом направлении, сводится к разворачиванию аналогий, обозначившихся в IV—III вв. до н. э., и к принятию в себя иноязычных элементов.

В Московском университете к 90-м гг. XIX в. создалась школа языковедов-классиков, восходящая к преподаванию Ф. Е. Корша и Ф. Ф. Фортунатова. В деятельности виднейших представителей этой школы, *Михаила Михайловича Покровского* (1868—1942) и *Аполлона Аполлоновича Грушки* (1869—1929), хотя и не выходящей за пределы античных языков, тем не менее была устранена та разобщенность, которая характеризовала в предшествующий период отношения между классической филологией и научным языкознанием. М. М. Покровский с самого начала своей работы в Московском университете выступил как пропагандист сравнительного метода в изучении древних языков.⁸⁵ Однако и М. М. Покровский, и А. А. Грушка работали как

⁸² М. Lucidi. L'origine del trisillabismo in Greco. *Ricerche Linguistiche*, I, 1, 1, 1950, стр. 74 сл.

⁸³ Летопись ист.-филол. общ-ва при Новороссийском Университете, VI (1896), стр. 279—294.

⁸⁴ Там же, стр. 281.

⁸⁵ М. ПОКРОВСКИЙ. Значение сравнительного языкознания для классической филологии (Пробная лекция, прочит. в Моск. Унив. 17 ноября 1894 г.). *Филологическое Обозрение*, т. VIII, (1895), стр. 3—15 (перепечатано в кн.: М. М. ПОКРОВСКИЙ. Избранные работы по языкознанию. Москва, 1959, стр. 15—26).

языковеды почти исключительно в области латинского языка и лишь изредка обращались к вопросам греческого языкознания.⁸⁶ Другой представитель московской школы *Сергей Иванович Соболевский* (1864—1963)⁸⁷ также с самого начала своей деятельности предпочитал грамматические исследования «филологического» типа, сочетая меткость синтаксических наблюдений с тончайшим критическим и экзегетическим анализом античного текста. Обе его диссертации, посвященные синтаксису Аристофана,⁸⁸ доставили автору славу точного и осмотрительного исследователя, основывающего свои заключения на самом тщательном изучении всего доступного ему материала. Из многочисленных его статей по греческому синтаксису, печатавшихся в журнале «Филологическое обозрение»,⁸⁹ особого внимания заслуживают статьи о временах греческого глагола,⁹⁰ об артикле⁹¹ и о конструкции глагола *μέλλειν*.⁹² Одним из значительнейших трудов С. И. Соболевского является его монография о языке греческой библии: автор рассматривает его на фоне истории возникновения *κοινή*.⁹³ В этом труде по истории греческого языка С. И. Соболевский справедливо указывает на то, что в понятии *κοινή* объединены две разновидности греческого языка эллинистического периода — «литературный общий язык» и «разговорный общий язык».⁹⁴

VI

Мы рассмотрели научную деятельность наиболее выдающихся дореволюционных языковедов-классиков. В заключение остановимся на некоторых работах других исследователей, не упомянутых в предыдущем изложении, отмечая при этом только то, что представляло в свое время научную ценность или характеризовало направление научных интересов русских ученых.

По вопросам греческого языка нередко высказывались крупные линг-

⁸⁶ Ср., например, раннюю работу М. М. Покровского. Греческая морфология в средней школе. Приложение к Циркулярам по Моск. уч. округу, 1893, № 9.

⁸⁷ Ф. А. ПЕТРОВСКИЙ. Сергей Иванович Соболевский. Известия АН СССР ОЛЯ т. XIII (1954), вып. 4, стр. 375—378. Некролог и список трудов С. И. Соболевского см. ВДИ, 1963, № 3, стр. 194—198.

⁸⁸ S. SOBOLEWSKI: De praepositionum usu Aristophaneo. М. 1890. Он же. Syntaxis Aristophaneae capita selecta. De sententiarum condicionalium temporalium relativarum formis et usu. Уч. Зап. Моск. унив., отд. ист.-филол. М., 1892, вып. 19.

⁸⁹ тт. I, II, IV, V, VIII, X, XI, XV, XVII, XVIII, (1891—1899).

⁹⁰ Синтаксическое деление времени греческого глагола. Филологическое обозрение, т. I (1891), стр. 52—53.

⁹¹ К учению о члене в греческом языке. О пропуске члена при *πόλις* и в некоторых других случаях. Филологическое обозрение, т. X (1896), стр. 103—118. Употребление члена при *ἄστυ* и *ἀκρόπολις*. Там же, т. XI (1896), стр. 193—194.

⁹² Конструкция глагола *μέλλειν* у аттических ораторов. Филологическое обозрение, т. XVII (1899), стр. 213—256.

⁹³ *Κοινή*, «общий» греческий язык (по связи с библейским). Православная богословская энциклопедия, т. IX, Пб. 1908, столб. 603—754. (с библиографическими дополнениями в т. X. (1909), стр. 704—705).

⁹⁴ О работах С. И. Соболевского, относящихся к советскому периоду, см. упомянутую выше (в прим. к заглавию настоящей статьи) статью «Классические языки» в сборнике «Советское языкознание за 50 лет».

висты смежных специальностей. И. А. Бодуэн-де-Куртене дал очерк истории греческого языка с древнейших времен до наших дней для энциклопедического словаря, издававшегося товариществом «Гранат».⁹⁵ Много интересных и самостоятельных мыслей по вопросам греческой исторической фонетики и морфологии мы найдем в лекциях Ф. Ф. Фортунатова.⁹⁶ Основываясь на теории Фортунатова о различном качестве долготы индоевропейских гласных и о различной судьбе индоевропейских долгих гласных разного качества в греческом языке, Г. К. Ульянов предложил оригинальное объяснение происхождения именительного падежа на -*ā* в именах мужского рода (гомер. *αἰχμητᾱ́* и т. п.).⁹⁷ Из этого же учения Фортунатова исходил и А. А. Шахматов в своей интересной попытке истолковать главные особенности греческой акцентологии на основании славянских типологических параллелей.⁹⁸ А. А. Шахматов предполагает в греческом слове систему добавочных музыкальных тонов, восходящих и нисходящих, которая приводит к перемещению главного музыкально-экспираторного ударения на слог, соседний с наиболее высоким добавочным тоном. Из этого основного закона выводится правило о месте греческого ударения, равно как и так наз. закон Уилера⁹⁹ о перемещении ударения в словах дактилического окончания (*ποικίλος* вместо **ποικίλός*, ср. д.-и. *rečalá-*). Вопросов греческого ударения коснулся также славист Л. Мазинг, разъяснивший в своей работе о сербо-хорватской акцентологии¹⁰⁰ такие принципы греческой акцентуационной графики, как постановка «острого» и «тупого» ударения. Систематический обзор основных значений главных категорий именной и глагольной флексии в греческом языке дал для целей школьного преподавания Д. Н. Кудрявский.¹⁰¹ Иранские элементы в греческой причерноморской эпиграфике изучал В. Ф. Миллер.¹⁰²

⁹⁵ В «Новом энциклопедическом словаре» изд-ва Брокгауз и Ефрон статья о древнем периоде греческого языка принадлежит С. В. Меликовой.

⁹⁶ Ф. Ф. ФОРТУНАТОВ. Краткий очерк сравнительной фонетики индоевропейских языков. Петроград, 1922 (Перепечатано в «Избранных трудах», т. I, М., 1956, стр. 200—446). Он же. Сравнительная морфология индоевропейских языков. Избранные труды, т. 2, М., 1957, стр. 257—426.

⁹⁷ Г. К. УЛЬЯНОВ. Греческие именительные единственного ч. на *ā* в словах мужского рода. *Χαριστήρια*. Сб. статей по филологии и лингвистике в честь Ф. Е. Корша. М., 1896, стр. 123—147.

⁹⁸ А. А. ШАХМАТОВ. Об общих явлениях в греческом и славянском ударениях. Там же, стр. 149—160.

⁹⁹ B. WHEELER: Der griechische Nominalaccent. Strassburg, 1885.

¹⁰⁰ L. MASING: Die Hauptformen des serbisch-chorwatischen Accents. Nebst einleitenden Bemerkungen zur Accentlehre insbesondere des Griechischen und des Sanskrit. Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de St.-Petersbourg, VII sér., t. XXIII, N5 (1876).

¹⁰¹ Д. КУДРЯВСКИЙ. О преподавании греческого синтаксиса в гимназиях. Филологическое обозрение, т. XIV (1898), стр. 76—88. Составленная Д. Н. Кудрявским элементарная грамматика с учетом данных научного языкознания была напечатана уже посмертно, в порядке публикации научного наследия: «Грамматика древнегреческого языка. Из рукописного наследия профессора Д. Н. Кудрявского». Тарту, 1964.

¹⁰² В. Ф. МИЛЛЕР. Осетинские этюды, III, 1887. Он же. Эпиграфические следы иранства на юге России. ЖМНП, 1886, октябрь, стр. 232—283. Он же. К иранскому элементу в припонтийских греческих надписях. Известия Археологической комиссии, вып. 47, 1913, стр. 80—95.

М. Р. Фасмер, начинавший свою научную деятельность в Петербурге как эллинист и одновременно славист, посвятил свою магистерскую диссертацию спорному вопросу о произношении греческой *z* и смежным явлениям греческой фонетики.¹⁰³ Привлекая материал древнейших заимствований из других языков, в первую очередь из иранских, М. Р. Фасмер устанавливает, что *z* обозначала общегреческое *zd*, сохранившееся в ионийско-аттических говорах приблизительно до конца V в. Выход в свет книги Фасмера дал повод к новому обнаружению расхождений между «филологическим» и лингвистическим подходом к изучению языка. В защиту традиционного представления о том, что *z* обозначает *dz*, выступил классик А. Вольдемар (впоследствии реакционный деятель буржуазной Литвы), ссылавшийся на весьма сомнительно истолкованные им показания античных грамматиков.¹⁰⁴ Вообще же те филологи-классики, которые держались вдали от сравнительного языкознания, предпочитали не касаться фонетико-морфологических вопросов,¹⁰⁵ и работы их — преимущественно на синтаксические темы — обычно имели описательный характер.

По отношению к этим работам меньшего научного значения ограничимся именами авторов, не приводя библиографических данных. Интересующийся читатель найдет эти данные в библиографиях Прозорова и Воронкова, которые будут приведены в конце настоящей статьи.

Из области употребления форм русских филологов больше всего привлекали темы, связанные с глаголом, в первую очередь с видовой системой греческого языка, поскольку сопоставление ее с русской видовой системой сулило возможность более глубокого ее истолкования: работы *Шафранова* (1874—1875), *Черного* (1876—1877), *Флегеля* (1880), *Боголюбова* (1889), *Корнилова* (1898). Не остались без внимания и вопросы употребления наклонения: *Вибберг* (1871), *Гобза* (1874), *Миролюбов* (1894); о причастных и инфинитивных оборотах писали *Гессау* (1896), *Первов* (1893), *Фишер* (1893). Пассивную конструкцию в греческом языке, отчасти по следам Габеленца, исследовал *М. Маляренко* (1895). Исследование *С. И. Соболевского* о конструкции при глаголе *μέλλειν* продолжил на более обширном материале *А. Коцевалов* (1917).

Употребление возвратного местоимения посвящены работы *Семирадского* (1881)¹⁰⁶ и *Шнейдера* (1886).¹⁰⁷ Оба автора стремятся установить первоначальную индифферентность возвратного местоимения к лицу и числу;

¹⁰³ М. ФАСМЕР. Исследование в области древнегреческой фонетики. М., 1914.

¹⁰⁴ А. ВОЛЬДЕМАР. К вопросу о произношении древнегреческой *dz*еты. ЖМНП, 1915, декабрь, стр. 491—520.

¹⁰⁵ Из морфологических работ можно упомянуть статью Н. СЧАСТЛИВЦЕВА, О дательном падеже множественного числа в греческом языке. ЖМНП, 1885, сентябрь, стр. 417—458, основанную на эпиграфическом материале.

¹⁰⁶ T. SIEMIRADZKI. De *ou* et *σφε* pronominum usu homerico. ЖМНП, 1881, февраль, стр. 51—70; август, стр. 367—392.

¹⁰⁷ C. SCHNEIDER. Bemerkungen über den Gebrauch des Reflexivpronomens bei den griechischen Epikern. Годовой отчет уч-ща св. Анны, СПб., 1886.

однако Шнейдер, в значительной мере пользуясь материалом позднейшего эпоса, не учитывает искусственности эпического языка.

Диссертация С. И. Соболевского о придаточных предложениях у Аристофана послужила основой для дополнений и полемики по частным вопросам.¹⁰⁸ Статистические материалы о сложно-подчиненных предложениях, вводимых глаголами *eugandi*, у Ксенофонта привел И. Голан,¹⁰⁹ выводы которого дополнил и исправил С. И. Соболевский.¹¹⁰

Широкое развертывание исследований по греческой эпиграфике (Ф. Ф. Соколов, В. В. Латышев, С. А. Жебелев и др.) стимулировало интерес также к изучению греческих надписей с диалектной стороны. Однако самостоятельных работ в этом направлении было немного. Фонетику и морфологию кипрского диалекта рассмотрел на основе только что расшифрованных кипрских силлабических надписей П. В. Никитин.¹¹¹ Другие работы о греческих диалектах имели скорее реферативный характер.¹¹² О языке древних македонян, уже вне связи с греческой эпиграфикой, писал М. Р. Фасмер,¹¹³ выступивший против теории О. Гофмана о греческом происхождении македонского языка.

Из отдельных периодов истории греческого языка русские исследователи, как мы видели, больше всего занимались древнейшим периодом, отложившимся в гомеровском эпосе. После Гомера наиболее значительный интерес вызывал к себе аттический период. Ионийские элементы в аттической лексике исследовал И. Вейерт.¹¹⁴ Вопросы, связанные с аттическим разговорным языком и языком комедий Аристофана, разобраны в статье А. И. Сонни,¹¹⁵ написанной по поводу не вполне удовлетворительной диссертации Д. П. Шестакова.¹¹⁶ Вопрос о происхождении эллинистической *κοινή* разбирал М. Р. Фасмер.¹¹⁷

¹⁰⁸ Рец. А. П. ШВАРЦА в «Филологическом обозрении», т. IV (1893), отд. 2, стр. 3—13; Ф. Ф. ЗЕЛИНСКИЙ. *Irrealis futuri*. Там же, отд. I, стр. 152; А. Н. ШВАРЦ. К вопросу об *irrealis futuri*. Там же, стр. 167—169; В. РЕЙНЕР. Об условных периодах в греческом языке. Приложение к циркулярам по Моск. уч. округу, 1896, № 3.

¹⁰⁹ И. ГОЛАН. О глаголах *eugandi* и употреблении их у Ксенофонта. Прилож. к отчету о состоянии Нижегородского дворянского инст. имп. Александра II за 1889—90 уч. г. М., 1892.

¹¹⁰ Рец. С. СОБОЛЕВСКОГО в «Филологическом обозрении», т. IV (1893), отд. 2, стр. 32—33.

¹¹¹ П. В. НИКИТИН. О древне-кипрском диалекте. ЖМНП, 1875, июнь, стр. 69—106.

¹¹² И. КАНСКИЙ, см. прим. 51; Ф. Г. МИЩЕНКО. Беотийское наречие по надписям. Университетские известия. Киев, 1883, № 9, крит.-библ. отд., стр. 289—317; Э. ВЕРТ. Аттическое наречие по надписям и рукописному преданию. ЖМНП, 1888, февраль-апрель, стр. 57—202.

¹¹³ М. ФАСМЕР. К вопросу о языке древних македонян. ЖМНП, 1908, январь, стр. 22—35.

¹¹⁴ И. ВЕЙЕРТ. К истории аттической прозы V в. до Р. Х. Филологическое обозрение, X (1896), стр. 21—48.

¹¹⁵ А. И. СОННИ. Аристофан и аттический разговорный язык. ЖМНП, 1916, январь-февраль, стр. 6—90.

¹¹⁶ Д. ШЕСТАКОВ. Опыт изучения народной речи в комедии Аристофана. Казань, 1912.

¹¹⁷ М. Р. ФАСМЕР. Заметки о происхождении эллинистического языка. ЖМНП, 1909, август, стр. 315—352.

Специальное внимание привлекал библейский греческий язык, т. е. язык ветхозаветных и новозаветных памятников, а также язык древнехристианских писателей. Итоги работ по этим вопросам подведены в упомянутой¹¹⁸ статье С. И. Соболевского, где дана библиография вопроса.¹¹⁹

В последние предреволюционные годы начали появляться исследования о языке позднегреческих папирусов, принадлежащие *Петру Викторовичу Ернштедту* (1890—1967).¹²⁰

Октябрьская Социалистическая Революция поставила перед советскими филологами-классиками новые задачи в области изучения древнегреческого языка, подробно рассмотренные в неоднократно уже упоминавшейся статье «Классические языки» из сборника «Советское языкознание за 50 лет».

Библиография: А. Д. Вейсман. Успехи изучения греческого языка и литературы в России за последнее двадцатипятилетие. Актовая речь. Русский Вестник. 1880, № 4, стр. 439—466. П. Прозоров. Систематический указатель книг и статей по греческой филологии, напечатанных в России с XVII столетия по 1892 год на русском и иностранном языках. С прибавлением за 1893, 1894 и 1895 годы. СПб., 1898 (ср. дополнения А. И. Малеина в «Филологическом обозрении», т. XV [1898], крит. и библ. стр. 48—56, и П. Н. Черняева в «Гимназии» 1899, № 1, стр. 1—10). А. И. Малеин. Классическая филология (в статье: «Россия» в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза-Ефрона, т. 28, 1899, стр. 813—816). А. И. Воронков. Древняя Греция и древний Рим. Библиографический указатель изданий, вышедших в СССР (1895—1959). Москва, 1961.

Ленинград.

¹¹⁸ См. прим. 93.

¹¹⁹ Из позднейших работ на эту тему см. Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ. Греческий язык Нового Завета в свете современного языкознания. Гермес, т. XVI (1915), №№ 2—8. Н. ПЕРЕФЕРКОВИЧ. К вопросу о семитизмах в языке Нового Завета. Гермес, т. XVIII (1916). № 10, стр. 213—218.

¹²⁰ П. В. ЕРНШТЕДТ. О тексте и языке письма Феона. ЖМНП, 1915, июнь, стр. 289—294. Он же. Папирусные памятники среднегреческого языка. Там же, 1917, сентябрь, стр. 287—298. О работах П. В. ЕРНШТЕДТА, относящихся к советскому периоду, см. упомянутую выше (в прим. к заглавию настоящей статьи) статью «Классические языки» в сборнике «Советское языкознание за 50 лет».

E. FERENCZY

THE CENSORSHIP OF APPIUS CLAUDIUS CAECUS

1. THE PRESENT POSITION OF RESEARCH

In spite of its short duration of hardly five years, the censorship of Appius Claudius Caecus was equal to an epoch in the history of Rome.¹ Large-scale public works, such as the construction of *Aqua Claudia* and *Via Appia*, important political, constitutional, religious and military reforms brought about an almost revolutionary transformation in the history of the city-state. These innovations initiated or carried out during the censorship of Appius Claudius closed down a period and laid down the foundations of a new epoch. As a result of them Rome emerged from the threatening internal and external political crisis in a strengthened state and at the same time her economic and social development took a new direction. The victory of Rome in the Samnite war, developing into the war of the Italian coalition, can be regarded as a decisive result of the change taking place at that time. This victory made Rome master of Italy and a great power in the central basin of the Mediterranean Sea.

It is due to the great importance of the censorship of Appius Claudius that in the history of republican Rome this is the first period known in its majority on the basis of reliable sources. While the career of Appius Claudius preceding his censorship — on account of the scantiness of data — can only be reconstructed with great difficulty and mostly with the help of assumptions,² the events of his censorship have been preserved by a comparatively rich material of sources. In spite of this the censorship of Appius Claudius, from the viewpoint of historical reconstruction, is one of the most disputed periods of earlier Roman history and legal history, full of problems even today. The primary reasons for this are the contradictions, obscurity, uncertain and unstable terminology of the texts of Diodoros and Livy, the two most significant sources, and especially their partiality towards Appius Claudius. To begin with, we find problematic the time of the censorship of Appius Claudius, the beginning of which is dated by both Livy and Diodoros to different years; but the

¹ For the literature on the censorship of Appius Claudius see E. FERENCZY: *Acta Ant. Hung.* 13 (1965) 279, Note 1.

² Cp. FERENCZY: *Acta Ant.* 13 (1965) 279 foll.

duration of the censorship is similarly disputed.³ These, however, belong to the problems of minor importance. The real difficulty is that the sources do not show clearly what was the meaning of the senate and tribus reforms of Appius Claudius, and to a certain degree even the most significant features of the reforms themselves are wrapped in obscurity. The difficulties are enhanced by the fact that Diodoros and Livy, the two most significant sources, describe the reforms of Appius Claudius in several points differently and their representation, especially that of Livy, is so hostile towards Appius Claudius that its reliability is frequently doubted.⁴

The opinions of modern historical research, exactly on account of the obscurity, contradictions and inaccuracies of the sources, considerably vary in the judgement of Appius Claudius as a statesman and in the valuation of his reforms. Niebuhr who was the first to recognize the political significance of Appius Claudius and the importance of his reforms from the viewpoint of the history of Rome, valued Appius Claudius as a great statesman of patrician reaction who wanted to oust the new nobility from power in order to return it in the hands of patrician nobility.⁵ Mommsen in the first edition of *Römische Geschichte* still accepted Niebuhr's conception regarding Appius Claudius,⁶ later on, however, he changed his standpoint and gave a picture of the activity of Appius Claudius as a statesman which differed radically from Niebuhr's conception. In this new representation Mommsen depicts Appius Claudius as a distinguished democratic demagogue who, similarly to the Tarquinii, but even to the Greek popular leaders who — as Kleisthenes or Pericles —, were also of noble origin, realized radical democratic reforms in order to win by this the masses for himself and to acquire a special influence in the state. According to the opinion of Mommsen, the greatness of Appius Claudius and at the same time the source of his tragedy is that he was far ahead of his time, being a historical predecessor of the later great popular party leaders, who strived towards monarchy in Rome.⁷

Mommsen built up the conception of his own Appius Claudius on his results achieved by a philological and critical research method. The anti-Claudian tendency consistently returning in Roman historiography, in the course of which annalistics shows all the old members of the *gens Claudia* as inexorable enemies of the plebs, was branded by Mommsen as a conscious falsification, which according to him was due to Licinius Macer, an annalist of

³ The most recent discussion of the chronological questions connected with the censorship of Appius Claudius see L. FARAVELLI: *La censura di Appio Claudio Cieco e la questione della cronologia*. Como 1937.

⁴ A detailed survey of the sources regarding Appius Claudius in MÜNZER RE III. 2681 ff.

⁵ RG III.² 344 ff.

⁶ RG I. 446

⁷ Röm. Forsch. I. 301 ff.

the 1st century B. C. According to his opinion the description given by Diodoros on the activity of Appius Claudius as a censor, is the authentic source upon which investigation can rely in the reconstruction of the censorship of Appius Claudius. In fact, the description of Livy on the activity of Appius as a censor is more or less identical with this.⁸

For the conception of Mommsen, from the viewpoint of the criticism of sources, the great difficulty was meant by those informations of annalist tradition, which tell us about the career of Appius Claudius after his censorship. The Roman annals of Diodoros are closed with the year 302 and Livy who from this date onwards is almost the only source of information on the career of Appius Claudius, in contradiction to the earlier, radical democratic attitude of the latter during his censorship, shows Appius Claudius consistently as an anti-plebeian, reactionary, patrician politician. According to the statement of Livy and Cicero, in 300 B. C. Appius Claudius protested against the passing of the *lex Ogulnia* which insured places for the plebeians in the collegia of the pontifices and augures.⁹ In 297, when he competed for consulship for the second time, violating the *leges Liciniae Sextiae*, he strive to have the patrician Fabius Rullianus as his fellow consul instead of a plebeian.¹⁰ As an interrex, before 290, at the meeting held for the election of consuls he rejected the candidacy of a plebeian, against which M. Curius, tribune of the people, took sides successfully.¹¹

Characterizing Appius Claudius on the basis of his activity as a censor, as a pro-plebeian patrician statesman, Mommsen did not regard these data as to be brought in harmony with his conception. Therefore he had recourse to a rather arbitrary way. He branded as the falsification of annalistics all informations, which show Appius Claudius in an anti-plebeian interpretation.¹² Thus the master of the philological-critical school presumed immediately falsification, wherever he saw illogicalness in the sources. This exaggeration of criticism in the direction of rationalism lead then necessarily to the rationalist hypercriticism which in the works of Pais reached its summit in the complete destruction of the building of ancient Roman history.¹³

The popular leader of distinguished origin who with his radical democratic reforms draws the people on his side and thus is a forerunner of the later great pro-people politicians of republican Rome, this is the picture drawn by Mommsen on Appius Claudius, and almost to the present day this characterization of Appius Claudius returns again and again in the great comprehensive elaboration

⁸ Röm. Forsch. I. 307 ff.

⁹ Liv. X. 7. 1.

¹⁰ Liv. X. 15. 7—12. cf. *Auct. de viris ill.* 34.4: *ne consulatus cum plebeis communicaretur, acerrime restitit.*

¹¹ CICERO Brut. 55.

¹² Röm. Forsch. I. 310 foll. Cp. LEJAY: *Revue de Philologie* 44 (1920) 97 foll.

¹³ FISCHER (FERENCZY): *Történetírás* I (1937) 238 ff.

tions of Roman history and constitutional history.¹⁴ Mommsen's appraisals on the great constitutional innovations of the censorship of Appius Claudius, on the *senatus lectio* and the reform of the tribal organization proved to be similarly lasting. According to Mommsen, Appius Claudius was the first censor who on the basis of the *plebiscitum Ovinium*, mentioned with Festus, carried out the *senatus lectio*.¹⁵ The circumstance that already in 311 B. C., or still during the censorship of Appius Claudius, the consuls no longer recognized the *senatus lectio* of Appius Claudius and also the *plebiscitum Ovinium* serving as a basis for the former, was not held significant by Mommsen and besides this he expressed his opinion that all the *senatus lectiones* following that of Appius Claudius were carried on according to the *plebiscitum Ovinium*.¹⁶ It can be attributed to the high prestige of Mommsen that his conception regarding the validity of the *plebiscitum Ovinium* was not doubted by anybody and only Siber differed from Mommsen's conception, but only in regard to the dating of the plebiscite.¹⁷

Mommsen's conception of the tribal reform of Appius Claudius set also deep roots in professional literature. Although in this question he did not meet by far with such unanimous approval as in the case of his conception on the reform of the senate, a considerable majority of the comprehensive elaborations of Roman constitutional law have accepted his theses on the tribal reform of Appius Claudius.¹⁸ According to Mommsen up to 312 i.e. up to the censorship of Appius Claudius, landed property was the condition of belonging to the tribes and thus those who had movable property or were propertiless, were not taken up among the *tribules*, who in his opinion were the landowner tribe members. In Mommsen's view, the tribal reform of Appius Claudius meant that those who had no landed property and whom he identified with the *aerarii*, were taken up in the tribes. As a consequence from this time onwards movable property was made equivalent with landed property the mostly urban elements acquired the majority in the *comitia tributa* as well as in the *comitia centuriata*. In 304 B. C. the censors Fabius Rullianus and Decius Mus modified the tribal reform of Appius Claudius to the effect that they assigned those who had no landed

¹⁴ Cf. DE SANCTIS: *Storia dei Romani*. II. 227 ff.; BELOCH: RG. 481 foll.; JONES: CAH, 7 (1928) 531 foll.; SCULLARD: *A History of the Roman World from 253 to 146 B. C.* London 1935. 105 foll.; HOMO: *L'Italie primitive*. Paris 1938.² 230; and *Institutions politiques romaines*. Paris 1950.² 71 ff.; PARETI: *Storia di Roma*, II. Torino 1952. 32 foll.; GIANNELLI: *La repubblica romana*. Milano 1955.² 271 foll.; DE FRANCISCI: *Storia del diritto romano*, I.² 1943. 209, 263. II.² 1944. 6; BONFANTE: *Storia del diritto romano*, I.⁴ 1958. 273; v. LÜBTOW: *Das römische Volk*. Frankfurt a. M. 1955. 109; DE MARTINO: *Storia della costituzione romana*. Napoli 1958. I.² 329 foll.; E. MEYER: *Römischer Staat und Staatsgedanke*. Zürich—Stuttgart 1964.³ 83 foll.

¹⁵ Röm. Staatsrecht II. I. 395 foll.

¹⁶ Röm. Staatsrecht II. I. 398 Remark 1.

¹⁷ Die plebejischen Magistraturen bis zur lex Hortensia, *Festschrift für A. Schulze*, Leipziger Rechtswissenschaftliche Studien Heft 100. Leipzig 1938. 49.

¹⁸ Cf. list of literature on constitutional law in note 14.

property to the four urban tribes and thus they restored the earlier political influence of the agrarian population.¹⁹

Mommsen's conception on the characterization of Appius Claudius and the significance of his reforms, with the exception of a few representatives of rationalist hypercriticism,²⁰ was almost unanimously adopted by investigation, proposing at the most certain insignificant modifications in connection with them.²¹ The great historical and legal historical comprehensive works — apart from a few exceptions — up to the latest times have been standing under the influence of Mommsen's conception.²² This is the more curious, as on part of modern special investigations critical standpoints were manifested more and more frequently in connection with his views regarding Appius Claudius and they rendered undisputable that the conception of Mommsen in its whole and in its details requires already modifications or revision. Lejay who since the appearance of Mommsen's works (apart from the excellent prosopographical study of Münzer) wrote the first monography on Appius Claudius, pointed out the arbitrary attitude of Mommsen regarding the criticism of the sources and obviously did not agree with the characterization given by him on Appius Claudius, but at the same time he did not make any attempt to change the appraisal of Mommsen essentially.²³ The short characterization by W. Schur on Appius Claudius also follows Mommsen.²⁴ The first criticism of great effect regarding the views of Mommsen on the censorship of Appius Claudius was manifested by Fraccaro. The excellent scientist of Pavia, criticizing the characterization given by Mommsen on the tribal reform of Appius Claudius, raises convincing arguments to the effect that already before 312 B. C. all Roman citizens, whether they had any landed property or not, were members of one of the tribes, and thus we cannot accept Mommsen's conception according to which the citizens having no landed property were admitted to the tribes only through the reform of Appius Claudius. At the same time Fraccaro denied the interpretation given by Mommsen on the *tribules* and the *aerarii*. He pointed out that *tribules* does not mean only those tribe members who have landed property and doubted Mommsen's assumption, according to which under the term *aerarii* we must understand the category of citizens having no landed property.²⁵

¹⁹ Die römischen Tribus in administrativer Beziehung. Altona 1864. Röm. Forsch. I. 151, 305, Röm. Staatsr. II.³ 405.

²⁰ PAIS: Storia di Roma, I. 2. 1899. 452 foll.; 546 foll.; and Storia critica di Roma, IV. 1920. 177 foll.; and Storia di Roma, V. 1928. 193 foll.; SIGWART: Römische Fasten und Annalen bei Diodor. Klio 6. (1906) 269 foll., 341 foll.

²¹ Cf. DE SANCTIS: Storia dei Romani, II.² 214; BELOCH: RG. 482.

²² Cf. the literature listed in note 14.

²³ Appius Claudius Caecus. Revue de Phil. 44 (1920) 92 foll.

²⁴ Appius Claudius. Menschen die Geschichte machten. Wien 1931. I. 106 foll.

²⁵ «Tribules» ed «aerarii». Una ricerca di diritto pubblico romano. Athenaeum. N. S. 11 (1933) 150 foll. = Opuscula II. Pavia 1957. 149 ff.

The characterization given by Mommsen on Appius Claudius the statesman, was modified considerably by Altheim in one of his excellent studies.²⁶ He shows Appius Claudius, as the leader of a noblemen's party which rivalled with another noblemen's party, headed by Fabius Rullianus. Thus Appius Claudius was not a patrician lord proclaiming democratic principles who strived for autocracy, but simply a large-scale party politician who proclaimed the democratic principles in interest of his own political aims, and whose activity was decisively influenced by the attitude of the noblemen's party opposed to him. It becomes clear from the evidence raised by Altheim that Appius Claudius «was not ahead of his time», as it was claimed by Mommsen. On the contrary, he stood in the political and intellectual currents of his age. It is a fact that he was an eminent political and intellectual personality, of a pioneering importance in many respects. The source of his greatness, however, was just the fact that he was not separated from his age, but took the lead of the political movements of his age and became a pioneer of its intellectual trends.²⁷

Simultaneously with Altheim, Kaser, the excellent German legal historian, also took sides in connection with the tribal reform of Appius Claudius.²⁸ His statements agree with those of Fraccaro in as much as also in his opinion the affiliation to a tribe was not bound to landed property even before the censorship of Appius Claudius, the only liability was that everybody had to belong to the tribe competent according to his domicile. The tribal reform of Appius Claudius, on the basis of which everybody could be admitted to any tribe according to his preference, rendered according to Kaser the possibility to the *libertini* for the first time to become members of a tribus.²⁹

Garzetti's study represents an important phase of special investigation dealing with Appius Claudius.³⁰ On the basis of a thorough study of the sources and the results of modern investigation, the eminent Italian historian has deprived the figure of Appius Claudius definitively of the features of the patrician demagogue, and examined him as an excellent political personality of the turn of the 4th and 3rd centuries. Analysing the relationship of Appius Claudius, the politician, to the society and parties of his age, Garzetti arrived at the conclusion that the political activity of Appius Claudius can mostly be compared to that of Publilius Philo, the great leader of the plebs, but can by no means be regarded as the forerunner of the later great people's party politicians striving for autocracy. Appius Claudius was rather a realistic politician than a revolu-

²⁶ Appius Claudius, Rom und der Hellenismus. Amsterdam—Leipzig 1941. 96 ff.

²⁷ ALTHEIM: RG I. 1956. 80 ff.

²⁸ Die Anfänge der manumissio ZS. 61 1941. 153 ff., 168 foll.

²⁹ In many respects similar views were represented by L. R. TAYLOR in his excellent work: The Voting Districts of the Roman Republic. Rome 1960. American Academy in Rome, Papers and Monographs XX. 132 ff. against him takes sides GINTOWT: Eos 43 (1948/1949) 198 ff.

³⁰ Athenaeum 25 (1947) 175 ff.

tionary and although he was opposed to nobility, he was not aligned to the interests of the plebeian class.

Garzetti's study has in many respects corrected the idealized picture drawn by earlier investigation on Appius Claudius under the influence of Mommsen. It is doubtless, on the other hand, that he has dulled the significance of Appius Claudius in a greater degree than necessary. The Italian scientist has accepted Münzer's essentially correct conception on the competition of the parties of the nobility, but he did not examine it with sufficient criticism. Thus he did not pay proper attention to the great economic and social transformation, which was about to take shape just in the age of Appius Claudius. In fact, we cannot correctly define the historical role of Appius Claudius without a thorough valuation of this transformation.

Staveley's study is the most significant product of recent monographic literature dealing with Appius Claudius.³¹ Developing further the results of Fraccaro and Garzetti and expanding them into a new, more modern conception, he goes farther off from the way shown by Mommsen even more than his predecessors. He is the first investigator who examines not only the career of Appius Claudius after his censorship more earnestly, but makes an attempt — even if in a narrow range — to extend his investigations also to the career of Appius Claudius before his censorship. Staveley has recognized the direction and importance of the great economic and social transformation, which was unfolding in the age of Appius Claudius, and judged the political importance of Appius Claudius from the viewpoint of this transformation giving a new trend to the history of Rome.

The criticism of sources on the basis of which Mommsen evolved his own conception on Appius Claudius, has been shaken as a result of more recent investigation. Mommsen's view about the greater authenticity of Diodoros which was in general accepted at the end of the last and even in the beginning of our century, has not been proved by recent researchs.³² On the other hand, the uniform disapproval on Livy as a historical source which earlier was regarded more or less as a canon, today has already given place to a more just judgement.³³ Mommsen's assumption according to which the anti-Claudian attitude of annalistics can be traced back to Licinius Macer,³⁴ was rejected already by Münzer,³⁵ and more recently Alföldi, with a convincing argumentation, placed the authorship of Fabius Pictor in the foreground.³⁶ Thus, more

³¹ The Political Aims of the Appius Claudius Caecus, *Historia* VIII 1959. 410 ff.

³² A new thorough consideration of investigations regarding Diodoros, see G. PERL: *Kritische Untersuchungen zu Diodors römischer Jahrzahlung*. Berlin 1957.

³³ Cf. G. WALSH: *Livy — his Historical Aims and Methods*. Cambridge 1963. M. SORDI: *Sulla cronologia liviana*, «*Helikon*» *Rivista di tradizione e cultura classica dell'Università di Messina* 4 (1965) 1.

³⁴ *Röm. Forsch.* I. 315.

³⁵ *RE.* III. 2681 foll.

³⁶ *Emotion und Hass bei Fabius Pictor*, Antidoron E. Salin. Tübingen 1962. 117 ff.

recent investigation and together with this the development of historical criticism have attacked Mommsen's conception on the censorship of Appius Claudius also in its foundations. The only points of Mommsen's theory against which no objections have been raised so far, are the famous *senatus lectio* and the *plebiscitum Ovinium* connected with it.³⁷ Giving a detailed analysis of the sources regarding the censorship of Appius Claudius in course of the following discussions, we make an attempt to take under revision also the problematics of the senate reform of Appius Claudius.

2. QUESTIONS OF CHRONOLOGY

IC. PLAUTIUS AND THE PUBLIC WORKS

In connection with the censorship of Appius Claudius the first problem is the question of date and duration of the censorship. The beginning of the censorship of Appius Claudius is dated by Livy to 312 B. C.,³⁸ while Diodoros discusses the events of the censorship of Appius Claudius under the year 310.³⁹ The majority of the investigators take sides for the datum of Livy *i.e.* for the year 312,⁴⁰ the greater probability of which is underlined by the circumstance that this is accepted also by the *Fasti Capitolini*, as well as by Frontinus, independent from Livy.⁴¹ The order and duration of the lustra begun in 312 also render the authenticity of Livy's datum likely.⁴² This is connected with another problem *viz.* the question regarding the duration of the censorship of Appius Claudius. The dispute on this problem cannot be decided with full certainty. The evidence of the sources, however, supports the assumption that he remaining in his office for five years he resigned of it only in 308, immediately before his competition for consulship.⁴³ The beginning and the duration of the

³⁷ The great study of O'BRIEN MOORE on the Senate: RE VI. Suppl. Bd. (1935) 685 ff. in its essence accepts the views of MOMMSEN in connection with the *plebiscitum Ovinium* and the *senatus lectio* of the year 312. Similarly, the most recent investigation in legal history invariably follows MOMMSEN, *viz.* DE FRANCISCI: *Storia del dir. rom.* I.² 309; DE MARTINO: *Storia della cost. rom.* I.² 361, 409; E. MEYER: *Römischer Staat und Staatsgedanke*, 1964.³ 84.

³⁸ IX. 29. 5. . . . *et censura clara eo anno Ap. Claudii et C. Plautii fuit*; cf. IX. 28. 8: . . . *consules M. Valerius, P. Decius* . . .

³⁹ XX. 36. 1.

⁴⁰ Cf. NIEBUHR: RG III 345; MOMMSEN: RG I.¹³ 456; RF I. 301; BELOCH: RG 481; FARAVELLI: *La censura di Appio Claudio e la questione di cronologia*. Como 1937. ff.; CRAM: *Harvard Studies in Class. Phil.* 11 (1940) 82; SUOLAHTI: *The Roman Censors*. Helsinki 1963. 223. The year 310 is accepted as the beginning of the censorship of Appius Claudius by C. SIEKE: *Ap. Claudius Caeccus Censor*, Diss. Marburg 1890. 6; NEUMANN—GERCKE—NORDEN: *Einleitung* III.² 1914 443 ff.; NIESE—HOHL: *Grundriss der röm. Gesch.* München 1923.⁵ 84; DE SANCTIS: *Storia dei Romani*, II. 226 n. 1. try to adjust the two data.

⁴¹ DEGRASSI: *Inscr. It.* XIII. 1. 37; FRONTIN: *De aquaeduct.* 5.

⁴² Cf. LEJAY: *Revue de Phil.* 44 (1920) 106; GARZETTI: *Athenaeum* 25 (1947) 191. The XXVth lustrum began in the year 318, the XXVIth lustrum in 312, the XVIIth lustrum in 307 and the XXVIIIth lustrum in 304.

⁴³ Cf. MOMMSEN: *Röm. Staatsr.* II 321. Remark 2; MÜNZER: RE III. 2682 foll., FARAVELLI: *op. cit.* 4 foll.; GARZETTI: *op. cit.* 191 foll.

censorship of Appius Claudius are naturally problems interconnected with each other, since the question of the authenticity of Livy's datum regarding the assumption of the office cannot be decided without the investigation of the data on the duration of the censorship. Recent research points out the uncertainty of the chronology of Diodoros with convincing arguments,⁴⁴ but also those data of the ancient sources contradict to the year 310 as the date of entering the censorial office by Appius Claudius, which relate to the duration of the censorship of Appius Claudius. These data render doubtless that his censorship lasted for over four years, even if we do not take into consideration the dictatorial year interpolated to 309 (445 Varr.).⁴⁵ Since in 307 Appius Claudius fulfilled already the duties of a consul and according to certain annalists (Liv. IX. 42. 3) he competed still during the time of his censorship for consulship, he undoubtedly held the censorial office till 308. And since according to the unanimous statement of the sources Appius Claudius was censor for over four years, there is no other possibility, than to suppose that Appius Claudius and his partner in censorship, Plautius, entered their office in 312, or at the date given by Livy.

Earlier professional literature also dealt much with the relationship of Appius Claudius to his colleague, L. Plautius.⁴⁶ According to Diodoros, L. Plautius obediently followed his patrician colleague,⁴⁷ while Livy, on the other hand, maintains that he resigned of his office on account of his dissatisfaction with the *senatus lectio* of Appius Claudius.⁴⁸ According to Frontinus, however, Plautius took a very active part in the construction of the aqueduct⁴⁹ and this information, linked up with the characterization given by Diodoros on Plautius, renders Livy's testimony on the premature resignation of Plautius unlikely. Nor

⁴⁴ Cf. R. STIEHL: Die Datierung der kapitulinischen Fasten. *ANAPXAI* 1. 1957.; WERNER: Der Beginn der röm. Republik. 166 foll.; PERL: Kritische Untersuchungen zu Diodors römischer Jahrzahlung. Berlin 1957.

⁴⁵ Cf. LEUZE: Zur Geschichte der röm. Zensur. 20 foll.; WERNER: Der Beginn der röm. Republik. 200 foll.

⁴⁶ The praenomen of Plautius is Caius in Livy and Lucius in Diodoros. In the name of Plautius, the consul of the year 318 the cognomen Venox and the praenomen Lucius appear in Livy (IX. 20. 1.). GARZETTI (Appio Claudio Cieco. 190 foll.) should like to identify the censor of the year 312 with C. Plautius holding consulship in the year 329; at the same time, however, he also draws the attention to the circumstance that the praenomen of the Plautius holding consulship in the year 318 is Lucius as mentioned in Diodoros, and his cognomen is identical with the cognomen of the censor Plautius to be found in Frontinus (*De aquaeduct.* 5.). Frontinus, however, gives the praenomen Caius to the censor just like the *Fasti Capitolini* which gives also the cognomen Venox (DEGRASSI: *Inscr. It.* XIII. 1. 37.). MÜNZER vacillates very much and does not take sides definitely in the question, whether the censor Plautius can be identified with the consul of 318 or 329, although he does not regard the former case to be excluded. (RAP. u. Af. 48 foll.; RE XXI. 1. 23.). It is more likely that the compilers of the Augustan Age, Livy and Diodoros, misspelled the praenomen of the censor Plautius, who as a result of this can be identical with the consul of the year 329, as well as with that of the year 318.

⁴⁷ XX. 36. 1.

⁴⁸ IX. 29. 7. Cf. 33. 4.

⁴⁹ *De aquaeduct.* 1. 5.

can it be believed that Appius Claudius could have carried out his highly important reform activity under the objection of his colleague. It also does not seem to be likely, what is asserted by Livy — in contradiction to his previous statement — in one of his other passages that Plautius resigned of the censorship as a protest against the deliberate extension of the office by Appius Claudius, or after fulfilling the legal duration of censorship.⁵⁰ Although the extension of the censorial period of Appius Claudius did not take place with the consent of the senate, as this is presumed by Mommsen,⁵¹ still it was not in contradiction to the spirit of Roman constitutional law.⁵² Appius Claudius, as this is also pointed out by Livy himself, referred to the legal custom previous to the *lex Aemilia*,⁵³ when the duration of the censorial office was five years and he remained further in his office without authorization.⁵⁴

The two most lasting achievements of the censorship of Appius Claudius were the construction of the excellent communication road leading from Rome to Capua, bearing his name, and the first water-conduit, corresponding also to modern hygienic demands.⁵⁵ It is very likely that the idea of the two large-scale public works was conceived in Appius Claudius still while he was aedilis curulis. They could not be carried out at that time partly on account of the fact that such great undertakings exceeded the sphere of activity of the aedilis, and partly — what is connected with the former one — because those large sums of money which would have been spent on their construction, could not be procured either by the aedilis or by the censors except with the consent of the other state organs, first of all the senate. Being at the head of Roman public finances and entitled for the carrying out or leasing out of all public works the censor was a high official of the state,⁵⁶ who as a result of the importance of his sphere of activity, with regard to his prestige was hardly behind the consul and the praetor.⁵⁷ The most recent investigations have discovered evidence to the effect that the censor held also the supreme power, the *imperium domi*.⁵⁸ But even if we accept the new theory on the imperium of the censor, it is doubtless that without the consent or decision of the senate, the censor could not dispose arbitrarily over the use of the state incomes and could not use the

⁵⁰ IX. 34. 10.

⁵¹ Röm. Staatsr. II. 1. 324, especially Remark 2, 351; SUOLAHTI: The Roman Censors, 29.

⁵² U. COLI: Sui limiti di durata delle magistrature romane, Studi Arangio-Ruiz IV. 409.

⁵³ IX. 33. 8—9.

⁵⁴ Cf. GARZETTI: *op. cit.* 194, note 1.

⁵⁵ On these in detail in the studies written under the adequate key-words of the RE; for the listing of the detailed literature see also the already quoted Appius Claudius study of MÜNZER: RE III. 2682, as well as T. FRANK: Economic Survey of Ancient Rome, I.² 82 foll.

⁵⁶ Cf. MOMMSEN: Röm. Staatsr. II. 400 ff.

⁵⁷ Cf. MOMMSEN: Röm. Staatsr. II. 304 foll., 404 foll.; DE MARTINO: Storia della cost. rom. I.² 270 foll.; SUOLAHTI: The Roman Censors. Helsinki 1963. 57 ff.

⁵⁸ Cf. F. CANCELLI: Studi sui censori. Milano 1960. 33 foll.

state revenues according to his own discretion. Nor could he raise the taxes without the consent of the senate. Accordingly Appius Claudius was opposed to the prescriptions of the constitution when according to the information of Diodoros without asking for the sanction of the senate, he used all the revenues of the state for the expenses of the public works.⁵⁹ Thus the public works cannot be separated from the general reform activity of Appius Claudius. Those military, economic and social viewpoints, which inspired the great political reforms of Appius Claudius, undoubtedly influenced also the start of the public works. The initiating of the public works was definitely advantageous for the urban population which formed the kernel of the *factio forensis*, the party of Appius Claudius.⁶⁰ This, however, does not authorize to presume that these important public works involving very high expenses were carried through by Appius Claudius in the first place as party politician. Examining the question of the Capuan road and the aqueduct, we should not forget about the fact that Rome at this time was getting entangled in one of the greatest wars of her history. In case of victory she could hope to gain hegemony over Italy, while in case of a defeat even her independent existence as a state could be endangered. It is not difficult to realize how important these public works were from the military point of view. Especially the road leading to Capua was a strategical necessity from the viewpoint of the properties of Rome in Campania, although, of course, its commercial significance was also indisputable. The supply of the city with healthy water was necessary also from the viewpoint of war, even if its military importance is not so obvious. Since the great internal political reforms of Appius Claudius were in their final conclusion also to strengthen Rome strategically, and their realization was carried out by the change or transgression of the prescriptions of the old constitution just like that of the public works, it is obvious that there must be a relationship between the public works and the political reforms.

3. THE HERCULES CULT AND THE SERVI PUBLICI

The transformation to a state cult of the Hercules worship which previously had been performed by the gens of the Potitii (and that of the Pinarii), is counted among the reforms of the censor Appius Claudius Caecus not only by annalistics (Liv. IX. 29. 9—11), but also by the antiquarian tradition presumably to be traced back to Varro (Festus p. 270, c. Verg. Aen. VIII, 269, Macrob. *Sat.* III. 6. 14). The presumable historical kernel of this information, full of anecdotal features (the extinction of the gens *Potitia*, the becoming blind of Appius Claudius as a result of the revenge of gods), is that the Hercules worship of Greek origin was made a state cult in Rome by Appius Claudius the

⁵⁹ DIODOROS: XX. 36. 3.

⁶⁰ Cf. FRANK: *An Economic Survey of Ancient Rome* I.² 52.

censor and it was also he who organized — after the Athenian pattern — the institution of the *servi publici* which received a role in the rites of this cult.^{60a}

4. THE *SENATUS LECTIO*

THE PROBLEM OF THE PLEBISCITUM OVINIUM

The first important constitutional reform carried out by Appius Claudius — very likely soon after taking up his office — was the change of the earlier system of appointment of the senators rooted in traditions. The revolutionary novelty of the *senatus lectio* connected with his name is fairly well shown by the indignation, with which Livy, the historian reflecting the attitude of the ruling class, refers to it.⁶¹ But the radical character and condemnation of the reform of Appius Claudius by the nobility are similarly underlined also by Diodoros, the other main source of the censorship of Appius Claudius, to whom the only more or less detailed description of the *senatus lectio* can be ascribed.⁶²

Livy deals with the *senatus lectio* of Appius Claudius on three occasions, but in each case most laconically. He mentions the *senatus lectio* for the first time on the occasion of the taking up of their offices by Appius Claudius and C. Plautius, the censors of 312. According to him the *senatus lectio* was the cause why C. Plautius resigned his censorial office (IX. 29. 5—8).

The second occasion when Livy — in a similarly condemning tone — mentions the *senatus lectio* of Appius Claudius, is connected with the consuls taking up their offices in the year 311. Disregarding the *senatus lectio* held in the preceding year (by Appius Claudius), they summoned the Senate according to the roll in which it had been having its session before the *senatus lectio* (IX. 30. 1—2).

This second information of Livy on the *senatus lectio* of Appius Claudius contains more concrete facts than the first one. We learn from it that on the occasion of the *senatus lectio* the senators disregarded certain meritorious persons, as a result of which, according to Livy, the «senatorial order» was deformed. We also learn — what is similarly important — that the *senatus lectio* was carried out by the censors at their will. These two data contained in the second information of Livy are very important. The first testimony is important, because it contradicts to the information of Diodoros according to which Appius Claudius did not remove any old senators in the course of the *senatus lectio*.⁶³ The second evidence is therefore significant, because according to this the

^{60a} Cf. WISSOWA: *Religion und Kultus der Römer*.² 274; LATTE: *Römische Religionsgeschichte*. 213 foll.; HALKIN: *Les esclaves publiques chez les romains*. Bruxelles 1897. 49; BUCKLAND: *The Roman Law of Slavery*. 1908. 318 foll.; DRÓSDI: *Ant. Tan.* 6 (1959) 1 ff.

⁶¹ IX. 29. 5—8; 30. 1—2; 46. 10—11.

⁶² XX. 36.

⁶³ DIODOROS: XX. 36. 5.

senators acted on the occasion of the *senatus lectio* arbitrarily, or not according to their legal authority or according to the prescriptions of the existing law. This latter information is in contradiction to the assumption of modern investigators according to whom Appius Claudius carried out the *senatus lectio* on the basis of a law passed not much before, viz. the *plebiscitum Ovinium*, mentioned by Festus.⁶⁴

The *senatus lectio* of Appius Claudius is mentioned by Livy for the third time much later, in the course of the events of 304, in connection with the election of Ch. Flavius to aedile (IX. 46. 10). On this occasion, Livy, even if again only in one sentence, communicates an important fact about the *senatus lectio* of Appius Claudius which in fact can be regarded as a motivation for his earlier condemning opinion. He states that Appius Claudius was «the first, who defiled the Senate by appointing descendents of *libertini*». The underlining of the circumstance that Appius Claudius included in the senatorial roll also elements of servile origin, was first of all a flank-cut towards Julius Caesar and the triumviri, who in the course of their *senatus lectiones* acted similarly. We have no reason to doubt the authenticity of the datum, since it is confirmed also by Diodoros,⁶⁵ but it is very likely that at the most there could be only one or two *libertini* whose sons were appointed to senators and the tradition, hostile towards Appius Claudius, exaggerated these few cases with a propagandistic view.⁶⁶

The other main source, the description of Diodoros on the *senatus lectio* of Appius Claudius is not only much more detailed than that of Livy, but his data are in several points contradictory to those of the former (XX. 36. 3).

According to the description of Diodoros, Appius Claudius did not ignore any one of the members of the old Senate in the course of the *senatus lectio*, and even the underserving senators were appointed by him again. Thus the information of Diodoros contradicts here to Livy, according to whom in the course of the *senatus lectio* Appius Claudius disregarded a few deserving persons and by this he distorted the composition of the Senate. As it clearly appears from Diodoros, the revolutionary novelty of the *senatus lectio* of Appius Claudius did not mean that he left out the old senators from the Senate, but that he appointed new senators beside the old ones. Thus his reform first of all increased the number of Senate members, and secondly he appointed the new senators according to another principle, than it had been customary earlier. Diodoros clearly points out that in the course of the earlier *senatus lectiones* noblemen and high officials were appointed to the Senate, but he

⁶⁴ Festus, *Praeteriti senatores*, p. 250, LINDSAY; cf. MOMMSEN: *Röm. Staatsr.* III. 2. 856; O'BRIEN MOORE: *Senatus* RE VI. 686 foll., 692 foll.; E. MEYER: *Röm. Staat und Staatsgedanke*, 84.

⁶⁵ XX. 36. 3.

⁶⁶ Cf. O'BRIEN MOORE: RE VI. Suppl. Bd. 690.

does not mention the principle on the basis of which the new senators were appointed by Appius Claudius. From his description it only seems to be likely that the new senators were admitted in the Senate not on the basis of their descent and their high offices. This seems to be confirmed by the statement of Diodoros (which agrees with that of Livy and can also be found in Plutarchos),⁶⁷ according to which among the new senators there were also a few manumitted slaves. In fact the word ἀπελεύθερος used by Diodoros means manumitted slave, or *libertus*, while according to Livy also sons of manumitted slaves were appointed among the new senators. In my opinion we cannot attribute a significance to this difference. In the text of Diodoros we simply have to do with an inaccurate terminology originating from his inexperience in Roman institutions. This is the more likely as among the Greeks the social and political position of the manumitted slaves was entirely different from that of the Romans.⁶⁸ Judging from the later development we cannot doubt that Livy's terminology is here correct and in the case of the new senators we have to do not with the manumitted slaves themselves but with their sons.⁶⁹

Thus from the description given by Diodoros on the *senatus lectio* of Appius Claudius it becomes clear that Appius Claudius increased the number of senators, and that the appointment of the new senators was not carried out according to the earlier prescriptions of the *senatus lectio*. Diodoros does not maintain, what Livy does, *viz.* that in the course of the *senatus lectio* of the year 312 the censors acted arbitrarily, without legal power. He writes only about the indignation of the nobility as a reaction of the *senatus lectio*. On the other hand, we find also in Diodoros the statement known from Livius, according to which the consuls of the year 311 did not recognize the *senatus lectio* of Appius Claudius to be legal. But he explains the attitude of the consuls on the one

⁶⁷ Plut. Pomp. 13.

⁶⁸ On the Greek manumissions even today a competent authority is A. CALDERINI: *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia*. Milano 1908. Further important data on the problem of Greek slavery are rendered by E. WEISS: *Griechisches Privatrecht*, I. Leipzig 1923. 171 foll.; on the παραμονή besides CALDERINI more recently P. KOSCHAKER: *Über einige griechische Rechtsurkunden aus den östlichen Randgebieten des Hellenismus*, Abh. der Phil.-Hist. Kl. der sächs. Akad. d. Wiss. XLII. 1. 1931. 16.; see also POHLENZ: *Griechische Freiheit. Wesen und Werden eines Lebensideals*. Heidelberg 1955.; EHRENBERG: *Der Staat der Griechen*. Leipzig 1957. I. 26.

⁶⁹ Cf. Suet. Claudius 24: «... et Appium Caecum censorem generis sui proauctorem libertinorum filios in senatum adlegisse docuit, ignarus temporibus Appi et deinceps aliquandiu «libertinos» dictos non ipsos, qui manu emitterentur, sed ingenuos ex his procreatos.» I must remark here that the appearance of families of servile origin in Roman public life was not unfrequent. Apart from Cn. Flavius, follower of Appius Claudius, whose significance is equally stressed by the ancient Roman writers and modern investigation (cf. SCHULZ: *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*. Weimar 1961. 12, 18), the plebeian family Claudius Marcellus was of servile origin which gave also a consul in 331 B. C. (Cic. *de or.* I. 176: «Inter Marcellos et Claudios patricios centumviri iudicarunt, cum Marcelli ab liberto filio stirpe, Claudi patricii eiusdem hominis hereditatem gente ad se redisse dicerent.») Cf. MOMMSEN: *Röm. Staatsr.* III. 420 foll.

hand with hatred toward Appius Claudius, and on the other hand with the assumption that the consuls tried to please to the nobility.⁷⁰

Thus the texts of Diodoros and Livy leave open the decision of the important question, whether Appius Claudius carried out his new type *senatus lectio* on the basis of legal power or arbitrarily, by infringement of the earlier customs. Livy, on account of his consistently anti-Claudian attitude cannot be regarded as an unbiased source in connection with the *senatus lectio* of Appius Claudius. Nor can the silence of Diodoros on a law, on the basis of which Appius Claudius carried out the *senatus lectio*, in itself be regarded as evidence to show that Appius Claudius acted on the basis of a law, or to the effect that he carried out the new type *senatus lectio* arbitrarily. The indignation of the nobility, about which Diodoros reports, as well as his report agreeing with Livy, according to which the consuls of the year 311 did not recognize the *senatus lectio* to be legal, renders rather likely the view, found in Livy, viz. that Appius Claudius carried out the designation of the senators arbitrarily, without a legal ground.

Modern investigation of legal history, just on account of the unsatisfactory information of Diodoros and Livy, looked for the explanation of the *senatus lectio* of Appius Claudius in other ways. Beside the two data of Cicero⁷¹ and Zonaras⁷² attention was directed in the first place to a passage of Festus (Lindsay p. 290) which sums up the history of the *senatus lectiones* in the compact style of the lexica.

The passage of Festus is a source of unparalleled importance in regard to the history of *senatus lectiones*. From this it becomes clear that the right of the censors practised from the end of the 4th century up to the discontinuation of this office authorized them to compile the roll of the senators, is based on a plebiscite, named after its initiator, the tribune of the people, Ovinus. Unfortunately the defectiveness of the passage of Festus does not give information on the question, when the *lex Ovinia* transferring the *senatus lectio* on the censors came about. Besides its text is rather obscure as regards the way of appointment of the senators.

Hoffmann who was the first to recognize the importance of the Ovinian law, dated it immediately after the *leges Liciniae Sextiae*.⁷³ It is Mommsen's historical merit that he brought the coming about of the *lex Ovinia* into connection with the censorship of Appius Claudius. In his opinion Appius Claudius was the first censor who carried out his famous *senatus lectio* on the basis of the *lex Ovinia*. Mommsen qualified the Ovinian law a plebiscite and defined its importance in the fact that, on the one hand, it took away, the right of

⁷⁰ Diodoros XX. 36. 5: εἰθ' οἱ μὲν ὕπαιτοι διὰ τὸν φθόνον καὶ διὰ τὸ βούλεσθαι τοῖς ἐπιφανεστάτοις χαρίζεσθαι συνήγον τὸν σύγκλητον οὐ τὴν ὑπὸ τοῦτον καταλεγεῖσαν, ἀλλὰ τὴν ὑπὸ τῶν προγεγενημένων τιμητῶν καταγραφείσαν.

⁷¹ Cluent. 43. 121.

⁷² XII. 19. 7.

⁷³ Der römische Senat. 12.

appointment of the senators from the consuls and transferred it on the censors, and on the other hand, it abolished the life-long character of the Senate membership. Mommsen determines also the date of the plebiscite. According to him the *plebiscitum Ovinium* came about between 318 and 312.⁷⁴

Mommsen, while pointing out the relationship of the *senatus lectio* of Appius Claudius with the *plebiscitum Ovinium*, did not attribute any importance to the remarkable phenomenon that neither Diodoros, not Livy, or besides them — with the exception of Festus — no other ancient author mentions such an important plebiscite, as the *plebiscitum Ovinium*. Mommsen easily passed also over the datum of Livy and Diodoros according to which the consuls of the year 311 did not recognize the *senatus lectio* of Appius Claudius. As an explanation of this fact Mommsen raised the argument that the right for *senatus lectio* of the censors was a two recent achievement, which violated the old right of the consuls for the appointment of the senators and therefore in the vehemence of political fight they cast doubt on it.⁷⁵ Besides this, without a thorough examination of the text of the *plebiscitum Ovinium* left behind by Festus, Mommsen makes the statement that also the later *senatus lecties* of the republic were carried out on the basis of the *plebiscitum Ovinium*. For this he mentions only one evidence which seems to have been held by him of decisive importance. The phrase *legere in senatum* which was more frequently used in connection with the earlier *senatus lectiones*, was brought by him into connection with the expression *optimum quemque legere* of the Ovinian law to be read in Festus, or was qualified by him to be an adoption from there.⁷⁶

Modern historical and legal historical investigation under the influence of the authority of Mommsen -- with one exception⁷⁷ -- accepted the dating of the *plebiscitum Ovinium* recommended by him, and also the conception of his, according to which as from the censorship of Appius Claudius the *senatus lectiones* of the republican period were carried out on the basis of the *plebiscitum Ovinium*.⁷⁸ Although attempts have been made for the correction of the text of the *plebiscitum Ovinium* preserved by Festus and by the help of this for a certain change of its interpretation,⁷⁹ the correctness of Mommsen's conception has not been called in question by anybody. And since in the classic age of

⁷⁴ Röm. Staatsr. II. 1. 394 foll.

⁷⁵ Röm. Staatsr. II. 1. 395, Remark 1.

⁷⁶ Röm. Staatsr. II. 1. 398, Remark 1.

⁷⁷ SIBER: Die plebejischen Magistraturen bis zur lex Hortensia, Festschrift für A. Schulze, Leipziger Rechtswiss. Studien 100. Leipzig 1938. 49, dates the coming about of the *plebiscitum Ovinium* between the years 293 and 275.

⁷⁸ Cf. O'BRIEN MOORE: Senatus, RE VI. Suppl. Bd. 690; DE FRANCISCI: Storia del dir. rom. I.² 309; KASER: Röm. Rechtsg. 38, 44; DE MARTINO: Storia della cost. rom. I.² 408 foll.; HEUSS: Röm. Gesch. 38 foll.; E. MEYER: Röm. Staat und Staatsgedanke. 1962.⁴ 84.

⁷⁹ Cf. DE SANCTIS: Storia dei Romani, II.² 215 n. 110; CARCOPINO: Bulletin de la société des antiquaires de France. 1929. 75 foll.; DE MARTINO: Storia della cost. rom. I. 408, n. 3; STAVELEY: Historia VIII. 1959. 413.

the republic, as well as in the time of its decline, the censors appointed the curulian exmagistrates to senators, the view became a canon that as from the 4th century B.C. the practice in effect on the appointment of senators — the composition of the Senate from the former curulian magistrates — was traced back to the *plebiscitum Ovinium*.

I have already pointed out a few really conspicuous circumstances, which contradict to the assumption that the *senatus lectiones* after Appius Claudius were carried out according to the prescriptions of the *plebiscitum Ovinium*. First of all it is difficult to imagine that such an important law, which regulates the appointment of the senators, would be mentioned only by one ancient writer. And even this one writer lived in a rather late period. Verrius Flaccus, whose work was abridged by Festus, lived in a period, when the right of the censors regarding the *senatus lectio* was already in decline. It can hardly be disputed that Verrius Flaccus borrowed the mentioning of the *plebiscitum Ovinium* from one of the works of Terentius Varro, very likely from the *Antiquitates*, which contained many data on the old Roman law, which in his own age fell already into oblivion.⁸⁰ It is possible and even likely that Varro wrote in more detail on the history of the *senatus lectiones*, than what we can read in Festus on the basis of Verrius Flaccus, but the strive for compactness, which is a characteristic of lexicon writers, involved that Verrius Flaccus, or even more Festus, were satisfied by writing in the briefest way on the right of the censors for appointing senators, an institution which in their age was not significant at any rate. The most conspicuous circumstance, which at the same time is difficult to explain, is the silence of Cicero on the *plebiscitum Ovinium*, if this plebiscite was really in effect in his age. Nor can the assertion of Zonaras according to which the censors carried out the *senatus lectio* at their own discretion, even if it cannot be regarded as a decisive evidence be fully disregarded.⁸¹

However, there are not only argumenta ex silentio contradictory to the later application of the *plebiscitum Ovinium*. If already the very first application of the law, viz. the *senatus lectio* of 312, was not recognized by the consuls to be legal, under what justification can we presume that later on the ruling class reconciled itself to its application? Mommsen's argumentation cannot be held convincing. The consuls of the year 311 — as this becomes evident from both Livy and Diodoros — did not hold the *senatus lectio* of Appius Claudius derogatory and did not reject it, because it was the act of the censors, but they protested against the way in which the censors appointed the senators, i.e. against the composition of the Senate. An evidence for this is also that later on no objection was made against the censors practising the right to appoint the

⁸⁰ Cf. TEUFFEL—KROLL—SKUTSCH: Geschichte der römischen Literatur, I.⁶ 322; SANIO: Varroniana in den Schriften der römischen Juristen. Leipzig 1867.

⁸¹ Zon. XII. 19. 7.

members of the Senate. From this it is obvious that the consuls and the Roman ruling class represented by them raised objection against those new prescriptions, as this becomes clear also from the texts of Livy and Diodoros, which were laid down by the *plebiscitum Ovinium* regarding the appointment of the senators and on the basis of which the famous *senatus lectio* of 312 was carried out by Appius Claudius. The prescription given by the *plebiscitum Ovinium* for the appointment of the senators, appears in the sense of three phrases in the text of Festus. These are as follows: *ex omni ordine*, *optimum quemque*, and *curiatim*.

The examination of the phrase *ex omni ordine* is facilitated by the fact that the word *ordo* frequently occurs in the writers of the last two centuries of the republic. This word used by these writers for the designation of closed social classes, viz.: *ordo senatorius*, *ordo equester*. But the word *ordo* occurred also in the designation of groups or layers belonging to the plebeian class, like *ordo scribarum*, or *ordo libertinorum* or *libertorum*.⁸² Cicero and Asconius mention also the *tribuni aerarii* as *ordo*.⁸³ Kübler ascribes to the word *ordo* the meaning «professional class».⁸⁴ This interpretation is correct, but in the case of the *plebiscitum Ovinium* the category of *ordo* is perhaps even broader than this, viz.: here we must understand simply a social class or layer. In fact this interpretation of the word *ordo* is in harmony with the assertion of Diodoros in connection with the *senatus lectio* of Appius Claudius. He underlines the fact that not only noblemen and high officials, but besides these also many other persons were appointed by Appius Claudius in the Senate, including also persons of servile descent. On the basis of this the phrase *ex omni ordine* must be translated or interpreted «from all social classes (layers)», not excluding even those of servile descent.

While the phrase *ex omni ordine* instructed the censors, representatives of which social classe should be appointed to the Senate, the phrase *curiatim* referred to the way of election of the senators.⁸⁵ The fact that the senators had to be appointed from each curia, was no innovation as compared with the practice followed earlier. The old patrician Senate was the representative organ of the curiae and in the later patrician-plebeian Senate the representatives of

⁸² Cic. *Verr.* II. 3. 183—184; *Cat.* IV. 16; Liv. XLII. 27. 51; XLIII. 12. 9; Gell. V. 19. 12. Cf. HELLEGOUARCH: *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*. Paris 1963. 507.

⁸³ Cic. *Mil.* 24. Cf. Rab. perd. 27; Asc. p. 15, 19. Cf. MOMMSEN: *Röm. Staatsr.* III. 1. 189 foll.; *Lengle*: *RE* II. 6 (1937) 2433.

⁸⁴ *RE* XIII. 1. 932.

⁸⁵ The correction of *curiatim* into *iurati* is held erroneous by DE FRANCISCI: *Primordia civitatis*. 590. n. 182. Cf. MOMMSEN: *RF.* I. 260; *Röm. Staatsr.* III. 2. 260. The correction of *curiatim* into *curulem* (cf. CARCOPINO: *Bull. de la Soc. nat. des antiquaires de France*. 1929. 75 foll.; STAVELEY: *Historia* 8 [1959] 713) is a forcible attempt of justification regarding the later *senatus lectiones* which become general under the influence of MOMMSEN.

the curiae were obviously included.⁸⁶ This situation did not change essentially later on, even after the development of the tribal division, because the tribal and curial organizations not only existed simultaneously, but they also merged into each other to a certain extent.⁸⁷ Even if the data on the equality of the number of curiae with that of the tribes are disputable,⁸⁸ the close relationship which came about between the two organizations in the course of their development, is indisputable. By the end of the republic the political importance of the curiae declined entirely, but undoubtedly it still existed in the age of Appius Claudius. An evidence for this is that in this period the elections of an interrex still occurred on several occasions (after all Appius Claudius according to his elogium held this office on three occasions), and as it is known the patrician senators of the curiae participated in the election of the interreges.⁸⁹ Since in 312 all Roman citizens, viz. patricians and plebeians were equally members of the curiae,⁹⁰ the phrase *curiatim* in the *plebiscitum Ovinium* expresses, on the one hand, the principle of proportionate representation, viz. that the curiae should have equal numbers of representatives in the Senate, and on the other hand it definitively underlines the principle that the Senate should be the representative organ of all curiae, or the whole people. If we also add to this the meaning of the phrase *ex omni ordine*, then the instruction of the *plebiscitum Ovinium* for the censors meant that the senators should be appointed from the whole people, in the proportion corresponding to the number of citizens included in the curiae, regardless of their social class.

The interpretation of the phrase *optimum quemque* of the law is still outstanding. The explanation of modern legal historians which relates this phrase to the former curulian magistrates, exactly in knowledge of the *senatus lectio* of Appius Claudius must be regarded as untenable. According to the information of Diodoros, Appius Claudius appointed the old senators to the Senate, i.e. the representatives of the nobility and the holders of high offices, but the phrase *optimum quemque*, as this is proved by the *senatus lectio* of the year 312, applied not only for these. If the law really wanted to put only the curulian exmagistrates in the Senate, what obstacle would have existed for its expressing openly? If it did not express this, the reason was that this was not

⁸⁶ Cf. O'BRIEN MOORE: RE VI. Suppl. Bd. 685 foll.; LIEBENAM: RE IX. 1713 foll.; FISCHER (FERENCZY): Századok 79—80 (1945/46) 179 foll.

⁸⁷ Festus p. 42 LINDSAY: *Curia*, cf. p. 47. *Centumviralia iudicia a centumviris sunt dicta. Nam cum essent Romae triginta at quinque tribus, quae et curiae sunt dictae, . . .*

⁸⁸ MOMMSEN: RF I. 141 foll.; Röm. Staatsr. III. 1. 99. doubts the data of Festus and Augustinus, according to which the number of the curiae, which was originally 30, on account of agreement with the tribes was increased by 5. Even if we accept MOMMSEN's argumentation, which in fact is relying on a not quite convincing passage of Ovid, the doubtless fact will still remain, according to which the tribal and curial organizations melted together in the course of time, or became organizations parallel with each other.

⁸⁹ Cf. DE FRANCISCI: Primordia civitatis. Roma 1959. 511 foll.; DE MARTINO: Storia della cost. rom. I.² 215.

⁹⁰ Cf. MOMMSEN: RF I. 143 foll.; Röm. Staatsr. III. 92, 151; SIBER: RE XXI. 1. 128 foll.

its purpose. The tendency of the *plebiscitum Ovinium* was exactly to make the Senate the representative organ of the whole Roman people — instead of the representative organ of the *nobiles* — in which from this time on the representatives of all social classes participated. The phrase *optimus quisque* seems to be the equivalent of the Greek *πρόκριτοι*, which means those previously selected citizens of the phyle, from the rank of whom the members of the council were appointed or selected by lot. This meant with other words also the demand for fitness from the moral point of view. Like *curiatim* was intended to mean the proportionate representation in the selection of the senators, similarly the phrase *optimum quemque* set up the criterion of moral examination (*δοκιμασία*) in connection with the appointment of the senators. The three principles thus asserted by the *plebiscitum Ovinium* in the *senatus lectio* were as follows: inclusion of each social class in the election of the senators, the representation of the citizens in proportion of the curiae, and finally the preliminary moral examination of the candidates. All these show unmistakably the influence exerted by the election principles of the Athenian *βουλή* on the *plebiscitum Ovinium*. In the course of the *senatus lectio* Appius Claudius departed from the principles of the *plebiscitum Ovinium* inasmuch as he did not exclude from the ranks of the senators the old members of the Senate, who came from the hereditary and the official nobility. Instead of this he increased the membership of the Senate and asserted the prescriptions of the new law only in the appointment of the new senators. Undoubtedly, in this compromise which is also referred to by Diodoros, he was governed by the intention to avoid a clash with the ruling class in the midst of war.

If the above given interpretation of the text of the *plebiscitum Ovinium* preserved by Festus is acceptable, then it wanted to change the earlier composition of the Senate in a democratic direction, in the spirit of the Athenian democratic principles. Instead of the representation of the patricians and the plebeian élite, it intended to transform the Senate into the representative organ of the whole Roman people. This tendency of the law is the more likely as it is in harmony with the other political innovations of Appius Claudius, in the first place with the tribal reform which is characterized by a similarly radical democratic tendency. Mommsen's admirable recognition of the relationship between the *plebiscitum Ovinium* and the *senatus lectio* of Appius Claudius is definitely confirmed by the analysis of the text of Festus. His dating of the coming about of the *plebiscitum Ovinium* can be similarly accepted and we can make it even more accurate. Mommsen dated the coming about of the plebiscite between the years 318 and 312. In our opinion it was passed in 312, at the very time of the censorship of Appius Claudius, very likely in the beginning of it. On the other hand, we cannot accept Mommsen's conception on the interpretation of the text of the *plebiscitum Ovinium*, or his assumption on the survival of the law.

Ovinus, who brought in the Bill, was obviously one of the tribunes of the people, who backed the reforms of Appius Claudius and who are mentioned also by Livy.⁹¹ The suggestor of the Bill was undoubtedly Appius Claudius himself. The rogatio was probably passed at the public meeting without the preliminary consent of the Senate, by violation of the *lex Publilia Philonis*. This is why Festus calls it (*rogatio*) *tribunicia*. It is true that the consuls of the year 311, in the heat of the political fight, did not recognize the validity of this law and the *senatus lectio* carried out on its basis, however, they did so not so much as a result of indignation about the sphere of activity taken away from them, as this is maintained by Mommsen, but much more on account of the fact that they did not recognize as a law of binding force the rogatio passed by violation of the *lex Publilia Philonis*. This explains also the circumstance that neither Livy nor Diodoros, nor other writers, including Cicero, refer to it. The practice of appointment of the senators developed in the later period of the republic — when the curulian ex-magistrates were appointed to the Senate — also proves that the censors did not recognize binding for themselves the prescriptions of the *rogatio Ovinia* regarding the *senatus lectio*. In the text of Festus which preserved the *rogatio Ovinia*, there is no reference to the effect that the members of the Senate should be appointed from the ranks of the ex-magistrates, as this was done in the course of the later *senatus lectiones*. But just on account of this that conception of Mommsen has no real basis according to which the *senatus lectiones* after the year 312 were carried out on the basis of the *lex Ovinia*.

It can be raised against this view that if the ruling class really did not recognize the *plebiscitum Ovinium* as a *lex*, then why the way of appointment of the senators was only repealed and what is the explanation for the circumstance that the right of the censors for the appointment of the senators remained in effect which was similarly introduced by the *lex Ovinia*. Why was this also not repealed, if the law not recognized and why was the earlier situation not restored entirely, when the consuls appointed the senators for life?

The objection seems to be quite logical but the reply to it is not easy. The problem must be solved on the basis of the complicated political development of Rome in the age of Appius Claudius.

When the nobilitas declared the passing of the *rogatio Ovinia* and the *senatus lectio* of Appius Claudius carried out on the basis of this to be illegal, then at the same time they replied to the revolutionary step with a similar one. The consuls of the year 311 did not recognize the *senatus lectio* of Appius Claudius. This involved also the standpoint that they regarded as void also the law on the basis of which the senators were appointed by Appius Claudius, i.e. is the *rogatio Ovinia*. In place of the Senate appointed by Appius Claudius, the

⁹¹ IX. 34. 26.

consuls convoked the earlier Senate, or they again practised the right of the consuls for the appointment of the senators which had been taken away from them by the *plebiscitum Ovinium*. Thus the situation before the *plebiscitum Ovinium*, even if temporarily, was restored. Appius Claudius, however, did not retreat. He replied to the movement of reaction with a new revolutionary action. He enacted the tribal reform, which influenced all layers of society and its political consequences shook the power of the nobility even more seriously, than the reform of the Senate. At the public meetings, both at the *comitia centuriata* and the *comitia tributa*, as a result of the tribal reform, the party of Appius Claudius gained the majority. The internal political situation became very tense and this was enhanced by the circumstance that at the same time as a result of the intervention of the Etruscans the Samnite war expanded into a two-front fight and grew to a more and more considerable size. In this critical situation the Roman ruling class, willy-nilly, was obliged to recognize the great importance of the political reforms of Appius Claudius and also that of his military reforms connected with the former. The increase of the strength of the legiones and the cavalry, the complete reorganization of the national defence, as well as the strengthening of the Roman navy were all results of the quick organizatory activity of Appius Claudius. These not only upheld the resistance of the Romans in the dangerous war situation, but also brought about a favourable turn to the advantage of the Romans.⁹² Under such circumstance the ruling class became willing to compromise. The consuls of the year 308, Q. Fabius Rullianus and P. Decius Mus, strived for agreement between the opposed parties. In interest of this agreement they nominated for consulship Appius Claudius and his political ally, L. Voluminus for the next year (307). The election of the new consuls took place undoubtedly within the framework of a compromise. In the year 307 M. Valerius Maximus, the former consul of the year 312, became the patrician censor, an unconditioned follower of Appius Claudius,⁹³ while C. Junius Bubulcus Brutus, the plebeian censor, belonged to the supporters of the nobilitas, the same man, who as consul annulled the *senatus lectio* of 312. Very likely the political convention concluded for the election of the high magistrates of the year 307 already contained also the *prorogatio* for the consular imperium of Q. Fabius Rullianus for the year 307.

We do not know much about the activity of the censors coming into office in the year 307. It is conspicuous that the few data preserved by annalistics relate to the plebeian censor, C. Junius Bubulcus Brutus, who belonged to

⁹² HOMO: *L'Italie primitive et les débuts de l'imperialisme romain*. Paris 1938.² 230: . . . «Appius Claudius peut revendiquer le nom glorieux d'organisateur de la victoire.» DE FRANCISCI: *Storia del diritto romano II*. 1. Roma 1944. 6: «Ma soprattutto la vittoria di Roma fu dovuta alla sua indomita energia, alla resistenza tenace dei suoi eserciti, e alle riforme interne, politiche e militari, dovute alla genialità del censore Appio Claudio (tra il 312 e il 310 a. C.), che diede a Roma i mezzi e gli strumenti della vittoria.»

⁹³ Cf. FERENCZY: *Acta Ant. Hung.* 13 (1965) 399.

the party of the nobilitas.⁹⁴ The reason for this is that the patrician censor, Valerius Maximus, follower of Appius Claudius, in the course of his censorial activity served the policy of Appius Claudius and thus his activity was received with the same hostility — and the annalists kept silent about it — as they were accustomed to in connection with Appius Claudius. First of all we have justification to presume that in 307 the *senatus lectio* was carried out again by the censors, or the *plebiscitum Ovinium* became valid again. And it is also likely that the *senatus lectio* carried out at this time, took place in the spirit of the *rogatio Ovinia*. This assumption is based on the fact that, as we have already referred to it above, the patrician censor, Valerius Maximus, was the unconditioned follower of Appius Claudius, what is proved sufficiently by his consulship in 312, as well as by the relationship existing not as a mere chance between his censorship and the consulship of Appius Claudius. Obviously Appius Claudius, as consul in the year 307, fully supported the adherent of his party, the patrician censor, in his official activity and thus his plebeian colleague could hardly be an obstacle to the assertion of the intentions of Appius Claudius in the course of the *senatus lectio*. In fact, this is rendered likely also by the data of Plutarchos, according to which on the occasion of the next lustrum, in 304, the new censor, Q. Fabius Rullus (Rullianus) excluded the rich *libertini* from the Senate (Pomp. 13.5.). These rich *libertini* were admitted among the censors, just like in 312 when for the first time the *senatus lectio* of Appius Claudius opened the way for them into the Senate.

Thus the ruling class, although it did not recognize even later on the validity of the *plebiscitum Ovinium*, under the pressure of the circumstances it did not prevent that in 307 not the consuls, but the censors should carry out the *senatus lectio*. As a result of this now for the second time the censors practised the earlier right of the consuls for the appointment of the senators, creating by this such a precedent for the later *senatus lectiones*, which could no longer be disregarded. The condition before the *plebiscitum Ovinium*, the practising of the right for the appointment of the senators by the consuls, would have been now possible already only on the basis of a new law. The suggestion of such a law, however, from the viewpoint of the nobilitas would have created a disadvantageous situation for several reasons. First of all, such a Bill which would have taken away right of *senatus lectio* from the censors, would have required the open annulment of the *plebiscitum Ovinium*, i.e. opposition to such a *plebiscitum*, which has not been recognized up to now and consequently did not even exist *de iure* for the nobilitas. But the bringing in of such a Bill would have been inexpedient also because it would have caused a great political tempest, and besides, it was too doubtful, whether it would have won the majority at

⁹⁴ Cf. BROUGHTON: The Magistrates of the Roman Republic, I. 165; SUOLAHTI: The Roman Censors. 227 foll.

the *comitia tributa* or at the more competent *comitia centuriata*. Thirdly, but not for the least, the annulment of the *plebiscitum Ovinium*, or the bringing in of a new Bill on such a subject could have easily brought about also the discussion on the prescriptions of the *plebiscitum Ovinium* regarding the *senatus lectio*. And in fact these prescriptions were from the viewpoint of the nobility not only by far more derogatory than the right of the censors for the appointment of senators, but these were the real, the actual reasons for the fact that they did not recognize the validity of the *plebiscitum Ovinium*.

Under such circumstances the ruling class assumed a peculiar standpoint towards the *plebiscitum Ovinium*. This standpoint, beside the fact that it did not affect their interests from the political point of view, could not be criticized legally. It did not recognize the validity of the *plebiscitum Ovinium* even later on, what rendered for them a possibility to disregard the prescriptions of the plebiscite regarding the appointment of the senators. At the same time, however, they implicitly recognized the right of the censors as a valid legal custom which did not require a confirmation (although this could be traced back to the *plebiscitum Ovinium*) to set up the roll of the senators in every fifth year. This aspect was asserted for the first time by the censors. Q. Fabius Rullianus and P. Decius Mus coming into office in 304, both belonging to the party of the nobilitas. In the spirit of the compromise by which they also revised other reforms of Appius Claudius, these censors took sides in connection with the two previous *senatus lectiones* carried out by Appius Claudius, or his party, in the spirit of the *plebiscitum Ovinium*. Besides the above mentioned evidence of Plutarchos, we have no other information regarding the details of the *senatus lectio* carried out by the censors of 304. However, we must hold it doubtless also on the basis of their other activities that the censorship and censorial function of Fabius Rullianus and Decius Mus were of decisive importance also from the viewpoint of the later *senatus lectiones*. First of all by the fact that they carried out the *senatus lectio* themselves and did not give up this right in favour of the consuls, they also recognized on part of the nobilitas and raised to legal practice one of the important provisions of the *rogatio Ovinia* the right of the censors for the appointment of senators. On the other hand, very likely they removed from their posts those members of the Senate who had been appointed by the party of Appius Claudius and did not belong to the class of the nobilitas. Thus the Senate was again transformed by these censors into the representative organ of the ruling caste and at the same time they also set an example for the later *senatus lectiones*. The democratic tendencies of the *plebiscitum Ovinium* disappeared as from the *senatus lectio* of the year 304. Of the plebiscite only the right of the censors for the appointment of the senators remained and became as a legal custom and living legal practice a lasting institution of Roman constitutional law.

5. THE REFORM REGARDING THE TRIBES

The most important but at the same time also the most disputed innovation of the censorship of Appius Claudius is the reform regarding the tribes and the comitia. The importance of the tribal reform is even greater than that of the famous *senatus lectio*. While the reform of the Senate lost its validity soon after its birth, the tribal reform of Appius Claudius — although it was modified considerably by Fabius Rullianus and Decius Mus, the censors coming into office in the year 304 — remained in effect up to the great reform of the centuriate political organisation in the 3rd century.

The problems about the tribal reform of Appius Claudius — similarly to the Senate reform — can be traced back to the laconicism and fragmentary state of the sources. As regards the character of the tribal reform itself the sources agree more or less. Livy and Diodoros, the two most important sources, agree in the statement that the tribal reform of Appius Claudius was inspired by a strong democratic tendency. The text of Diodoros says the following on the reform of the tribes: XX. 36. 4.: *ἔδωκε δὲ τοῖς πολίταις ἐξουσίαν ἐν ὁποῖα τις βούλεται φυλῇ τάττεσθαι καὶ τὴν ἐξουσίαν ὅποι προαιροῖτο τιμῆσασθαι τὸ ὄλον, ὁρῶν τεθησανοισμένον κατ' αὐτοῦ παρὰ τοῖς ἐπιφανεστάτοις τὸν φθόνον, ἐξέκλινε τὸ προσκόπτειν τισὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν, ἀντίταγμα κατασκευάζων τῇ τῶν εὐγενῶν ἀλλοτριότητι τὴν παρὰ τῶν πολλῶν εὐνοίαν. 5. καὶ κατὰ μὲν τὴν τῶν ἱππέων δοκιμασίαν οὐδενὸς ἀφείλετο τὸν ἵππον, κατὰ δὲ τὴν τῶν συνέδρων καταγραφὴν οὐδένα τῶν ἀδοξούντων συγκλητικῶν ἐξέβαλεν, ὅπερ ἦν ἔθος ποιεῖν τοῖς τιμηταῖς.*

Livy mentions the tribal reform of Appius Claudius only on one occasion and Diodorus also speaks about it rather laconically. In a characteristic way he makes even this single mentioning not in the course of the description of the censorship of Appius Claudius, but much later, in the report of the events of 304, in connection with the election of Ch. Flavius to *aedilis curulis*, viz.:

IX. 46. 10—11.

Ceterum Flavium dixerat aedilem forensis factio, Ap. Claudii censura vires nacta, qui senatum primus libertinorum filiis lectis inquinaverat et posteaquam eam lectionem nemo ratam habuit, nec in curia adeptus erat quas petierat opes, urbanis humilibus per omnes tribus divisitis forum et campum corruptit . . . Ex eo tempore in duas partes discessit civitas; aliud integer populus, fautor et cultor bonorum, aliud forensis factio tendebat, donec Q. Fabius et P. Decius censores facti et Fabius simul concordiae causa, simul ne humillimorum in manu comitia essent, omnem forensem turbam excretam in quattuor tribus coniecit, urbanasque eas appellavit, adeoque eam rem acceptam gratis animis ferunt, ut Maximi cognomen, quot tot victoriis non pepererat, hac ordinum temperatione pareret.

Diodoros describes the reform of the tribes after the reform of the Senate and, although not with a stress, he refers to the relationship between the two reforms.⁹⁵ Livy takes sides in this question more definitely and explains the

⁹⁵ XX. 36. 4

tribal reform of Appius Claudius with the frustration of the reform of the Senate, or presents it as a consequence of the latter. Since the source of Livy and Diodoros was here very likely Fabius Pictor,⁹⁶ it is not impossible that the relationship of cause and result between the frustration of the Senate reform and the tribal reform was taken over by Livy and Diodoros already from their source. Regarding the whole reform activity of Appius Claudius we can, however, hardly suppose that Appius Claudius would have decided the tribal reform, because he had a fiasco with the reform of the Senate. As a matter of fact for the party supporting him, the *factio forensis*, it was just as important, if not more important that the urban plebs should achieve the reform of the tribes, as the achievement that its representatives should be admitted to the Senate. In all probability, in the political programme of Appius Claudius the tribal reform and through this the reform of the comitia were not of lower importance than the reform of the Senate. And if he still started his activity as an innovator by the reform of the Senate, the reason for this was very likely the circumstance that in accordance with the existing practice the consuls, and the censors having the sphere of activity of the appointment of senators now for the first time, were obliged to carry out the *senatus lectio* immediately after their coming into office.⁹⁷

How was the tribal reform of Appius Claudius carried out and what was the importance of it? According to the description of Diodoros, the tribal reform consisted in the fact that everybody could have himself admitted to any tribe according to his option and could have his property assessed in the tribe he wanted. The information of Livy which is shorter and more concise than that of Diodoros, contains also the consequence of the tribal reform. According to him, Appius Claudius apportioned the urban *humiles* into each tribe and by this he «corrupted» the Forum (that is the *comitia tributa*) and the Campus Martius (or the *comitia centuriata*).

The appraisal of modern investigators on the tribal reform of Appius Claudius is based in the first place on the informations of Diodoros and Livy which they complete with data of less importance from other writers.⁹⁸ Even today the most generally accepted view is that of Mommsen which is shared by the majority of the historical and legal historical handbooks.⁹⁹

In Mommsen's opinion, before the tribal reform of Appius Claudius only the landowners, the *adsidui* were members of the tribes (*tribules*). The great importance of the reform of Appius Claudius was that he apportioned into the tribes also those having no landed property (*aerarii*), proprietors of movable property. In 304 the censors Fabius Rullianus and Decius Mus trans-

⁹⁶ Cf. ALFÖLDI: Antidoron Salin. Tübingen 1962. 131 ff.

⁹⁷ SUOLAHTI: The Roman Censors. Helsinki 1963. 54.

⁹⁸ Cf. Plut. Popl. 7; *Auct. de viris ill.* 32. 2; Val. Max. II. 2. 9.

⁹⁹ RF I. 285 foll.; Röm. Staatsr. II.³ 401 foll., III. 269 foll.

ferred these elements without landed property to the urban tribes. This measure did not affect the position of the citizens having movable property in the *comitia centuriata*, organized on the basis of classification according to property. According to Mommsen their majority consisted of manumitted slaves.¹⁰⁰

De Sanctis accepted the view of Mommsen with the change that part of the *aerarii* had civic rights already before the reform of Appius Claudius.¹⁰¹ Beloch¹⁰² and Jones¹⁰³ doubted that those who had no landed property would have been excluded from the tribes. De Francisci accepts the conception of Mommsen on the tribal reform, but he identifies the *humiles* with the *non locupletes*.¹⁰⁴ Scherillo — Dell'Oro,¹⁰⁵ Frank,¹⁰⁶ Homo,¹⁰⁷ Piganiol,¹⁰⁸ Pareti,¹⁰⁹ Arangio-Ruiz,¹¹⁰ Frezza,¹¹¹ v. Lübtow,¹¹² De Martino,¹¹³ E. Meyer,¹¹⁴ stand on the basis of Mommsen's conception. Paribeni¹¹⁵ shares the views of De Sanctis, thus indirectly he also follows Mommsen. Altheim¹¹⁶ and Heuss¹¹⁷ similarly adopt more or less Mommsen's opinion on the tribal reform.

Mommsen's conception on the tribal reform of Appius Claudius has received so far the most profound criticism from Fraccaro.¹¹⁸ The scientist of Pavia first of all set an evidence for the fact that all free-born citizens were members of the tribes already before the reform of Appius Claudius, regardless of their financial condition, in case they did not come under the face of a punishment imposed by the censors, or if they did not lose their suffrage in accordance with some other law (*tabulae Caeritae*). According to Fraccaro in the former category belong the *aerarii* who were erroneously contrasted by Mommsen with the *tribules* as a category of citizens having no landed property and identified with the *humiles*. According to Fraccaro the *aerarii* have nothing to do with those citizens who had no landed property, the *humiles*, and who on the basis of the reforms of Appius Claudius were admitted to all tribes. When

¹⁰⁰ Röm. Staatsr. III. 436.

¹⁰¹ Storia dei Romani, II.² 214, n. 109.

¹⁰² RG 482.

¹⁰³ CAH VII. 532.

¹⁰⁴ Storia del diritto romano, I.² 265.

¹⁰⁵ Manuale di storia del diritto romano. Milano—Varese 1949. 159.

¹⁰⁶ Economic Survey of Ancient Rome, I.² 52.

¹⁰⁷ L'Italie primitive. Paris 1938.² 230; Institutions politiques romaines. Paris 1950.² 71 foll.

¹⁰⁸ Histoire de Rome. 1962.⁴ 64.

¹⁰⁹ Storia di Roma. Torino 1952. II. 72.

¹¹⁰ Storia del diritto romano. Napoli 1957.⁷ 37.

¹¹¹ Corso di storia del diritto romano. Roma 1954. 154.

¹¹² Das römische Volk. Frankfurt a. M. 1955. 109 foll.

¹¹³ Storia della costituzione romana, I.² 329.

¹¹⁴ E. MEYER: Römischer Staat und Staatsgedanke. 1964.³ 83 foll.

¹¹⁵ Le origini e il periodo regio, la repubblica fino alla conquista del primato in Italia. Bologna 1954. 238 foll.

¹¹⁶ Rom und der Hellenismus. 93; RG II.² (1956) 80.

¹¹⁷ Römische Geschichte. Braunschweig 1960. 31.

¹¹⁸ Athenaeum N. S. 11 (1933) 150 foll.; Opuscula II. Pavia 1957. 149 foll.

Fabius Rullianus in 304 liquidated the tribal reform of Appius Claudius, according to Fraccaro the situation existing already before the reform of Appius Claudius was restored.

Fraccaro's opinion was adopted (with some modification) also by Last,¹¹⁹ Garzetti,¹²⁰ Staveley,¹²¹ and L. R. Taylor.¹²² His argumentation regarding the *tribules* and the *aerarii* is more plausible than Mommsen's standpoint. Similarly that idea of Fraccaro too seems to be real, according to which already before the reform of Appius Claudius all Roman citizens, if they did not come under the jurisdiction of *capitis deminutio*, were members of one of the tribes. We cannot agree, however, with Fraccaro's opinion undervaluing the meaning of the Appian tribal reform, or with his standpoint which follows from the former one, viz. the appraisal of the tribal reform of Fabius Rullianus and Decius Mus from the year 304.¹²³ These questions must be examined the more carefully, as they lead us over to the political consequences of the tribal reform of Appius Claudius, to the reforms of the Roman *comitiae*.

The summarizing report of Livy on the tribal reform of Appius Claudius (*«urbanis humilibus per omnes tribus divisus forum et campum corruptus»*) was regarded by Mommsen as evidence for his opinion that through the tribal reform Appius Claudius brought his party to majority at the *comitia tributa* and the *comitia centuriata*.¹²⁴ In contrast to him, Fraccaro recognizes that as a result of the tribal reform the *humiles* won the majority at the *comitia tributa*, but he doubts that the owners of movable property would have been so high in number at the end of the 4th century B. C. in Rome as to be able to outnumber the landowners at the *comitia centuriata*.¹²⁵ Fraccaro is very likely correct in saying that the holders of movable property could by no means be in majority in the 98 *centuriae* of the first class and the cavalry. We must not forget however, that the *centuriae* of the first class and the cavalry did not form at all a uniform political party representing an identical opinion in all questions! This could be the case the least just in this period. In fact Appius Claudius himself and beside him still many of the landowners — patricians and plebeian noblemen — were in the opposition and were opposed to the ruling system.¹²⁶ The rich urban citizens who in themselves were in minority, in a joint front with these oppositional elements of the nobility, originally also being in minority, could really win the majority in the *comitia centuriata*.

Thus we cannot agree with Fraccaro, when refuting Mommsen he wanted to

¹¹⁹ JRS 35 (1945) 40 ff.

¹²⁰ Athenaeum 25 (1947) 204 ff.

¹²¹ Historia 8 (1959) 414 foll.

¹²² The Voting Districts of the Roman Republic, American Academy in Rome, Papers and Monographs. XX. 1960. 10 n. 21—23, 135.

¹²³ Athenaeum N. S. 11 (1933) 158 ff. = Opusc. II. 157 ff.

¹²⁴ Röm. Staatsr. II.³ 393 foll.; III. 269, 435.

¹²⁵ Cf. FRACCARO: Athenaeum N. S. 11 (1933) 161 = Opusc. II. 160.

¹²⁶ About this in detail FERENCZY: Acta Ant. Hung. 13 (1965) 395 ff.

prove that the tribal reform of Appius Claudius did not bring about a significant political turn at the *comitia centuriata*. Nor can he share his argumentation, when he identifies the bulk of the *humiles* with the *libertini* and in connection with this we must reject also his opinion, according to which the tribal reform of Q. Fabius Rullianus and P. Decius Mus in the year 304 restored the situation existing before 312.¹²⁷

In his short report on the tribal reform of Appius Claudius Livy places the urban *humiles* as the layer the interests of which were served by the reform in the foreground. Regarding the question, who were the *humiles* and what social class they represented, the opinion of the investigators is not uniform. In Mommsen's view the *humiles* were identical with those citizens having no landed property who were apportioned by the reform of Appius Claudius into all tribes. According to him the majority of these came from the ranks of the *libertini*.¹²⁸ Although his opinion regarding the tribal reform differs from that of Mommsen, Fraccaro also represents the standpoint that the majority of the *humiles* were *libertini*.¹²⁹ This opinion is shared by several investigators.¹³⁰

The sources and on their basis modern professional literature agree in the assumption that the censorship of Appius Claudius meant a favourable step from the viewpoint of the political rights of the elements of servile origin.¹³¹ This among other things is sufficiently proved also by the fact that their rights won at this time were curtailed later on.¹³² It is, however, not proved on the basis of the sources that the majority of the *humiles* -- as it was mentioned above -- consisted of manumitted slaves. Even if the silence of Diodoros about this would not be a sufficient evidence, we can be convinced that Livy did not omit a single opportunity to convey adverse news on Appius Claudius. Thus, even for the sake of influencing public opinion he would not have omitted to mention that in the ranks of the *humiles* there were many elements of servile origin, if he would have found the slightest reference to this in his source. Anyhow it is a fact that the *libertini* -- in spite of the silence of Diodoros and Livy -- belonged to the category of the *humiles*. The word *humiles*, however, denotes a much broader and more complex category of social class than the layer of citizens of servile descent. With regard to the

¹²⁷ Cf. Athenaeum N. S. 11 (1933) 160 foll. -- Opus. II. 159 foll.

¹²⁸ Cf. Röm. Staatsr. III. 436.

¹²⁹ Athenaeum N. S. (1933) 162 = Opusc. II. 160 foll.

¹³⁰ Cf. GARZETTI: Athenaeum 25 (1947) 202 foll.; GIANNELLI: La repubblica romana. Milano 1955.² 272; TAYLOR: The voting districts. 135 foll.; according to Homo (Institutions politiques romaines. 1950.² 74) the *humiles* consisted of the *capite censi* and the *libertini*.

¹³¹ Cf. MÜNZER: RE VI. 5226; KASER: Die Anfänge der manumissio und das fiduziarisch gebundene Eigentum. ZS 41 (1941) RA 169 ff.; SCHULZ: Geschichte der römischen Rechtswissenschaft. Weimar 1961. 11 foll.; BRÓSZ: Nem teljesjogú polgárok a római jogforrásokban (Citizens without full rights in the Roman legal sources). Budapest 1964. 51, 62.

¹³² Cf. LIVY: XLV. 15. 3–7; TAYLOR: The Voting Districts . . . 140 foll.

great importance of the question, we must thoroughly examine the meaning and category of the *humiles*, because without this the tribal reform of Appius Claudius cannot be reconstructed in its proper meaning.

After examining the category of the word *humilis* as a technical term designating a social category in the literary sources up to the end of the republic, we can conclude that in its most general use it expresses the opposite of the word *nobilis*, thus it can be paralleled with the word *ignobilis*.¹³³ Thus the opposite of *humilis* is not *locuples*, but *nobilis*. Cicero frequently contrasts the *plebs* with the *locupletes* and identifies it with the *pauperes*,¹³⁴ on the other hand he applies the word *humilis* to that category of the citizens, the decisive characteristic of which is that it does not belong to the *nobilitas*. Thus on the basis of their descent he counts also the rich citizens, the *equites*, to the *humiles*.¹³⁵ After these it cannot be doubted that at the end of the 4th century, when the class-division did not yet advance so much as in Cicero's age, the original meaning of the word *humilis*, the low descent was equivalent in meaning with the ignoble descent and all layers of the *plebs* belonged to its category, naturally with the exception of the nobility originating from the *plebs*.¹³⁶

In contrast to the *humiles* comprising the different categories of the *plebs*, on the other hand, the superlative of the word, the *humillimi*, meant a special social category. The latter must be kept in mind therefore, because we find it in Livy in a very important relationship, viz. in the motivation of the tribal reform of 304.¹³⁷ According to Livy, Fabius Rullianus apportioned the increased *forensis* (urban) crowd (*«omnem forensem turbam excretam»*) into four tribes, which he called urban, to restore harmony among the social classes (*«simul concordiae causa»*) and that the *comitia* should not be under the rule of the *humillimi*, (*«ne humillimorum in manu comitia essent»*). By this measure pacifying the social classes (*«hac ordinum temperatione»*) Fabius Rullianus earned the title *Maximus* which he could not earn earlier with so many victories, Livy writes.¹³⁸

The tribal reform made by Fabius Rullianus and Decius Mus in 304 as described by Livy was interpreted by Mommsen and Fraccaro according to their own conceptions. According to Mommsen, the tribal reform of Fabius Rullianus was a compromise, viz.: those who had no landed property, who earlier had been excluded from the tribes and as a result of the tribal reform of Appius

¹³³ For the relevant passages see HELLEGOUARCH: Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république. Paris 1963. 470 ff.; 510 ff.

¹³⁴ Cf. *De rep.* III. 15.; *De leg.* II. 59.

¹³⁵ Cf. *Cic. Att.* 9, 7A I. Rd.: GELZER: Die Nobilität der römischen Republik, Kleine Schriften I. 30. Remark 124.

¹³⁶ According to these the *humiles* cannot be identified either with the *capite censi* or the *proletarii* (cf. HOMO: Institutions politiques romaines. 1959.² 71 foll.), or with the non-*locupletes* (cf. DE FRANCISCI: Storia del diritto romano, I.² 265).

¹³⁷ IX. 46. 14.

¹³⁸ IX. 46. 16.

Claudius were admitted to all tribes, on the basis of the measure of Fabius Rullianus earned tribal membership definitively, but only in the four urban tribes.¹³⁹ Fraccaro, on the other hand, who, as we have seen, represents the opinion that already before 312 all Roman citizens were members of the tribes, in contrast to Mommsen interprets the reform of 304 so that into the urban tribes not those having no landed property were apportioned, by the censors but only the *forensis turba*, or according to him the reform did not do anything else, but restored the position before 312.¹⁴⁰ Although these opinions are contradictory in several points, on the other hand they also complete each other. Fraccaro pointed out with justification some weak points of Mommsen's conception, but Fraccaro's conception has also its vulnerable sides, as compared to which the opinions represented by Mommsen stood nearer to reality.

In our opinion the tribal reform of Appius Claudius was a real constitutional reform, which on account of its character and significance can be ranged in the same category with the phyle reform of Kleisthenes. Its revolutionary innovation was that it brought about tribes of entirely new type, into which he apportioned the citizens regardless of their domicile and their financial position. Livy maintains that Appius Claudius apportioned the urban *humiles* into all tribes, but of the more probable information of Diodoros becomes clear that each citizen could be admitted to any tribe according to his option and his assessment of property could be asked for in any of the tribes which means that the right of choosing the tribe did not apply only for the urbans. This possibility has not been taken into consideration by the investigators so far. Clear sight is rendered difficult by the fact that between the texts of Diodoros and Livy there exists a difference also regarding the apportionment into the tribes, *viz.* regarding the regulation of admission to the tribes by the reform. According to Diodoros the admission to the tribes was made spontaneously, while on the other hand Livy writes that Appius Claudius distributed the urban *humiles* into all tribes, *i.e.* the censor decided in the question of admission or apportionment into the tribes. It can be concluded from both the texts of Livy and Diodoros that the affiliation to the new tribes organized by Appius Claudius was not decided by the financial state or the domicile. Thus these tribes were artificial formations which comprised citizens of different origin, different domicile and financial state, similarly to the new phyleis in Athens. Thus, the apportionment of the citizens into the tribes was probably made not on an optional basis, but it was carried out by the censors, at the most they took into consideration individual wishes and interests. This centrally arranged distribution is rendered likely also by the testimony of Livy, according to which the party of Appius Claudius won majority in the *comitia tributa* and the *comitia centuriata* (*forum et cam-*

¹³⁹ Röm. Staatsr. II.³ 403.

¹⁴⁰ Athenaeum N. S. 101 (1933) 159 foll. = Opusc. II. 158 foll.

pum corruptit). If the urban population and in general the layers belonging to the party of Appius Claudius would not have been distributed into the tribes proportionately by the censors, the majority within the certain tribes could not have been insured for the *factio forensis*, in the interest of which the reform was carried out.

As it becomes clear from the aboves the tribal reform of Appius Claudius, did not insure only in what Mommsen saw the significance of the tribal reform, viz. that it was made possible also for those having movable property to be assessed according to their property and on the basis of this to be admitted to the classes. Undoubtedly Appius Claudius wanted to change the composition of the *comitia centuriata*, he took, therefore the movable property under the same category with the landed property. His reform, however, did not stop at the extension of rights on the basis of timocratic principles. Similarly, the division of the urban population into the rural tribes was not the essence of the reform, as it is maintained by Fraccaro, but a means for the organization of the new artificial tribes, in which — just like in the case of the reform of Kleisthenes — instead of the descent and property the democratic principle of majority dominated.

Thus the tribal reform of Appius Claudius did not only extend the rights, but brought at the same time a radical transformation of the old constitution. Similarly to the Senate reform laid down in the *plebiscitum Ovinium*, the tribal reform also bears the seal of the Greek democratic constitutional reforms. It shows an affinity with the similar Greek reforms also in the fact that it is characterized by a certain mixture of the timocratic and democratic principles. Appius Claudius apportioned into the tribes not only the well-to-do citizens, but also the *humillimi*, the *capite censi*, by which he insured for his party the majority in the *comitia tributa*.

The fact that the tribal reform of Appius Claudius followed radical democratic tendencies is clearly shown by the measures taken by the censors of the year 304, by which they liquidated just these, or more precisely, only these democratic innovations of Appius Claudius. Livy's report on the motivation of the tribal reform of Fabius Rullianus, viz. «*ne in humillimorum manu comitia essent*», does not leave any doubt about the fact that as a result of the reform of Appius Claudius also the poorest layers were admitted to the tribes. The tribal reform of the year 304, however, did not liquidate the tribal reform of Appius Claudius in its whole, as this is thought by Fraccaro, according to whom Q. Fabius Rullianus restored the conditions existing before the year 312. Livy does not confirm with a single word that the tribal reform of Appius Claudius would have been repealed by the censors Fabius and Decius. In connection with the activity of Fabius Rullianus, he uses the phrases «*concordiae causa*» and «*temperatone ordinum*», by which he refers undoubtedly to the compromising character of the measures taken by him. As it has already been

pointed out, the *humiles* or the urban population which in the course of the tribal reform were apportioned by Appius Claudius into all tribes, can by no means be identified with the *humillimi* or the *forensis turba* who were apportioned by Fabius Rullianus in 304 into the four tribes called urban. The upper and middle layers of the *humiles* remained in 304 and also later on in the tribes into which they had been apportioned by Appius Claudius. Only the lowest layers of the *humiles*, the entirely propertiless (*capite censi*, *humillimi*, *forensis turba*) were befallen by the fate to be apportioned into the urban tribes which from this time onwards became the constituencies of those having minor rights or being afflicted by the *nota censoria*.

It follows logically from the aforesaid, why the standpoint of Mommsen assumed in connection with the tribal reform of Fabius Rullianus cannot be accepted. According to Mommsen the population having no landed property, which had been apportioned by the reform of Appius Claudius into all tribes, was transferred in 304 by Fabius Rullianus into the four urban tribes. However, this view cannot be accepted, first of all on account of the fact that it is in contradiction to that absolutely correct statement of Mommsen himself, according to which the assignment to classes of the well-to-do urban citizens at the time of the censorship of Appius Claudius did not change as a result of the reform of 304. But the four urban tribes, as this was pointed out exactly by Mommsen, were of lower rank than the other tribes and the transfer to the urban tribes was regarded definitely as a denouncement.¹⁴¹ The tribes named by Fabius Rullianus urban were not of local character, but first of all political concepts, such constituencies, into which regardless of their domicile those citizens were apportioned, who on account of their social standing (*capite censi*), descent (*liberti*), or a defamatory punishment assessed by the censor, were not held to have equal rights with the other citizens. It is unimaginable from the legal as well as from the political point of view that somebody, who according to his property belonged to the first classis or any of the following classes, would belong at the same time, on account of his having no landed property, to one of the urban tribes, what was regarded as a denouncement. Thus it is absolutely unlikely that this upper layer of the *humiles*, even if it had no landed property, but on the basis of its movable property was member of one of the classes, would have been transferred by Fabius Rullianus to one of the four urban tribes, to the constituencies of the *forensis turba*, the *humillimi*.¹⁴² For our thesis, according to which among the innovations of Appius Claudius only those of radical democratic character were abolished by Fabius Rullianus, while the rights of the upper layer of the *humiles* acquired through the tribal reform of Appius Claudius were left intact by him, there exists one

¹⁴¹ Röm. Staatsr. II.³ 404.

¹⁴² Cf. TAYLOR: The Voting Districts . . . , 132 fol^l.

more important evidence. After having praised the censorial activity of Fabius Rullianus, Livy adds a sentence to the appraisal of the censor which mentions an important institution founded by Fabius, viz.: «*Ab eodem institutum dicitur, ut equites idibus Quinctilibus transveherentur*».¹⁴³

This procession of the cavalry, the *transvectio equitum*, arranged on the 15th June has already been discussed thoroughly by modern professional literature and sides have been taken as regards its significance.¹⁴⁴ E. Meyer expressed his opinion according to which in connection with the any reform carried out in the course of the great Samnite war, when the strength of the military forces was raised to four legions, the strength of the cavalry could also be increased. In accordance with this he placed the coming about of the 18 equestrian centuriae to the end of the 4th century.¹⁴⁵ In the course of the examination of this problem Alföldi recognized that the increase of the number of the equestrian centuriae could be connected with the *transvectio equitum* introduced in the year 304.¹⁴⁶ In the following we should like to support the opinion of Alföldi by the elucidation of those relations, which connect the *transvectio equitum* introduced by Fabius Rullianus to the military reform of Appius Claudius.

In our opinion, beyond the political objective — which was the overthrow of the ruling clique of the nobilitas — the primary purpose of the tribal reform of Appius Claudius was the strengthening of the Roman Army. When Appius Claudius came into office, in 312, as we have already mentioned, as a result of the threatening intervention of the Etruscans, the Samnite war arrived at a critical phase. A way out of the serious foreign political situation was promised only by the large-scale reorganization of the Army and at the same time the increase of its strength which could not be realized without earnest social reforms. On account of this fact the tribal reform of Appius Claudius was not only a constitutional reform of great importance, but also the social preparation of a general levy in mass. The urban *humiles*, the social class, which included the citizens up to that time having not full legal rights from the political point of view, from the rich citizens to the *capite censi*, now received full political equality of rights, and beyond this gained a decisive influence at the public meetings. But the equality of political rights meant also equality in the military obligations with that part of the citizens by whom up to now the major burden of war was borne both in the legions and in the cavalry. The upper

¹⁴³ IX. 46. 15; cf. Val. Max. II. 2. 9.; *Vir. ill.* 32. 3.

¹⁴⁴ WEINSTOCK: RE VI. A. 2178 foll.; *Studi e materiali* 13 (1937) 10 ff.; ALFÖLDI: Der frühromische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen. Baden-Baden 1952. 111 foll.; HILL: The Roman Middle Class in the Republican Period. Oxford 1952. 17 foll.; v. LÜBTOW Das römische Volk. 75; WESENBERG: RE XXIII. 83; DE FRANCISCI: Primordia civitatis. 569 foll.; E. MEYER: Römischer Staat und Staatsgedanke. 1964.³ 84, 496.

¹⁴⁵ E. MEYER: Röm. Staat und Staatsgedanke. 82.

¹⁴⁶ Der frühromische Reiteradel. 111 foll.

and middle layers of the *humiles*, which as a result of the tribal reform of Appius Claudius were assigned to the classes, made possible the doubling of the number of legions,¹⁴⁷ while the lower layers of the *humiles* rendered soliders for the setting up of the light infantry.¹⁴⁸ The turn which set in during the war just as a result of the reforms of Appius Claudius, dissolve all doubts about the fact that these reforms were at the same time also military ones. The introduction of manipular tactics is inseparably connected with the tribal reform of Appius Claudius.

The increase of the strength of the Roman cavalry, the setting up of the 18 equestrian centuriae, was a natural consequence of the tribal reform of Appius Claudius. Against the fast moving troops of the Samnites the strength of the cavalry had to be increased. Besides the *equites equo publico* coming from the ranks of the nobility, the cavalry set up with private funds, the troops of the *equites equo privato*, were rendered by the rich urban citizens for whom the gates of the first classis were opened just by the reform of Appius Claudius. The ruling class obviously did not receive favourably this rise in rank of the rich urban citizens, but on account of the pressure of war conditions it could not do anything against this. The institution of Q. Fabius Rullianus, the *transvectio equitum*, meant the joint parade of the nobility on the one hand, and the mounted troops coming from the ranks of the *humiles*, on the other, viz. the *equites equo publico* and the *equites equo privato*. This equestrian parade meant at the same time the approval of one of the important political and military reforms of Appius Claudius, the developing alliance of the ruling class and the upper layer of the urban *humiles*.

Budapest.

¹⁴⁷ Cf. GIANNELLI: *La repubblica romana*. Milano 1955.² 220 ff., who, however, does not bring the Army reform into connection with the reforms of Appius Claudius.

¹⁴⁸ The likelihood or possibility of the latter was pointed out already by U. COLI: *Tribù e centurie dell'antica repubblica romana*. *Studia et Documenta historiae et iuris* 21 (1955) 212.

З. А. ПОКРОВСКАЯ

ФИЛОСОФСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
ЛУКРЕЦИЯ И ЭПИКУРА

(РАЗДЕЛ КАНОНИКИ)

Философия Эпикура, которую из всех древних наиболее глубоко постиг один лишь Лукреций, о чем неоднократно говорит К. Маркс,¹ являясь венцом античного материализма, представляет известный исторический интерес и для нового времени.

Эпикуровская философия, как указывает Диоген Лаэртский (X 30, 31), делилась на три части: *tà φυσικά* учение о природе, *tà κανονικά* учение о путях и критериях познания, *tà ἠθικά* практическая философия или этика.

Говоря словами Цицерона, «una pars naturae, disserendi altera, vivendi tertia»² или «una de vita et moribus, altera de natura et rebus occultis, tertia de disserendo et quid verum sit, quid falsum, quid rectum in oratione prae-vumque».³

В дошедших до нас философских письмах Эпикура материал в основном распределяется так: в «Письме к Геродоту» излагается физика (атомы, пустота, вселенная; физическая природа чувств и мышления человека), в «Письме к Пифоклу» раскрывается астрономическая и метеорологическая теория, а в «Письме к Менекею» содержится изложение этического учения.

«Письмо к Геродоту» является главным, так как в нем излагаются важнейшие, основополагающие взгляды Эпикура, сам он называет это письмо (малым) сокращением, т. е. кратким конспектом *ἐπιτομή* или *μικρὰ ἐπιτομή* (ad Her. 37; ad Pyth. 85); обзором главных положений *περίοδος τῶν κυριωτάτων* (ad Her. 83); *ταῦτα ἔστι κεφαλαιωδέστατα . . . ἐπιτετμημένα* (ad Her. 82); *ἡ κυριωτάτη ἐπιβολή* (ad Her. 36).

Вопросы познания излагаются во вступлении «Письма к Геродоту» (§ 35—38), затем дальше в связи с теорией чувств и мышления (§ 49—54) и в заключительных параграфах (§ 82—83) этого письма и письма к Пифоклу (§ 116).

¹ К. Маркс «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» в кн. К. Маркс и Ф. Энгельс «Из ранних произведений». Госполитиздат, М.; 1956, стр. 41; К. Маркс «Тетради по истории эпикурейской, стоической и скептической философии», см. указ. кн., стр. 169.

² Cic., de fin. V 9.

³ Ci., Acad. I 19.

Поэма Лукреция делится на три части, и все они посвящены в основном изложению физических законов: первая и вторая книги раскрывают атомистику, третья и четвертая — психологию и анатомию человека, пятая и шестая — астрономию, метеорологию и историю цивилизации на земле.

Вопросы этики обычно излагаются в начале и в конце каждой книги, где основное внимание уделено разоблачению социальных (*vulnera vitae* III 63) и бытовых пороков (*vitae postsaenia* IV 1186).

Каноника, т. е. учение о познании, излагается в основном в третьей и четвертой книгах в связи с теорией чувств и мышления, но отдельные положения встречаются также и в других частях поэмы.

Что же соответствует у Лукреция греческому понятию логика или каноника?

Известно, что у Демокрита было сочинение «*κανόνες*», а вслед за ним и Эпикур излагал законы мышления в философской работе «*κανόν*»; Диоген Лаэртский, определяя раздел учения о познании Эпикура, называет его *τὰ κανονικά* (X 30, 31), хотя в дошедших сочинениях Эпикура подобного рода термины не встречаются.

Греческое слово *κανόν* означает 1) брусok, планка, линейка; 2) норма, критерий, правило.

У Лукреция греческому *κανόν* соответствуют два слова: *regula* (от *rego*) 1) планка, брусok, линейка; 2) норма, критерий, правило (напр., *ratio juris*) и *norma* (от *nosco*) 1) наугольник; 2) норма, руководящее начало; правило (*norma rationis*, *norma juris*). Лукреций употребляет эти слова в образном сравнении постройки дома с постижением истины, играя на образном и терминологическом значении этих слов (IV 513—521).

Понятие же каноники как теории рассуждения или исследования истины Лукреций передает обычно с помощью таких слов и выражений: *disserere incipiam* начну рассуждать (I 55); *expediam* я объясню (II 66): *hoc est ut quaerendum videatur et in discrimen agendum* однако, кажется, нужно это найти и в этом разобраться (III 725), *ratio rerum* суждение о вещах (IV 520); *ordo rationis* порядок рассуждения (V 64).

Это понятие передается отчасти поэтической лексикой, научный характер которой придает значение долженствования, заключенное в герундивной форме: *claranda esse, sunt ornanda... tenenda sunt et canenda* следует объяснить и воспеть (III 36; VI 83 сл.).

Значение разъяснения, отчета имеют и такие выражения: *reddunda in ratione* (I 59); *habenda... est ratio* (I 127); *ratio reddunda sit* (V 66).

Цицерон определяет теорию познания так: «*iam in altera philosophiae parte, quae est quaerendi et disserendi, quae λογική dicitur*» (de fin. I 22), или *ratio disserendi* (de fato I, ср. de fin. V 9, Acad. I 19). В основе определения как Лукреция, так и Цицерона, писавшего 10 лет спустя после Лукреция, мы видим слова *quaerere*, *disserere* и *ratio*. На последнее слово Лукре-

ций делает упор, и оно в указанных сочетаниях перекликается с греческим *lógos*.

В начале «Письма к Геродоту» Эпикур указывает на два принципа, необходимых при написании конспекта философской системы. Первый принцип состоит в том, что следует уразуметь понятия, лежащие в основе слов (*τὰ ὑποταγμένα τοῖς φθόγγοις* ad Her. 37), чтобы при каждом слове было видно его основное (досл.: «первое») значение (*τὸ πρῶτον ἐννόημα* ad Her. 38).

Лукреций далеко не всегда следует этому правилу: он использует не только основное или первое значение слова, но все или несколько значений, его как поэт в слове привлекает многозначность и омонимия. Он специально оговаривает такую манеру, говоря, что под одним названием можно подразумевать в зависимости от контекста разные понятия: *Tu fac utrumque uno sub iungas nomine eorum*,⁴ III 421. Например, многозначное слово *ratio* соответствует у Лукреция нескольким совершенно различным эпикуровским понятиям: *ratio* разум человека (III 321 и мн. др.) — *διάνοια* (ad Her. 49) *animi ratio* мысль ума (I 425, IV 384) — *νόημα* (ad Her. 83) *vitae ratio* (*rationes*), *vera ratio* (I 623, V 1117, VI 80) *разумное начало*, разум жизни (= *sapientia* V 9), истинный разум — *φρόνησις* (ad Men. 132), *ratio* учение, теория — *θεωρία* (ad Pyth. 116); *λόγος* (ad Her. 83), *δόξα* (ad Her. 37), *haec ratio nostra*, *ratio tua* учение Эпикура и Лукреция (I 943; III 14; IV 21); *ratio navigii* теория мореплавания (V 1006) *ratio rerum* суждение о вещах (IV 520); *ordo rationis* порядок рассуждения (V 64) — *ταῦτα ἐκλογιζόμεθα* (ad Pyth. 116). *ratio* способ, метод — *ὁδός* (ad Her. 36); *τρόπος* (ad Her. 83).

В значении способа слово *ratio* встречается в сочетании с местоимением или прилагательным в значении *abl. modi*, напр.: *ratione aliqua* (I 107)⁵ *ratio* разъяснение, отчет *reddunda in ratione* (I 59), *habenda est ratio* (I 127), *ratio reddunda sit* (V 66).

ratio сущность, строение

dissimilis ratio materiai различное строение (= разнообразие форм) материи (II 667); *figurarum ratio motusque* строение форм (= различие форм) и движение атомов (IV 655) — *διαφορά* (ad Her. 42).

В трех стихах первой книги (I 127—129) встречается трижды слово *ratio* в трех разных значениях: отчет (*ratio*), способ (*qua ratione*) и разум (*ratione sagaci*).⁶

⁴ См. примечания к III 421 в издании Менро: T. Lucreti Cari De rerum natura libri sex. With notes and translation by H. A. J. Munro, 1886.

⁵ *ratione alia, qua, nulla, utraque, hac, ea, eadem, varia, tali, certa, consimili, simili, parili, pari, assimili, naturali, finita, celeri, duplici* (I. 77, 108, 344, 395, 513, 738, 842, 845, 918; 1061; II 374, 480, 493; III 665, IV 143, 744; VI 279).

⁶ Cp. Rhet. ad Her. IV 18: «nam cuius rationis ratio non exstet, ei rationi ratio non est fidem habere».

Другим примером подобного употребления может служить слово *species*.

species взор, взгляд, зрение — ὄψις (ad Her. 49); *speciem* quo vertimus (IV 242); *ad speciem* vertit (V 724);

species образ, вид:

speciem ac formam similem gerit eius imago IV 52.

species видение, образ (= simulacrum) — εἶδωλον (ad Her. 46a) *Homeri speciem* (I 125).

species теория, учение — θεωρία *nova species rerum* (II 1024); *naturae species ratioque* (I 148); *species caeli ratioque* (VI 83). В таком значении слово *species* встречается только у Лукреция.

Второй принцип Эпикура состоит в том, что все должно сводиться к простым элементам (т. е. обозначениям, терминам): *πρὸς ἀπλὰ στοιχειώματα καὶ φωνάς* (ad Her. 36) и кратким формулировкам: *διὰ βραχεῶν φωνῶν* (ad Her. 36).

Этот принцип в основном выполняется Лукрецием, хотя при создании термина он часто пользуется синонимией. Краткие формулировки или сен-тенции Лукреций использует охотно:

Sed breviter paucis praestat comprehendere multa (VI 1083).

У Эпикура, как известно, был свод главных изречений *κῆρυαι δόξαι*. Лукреций подобного рода изречения включает в текст поэмы. Любовь к пословице, поговорке, сентенции составляет одну из заметных черт поэтического стиля Лукреция, и он охотно применяет афористичность при формулировке научных истин, облекая их в форму сентенции. Вот несколько примеров:

Nullam rem e nilo gigni divinitus umquam I 150.

Из ничего не творится ничто по божественной воле.

Tangere enim et tangi, nisi corpus, nulla potest res I. 304.

Ведь осязать, как и быть осязаемым, тело лишь может. (ср. V 152).

Omnis, ut est, igitur per se natura duabus

Constitit in rebus; nam corpora sunt et inane I 419.

Всю, самоё по себе, составляют природу две вещи:

Это во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство.

At facere et fungi sine corpore nulla potest res

Nec praebere locum porro nisi inane vacansque I 443.

Действовать иль подвергаться воздействию тело лишь может

Быть же вместилищем тел может только пустое пространство.

Nil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum III 830.

Значит, нам смерть — ничто и ничуть не имеет значенья и мн. др.

⁷ В близком значении „идея” употребляет это слово Цицерон: „hanc illi *idéan* appellabant, nos recte *speciem* possumus dicere” (Acad. post I 8,30).

Итак, точность и краткость Эпикуру нужны для того, чтобы при обсуждении можно было лишь точными терминами и краткими формулировками выражать все мнения, вопросы и недоумения *τὰ δοξαζόμενα ἢ ζητούμενα ἢ ἀπορούμενα* (ad Her. 37, 38), у Лукреция первому соответствует *sententia* (III 371, V 622), второму — *est quaerendum* (III 726), а третьему отчасти *obscura reperta* (I 136), *contraria* (I 657), *difficile inlustrare* (I 137).

В вопросах познания Лукреций, как и Эпикур, последовательный материалист, он решительно утверждает, что мир познаваем, давая при этом резкую отповедь агностикам (IV 469—521).

Так же как в атомистике, Лукреций использует достижения материалистов предшественников, не следуя вместе с тем слепо за ними, а давая свое глубокое толкование понятий, отказываясь подчас в силу необходимости от буквального перевода греческого термина.

Оставаясь верным своим поэтическим принципам, Лукреций теоретические положения подает часто в форме художественных образов, используя поэтическую технику и для создания научной терминологии, которая является у него действенным средством познания научных истин.

Лукреций усматривает в процессе познания две стороны или два этапа: чувственный и рациональный (*sensus et ratio animi* I 447).

Познание начинается с ощущения.

Invenies primis ab sensibus esse creatam

Notitiam veri, neque sensus posse refelli IV 478 сл.

Но завершается оно разумом, который постигает скрытую сущность вещей:

Nec possunt oculi naturam noscere rerum IV 385

В этом вопросе Лукреций следует за своими предшественниками древнегреческими материалистами. Так, Эпикур неоднократно указывает на два источника познания, на чувства и разум: *κατὰ τὰς αἰσθήσεις ... καὶ ... (κατὰ) ἐπιβολὰς εἴτε διανοίας* (ad Her. 38, ср. 49, 50).

Такое же положение встречается в «Мерилах» Демокрита, где познаваемое с помощью чувств *τὴν διὰ τῶν αἰσθήσεων* он называет слепой разум *γνώμη σκοτή*,⁸ т. к. он не может различать более мелкие явления. По другим источникам на месте этого стоит душа *ψυχή* или ощущение и восприятие (представление) *ἢ αἰσθήσις καὶ ἢ φαντασία*.⁹ Познаваемое же посредством разума Демокрит называет истинный разум или *γνώμη γνησίη*, а по другим источникам *ὁ νοῦς*.¹⁰

Уже Гераклит, которого Лукреций считает своим идейным противником, говорил также о роли чувств и разума в процессе познания.¹¹ Но Ге-

⁸ Sext. VII 138, 140.

⁹ Philop. in Arist. de anima 71, 19; ср. Эпикур ad Her. 48, 50.

¹⁰ Arist. De anima I 2—405 а.

¹¹ Фргм. 107. Sext. VII 126; Galen. de medic. empir. (Diels. 68B) Подробнее об этом см. у В. Е. Тимошенко «Материализм Демокрита», изд. АН СССР, Москва, 1959, стр. 72.

раклит, по мнению Лукреция, неправильно истолковывает показания чувств, чем и вызывает резкое возражение поэта:

Nam contra sensus ab sensibus ipse repugnat I 693.

У Лукреция в поэме четыре раза встречается рефрен, в котором имеется словосочетание, остроумно объединяющее в себе две стороны познания: рассеять религиозные и суеверные страхи можно лишь познанием природы:

Nunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest

Non radii solis neque lucida tela diei

Discutiant, sed naturae species ratioque

(I 148 сл., II 61, III 93, VI 41)

Выражение *naturae species ratioque* состоит собственно из двух частей *naturae species* и *naturae ratio*, каждая из которых в свою очередь заключает в себе два значения:

1. *species* — внешний вид и *ratio* — внутреннее строение природы,
2. *species* — наблюдение, познание с помощью зрения и других чувств видимых явлений; *ratio* — толкование с помощью разума недоступных чувствам свойств предметов, говоря словами Эпикура, это *διὰ λόγον θεωρία* (ad Her. 59). И все это представляет собой науку о природе *περὶ φύσεως θεωρία* (ad Her. 35)¹² или *φυσιολογία* (гл. мысли XII).

Эти два главных положения о роли чувств и разума в процессе познания глубоко верны и лежат в основе материалистической гносеологии.

Итак, разберем основные термины, относящиеся к познанию с помощью чувств.

По представлению Эпикура—Лукреция от всех предметов отделяются мельчайшие частицы. Они летают повсюду и в совокупности сохраняют внешний вид тех предметов, от которых они отделяются. Для названия этих частиц Лукреций употребляет следующие существительные: *simulacra*, *imagines*,¹³ *figurae*, *effigiae*, *vestigia*, *nuntia*, *formae*, *texturae*, *corpora*, *membranae*, *cortex*, *filum* и прилагательные: *tenuis* (tenuis), *similis*, *subtilis*.

В этих названиях Лукреций подчеркивает три свойства:

1. Истечения от предметов, подобные самому предмету. Такое значение имеют термины *simulacra* подобия, «призраки» (IV 99, 127 и др.), *simulacra rerum* подобия вещей (IV 30, 50 и др.). Такое значение подкрепляется еще каламбуром «*simulacra... simul ac...*» (IV 210 сл.). Далее Лукреций дает такие названия: *imago* подобие, образ (IV 52, 110, 214); *imagines* образы (IV 101 и др.); *figurae* (от *tingo*) слепки, фигуры (IV 109, и др.) *effigiae*¹⁴ (от

¹² Ф. А. Петровский заметил, что *species* означает результат наблюдения, а греческое *θεωρία* — само действие созерцания. См. в кн. Лукреций, «О пр. вещей», АН СССР, 1947, т. II, стр. 324.

¹³ Любопытную параллель представляют собой слова, определяющие словесный образ в Rhet. ad Her. III 29; «*imagines sunt formae quaedam et notae et simulacra eius rei, quam meminisse volumus*».

¹⁴ У Лукреция это слово имеет формы только 1-го склонения, а обычно оно бывает 5-го.

tingo) rerum изваяния вещей (IV 42); *effigiae similes* подобные изваяния (IV 105); *formarum vestigia certa* следы форм (IV 87); *nuntia formae* вестники формы (VI 78), *simulacra...nuntia* (IV 1032).

2. Поскольку эти истечения подобны предметам, они должны иметь определенную форму. Это свойство передается терминами: *formae rerum* формы вещей (IV 104); *corpora* тела (IV 217); *cortex* кора, оболочка (IV, 51).

3. Эти подобия тел должны обладать необыкновенной тонкостью строения. Такое свойство Лукреций передает обычно словосочетаниями с прилагательными: *formae tenues* тонкие формы (IV 158); *texturae rerum tenues* тонкие сплетения вещей (IV 158); *membrana tenuis* тонкая оболочка (IV 95); *subtile filum* тонкая ткань (II 88); (*simulacra*)...*sunt tenvia textu* (IV 728); *propter subtilem naturam et tenvia texta* IV 743.

Лукреций, как отмечалось выше, неоднократно использует в поэме омонимы. Так, у него термины *figurae* и *corpora* означают и «атомы» и «образы», текущие от тел (см. IV 217; I 215).

Интересно отметить, что уже у Демокрита термин *ἰδέα* означал фигуру и атом в сочетании *ἀτόμους ἰδέας* (Arist. De gen. anim. II 6, 742 b 17).

У Демокрита эти «образы» называются *εἰδῶλα* (Aet. IV 85; Diels. 67A 30) образы (от *εἶδω* видеть, смотреть); *εἰκόνες* (от *εἶκω* быть сходным), изображения (Aet. IV 13, 4); Pap. Oxyrh. XIII 1609); *δείκελα* отображения; т. е. Демокрит подчеркивает названиями ту мысль, что это «видения, похожие на предмет».

Эпикур называет их *εἰδῶλα*¹⁵ (Ad Her. 46 a), что ближе всего соответствует у Лукреция термину *species*,¹⁶ но только *species* означает внешний вид предметов, а не их подобие «*simulacra... simili specie sunt praedita rerum* IV 100. Другой эпикуровский термин *τύποι ὁμοιοσχήμονες* подобные отпечатки (ad Her. 46a) соответствует по смыслу Лукрециевому *effigiae similes* и *formarum vestigia*.¹⁷ У Эпикура встречаются еще термины: *ἀποστάσεις* отделения (ad Her. 46a) и *ἀπόρροιαί* истечения, *ῥεῦσις ἀπὸ τῶν σωμάτων* поток, течение от тел (ad Her. 48). В таком значении Лукреций употребляет термин *emissus* (вместо обычного *emissio*: *emissum res nulla moratur* ничто не замедлит выделения тел IV 205). Но чаще всего Лукреций это понятие передает глагольными формами: *fluant* (IV 144), *fluere* (IV 157), *nec requies interdatur ulla fluendi* (IV 227); *jaculentur* (IV 146); *jaciuntur* (IV 205).

¹⁵ На заимствование Эпикуром этой теории у Демокрита указывает Цицерон (De fin. I 6, 21), Аэгий (Placita IV 8, 10), комментатор Аристотеля Александр Афродисийский (In Arist. De sensu p. 24, 14).

¹⁶ Цицерон в письме к эпикурейцу Кассию иронически пишет о том, что эпикуреец Катий Инсубр называет эти образы *spectra* (ad fam. IV 16).

¹⁷ Образ же отпечатка, оттиска (от глагола *premo*) Лукреций употребляет дважды для объяснения других физических явлений: зеркальное изображение Лукреций сравнивает с вывернутой наизнанку сырой маской *retro sese exprimat ipsa* (IV 323); затрату физической силы и энергии во время работы Лукреций представляет с помощью выходящих из организма тел: *corpora... multa ex alto pressa feruntur* (IV 863).

Эти «образы» проникают в зрение или в ум *εἰς τὴν ὄψιν ἢ τὴν διάνοιαν* (ad Her. 49), *simulacra feruntur in mentis hominum* VI 76.

Эпикур отмечает тонкость образов *λεπτότησιν ἀνπερβλήτοις κέχρηται* (ad Her. 47a), что Лукреций отмечает в терминах, образующих сочетания с прилагательными (*tenuēs, subtile*), а также в словах *textura rara* тонкая ткань (IV 196), *fusa vagari* бродят рассеянные образы (IV 53). И Эпикур и Лукреций отмечают быстроту, с какой эти образы несутся *τάχῃ ἀνπερβλήτα ἔχει* (ad Her. 47a); *tam volucris levitate feruntur* (IV 195); *quam celeri motu* (IV 210), *puncto tempore imago accidat* (IV 214). Физическая теория «образов», несмотря на свою наивность, была единственно правильной и даже для нашего времени она содержит некоторое зерно истины с точки зрения теории света, как замечает С. И. Вавилов.¹⁸

Лукреций, как последовательный сенсуалист, основой познания считает ощущения и чувства, возникающие благодаря воздействию на наши органы чувств внешних предметов (*rex externa insinuat*, II 435; *corpora iniecta nobis ciere sensiferos motus in corpore* III 378). Внешние предметы воздействуют на наши чувства с помощью образов — *simulacra*, передающих облик и форму вещи (*Quod speciem ac formam similem gerit eius imago* IV 52). Для обозначения чувств, ощущений Лукреций употребляет прежде всего термин *sensus*, который имеет у него различные значения:

1. *sensus* чувство, одно из пяти чувств (I 460; IV 480), соответствующее эпикуровскому *πάθη* (ad Her. 38). Для обозначения каждого из пяти чувств (*quinque sensus* III 626) Лукреций предпочитает употреблять названия органа чувств вместо самого чувства:

а) зрение: *oculus* (III 551, 631); *oculi* (IV 486 и др.) глаз, глаза, реже встречается *visus* зрение (IV 233), *sensus oculorum* (III 362), *causa cernendi*,¹⁹ причина зрения (IV 237 сл.).

б) слух: *aures* уши (IV 486, 597, III 631 и др.); *sensus* чувство слуха (IV 525, 527).

в) вкус: *lingua* язык (III 632), *sapor* вкус (IV 487); ср. *sucus* сок, вкус (IV 615).

г) обоняние: *nares* ноздри (III 631; IV 488; 687, 673), *nidor* нюх (IV 684).

е) осязание: *manus* рука (III 631); *tactus* осязание (IV 233; 266, 486), *tactus ... est corporis sensus* (II 434). В 631 стихе третьей книги Лукреций называет все пять чувств вместе: *oculi, nares, manus, lingua, aures* (ср. IV 229: *cernere odorari licet et sentire sonare*).

¹⁸ Лукреций «О пр. вещей», 1947 г., т. II, стр. 38. Интересно отметить, что даже современная материалистическая теория отражения для определения наших ощущений использует те же образные термины «образы, картины, отображения, изображения», вкладывая в них, разумеется, новое, более сложное содержание; см. В. И. Ленин, Соч., изд. 4-е, т. IV, стр. 29.

¹⁹ Ср. Cic. de or. 2, 87, 357 *sensus videndi*.

2. *sensus* чувственное восприятие, ощущение (II 439, 913, III 238, 336, 550, IV 496 и мн. др.). Такое значение соответствует демокритовскому и эпикуровскому *αἰσθησις* (ad Her. 38).

В последнем значении употребляет Лукреций термин *tactus*²⁰ *variantis edere tactus* II 816 и словосочетание *sensiferos motus*²¹ чувствонесущие движения, ощущения (выражение встречается только в третьей книге; III 240, 245, 379, 570 (272 — sing.)).

Слово *sensus* употребляет Лукреций еще в сочетании *sensus communis*²² (I 422) чувство, общее всем людям, здравый смысл, подсказывающий неизбежность существования первоначал. Подобное выражение встречается и у Эпикура *ἡ αἰσθησις ἐπὶ πάντων* (ad Her. 39).

В этом разделе Лукреций неоднократно употребляет термин *adjectus* прикосновение, вызывающее чувство: *naris adjectus odoris tangat* (IV 673).

3. *sensus* орган (органы) чувств (III 550, 630 и др.). В таком же значении употребляет Лукреций слово *tactus*, что соответствует эпикуровскому *αἰσθητήριον* (ad Her. 50, 53, 54 и др.), напр.: *nostros adjectu tangere tactus* (689 1); *τὸ αἰσθητήριον κινεῖν* (ad Her. 53), (ср. выражение *ciere sensiferos motus* III 378, где слово *ciere* общего индоевропейского корня с греческим *κινεῖν*). Разные по своей форме атомы вызывают разные ощущения: одни могут ранить (*laedere*) или колоть (*compungere*), а другие щекотать (*titillare*) и ласкать (*juvare*, см. II 408—443).

В латинском языке термин *sensorium* «орган чувств» появляется только со времен Бозция (480—564 г. н. э.).

Как можно видеть из вышесказанного, терминология Эпикура в этом разделе более четкая, т. к. он строго разграничивает понятия чувство, чувственное восприятие и орган чувств.

Лукреций же пользуется для всех этих понятий почти исключительно термином *sensus*, который приобретает омонимические значения и подчеркивает основную идею, что чувство — основа познания, выражая это и в образном олицетворении *sensus omnituentes* всезрящие чувства (II 942), которые воспламеняются при взаимных усилиях тела и души

Sed communibus inter eas conflatur utrimque

*Motibus accensus nobis per viscera sensus*²³ III 335 сл.

²⁰ Обобщение Демокритом осязания и ощущения встречает резкое возражение Аристотеля (De sensu IV 422a, 29).

²¹ Ср. *motus vitalis* V 125, *genitales auctificique motus* II 571, *leti motus* II 955, *motus exiliatis* II 569.

²² *sensus communis* в значении «здравый смысл» много раз встречается у Цицерона (напр.: de or. 1, 3; 23, 108 и мн. др.), Сенеки (benef. 1, 12), Горация (sat. 1, 3, 66) и др. Ср. во франц. *sense commun* и в англ. *common sense*.

²³ К. Маркс, оценивая значение чувств в эпикуровской теории, пишет, что в них «как в фокусе отражаются процессы природы и в которых они, воспламенившись, излучают свет явлений». См. «Различие между натурфилософией...» в указ. кн., стр. 57.

Но чувства дают нам представления лишь о некоторых внешних признаках, установить же глубокую сущность предметов с помощью чувств невозможно (IV 385), поэтому в процессе познания помимо чувств участвует разум и вся духовная деятельность человека.

Nos animi demum ratio discernere debet (IV 384). Чувства познают внешние явления *eventa* (I 450) — *συμπτώματα* (ad Her. 67), а разум — внутренние свойства *conjuncta* (I 451) — *συμβεβηκότα* (ad Her. 68).

Рассмотрим теперь термины, относящиеся к познанию с помощью разума.

В дошедших сочинениях Эпикура теория «души» раскрыта неполно, в то время как Лукреций отводит большое место в поэме раскрытию духовной деятельности человека. Вслед за Эпикуром он несколько наивно и слишком конкретно представляет себе «анатомию» психики человека, но для того времени это было единственно правильным и получило высокую оценку в новое время.²⁴

По Лукрецию, умственной деятельностью человека управляют дух и душа: *animus et anima*. Дух и душа составляют единую сущность:

Nunc animum atque animam dico conjuncta teneri

Inter se atque unam naturam conficere ex se. III 136.

Они тесно связаны между собой, как корнями:

Nam communibus inter se radicibus haerent. III 325.

Из совместных действий тела и души возникают различные чувства:

Sed communibus inter eas conflatur utrimus

Motibus accensus nobis per viscera sensus. III 335.

Тело и душа живут и умирают вместе:

Sic animi natura nequit sine corpore oriri. V 132.

Но дух и душа вместе с тем и различаются между собой. Душа *anima* — это жизненное начало в теле.

... toto sentimus corpore inesse

vitalem sensum²⁵ et totum esse animale videmus. III 634.

Опровергая теорию о душе — «гармонии», встречающейся у Платона («Федон» 86 в-с), Аристотеля (*de anima*, I 4, 407 б), Лукреций скорее всего имеет в виду не их, а Аристоксена и Дикеарха, учеников Аристотеля (см. Cic. Tusc. disp. I 19—22). Главной ошибкой сторонников этой теории Лукреций считает не то, что они душу — гармонию — представляют себе как «состояние тела живого» (*habitus vitalem*²⁶ corporis, III 99), что дает нам возможность жить и чувствовать (*quod faciat nos vivere cum sensu*, III 100 сл.). В этом есть сходство с определением души Лукреция. Ошибка их в том, что они не отводили духу особого места в теле (III 101).

²⁴ См. В. И. Ленин. Фил. тетр., ОГИЗ, 1947, стр. 277.

²⁵ *hunc motum, quem sensum nominamus* III 352.

²⁶ *Cp. motus vitalis*, V 125.

В то время, как по теории Лукреция дух — *animus* — находится в середине груди и является вместилищем разума, воли, чувств и желаний.

Idque situm media regione in pectoris haeret.

Sic exsultant enim pavor ac metus, haec loca circum

Lactitiae mulcent; hic ergo mens animusque est III 140.

Душа же разлита по всему телу и движется волей ума:

Cetera pars animae per totum dissita corpus

Paret et ad numen mentis nomenque movetur III 143.

Часто Лукреций не различает понятия духа и души, специально оговаривая это (III 421). Для понятия духа и души Лукреций употребляет следующие названия: *animus* дух, ум (III 142 и мн. другое); *vis animi* сила духа (I 72); *anima* душа (III 351 и мн. др.); *natura animae* природа души (III 43). Часто Лукреций употребляет эти понятия в сочетании друг с другом: *anima atque animus* дух и душа (III 416); *animi natura atque animae* природа духа и души (III 35); *animus vis animi* дух и сила души (III 396); *animi vis animaeque potestas* сила духа и могущество души (III 277).

Лукреций в названиях постоянно отождествляет понятие: дух, разум, ум, мысль, рассудок, сознание (*animus, anima, mens, consilium, ratio, sententia, cor*), стараясь таким путем показать сложность и многогранность деятельности ума: *animum mentem quam saepe vocamus* дух мы часто умом называем (III 94); *mente animoque* умом и духом (I 74, III 398) *animi natura consiliumque* V 127; *animi mens consiliumque* ум и рассудок (III 615); *consilium quod nos animum mentemque vocamus* рассудок, что мы духом и умом называем (III 139), *animi ratio* разум духа, разумение (I 448; IV 384); *animi mente* мыслью ума (V 149); *animi sensus, animi sententia* чувство духа, чувствующий дух, сознание (III 98, 104, 448). В этом термине, так же как и в словосочетаниях *ratio sagax* чуткий разум (I 130, 368), *animus sagax* чуткий дух (I 50, 402; II 840), *mens sadax* чуткий ум (I 1022, V 420), сливается воедино чувство и ум, с помощью которых мы познаем мир.²⁷

Иногда Лукреций в значении разума, ума употребляет слово сердце. Так, в концовке пятой книги (V 1452—1457), где он говорит о постепенном прогрессе человеческой цивилизации, встречаются три пары синонимов для выражения проблемы *ingenium* — *ars*, это:

- 1) *experientia mentis* — *usus* (пытливость ума и опыт);
- 2) *ratio* — *aetas* (разума и время, накапливающее опыт);
- 3) *corde-artibus* (умом и искусством).

В этих сочетаниях *mens, ratio* и *cor* выражают одно и то же.

Говоря об Афинах, прославившихся тем, что они родили Эпикура, мужа столь выдающего ума (*cum genuere virum tali cum corde repertuum* VI 5) — Лукреций снова употребляет *cor* в значении *ratio* ум. И то же слово

²⁷ См. замечание Ф. А. Петровского в кн. Лукреций «О пр. вещей», т. II стр. 338.

употребляет он, говоря о том, что люди, введшие усовершенствования на заре цивилизации, отличались и дарованием и умом: *ingenio qui praestabant et corde vivebant* V 1107.

В психологической теории Лукреция дух или ум выступают то в роли мыслительного органа, то являются его функцией. Например, говоря о природе мысли, Лукреций утверждает, что из трех частей (*aer, ventus, calor*) ум не может создать чувства и мысли:

*Nil horum quoniam recipit mens posse creare
Sensiferos motus, nedum quae mente volutat.* III 239.

В первом стихе слово *mens* употребляется в значении «ум», мозг, а во втором *mente* — в значении функции мозга — «мысль» (ср. *animi mente* мыслью ума, V 149).

Очень важно, что Лукреций раскрывает материальную телесную природу духа (*naturam animi atque animae corpoream*, III 161). Развивая эту мысль, Лукреций указывает, что дух представляет собой отдельную часть человека.

*Esse hominis partem nilo minus ac manus et pes
Atque oculi partes animantis totius exstant.*

(III 96 сл., ср. III 130 сл.).

Лукреций объясняет дальше, из каких материальных частей состоит душа (*animus quali sit corpore* III 177). Она сложна (*nec simplex*, III 231) и ее природа тройственна (*triplex animi natura*, III 237). Первая часть души — это тонкое дуновение, живой ветер, семена ветра: *tenvis aura* (III 232), *ventus vitalis* (III 128), *venti semina* (III 126). Вторая часть души — это жар, тепло, семена жара: *calor* (III 128, 234), *vapor* (II 233), *semina calidi vaporis* (III 126). Третья часть души — воздух *aer* (III 233). Но для возникновения чувства и мысли этих трех составных частей недостаточно, для этого существует четвертая, безымянная природа: *quarta naturae omnino nomine exspers* (III 241).

Эта часть души состоит из самых мелких и подвижных элементов:

*Quam neque mobilius quicquam neque tenvius exstat.
Nec magis e parvis et levibus est elementis.* III 243.

Эту четвертую часть души Лукреций называет подвижной силой *mobilis vis* (III 270); она представляет собой как бы душу всей души и над всем господствует телом:

*... animae quasi totius ipsa
Proporrost anima et dominatur corpore toto.* III 280

То же самое он говорит о разуме:

*Caput esse quasi dominari in corpore toto
Consilium, quod nos animum mentemque vocamus.* III 138

С этим определением сходна характеристика, которую Лукреций дает уму, как органу, где помещается управляющий аппарат человека:

Primum animum dico, mentem quam saepe vocamus,
In quo consilium vitae regimenque locatum est. III 94

Та же мысль заключена и в 143 стихе:

Anima ...ad numen mentis momenumque movetur.

Всем обозначениям Лукреция духа и души у Эпикура соответствуют термины *ψυχή* (ad Her. 63) и *διάνοια* разум, *νόημα* мысль. Из составных частей души в дошедших сочинениях Эпикура встречаются *πνεῦμα* (aurea, ventus) ветер, *θερμόν*, (calor, vapor) тепло и безымянная часть души, отличающаяся тонкостью строения *λεπτομερές*. Душа рассеяна по всему организму и тонкостью (*τῇ λεπτομερείᾳ* ad Her. 63) превосходит все части души.

Доксограф Аэтий²⁸ указывает все четыре части души Эпикура и взаимодействие их описывает более точно, чем это делает Лукреций (III 246—251). В схолии к § 67 «Письма к Геродоту» сказано, что душа состоит из неразумной части *ἄλογον*, рассеянной по всему телу и соответствующей *anima* у Лукреция. Вторая часть души, разумная — *λογικόν* расположена в середине груди, как *animus* Лукреция (id... situm media regione in pectoris III 140). Аэтий называет эту часть души *ἡγεμονικόν*,²⁹ что соответствует у Лукреция *vitae regimen* III 95.

Демокрит, по сообщению Аристотеля (De anima I, 2—405 a), считал, что ум и душа одно и то же (*ψυχὴν μὲν γὰρ εἶναι τὰυτό καὶ νοῦν*). Об этом же неоднократно говорит Лукреций (напр. III 136, 325 и мн. др.). По мнению Демокрита, ум состоит из неделимых тел и способен к движению, так как состоит из мелких наиболее подвижных частей, как и огонь. Точно неизвестно, помещает ли он ум в груди или в голове, но по сообщению Аэтия³⁰ Демокрит, подобно Гиппократу, принял учение последователя Пифагора Алкмеона, который считал мозг руководящим органом в умственной деятельности человека.³¹

Синонимика для обозначения духа и души у Лукреция показывает его поэтическое стремление отразить многогранность духовной деятельности человека и вместе с тем показывает известную нечеткость, неразработанность этой проблемы в древности.

Только из Лукреция (III 370) известна теория Демокрита о чередовании и численном равенстве атомов души и тела. Опровергая это учение, Лукреций объясняет теорию «абсолютного порога» ощущения.

Quantula prima queant nobis iniecta ciere

Corpora sensiferos motus in corpore, tanta

²⁸ Diels Doxographi Graeci стр. 388 сл.

²⁹ De Placitis philosophorum IV 5,5; ср. Сервий ad Aen. X 487: «animum vero esse τὸ ἡγεμονικόν animae, sine quo vivere non possumus».

³⁰ Aet. IV 17, 1.; V 17, 3.

³¹ В стихах VI 802 сл., где сказано, что человек может лишиться чувств от угара, проникающего в мозг (*carbonumque gravis vis atque odor insinuat in cerebrum*), можно усмотреть у Лукреция подобную точку зрения.

Intervalla tenere exordia prima animai. III 378

Любопытно прочитал эти стихи П. С. Попов,³² так что они вполне соответствуют определению «закона порога» у Фехнера:³³ «наименьшим (tanta) различиям (intervalla), впервые (prima) подмечаемым (tenere) сознанием (exordia animi), соответствуют наименьшие (quantula) раздражения (corpora injecta nobis), которые впервые (prima) в нас могут вызвать ощущения (queant ciere sensiferos motus)».

Из всех материалистов древности Лукреций наиболее успешно разрешил психофизическую проблему, установив тесную связь между психическими факторами. Лукреций убедительно доказал, что выход за «порог ощущения», т. е. за пределы минимального раздражения, может привести к отсутствию ощущения от воздействующего на нас предмета, как всегда доказывая это с помощью наглядных примеров (III 381—395).³⁴

В процессе познания, как мы видим, Лукреций отводит большое место разуму. Разум познает все недоступное для чувства (infra nostros sensus IV 112), основываясь на законе аналогии с видимыми предметами:

Dumtaxat magnarum rerum parva potest res

Exemplare dare et vestigia notitiae II 123

Эпикуровскому *ἀναλογία* (ad Her. 59) у Лукреция соответствует exemplare³⁵ и specimen verum (IV 209).

Способность ума познавать недоступное чувствам, т. е. умозрение, Эпикур называет *διὰ λόγον θεωρία* и *ἐπιβολὴ τῆς διανοίας* («набрасывание», т. е. вторжение ума ad Her. 59, 51), а Лукреций передает калькой *animi iniectus* II 740³⁶, говоря о постижении невидимых первоначал. А словами *animi iactus liber* (II 1047) «свободный бросок ума» он показывает способность человека заглянуть в беспредельное пространство.³⁷ Эта же мысль встречается в образном описании умозрительного путешествия Эпикура по вселенной. По значению сходно с этим и выражение *animi ratio* (I 448; IV 384), а также *prospicere velit mens* (II 1046) ум желает заглянуть в беспредельное пространство. Пытливость ума — одно из условий человеческого прогресса, по мнению Лукреция *impigrae... experientia mentis... progredientis* V 1452. Вторжение ума в недоступное чувствам пространство и Цицерон называет «se iniciens animus et intenens».³⁸ Объясняя это понятие, исследо-

³² П. С. Попов «Учение Эпикура об абсолютном пороге». Научные известия, сб. второй М., 1922, стр. 50.

³³ Закон Вебера (1795—1878 гг.) — Фехнера (1801—1887) — основной психофизический закон, выражающий связь между изменением интенсивности раздражения и силой вызванного им ощущения.

³⁴ Подробнее об этом см. в ст. В. И. Светлова «Мировоззрение Лукреция» в кн. Лукреций «О пр. вещей», т. II, стр. 102 сл.

³⁵ Арх. форма вместо exemplar ср. exemplum... specimen V 186

³⁶ Ср. „nobis iniecta ciere corpora sensiferos motus” III 378

³⁷ Я. М. Боровский считает, что это словосочетание не эквивалентно техническому термину *animi iniectus*, см. Лукреций «О пр. вещей», т. II, стр. 185.

³⁸ Cic. „De nat. deorum” I 20, 54.

ватель Лукреция Вольтер говорит следующее: «de ea animi facultate, quae sibi proponere et fingere potest, quae sensibus non percipiuntur»,³⁹ т. е. определяет это как способность ума представить и вообразить то, что недоступно чувствам.

Итак, Эпикур и Лукреций отмечают одну из важнейших функций ума — способность отвлеченно, умозрительно мыслить. Далее, оба они считают важнейшим моментом мышления внимание, сосредоточенность, что Лукреций выражает словами *inice mentem* II 1080, *contendit, acute cernere* IV 802, *ipse parat se* IV 805, *deditus ipse* IV 815 — разум должен сосредоточиться, приспособиться, полностью отдаться рассматриваемому предмету. У Эпикура понятие внимания включается в самый термин *ἐπιβολὴ τῆς διανοίας*, как отмечает Бели.⁴⁰

Чрезвычайно важным является наблюдение, что главная функция ума состоит в ее анализаторской способности, о чем не раз говорит Лукреций: *ratio dissolvere causam* IV 500, *pluris disponere causas* V 529, *ponere certum difficile est* V 526, *hoc... animi... ratio discernere debet* IV 384, *ancipiti refutatu* III 525, *pleraque dissolvi* VI 46 и один раз встречается у Эпикура *εἰς τὰς τοιαύτας ἀναλύοντας ἐπιβολάς* (ad Her. 83).

Способность ума внимательно анализировать явления и дает возможность отделить ложное от истинного. Так, чувства могут ошибаться, но обманы зрения (*frustramen* IV 817) или других чувств должен правильно рассудить разум. Так возникает истина, которую Эпикур называет *τὸ ἀληθές* (ad Her. 51), а Лукреций, как обычно, дает несколько названий: *verum, certum* истина (IV 476, 477, 479), *vera res* правда, истина (III 523, IV 764), *res apertae* явные вещи, истина IV 467), *omnia credita* все достоверное (I 694), *reperta* (I 136, V 2) открытия.

То, что разум упускает из поля зрения, приводит к ошибкам, к ложному суждению о вещах, называемому Эпикуром *ἐπολήψεις ψευδεῖς* (ad Men. 124), а Лукреций называет *opinatus animi* (IV 465), *animi vitium* (IV 386), *mentis error* (IV 822a).

Так возникает ложь *τὸ ψεῦδος* (ad Her. 51) — *falsum* (III 540, IV 476), *falsa ratio* ложное учение (I 1097; III 523), *dubium* сомнительное (IV 477), *res dubiae* недостоверные вещи (IV 468), противоречивые доказательства *argumenta pugnancia* (I 1096), *caeca ratio* ослепление, невежество (VI 67).

Ошибка возникает и в том случае, если ум исходит из заведомо ложных чувственных показаний (*falsis ab sensibus* IV 521).

Поэтому для постижения истины важно наметить правильно основное положение. Это ассоциируется у Лукреция с постройкой дома: если начальные расчеты неправильны (*judiciis fallacibus primis*), то и весь дом

³⁹ J. Woltjer „Lucretii philosophia cum fontibus comparata,” Groningae, 1877, сmp. 94.

⁴⁰ The Greek atomists and Epicurus, a Study by C. Bailey, Oxford, 1928, p. 576.

рухнет, так и наше суждение о вещах (*ratio rerum*) будет неверным, если оно исходит от неправильных положений (IV 512—521). Чуткий разум с помощью правильной отправной точки может все познать:

Verum animo satis haec vestigia parva sagaci

Sunt per quae possis cognoscere cetera tute. I 402

Процесс постижения истины сравнивается у Лукреция с охотой (I 405—409). Как собаки чутьем (*naribus*) находят скрытые в листве логова диких зверей (*ferarum intectas fronde quietes*), лишь только нападут на верный след (*instituerunt vestigia certa viai*), так и человеческий разум проникает в потаенные дебри природы (*caecas latebras insinuare*) и извлекает оттуда истину (*verum protrahere*), постепенно раскрывая одну тайну (*ultima naturai*) природы за другой (ср. I 1114—1117).

Из отдельных восприятий и чувственных единичных представлений *φαντασία* (ad Her. 124), соответствующим образом обработанных умом, возникают знания, общие представления *πρόληψις*. Этот термин вызывал уже в древности различные толкования. Лукреций отказывается от буквального перевода этого термина и передает его простым латинским словом *notities* (или *notitia*) знание, общее представление (II 124, 745; IV 476, 479, 854; V 124, 182), что гораздо ближе по смыслу к термину Демокрита, считавшего, что в результате притекающих образов у каждого возникает мнение *ὁ νόμος*.⁴¹

Согласно сообщению Диогена Лаэртского, *πρόληψις*, это воспоминание часто являвшегося извне (*μνήμην τοῦ πολλὰκις ἔξωθεν φανέντος* D. L. X. 33). Такое толкование подтверждается употреблением Лукрецием субстантивированного инфинитива *meminisse*⁴² в значении память, сохраняющая постигнутые умом истины. На терминологическое значение этого инфинитива указывает тот факт, что для обозначения «памяти» в обычном смысле Лукреций употребляет словосочетания *memori mente tenere* II 582, *memores motus mentis* III 1040, *vestigia gestarum rerum tenemus*⁴³ III 633, *retinentia*⁴⁴ *actarum rerum* III 675 и слово *repetentia* III 851. В этом понятии он подчеркивает момент удержания в памяти и повторение (*tenere*, *re-tinere*, *re-petere*, *vestigia*).

В сходном значении с *meminisse* в значении *πρόληψις* Лукреций употребляет *videre antea* (IV 474, ср. VI 100—104). Важность понятия *πρόληψις* Лукреций доказывает тем, что во сне, когда спят все чувства (*sensus quiescunt*) и память (*meminisse jacet* IV 765), которая хранит уже постигнутые умом общие представления *notities*, мы не можем отличить ложь от истины.

⁴¹ Sext. adv. math. VII 137 (Diels., 68 b 7).

⁴² См. указ. соч. Бели, стр. 572; ср. субст. инф. *scire et nescire* IV 475 ср. *meminisse* в обычном значении инфинитива, а не существительного *meminisse nequimus* III 672.

⁴³ Любопытно, что в науке о психологии нашего времени сохраняется тот же образ в термине «следовой рефлекс»; см. напр. Н. К. Одуева «О переходе от ощущения к мысли», изд. АН СССР, 1963, стр. 48.

⁴⁴ vox Lucretiana

Говоря словами А. С. Ахманова, *πρόληψις* для Эпикура имело значение «общего представления или логически не обработанного понятия, образующегося путем удержания в сознании общих черт единичных представлений».⁴⁵ И таким образом префикс *προ-* следует понимать здесь не как *пред-* (заранее), а как *прежде*, ранее (бывшее).

Следует остановиться на неверном толковании этого термина Цицероном. Цицерон так передает это понятие на латинский язык: *insita notio* (De fin. I 9, 31); *insitae, innatae cognationes* (N. D. I 17, 44); *anteceptae informationes sive anticipationes etiam praenotiones* (N. D. I 16, 17); *anticipatio, praenotio deorum* (De fin. I 9, 31). По Цицерону получается, что *πρόληψις* это какие-то врожденные представления, предвосхищающие знание предмета, т. е. он вкладывает в материалистическое понятие Эпикура такой смысл, какой он имел у стоиков. Это вольное или невольное искажение было одним из проявлений борьбы с враждебным эпикуровским учением.⁴⁶ Слово *anticipatio* представляет собой кальку с греческого *πρόληψις*, но такой перевод не облегчает, а затрудняет постижение и без того сложного эпикуровского понятия.

Другой термин *insita notio, innatae cognationes* возникает у Цицерона, возможно, под влиянием неверного толкования стихов Лукреция.

Лукреций дважды употребляет выражение *insita notities* в отрицательном значении, опровергая теорию божественного происхождения мироздания, он говорит, что у богов не могло возникнуть («всеяться») само по себе представление о сотворении мира, т. к. *notities* (знание) происходит из чувственного опыта, обработанного умом: *exemplum gignundis rebus et ipsa notities divis hominum unde insita primum ... si non ipsa dedit specimen natura creandi* (V 182 сл.).

Лукреций опровергает также теорию божественного происхождения речи: — у бога не могло возникнуть представления о речи, раз такого явления не было еще в жизни: *unde insita notities est utilitatis, et unde data est huic prima potestas?* (V 1047 сл.).

В этих стихах выражение *unde insita notities est* оба раза встречается в риторическом вопросе, на который подразумевается отрицательный ответ: «не может какое бы то ни было представление возникнуть сверхчувственным путем; если самого предмета или явления нет в жизни, то не может быть и представления о нем».

Кроме того, в этих отрывках Лукреций дважды употребляет *dativus possessivus*: *divis* (у богов) *huic* (у него, т. е. у бога) не могло быть врожденного («всаянного») представления о сотворении мира, следовательно, они и не могли принимать в этом никакого участия.

⁴⁵ Лукреций «О пр. вещей», т. II, стр. 503.

⁴⁶ Стоическая окраска, придаваемая Цицероном эпикуровским терминам, отчетливо вскрыта Т. К. Фоминой в статье «Варианты и синонимы в философской терминологии Цицерона», Уч. зап. Рижск. пед. ин-та, 1957, стр. 130.

Цицерон же употребляет в подобных случаях *genetivus obiectivus*: *praenotio deorum* «предузнание» богов, т. е. у людей представление о богах взялось откуда-то свыше, это — «всеянные» или врожденные знания *insitae vel potius innatae cognationes*. Таким образом, Цицерон, переводя на латинский язык эпикуровский термин и используя, вероятно, материал из поэмы Лукреция, совершенно искажил смысл термина, стараясь передать букву, а не дух этого учения.

Таким образом, у Эпикура и Лукреция *πρόληψις* — *notities* общее представление становится критерием наших чувственных впечатлений.

Эпикуровский термин *κρίτηριον* критерий как средство или мерило познания Лукреций передает словом *judicium* (*acri iudicio perpende* II 1042; *iudiciis primis* IV 519). Говоря о чувствах как о критерии, он называет их *fides prima* первое доверие к чувствам (IV 505); *major fides* главное доверие к чувствам (IV 480); *via proxima munita fidei* ближайший проторенный путь к убеждению идет от чувств (V 103).

Обычно принято считать, что материалисты древности не обращались к практике как к критерию истинности чувственных представлений.⁴⁷

Но у Эпикура есть прямое указание на то, что общее представление следует сопоставлять с делами. «Даже если полезность, заключающаяся в справедливости, меняется (т. е. исчезает), но в течение некоторого времени бывает согласна с естественным представлением (*εἰς τὴν πρόληψιν*) о справедливости, то в течение того времени она нисколько не менее бывает справедливой в глазах тех, кто не смущает себя пустыми звуками (словами), а смотрит на факты» (*εἰς τὰ πράγματα*)⁴⁸; «Где действия, признанные (законом или обычаем) справедливыми, если только обстоятельства не стали новыми (не переменились), оказываются на практике (*ἐπ' αὐτῶν τῶν ἔργων*) не согласными с естественным представлением (*εἰς τὴν πρόληψιν*) о справедливости, то эти действия несправедливы».⁴⁹

У Лукреция такого прямого теоретического положения нет, но у него в поэме имеются постоянные ссылки на очевидные дела: *ipsa res* (III 355, IV 396, V 104), *manifesta res* (I 803, II 565, VI 139), *res manifestas verasque* (III 352).

Разумеется, ни Эпикур, ни Лукреций не могли разработать отчетливо вопрос о практике как критерии истины, но в зачаточном состоянии это положение находит себе место и в их теории познания.

По сравнению с эпикуровской философской лексикой⁵⁰ терминология Лукреция в отделе познания (как, впрочем, и в других частях поэмы) более

⁴⁷ См., например, А. Ф. Шишкин «Из истории этических учений», М., 1959, стр. 62.

⁴⁸ Гл. мысли XXXVII, пер. С. И. Соболевского в кн. Лукреций «О пр. вещей», т. II.

⁴⁹ Гл. мысли XXXVIII (пер. того же автора).

⁵⁰ Общие принципы, касающиеся терминологии Лукреция, изложены автором в ст. «Первоначала, пустота и вселенная в терминологическом словаре Лукреция», В. Д. И. № 4, 1960 г.

конкретная и образная. Лукреций по-прежнему максимально использует синонимистику для обозначения «образов», духа или ума, всесторонне характеризуя данное понятие в терминах. В этом разделе Лукреций особенно охотно использует многозначность слова и омонимию, что видно на примерах употребления терминов *ratio*, *species*, *sensus* и др.

Новаторство Лукреция проявляется в основном в лексико-семантическом плане, т. к. для передачи эпикуровских понятий в разделе каноники он использует уже существующие в латинском языке слова, переосмысляя их в философские термины. Но вместе с тем он прибегает иногда и к неологизмам.

Лукреций вслед за Эпикуром использует здесь субстантивированные прилагательные или причастия для обозначения понятий лжи и правды, понятия свойства и явления: *falsum* (III 540), *dubium* (IV 477), *τὸ ψεῦδος* (ad Her. 51), *verum* (IV 476), *certum* (IV 477), *omnia credita* (I 694), *τὸ ἀληθές* (ad Her. 51); *eventa* (I 450), *conjuncta* (I 451), — *συμπτώματα, συμβεβηκότα* (ad Her. 67, 68).

Интересным является здесь субстантивация инфинитива: *meminisse* (IV 765, *meminisse jacet*) память, но не в обычном значении, а как синоним эпикуровского понятия *πρόληψις*; *scire et nescire* (unde sciat, quit sit scire et nescire IV 475) знание и незнание в обычном значении в отличие от термина *notities* знание, представление, понятие как синоним *πρόληψις*.

Заметной чертой поэтического стиля Лукреция является употребление различного рода перифраз и описательных выражений. В разделе каноники Лукреций использует этот прием для создания терминологических понятий: *sensiferos motus* «чувствонесущие» движения, т. е. ощущения (III 240, 245 и др.), где *sensifer* слово Лукреция; *motus vitalis* жизненное движение, т. е. ощущение (V 125); *genitales auctificique motus* движения, способствующие росту (II 571), *motus exitiales* смертоносные движения (II 569), *cp. leti motus* (II 958); *vitalem sensum* жизненное чувство III 635); *memori mente* (II 582), *memores motus mentis* памятное движение ума, т. е. память (III 1040), *vestigia gestarum rerum* следы деяний, т. е. память (III 673), *retinentia actarum rerum* запечатленные в уме деяния, т. е. память (III 675), вместо невозможного в гексаметре *mēmōria*.

Для обозначения ума Лукреций также часто употребляет описательные выражения: *animi ratio* (I 448), *animi mens* (V 149), *animi sensus* (III 98) и др.

В этом разделе встречаются также слова поэтического языка с суффиксом *-men*: *moen* (III 144 и др.) движение (в прозе *momentum*), *numen* мано-вение (III 144); *specimen* аналогия, образец, доказательство (IV 209, V 186); *documen* доказательство, слово *ἀ. λ.* (VI 392 обычно *documentum*)⁵¹ *regimen*

⁵¹ В значении довод, доказательство Лукреций употребляет слово *argumentum* I 417.

управление (III 95 *regimentum* только в позднем языке); *frustramen* (обычно *frustratio*) обман зрения (IV 817); *discrimen* разбор, исследование (III 726). Отвлеченные существительные четвертого склонения на *-tus* (*-sus*) составляют значительную часть терминологического словаря Лукреция вместо слов на *-tio* (*-sio*), создающих часто невозможную в гексаметре позицию $\sim \sim$.

Наряду с обычными словами *tactus*, *sensus*, *visus* и др. Лукреций употребляет редкие слова *adiectus* (I 689, IV 673 об. *adjectio*) прикосновение, раздражение; *coniectus animai* (IV 959) стечение, уплотнение души; *iniectus animi* (II 740); *iactus animi* (II 1047) вторжение ума; умозрение; *emissus* (IV 205 об. *emissio*) истечение образов; *exitus* (IV 720) истечение образов; *introitus* (II 407) проникновение неприятных для ощущения предметов; *despectus* (IV 416) вид сверху; *consensus* (III 740, об. *consentio*) согласие тела и души; *repulsus* (IV 105 об. *repulsio*) отражение. Употребляет Лукреций здесь и слова *ἀ. λ. ejectus animai* (IV 960) извержение души из тела после смерти (об. *emissio*), *transpectus* (IV 272) вид через открытые двери; *refutatus* (III 525 об. *refutatio*) опровержение, анализирование; *opinatus* (IV 465, об. *opinatio*) ложное мнение.

Встречаются у Лукреция необычные слова на *-ntia*: *desipientia* (III 499 *ἀ. λ.*) безумие; *retinentia* (III 675 *ἀ. λ.*) и *repetentia* (III 851 память; наряду с обычными *sapientia* (V 10), *ignorantia* (VI 54) есть и *ignoratio* (IV 816), *experientia* (*mentis* V 1452) пытливость ума.

В теории зрения и слуха Лукреций употребляет редкие слова *circumcaesura* (*membrorum* III 219, IV 647) очертания тела; *flexura* (IV 336, это *vox Lucretiana* об *flexio*) изгиб бока зеркала; *formatura* (*labrorum* IV 550 вм. *formatio*) положение губ при произношении звуков. У Лукреция есть несколько дублетов слов первого и пятого склонений на *-ia* и *-ies*.⁵² Кроме слов *materies* (*-a*, *am*, *-ai*) *amicitiem* (*-ai*, *-ae*), *spurcicies* (*-ia*), Лукреций употребляет всегда по первому склонению *effigiae* подобию (IV 105; *-as* IV 42, 83) вместо обычного пятого склонения (на *-es*) и слово *notities* знание, понятие (V 182, 1047; *-ai* II 124, *-am* II 745 и др.).

В этом разделе встречается в архаической форме слово *exemplare* (II 124) пример, или точнее это соответствует греческому слову *ἀναλογία* (*exemplare... specimen* ср. *exemplum... specimen* V 182).

Таким образом, Эпикур и Лукреций отправной точкой познания называют чувства, ощущения, чувственные восприятия, единичные представления *πάθη, αἰσθησις, φαντασία* — *sensus* (реже *tactus*), которые обрабатываются умом — *animus*, *mens*, *consilium*, *ratio*, *sententia*, *cor*.

В деятельности ума наиболее отчетливо выделяется значение памяти и внимания *πρόβλησις* — *meminisse*, *vestigia gestarum rerum*, *inice mentem*,

⁵² И. И. Толстой считает дуплеты на *-ies* словами разговорного языка. Лукреций «О пр. вещей» 1947 г., т. II, стр. 157.

contendit, acute cernere аналитической способности ἀναλόοντας ἐπιβολάς — dissolvere, discernere, discrimen.

Чрезвычайно интересной, но не получившей развития, является мысль Лукреция, не встречающаяся у Эпикура, о том, что толкователем, переводчиком мысли служит язык: animi, interpres lingua (VI 1149).

И, наконец, как проявление высшей способности ума, отмечается воображение, умозрение, абстрагирование, научное предвидение ἐπιβολή τῆς διαβολάς — iniectus animi, iactus animi liber, videre antea. Эта способность человеческого разума особенно восхищает Лукреция, т. к. она помогла Эпикуру совершить умозрительное путешествие по вселенной:

Atque omne immensum peragravit mente animoque I 77 Из этого путешествия он вернулся победителем (vivida vis animi pervicit I 72) над извечным врагом человеческого счастья — религией.

Лукреций отмечает также, что познание не единичный процесс, он происходит постепенно, все более усложняясь (rerum magnarum parva potest res exemplare dare II 124), когда подготовлены все предварительные сведения (bene haec confirmata atque locata omnia constiterint nobis prae-posta parata VI 998 сл.), тогда постепенно проясняются закономерности в природе, открываются ее тайны:

Namque alid ex alio clarescet, nec tibi caeca

Nox iter eripiet, quin ultima naturai

Pervideas: ita res accedent lumina rebus I 1114 сл.

Все наблюдения Эпикура и уточнения Лукреция, связанные с вопросами познания и закрепленные в их терминологическом словаре, весьма ценны для истории создания материалистической терминологии.

Москва.

EPIGRAPHISCHE BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES MÖSISCHEN LIMES IN VORCLAUDISCHER ZEIT

Die Eroberung des Raumes zwischen der Balkankette und der Donau durch die Römer ist, wie bekannt, ein Werk der augusteischen Politik, die die territoriale Konsolidierung und Sicherung des Reiches bezweckte, indem sie die Staatsgrenzen an die großen Flüsse im Norden und Osten zu verlegen suchte. In zwei nacheinander folgenden Feldzügen hat der mazedonische Statthalter M. Licinius Crassus in den Jahren 29 und 28 v. u. Z. die nördlich des Balkans wohnenden Stämme besiegt und somit die Voraussetzungen zur Eingliederung des Landes ins Römische Reich geschaffen.¹ Nach diesen Feldzügen hören wir nicht mehr von neuen kriegerischen Unternehmungen der Römer gegen die in diesem Raum wohnenden Völkerschaften. Mit der im Jahre 15 v. u. Z. erfolgten Bezwungung der Skordisker durch Tiberius^{1a} wurde die Linie Save—Donau bis zu einem Punkt, der nicht weit östlich von der Osäm (Assamus)-Mündung und der heutigen Stadt Nikopol lag,² Staatsgrenze. Das östlich von diesem Punkt liegende Land wurde den thrakischen Klientenkönigen anvertraut und sein Schutz gegen Angriffe von jenseits der Donau von ihnen und den im Westen stationierten römischen Truppen übernommen.

In den folgenden Jahrzehnten, etwa in der Zeit zwischen den Jahren 15 v. u. Z. und 11 u. Z., erfolgten die Gründung des selbständigen mösischen Heereskommandos und die Errichtung des mösischen Limes.^{2a} Nach Ovid stationierten römische Truppen bereits im Jahre 12 u. Z. an der Unteren Donau³, darunter wenigstens eine Legion,^{3a} die am Ufer oder nicht weit davon im Inne-

¹ Die Hauptquelle ist Dio Cass., LI, 23, 2 ff.; die wichtigste Literatur über Crassusfeldzüge: Groag, RE, XIII (1926) 272 ff.; C. PATSCH: Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, CCXIV, 1933, 69 ff; A. STEIN: Die Legaten von Mösien, 1940, 10 ff. mit Quellen- und Literaturangabe.

^{1a} Vell. Pat., II, 39, 3, vgl. C. PATSCH: op. cit., 84; A. Mócsy: RE, Suppl. IX (1960), 540 mit Literaturangabe.

² S. A. STEIN: op. cit. 15 und Anm. 4 mit Literaturangabe. Dimum (heute Beleni) gehörte nicht zum römischen Boden in vorclaudischer Zeit, s. weiter S. 105 mit Anm. 110.

^{2a} Die Quellen und die Literatur über diese Discussionfrage s. bei A. STEIN: op. cit., 16 f.

³ Ovid, *Ep. ex Ponto*, I, 8, IV, 7. Beide Stellen beziehen sich auf dasselbe Ereignis, wie es schon längst erkannt worden ist, s. A. STEIN: op. cit., 14 und Anm. 1.

^{3a} Dies geht aus der Dienststellung des von Ovid, *Ep. ex Ponto*, IV, 7, v. v. 15, 49, geehrten *primipilus Vestalis* hervor, der sich bei der Zurückeroberung von Aegissus auszeichnete. Nach RITTERLING's Vermutung (RE, XII (1925), 1557) war das *legio IV Scythica*.

ren des Landes lagerte. Nach Tacitus bestand schon im Jahre 23 die Besatzung der neugegründeten Provinz Mösien aus zwei Legionen, die an der Donau ihr Standlager hatten.⁴ Diese waren zweifellos *legio V Macedonica* und *legio IV Scythica*, deren Anwesenheit am mösischen Limes durch zwei Straßenbauinschriften aus seinem mittleren Teil für das Jahr 33/34 gesichert wird.⁵ Es ist eine auffallende Tatsache, daß *legio IV Scythica*, die in Mösien bis in den ersten Jahren der neronischen Zeit verblieb,⁶ bisher nur durch diese Inschriften bezeugt ist, während *legio V Macedonica* mehrere epigraphische Spuren von ihrem mösischen Aufenthalt in vorclaudischer Zeit im Lande hinterließ.

Obwohl in bezug auf die Fragen, woher *legio V Macedonica* gekommen ist und seit wann sie in Mösien stationierte, die Meinungen auseinandergehen, stimmen sie dennoch darin überein, daß die Legion schon im ersten Jahrzehnt u. Z. im Westteil der späteren Provinz Mösien sich aufgehalten hat.⁷ Die von den Forschern für diese oder frühere Zeit vorgeschlagenen Standlager der Legion im Inneren des Landes (Philippi, Naissus, der Südteil des späteren Obermösiens)⁸ haben bisher durch epigraphische Dokumente keine Bestätigung gefunden. Mangels epigraphischer Zeugnisse bleibt die Vermutung⁹ bis jetzt ebenso unbewiesen, daß in tiberischer Zeit Viminacium und Ratiaria Lagerplätze der beiden Legionen *V Macedonica* und *IV Scythica* geworden waren. Die im Jahre 33/34, nach den schon erwähnten Inschriften, am rechten Donauufer des Eisernen Tores gebaute Straße bezweckte kaum eine lokale Verbindung zwischen Viminacium und Ratiaria.¹⁰ Sie hatte eine größere und wichtigere strategische Bedeutung im Rahmen der gesamten Verteidigung der römischen Eroberungen an der mittleren und unteren Donau. Sie sollte den schweren Wasserweg durch das Eisernen Tor ersetzen oder erleichtern und die bequemere Transportierung in beiden Richtungen der in Illyricum (Dalmatien und Pannonien) und Mösien stationierten Truppen ermöglichen. Die Notwendigkeit solch einer Verbindung wurde schon unter Augustus während

⁴ Tac., *Ann.* IV, 5: *ripamque Danuvii legionum duae in Pannonia, duae in Moesia attinebant.*

⁵ Beide Inschriften (eine von Gospodin Vir und die andere von der Mündung des Boljetinska Reka) haben dieselbe Fassung, s. A. et J. ŠAŠEL: *Inscriptiones Latinae, quae in Jugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt*, 1963, n. n. 57 et 60. Über eine dritte Inschrift ähnlicher Fassung vom Jahre 43 in Gospodin Vir s. A. et J. ŠAŠEL: *op. cit.* n. 56.

⁶ Der Abmarsch der Legion nach Syrien ist um 56/57 oder etwas später erfolgt, s. RITTERLING: *RE*, XII (1925), 1558, 1559; C. PATSCH: *op. cit.*, 122.

⁷ A. v. PREMERSTEIN: *ÖJh* 1 (1898) Bbl., 155, 165; B. FILOW: *Die Legionen der Provinz Moesia von Augustus bis auf Diokletian*. *Klio*, VI Beiheft, 1906. 6; RITTERLING: *op. cit.*, 1220 f., 1573; R. SYME: *JRS* 23 (1933) 29 sq., 31.

⁸ S. A. v. DOMASZEWSKI: *Neue Heidelberger Jahrbücher*, 1 (1891) 199, und die Literatur in der vorhergehenden Anmerkung. Nach TH. MOMMSENS Vermutung (*RG*, V⁵, 1904, S. 194, Anm. 1) waren Viminacium und Singidunum die Standlager beider Legionen in julisch-claudischer Zeit.

⁹ A. v. DOMASZEWSKI: *op. cit.* 198; A. v. PREMERSTEIN: *op. cit.* 176; M. FLUSS: *RE*, XV (1932), 2395 f.

¹⁰ So A. v. DOMASZEWSKI: *op. cit.*, 198; C. PATSCH: *SbAW*, CCXIV, 1933, 136 f.; CCXVII, 1937, 57 f.

des pannonisch-dalmatinischen Aufstandes und der Ereignisse in Mösien im ersten Jahrzehnt u. Z. klar erkannt.¹¹ Die schon von Domaszewski¹² gezogene Folgerung, daß sich die römischen Truppen in Mösien unter Tiberius im Dreieck Donau – Morava – Vit aufgehalten haben, muß nach dem jetzigen epigraphischen Befund in dem Sinne korrigiert werden, daß sie im Ostteil des Dreiecks unterhalb des Eisernen Tores stationierten, wie weiter ausgeführt werden soll.

Wir kommen zu der Frage, seit wann Oescus Lagerplatz der *legio V Macedonica* geworden ist. Nach der älteren Auffassung, die sich auf die damals bekannten Inschriften stützte, sollte dies erst in flavischer Zeit stattgefunden haben.¹³ Aber diese Auffassung wurde schon anfangs dieses Jahrhunderts unhaltbar, als zwei aus dem Lager Oescus stammenden Soldatengrabinschriften gefunden wurden, in denen die Soldaten kein Cognomen haben,¹⁴ folglich stammen die Inschriften aus vorclaudischer Zeit. Diese Eigentümlichkeit in der Benennung der Soldaten konnte jedoch damals wegen des Fehlens von spezieller Untersuchung des Problems für die Datierung beider Inschriften nicht verwertet werden.¹⁵ Dies wurde erst nach der Arbeit von A. Schober möglich.¹⁶ Anhand dieser Grabinschriften und einer fragmentarisch erhaltenen Bauinschrift aus Oescus mit dem Namen des Claudius und der *legio V Macedonica*¹⁷ hat Ritterling schon im J. 1925 gezeigt, daß die Legion «spätestens seit Claudius, vielleicht schon früher» in Oescus garnisonierte.¹⁸ Die ältere, überholte Auffassung finden wir leider wieder 12 Jahre später im Artikel Oescus derselben RE,¹⁹ ja sogar in einem 1963 erschienenen Aufsatz.²⁰ Etwas

¹¹ Damals existierte noch nicht die Straße Lissus-Ratiaria, die ebenfalls das Eiserne Tor vermeidend Italien mit der unteren Donau verband, s. MILLER: *It. Rom.*, 555 f.; C. PATSCH: *SbAW*, CCXVII, 1937, 222.

¹² A. v. DOMASZEWSKI: op. cit. 198; *Rh. Mus. NF.*, XLVIII, 240.

¹³ A. v. DOMASZEWSKI: op. cit., 198; *Westdeut. Zschr. f. Geschichte u. Kunst*, XXI, 1902, 189; A. v. PREMIERSTEIN: op. cit., 149; B. FILOW: op. cit., 64.

¹⁴ Die erste Inschrift wurde von A. v. DOMASZEWSKI: *Westdeutsche Zschr. f. Geschichte und Kunst*, XXI, 1902, 189, Anm. 212 (nach ihm auch von RITTERLING: *RE*, XII (1925), 1575) unrichtig veröffentlicht, richtig von V. BEŠEVLEV: *Epigrafski prinosi*, 1952, n. 89 (bulg.) (= *An. ép.* 1957, n. 298) herausgegeben. Sie lautet: *L. Septimius C. f. mi(les) leg(ionis) V [M]ac(edonicae) vix(it) a(nnos) XL, [mi]litav(it) a(nnos) XXI, h(ic) s(itus) e(st). [Pl?] aculia l(iberta) [et c]oiux f(aciendum) c(uravit)*. Der Name der Frau ist *[Pl?]aculia* nach meiner Ergänzung. Die zweite Inschrift wurde im gegenüber von Oescus liegenden Sucidava (jetzt Čelci) gefunden, TOCILESCU: *Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie*, 1900, 189 sq. = *CIL* III 14492, vgl. noch RITTERLING: op. cit. 1575 f, G. FORNI: *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, 1953, 165, not. 1. Sie lautet: *Q. Philippicus Q. f. Moe(cia) Edessa signifer leg(ionis) V, vix(it) annos XXX, m(ilitavit) a(nnos) XX, h(ic) s(itus) e(st). Ex testamento [e]ius her(es) f(aciendum) c(uravit) arbitr(atu) Antoni architecti et Titi coriari*. Von Belang sind besonders die Namen beider Arbitri.

¹⁵ Vgl. A. v. DOMASZEWSKI: loc. cit. «Der Legionar hat kein Cognomen, demnach ist die Inschrift spätestens unter Vespasian geschrieben».

¹⁶ A. SCHÖBER: *Die römischen Grabsteine von Noricum und Pannonien*. 1923, 9.

¹⁷ RITTERLING: *RE*, XII (1925) 1575; V. BEŠEVLEV: op. cit. n. 75. Nach meiner Revision stammt die Inschrift aus dem J. 44.

¹⁸ RITTERLING: op. cit., 1574, vgl. noch M. FLUSS: *RE*, XV (1932), 2396.

¹⁹ CHR. M. DANOFF: *RE*, XVII (1937), 2034.

²⁰ R. VULPE: *Acta Ant. Philippopolitana. Studia historica et philologica*, 1963, 147.

näher meiner Auffassung, die ich gleich darlegen möchte, kommt G. Forni,²¹ der die Verlagerung der Legion zu Oescus in die ersten Jahrzehnte des I. Jhdts setzt. O. Cuntz, der sich in einem Aufsatz mit Legionssoldaten des Antonius und Augustus aus dem Orient beschäftigte, glaubte, daß der aus Edessa in Mazedonien stammende *signifer*, dessen Grabstein in Sucidava gefunden ist (s. Anm. 14 S. 87), zwischen 6 und 9 u. Z. während des pannonisch-dalmatischen Aufstandes und nach der Varuskatastrophe rekrutiert worden ist.²² Trifft dies zu, so soll der Soldat zwischen den Jahren 26 und 29 gestorben sein, also soll die Legion zu dieser Zeit schon zu Oescus stationiert haben. W. Wagner, der sich mit dieser Frage zuletzt befaßt hat, glaubt, daß Oescus etwa in den letzten Jahren des Tiberius Standlager der *legio V Macedonica* geworden ist.²³

Ich glaube aber, wie ich dies in *Revue de philologie*, 1950 II, 146 ff. dargelegt habe, daß dieser Zeitpunkt noch näher dem Beginn unserer Zeitrechnung herangebracht werden könnte.²⁴ Es handelt sich um eine 1926 zu Oescus gefundene Inschrift, die ich für das älteste epigraphische Dokument über die Anwesenheit der *legio V Macedonica* in Oescus halte. Die Inschrift (hier Abb. 1) lautet: [.] *Resius Chronius* [.] *Resi Albani (centurionis) leg(ionis) V Mac(edonicae) libert(us) vixit ann(os) XLV. [T?]itovius Faustis her(es) f(ecit)*. Meine Gründe, die Inschrift in das erste Jahrzehnt u. Z. zu datieren, sind folgende: 1. Der regelmäßige Gebrauch des i-longum, der für die augusteische Zeit charakteristisch ist (in *Resi, Albani, libert.*). 2. Die Bezeichnung der Zahl 50 (in XLV) mit dem Zeichen L, was ebenso für die augusteische Zeit spricht — das einzige Beispiel aus den römischen Provinzen, abgesehen von Spanien und Afrika. 3. Die Form der Grabplatte (0,93 m hoch, 1,76 m breit, 0,25 m dick), deren einzigen Schmuck die 10–12 cm großen gut eingeschnittenen und regelmäßigen Buchstaben bilden.²⁵ Grabplatten solcher Art, die keine Umrandung und keine Verzierung aufweisen, sind die ältesten in Pannonien, wo sie bis zur Mitte des I. Jh. vorkommen (am frühesten in den ersten Legionslagern Poetovio und Carnuntum) und sind auch in Norditalien zu Beginn der Kaiserzeit oft zu finden.²⁶ Wahrscheinlich aus einer

²¹ G. FORNI: *Rugiero IV*, fasc. 40 (1962), 1271.

²² O. CUNTZ: *ÖJh* 25 (1929) 76.

²³ W. WAGNER: *Germania*, 41, 1963, 2. Halbband, 322 f.

²⁴ Schon FILOV (BSAB, III, 1912, S. 6, Anm. 1) hat anläßlich der Publikation einer Militärinschrift aus Oescus von der Mitte des I. Jhdts die Vermutung ausgesprochen, daß Oescus etwa seit dem Anfang des Jhdts Lagerplatz der Legion geworden ist.

²⁵ Das zweite Element in den Namen des Libertinus [.] *Resius Chronius* und des *[T?]itovius Faustus*, der sicher kein römischer Bürger war, ist kein Cognomen, sondern der nachgesetzte, bei dem ersteren ursprüngliche oder bei dem zweiten später (im Heere oder als Sklave) bekommen Name, s. W. WAGNER: op. cit. 318, Anm. 3. Der Zenturion aber führt ein wirkliches Cognomen, wie dies in der «allerersten Kaiserzeit» bezeugt ist, s. A. SCHÖBER: op. cit. 9. Somit besteht kein Hindernis für meine Datierung seitens der Benennung der in der Inschrift erwähnten Personen.

²⁶ A. SCHÖBER: op. cit., 155, 188 f.

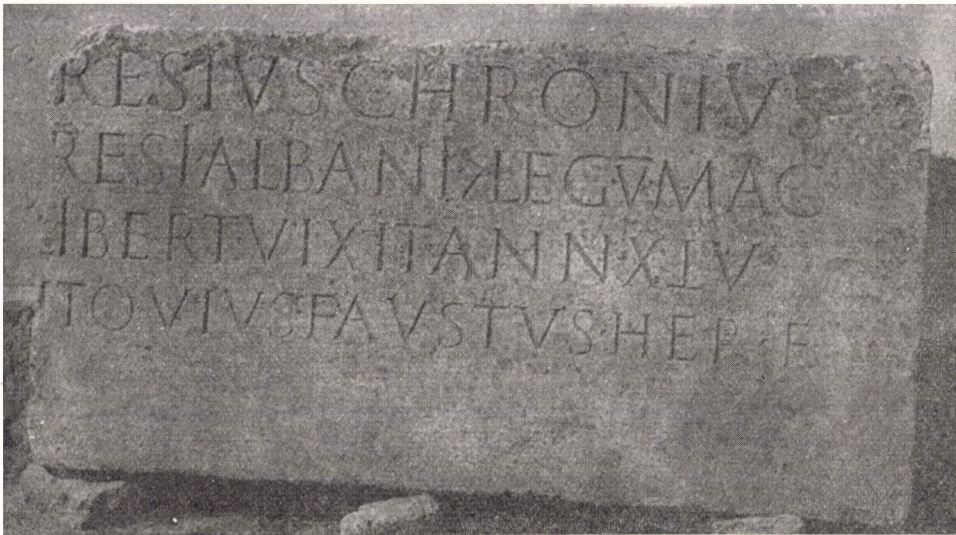


Abb. 1. Die Grabinschrift des Resius Chronius aus Oescus

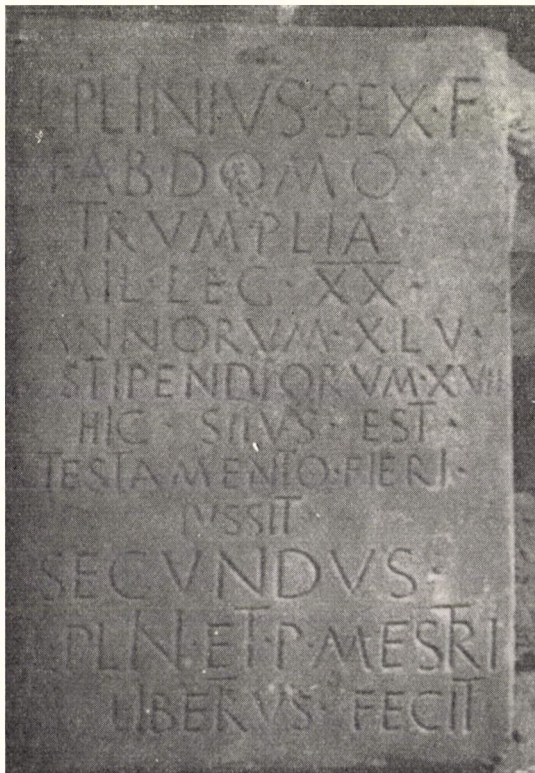


Abb. 2. Die Grabinschrift des L. Plinius, Soldaten der legio XX aus Reselec

Werkstatt Norditaliens stammt die Grabinschrift des Soldaten der *legio XX* (hier Abb. 2),²⁷ die die älteste Grabplatte dieser Art und überhaupt das älteste lateinische Grabdenkmal in Mösien ist. Seine kleinen Dimensionen (h. 0,675. br. 0,43, d. 0,065) und Gewicht gestatteten seine Transportation ins Innere des Landes weit von der Donau in einer so frühen Zeit (spätestens 6—9 u. Z.)²⁸. Sein Fundort (Reselec am mittleren Iskär-Oescus) ist meiner Ansicht nach noch ein Beweis dafür, daß damals römische Truppen an der Donau und gerade in am nächsten liegenden Oescus schon stationiert waren. Grabplatten solcher Art dienten weiter als Muster den Steinmetzen, die in Oescus arbeiteten, insofern sie ihre Kunst nicht aus den norditalischen Werkstätten mitgebracht hatten. Außer der hier behandelten Grabinschrift des Resius Chronius, deren Fundort und Dimensionen auf Oescus als ihren Herstellungsort hinweisen, kamen in den letzten Jahren aus dem Militärgebiet der *legio V Macedonica* noch zwei derartige Grabplatten zutage, die, wie wir weiter unten sehen werden, ganz bestimmt aus vorclaudischer Zeit stammen.²⁹ Deshalb scheint mir der Versuch Degrassi's unbegründet, die Inschrift des Resius Chronius in etwas spätere Zeit vor der Mitte des I. Jhdts zu datieren.³⁰ So sehe ich in dieser Inschrift ein Dokument für die Anwesenheit der *legio V Macedonica* in Oescus schon in den letzten Jahren des Augustus. Ob zu dieser Zeit die zweite in Mösien unter Tiberius bezeugte *legio IV Scythica*³¹ in Oescus stationierte, mag mangels epigraphischer Zeugnisse jetzt dahingestellt bleiben,³² aber diese Annahme ist möglich, wie aus der Angabe Tacitus, *ann.*, I, 16 im J. 14 u. Z. hervorgeht, wonach drei Legionen des pannonischen Heeres in einem Sommerlager erscheinen. Jedenfalls befand sich m. E. das Standlager der Legion unterhalb des Eisernen Tores (s. weiter unten S. 102).

Aus dem beiderseits von Oescus liegenden Abschnitt des Donaulimes stammen auch die ältesten bisher bekannten Grabinschriften von Auxiliarsoldaten und -veteranen in Mösien, was einen weiteren Beweis liefert, daß dieses Gebiet Mösiens militärisch am frühesten von den Römern besetzt wurde. An der Mündung von Ogosta-Skät bei dem Dorf Härlec (dem antiken Augustae)

²⁷ CIL III 7452 (p. 2316⁴⁵) = KALINKA: Antike Denkmäler in Bulgarien, 1906, n. 406 = DESSAU: ILS 2270.

²⁸ RITTERLING: RE, XII (1925), 1770 f.; FLUSS: RE, XV (1932), 2372; C. PATSCH: SbAW, CCXIV, 1933, 87 f.; R. SYME: JRS 24 (1934) 134 ff.

²⁹ Die weitere Entwicklung der Grabsteinform, die in Oescus schon vor Claudius erscheint, ist die einfache Umrandung der Stelen (die an S. 87, Anm. 14 und S. 93, Anm. 39, angeführten Grabstelen) und zu gleicher Zeit auch die Verzierung des Rahmens und das Relief über dem Inschriftfeld (S. 87, Anm. 14). Dieselbe Entwicklung finden wir auch bei den Grabstelen in Pannonien, A. SCHÖBER: op. cit. 155, 188 f.

³⁰ A. DEGRASSI: Festschrift für Rudolf Egger I. 1952, 249, Anm. 23.

³¹ S. 86, Anm. 5.

³² Die Vermutung RITTERLINGS: RE, XII (1925), 1558 f., daß es sich Tac. *ann.* XIII, 35, nicht um provincia Germania, sondern um das thrakische Dorf Germania (heute Sapareva Banja) im Westthrakien an dem gleichnamigen Zufluß des oberen Strymon handelt, wo *legio IV Scythica* seit dem Jahre 46 bis zu ihrer Versetzung nach Osten ihr Standlager hielt, ist wenig wahrscheinlich, s. C. PATSCH: SbAW, CCXIV, 1933, S. 149, Anm. 3.

oder etwas östlicher davon bei dem Dorf Leskovec (dem antiken Variana) lag in Garnison in vorclaudischer Zeit die ala Capitoniana, die mit vollem Namen *ala I Gallorum Capitoniana* und seit Claudius *ala I Claudia Gallorum Capitoniana* hieß.³³ Sie ist durch zwei Grabinschriften bezeugt — eine davon wurde 1912 bei Härlec gefunden, die andere kam bei Leskovec in den letzten Jahren zutage. Die erstere Inschrift gehört einem *missicius* — einem haeduischen Freigelassenen, der nach 36-jährigem Militärdienst kein römisches Bürgerrecht bekommen hat.³⁴ Das ist schon ein Beweis, daß er spätestens in den ersten Jahren des Claudius aus dem Dienst ausgetreten ist. Sein Eintreten ins Heer ist jeder Wahrscheinlichkeit nach im Jahre 9 nach der Niederlage des Varus in Germanien erfolgt. Als *missicius* hat er sich folglich neben dem Lager der Ala oder nicht weit davon spätestens in frühclaudischer Zeit niedergelassen.³⁵ Die zweite Inschrift, die nicht vollkommen erhalten ist, gehört einem Asaler, der wegen des Ordnungszahl-Namens hochwahrscheinlich ebenso ein Freigelassener war. Die Inschrift (Abb. 3) lautet nach meiner Ergänzung, die ich in der Publikation ausführlich begründe,³⁶ folgendermaßen: *Primus [Iuli l(ibertus)] Asalus d[up(licarius) ala] Cap(itoniana) vix(it) an(nos) [LX?, mer(uit) vel mil(itavit)] an(nos) XXV. H(ic) [s(itus) e(st)]. Stephanu[s lib(ertus)] f(aciendum) c(uravit)*. Auf Grund der epigraphischen Merkmale und der Form der Grabplatte, die ungefähr 0,90 × 0,90 m groß, 0,40 m dick war und mit 8 cm großen Buchstaben beschriftet ist und keine Umrahmung und Schmuck aufweist, ist die Inschrift in die letzten Jahre des Tiberius zu datieren. Die Bedeutung dieser Inschrift für die Anwesenheit der *ala Capitoniana* am mösischen Limes ist noch größer als die der Inschrift des haeduischen Freigelassenen, da es sich um einen Soldaten noch im Dienst handelt.³⁷

³³ B. GEROV: Klio 37 (1959) 202 f.; W. WAGNER: op. cit., 323 f.

³⁴ B. FILOV: BSAB, III, 1912, 2 ff., n. 1 (= An. ép. 1912 n. 187, fehlerhaft aus Gigen); B. GEROV: loc. cit., W. WAGNER: loc. cit. Die Inschrift lautet: *Iulius Saturio, Iuli l(ibertus) dom(o) Haed(uus) missic(ius) ala Capitoniana, vix(it) an(nos) LXXX, mer(uit) an(nos) XXXVI, h(ic) s(itus) e(st). Agato lib(erta) f(aciendum) c(uravit)* (Die Zahl der Dienstjahre ist nicht 35, wie in den Veröffentlichungen, sondern 36).

³⁵ Von den anderen Publikationen der Inschrift und den Artikeln, die sich mit ihrem Inhalt beschäftigen (ich gebe sie in meinem Artikel «Zur Frage nach der Einschließung von Sklaven ins römische Heer unter Augustus» (Acta der VII Konferenz für klassische Studien, Leningrad 1967, Anm. 6 und 7, an), möchte ich hier nur die Behandlungen der Inschrift von G. SEURE: Archéologie Thrace, II série, I partie, 1920, pp. 168—185, und von J. TOUTAIN: Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. Années 1943—1944—1945 (1951), 117—122, erwähnen. G. SEURE, der FILOV's Datierung der Inschrift annimmt, macht keinen Fortschritt in ihrer Deutung, während J. TOUTAIN sie ganz fehlerhaft — um ein ganzes Jahrhundert später datiert und deutet.

³⁶ S. den in Anm. 2 hier angeführten Artikel.

³⁷ Darüber s. II. VAN DE WEERD: Étude historique sur trois légions romaines du Bas-Danube, 1907, 33. Eine dritte, sehr beschädigte Inschrift vom Kastell an der Ogostamündung (Augustae) könnte vielleicht ebenso auf die *ala Capitoniana* bezogen werden, wenn die Lesung und Ergänzung der Inschrift, die E. KALINKA: Antike Denkmäler in Bulgarien, 1906, n. 413 gibt, richtig sind: [. . . *vix(it) a)n(nos) XXII, mer(uit) [a)n(nos) II Q. C. Su[r?]a [p]a[t]r[on(us)] plus c(uravit?) f(aciendum?)*. Nach dieser Lesung soll der frühgestorbene Soldat einen Patronus gehabt haben, was ein Hinweis für seine unfreie Abstammung sein könnte.

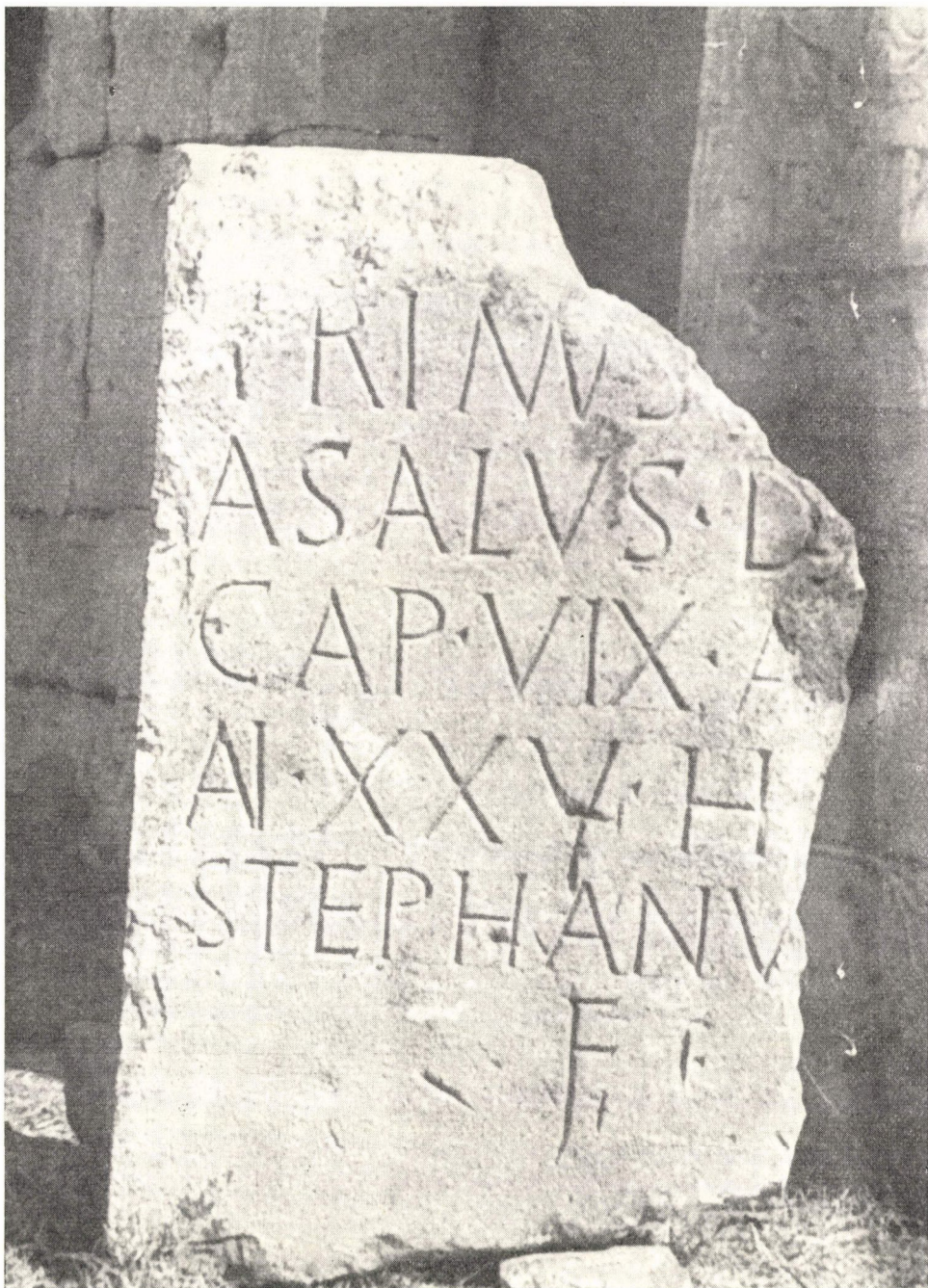


Abb. 3. Die Grabinschrift des Asalers Primus aus Variana

Eine zweite Auxiliarformation, die dem Heerverband der *legio V Macedonica* in vorclaudischer Zeit angehört haben soll, was W. Wagner³⁸ wahrscheinlich gemacht hat, ist die *ala Pansiana*, die uns durch eine vor wenigen Jahren in Oescus gefundene Inschrift zum ersten Mal bekannt wurde.³⁹ Die Datierung der Inschrift von T. Ivanov und J. Moreau in flavische Zeit wird von W. Wagner mit Recht verworfen, der auf Grund sowohl der epigraphischen Merkmale als auch der Form der Grabstele sie in vorclaudische Zeit, etwa in die letzten Jahre der tiberischen Regierung,⁴⁰ datiert. Aber der Fundort der Grabinschrift berechtigt uns noch nicht, Oescus für Standlager der Ala zu halten.⁴¹ Wir haben oben (S. 90) gezeigt, daß wir schon inschriftliche Belege von der Anwesenheit der *legio V Macedonica* in Oescus aus den letzten Jahren des Augustus haben. Somit erweist sich Wagners Annahme,⁴² daß die Ala vor der Verlagerung der Legion nach Oescus ihr Standlager an diesem Ort hatte, als unannehmbar. Auch scheint es mir wenig wahrscheinlich, daß die Ala zusammen mit der Legion zu dieser Zeit in Oescus in Garnison lag. Oben (S. 90) haben wir die Möglichkeit einer gemeinsamen Stationierung beider damals in Mösien garnisonierenden Legionen zugelassen. Die Ala hat jeder Wahrscheinlichkeit nach von Anfang an irgendwo am Donaufer in der Nähe von Oescus in Garnison gelegen, was auch Wagner für eine spätere Zeit zuläßt. Als Hauptquartier des Heeresverbandes wurde Oescus von den Auxiliarsoldaten aus verschiedenen Anlässen besucht. Wir kennen auch andere im Lager Oescus gestorbene Auxiliarsoldaten.⁴³

Eine neugefundene Grabinschrift brachte uns die erste Angabe von der Anwesenheit der *ala Scubulorum* am mösischen Limes in vorclaudischer Zeit. Die Inschrift wurde vor wenigen Jahren in der heutigen Stadt Nikopol an der Donau in einem zum Sportplatz vorbereiteten Gelände ausgegraben, wo früher eine türkische Moschee stand. Die Fundumstände blieben unbekannt. Daher kann man nicht wissen, ob die Inschrift *in situ* gefunden oder erst später bei dem Bau der Moschee dorthin verschleppt worden ist. Die auf einer 0,80 m hohen, 0,90 m breiten und 0,18 m dicken Kalkplatte ohne Umrandung und Schmuck mit 8 cm hohen Buchstaben eingemeißelte Inschrift (Abb. 4) lautet:

³⁸ W. WAGNER: op. cit., 317 ff.

³⁹ Die Inschrift lautet: *Ti(berius) Iulius Icci f(ilius) Acuctus dublicariu[s al]a Pansia[n(a)], dom(o) Trever, [v]ixit an(nos) LX, mer(uit) ann(os) XXXVI. H(ic) s(itus) e(st). Heres f(aciendum) c(uravit).* T. IVANOV: BIAB, XXII, 1959, 119 ff.; J. MOREAU: Vierteljahrsblätter der Trierer Gesellschaft für nützliche Forschungen, VI, 1960, Heft 1, S. 1—4. Über die Aufstellungszeit und die Benennung der Ala s. W. WAGNER: op. cit., 324 ff.

⁴⁰ W. WAGNER: op. cit., 321.

⁴¹ W. WAGNER: op. cit., 323.

⁴² W. WAGNER: op. cit. 323.

⁴³ V. BEŠEVILIEV: Epigrafski prinosi (bulg.), 1952, n. 91. Der Soldat konnte z. B. im Valetudinarium der Legion gestorben sein.

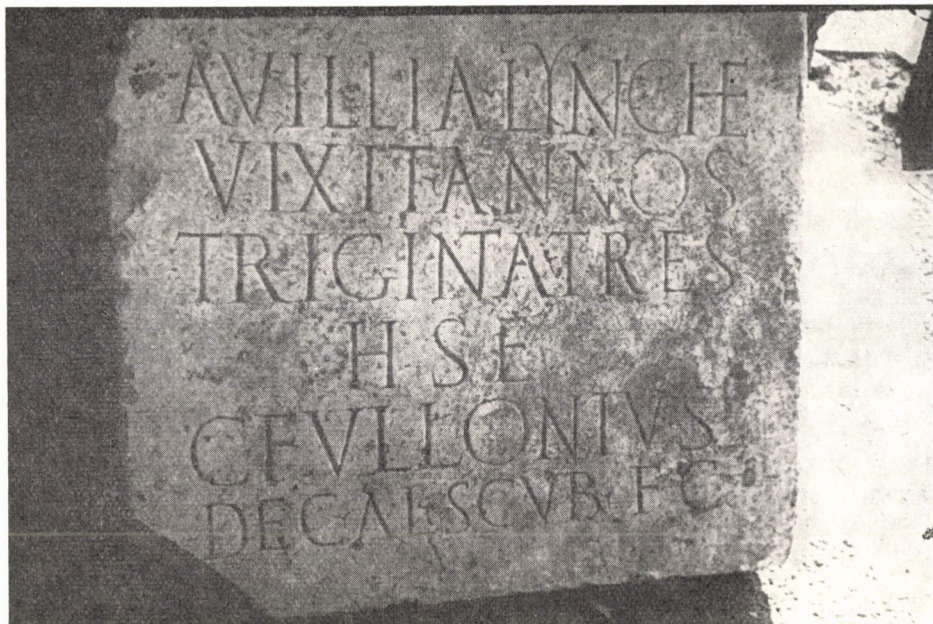


Abb. 4. Die Grabinschrift der Avillia Lynche aus Nikopol

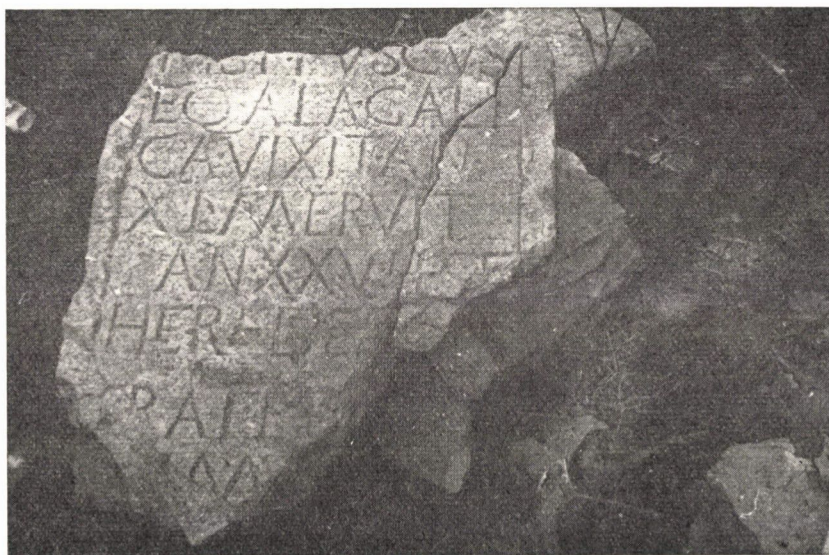


Abb. 5. Die Grabinschrift des Fuscus aus Ratiaria

Avillia Lynche

vixit annos

triginta tres.

H(ic) s(ita) e(st).

C(aius) Fullonius

dec(urio) al(a) Scub(ulorum) f(aciendum) c(uravit).

Die Datierung der Inschrift in vorclaudische Zeit wird sowohl durch die Form der Grabplatte (die den oben S. 88 und 91 besprochenen Grabdenkmälern des Resius Chronius aus Oescus und des Asalers Primus aus Variana ähnlich ist), als auch durch die zweigliedrige Benennung des Soldaten (die kein Cognomen enthält, wie in den oben (S. 87) angeführten zwei Grabinschriften aus Sucidava und Oescus von Soldaten der *legio V Macedonica*)⁴⁴, gesichert. Daß C. Fullonius ein Soldat der *legio V Macedonica* war, der zum *decurio alae Scubulorum* befördert wurde, läßt sich kaum bezweifeln. Derartige Beförderungen von alten Legionssoldaten zu Unteroffizieren der Auxiliartruppen haben nur innerhalb desselben Provinzialheeres stattgefunden⁴⁵ und sind für die erste Hälfte des I. Jh. charakteristisch. Das am nächsten stehende Beispiel solcher Beförderung kennen wir aus einer Inschrift aus Philippi,⁴⁶ wonach ein Soldat der *legio V Macedonica* zum *decurio* derselben *ala Scubulorum* zu derselben Zeit oder etwas später in frühclaudischer Zeit, wie wir weiter sehen werden (S. 98) befördert wurde.⁴⁷

Auf Grund der epigraphischen Zeugnisse von der *ala Scubulorum*, über die man ungefähr vor 30 Jahren verfügte, hat W. Wagner⁴⁸ die Entstehung und das Itinerar der Ala auf folgende Weise rekonstruiert: Die Ala, deren Volkstamm, aus dem sie anfänglich rekrutiert und nach dem sie benannt worden ist und der nicht ganz sicher zu ermitteln ist,⁴⁹ sei eine der allerfrühesten in die

⁴⁴ Die in der Inschrift verwendeten epigraphischen Formeln *vixit annos*, *h(ic) s(ita) e(st)*, *f(aciendum) c(uravit)* stimmen mit dieser Datierung überein. Der Name der verstorbenen Frau weist auf eine Freigelassene hin (vgl. CIL III 10551: *Lynx conlibertus* und Anm. 109. S. 105). Über die Beziehungen der Auxiliarsoldaten zu Freigelassenen in dieser Zeit, vgl. die hier besprochenen Inschriften.

⁴⁵ RITTERLING: RE, XII (1925), 1558.

⁴⁶ CIL III 647 (p. 989, n. 7337) = DESSAU 2538: *C. Vibius. C. f. Cor(nelia) Quartus, mil(es) leg(ionis) V Macedonic(ae), decur(io) alae Scubulor(um), prae[f(ectus)] coh(ortis) III Cyrenei[cae].*

⁴⁷ Andere Beispiele von anderen in den Donauprovinzen in Garnison liegenden Legionen und Auxiliartruppen führt W. WAGNER: *Germania* 41 (1963) 2, S. 318, Anm. 3, an.

⁴⁸ W. WAGNER: Die Dislokation der römischen Auxiliärformationen in den Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und Dakien von Augustus bis Gallienus, 1938, 64 ff., vgl. noch W. WAGNER: *Germania* 41 (1963) 2, S. 320, Anm. 11.

⁴⁹ CICHORIUS: RE, I (1894), 1259; RITTERLING: Obergermanisch-raetischer Limes, XXXI, 87 (non vidi) ist der Meinung, daß es sich um einen spanischen Stamm handelt. Ihm schließen sich K. KRAFT: Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein und Donau, 1951, 158, und A. Mócsy: Die Bevölkerung von Pannonien, 225, an. Nach H. HOFFMANN: ÖJh, 12 (1909) 234, weist der Name auf den Balkanraum hin. Vielleicht hat die spanische Herkunftshypothese wegen der spanischen Namen in der mit dem Ti. Iulius Rufus (s. Anm. 80 S. 100) verschwagerten Familie (s. A. Mócsy: loc. cit.) mehr für sich.

augusteische Heeresorganisation eingegliederten Auxiliareinheiten. Sie habe vor der Eroberung Pannoniens, 12—10 v. u. Z., in Aquileia gestanden, wo sie durch zwei Inschriften (die eine eines Soldaten⁵⁰ und die andere eines Subpraefekten der Ala⁵¹) bezeugt sein soll. Für ihren Aufenthalt in diesem wichtigen Militärlager spräche auch des Grabdenkmal des Ti. Iulius Rufus aus Walbersdorf-Borbolya (Pannonia Superior).⁵² Nach der Eroberung Pannoniens und der kurz darauf erfolgten Auflassung des Militärlagers Aquileia⁵³ soll die Ala nach Norden oder ins Innere Pannoniens vorgeschoben worden sein, wo sie etwa bis zur Mitte des I. Jh. gestanden habe, um danach nach Mösien verlegt zu werden, woher sie während der Prätendentenkämpfe der Jahre 68/69 im Gefolge der legio VIII Augusta nach Westen abgezogen sei.

Im Lichte der neugefundenen Inschrift aus Nikopol, wonach der vorclaudische Aufenthalt der Ala in Mösien ganz feststeht, müssen die epigraphischen Zeugnisse über die Ala überprüft und die durch sie gebotenen chronologischen Angaben umgeordnet werden. Vorerst müssen wir die Frage entscheiden, ob die *ala Scubulorum*, wie sie in den meisten Dokumenten benannt wird, mit der *ala I Scubulorum*, welche wir in der Inschrift von Alexandria Troas,⁵⁴ im Militärdiplom von Wiesbaden⁵⁵ und auf zwei Ziegeln von Gorsium und Matrica⁵⁶ in Pannonia finden, identisch ist. Die Forscher, die sich bisher mit der Ala befaßten, haben stillschweigend angenommen, daß es sich um dieselbe Ala handelt.⁵⁷ Zuletzt hat A. Mócsy⁵⁸ die Ziegelstempel aus Gorsium der *ala Scubulorum* abgesprochen, «da die Ordnungszahl bei dieser Truppe ständig fehlt», was nicht richtig ist, wie aus den oben angeführten Dokumenten ersichtlich ist. Dafür, daß eine Auxiliartruppe ohne Ordnungszahl auch mit der Bezeichnung I erscheinen kann, haben wir hinreichende Beispiele in den Inschriften und auf den Ziegelstempeln. Ohne in Erörterung dieser Frage einzugehen, verweise ich auf *ala I Asturum*, *ala Hispanorum*, *cohors I Commagenorum*, *cohors I Bracaraugustanorum*.⁵⁹ Für mich unterliegt die Identität der beiden Truppen keinem Bedenken.

Wir beginnen mit dem Aufenthalt der Ala im Militärlager Aquileia am Vorabend der pannonischen Feldzüge des Tiberius. Wir übergehen das Grab-

⁵⁰ CIL, V, 907.

⁵¹ DESSAU: ILS, 2704.

⁵² Arch. Ért. 25 (1905) S. 418; DESSAU: ILS, 9137 = An. ép. 1906, n. 111, vgl. auch H. HOFFMANN: op. cit., 225 ff. = An. ép. 1909, n. 198.

⁵³ RITTERLING: RE, XII (1924), 1228.

⁵⁴ CIL III 386 = DESSAU: ILS, 2718.

⁵⁵ CIL XVI 62 (vgl. noch 63).

⁵⁶ J. FITZ: Gorsium. 1960. 60 und Abb. 41 (non vidi); Gorsium, a táci rómaikori ásatások (Ausgrabungen und Funde, deutsche Zusammenfassung), 1964, S. 118 f.; A. MÓCSY: RE, Suppl. IX (1961), 620.

⁵⁷ CICHORIUS: RE I (1894), 1259, NESSELHAUF: CIL XVI, 20, 28, 36, 62, 63, p. 178; J. FITZ: op. cit. Alle sprechen von ala I Scubulorum.

⁵⁸ Éirene 4 (1965) 140.

⁵⁹ B. GEROV: Klio 37 (1959) 201 ff.

denkmal des Ti. Iulius Rufus aus Walbersdorf (Pannonia Superior),⁶⁰ da es zur Entscheidung der Frage nichts beibringt. Die in Aquileia gefundene Grabinschrift des Subpraefekten der Ala M. Iulius Sabinus⁶¹ gehört ganz bestimmt nicht der augusteischen Zeit an und bezeugt auch nicht den Aufenthalt der Ala in Aquileia zur Zeit der Aufstellung der Inschrift. Es handelt sich nämlich um einen *cursus honorum* eines munizipalen Würdenträgers, der ehemals Subpraefekt der Ala irgendwo gewesen ist. Der Name seines Vaters *Ti(berius) Iulius*, der wahrscheinlich Auxiliarsoldat peregrinaler Herkunft war, zeigt, daß er römisches Bürgerrecht unter Tiberius erlangte.⁶² Somit ist die Grabinschrift seines Sohnes nicht vor der Mitte des I. Jhdts zu datieren. Wir kommen zu der zweiten in Aquileia gefundenen Grabinschrift, die mehr Beachtung verdient, da es sich um einen Soldaten der Ala im aktiven Dienst handelt.⁶³ Die Inschrift wird von Wagner unmittelbar vor den pannonischen Feldzügen des Tiberius (10–12 v. u. Z.), von Cichorius⁶⁴ in die Periode des Bürgerkrieges nach Neros Sturz (68/69), von E. Stein⁶⁵ in neronische Zeit angesetzt. Nach den epigraphischen Daten kann die Inschrift sowohl der Zeit vor der Mitte wie auch um die Mitte des I. Jh. angehören. Die Datierung Wagners scheint mir aber zu früh zu sein. Als ein großes militärisches Etappenzentrum bei der Verschiebung der Truppen von Westen nach Osten oder in die umgekehrte Richtung ist Aquileia zeitweiliges Aufenthaltslager vieler Einheiten gewesen. Daher darf man nicht nach der Grabinschrift eines einzigen Soldaten gerade diese Stadt unbedingt für Standlager seiner Truppe halten. M. E. bleibt der Aufenthalt der ala Scubulorum in Aquileia und insbesondere in der Zeit, von der Wagner spricht, sehr fraglich.⁶⁶ Man muß jedoch zulassen, daß sie vor ihrer Versetzung an den mösischen Donau-Limes irgendwo in den Westprovinzen oder in Illyricum, wie Wagner annimmt, gestanden haben mag.

Die Anwesenheit der Ala am mösischen Donaulimes ist für die vorclaudische Zeit durch die neugefundene Inschrift aus Nikopol gesichert, wie wir oben (S. 95) gezeigt haben. Damals ist auch, wie erwähnt (S. 95) der Soldat der *legio V Macedonica* C. Vibius Quartus, dessen Inschrift in Philippi gefunden

⁶⁰ S. Anm. 80, S. 100, noch W. WAGNER: Dislokation, 66.

⁶¹ DESSAU: ILS, 2704: [D.] M. [S.] M. Iulio Ti(beri) f. Sabino subpraefecto alae Scubul(orum), IIIIvir(o) i(ure) d(icundo), quinquenal(i) pupilli Iuli Diomedis l(iberti) Sabinus et Sabina.

⁶² Über die Verleihung des römischen Bürgerrechts an Auxiliarsoldaten seitens des sonst sehr enthaltamen Tiberius als besondere Vergünstigung s. W. WAGNER: Dislokation, 65, Germania, op. cit., 318 f. und zuletzt G. ALFÖLDY: Latomus 24 (1965) 837 ff. (mit den Belegstellen).

⁶³ CIL V 907: *Catalus Callaei f., natione Senu(anus) equ(es) ala Scub(u)l(orum) sesquipl(iciarius) milit(avit) annos XXII. H(ic) s(itus) [e(st)]*.

⁶⁴ CICHORIUS: RE, I (1894), 1259.

⁶⁵ E. STEIN: Die kaiserlichen Beamten und Truppenkörper im römischen Deutschland unter dem Principat, 1932, 150 (non vidi).

⁶⁶ In seinem Artikel über die Sequani stellt KEUNE: RE, II A (1923), 1651 ein Verzeichnis der sequanischen Soldaten zusammen. Mit Ausnahme des betreffenden Soldaten sind alle anderen angeführten Fälle aus flavischer oder späterer Zeit.

worden ist, zum Decurio der Ala befördert worden. Daß er *tria nomina* trägt, soll es uns nicht befremden. Die Inschrift stammt jeder Wahrscheinlichkeit nach aus neronischer Zeit, wo das Cognomen schon üblich war, und der Soldat, der schon unter Claudius zum *praefectus cohortis III Cyrenaicae* befördert worden war, natürlich mit drei Nomina erscheinen muß. Es ist auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß seine Beförderung zum Decurio in frühclaudischer Zeit stattgefunden hat. In diesem Fall hat er *tria nomina* schon als Soldat der *legio V Macedonica* bekommen. Seine weitere Beförderung zum *praefectus cohortis III Cyrenaicae*⁶⁷ ist wenige Jahre später wiederum innerhalb des mösischen Heeres vor dem Abzug der *ala Scubulorum* nach Pannonien, also kurz vor der Mitte des Jahrhunderts, erfolgt. Somit kann auch der Aufenthalt der *cohortis III Cyrenaica* in Mösien näher bestimmt werden. Sie stand dort schon vor der Mitte des Jahrhunderts, während nach Ritterling⁶⁸ die Cohors in Mösien in vorflavischer Zeit stationiert habe und kurz vor 62 mit *legio V Macedonica* nach dem Orient abgegangen sei. Vielleicht während des mösischen Aufenthalts der *ala Scubulorum* ist die Thrakerin Daeipora Sklavin des Spaniers Calaetus geworden,⁶⁹ der möglicherweise ebenso Soldat von *ala Scubulorum* war und zusammen mit Ti. Iulius Rufus bei Walbersdorf (Borbolya) angesiedelt wurde.

Die Versetzung der *ala Scubulorum* aus Mösien nach Pannonien läßt sich ziemlich genau durch des Militärdiplom von Sikator (unweit von Raab in Ungarn, Pannonia Superior) bestimmen.⁷⁰ Das Diplom ist am 21. Mai 74 in Germania Superior dem Pannonier *Veturius Teutomi f(i)lius*, der *gregalis alae Scubulorum* war, ausgestellt. Da er 25 Jahre oder etwas mehr gedient hat, muß er im Jahre 49 oder wenige Jahre vorher rekrutiert worden sein. Um diese Zeit müssen wir die Ankunft der Ala in Pannonien ansetzen. Diesem Zeitpunkt widerspricht auch die Grabschrift aus Wiesbaden⁷¹ nicht. Ihre Datierung in flavisch-frühtrajanische⁷² oder flavische Zeit⁷³ läßt sich modifizieren oder präzisieren. Auf Grund der epigraphischen Merkmale kann die Inschrift ganz gut auch der frühflavischen Zeit angehören.⁷⁴ Wir könnten sogar annehmen, der

⁶⁷ W. WAGNER: Dislokation, 128 f. mit vollem Namen *Cohors III Augusta Cyrenaica sagittariorum equitata*, vgl. noch CICHORIUS: RE, IV (1901), 278.

⁶⁸ RITTERLING: Wiener Studien (1902) 364, (non vidi); ihm schließt sich W. WAGNER loc. cit., an.

⁶⁹ ÖJh, 12 (1909) 238 = An. ép. 1909, 199, vgl. A. Mócsy: Die Bevölkerung, 225, s. auch weiter hier S. 99 f.

⁷⁰ CIL, XVI, 20 = DESSAU, ILS, 1992.

⁷¹ CIL, XIII, 7580: *T. Flavius Celsus, vet(er)anus ex ala Scubu[l]orum cives Sapaus ann(or)um L, h(ic) s(itus) e(st). H(eres) f(aciendum) c(uravit)*.

⁷² RITTERLING: Obergermanisch-raetischer Limes, XXXI, 87 (non vidi); W. WAGNER: Dislokation, 67.

⁷³ K. KRAFT: Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten am Rhein und Donau, 1951, 158, n. 554.

⁷⁴ Das Fehlen von *D(is) M(anibus)* und die anderen in der Inschrift verwendeten Formeln *ann(or)um*, *h(ic) s(itus) e(st)*, *f(aciendum) c(uravit)*. Vgl. R. WEYNAND: BJbb., 108/109, 1902. 189 f. Die Bezeichnung der in Thrazien rekrutierten Auxiliarsoldaten

sappäische Reiter sei mit derselben Konstitution vom 21. Mai 74 wie der Pannonier befreit worden. Wenn er z. B. im J. 46 nach der Bekämpfung des thrakischen Aufstandes und der Verwandlung des thrakischen Klientenstaates in Provinz in die Ala eingetreten ist und damals rund 20 Jahre alt war, muß er im Jahre 74 nach 28 jährigem Militärdienst befreit worden sein und römisches Bürgerrecht erhalten haben und zwei Jahre danach gestorben sein, da er 50 Jahre gelebt hat.⁷⁵ Folglich können wir annehmen, daß die Verlegung der *ala Scubulorum* von Mösien nach Pannonien im Zeitraum 46—49 erfolgt ist.

Der pannonische Aufenthalt der Ala, der mindestens 20 Jahre dauerte, ist durch die Inschrift des C. Antonius Rufus aus Alexandria Troas⁷⁶ und die Ziegelstempel von Gorsium⁷⁷ gut bezeugt. Die Ehreninschrift des C. Antonius Rufus stammt aus spätaugustinischer oder eher neronischer Zeit, da sie schon die von Claudius (nach 46) gegründete *colonia Aprensis (Apri)* kennt und der Geehrte flamen des Kaiserkultus der Julischen (nicht der Flavischen) Dynastie ist. Er ist nacheinander *tribunus militum cohortis XXXII Voluntarium*, *tribunus militum legionis XIII Geminae* und *praefectus equitum alae I Scubulorum* gewesen. *Cohors XXXII Voluntariorum c(ivium) R(omanorum)* stand in Pannonien in claudisch-neronischer Zeit,⁷⁸ während *legio XIII Gemina* in derselben Provinz seit etwa 45 bis Traian stationierte.⁷⁹ Die Beförderung des M. Antonius Rufus hat folglich innerhalb des pannonischen Heeres in claudischer Zeit stattgefunden, indem die letzte Avancierung zum Praefekt der *ala Scubulorum* kaum vor der Mitte des Jahrhunderts erfolgte. Bald danach hat er seine militärische Karriere abgeschlossen und fortan als Munizipalwürdenträger in den Städten des Ägeischen Raumes tätig gewesen. Die schon erwähnte

mit dem Stammesnamen ist in den Inschriften und den Militärdiplomen mit Ausnahme der Bessen spätestens bis zum J. 91 bezeugt und ist für die vorflavische Zeit charakteristisch (CIL XIII 7049, 7050, 8308, M. R. HULL: Germania, XIII, 1929, 188 ff.; An. ép. 1928, n. 165; CIL, XVI, 3, 12, 33, B. GEROV: Klio, 37 (1959) 210 ff.). Die Stammesbezeichnung *Bessus*, die zum ersten Mal im J. 52 erscheint, ist in den Militärdiplomen bis zum J. 158 bezeugt (CIL, XVI, 1, 3, 10, 26, 35, 45, 83, 108, B. GEROV: Klio, 37 [1959] 196 ff.). Schon Ende des Jahrhunderts ist aber *Bessus* dem *Thrax* gleichzusetzen (vgl. noch TH. MOMMSEN: Gesammelte Schriften, V, 408, VI, 51; G. I. KACAROV: Bull. soc. hist. bulg. VI, 1924, 39 (bulg.)). Die allgemeine Bezeichnung der Soldaten aus Thrazien als *Thrax* erscheint zum ersten Mal im J. 90 (CIL XVI, 36).

⁷⁵ Wir müssen auch der Abrundung der Lebensalterszahlen in den Grabinschriften Rechnung tragen, s. A. MÓCSY: Acta Ant. Hung. 14 (1966) 387 ff. Weniger wahrscheinlich scheint mir die andere Möglichkeit — der Soldat sei von einer anderen Auxiliärtruppe in Pannonien oder in Germanien in die *ala Scubulorum* versetzt worden.

⁷⁶ CIL III 386 = DESSAU: ILS, 2718: *Divi Iuli flaminis, C. Antonio M. f. Volt(inia) Rufo, flaminis divi Aug(usti) col(oniae) Cl(audiae) Aprensis et col(oniae) Iul(iae) Phil(pens)is) eorundem et principi, item col(oniae) Iul(iae) Parianae, trib(uno) mil(itum) coh(ortis) XXXII Voluntarior(um), trib(uno) mil(itum) leg(ionis) XIII Gem(inae) praef(ecto) equi(tum) alae I Scubulorum, vic(us) II.*

⁷⁷ S. S. 96, Anm. 56.

⁷⁸ W. WAGNER: Dislokation, 201, vgl. noch CICHORIUS: RE, IV (1901), 356. Die Inschriften CIL III 4006 und 10854 = DESSAU: ILS, 2601 widersprechen dieser Zeitbestimmung nicht.

⁷⁹ RITTERLING: RE, XII (1925), 1713.

Grabinschrift des Ti. Iulius Rufus⁸⁰ aus Walbersdorf (Borbolya) bezieht sich ebenso am besten auf den pannonischen Aufenthalt der *ala Scubulorum* in spätaclaudisch-neronischer Zeit.⁸¹ Da der Soldat, wie aus seiner Benennung zu schließen ist, in tiberischer Zeit römisches Bürgerrecht mindestens nach 25 jährigem Dienst erlangte,⁸² muß er kaum vor dem Jahre 50 u. Z., als die Ala schon in Pannonien lag, entlassen worden sein. Als Veteran hat er sich umweit von Scarbantia niedergelassen, wo er Ländereien bekommen und noch 15 Jahre verlebt hat. Da es sich um einen Veteranen handelt, könnte der Fundort der Inschrift kaum als das Lager der Ala in dieser Zeit gelten.⁸³ Nach Zeugnis der Ziegelstempel aus Gorsium und Matrica,⁸⁴ die m. E. aus spätaclaudisch-neronischer Zeit stammen,⁸⁵ lagerte die Ala damals in diesen Kastellen oder unweit davon.

Das weitere Itinerar der *ala Scubulorum* steht fest. Es ist durch die in Germania Superior ausgestellten Militärdiplomen von den Jahren 74, 82, 90 und 116,⁸⁶ die oben (S. 98) angeführte Grabinschrift aus Wiesbaden⁸⁷ und noch zwei andere aus Germania Superior stammende Inschriften⁸⁸ bestimmt. Ihre Versetzung von Pannonien nach Germania Superior erfolgte wenige Jahre vor 74, vielleicht gleich nach den Prätendentenkämpfen in 68/69, die zu einer großen Verschiebung der Truppen am Rhein und an der Donau führten. Vom Schicksal der Ala nach 116 wissen wir nichts.

Zusammenfassend können wir nach dem bisherigen epigraphischen Befund die Geschichte der *ala Scubulorum* auf folgende Weise rekonstruieren: Die Ala bestand schon in augusteischer Zeit, wo sie sich in den Westprovinzen oder in Illyricum befand. Wenn wir aber die spanische Herkunft des Ti. Iulius Rufus, die hochwahrscheinlich ist,⁸⁹ berücksichtigen, müssen wir die Entstehung der Ala nicht in früh-, wie W. Wagner (s. oben S. 95) meint, sondern in spätaugusteische Zeit ansetzen. In tiberischer und frühclaudischer Zeit stand

⁸⁰ H. HOFFMANN: ÖJh, XII, 1909, 225 ff. = DESSAU, ILS, 9137: *Ti. Iulius Rufus milit(avit) ala Scub(ulorum), stip(endiorum) L, vixit an(nos) XXCV, h(ic) s(itus) e(st). Iulia, Ti. f. Rufilla v(iva) f(ecit) sibi et patri* (S. noch Anm. 52, S. 96).

⁸¹ H. HOFFMANN: op. cit. 233 f. datiert die Inschrift in augusteische Zeit. Nach A. SCHÖBER: op. cit. 89 f., n. 191 gehört die Inschrift der ersten Hälfte des I. Jhdts (ihm schließt sich A. MÓCSY: Die Bevölkerung. 225, n. 114/1 an). Die Bezeichnung der Ala in Ablativ ist kein Hindernis für die Datierung des Grabdenkmales in spätaclaudisch-neronische Zeit, s. die Inschrift des Iulius Saturio, S. 91, Anm. 34.

⁸² S. Anm. 62, S. 97.

⁸³ Wie W. WAGNER: Dislokation, 65, für eine frühere Zeit annimmt.

⁸⁴ S. Anm. 56, S. 96.

⁸⁵ Die in Italien längst geübte Sitte, die Ziegel zu stempeln, hat sich erst gegen die Mitte des I. Jh. über die Alpen verbreitet, s. F. STÄHELIN: Die Schweiz in römischer Zeit. 1948. 135 mit Literaturangabe.

⁸⁶ CIL, XVI, 20 = DESSAU: ILS, 1992; CIL, XVI, 28 = DESSAU: ILS, 1995; CIL, XVI, 36 = DESSAU: ILS, 1998; CIL XVI 62 (vgl. noch 63).

⁸⁷ CIL XIII 7580.

⁸⁸ CIL XIII, 6212 (Worms) eines *praefectus* der *ala Scubulorum* (aus flavischer Zeit, RITTERLING: RE XII (1925) 1639, 1631) und CIL XIII 7032 (Mainz) eines *decurio* der *ala I Scub(ulorum)*.

⁸⁹ S. oben S. 95, Anm. 49.

sie in Mösien in einem Kastell am Donauufer in oder nicht weit von der heutigen Stadt Nikopol. Ihre Versetzung nach Pannonien ist in den Jahren 46 — 49 erfolgt. Dort lagerte sie im Kastell Gorsium oder nicht weit davon bis etwa zu dem Bürgerkrieg 68/69, nach dem sie nach Germania Superior abkommandiert wurde.

Die Nachprüfung der Grabschriften von Auxiliarsoldaten aus dem Donaulimesabschnitt um Oescus konnte m. E. den Aufenthalt auch anderer Alen daselbst in vorclaudischer Zeit zutage bringen. So scheint mir der vorclaudischer oder spätestens der frühclaudischer Zeit die schon verschollene Inschrift eines Reiters der *ala Bosporanorum* aus Securisca (Čerkovica an der Osämmündung) zu gehören⁹⁰. Nach der Beschreibung des Herausgebers war der Grabstein eine oben und unten beschädigte Platte (h. 0,82, br. 0,62, dick 0,20 m) mit 10 cm hohen Buchstaben. Es wird nichts von Umrahmung und Schmuck der Platte mitgeteilt. Die in der Inschrift verwendeten Formeln, *ala* in Ablativ, *nat(ione) U[b]ius, h.s.e., fac. cur.*, zusammen mit der äußeren Form des Denkmals sprechen eher für die erste als für die zweite Hälfte des I. Jh. Die wahrscheinlich unter Augustus aus bosporanischen Reitern gebildete Ala⁹¹ hat sicher zuerst eine Zeitlang in Gallien (am Rhein) gestanden, wo sie gallische Rekruten angenommen hat, wie unsere Inschrift und die Grabschrift eines Nantuaten vom syrischen Limes⁹² zeigen. Es ist auffallend, daß beide Inschriften in der Fassung übereinstimmen, indem sie insbesondere die Zahl der Dienst- und Lebensjahre nicht angeben. Das ist schon ein Beweis, daß sie zeitlich einander nahestehen. W. Wagner⁹³ nimmt an, daß die Ala zuerst in Syrien stationiert hat und erst im J. 71 zusammen mit der *legio V Macedonica* oder noch später (spätestens unter Traian) nach Mösien versetzt wurde. Die engen Beziehungen der Ala zur *legio V Macedonica*, die für neronische oder frühflavische Zeit bezeugt sind, sprachen wahrscheinlich dafür, daß die Ala, die in Mösien zum Heerbesverband der *legio V Macedonica* gehörte, zusammen mit der Legion (kurz vor J. 62), wenn nicht etwas früher, nach dem Osten abkommandiert wurde.⁹⁴ Die Grabschrift des Nantuaten ist in die aller-

⁹⁰ IV. VELKOV: BIAB, II, 1923/24 f. 226 f. (= An. ép. 1925, n. 70; B. GEROV: An. Un. Sofia, Fac. hist. pil. XLV, 1948/49, 4, S. 72, n. 13): *BLANOV / SING.BE / RI.FEQ / ALA.BOS / NAT. VFIVS / H.S.E. / FRATRI. LI / FAC.CVR.* Da keine Photoaufnahme der Publikation beigegeben wird, wiedergeben wir die Inschrift so wie sie gedruckt ist. Der Name *Blandus* erscheint in einer Inschrift aus Aquineum, An. ép. 1938, n. 125: *Flavius Blandi f. domo Bata(us)*. Über den Namen des Reiters aus Securisca s. noch SCHÖNFELD: Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 51, 256 und 208.

⁹¹ W. WAGNER: Dislokation, 17 ff., s. auch CICHORIUS: RE I (1894), 1234.

⁹² CIL III 6707 = DESSAU: ILS, 2510.

⁹³ W. WAGNER: Dislokation, 18 f.

⁹⁴ Die fragmentarisch erhaltene Inschrift aus Dugga in Tunesien vom Jahre 54 (L. POINSOT: Fouilles de Dougga, 1919, p. 157 = An. ép. 1922 n. 109) eines *praef. ? alae I Bosporan(orun)* spricht gar nicht dafür, daß «die Ala, bis in die zweite Hälfte des I. Jhdts zum syrischen Heer gehörte» (W. WAGNER: loc. cit.). Die Beförderung des T. Rutilius Varus (CIL X 1258) vom *tribunus leg. V Mac.* zum Praefekten der *ala Bospora-*

ersten Jahre des syrischen Aufenthalts der Ala gesetzt worden, als die in Gallien rekrutierten Reiter noch dienstfähig waren. Dies schließt die von Wagner⁹⁵ angenommene Datierung der Inschrift von Securisca in flavische Zeit aus.⁹⁶

Die Spuren der militärischen Besatzung in vorclaudischer Zeit westlich von der Ogostamündung unterhalb des Eisernen Tores in dem zum späteren Obermösien gehörenden Teil des mösischen Limes sind bisher sehr spärlich, doch genügen sie für die Annahme, daß römische Truppen auch hier von Anfang an in Garnison lagen. Ratiaria, wo man schon längst eine römische Garnison zu dieser Zeit vermutete (s. S. 86), hat tatsächlich vor kurzem das erste epigraphische Dokument davon abgegeben. Es handelt sich um die 1958 veröffentlichte Grabschrift (Abb. 5) eines Reiters⁹⁷ [. . .] *nis f(ilius) Fuscus eq(ues) ala Gal(l)ica vixit an(nos) XL(V?)*, *meruit an(nos) XXV*, *h(ic) s(itus) e(st)*, | *Herede[s et? frate[r . . .] mu[. . .]*. Nach den Herausgebern ist die Inschrift in das Ende des I. Jh. zu datieren. Allein die Bezeichnung der Ala in Ablativ, die Formel *meruit an(nos)*⁹⁸ und die Form der Buchstaben zeigen, daß man es hier mit einer Inschrift aus früheren Zeit, spätestens aus der Mitte des I. Jh. zu tun hat. Es handelt sich jeder Wahrscheinlichkeit nach um einen gallischen Reiter, der neben dem nicht erhaltenen gallischen Namen den römischen Beinamen *Fuscus* trägt. Es war zu dieser Zeit üblich, daß die Auxiliarsoldaten barbarischer Herkunft neben ihren einheimischen Namen einen charakteristischen römischen Beinamen, der einer äußeren Eigenschaft entsprach, angenommen hatten.⁹⁹ Die Identifizierung der *ala Gallica*, die zu dieser Zeit bestimmt aus in Gallien rekrutierten Reitern bestand, mit einer der gallischen Alen, die an der Donau und in den Ostprovinzen

norum, die RITTERLING (RE XII (1925), 1583) unter Vespasian ansetzt, könnte sowohl unter Nero in Mösien wie auch während des Aufenthaltes der Legion im Osten (etwa 62–70) stattgefunden haben. Die ungenannte Legion, von dem C. Caristanus Fronto als *tribunus militum* zum Praefekten der Ala befördert wurde (An. ép. 1914, n. 262 = DESSAU 9485 aus Antiochia in Pisidien) könnte ebenso *leg. V Macedonica* sein, denn der Geehrte war Praefekt der Ala am Anfang seiner militärischen und Staatskarriere, d. h. sicher schon unter Nero (Die Inschrift wurde in den allerersten Jahren der Regierung Domitians gesetzt).

⁹⁵ W. WAGNER: op. cit. 19.

⁹⁶ Es steht auch die Frage nach dem Itinerar der *Ala I Hispanorum* offen, die durch eine Veteranengrabschrift vom Kastell Utus bezeugt ist (KALINKA: op. cit. n. 404). Ob sie direkt vom Rheinland nach Pannonien versetzt wurde (W. WAGNER: Dislokation, 43 ff.; B. GEROV: Klio 37 (1959), 202) oder zuerst eine Zeitlang am mösischen Limes stand und zusammen mit der *ala Scubulorum* nach Pannonien abkommandiert wurde, läßt sich nicht ermitteln. Die epigraphischen Merkmale der Inschrift aus Utus sprechen eher für die Mitte als für die zweite Hälfte des Jahrhunderts.

⁹⁷ R. HOŠEK—V. VELKOV: Listy filologické, 6/81 (1958), S. 32 ff.

⁹⁸ Die Verwendung der Formel *meruit an(nos) XXV* stimmt hier nicht mit der von W. WAGNER: Germania, 41 (1963) 2, S. 322, ausgesprochenen Vermutung überein, daß sie mehr mit der über das Normalmaß hinausgehenden Dienstzeit im Zusammenhang steht.

⁹⁹ Vgl. z. B. *Fuscus Dorilsis Eptacenti*, An. ép., 1928 n. 165 (aus Astorgia, Spanien); *Longinus Sdapeze Matyci f.* (nach meiner Lesung) aus Camulodunum (Britannien), M. R. HULL: Germania, 13 (1929), 188 ff.; *Longinus Biarta Bisae f.*, CIL XIII 8312 (aus Köln); *Rufus Sita*, CIL VII 67 (aus Cheltenham).

bezeugt sind, ist keine leichte Aufgabe. Vielleicht haben wir es mit derselben Ala zu tun, die später in den syrischen Militärdiplomen vom J. 88 und J. 91¹⁰⁰ als *ala veterana Gallica* erscheint.¹⁰¹ Trifft dies zu, so müssen wir annehmen, daß die Versetzung der Ala nach Syrien etwa im J. 56/57 im Heerverband der *legio IV Scythica* stattgefunden hat. Dies könnte uns weiter zur Vermutung anleiten, daß das Militärgebiet der *legio IV Scythica*, wenn sie nicht zusammen mit der *legio V Macedonica* in Oescus stand (s. oben S. 90), den Ostteil des späteren Obermösens umfaßte, dessen Zentrum Ratiara war.¹⁰² Leider blieb die neue Inschrift von Ratiaria bis jetzt das einzige Dokument von der militärischen Besatzung dieses Abschnitts des mösischen Limes in der ersten Hälfte des I. Jhdts.

Welche Folgerungen können wir aus dem besprochenen epigraphischen Material ziehen? Zweifellos zeigen die Fundorte der Inschriften, daß das Donauufer zwischen Timok und Osäm der am frühesten militärisch besetzte Abschnitt des mösischen Limes war. Römische Truppen standen hier schon Ende der augusteischen Zeit. Nach Osten reichten die römischen Garnisonen damals und später bis zur Annexion des thrakischen Reiches im J. 45 bis etwa zu den Anhöhen östlich von der heutigen Stadt Nikopol, wo die Grenze des thrakischen Reiches, später der *ripa Thraciae*, die Donau erreichte.¹⁰³ Die Sicherung des Friedens im Inneren der römischen Ostbalkanbesitzungen und ihr Schutz gegen auswärtige Feinde lagen schon damals am Grenzstrom, nicht im Inneren des Landes, wie A. v. Domaszewski seinerzeit vermutete.¹⁰⁴ An der Mündung des Oescus (Iskär), des größten rechten Nebenflusses der unteren Donau, lag die Legion in Garnison, während die Reitertruppen an oder unweit von den Mündungen der kleineren Nebenflüsse stationierten: die *ala Gallica* vielleicht schon zu dieser Zeit in dem späteren Ratiaria, die *ala Capitoniana* an der Ogostamündung (in dem späteren Augustae) oder etwas östlicher bei Variana (Leskovec), die *ala Pansiana* vielleicht nicht weit östlich oder westlich von dem Legionslager an der Iskärmündung, die *ala Bosporanorum* an der Osämmündung und die *ala Scubulorum* im Bereich der Stadt Nikopol. Die Fußtruppen standen damals im Inneren des Landes, wie man vermuten darf, da wir bisher keine epigraphischen Zeugnisse davon haben. Ihre Hauptaufgabe war die Sicherung der Pässe und des Landfriedens. Ich erwähne hier die *cohors Sugambrorum*,¹⁰⁵ die sich nach Tacitus, *ann.* IV, 47 an der Bekämpfung des

¹⁰⁰ CIL XVI 35; B. GEROV: Klio 37 (1959), 210 ff., vgl. noch DESSAU: ILS, 2543 vom J. 199.

¹⁰¹ Die Inschrift von Ratiaria bekräftigt meine Vermutung (Klio, 212 f.), daß die im Militärdiplom, CIL XVI, 3, bezeugte *ala veterana Gallorum et Thracum* mit der *ala veterana Gallica* in den syrischen Militärdiplomen nicht identisch ist.

¹⁰² Schon A. v. DOMASZEWSKI: Neue Heidelberger Jahrbücher 1 (1891) 198 hat die Vermutung ausgesprochen, daß auch Ratiaria im I. Jhd. ein Legionslager gewesen ist.

¹⁰³ Die einheimische Siedlung Dinum, später Zollstation der Ripa Thraciae, lag damals nicht auf römischem Reichsboden.

¹⁰⁴ Neue Heidelberger Jahrbücher 1 (1891) 199.

¹⁰⁵ W. WAGNER: Dislokation, 185 f.

thrakischen Aufstandes im Jahre 26/27 beteiligte. Ob ihr Standlager schon damals, wie später,¹⁰⁶ zu Montana (Mihailovgrad – Kutlovica) war, läßt sich nicht ermitteln; es ist aber wegen der Ortslage des Kastells möglich.¹⁰⁷

Die Entstehung, die Benennung, das Itinerar und die Volksstämme, denen die in den Inschriften bezeugten Soldaten und Veteranen angehörten, zeigen, daß diese Auxiliarformationen vom Westteil des Reiches an die untere Donau versetzt worden sind. Wann und ob auf einmal dies stattgefunden hat, mag jetzt mangels genauerer Angaben dahingestellt bleiben. Wagner¹⁰⁸ bringt ihre Verlegung im Zusammenhang mit den thrakischen Aufständen in den Jahren 21 oder 26. Dies ist möglich für einige, aber nicht für alle bezeugte und unbezeugte Auxiliartruppen, da die *legio V Macedonica*, die schon Ende der augusteischen Zeit (allein oder zusammen mit der *legio IV Scythica*) zu Oescus in Garnison lag, zu ihrem Heeresverband natürlich auch Auxiliartruppen zählte.

Im System des mösischen Limes nahm Oescus mit seinem Militärgelände schon von Anfang an die wichtigste Stellung an der unteren Donau ein. Seine militärische Bedeutung in vorclaudischer Zeit wurde durch seine strategische Lage sowohl als Sperre gegen feindliche Invasionen über die Donaufurt vom Norden her, als auch als Basis kriegsrischer Unternehmungen in die valachische Ebene drüben bestimmt, da sein Gebiet damals den exponiertesten Nordostteil der römischen Balkanbesitzungen bildete. Erst die Annexion des thrakischen Reiches und die Erweiterung des mösischen Limes Donau abwärts verminderte seine militärische Bedeutung, die durch die Eroberung Dakiens unter Traian vollkommen aufgehoben wurde. Die strategische Bedeutung Oescus in vorclaudischer Zeit blieb einzig in der Geschichte des mösischen Limes. Sie wurde vollkommen nicht wiederhergestellt sogar weder nach der Preisgabe des traianischen Dakiens, als die *legio V Macedonica* wieder hier stationiert hatte, noch in konstantinischer Zeit, als hier eine Brücke über die Donau geschlagen wurde.

Abschließend möchte ich noch das Problem der Romanisierung Mösiens berühren. Abgesehen von den griechischen Städten an der Pontusküste, wohin römische Kauf- und Geschäftsleute schon früh übersiedelten, die aber nie das griechische Gepräge der Städte zu verändern vermochten, weist das Militärgelände von Oescus die ältesten Spuren einer Latein sprechenden Bevölkerung auf. Die oben besprochenen Grabinschriften zeigen, daß neben den Lagern der Legion und der Alen schon in vorclaudischer Zeit Zivilniederlassungen entstanden, in welchen Veteranen der Alen, vermutlich auch der Legion, Freigelas-

¹⁰⁶ Ziegelstempel *coh(ors) I Sug(amborum) v(eterana)*, CIL III 12529.

¹⁰⁷ Von den anderen, nach WAGNERS Vermutung (Dislokation, 40 ff., 55, 121, Germania 41 [1963] 2, 326, Anm. 39) vor der Mitte und um die Mitte des I. Jh. in Mösien stationierenden Auxiliartruppen, kann m. E. nur die Anwesenheit der *cohors I Cisipadensium* (Dislokation, 121, vgl. RITTERLING: RE, XII (1925), 1558) und nach meiner Erörterung (s. oben S. 98) der *cohors III Cyrenaica* als gesichert gelten.

¹⁰⁸ Germania, op. cit., 323 f.

sene der Soldaten und der Offiziere — Frauen und Männer orientalischer Herkunft¹⁰⁹ — wohnten. Diese Leute waren eng mit den Soldaten verbunden. Ihre Verkehrssprache, unbeachtet ihrer Abstammung — wie die Inschriften zeigen — war lateinisch. Die einheimische Bevölkerung wurde weder in dieser Zeit, noch später unter Claudius und Nero zum Militärdienst in den Auxiliartruppen an der unteren Donau herangezogen. Sie erscheint in dieser Zeit und noch später, bis Hadrian, auch nicht unter den mit dem Heer verbundenen Bewohnern der Zivilniederlassungen neben den Lagern. Mit der Erweiterung des mösischen Limes unter Claudius Donau abwärts entstanden römische Militärlager und daneben Zivilniederlassungen auch östlich vom Militärgebiet der *legio V Macedonica*, zuerst in claudischer Zeit bis zum Fluß Jantra¹¹⁰ und später in flavisch-traianischer Zeit östlich von diesem Fluß.¹¹¹

Sofia

¹⁰⁹ S. S. 87–95 (die neugefundene Inschrift aus Nikopol). Der Name der Frau, die offensichtlich eine *liberta* ist, obwohl dies ausdrücklich nicht gesagt wird, ist *Lynche* — ein nach dem Tiernamen *λύξ* ('Luchs') gebildeter Personennamen, vgl. F. BECHTEL: Historische Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit. 1917. 584; vgl. noch CIL III 10551 *Lunx* (*libertus*). Ihr nomen gentile ist *Avillia*, ein Name etruskischer Herkunft (vgl. W. SCHULZE: Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. 1904. 72; vgl. noch CIL III 14354³³: *C. Avillius Chrysanthus* (*libertus*?); CIL V 3508: *Avillia O l(ibera) There*), was auf ihr früheres Schicksal als Sklavin eines Mitglieds der *Avillii* hindeutet. Der Name *Fullonius* des *decurio alae Scubulorum* ist wahrscheinlich auch etruskischen Ursprungs (vgl. W. SCHULZE: op. cit. 168).

¹¹⁰ Vgl. die bezüglichen Inschriften: G. I. KAZAROW: BSAB, III 1912, 192 f., n. 1 (vgl. noch IV, 1914, 276) = An. ép., 1914, n. 92; BSAB, III, 1912, p. 193, n. 2 — An. ép. 1914, n. 93.

¹¹¹ Der Romanisierungsprozeß ging nicht so schnell vor sich und war nicht so stark, wie es die rumänischen Wissenschaftler meinen, vgl. z. B. C. DAICOVICIU, EM. PETROVICI, GH. STEFAN: Die Entstehung des rumänischen Volkes und der rumänischen Sprache (Bibliotheca historica Rumaniae, 1), 1964, S. 48: «Hier am Unterlauf dieses Stromes (d. h. der Donau) ging ein erstaunlicher Romanisierungsprozeß vor sich, der sechs Jahrhunderte dauerte und seinen Ausgang in zahlreichen an der Donau gelegenen Städte mit lateinischer Sprache nahm... Diese Städte waren schon seit den ersten Jahrzehnten u. Z. romanisiert.» Von Städten an der unteren Donau darf man natürlich vor Traian überhaupt nicht sprechen. Die kleinen *canabae*-Niederlassungen waren ja keine Städte und die einheimische Bevölkerung hatte daran keinen Anteil, wie schon gesagt.

KUNST UND GESELLSCHAFT IM RÖMISCHEN ÄGYPTEN

Seit der Begründung der klassischen Archäologie durch J. J. Winckelmann haben sich das Blickfeld und die Gesichtspunkte dieser Disziplin sehr erweitert.* Heute schenkt man, neben dem strahlenden Erbe von Athen und Rom, wachsende Aufmerksamkeit den Peripherien. Dies gebietet nicht nur das wissenschaftliche Pflichtbewußtsein, das vorschreibt, das kulturelle Erbe aller Völker und Gebiete gleich sorgsam zu studieren, sondern auch die Erkenntnis, daß man erst in dieser Perspektive richtig ermessen kann, was die klassische Antike der Menschheit gegeben hat.

Der weite Rahmen des Themas ist durch seine relative Vernachlässigung begründet. Mit der Kunst des ptolemäischen Ägyptens hat sich die moderne Forschung, wenn auch ungenügend, so doch vielfach beschäftigt. Die klassische Archäologie befaßte sich naturgemäß hauptsächlich mit der Frage der alexandrinischen Kunst,¹ die Ägyptologen machten eine Epoche der spätägyptischen Kunst zum Gegenstand ihrer eingehenden Analyse,² doch wurde auch schon versucht, ein synthetisches Bild über die Kunst des hellenistischen Ägyptens zu entwerfen³. Demgegenüber fehlt uns bis zum heutigen Tage eine Zusammenfassung der Kunst Ägyptens in der Kaiserzeit.⁴ Es gab auch eine Ansicht, daß man die Kunst des Hellenismus und der Kaiserzeit in Ägypten voneinander nicht

* Vortrag, gehalten am Winckelmann-Fest zu Leipzig, 10. Dezember 1966.

¹ Zusammenfassend A. ADRIANI: *Arte alessandrina*. *Encicl. Arte Ant.* I. Roma 1958. 218—235. Über Detailfragen A. ADRIANI: *Documenti e ricerche d'arte alessandrina*. I—IV. Roma 1946—1959. Systematische Materialpublikation: A. ADRIANI: *Repertorio d'arte dell'Egitto greco-romano*. Ser. A. Vol. I—II. Palermo 1961. Einige wichtigere Untersuchungen: F. POULSEN: *Gab es eine alexandrinische Kunst?* *From the Collections of the Ny Carlsberg Glyptotek*. II. 1938; B. R. BROWN: *Ptolemaic Paintings and Mosaics and the Alexandrian Style*. Cambridge, Mass. 1957; H. MÖBIUS: *Alexandria and Rom*. München 1964.

² H. DRERUP: *Ägyptische Bildnisköpfe griechischer und römischer Zeit*. Münster 1950; B. V. BOTHMER—H. DE MEULENAERE—H. W. MÜLLER: *Egyptian Sculpture of the Late Period*. New York, The Brooklyn Museum 1960.

³ I. NOSHY: *The Arts in Ptolemaic Egypt*. Oxford 1937; A. SCHARFF: *Handb. Arch.* I. München 1939. 625—642.

⁴ A. SCHARFF: a. W. hat in seinem skizzenhaften Übersicht vom Gesichtspunkte der ägyptischen Kunst die hellenistische und römische Perioden nicht getrennt. G. C. SUSINI: *Egitto. Provincia Romana*. *Enc. Arte Ant.* III. (1960) 249—252, behandelt die Kunst nicht.

trennen müsse und auch gar nicht könne.⁵ Ohne uns dieser Ansicht anschließen zu können, müssen wir doch anerkennen, daß sie eine gewisse Berechtigung hat, wenn wir uns nur die alexandrinische Kunst vor Augen halten. Ist es aber möglich, aus einem bedeutsamen Land mit so großer kultureller Vergangenheit nur die Kunst einer einzigen — wenn auch dominierenden — Stadt als allein vorhandene zu betrachten? Müssen wir uns nicht vielmehr mit wachsendem Interesse dem vielschichtigen und komplizierten Kunstleben des ganzen Landes zuwenden? Bedeutet nicht gerade die Kunst Ägyptens in der Römerzeit ein hochinteressantes Problem, in der sich die jahrhundertlang nebeneinander lebenden altägyptischen und griechischen Elemente auflösten, bis in den kritischen Jahrhunderten ein charakteristischer Zweig der spätantiken Kunst entstand? Die Aufgabe ist wahrhaft anregend, wenn sie auch zugleich zweifellos schwierig ist, da man zu ihrer Lösung die Kenntnisse der klassischen Archäologie ebenso heranziehen muß, wie die der Ägyptologie, ja selbst der Byzantinistik. Mit dieser Schwierigkeit ist es vermutlich zu erklären, daß bisher noch keine Synthese entstand, und daß von einigen wenigen Kunstgattungen⁶ abgesehen auch die Vorarbeiten fehlen. Bei dieser Gelegenheit können wir nicht mehr bieten als die Skizzierung der Problematik sowie die Hervorhebung einiger Zusammenhänge und Gesichtspunkte, die unseres Erachtens als Grundlage für die künftige Arbeit dienen könnten. Bei diesem Überblick ziehen wir nicht so sehr Alexandrien als vielmehr das Innere des Landes in Betracht, nicht nur deshalb, weil es uns einen kompletteren Denkmalstoff bietet als die Hauptstadt, sondern hauptsächlich darum, weil Alexandrien, dieses internationale Handelszentrum, eine Kunst besaß, die sich von jener der Provinz als Ganzes vielfach unterschied.

Bestrebt sich die Kunst Ägyptens in der Kaiserzeit zu überblicken, so muß man vor allem ihre einzelnen Zweige und Schichten voneinander unterscheiden. In einer römischen Provinz hat man in erster Linie die Rolle der herrschenden Kunst des Staates in Betracht zu nehmen. Die Kunstrichtung der Stadt Rom und der kaiserlichen Regierung war — wie überall im Reiche — auch in Ägypten zugegen. Sie offenbarte sich hauptsächlich in jenen Kunstgattungen und Werken, die unmittelbar der offiziellen Politik und Propaganda dienten. Auch in Ägypten war der Kaiserkult die wichtigste Manifestation der Staatsreligion.⁷ Gleich nach der Besetzung wurden für den Reichskult Heiligtümer in Alexandrien und in Philae errichtet; die späteren Angaben bezeugen das Vorhandensein von Kaisertempeln in Memphis, Arsinoe, Oxyrhynchos.

⁵ A. ADRIANI: *Divagazioni intorno ad una coppa paesistica del Museo di Alessandria*. Roma 1959. 9.

⁶ Solche sind in erster Linie die Münzen, die Porträts, die Mumienporträts und die Terrakotten. S. die späteren Anmerkungen.

⁷ F. BLUMENTHAL: *Der ägyptische Kaiserkult*. Arch. f. Pap. f. 5 (1913) 317—345; A. E. R. BOAK: JEA 13 (1927) 185 ff. und Arch. f. Papf. 9 (1930) 225 ff.; W. F. SNYDER: *Hemerai Sebastai*. Aegyptus 18 (1938) 197—233.

Hermupolis, Dendera und Elephantine.⁸ Mangels eines normalen Munizipal-lebens wies der Kaiserkult in Ägypten einige Abweichungen gegenüber dem sonst üblichen auf. Die Heiligtümer dienten — unter Vermeidung der Göttin Roma — schon vom Anfang an dem persönlichen Kult der Kaiser. Aus den uns erhaltenen Angaben läßt sich darauf schließen, daß ein Kaisertempel im Hauptort jedes Nomos, d. h. in jeder Metropole bestand, ja oft sogar in derselben Stadt eigene Tempel für mehrere Herrscher errichtet wurden. Das späteste Reichsheiligtum — das relativ gut erhalten blieb — wurde in den Tempel von Luxor eingebaut (Abb. 1)⁹. Um den Tempel von Luxor, der damals nicht mehr dem ursprünglichen Kulte diente, wurde Ende des III. Jahrhunderts ein Militärlager errichtet, dessen Mittelpunkt das übliche Lagerheiligtum war.

Die Kaiserstatuen konnten aus keiner Provinz des römischen Reiches fehlen; sie wurden auf Grund der offiziellen Bildnisse hergestellt, die man von der Hauptstadt zusandte, und wurden zu den wichtigsten Verbreitern der zentralen Stilrichtung.¹⁰ In Ägypten standen Herrscherstatuen nicht nur in den Tempeln des Kaiserkults, sondern auch in den Tempeln anderer Götter, entweder unter den *synnaoi theoi*¹¹ oder unter den Votivstatuen.¹² Die Angaben über die Fundstellen der erhaltenen Werke sowie die schriftlichen Quellen sprechen dafür, daß sich von Alexandrien abgesehen die meisten Kaiserbilder in den Metropolen befanden, und zwar nicht nur in den Tempeln der griechisch-römischen Kulte und in den öffentlichen Gebäuden, sondern auch in den altägyptischen Heiligtümern. In den letzteren standen die römischen Kaiserstatuen wahrscheinlich nicht im Inneren des Heiligtums, sondern in den Vorhallen des Tempels oder vor seinem Eingang.¹³ Unter den erhaltenen Exemplaren finden sich auch hervorragende Werke, wie beispielsweise das erstklassige Augustusporträt in London (Taf. III. 1)¹⁴, das im Königspalast zu Meroe gefunden wurde, wohin es aus der Beute der meroitischen Invasion nach der römischen Besetzung kam. Die besten Kaiserporträts wurden zumeist in Alexandrien gefunden, was, übereinstimmend mit den Stilzügen der übrigen Exemplare, dafür zeugt, daß man die anspruchsvollen Kaiserbildnisse nach

⁸ F. BLUMENTHAL: a. W. 318 ff., 322; L. BORCHARDT: Der Augustustempel auf Philä. JdI 18 (1903) 73—90.

⁹ U. MONNERET DE VILLARD: The Temple of the Imperial Cult at Luxor. Archaeologia 95 (1953) 85—105.

¹⁰ H. KRUSE: Studien zur offiziellen Geltung des Kaiserbildes im römischen Reiche. Paderborn 1934.

¹¹ F. BLUMENTHAL: a. W. 331.

¹² H. I. BELL: Popular Religion in Graeco-Roman Egypt. JEA 34 (1948) 88.

¹³ Z. B. in Koptos kam der Sockel der kolossalen Bronzestatue von Antoninus Pius, die von der Stadt gesetzt wurde, beim nördlichen Pylon des Min-Tempels zum Vorschein, S. A. REINACH: Catalogue des antiquités égyptiennes recueillies dans les fouilles de Koptos. Marseille 1913. 20.

¹⁴ R. C. BOSANQUET: Annals of Archaeology and Anthropology Liverpool 4 (1912) 66 ff., Taf. XII—XIII; R. WEST: Römische Porträt-Plastik. München 1933. 117 f.; P. GRAINDOR: Bustes et statues-portraits d'Égypte romaine. Le Caire Nr. 1, Taf. I.

den Mustern aus Rom in der Hauptstadt der Provinz verfertigen ließ.¹⁵ Erwähnenswert ist, daß auch weiterhin Pharaonenstatuen im traditionellen Stil hergestellt wurden, die man in den Heiligtümern als Votivgeschenke aufstellen ließ.¹⁶ Die im altägyptischen Stil gehaltenen Statuen der Kaiser, die offiziell als Pharaonen galten, können uns nicht überraschen, da ja die römischen Herrscher auch auf den Tempelreliefs ebenso erschienen, wie die ägyptischen Könige zweitausend Jahre zuvor.¹⁷ Viel auffallender ist die Erscheinung, daß, aus einigen erhaltenen Statuen zu folgern, auch in der Kaiserzeit die unter den Ptolemäern ziemlich allgemeine Gewohnheit fortlebte, bei einem Teil der in den ägyptischen Tempeln aufgestellten Herrscherstatuen den Körper ganz im pharaonischen Stil, den Kopf hingegen mit hellenisierenden Zügen darzustellen.¹⁸ Vielleicht ist es nicht reiner Zufall, daß sich die Kaiserstatuen hybriden Stils vorwiegend mit Caracalla identifizieren lassen (Taf. III. 2).¹⁹ Es kann sein, daß in diesen Werken die nivellierende Tendenz der *Constitutio Antoniniana* und die Vorliebe Caracallas für die ägyptischen Götter zu Werte kam.

Um zu den Kaiserporträts im römischen Stil zurückzukehren: wir finden, daß diese nicht nur in der monumentalen Bildhauerei, sondern auch in den verschiedenen Gattungen der Kleinkunst vorkommen,²⁰ ja das einzige auf Holz gemalte Herrscherporträt, das uns aus der Antike hinterblieben ist (Taf. III. 3)²¹ bezeugt, daß sie auch aus der Tafelmalerei nicht fehlten. Den Tondo mit

¹⁵ Mehrere Exemplare sind im angeführten Werk von P. GRAINDOR zu finden. Über einige Denkmäler s. z. B. N. BONACASA: *Ritratto di Claudio* del Museo Greco-Romano di Alessandria. RM 67 (1960) 126 ff.; W. DEONNA: Genava 2 (1924) 51; C. BLÜMEL: Römische Bildnisse. Berlin 1933. Nr. R 12, Taf. 8; M. WEGNER: Die Herrscherbildnisse in antoninischer Zeit. Berlin 1939. 283, passim; H. JUCKER: *Aegyptiaca*. Jb. d. Bern. Hist. Mus. 41/42 (1961/62) 314, passim.

¹⁶ S. unter anderem A. REINACH: a. W. Nr. 21; L. BORCHARDT: Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum von Kairo. Berlin 1911. Nr. 692, 1179; A. SCHARFF: a. W. 636.

¹⁷ J. G. MILNE: *A History of Egypt under Roman Rule*. London 1898. Abb. 1, 2, 4, 7, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 30, 34–37, 39, 41, 43, 51, 53, 55, 57–60, 62; A. SCHARFF: a. W. 628, Anm. 7; S. SAUNERON: *Les querelles impériales vues à travers les scènes du temple d'Esné*. BIFAO 51 (1951) 111–121.

¹⁸ C. MICHALOWSKI: *Un portrait égyptien d'Auguste au Musée du Caire*. BIFAO 35 (1935) 73–88.

¹⁹ Roter Granitkopf vom Eingang des Isis-Tempels von Koptos, Philadelphia, Univ. Mus. Inv.-nr. E 976. Das Überbleibsel des Stützpfilers beweist, daß der Kopf zu einer Pharaosfigur von ägyptischem Typ gehörte. H. RANKE: *The Egyptian Collection of the University Museum*. Philadelphia 1950. S. 59, Abb. 34. Andere, als Caracalla erkennbare Königsstatuen in Zwitterstil: aus Dimch: L. BORCHARDT: *Statuen* III. Berlin 1930. Nr. 702; aus der Umgebung von Beni Mazar: L. BORCHARDT: a. W. Nr. 703; H. JUCKER: *Aegyptiaca*. Jb. d. Bern. Hist. Mus. 41/42 (1961/62) S. 312, Abb. 31; Berlin, Ägypt. Mus., Inv.-nr. 14079: Ausführliches Verzeichnis. Berlin 1899. 325.

²⁰ Fayenceporträt des Augustus: G. M. A. RICHTER: *Greek Portraits*. III. Latomus, Bruxelles 1960. S. 37, Abb. 150 f.; Glaspastaporträt des Augustus: P. GRAINDOR: a. W. 45, Anm. 185; Fayenceporträt des Tiberius: R. DELBRÜCK: JDI 40 (1926) S. 15, Taf. 5; Bronzestatuetten aus dem 3. Jh.: A. DE RIDDER: *Les Bronzes antiques du Louvre*. Paris 1913. I. Nr. 371.

²¹ K. A. NEUGEBAUER: *Die Familie des Septimius Severus*. Die Antike 1936. 155–172; G. M. A. HANFMANN: *Arte Romana*. Milano 1965. Taf. XLVIII.

der Familie des Septimius Severus verweisen sein Ausmaß und seine Qualität eher in den Umkreis der intimen als der repräsentativen Kunst. Aus den Kaiserbildern, die in den «privaten» Kunstgattungen vorkommen, wäre es freilich übertrieben, darauf zu folgern, daß bei der wohlhabenden Bevölkerung der ägyptischen Städte der Privatkult der Herrscher allgemein gewesen wäre; aber das steht fest, daß die überall sichtbaren Herrscherporträts auf die Bevölkerung und die Kunst der Provinz von großem Einfluß waren. Es genügt, auf zwei typische Anzeichen dieser Wirkung hinzuweisen. Wie im ganzen römischen Reich, so folgten auch in Ägypten die Privatporträts nicht nur mit ihren formellen Zügen der in den Herrscherbildern ausgedrückten modernsten Kunstrichtung, sondern der Abgebildete wurde auch durch Nachahmung der Haartracht, des Gesichtsausdruckes, ja gewisser physiognomischer Züge dem Herrscher ähnlich dargestellt (Taf. IV. 5).²² Dieses Bestreben läßt sich leicht aus der Loyalität und dem Snobismus der wohlhabenden Klassen des Reiches erklären, aber das Nachahmen der Kaiserbilder in der religiösen Ikonographie gibt schon viel mehr zu denken. Es ist keine ausschließlich ägyptische Erscheinung, trotzdem scheint es, daß es im Niltal ein besonders beliebtes Verfahren war, die modernisierte Gestalt der urtümlichen Götter nach dem Muster der Kaiserbilder darzustellen. Die bekannteste Gruppe der die Kaiserbilder nachahmenden Götterdarstellungen stellt die beliebtesten Gestalten des spätägyptischen Pantheons (Horus, Anubis, Bes, Apis usw.) in der militärischen Tracht der römischen Imperatoren gekleidet, in den gebräuchlichsten Posen der Kaiserbilder vor (Taf. XI. 1, 3).²³ Diese, meist aus Bronze oder Terrakotta hergestellten, aber auch in der kleinen Steinplastik vorkommenden Götterbilder haben dadurch eine sonderbare Wirkung, daß sie die Kaisergestalten mit den Tierköpfen der ägyptischen Götter vereinigen.²⁴ Früher meinte man, daß diese sonderbaren Bilder die kriegerischen Züge der Götter hervorheben wollten, indem sie diese als römische Legionäre darstellten. Da man aber bei sorgfältigerer Untersuchung fast an allen Exemplaren die Kennzeichen der Tracht und anderer ikonographischer Merkmale der römischen Imperatorenbilder findet, so läßt sich kaum bezweifeln, daß die ägyptischen

²² Bildnis eines Mannes aus der Zeit des Marcus Aurelius. Mumienporträt. Buffalo, Albright-Knox Art Gallery. H. DRERUP: Die Datierung der Mumienporträts. Paderborn 1933. S. 58, Nr. 18, Abb. 11; G. M. A. HANFMANN: a. W. Taf. XLVII.

²³ Taf. XI. 1; Horus als Imperator, Kleinbronze. Moskau, Puschkin-Museum. W. PAWLOW—M. MATTHIEU: Памятники искусства древнего Египта. Moskau 1958. Nr. 113. — Taf. XI. 3. Ammon als Imperator, Kleinbronze. Amsterdam, Allard Pierson Museum. H. C. VAN GULIK: Catalogue of the Bronzes in the Allard Pierson Museum at Amsterdam. Amsterdam 1940. Nr. 68.

²⁴ S. über die Gruppe im allgemeinen: R. PARIBENI: Divinità straniere in abito militare romano. Bull. Soc. Arch. Alex. 13 (1910) 177 ff.; A. WIEDEMANN: Proc. Soc. Bibl. Arch. 36 (1914) 55 ff.; FR. W. v. BISSING: Ägyptische Kultbilder der Ptolemaier- und Römerzeit. Leipzig 1936. 19 ff.; CH. DESROCHES NOBLECOURT: Bull. Soc. Franç. d'Égypt 15 (1954) 30 ff.; A. HERMANN: Der letzte Apisstier. Jb. f. Ant. u. Christ. 3 (1960) 40 f.

Götter nicht einfach als *miles*, sondern als der göttliche Herr der Welt dargestellt wurden. Endgültig wird dieses Erkenntnis durch den Umstand bekräftigt, daß auch Götter, die keine kriegerischen Züge hatten, als Imperatoren dargestellt wurden, ferner, daß man auch sonstige Züge der kaiserlichen Ikonographie bei der Darstellung der ägyptischen Götter benutzte.²⁵ Die Bilder der Imperatoren-Götter erschienen schon in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit²⁶ und sie lebten, wie das bekannte Reiterrelief des Horus im Louvre zeigt (Taf. XI. 2),²⁷ bis zur byzantinischen Epoche fort.

Das wichtigste Propagandamittel der kaiserlichen Regierung waren auch in Ägypten die Münzen. Die Billon- und Bronzemünzen der Prägestätte in Alexandrien,²⁸ die als ausschließliches Zahlungsmittel der Provinz unter der obersten Aufsicht des Präfekten ausgegeben wurden, lassen sich bei der Prüfung des römischen Einflusses auf die ägyptische Kunst keineswegs übergehen. Die Münzen von Alexandrien bieten nicht nur für das Verhältnis zwischen der Regierung und Ägypten²⁹ sondern auch für die religiöse Ikonographie³⁰ und für die Kunstgeschichte der Provinz ein noch nicht ausgeschöpftes Quellenmaterial. Da diese Denkmalgruppe der bekannteste Teil im archäologischen Nachlaß des römischen Ägyptens ist, kann man sich mit der Feststellung begnügen, daß die alexandrinischen Münzen nicht nur die wichtigsten und wirksamsten Vermittler der Kaiserbilder und der politischen Propaganda waren und nicht nur die Werke und den Stil der griechisch-römischen Kunst verbreiteten (Taf. VII. 1—VIII. 1)³¹, sondern von der zweiten Hälfte des I. Jahrhunderts an immer zahlreicher und nachdrücklicher die Götter und Symbole der örtlichen

²⁵ Solche Abbildung von Sarapis: A. HERMANN: a. W. 40. Es läßt sich nicht bezweifeln, daß sich die in der Sarapis-Ikonographie auffallend häufige Büstenform gleichfalls mit der Nachahmung der Kaiserporträts erklären läßt, vgl. H. JUCKER: Ein Kopf des Sarapis. Genava N. S. 8 (1960) 116. Ein charakteristisches Beispiel für die als römischer Imperator dargestellten alten ägyptischen Gottheiten gibt das «Antaios»-Relief von Kairo, s. W. GOLENSCHEFF: Eine neue Darstellung des Gottes Antaeus, ZÄS 32 (1894) 1 f.

²⁶ Exp. E. Sieglin Bd. I. Th. SCHREIBER: Die Nekropole von Kom-Esch-Schukafa. Leipzig 1918. 149, 158 f. (BISSING).

²⁷ Paris, Louvre, Inv.-nr. X 5130. G. MICHAILIDES: Bull. Soc. Arch. Copte 13 (1948/49) 91 ff.

²⁸ Die wichtigsten Handbücher: R. S. POOLE: Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. Alexandria and the Nomes. London 1892; A. v. SALLET: Alexandrinische Kaisermünzen des kgl. Münzkabinet zu Berlin. Berlin 1893; G. DATTARI: Nummi Augusti Alexandrini. I—II. Cairo 1901; J. VOGT: Die alexandrinischen Münzen. I—II. Stuttgart 1924; J. G. MILNE: Catalogue of Alexandrian Coins, Ashmolean Museum. Oxford 1933.

²⁹ Grundlegend J. VOGT: a. W. und Römische Politik in Ägypten. Beih. zum «Alten Orient» 2. 1924.

³⁰ Die Zahl der diesbezüglichen Detailuntersuchungen ist sehr groß. Die Arbeiten von J. VOGT und J. G. MILNE geben auch diesbezüglich die beste Übersicht, während das reichste Abbildungsmaterial bei DATTARI zu finden ist. S. noch eine der neuesten Untersuchungen mit ikonographischen Beziehungen und mit Bibliographie: H. JUCKER: Aegyptiaca. Jb. d. Bern. Hist. Mus. 41/42 (1961/62) 289 ff.

³¹ Besonders auf den Reversen der unter Antonin Pius geprägten Münzen, vgl. J. G. MILNE: Pictorial Coin-Types at the Roman Mint of Alexandria. JEA 29 (1943) 63 ff., 36 (1950) 83 ff.; 37 (1951) 100 ff.; J. W. CURTIS: JEA 41 (1953) 119 ff.—Taf. VII. 1—VIII. 1: JEA 41 (1955) Taf. XXIV, Abb. 2—3.

Kulte der Provinz vorführten. Unter den Gottheiten auf der Rückseite der Münzen standen an erster Stelle die Gestalten des alexandrinischen Pantheons, also jene hellenisierten ägyptischen Götter, deren Kult sich auch außerhalb Ägyptens verbreitet hatte (Taf. VII. 2—VIII. 2).³² Neben ihnen finden wir aber auch solche Göttergestalten und religiöse Symbole (Taf. VII. 3—VIII. 3),³³ die außerhalb Ägyptens kaum Verständnis finden konnten, und vielfach auf so spezifisch örtliche Kulte verweisen, daß ihre genaue Auslegung und Benennung selbst den Forschern der spätägyptischen Religion oft Schwierigkeiten bereitet.

Wenn wir die ägyptische Götterwelt der alexandrinischen Münzen mit dem religiösen Typenschatz der im Inneren des Landes verfertigten und benützten, volkstümlichen Kunstgattung vergleichen, wie die Terrakottaplastik ist,³⁴ so können wir uns davon überzeugen, wie weitgehend die Vorsteher der alexandrinischen Münzstätte die örtlichen religiösen Ansprüche in Rücksicht nahmen. Die alexandrinische Münzstätte vereinigte also die Aufgaben der zentralen und der lokalen Münzprägung, und vertrat somit wenigstens ebensosehr die spezifisch ägyptische Anschauung wie die Ideologie der Stadt Rom. In dieser Hinsicht ähnelte ihre Tätigkeit am ehesten jener der Münzstätten in den oströmischen Städten mit autonomem Münzrecht und spiegelte letztlich die spezifische Lage der Provinz Ägypten.

Wir wissen sehr wohl, daß Augustus selbst die Grundlagen zu jener Ägyptenpolitik gelegt hatte, deren Wesen darin bestand, die besonderen Umstände und Zustände des Landes etwas abgeändert und streng kontrolliert aufrechtzuerhalten und die eher auf Abschließung von den übrigen Reichsteilen als auf Nivellierung und Verschmelzung gerichtet war.³⁵ Die Senatoren und vornehmen Ritter wurden von der Provinz ausdrücklich ferngehalten, die ehemals königlichen Güter und wesentlich alle Felder, die nicht der Priesterschaft oder Privaten gehörten, wurden als kaiserliche Güter verwaltet, und nach anfänglichen Versuchen wurde die Ausbildung des privaten Großgrundbesitzes, besonders jenes, der in italienische Hände gelangte, eingeschränkt. Diese eigentümliche Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik hatte den Zweck, unter Bewahrung der auf die Zeit der Pharaonen zurückgehenden, traditionellen Einrichtungen, mit den Kraftquellen des ganzen Landes prinzipiell zentral wirtschaften zu können und die eingeborene Bevölkerung mehr als Pächter und Nutzer des Bodens, denn als Eigentümer desselben zu behandeln. Der kenn-

³² Sarapis und Isis Pharia auf alexandrinischen Münzen aus der Zeit Hadrians. Münzkabinett des Ung. Nationalmuseums.

³³ Taf. VII. 3. Alexandrinische Münze Hadrians mit der Darstellung von Totoes. Wien, Münzkabinett. — Taf. VIII. 3: alexandrinische Münze des Antoninus Pius mit dem Bildnis des reitenden Sarapis-Agathodaimon, Ung. Nationalmuseum, Münzkabinett.

³⁴ E. D. J. DUTILH: Monnaies alexandrines et terres cuites du Fayoum. Bull. Inst. Eg. 1895. 223 ff. Die meisten Vergleiche sind in der grundlegenden Arbeit von W. WEBER: Die ägyptisch-griechischen Terrakotten. Berlin 1914. I—II. zu finden.

³⁵ Ausgezeichnete Zusammenfassung der Frage bei H. I. BELL: Egypt from Alexander the Great to the Arab Conquest. Oxford 1956. 65 ff. Vgl. M. ROSTOVZJEFF: The Social and Economic History of the Roman Empire. Oxford 1957. 285 ff.

zeichnendste Zug des Bildes ist, daß es in Ägypten überhaupt keine Munizipien, daher auch kein städtisches Leben im römischen Sinne gab, und auch die faktisch bestehenden Städte nur unter den Severen eine beschränkte Autonomie erhielten, also in einer Epoche, als schon im ganzen Reich die Zeichen der Krise des Munizipialsystems zutage traten. Dadurch fielen gerade die zwei blühenden Jahrhunderte der frühen Kaiserzeit aus dem Vorgang der römischen Urbanisierung aus, was naturgemäß auch hinsichtlich der Kunstentwicklung ausschlaggebend war. Mangels einer in städtische Körperschaften zusammengeschlossenen römischen Bürgerschaft konnte sich in Ägypten die eigentliche, aus Italien ausgestrahlte, römische Kunst nicht einwurzeln, sondern wirkte sich nur kraftvoll auf die spezifisch gefärbte Kunst des Landes aus.

Unter den wichtigsten Vermittlern der römischen Einwirkung auf die ägyptische Kunst können wir nicht das Heer übergehen, das im ganzen Reich zu den wichtigsten Förderern der uniformisierenden und nivellierenden Tendenz gehörte. In Ägypten kam auch dieser bedeutsame Faktor der Romanisierung nur beschränkt zur Geltung, da man, von hinkommandierten fremden Truppenkörpern abgesehen, die Mannschaft der dort stationierten Garnisonen vorwiegend aus der örtlichen griechischen Bevölkerung anwarb. Die ägyptischen Truppen wurden allgemein nicht in andere Provinzen geschickt, und die Ägypter konnten nur in die Marine eintreten. Es scheint also, daß im Wege des Heeres kaum bedeutsame und massenhafte Kunstströmungen in das Land drangen. Trotzdem darf man diesen Faktor nicht unterschätzen, da ja die verschiedenen Formen der militärischen Organisation auch dann romanisierende Wirkung hatten, wenn sie nur im geringeren Maß mit der Einwanderung romanisierter ethnischer Elemente verbunden waren. Wenn auch die Angaben über die in Ägypten stationierten römischen Truppen kriegsgeschichtlich bereits verarbeitet sind,³⁶ so blieb die Rolle des Militärs auf dem Gebiete der Kunst unbehandelt. Es wäre kaum richtig, den Spezialforschungen vorzugreifen und verallgemeinernde Feststellungen zu treffen. Aber es ist doch wichtig, die Aufmerksamkeit auf einige augenfällige Faktoren zu richten. Obwohl die kleineren Wachtposten der ägyptischen Truppen das ganze Land umspannten, so waren die wichtigsten Garnisonen in der Römerzeit doch in Alexandrien, bei Memphis (in Babylon) und in Assuan. Offenbar muß man in der Nähe dieser militärischen Zentren mit der intensivsten künstlerischen Auswirkung des Militärs rechnen. Vom alexandrinischen Heerlager, das östlich der Stadt lag und wahrscheinlich mit dem von Augustus gegründeten Nikopolis eng verbunden war,³⁷ weiß man archäologisch sozusagen fast nichts. Aus dem Gräberfeld,

³⁶ J. G. MILNE: *A History of Egypt etc.* London 1898. 169—175; J. LESQUIER: *L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien.* Le Caire 1918; S. DARIS: *Documenti per la storia dell'esercito militare dell'Egitto bizantino.* Paris 1912.

³⁷ A. CALDERINI: *Dizionario dei nomi geografici e topografici dell'Egitto greco-romano.* I. Cairo 1935. 134; H. KEES: *Nikopolis in Ägypten.* RE XVII, 1 (1936) 538 f.; R. P. WRIGHT: *New Readings of Severan Inscription from Nicopolis near Alexandria.* JRS 32 (1942) 33 ff.

das zum Militärlager gehörte, kam hingegen während der Bauarbeiten nennenswertes Inschriftenmaterial hervor, und darunter fand man auch verhältnismäßig viele figurale Grabsteine der Bewohner der Militärkolonie.³⁸ Wahrscheinlich stammen die Grabsteine, die mit der Fundort-Bezeichnung «Ramleh» beziehungsweise «Sidi Gaber» in das Museum von Alexandrien gelangten (Taf. V. 1—2)³⁹, aus einem bestimmten Umkreis der Nekropolis, denn sie bilden eine ziemlich einheitliche Gruppe, die aus dem zweiten Viertel des III. Jahrhunderts stammt. Die kleinen Stelen mit Flachreliefs sind nicht so sehr durch ihre Ikonographie verbunden, in der sich die Typen durchschnittlicher Soldatengrabsteine mit den Typen der alexandrinischen Sepulchralkunst vermischen, als vielmehr durch den bei ägyptischen Grabsteinen in der Römerzeit ungewohnten Marmor und die stilaren Züge, auf deren Grundlage man sie für die Produkte ein und derselben Werkstatt halten muß. Auf Grund der Militärgrabsteine von Alexandrien lassen sich die Grabstatuen von Offizieren in einer Denkmalgruppe erkennen, die Männer in gleicher Haltung und Tracht darstellen und deren Stücke in Alexandrien, Kairo und Luxor (Taf. V. 3),⁴⁰ also in der Nähe von Garnisonen gefunden wurden.

Unter den vielen militärischen Bauwerken auf dem Gebiete Ägyptens ist das imposanteste das Castrum von Babylon (Taf. II. 2),⁴¹ mit dessen Fall sich das Schicksal des Landes zur Zeit des Arabersturmes entschied. Während einzelne Teile der Befestigung von Altkairo ihre Erhaltung dem Umstand verdankten, daß sie von den Kopten weiterbenützt wurden, kam ein Teil der repräsentativen Bauwerke des typisch tetrarchischen Standlagers von Luxor (Taf. I. 4) bei der Freilegung der Umgebung des ägyptischen Tempels an den Tag.⁴² Die römischen Ruinen, die man bei Assuan am Nilufer sieht, gehörten wahrscheinlich zu militärischen Anlagen.

³⁸ Alexandria, Griech.-röm. Museum, Inv.-nr. 182, 252, 253, 255, 256, 3899, 17494, 21612, 21623, 22176, 22177, 23359, 23895, 23933, 24202, 24489, 24490. E. PFUHL: Alexandrinische Grabreliefs. AM 26 (1901) 302 f.; E. BRECCIA: Iscrizioni greche e latine. Cat. Gén. Mus. d'Alex. Le Caire 1911. 252, 374, 480, 485, 490; Ders.: Alexandria ad Aegyptum. Bergamo 1914. 159; Ders.: Note epigrafiche. BSAA 20 (1924) 268 f., 24 (1929) 72 f.; A. ADRIANI: Annuaire du Mus. Gr.-Rom. I. 1932/33. 49.

³⁹ Taf. V. 1: Warschau, Nationalmuseum Inv.-nr. 198772. A. SADURSKA: Inscriptions latines et monuments funéraires romains. Varsovie 1953. Nr. 38. Taf. XXXII. — Taf. V. 2: Alexandria, Griech.-röm. Museum Inv.-nr. 3899. E. BRECCIA: Iscrizioni Nr. 480, Abb. 126; Alexandria ad Aegyptum. Abb. 40.

⁴⁰ Stehende Soldatenstatue aus Marmor im Garten des Inspektors von Luxor. Weitere Exemplare: Kairo, C. C. EDGAR: Greek Sculpture. Le Caire 1903. Nr. 27485, Taf. XIII; Alexandria, Griech.-röm. Museum, zwei Standbilder im Korridor zwischen Räume 17 und G.

⁴¹ U. MONNERET DE VILLARD: Sul castrum romano di Babilonia d'Egitto. Aegyptus 5 (1924) 174 ff.; E. LOUKIANOFF: La forteresse romaine du Vieux-Caire. Bull. Inst. Égypt. 33 (1950/51) 285 ff. Die veröffentlichte Abbildung (nach Description de l'Égypte) zeigt den Zustand am Anfang des 19. Jh.

⁴² G. DARESSY: Le camp de Thèbes. ASA 19 (1920) 242 ff.; U. MONNERET DE VILLARD: The Temple of the Imperial Cult at Luxor. Archaeologia 95 (1953) 85 ff., Grundplan Taf. XXXIV. — Taf. I. 4: ein nördliches Tor des Lagers von Luxor. Vgl. A. FAKHRY: Blocs décorés provenant du temple de Luxor. ASA 37 (1937) 43 ff., Abb. 1—2.

Ohne einen unmittelbar militärischen Gegenstand zu haben, verdankte ihre Entstehung der Anwesenheit des römischen Heeres die Serie der ägyptischen Mithras-Denkmäler (Taf. IX. 1),⁴³ deren Großteil aus einem Mithräum bei Memphis zum Vorschein kam, also auf Initiative und auf Kosten der Bewohner des Legionslagers von Babylon hergestellt wurde.

Bisher wurden die Kunstgattungen und Denkmäler hervorgehoben, die das unmittelbare Eindringen der römischen Kunst nach Ägypten veranschaulichen. Es wäre aber ein Irrtum zu glauben, daß sich die römische Kunst in Ägypten auf derartige Stücke offiziellen Charakters beschränkt hätte. Aus Alexandrien und auch aus allen größeren Städten, in denen die wohlhabendsten Schichten der Gesellschaft Ägyptens in der Römerzeit lebten, kamen in größter Zahl solche private Kunstwerke hervor, die zur zentralen Richtung der römischen Kunst gehören und stilistisch wie inhaltlich aus jeder beliebigen römischen Provinz hätten stammen können. Toga-Statuen begegnen wir nicht nur in Alexandrien,⁴⁴ sondern auch in den größeren Metropolen, wie zum Beispiel in Hermupolis Magna⁴⁵ und in Koptos.⁴⁶ Hervorragende Marmorporträts in stadtrömischen Stil kamen, außer in Alexandrien,⁴⁷ in beträchtlicher Zahl auch aus dem Inneren des Landes hervor.⁴⁸ Ohne sich auf Einzelheiten einzulassen, kann man feststellen, daß die Marmorplastik Ägyptens in der Kaiserzeit im großen und ganzen zur Kategorie der gemeinrömischen Skulptur gehörte, und sich, wenn sie auch allgemein nicht das erstklassige Niveau erreichte und die hellenistische Manier der Ostprovinzen, oder, wenn man will, Alexandriens an sich trug, in ihrer Thematik und Formgebung an die allgemeinen Richtungen des Reiches angeschlossen. In Ägypten spielten die Kopien⁴⁹ und dekorativen Stauten⁵⁰ zum Schmucke der öffentlichen Gebäude und der vornehmen Häuser eine ebenso große Rolle, wie in jeder anderen Provinz des Reiches und der wandelbare und datierbare Stil der plastischen Auffassung und der Bildhauertechnik kam in diesen ebenso zur Geltung wie anderwärts. Die Marmorstatuen zählten in Ägypten, wo kein Marmor vorkommt, zu den teuren Luxusartikeln, was schon an sich die auch aus anderen Erwägungen gefolgerte Tatsache

⁴³ Taf. IX. 1: Mithras Tauroktonos-Relief, Kalkstein, aus dem Mithraeum von Memphis. Kairo, Ägypt. Museum Inv.-nr. 7259. J. STRZYGOWSKI: Koptische Kunst. Cat. Gén. Caire, Vienne 1904. 9 f.; M. J. VERMASEREN: Corpus Inscriptionum et monumentorum religionis mithriacae. I. Haag 1956. Nr. 92. — Mithräische Standbilder aus Memphis: M. J. VERMASEREN: a. W. Nr. 91–100; aus Oxyrhynchos: VERMASEREN Nr. 103; von anderen Fundorten: VERMASEREN Nr. 102, 105.

⁴⁴ P. GRAINDOR: Bustes. Nr. 48–50.

⁴⁵ P. GRAINDOR: a. W. Nr. 47.

⁴⁶ A. REINACH: Catalogue des antiquités égyptiennes recueillies dans les fouilles de Koptos. Marseille 1913. S. 14, Nr. 17.

⁴⁷ Ausgezeichnete flavische Frauenporträts: ARNDT—BRUCKMANN 1137–1138; GRAINDOR Nr. 52.

⁴⁸ Herakleopolis Magna: GRAINDOR Nr. 42; Terenuthis: GRAINDOR Nr. 12, 14, 15.

⁴⁹ Z. B. Herodotbüste aus Benha: GRAINDOR Nr. 26.

⁵⁰ Z. B. A. ADRIANI: Repertorio d'Arte dell'Egitto Greco-Romano. Ser. A. II. Palermo 1961. Taf. 66.

bestätigt, daß diese kennzeichnend römische Kunst den Ansprüchen der oberen Gesellschaftsschichten diene.

Der Einfluß der römischen Kunst beschränkte sich aber nicht auf die obersten Schichten der Gesellschaft. Wenn man den Begriff der römischen Kunst nicht auf die kaiserlichen und hauptstädtischen Tendenzen beschränkt, sondern sie in dem weiteren Sinne nimmt, den sie in den Jahrhunderten der Kaiserzeit tatsächlich hatte, so läßt sich ruhig behaupten, daß sie bis zu den untersten Schichten der ägyptischen Gesellschaft vorstieß und die Ganzheit der städtischen Bevölkerung durchdrang. Die römische Porträtkunst hatte z. B. bekanntlich große Wirkung auf die Mumienporträts, die für die hellenisierten Mittelschichten massenhaft hergestellt wurden (Taf. IV. 4).⁵¹ Die Werke der Kleinkunst, die als Zier- und Gebrauchsgegenstände den Bessergestellten in großer Menge zur Vergütung standen, aber auch in den Hausrat selbst der einfachsten Leute gelangten, die Bronzegefäße und Bronzelampen,⁵² die Tonlampen,⁵³ die Glasgefäße,⁵⁴ die Werke der Toreutik und der Goldschmiedekunst,⁵⁵ die Siegel⁵⁶ usw. wurden größtenteils in solcher Form, mit solchen figuralen Verzierungen und mit solcher Ornamentik hergestellt, die den im römischen Reich allgemein verbreiteten und gebräuchlichen Typen entsprach. Diese große Menge der Werke der darstellenden, dekorativen und angewandten Künste, die in profaner Beziehung die herrschende Kunst des römischen Ägyptens bildete, kann man aber dennoch mehr griechisch-römisch oder hellenistisch-kaiserzeitlich, als römisch in engerem Sinne des Wortes nennen. Diese Bestimmung trifft nicht nur darum besser zu, weil die Gegenstände zur

⁵¹ Über die Mumienporträts zusammenfassend s. W. M. FLINDERS PETRIE: *Roman Portraits and Memphis IV.* London 1911; P. BUBERL: *Die griechisch-ägyptischen Mumienbildnisse der Slg. Th. Graf.* Wien 1922; H. DRERUP: *Die Datierung der Mumienporträts.* Paderborn 1933; A. STRELKOW: *Файюмский портрет.* Moskau—Leningrad 1936; H. ZALOSCHER: *Porträts aus dem Wüstensand.* Wien—München 1961; K. PARLASCA: *Zur Entstehung der Mumienporträts.* ZDMG 11 (1961) 381 ff.; A. F. SHORE: *Portrait Painting from Roman Egypt.* London 1962. Die neueste, und alle ältere Arbeiten überholende Zusammenfassung K. PARLASCA: *Mumienporträts und verwandte Denkmäler.* Wiesbaden 1966. — Taf. IV. 4: Männerporträt aus Hawara, Zeitalter Trajans. London, Nat. Gal. 2913. H. ZALOSCHER: a. W. Taf. 23; A. F. SHORE: a. W. Taf. 6.

⁵² C. C. EDGAR: *Greek Bronzes. Cat. Gén. Caire* 1904; P. PERDRIZET: *Bronzes grecs d'Égypte de la collection Fouquet.* Paris 1911; L. P. KIRWAN: *Some Graeco-Roman Bronzes in the Cairo Museum.* BIFAO 34 (1934) 43 ff.

⁵³ W. M. FLINDERS PETRIE: *Roman Ehnasya.* London 1905. 4 ff., Taf. LIII. ff.; F. W. ROBINS: *Graeco-Roman Lamps from Egypt.* JEA 25 (1939) 48 ff.; L. A. SHIER: *Roman Lamps and Lamp Makers of Egypt.* AJA 57 (1953) 110 f.

⁵⁴ C. C. EDGAR: *Graeco-Egyptian Glass. Cat. Gén. Caire* 1905; G. A. WAINWRIGHT: *Roman Glass from Kom Washim.* Le Musée Égyptien 3 (1915) 64 ff.; D. B. HARDEN: *Roman Glass from Karanis.* Ann Arbor 1936.

⁵⁵ U. WILCKEN: *Ein römischer Silberschatz in Ägypten.* Arch. f. Pap. 6 (1920) 302; F. DREXEL: *Ein ägyptisches Silberinventar der Kaiserzeit.* RM 36/37 (1921/22) 34 ff.; R. ENGELBACH: *The Treasure of Athribis (Benha).* ASA 24 (1924) 178 ff.; P. PERDRIZET: *Objets d'or de la période impériale au Musée Égyptien du Caire.* ASA 36 (1936) 5 ff.

⁵⁶ H. ERMANN: *Die Siegelung der Papyrusurkunden.* Arch. f. Pap. 1 (1901) 68 ff.; C. WESSELY: *Siegel-Beschreibungen.* Studien II. 1902. 24 f.; J. G. MILNE: *Clay-Sealings from the Fayum.* JHS 26 (1906) 32 ff.

Befriedigung der massenhaftesten künstlerischen Ansprüche der Ober- und Mittelschichten der Gesellschaft zum größten Teil in Alexandrien oder in anderen größeren Städten der Provinz hergestellt und nur zu geringem Teil aus Italien oder aus anderen Provinzen eingeführt wurden, sondern hauptsächlich darum, weil ihr Typenschatz und der in ihnen ausgedrückte Geschmack nur insoweit gemeinsame Züge mit der Kunst Italiens aufweist, als auch sie in den Rahmen der auf hellenistischen Grundlagen ruhenden künstlerischen *Koine* des Reiches gehörte, die man meistens als «griechisch-römisch» bezeichnet.

Wenn man die große Menge der Kunstgattungen und Denkmäler einer eingehenden Analyse unterzieht und neben den gemeinsamen reichsrömischen Zügen die speziellen Merkmale hervorhebt, findet man, daß, abgesehen von den später zu behandelnden ägyptischen Besonderheiten, in der durchschnittlichen Kunst der Provinz sehr stark die mit den östlichen Provinzen, mit Syrien, Kleinasien und den griechischen Gebiete verwandten Züge vertreten sind, was bei der geographischen Lage Ägyptens und den kommerziellen Verbindungen Alexandriens ganz selbstverständlich ist. Es ist z. B. bezeichnend, daß die alexandrinischen Marmor- und Steinsarkophage (Taf. VI. 1, 3) nicht italienische, sondern kleinasiatische und syrische Typen vertreten, und es läßt sich auch beweisen, daß ihr Material in rohem oder noch öfter in halbfertigem Zustand aus Kleinasien nach Alexandrien geliefert wurde.⁵⁷ In der gemalten Wanddekoration lebte, ähnlich wie in den Ostprovinzen, auch in Ägypten der sog. Inkrustationsstil in den Jahrhunderten der Kaiserzeit fort (Taf. XII. 1).⁵⁸

Die Grenze zwischen den unter unmittelbar römischem oder italienischem Einfluß erzeugten Werken und den zur *Koine* des Reiches gehörigen Werken läßt sich nicht scharf ziehen, da alle im Grunde eine einzige große Strömung vertreten, deren unterschiedliche Komponenten abwechselnd die Oberhand gewinnen, je nachdem sie eine höhere oder niedrigere Gesellschaftsschichte, den nach Rom oder Griechenland orientierten Geschmack befriedigen sollten, und ihre Hersteller die Anhänger der westlichen oder östlichen, der hellenistischen oder der römischen Tradition gewesen sind. Die gesellschaftliche Basis der griechisch-römischen Kunst Ägyptens bildeten, neben der verhältnismäßig schmalen Schicht der römischen Funktionäre und Kaufleute, vor allem die griechischen oder hellenisierten Ober- und Mittelklassen Alexandriens und der Metropolen, die dank ihrer Stellung in der Staatsverwaltung, im Handel

⁵⁷ Über gemeinsame Züge der Künste Ägyptens und Syriens in der Kaiserzeit: E. KITZINGER: Notes on Early Coptic Sculpture. *Archaeologia* 87 (1938) 198 f. — Über die alexandrinischen Sarkophage: TH. SCHREIBER: Exp. Sieglin I. Die Nekropole von Kom-Esch-Schukafa. Leipzig 1908. 178 ff.; E. BRECCIA: Le Musée Gréco-Romain 1922—23. Alexandrie 1924. 10 ff.; A. ADRIANI: Repertorio I. Palermo 1961. 19 ff. — Taf. VI. 1: ADRIANI: Repertorio I. Nr. 19. — Taf. VI. 3: ebenda Nr. 26.

⁵⁸ S. GABRA—E. DRIOTON: Peintures à fresques et scènes peintes à Hermoupolis-Ouest (Touna el-Gebel). Le Caire 1954. Taf. 4.

und im Gewerbe, in Bankgeschäften sowie als Grundbesitzer und nicht zuletzt dank ihrer Steuerbegünstigungen über das materielle und kulturelle Niveau verfügten, das ihnen diesen Grad des Mäzenentums ermöglichte. Diese Leute ließen im Inneren Ägyptens die Wände ihrer Häuser⁵⁹ und ihrer Grabgebäude (Taf. XII. 2)⁶⁰ mit Szenen aus den homerischen Epen und den klassischen Tragödien bemalen, und sie fügten vor das Antlitz der nach ägyptischem Ritus bestatteten Mumien griechische Porträtgemälde ein (Taf. IV. 1).⁶¹ Der Kauf und die Bestellung von künstlerischen Werken war für sie eine ebensolche gesellschaftliche Distinktion wie die in den Gymnasien⁶² erworbene griechische Bildung, der wir die in den literarischen Papyri⁶³ hinterbliebenen Schätze verdanken.

Bisher sprachen wir von der griechisch-römischen Kunst Ägyptens in der Kaiserzeit hauptsächlich im Zusammenhang mit den für private Zwecke hergestellten Werken und ließen die für öffentliche Zwecke dienenden Bauwerke beiseite. So paradox es auch klingen mag, weiß man über die öffentlichen Gebäude, die von geschichtlichem und gesellschaftlichem Gesichtspunkt aus eine große Bedeutung haben, bedeutend weniger als von den kleineren Kunstgattungen. Denn während man über die Denkmäler der Bildhauerei und der Kleinkünste durch einen Einblick in die Museen und die Kataloge, auch ohne eingehende Analyse im Einzelnen, eine Vorstellung gewinnen kann, fehlen über die römervzeitlichen Bautenreste Ägyptens nicht nur die zusammenfassenden Arbeiten, sondern auch die verlässlichen Aufnahmen und Detailpublikationen.

Es genügt darauf hinzuweisen, daß nicht nur in den Ruinenfeldern, sondern auch in den Museen von Alexandrien und Kairo Hunderte von verzierten Baustücken zu finden sind, die bis zum heutigen Tage einer fachkundigen Bearbeitung harren. Da Alexandrien — das Vorbild aller ägyptischen Städte — in dieser Hinsicht die kärglichste Auskunft bietet, müssen wir uns damit

⁵⁹ SB III 6823 (Zeitalter des Claudius): Ausmalen einer Säulenhalle und eines Speisesaals mit Szenen aus der Ilias. Vgl. H. I. BELL: Harvard Theological Review 37 (1944) 196.

⁶⁰ Szenen aus der Oidipussage. Tuna el-Gebel, Grabgebäude Nr. 16, Kairo, Ägypt. Mus. Inv.-nr. 63609. S. GABRA: Rapport sur les fouilles d'Hermoupolis-Ouest. Le Caire 1941. 98 ff., Taf. XLVI; S. GABRA—É. DRIOTON: a. W. Taf. 15.

⁶¹ Bildnis eines jungen Mannes mit Schwertriemen. Mumienporträt aus Antinoe. Berlin, Ägypt. Mus. Inv.-nr. 17900. H. ZALOSCHER: a. W. S. 59, Taf. 28.

⁶² M. SAN NICOLÒ: Ägyptisches Vereinswesen zur Zeit der Ptolemäer und Römer. I. München 1913. 44 f.; H. I. BELL: Egypt from Alexander the Great to the Arab Conquest. Oxford 1956. 71.

⁶³ CH. H. OLDFATHER: The Greek Literary Texts from Graeco-Roman Egypt. Univ. of Wisconsin 1923; R. A. PACK: The Greek and Latin Literary Texts from Graeco-Roman Egypt. Ann Arbor 1952; C. H. ROBERTS: Literature and Society in the Papyri. Mus. Helv. 10 (1953) 264 ff. — Über die hellenische Kultur in Ägypten: H. I. BELL: Hellenic Culture in Egypt. JEA 8 (1922) 139 ff.; M. MODICA: La civiltà dell'Egitto greco-romano. Roma 1924; P. JOUGUET: Les destinées de l'hellénisme dans l'Égypte gréco-romaine. Chr. d'Ég. 10 (1935) 89 ff.

begnügen, mit einigen Beispielen darauf hinzuweisen, wie die Baukunst der Metropolen Ägyptens unter der römischen Herrschaft dürfte ausgesehen haben.

Die Zentren der *Nomoi* bestanden aus Städten, die rings um ein großes ägyptisches Heiligtum errichtet wurden. Die altägyptischen Tempel standen, oft in der von den Ptolemäern neuerrichteten und von den römischen Herrschern erweiterten Gestalt, zur Kaiserzeit meist noch aufrecht, doch sieht man, daß die Städte der Römerzeit sie nicht nur umzingelten, sondern nach und nach in die Gebiete der Heiligtümer eindrangten und diese in den spätantiken Zeiten zumeist völlig besetzten.⁶⁴ Neben den altägyptischen Heiligtümern findet man häufig Prunkgebäude aus der Römerzeit, die die Huldigung der griechischen oder hellenisierten Bevölkerung vor den örtlichen Göttern verewigen (Taf. I. 2).⁶⁵ Es ist kein Wunder, daß man in der Nachbarschaft der mächtigen ägyptischen Tempel, neben den anschließenden Beigebäuden und den Kaiserheiligtümern keine wirklich großzügigen Tempelbauten anlegte. Die Bauten in den Metropolen richteten sich hauptsächlich auf repräsentative und gemeinnützige Gebäude.⁶⁶ Die Bautätigkeit der Metropolen blühte hauptsächlich nach den severischen Reformen, der Gründung der städtischen Räte und der Ausdehnung des römischen Bürgerrechtes, auf die Initiative der städtischen Behörden,⁶⁷ die auch die materiellen Lasten trugen. Abgesehen von den älteren griechischen Städten, Naukratis, Alexandrien und Ptolemais, konnten sich nur wenige ägyptische Metropolen, wie Antinoopolis⁶⁸ dessen rühmen, daß ihr mit glänzenden Säulenreihen umgebener Hauptplatz und ihre öffentlichen Gebäude mit kaiserlicher Unterstützung entstanden sind. In der Mehrzahl der Metropolen belasteten die Kosten der fieberhaften Bautätigkeit im III. Jahrhundert die städtischen Beamten, und nichts zeugt besser vom Aufflam-

⁶⁴ Die römerzeitliche Bebauung des Tempels von Luxor wurde schon oben erwähnt. Zur Zeit ist die Ausgrabung des Tempelbezirks im Gange, woraus sich ein genaues Bild von dem im Heiligtum und in seiner unmittelbaren Umgebung aufeinander geschichteten hellenistischen, römerzeitlichen und byzantinischen Siedlungen ergeben wird. Der Bezirk von Medinet Habu wurde von der Ansiedlung bis vor der koptischen Periode gleichfalls vollständig in Anspruch genommen, vgl. U. HÖLSCHER: Die Wiedergewinnung von Medinet Habu. Tübingen 1958. 67, passim. — El Kab: Chron. d'Ég. 1938. 216. — Hawara: W. M. FLINDERS PETRIE: Hawara, Biahmu and Arsinoe. London 1889. Plan.

⁶⁵ Nymphaeum vor dem Eingang des Heiligtums von Dendera, Teil des griechisch-römischen «Sanatoriums». Vgl. F. DAUMAS: Le sanatorium de Dendara. BIFAO 56 (1957) 35—57.

⁶⁶ Die bis jetzt vollständigste Bearbeitung der schriftlichen Quellen über das städtische Leben, die Liturgien und Bauarbeiten gibt P. JOUGET: La vie municipale dans l'Égypte romaine. Paris 1911.

⁶⁷ M. SAN NICOLÒ: Vereinswesen 2 (1915) 85 f.; A. H. M. JONES: The Election of the Metropolitan Magistrates in Egypt. JEA 24 (1938) 65 ff.; E. P. WEGENER: The Bouleutai of the Metropoleis in Roman Egypt. Symbolae van Oven. 1946. 160 ff.; E. P. WEGENER: The Boule and the Nomination to the Archai in the Metropoleis of Roman Egypt. Mnemosyne 1948. 15 ff., 115 ff.

⁶⁸ F. KÜHN: Antinoopolis. Göttingen 1913; H. I. BELL: Antinoopolis. JRS 30 (1940) 133 ff. — Neuere Ausgrabungen: S. DONADONI, A. ADRIANI: ASA 38 (1938) 493 ff., ASA 39 (1939) 659 ff.

men des munizipialen Selbstbewußtseins als daß man von den glänzenden Plänen auch dann nicht Abstand nahm, als es schon äußerst schwierig war, Unternehmer für die Tragung der liturgischen Lasten zu finden.⁶⁹

Das sehnlichste Ziel der Metropolen, die sich Alexandrien zum Vorbild nahmen, war scheinbar eine, mit monumentaler Säulenhalle umgebene *Agora* (Taf. I. 3)⁷⁰ auszubilden, daneben haben wir bei den meisten Metropolen schriftliche oder bauliche Zeugnisse auch über Theater;⁷¹ von Bädern wissen wir selbst in den kleinsten Städten (Abb. 2),⁷² die Papyri enthalten oft Hinweise auf Bankethäuser⁷³ und die staatlich beaufsichtigten Gymnasien⁷⁴ konnten auch aus den Dörfern nicht fehlen, in denen Griechen wohnten. Beim Anblick der nach den griechisch-römischen Baunormen errichteten, oft die grandiosen Abmessungen der römischen Kunst anstrebenden öffentlichen Gebäude, der Statuen, Malereien und Ziergegenstände, die sie und die Häuser der Vornehmen bevölkerten, der Statuetten, Gefäße, Lampen und Münzen, die auch im kleinsten Dorf im Umlauf waren, sowie der übrigen griechisch-römischen Gegenstände wäre man geneigt zu behaupten, daß die Kunst Ägyptens zur Römerzeit eine hellenisierte Variante jener uniformisierten Formenwelt war, die das ganze Reich überschwemmte. Aber das Bild ist, wie wir wissen, keineswegs so einfach. Bevor wir an die spezifisch ägyptischen Züge der griechisch-römischen Kunstrichtung herangingen, werfen wir einen Blick auf die fremde Kunstwelt, auf die aus der Zeit der Pharaonen ererbte, traditionelle ägyptische Kunst, die neben ihr lebte.

Die Bautätigkeit an den Tempeln der ägyptischen Gottheiten wurde unter den römischen Kaisern fortgesetzt.⁷⁵ Von Augustus bis Decius finden wir die

⁶⁹ A. CH. JOHNSON: *Egypt and the Roman Empire*. Ann Arbor 1951. 137 f.; H. I. BELL: *Egypt from Alexander etc.* Oxford 1956. 84 f.

⁷⁰ Taf. I. 3: Ruinen der Agora in Hermupolis, vgl. E. BARAIZE: l'«Agora» d'Hermoupolis. ASA 40 (1940) 741 ff.; G. ROEDER: *Hermopolis*. Hildesheim 1959. 115 f. Zu den Papyri über die Bauarbeiten von Hermupolis s. G. MÉAUTIS: *Hermoupolis-la-Grande*. Lausanne 1918. — Nachahmung von Alexandria: E. WEIGAND: *Wiener Jb. f. Kunstgesch.* 5 (1928) 81 f.; E. KITZINGER: *Archaeologia* 87 (1938) 214.

⁷¹ In Oxyrhynchos, W. M. FLINDERS PETRIE: *Tombs of the Courtyards and Oxyrhynchos*. London 1925. Taf. XXXVIII.

⁷² A. CALDERINI: *Bagni pubblici nell'Egitto greco-romano*. Rendiconti del Real Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. 1919. 297 ff.; A. M. EL-KHACHAB: *Ptolemaic and Roman Baths of Kom El Ahmar*. ASA Suppl. 10. Le Caire 1949; H. C. YOUTIE: *Records of a Roman Bath in Upper Egypt*. AJA 53 (1949) 268 ff. — Abb. 2: Bad von Dionysias in Fayum, J. SCHWARTZ—H. WILD: *Qasr-Qarun. Dionysias* 1948. Le Caire 1950. Taf. XIV. 60 ff.

⁷³ A. FRICKENHAUS: *Griechische Bankethäuser*. JDI 32 (1917) 118; Bull. Soc. Arch. Alex. 4 (1902) 79 ff.; M. ROSTOWTZEW: RM 26 (1911) 61.

⁷⁴ R. TAUBENSCHLAG: *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri*. Warszawa 1955. 639 ff. — Für die Kosten der Bauarbeiten vom Gymnasium und vom Balaneion s. P. Amh. II. Nr. 70.

⁷⁵ G. JÉQUIER: *Les temples ptolémaïques et romains*. Paris 1924; A. SCHARFF: Hb. d. Arch. I. (1939) 625 ff.; N. SAUNERON: *Temples ptolémaïques et romains d'Égypte*. Le Caire 1956. — Über einige wichtigere Tempel s. neuerdings A. BADAWY: *Kom-Ombo. Sanctuaires*. Le Caire 1959; S. SAUNERON: *Le temple d'Esna*. Le Caire 1963.

Reliefs und Inschriften fast aller Kaiser,⁷⁶ die Spuren ihrer Erweiterungen oder Umbauten, an beinahe allen ägyptischen Heiligtümern Unternubiens und Ägyptens, die in der römischen Zeit noch aufrecht und in Benützung standen. In der Liste von Gauthier, die sich heute schon bedeutend erweitern ließe, kommen z. B. Hieroglyphinschriften über die Bauten des Augustus aus Dakka, Dendur, Kalabscha, Dabod, Philae, Elaphantine, Der el Medine, Senhur und Dendera vor. Zur Gänze oder zum größeren Teil stammen aus der Kaiserzeit so bedeutsame Tempel wie z. B. Kalabscha (Taf. II. 1), Philae, Kom Ombo, Esna und Dendera. Die Bautätigkeit erstreckte sich nicht nur auf die Haupt- und Nebengebäude der Tempel, von denen die sog. «Kioske» (Taf. I. 1)⁷⁷ die originellsten Bauwerke sind, sondern auch auf die Mauern der Tempelhöfe und auf ihr ganzes sonstiges Zubehör, unter anderem auf die Obeliske,⁷⁸ die Naoi⁷⁹ und natürlich auch die Reliefs, die die Mauern der Gebäude schmückten.⁸⁰ Diese letzteren unterscheiden sich von den Reliefs der Ptolemäerzeit durch ihren allgemein weniger präzisen, aber doch charakteristischen Stil, durch ihre dekorative Flächenbehandlung, die dichten Teppichmustern gleicht (Taf. XVI. 2).⁸¹ In den ägyptischen Tempeln nahm die Bautätigkeit im II. Jahrhundert stufenweise ab und hörte mit der langsamen Vernachlässigung und dem Verfall der Tempel im III. Jahrhundert ganz auf.⁸²

Die künstlerische Tätigkeit in der frühen Kaiserzeit, die man ohne Übertreibung als lebhaft bezeichnen kann, setzt eine kontinuierliche Aktivität der Tempelwerkstätten voraus, die sich nicht nur auf die monumentalen Bauten, sondern parallel mit diesen auch auf die Herstellung kleinerer Denkmalarten auf Bestellung der Priesterschaft und von privater Seite richtete. Als Ergebnis dieser Tätigkeit der Tempelwerkstätten blieben aus den ersten Jahrhunderten der Römerherrschaft ziemlich zahlreich jene traditionellen Werke der ägyptischen Plastik erhalten, die seit Jahrhunderten — hauptsächlich als Opfergaben — mit dem Tempelkult in Verbindung standen. In allen größeren ägyptischen Sammlungen finden sich Götterstatuen aus der Römerzeit, aus Stein, Bronze oder anderem Material,⁸³ neben den schon erwähnten Herrscherstatuen

⁷⁶ Systematische Sammlung aller bis 1917 bekannt gewordenen Kaiserinschriften: H. GAUTHIER: *Le livre des rois d'Égypte. V. Les empereurs romains*. Le Caire 1917.

⁷⁷ «Kiosk» von Trajan in Philae. Vgl. ASA 46 (1947) 385 ff.

⁷⁸ A. ERMAN: Die Obelisken der Kaiserzeit. ZÄS 34 (1896) 149 ff.

⁷⁹ G. DARESSY: *Un naos de Domitien*. ASA 16 (1916) 121 ff.; G. ROEDER: *Naos*. Cat. Gén. Caire. Leipzig 1914, passim.

⁸⁰ Neben der angeführten Bibliographie von N. SAUNERON stellt die topographische Bibliographie von Porter-Moss das vollständigste Register der Reliefs und der Inschriften dar.

⁸¹ Kaiserzeitliche Reliefs im Tempel von Kom Ombo. — Ein charakteristisches Merkmal der römerzeitlichen Tempelreliefs besteht darin, daß sie öfters — mit Aufgabe der in den früheren Jahrhunderten herrschenden relief-en-creux-Technik — in Flachrelief hergestellt wurden.

⁸² DE LACY O'LEARY: *The Destruction of Temples in Egypt*. Bull. Soc. Arch. Copte 4 (1938) 51 ff.

⁸³ In der größten Anzahl im Museum von Kairo, vgl. G. DARESSY: *Statues de divinités*. Cat. Gén. Caire 1906.

in ägyptischem Stil auch Statuen von Priestern und Beamten (Taf. XV. 3),⁸⁴ Opfertafeln⁸⁵ und hauptsächlich Opferstelen.⁸⁶ Die letzteren sind neben den Tempelreliefs die wertvollsten Quellen der Chronologie der traditionellen ägyptischen Reliefkunst, da sie die auch weiterhin im Namen des Königs dargebrachten Opfer verewigten (Taf. XVII. 3)⁸⁷ und daher häufig den Namen des Kaisers enthalten. Es kommt besonders bei den späteren Stücken oft vor, daß die in konservativem Stil gehaltene Darstellung von Hieroglyphinschriften begleitet wird, die Dedikation aber in griechischer Sprache verfaßt ist (Taf. XVII. 2).⁸⁸ Ein gutes Beispiel für die Änderung des Stils und den Verfall der Qualität ist die Serie der Buchis-Stelen von Armant,⁸⁹ deren letztes Stück, eine Stele aus der Zeit des Diokletian, eine der spätesten datierbaren Hieroglypheninschriften und ägyptischen Reliefs trägt (Taf. XVIII. 2).⁹⁰ Ganz gewiß stammen aus den Tempelwerkstätten auch die seit der Spätzeit sehr hochgeschätzten magisch-apotropäischen Stelen (Taf. XVIII. 1)⁹¹ und Amulette, die bis zum endgültigen Aussterben der ägyptischen Religion bei den Hilfesuchenden in den Nöten des Lebens sehr beliebt waren.

Das andere große Betätigungsfeld der traditionellen ägyptischen Kunst war die sepulkrale Sphäre. Auf dem Gebiet der Totenlehren und Bräuche errang die ägyptische Religion — in ihrer Spätform — den vollen Sieg, und behielt nicht nur das Volk der Ägypter, sondern eroberte sogar die eingewanderten Elemente, darunter auch die Griechen. Ihrer Wirkung konnten sich auch die Schichten nicht entziehen, die bewußt an der hellenischen Kultur festhielten.⁹²

⁸⁴ Basaltstatue eines Beamten aus dem Pnepherostempel von Karanis. B. v. BOTHMER: *Egyptian Sculpture of the Late Period*. New York, Brooklyn Museum 1960. Nr. 140. — Andere sitzende Statuen: P. GRAINDOR: a. W. Nr. 67—69; L. BORCHARDT: *Statuen etc.* IV. (1934) 1190—1192; Alexandria, Griech.-röm. Mus. Inv.-nr. 3193, 3196, 3203. — Stehende Statuen: L. BORCHARDT: a. W. 1189; P. GRAINDOR: a. W. Nr. 70; Hannover, Kestner Mus. *Ausgewählte Werke der ägyptischen Sammlung*. 1955. Nr. 74.

⁸⁵ AHMED BEY KAMAL: *Tables d'offrandes*. I—II. Cat. Gén. Caire 1906—1909, passim; W. E. A. BUDGE: *A Guide to the Egyptian Galleries. Sculpture*. London, British Museum 1909. Nr. 1065—1068.

⁸⁶ AHMED BEY KAMAL: *Stèles hiéroglyphiques d'époque ptolémaïque et romaine*. I—II. Cat. Gén. Caire 1904—1905, passim; W. SPIEGELBERG: *Denkstein einer Kultgenossenschaft in Dendera aus der Zeit des Augustus*. ZÄS 50 (1912) 36 ff.; G. DARESSY: *Une stèle de Xoïs*. ASA 17 (1917) 46 ff.; A. SCHARFF: *Ein Denkstein der römischen Kaiserzeit aus Achmim*. ZÄS 62 (1927) 86 ff.; H. P. BLOK: *Een Wijdingsstèle van Tiberius*. Bull. Ver. Ant. Besch. 4 (1929) 6 ff.; A. FAKHRY: *Two New Stelae of Tiberius from Luxor Temple*. ASA 37 (1937) 25 ff.

⁸⁷ Opferstèle aus Oberägypten, Zeitalter des Tiberius. J. G. MILNE: *Greek Inscriptions*. Cat. Gén. Caire 1905. Nr. 9268.

⁸⁸ Opferstèle mit hieroglyphischen und griechischen Inschriften aus einem Tempel der Dakhla-Oase, aus 78 n. Zw. G. LEFÈVRE: *Petits monuments du Musée du Caire*. ASA 28 (1928) 29 ff.

⁸⁹ H. W. FAIRMAN: *Notes on the Date of Some Buchis Stelae*. JEA 16 (1930) 240 f.; R. MOND—O. H. MYERS: *The Bucheum*. I—III. London 1934. Vol. II. 11 ff., Taf. XLIII—XLVI (Fairman).

⁹⁰ R. MOND—O. H. MYERS: a. W. II. Nr. 19.

⁹¹ Horusstelen aus römischer Zeit: G. DARESSY: *Textes et dessins magiques*. Cat. Gén. Caire 1902. Nr. 9419 ff. — Taf. XVIII. 1: Nr. 9422.

⁹² Aus dem vielfältigen Quellenmaterial des Problemerkaises in archäologischer Beziehung bietet W. NEEDLER das meiste: *An Egyptian Funerary Bed of the Roman*

Die Unterschiede meldeten sich mehr nur darin, wie viel von den griechischen oder hellenistischen Elementen und Formen die einzelnen Gebiete, Städte und Gesellschaftsschichten in die sepulkralen Bräuche, Ausstattungen und Vorstellungen einführten und wie weit sie an den angeerbten Zügen festhielten. Von der traditionellen sepulkralen Kunst behielt man die Grabarchitektur bei; meist wurden die unterirdischen oder in Felsen gehauenen Kammergräber der Spätzeit weiterbenutzt und nachgeahmt, deren Fortsetzung die grandiosen Hypogäen von Alexandrien bildeten (Abb. 3).⁹³ Beim größten Teil der neugebauten Gräber wurde die unterirdische Grabkammer zu einer Nebensache oder in die Grabkapelle hinauf versetzt. Das Grabgebäude blieb — trotz der häufig verwendeten griechischen Elemente — ein Nachkomme der altägyptischen Grabkapellen.⁹⁴ Auch weiterhin standen die reduzierten Typen der spätzeitlichen Steinsarkophage in Gebrauch,⁹⁵ in vielen Varianten die kistenförmigen Holzsäрге,⁹⁶ die Totenbetten (Taf. XIV. 2),⁹⁷ die Baldachine,⁹⁸ hauptsächlich aber die verschiedensten Mumienhüllen und Zierden, die vollen oder partiellen Kartonnage-Hüllen⁹⁹ und Mumientücher (Taf. XIII. 1).¹⁰⁰ Auch noch im II. Jahrhundert finden sich traditionelle Grabmalereien an den Wänden der vornehmen Grabgebäude (Taf. XIV. 1).¹⁰¹ Und der Brauch der üblichen ägyptischen Grabstelen hielt sich wenigstens so lange, wie jener der Opferstelen (Taf. XVII. 1).¹⁰²

Period in the Royal Ontario Museum in Toronto 1963. — In bezug auf das Grabinventar ist V. SCHMIDT: Sarkofager, Mumiekister og Mumiehylstre i det gamle Aegyptenr Copenhagen 1919. 225 ff. und R. ENGELBACH: Introduction to Egyptian Archaeology. Cairo 1946. 242 ff. grundlegend. — Für die Gräberfelder s. A. GAYET: L'exploration des nécropoles d'Antinoë. Ann. Mus. Guimet 30 (1902) 26 ff.; J. CLÉDAT: Nécropole de Qantarrah. RecTrav 38 (1916/17) 21 ff.; A. BATAILLE—B. BRUYÈRE: Une tombe gréco-romaine de Deir el Médineh. BIFAO XXXVI—XXXVIII.

⁹³ TH. SCHREIBER: Die Nekropole von Kom-Esch-Schukafa. Exp. Sieglin I. Leipzig 1908. — Für die Benützung früherer Kammergräber gibt es besonders viele Beispiele in Theben, s. z. B. V. SCHMIDT: a. W. Nr. 1313—1314.

⁹⁴ Über die ägyptischen Grabbauten s. unter anderem A. ADRIANI: Annuaire du Musée Gréco-Romain. I. 1932/33. 34; II. 1935/39. 123, 162; S. GABRA: Rapport sur les fouilles d'Hermoupolis Ouest. Le Caire 1941. F. W. BISSING: Tombeaux d'époque romaine à Akhmim. ASA 50 (1950) 547 ff.; A. BADAWY: A Sepulchral Chapel of Graeco-Roman Times at Kom Abu Billo. JNES 16 (1957) 52 ff.; F. A. HOOPER: Funerary Stelae from Kom Abou Billou. Ann Arbor 1961; W. NEEDLER: a. W. 23.

⁹⁵ TH. SCHREIBER: Exp. Sieglin I (1908) 185. — Vgl. JDI 61/62 (1946/47) 1, Anm. 3; ASA 50 (1950) 566 f.

⁹⁶ Z. B. V. SCHMIDT: a. W. Nr. 1319—1323, 1330, 1334—35.

⁹⁷ Totenbett aus dem 3. Jh. n. Zw. W. NEEDLER: a. W. Taf. I.

⁹⁸ Z. B. V. SCHMIDT: a. W. Nr. 1316.

⁹⁹ V. SCHMIDT: a. W. Nr. 1331 ff., passim; C. C. EDGAR: Graeco-Egyptian Coffins. Masks and Portraits. Cat. Gén. Cairo 1912.

¹⁰⁰ V. SCHMIDT: a. W. 1333, 1340, passim. — Taf. XIII. 1: Berlin, Äg. Mus. Inv.-nr. 22728.

¹⁰¹ Tuna el Gebel, Grabbau Nr. 21. S. GABRA: Rapport (1941) 39 ff.; S. GABRA E. DRIOTON: Peintures (1954) Taf. 27.

¹⁰² Ägyptischer Grabstein mit griechischer Inschrift aus Abydos. J. G. MILNE: Greek Inscriptions. Cat. Gén. Caire. Oxford 1905. Nr. 9215. — Die meisten beschrifteten ägyptischen Grabsteine sind — außer der angeführten Arbeit von J. G. MILNE — in den Katalogbänden von W. SPIEGELBERG zu finden: Die demotischen Denkmäler. I. III. Cat. Gén. Caire. Leipzig 1904. 1932.

Womit läßt sich das Fortleben der altägyptischen Kunst nach mehr als einem halben Jahrtausend der ununterbrochenen Fremdherrschaft erklären, als die überlegene Darstellungsweise der welterobernden griechischen Kunst auch in den verstecktesten Winkel des Landes eingedrungen war? Die Antwort auf diese Frage geben die Denkmäler selbst: wie wir sahen, war die ägyptische Kunst in der Römerzeit aus den profanen Kunstgattungen und aus dem Alltagsleben schon ganz verdrängt, lebte aber um so zäher in der Tempel- und Grabkunst fort, war also zu einer sakralen, religiösen Ausdrucksweise geworden. Ihr Dasein war durch das Fortleben der ägyptischen Tempel, des ägyptischen Totenkultes und der ägyptischen Religion bedingt. Die Frage ließe sich also mit einer anderen Frage beantworten: womit erklärt sich das Fortleben der ägyptischen Religion in dieser Zeit und in diesem geschichtlichen Milieu? Das Fortleben des ägyptischen Tempel- und Totenkultes sowie auch der ägyptischen Kunst war durch das Fortleben jener wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umstände ermöglicht, die sie seinerzeit zustandegebracht hatten. Nach den Ptolemäern suchten auch die römischen Kaiser einige Jahrhunderte lang die früheren Eigentumsverhältnisse, Wirtschaftssystem und Lebensform aufrecht zu erhalten, die die große Mehrheit der Agrarbevölkerung des Landes zu Hörigen des Staates gemacht hatten, da es auf diese Weise möglich war, von Ägypten den großen Getreideüberfluß und andere Produkte herauszupressen, die diese Provinz für Rom so wertvoll machten.¹⁰³ Solange die Lebensverhältnisse der großen Mehrheit des Volkes im großen und ganzen die traditionellen blieben, blieb auch das religiöse Weltbild bestehen, das mit diesen Lebensverhältnissen seit Jahrtausenden verbunden war. Die wahre Basis des Bestehens der traditionellen ägyptischen Kunst war die große Masse des Landvolkes, die Leute, die im römischen Kaiser noch immer den Pharao erblickten und in der unveränderten Ordnung des Tempelkults die Garantie der Weltordnung sahen, die sie seit Jahrtausenden in der Reihe der fleißigen und fügsamen Arbeiter erhalten hatte. Die kaiserliche Regierung war sich dessen wohl bewußt, daher duldete sie und unterstützte sogar in gewissen Schranken die Organisation der ehemals so mächtigen Priesterschaft und jene Kunst, die eine wichtige Ausdrucksweise der Religion war.

Es war nötig, die zwei diametral verschiedenen Kunstwelten zu überblicken, um festzustellen, daß ihr Dasein durch den Dualismus der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundlagen der Provinz bedingt war, doch müssen wir gleich hinzufügen, daß der kennzeichnendste und geschichtlich wichtigste Zug der Kunst des römerzeitlichen Ägyptens nicht in diesem Nebeneinander, sondern gerade in der Vermengung der beiden Künste bestand. Diese Mischung ging, wie dies im folgenden skizzenhaft beleuchtet wird, in äußerst breitem Umfang und in komplizierten Varianten vor sich. Die grundlegende Ursache

¹⁰³ M. ROSTOVTZEFF: *The Social and Economic History of the Roman Empire*. I. Oxford 1957. 285 ff.

haben wir nicht in dem Umstand allein zu erblicken, daß die Symbiose der zwei verschiedenen Künste sozusagen automatisch zu Wechselwirkungen führte. Die Ausbildung und das Dasein der Mischkunst beruhte ebenso auf konkreten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundlagen, wie die der oben gekennzeichneten «reinen» Richtungen. Wir möchten auf zwei wesentliche Faktoren der Grundlagen dieser hybriden Kunst aufmerksam machen. Die eine war der wohlbekannte Zustand der ethnischen und gesellschaftlichen Vermengung, der sich schon vor Beginn der Römerherrschaft ausgebildet hatte und als Ergebnis der drei Jahrhunderte des hellenistischen Ägyptens zur Verwischung der strengen Grenzen zwischen der Urbevölkerung und den eingewanderten griechischen Einwohnern führte.¹⁰⁴ Besonders die innenpolitischen Verhältnisse der spätptolemäischen Zeit brachten es mit sich, daß infolge der ethnischen Mischung sowie der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verknüpfung, in kultureller Hinsicht der scharfe Unterschied zwischen den Oberschichten des ägyptischen Volkes und den Unterschichten des Griechentums verschwand, was am auffallendsten vielleicht daraus hervorgeht, daß man in dieser Zeit auf Grund der Personennamen nicht mehr die Frage der Nationalität entscheiden kann.¹⁰⁵ Diese kulturelle Vermengung beseitigte aber nicht den grundlegenden gesellschaftlichen Unterschied zwischen der großen Mehrheit der Ägypter und den ursprünglichen griechischen, aber mit ägyptischen Elementen erweiterten privilegierten Schichten, die durch die strengere Kategorisierung und die Gesellschaftspolitik, die mit der Römerzeit begann, bis zu einem gewissen Grad untermauert, ja verschärft wurde.¹⁰⁶ Zugleich aber begann ein neuer Verschmelzungsprozeß, erst in latenter, aber mit der Zeit in immer mehr offensichtlicher Weise, der in der Nivellierung der faktischen Wirtschafts- und Rechtslage der ägyptischen Ackerbauer und der privilegierten Schichte der Griechen bestand und durch die diokletianischen Reformen zur vollendeten Tatsache wurde.¹⁰⁷ Die Vermengung auf dem Gebiete der Künste beruhte also auf keiner äußerlichen Wechselwirkung, sondern brachte einen gesellschaftlichen Vorgang zum Ausdruck, der sich in den vielfachen Beziehungen des Alltagslebens von Schritt zu Schritt vollzog.

In neutralster Form zeigte sich die Gegenseitigkeit der Verschmelzung in der Baukunst. Abgesehen von den großen ägyptischen Heiligtümern und den rein für den griechisch-römischen Kult erbauten Tempeln, finden sich auf fast allen Bauten Ägyptens aus der Kaiserzeit entweder ägyptische Elemente an

¹⁰⁴ M. ROSTOVITZ: *The Social and Economic History of the Hellenistic World*. II. Oxford 1964. 912; FR. v. SCHWIND: *Zur griechisch-ägyptischen Verschmelzung unter den Ptolemäern*. Studi in onore di V. Arangio-Ruiz. II. 435 ff.

¹⁰⁵ LAMBERTZ: *Zur Doppelnamigkeit in Ägypten*. Wien 1911; C. E. HOLM: *Griechisch-ägyptische Namenstudien*. Uppsala 1936; L. CASTIGLIONE: *Graeco-Aegyptiaca*. Acta Ant. Hung. 2 (1954) 68 ff.

¹⁰⁶ H. I. BELL: *Egypt from Alexander etc.* Oxford 1956. 70 f.

¹⁰⁷ A. CH. JOHNSON: *Egypt and the Roman Empire*. Ann Arbor 1951. 111 f.

griechisch-römischen Gebäudetypen (Taf. II. 3),¹⁰⁸ oder klassische Züge an den ägyptischen Bauten (Taf. II. 4).¹⁰⁹ Viel lehrreicher für uns ist die bildende Kunst, in der wir drei Hauptarten und Tendenzen der Vermischung unterscheiden können: erstens die Annäherung der ägyptischen Kunst an die griechisch-römische, zweitens das Bestreben der griechisch-römischen Kunst, die ägyptische Bilderwelt aufzunehmen, schließlich die Kunst im Zwitterstil.

Die verhältnismäßig geringste Annäherung findet sich von seiten der traditionellen ägyptischen Kunst, was auch schon darum verständlich ist, weil bereits die geringste Anwendung der klassischen Darstellungsweise diese geschlossene Formenwelt völlig aufzulösen drohte. Außerdem schlossen die sakralen Bindungen der Tempelkunst die grundlegende Änderung der angestammten Darstellungsweise auch grundsätzlich aus, und wenn dies an den Peripherien ausnahmsweise dennoch vorkam, zeigt das Ergebnis das Scheitern des Versuches.¹¹⁰ Diese schloß natürlich gräzisierende Modifizierungen an kleinen Teilformen nicht aus, deren Möglichkeit sich gut an dem interessanten Stukkorelief von Hildesheim zeigt, das ein Tempelrelief nachahmt, aber infolge seiner Kunstart mehr Freiheit gestattet (Taf. XVI. 1).¹¹¹ Verhältnismäßig selten sind die ägyptischen Götterstatuen, bei denen es offenkundig ist, daß ägyptische Meister in den traditionellen Typ griechische Züge einführten.¹¹² Diese Tendenz läßt sich massenhaft nur bei jenen, ausgesprochen volkstümlichen und auf Privatbestellung hergestellten Götterbildern beobachten, die von der ägyptischen Sakralkunst ausgegangen waren, deren Herstellung aber kein Privileg der Tempelwerkstätten geblieben war, wie zum Beispiel im Falle der allbekannten Totoes-Reliefs (Taf. XVIII. 3–4).¹¹³ Die Blütezeit der Statuen von höchgestellten ägyptischen Priestern und Beamten, die im Grunde traditionellen Typ hatten, aber hellenistische Porträtzüge trugen,¹¹⁴ war die Epoche

¹⁰⁸ Isis-Tempel im Bezirk des Heiligtums von Luxor, vgl. J. LECLANT: *Orientalia* 19 (1950) 362; 30 (1961) 183, Abb. 30–32. — S. über die Frage im allgemeinen W. WEBER: *Ein Hermes-Tempel des Kaisers Marcus*. Heidelberg 1910.

¹⁰⁹ Tuna el Gebel, Grabgebäude Nr. 21, vgl. S. GABRA: *ASA* 39 (1939) 486 ff.; *Ders.*: *Rapport etc.* Le Caire 1941. 39 ff.

¹¹⁰ G. MASPERO: *Geschichte der Kunst in Ägypten*. Stuttgart 1913. Abb. 519; A. SCHARFF: *Hb. d. Arch.* I. 1939. S. 629.

¹¹¹ G. ROEDER—A. IPPEL: *Die Denkmäler des Pelizäus-Museums zu Hildesheim*. Berlin 1921. S. 148, Abb. 62.

¹¹² Der Ursprung auch dieser äußeren Züge läßt sich vielmehr auf das Zeitalter der Ptolemäer zurückführen, als die ägyptischen Werkstätte ihre letzte schöpferische Periode in künstlerischem Sinn durchlebten. Vgl. z. B. die wahrscheinlich römerzeitliche Isisstatue in Kairo, C. C. EDGAR: *Greek Sculpture. Cat. Gén. Caire* 1903. Nr. 27471.

¹¹³ Taf. XVIII. 3: Berlin, Ägypt. Mus. Inv.-nr. 20914. F. VARGA—ST. WENIG: *Ägyptische Kunst. Gastausstellung der Berliner Staatlichen Museen*. Budapest Szépművészeti Múzeum 1963. Nr. 157. — Taf. XVIII. 4: Wien, Kunsthist. Mus. Ägypt. Samml. 5077. R. NOLL: *ÖJh* 42 (1955) 67 ff., Abb. 40. — Zusammenfassend über die Totoes-Reliefs S. SAUNERON: *Le nouveau sphinx composite du Brooklyn Museum et le rôle du dieu Toutou-Tithoes*. *JNES* 19 (1960) 268 ff.; L. KÁKOSY: *Reflexions sur le problème de Totoes*. *Bull. Mus. Hong. d. Beaux-Arts* 24 (1964) 9 ff.

¹¹⁴ Wichtigere Literatur: P. GRAINDOR: *Bustes etc.* Le Caire; J. JANSSEN: *Iconismus bijromeinsche portretten van Isispriesters*. *Bull. Ver. Ant. Besch.* 18 (1943) 40 ff.; H. DRERUP: *Ägyptische Bildnisköpfe griechischer und römischer Zeit*. Münster 1950; B. II.

der Ptolemäer. Sehr viele Werke, die früher für römisch gehalten wurden, werden heute in die Jahrhunderte des Hellenismus datiert, so z. B. auch die vielreproduzierte Statue des *Hor*, die wahrscheinlich aus der Zeit der römischen Besetzung stammt (Taf. XV. 2).¹¹⁵ Kein klares Bild haben wir hingegen über den Bestand und die Chronologie der in der Kaiserzeit entstandenen griechisch-ägyptischen Porträtstatuen, nur so viel ist sicher, daß auch diese Kunstgattung in den ersten Jahrhunderten fortlebte und vom Dualismus des kulturellen Antlitzes der Besteller zeugte (Taf. XV. 1).¹¹⁶ In der Kunstsphäre der ägyptischen Tempel läßt sich also die Annäherung an die griechisch-römische Kunst hauptsächlich in jenen Kunstgattungen bemerken, bei denen die Privatinitiative zu größerer Rolle kam.

So maßhaltend die ägyptische Kunst in der Anwendung klassischer Formen war, so unbeschränkt erwies sich die Bereitschaft der griechisch-römischen Kunst, die alte Kunst des Landes in sich aufzunehmen. Die Expansion der klassischen Kunst äußerte sich nicht so sehr in der Übernahme der künstlerischen Form als in der des Inhalts und der Thematik. Den zahlenmäßig größten Teil der Kunst der Provinz bilden jene künstlerisch meistens belanglosen, ihrem Gegenstand nach aber sehr abwechslungsreichen Stücke, die die spezifische Welt des zeitgenössischen Ägyptens, hauptsächlich seiner Götterwelt, vorführen. Ihre Form ist wesentlich griechisch, ihr Gegenstand aber ägyptisch, und der Gegenstand blieb nicht ganz ohne Wirkung auf die Form. Kurz lassen sich selbst die wichtigsten Kunstgattungen und Bildertypen nicht aufzählen. Vor allem zählen die griechisch-ägyptischen Götterbilder hierher, unter denen sich nicht nur die wohlbekannten Darstellungen der auch im ganzen Reich verbreiteten alexandrinischen Götter (Taf. IX. 2)¹¹⁷ befinden, sondern auch die Götter der verschiedensten örtlichen Kulte (Taf. IX. 4)¹¹⁸ und die Vielheit der volkstümlichen Dämonen. Diese schier unzählige Götterwelt erscheint in der Steinplastik (Taf. IX. 3),¹¹⁹ unter den Bronzestatuetten (Abb. 4)¹²⁰ in der

STRICKER: Graeco-egyptische private sculpture. Oudh. Meded. 41 (1960) 18 ff.; B. v. BOTHMER: Egyptian Sculpture of the Late Period. New York, The Brooklyn Museum 1960.

¹¹⁵ Kairo, Ägypt. Mus. Inv.-nr. 972. L. BORCHARDT: Statuen III. Leipzig 1930. Nr. 697; P. GRAINDOR: a. W. Nr. 74. — Zur Datierung: B. BOTHMER: a. W. 171.

¹¹⁶ Chicago, Natural History Museum 105182. B. v. BOTHMER: a. W. Nr. 141. — Die Meinung von BOTHMER über den plötzlichen Niedergang dieser Gattung in der Kaiserzeit scheint übertrieben zu sein.

¹¹⁷ Taf. IX. 2: Isis und Harpokrates. Kalksteinrelief, Kairo, Ägypt. Mus. Inv.-nr. 47108. II. JUCKER: Aegyptiaca. Jb. Bern. Hist. Mus. 41/42 (1961/62) 306, Abb. 26. — Über die alexandrinischen Götterbilder s. Fr. W. v. BISSING: Ägyptische Kultbilder der Ptolemäer- und Römerzeit. Leipzig 1936.

¹¹⁸ Thermuthis-Statuette aus grünen Schiefer. Alexandria, Griech.-röm. Mus. Nr. 25773. A. ADRIANI: Repertorio d'Arte dell'Egitto greco-romano. Ser. A. II. Palermo 1961. Nr. 211.

¹¹⁹ Marmorstatue des Harpokrates aus dem Heiligtum von Ras el Soda. Alexandria, Griech.-röm. Mus. Nr. 25784. A. ADRIANI: Annuaire du Musée Gréco-Romain d'Alexandrie 1935—39. 140 ff.

¹²⁰ Bronzestatuetten des Harpokrates. Berlin, Ehem. Staatl. Mus. Ägypt. Samml. Nr. 11009. G. ROEDER: Zauberei und Jenseitsglaube im alten Ägypten. Zürich 1961. Taf. 30.

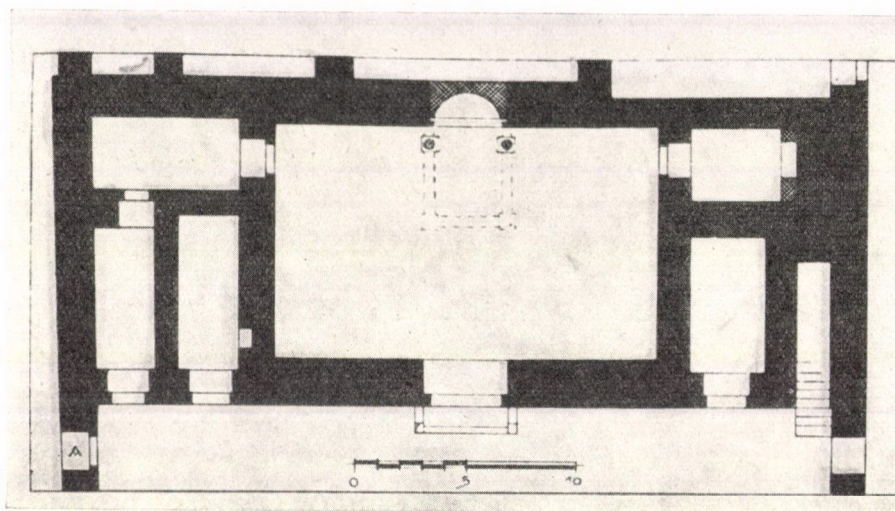


Abb. 1

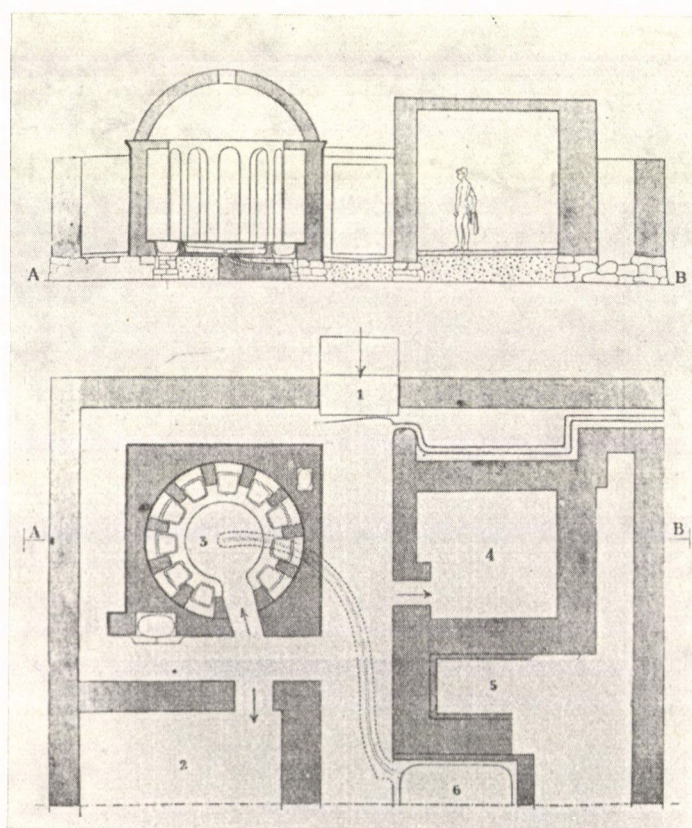


Abb. 2

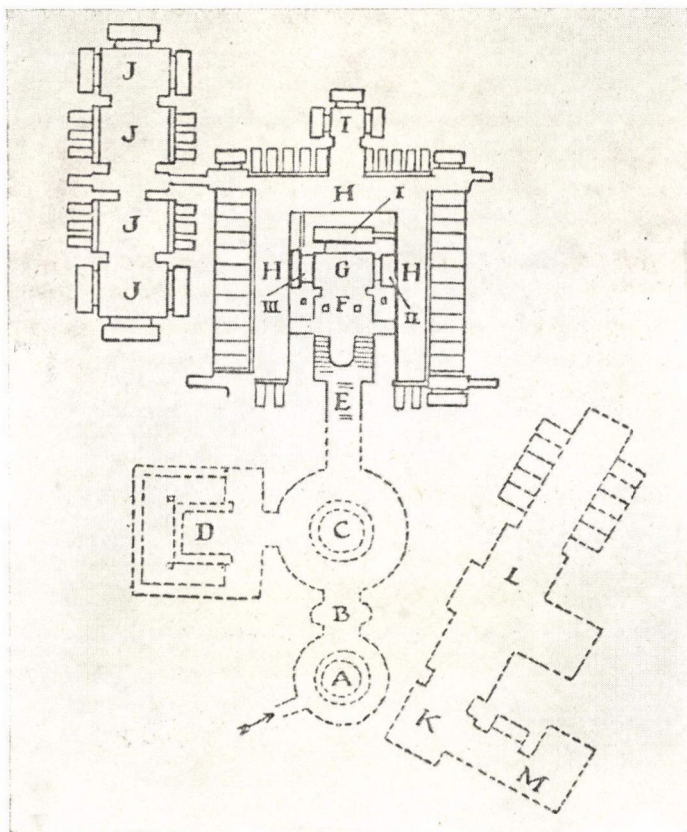


Abb. 3



Abb. 4

Malerei, in der Glyptik, auf den Münzen, unter den Werken der Goldschmiedekunst, auf den Textilien (Taf. III. 4),¹²¹ in den Tempeln, in den Gräbern ebenso wie in den Privathäusern. Die formelle Lösung war sehr verschieden. Die zur Zeit des Hellenismus ausgebildeten Götterttypen, die Bilder von Sarapis, Isis und Harpokrates, blieben auch weiterhin meist griechisch. Es gab ägyptische Bildertypen, die fast unverändert in das Repertoire der griechischen Werkstätten aufgenommen wurden (Taf. VI. 2, X. 4),¹²² bei anderen verliehen die Komposition oder die ägyptischen Attribute und Symbole der Darstellung einen antikklassischen Charakter. Die Vorführung der göttlichen und profanen (Taf. X. 2)¹²³ Welt Ägyptens mit griechischen Mitteln war kein von außen her gesehenes Exotikum, sondern eine Kunst, die einem inneren Bedürfnis entsprang und Massenansprüche befriedigte. Das klarste Beispiel dafür bietet die Hauptkunstgattung dieses Kunstkreises, die Terrakottaplastik, die in Ägypten eine für das römische Reich alleinstehende Blüte erlebte.¹²⁴ Freilich lassen sich ästhetische Normen für diese wohlfeile, Massenartikel produzierende Kunstgattung kaum anwenden, wer aber in ihre bunte Welt eingedrungen ist, kann nicht mehr daran zweifeln, daß sie wirklich die Kunst der breitesten Volksschichten war. Ihre Werke finden sich auch im kleinsten Dorf und in der bescheidensten Hütte, und sie erfüllten mit den übrigen volkstümlichen Stücken der Kleinkunst dieselbe Rolle, wie sie die Kleinkunst des früheren Ägyptens und der griechisch-römischen Welt an ihrem Platz erfüllte. Diese Massenartikel bieten nicht nur der Ikonographie, sondern auch der Stilgeschichte ein unererschöpfliches Quellenmaterial, da sich in ihnen die provinzielle Formwelt ausgestaltete, die in den spätrömischen Jahrhunderten an die Stelle der ägyptischen und klassischen Kunst trat.¹²⁵

Die griechische Kunst suchte nicht nur inhaltlich sondern auch formell die ägyptische zu rezipieren. Wir kennen, wenn auch in geringerer Zahl, aber um so charakteristischere Beispiele von Werken, die offenkundig von griechi-

¹²¹ Ge — Isis. Textilmedaillon. Leningrad, Eremitage Inv.-nr. 11440. Koptische Kunst. Ausstellung Essen 1963. Katalog Nr. 266.

¹²² Taf. VI. 2: Entführung der Persephone, auf der rechten Seite ägyptische Anubisfigur. Grabrelief aus Terenuthis. ZAKI ALY: Some Funerary Stelae from Kom Abou Bellou. BSAA 38 (1949) 72 ff., Taf. VIa. — Taf. X. 4: Bes und Besit. Terrakotta. Leningrad, Eremitage, Ägypt. Abt. Inv.-nr. 3177. — Vgl. L. CASTIGLIONE: Griechisch-ägyptische Studien. Acta Ant. Hung. 5 (1957) 220 ff.

¹²³ Kochende Frau mit Kind. Terrakotta. P. PERDRIZET: Les terres-cuites. Coll. Fouquet. Nancy 1921. Nr. 55. Taf. LXXV, 2.

¹²⁴ V. SCHMIDT: De graesk-ägyptiske terrakotter i Ny Carlsberg Glyptothek. Kjøbenhavn 1911; W. WEBER: Die ägyptisch-griechischen Terrakotten. Berlin 1914; C. M. KAUFMANN: Graeco-ägyptische Koroplastik. Leipzig 1915; P. PERDRIZET: Les terres cuites grecques d'Égypte de la Collection Fouquet. Nancy 1921; J. VOGT: Exp. E. Sieglin. II. 2. Terrakotten. Leipzig 1924; E. BRECCIA: Terrecotte figurate greche e greco-egizie del Museo di Alessandria. I—II. Bergamo 1930—34; W. DEONNA: Terres cuites gréco-égyptiennes, Genève, Musée d'Art et d'Histoire. Rev. Arch. 1934; P. GRAINDOR: Terres cuites de l'Égypte gréco-romaine. Antwerpen 1939; W. D. VAN WIJNGAARDEN: De grieks-egyptische terracotta's in het Rijksmuseum van Oudheden. Leiden 1958.

¹²⁵ E. KITZINGER: Notes on Early Coptic Sculpture. Archaeologia 87 (1938) 202 ff.

schen Meistern in ägyptischem Stil hergestellt wurden. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß diese ägyptisierende Kunst¹²⁶ ausschließlich in Alexandrien vorkam, und weniger eine volkstümliche als eher eine vornehme Kunstgattung war, die ausgesprochen jenen Griechen und Römern galt, die sich aus religiösen oder ästhetischen Gründen an die gekünstelt reproduzierte ägyptische Formenwelt angezogen fühlten. Die Reliefs von Kom el Schukafa (Taf. VI. 4)¹²⁷ und die Grabgemälde von der Straße Tigrane Pascha (Taf. XIII. 2)¹²⁸ verraten ebenso die Ägyptisierung wie die Tauschiermuster von Mensa Isiaca¹²⁹ oder der Bronzekanne von Egyed (Taf. XI. 4).¹³⁰

An letzter Stelle haben wir die lehrreichste Mischform gelassen, die wir in Ermangelung eines besseren Wortes als Zwitterstil bezeichnen können.¹³¹ Die vielen Werke dieser hybriden Richtung gehören ausschließlich zur sepulkralen Kunst. Ihr Wesen besteht darin, daß die Götterbilder, die Symbole, der dekorative Rahmen und das ganze Kunstwerk in traditionellem ägyptischem Stil geformt wurde, und in diesem Rahmen nur die Gestalt oder das Porträt des Toten in griechisch-römischer Manier dargestellt ist. Auf den Totenstelen führt Anubis eine in griechischem Typ dargestellte Gestalt vor Osiris (Taf. XVII. 4),¹³² dasselbe sehen wir auch auf einem Teil der Mumienhüllen (Taf. XIII. 3),¹³³ der Grabgemälde (Taf. XII. 3)¹³⁴ und der Sargbilder (Taf. XIV. 3).¹³⁵ Die Kartonage-Särge, die zur herrschenden Art der Mumienhüllen wurden, geben die anthropomorphe Ausbildung nicht mehr in der Gestalt der alten Mumie, sondern in der Form einer griechisch angekleideten Gestalt (Taf. IV. 3).¹³⁶ Auf den mit Göttergestalten und Symbolen in ägyptischem Stil geschmückten Mumienhüllensitz eine hellenistische Stukkomaske (Taf. XIII. 4)¹³⁷

¹²⁶ A. ADRIANI: *Annuaire du Musée Gréco-Romain* III. 1940/1950. 47 ff.

¹²⁷ Detail aus den Reliefs des Hypogaeum von Kom el Schukafa. Vgl. Fr. W. v BISSING in Th. SCHREIBER, *Exp. Sieglin I*. Leipzig 1918.

¹²⁸ A. ADRIANI: *Ipogeo dipinto della Via Tigrane Pascia*. Bull. Soc. Arch. Alex. 41 (1956) 1 ff. — Taf. XIII. 2: a. W. Taf. II/2.

¹²⁹ E. SCAMUZZI: *La «Mensa Isiaca» del Regio Museo di Antichità di Torino*. Roma 1939.

¹³⁰ V. WESSETZKY: *Die ägyptischen Kulte zur Römerzeit in Ungarn*. Leiden 1961. 42 ff.

¹³¹ L. CASTIGLIONE: *Dualité du style dans l'art sépulcral égyptien à l'époque romaine*. Acta Ant. Hung. 9 (1961) 209 ff.

¹³² Grabstele, vermeintlich aus Oxyrhynchos. Kunsthandel. J. M. EISENBERG: *A Catalog of Late Egyptian and Coptic Sculptures*. New York 1960. Nr. 28. — Vgl. L. CASTIGLIONE: a. W. 214 ff.

¹³³ Mumienhülle, Moskau, Puschkine-Museum. S. MORENZ: *Das Werden zu Osiris*. Staatl. Mus. Berlin. Forschungen und Berichte. I. 1957. 68 f.; H. ZALOSER: a. W. S. 64, Abb. 3; K. PARLASCA: *ZDMG* 111 (1961) 381. — Vgl. L. CASTIGLIONE: a. W. 221 f.

¹³⁴ Detail eines Wandgemäldes aus Grabgebäude Nr. 21 der Nekropole von Tuna el-Gebel. L. CASTIGLIONE: a. W. 212 f., Abb. 2.

¹³⁵ Detail vom gemalten Ornament eines Totenbettes. Toronto, Royal Ontario Museum. W. NEEDLER: a. W. Taf. X. — Vgl. L. CASTIGLIONE: a. W. 214.

¹³⁶ Kartonagensarg aus Abusir el Melek, Berlin, Ägypt. Mus. 16800. V. SCHMIDT: *Sarkofager etc.* 1919. S. 214, Abb. 1395. — Vgl. L. CASTIGLIONE: a. W. 224 ff.

¹³⁷ Stukkmaske von einer Mumienhülle. Kairo, Ägypt. Mus. C. C. EDGAR: *Græco-Egyptian Coffins, Masks and Portraits*. Cat. Gén. Cairo 1912. Nr. 33130; V. SCHMIDT: a. W. Nr. 1377, 1379. — Vgl. L. CASTIGLIONE: a. W. 229 ff.

und die gemalten Mumienporträts, die, aus ihrem ursprünglichen Platz herausgehoben, zu den wertvollen Denkmälern der klassischen Malkunst zählen, gehörten zu Mumien, die mit ägyptischer Dekoration überzogen waren (Taf. IV. 2).¹³⁸ Das Erscheinen der Typen und Formen der beiden Kunstwelten auf ein und demselben Objekt beleuchtet am schärfsten das Wesen und die Grundtendenz der Kunst des römerzeitlichen Ägyptens. Die sepulkralen Werke im Zwitterstil bezeugen, daß für die Mittelschichten, ebenso wie für die ureingebohrenen Ägypter bei der Darstellung des Alltagslebens und des Menschenbildes schon die mehr oder minder provinzielle Ausdrucksweise der griechisch-römischen Kunst als natürlich erschien, bei den sakralen Darstellungen aber, die das Leben im Jenseits sicherstellen sollten, gleichzeitig noch der ägyptische Stil heilig und unantastbar war.

Die Welt der griechisch-ägyptischen Provinzialkunst bezeugt, daß die vereinfachte und dem unmittelbaren Ausdruckswillen angepaßte, expressiv werdende griechisch-römische Koine die Kunstsprache war, die schon jeder als sein Eigen fühlte und mit der die mit dem Alltagsleben verflochtene volkstümliche Religion ebenso einen adäquaten Ausdruck fand, wie das Bild des Menschen und seiner engeren Welt. Die konservative ägyptische Kunst hatte nur mehr sakrale Bedeutung, die zwar unerschütterlich war, solange sich die alten Heiligtümer betätigten und der osirianische Jenseitsglaube in Geltung blieb, aber zur Sprache der Kunst, die die Wirklichkeit des Lebens ausdrückte, war die mit ägyptischen Traditionen gefärbte und zu einem provinziellen Dialekt gestaltete griechisch-römische Koine geworden. Dies ist eine völlig neue Erscheinung. In der Ptolemäerzeit umfaßte die ägyptische Kunst noch die Ganzheit des Lebens, erwies sich noch einer organischen Entwicklung fähig und war fest in den Ansprüchen der Mehrheit der Gesellschaft verwurzelt. Die wichtigste geschichtliche Änderung des kaiserzeitlichen Ägyptens ist also darin zu erblicken, daß neben der Symbiose und dem Nebeneinander der beiden einander fremden Kunstwelten, in Begleitung von Vermischungsvorgängen verschiedener Richtungen und Arten, die provinziellen Abart der orientalisch gefärbten griechisch-römischen Kunst zur allgemeinen Kunstsprache der Provinz geworden war.

Die Stilentwicklung der provinziellen Kunst kann auch die Gegenüberstellung von zwei Terrakotta-Statuetten veranschaulichen. Die zur Zeit des Späthellenismus oder in der frühen Kaiserzeit entstandene Komödien-Figur (Taf. X. 1)¹³⁹ entnahm nicht nur den Typ der spätklassischen griechischen Kunst, sondern bewahrte auch deren plastische Sprache. Die Statuette aus dem

¹³⁸ Mumie des Artemidoros aus Hawara. London, British Museum Inv.-nr. 21810. Handbook to the Egyptian Mummies and Coffins in the British Museum. London 1938. 13, Taf. VI; V. SCHMIDT: a. W. Nr. 1427. — Vgl. L. CASTIGLIONE: a. W. 229 f.

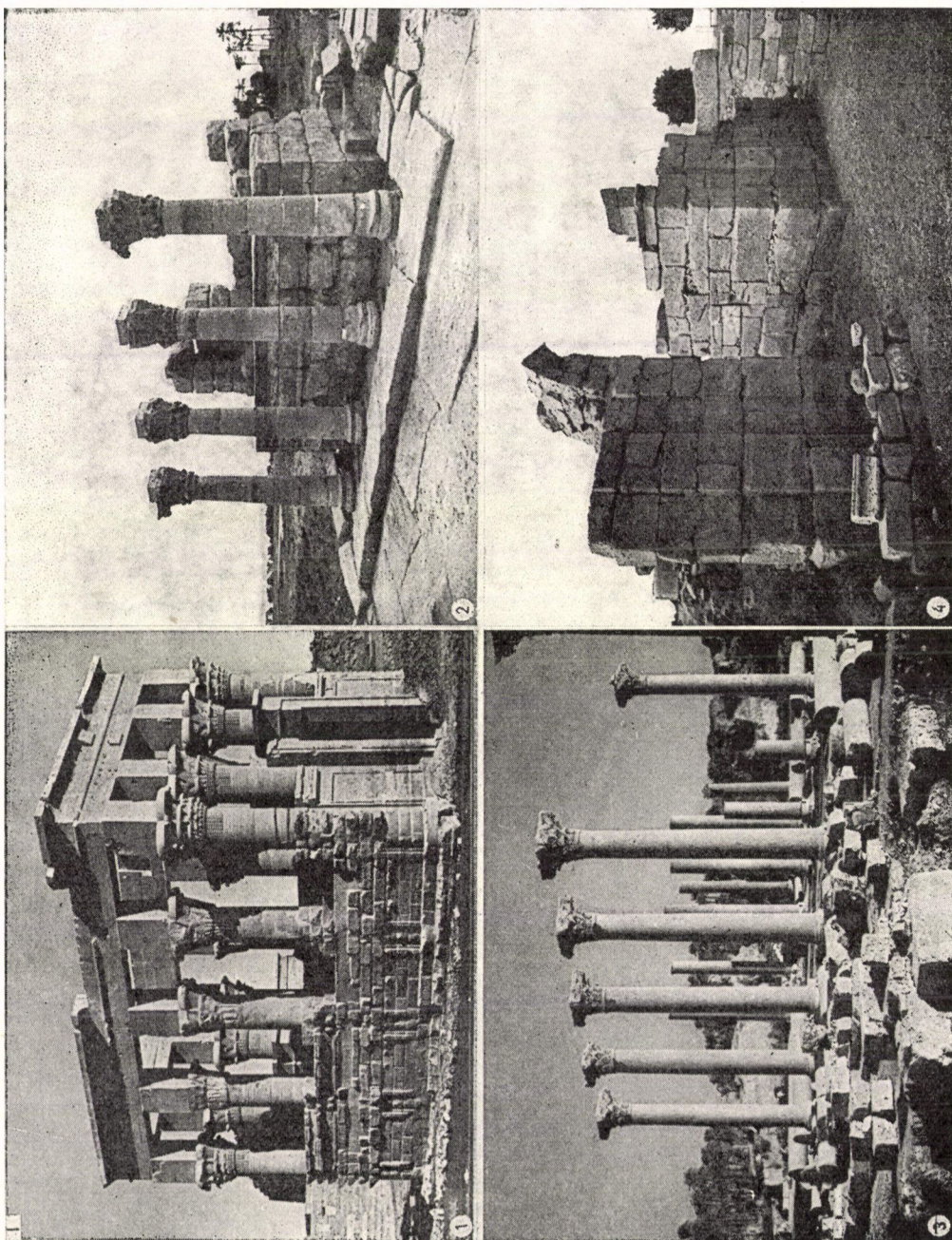
¹³⁹ Komödiant, Terrakotta. Heidelberg, Arch. Inst. d. Univ. B. NEUTSCH: Die Welt der Griechen im Bilde der Originale der Heidelberger Universitätsammlung. Heidelberg 1948. S. 61, Nr. 11.

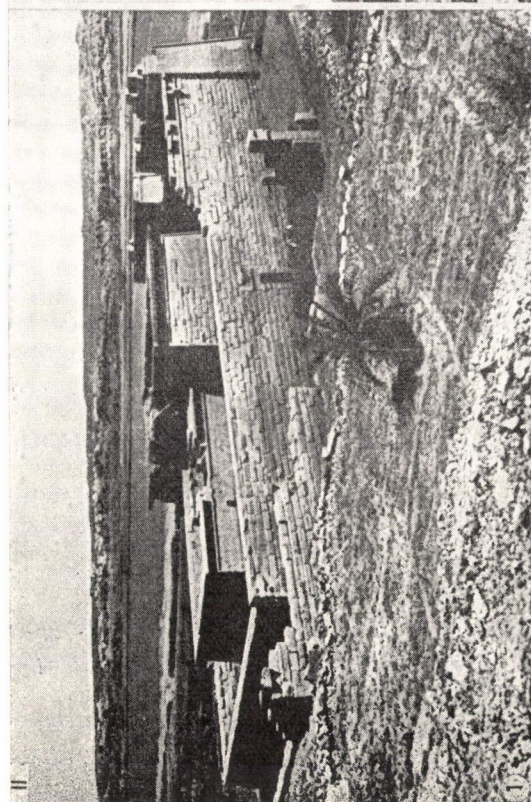
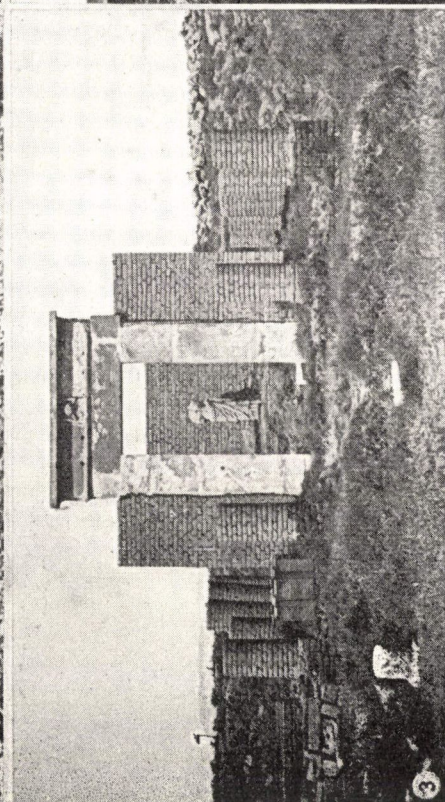
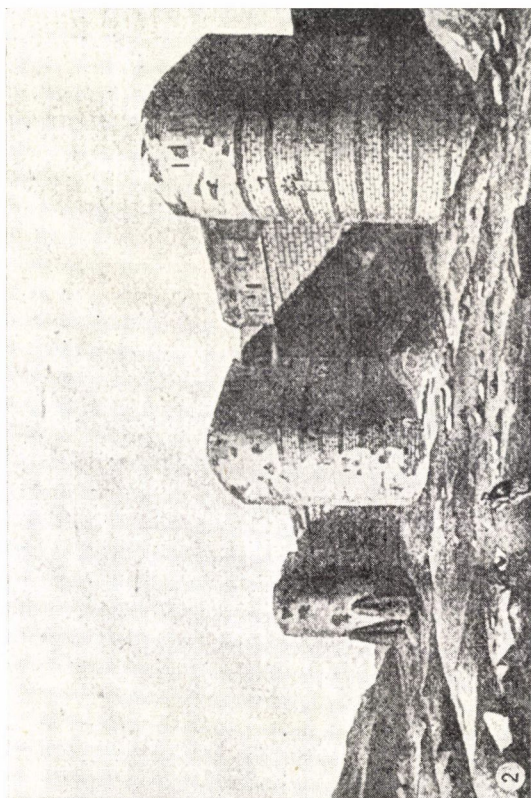
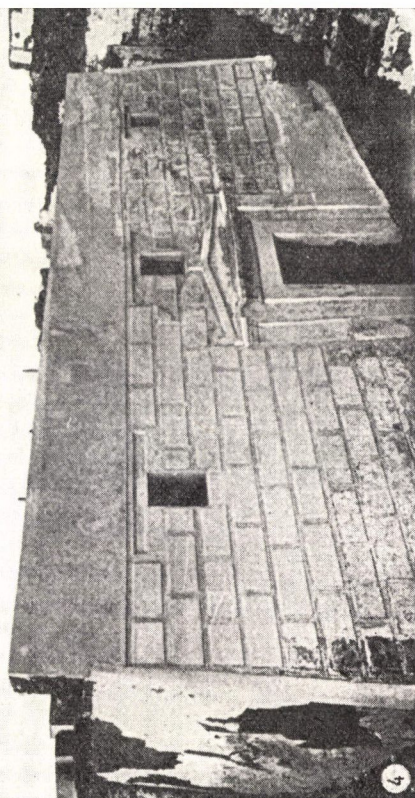
III—IV. Jahrhundert, die einen Zirkusdiener darstellt (Taf. V. 4),¹⁴⁰ ist demgegenüber mit ihrer starren frontalen Stellung, mit ihrer einansichtigen Komposition, ihrer linearen Oberflächenbehandlung und den mächtigen, weitgeöffneten Augen ein charakteristisch provinzielles Beispiel der spätantiken Kunst. Eine ungefähr gleichzeitige Terrakotte (Taf. X. 3)¹⁴¹ vereinigt die gleichen Züge mit ägyptischen Inhalts- und Kompositionselementen und bietet zugleich ein Beispiel dafür, daß die Alltagssprache der spätrömischen Kunst in Ägypten die Elemente beider Traditionen ohne Dissonanz zusammenfassen konnte. Die Einheit der ägyptischen Kunst bildete sich in der Zeit nach der Herrschaft Diokletians aus, als die rechtlichen Unterschiede zwischen der griechischen und ägyptischen, der städtischen und ländlichen Bevölkerung aufhörten; der byzantinisch geartete Staat warf auf jeden Untertanen die Steuer nach gleichem Schlüssel aus und, abgesehen von der verschwindenden Minderheit der Magnaten, kam die Bevölkerung des Landes staatsrechtlich auf den gleichen Nenner. Die griechisch gebildete Herrscherschicht der Metropolen ging endgültig zugrunde, das städtische Leben schrumpfte zusammen, die Bauern hingegen galten als Eigentümer des Bodens, den sie bearbeiteten. So verloren sowohl die in der städtischen Lebensform verwurzelte griechische Kunst als auch die auf das staatliche Grundeigentum gegründete ägyptische Kunst den Boden unter den Füßen. Die gemeinsame Kunstsprache, die mit dem IV. Jahrhundert in Ägypten endgültig zur Herrschaft kam und die dem altägyptischen Kunststil ebenso fern stand wie dem klassisch-griechischen und die der aufkeimenden koptischen Kunst als Grundlage diente, kam naturgemäß nicht plötzlich, sondern, wie wir sahen, in den Jahrhunderten der Römerherrschaft, unter der Oberfläche zustande. Als mit dem Aussterben der ägyptischen Religion die aus der Zeit der Pharaonen ererbte Kunst endgültig verschwand und die gesellschaftliche Umgestaltung die klassische Stilwelt wegfegte und deren Ausläufer zur Reliquie einer verschwindenden Minderheit geworden waren, nahm eine dritte Kultur und ihre Kunst, die spätantik-byzantinisch-koptische Kunst ihren Anfang.

Budapest.

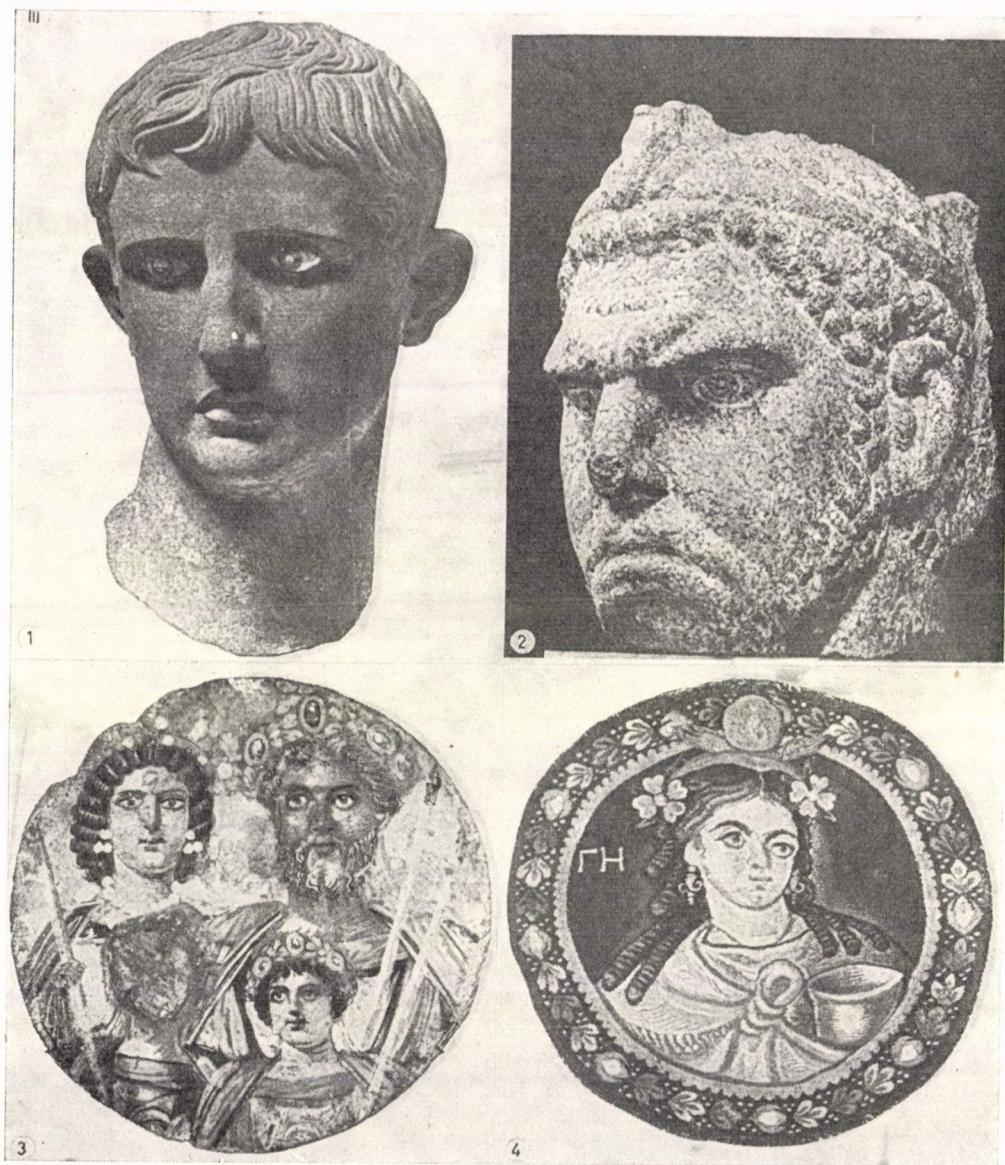
¹⁴⁰ Zirkusdiener, Terrakotta. Budapest, Szépművészeti Múzeum, Inv.-Nr. 60.26. A. W. WEBER: Die ägyptisch-griechischen Terrakotten. Berlin 1914. 196 ff. Nr. 332. Taf. 31; P. PERDRIZET: Les terres-cuites Fouquet. Nancy 1921. Nr. 441; J. VOGT: Terrakotten. Sammlung Sieglin. Leipzig 1924. S. 161 f. Taf. LXXI, 1; Hildesheim, Pelizäus-Museum Inv. Nr. 444.

¹⁴¹ Kriegergott oder Kaiser, auf der Schulter Horus-Falke, hält einen besiegten Barbaren bei den Haaren. Terrakotta. Berlin, Ägypt. Mus. Inv.-Nr. 22737.



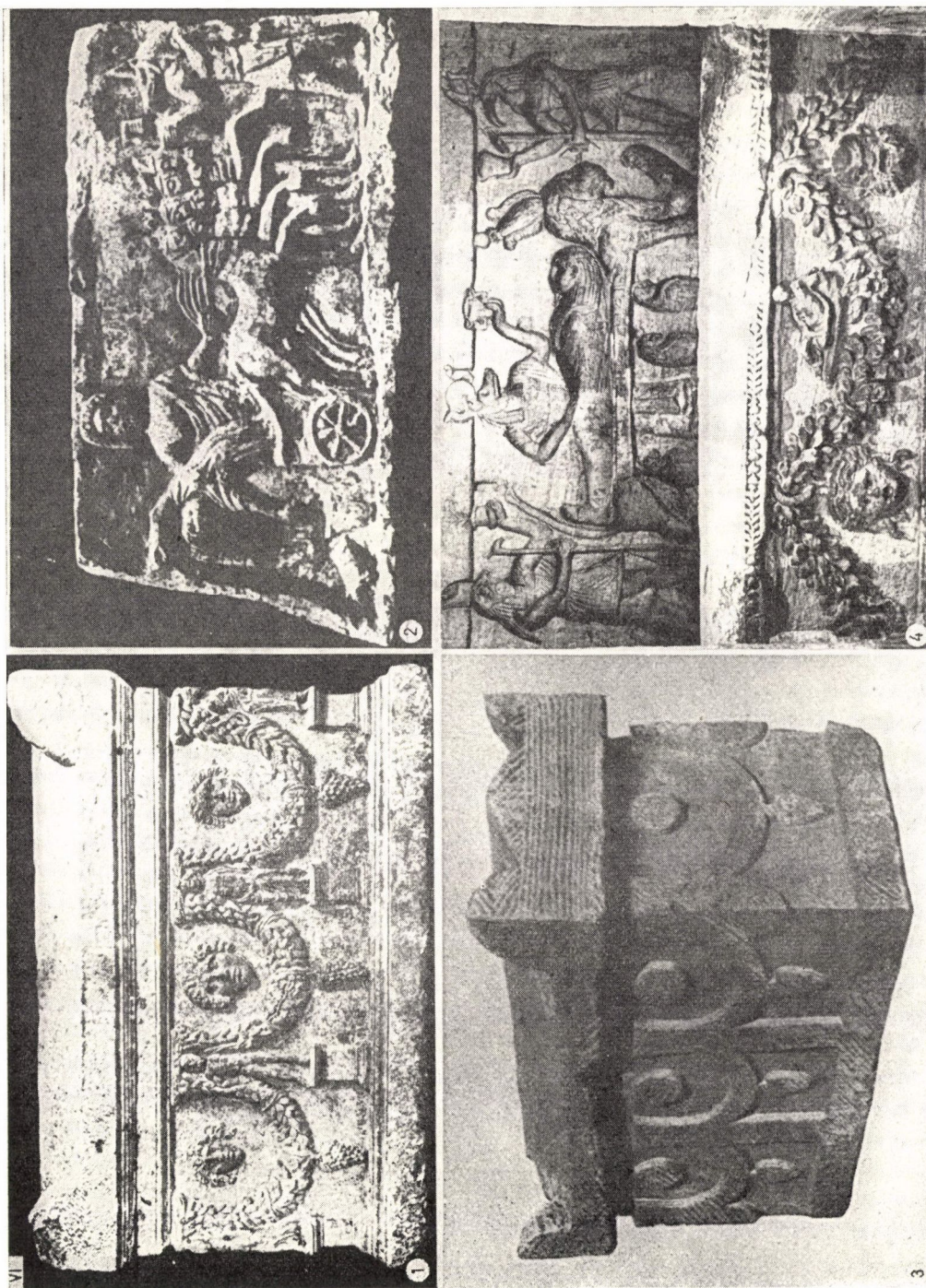


III









VII



VIII



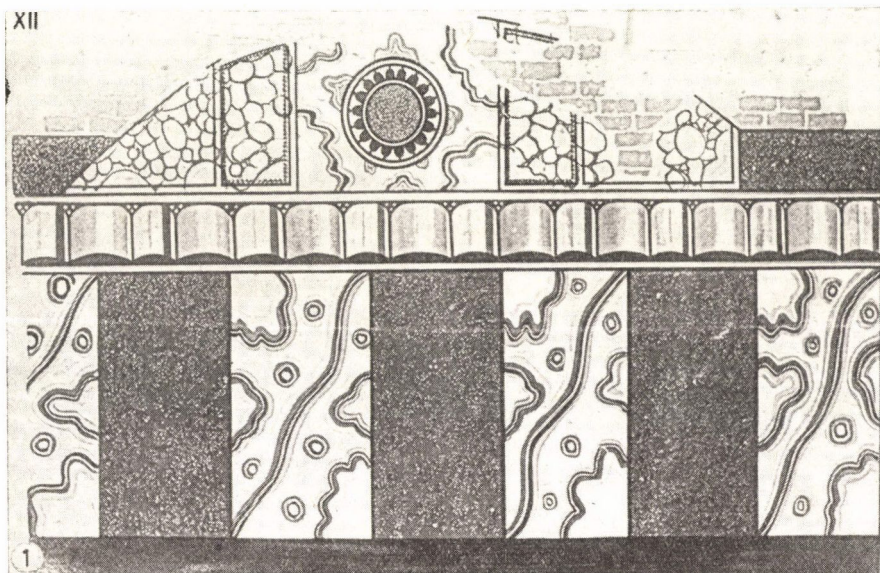


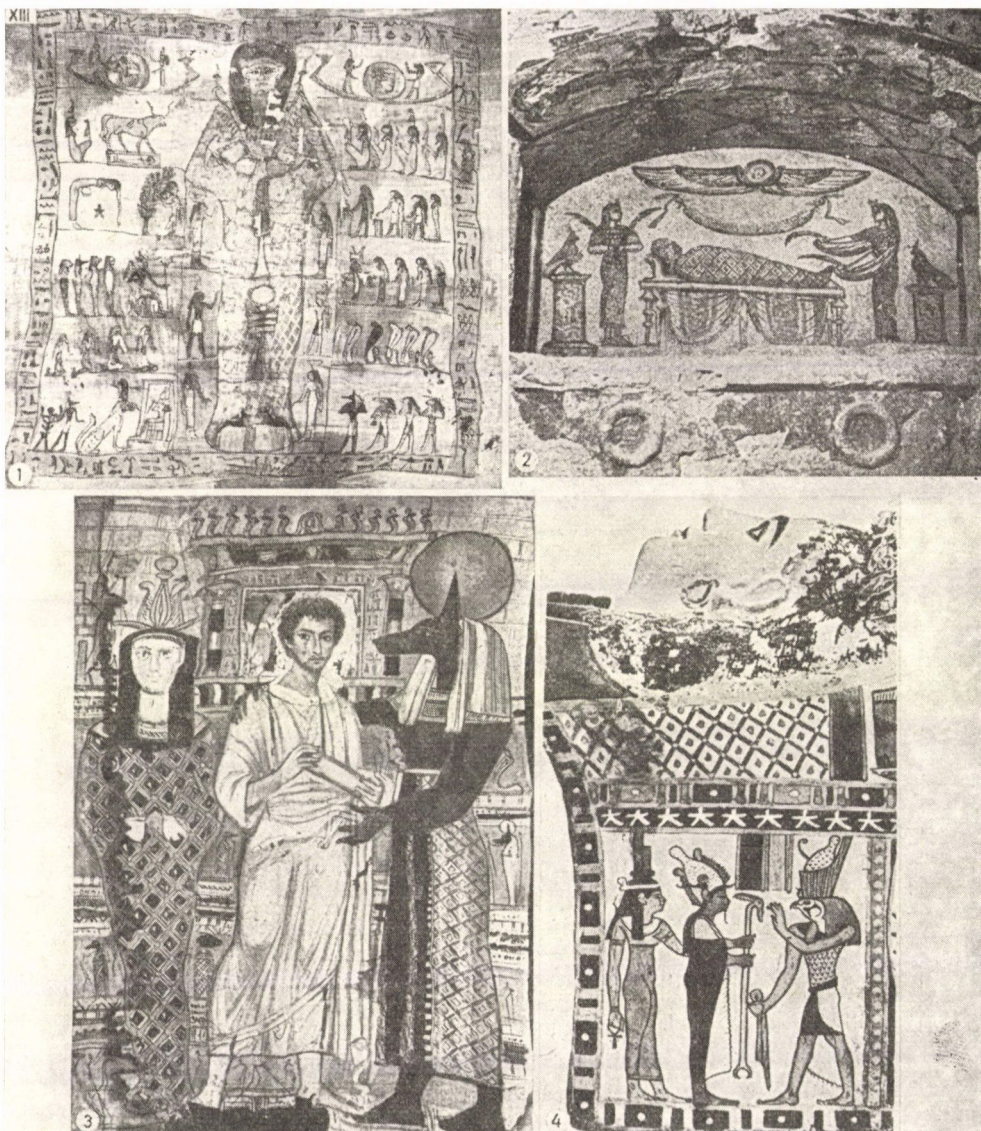
X

X

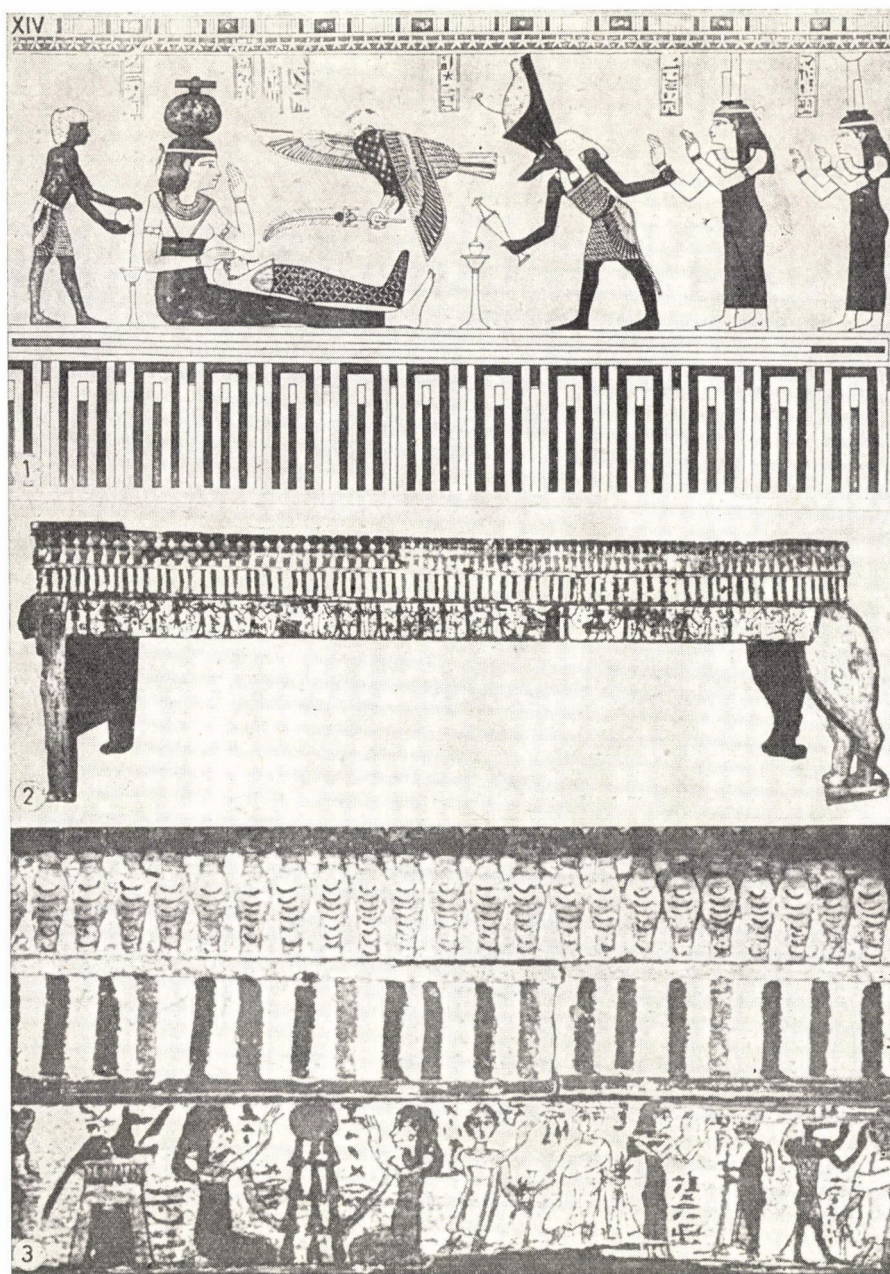




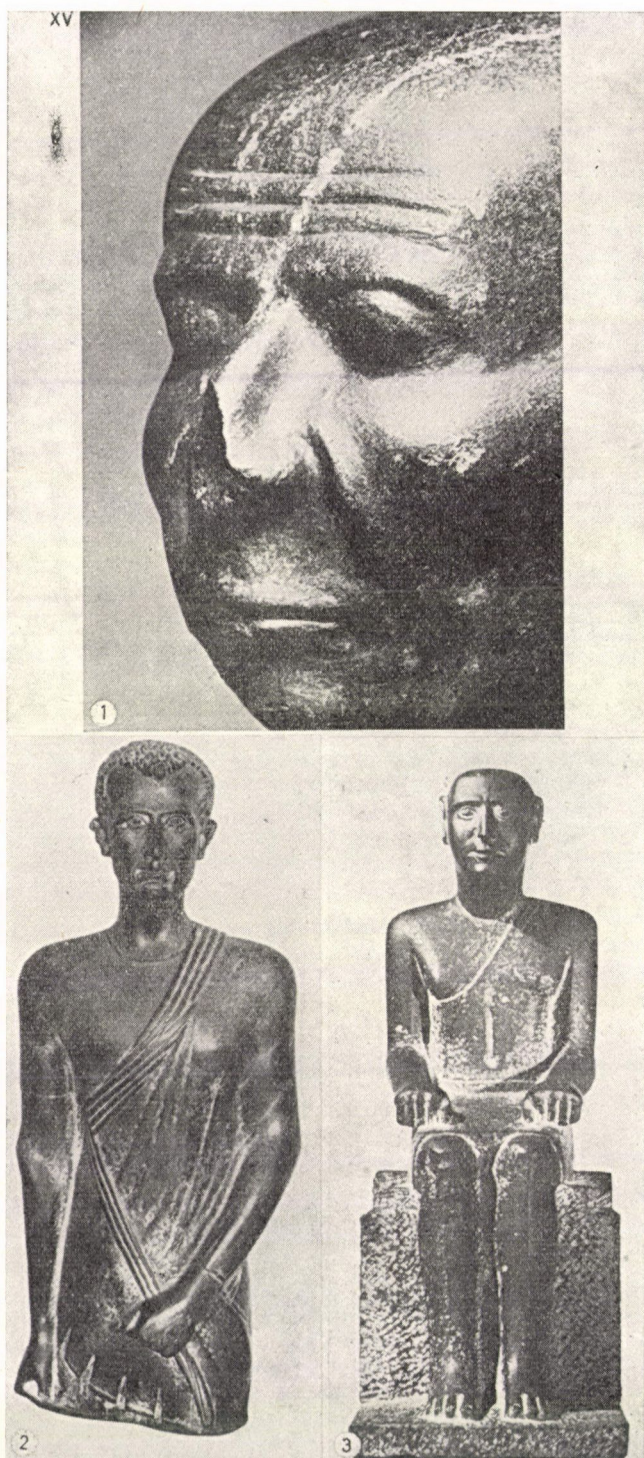




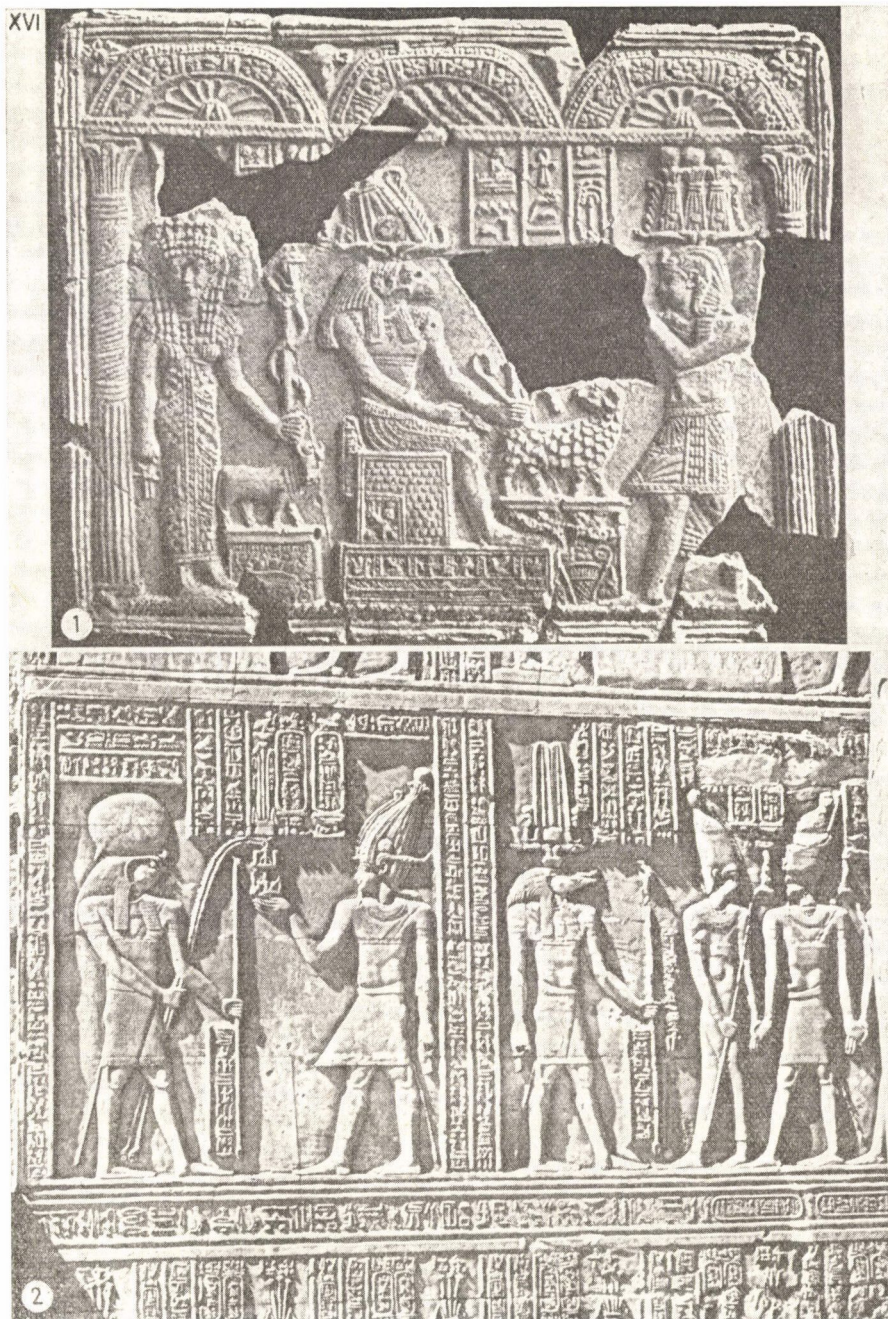
XIV



XV



XVI





XVIII



ZUM RÖMERZEITLICHEN WEITERLEBEN DES THEOGNIS

Die auf das Weiterleben der Dichtkunst des Theognis gerichteten Forschungen sind mit der verwickelten Problematik des Zustandekommens der Theognis'schen Gedichtesammlung und der Authentizität ihrer einzelnen Teile unzertrennlich verbunden. Darin findet z. T. auch der Umstand seine Erklärung, daß die Geschichte des Weiterlebens des Theognis — die zu schreiben W. Aly schon 1934 als wünschenswert bezeichnete¹ —, dem Wesen nach auch noch heute kaum erschlossen ist.

Mit den literarischen Zusammenhängen des Theognis-Corpus und seiner Stellung innerhalb der gnomologischen Überlieferungen beschäftigte sich zuletzt A. Peretti eingehend in einer umfangreichen Monographie.² Perettis späte Datierung der Entstehungszeit des heute verfügbaren Textes (auf das 9. Jh. u. Z.) und die radikalen Schlußfolgerungen, die er hinsichtlich des authentischen Theognis-Materials zog, lösten lebhaften Widerspruch aus und vermochten den Standpunkt jener Forscher, die eine konservativ unitarische Auffassung vertreten, nicht zu erschüttern.³

Wegen der Lückenhaftigkeit der Schrifttumsüberlieferungen stehen den Forschern selbst zur Lösung der grundlegendsten Fragen nur sehr wenig zuverlässige Anhaltspunkte zur Verfügung. Welche erfreuliche Überraschungen, die jedem zu denken geben, der Zufall bei einer solchen Lage der Dinge zu bereiten vermag, dafür bietet der bedeutendste einschlägige Fund der letzten Jahre ein bezeichnendes Beispiel. In den vierziger und der ersten Hälfte der fünfziger Jahre war die Auslegung der auf Zeile 261 folgenden Textstelle des betreffenden Werkes und im Zusammenhang mit ihr natürlich auch die Frage ihrer Authentizität in der internationalen Forschung Gegenstand lebhafter Diskussionen,⁴

¹Theognis, PW—RE V A 1983.

²Theognide nella tradizione gnomologica. Pisa 1953 (Studi class. e orient. IV.).

³S. u. a. VAN DER VALK: Humanitas 7—8 (1955—56) 68 ff. und Einleitung zu D. YOUNG'S Theognis-Ausgabe. Lipsiae 1961. S. XI—XII. Vgl. H. RAHN: Gnomon 28 (1956) 92—102.

⁴Bezügl. der Interpretationsgeschichte s. A. GARZYA: RivFil 34 (1956) 164 ff. Vgl. neuestens B. A. VAN GRONINGEN: Theognis I. Amsterdam 1966, 450—453 (Verhandel. d. Kon. Nederl. Akad. Afd. Letterk. 72: 1.)

die so lang anhielten, bis E. Lobel im XXIII. Band der Oxyrhynchus-Papyri⁵ einen schmalen (höchstens 12 Buchstaben breiten) Papyrusstreifen mit einem Fragment der Theognis-Zeilen 254—278 in der traditionellen Reihenfolge veröffentlichte. Dieses erste in Ägypten aufgefundene, spätestens aus dem 2.—3. Jahrhundert stammende Theognis-Fragment bewies, daß unser traditioneller Text von der Arbeit der Jahrhunderte später lebenden Anthologie-Verfasser (Stobaios und andere) vollkommen unabhängig ist, warf aber zugleich auch Perettis These über den Haufen. Die diesbezügliche Bedeutung des Fundes hoben seitdem erklärlicherweise mehrere Forscher hervor⁶ und auch unter jenen, die früher Perettis Auffassung teilten, berichtigten manche neuerdings ihren Standpunkt.⁷

Bei der Beurteilung des durchdachten Aufbaus des Werkes und der vom Autor bewußt verfolgten Absicht spielen die Zeilen 237—254, der sog. Kynos-Epilog, eine maßgebliche Rolle. Bezüglich der Originalität dieser in kompositionellen Belangen so wichtigen Distichen gehen die Ansichten der Forscher gleichfalls auseinander.⁸

Zu diesem Problem möchten wir im folgenden auf Grund einer schon seit längerem veröffentlichten kleinasiatischen Inschrift aus dem ersten Drittel des 3. Jahrhunderts u. Z. einen Beitrag liefern. Der Zusammenhang entging unseres Wissens der Aufmerksamkeit der Epigraphen. Demzufolge übergeht die Theognis-Philologie bis heute noch diese Angabe, die u. E. schon hinsichtlich des römerzeitlichen Weiterlebens unseres Dichters recht bemerkenswert ist und zur Entscheidung der Authentizität des Epilogs zum Kynos-Buch einen Anhaltspunkt zu bieten vermag.

1. Als ich beim Sammeln von Inschriften agonistischen Inhalts⁹ das von R. Heberdey und E. Kalinka noch Ende des vorigen Jahrhunderts als Ergebnis ihrer kleinasiatischen Sammlertätigkeit veröffentlichte Material durcharbeitete,¹⁰ wurde ich auf einen im nordlykischen Oinoanda¹¹ zum Vorschein gelangter *titulus honorarius* (n. II. 65, S. 49—50) aufmerksam, der die Verdienste des

⁵ London 1956, Nr. 2380.

⁶ Beispielsweise A. LUPPINO: RivFil 35 (1957) 234. A. LESKY: Geschichte der griech. Literatur.² Bern—München 1963. 196. H. RAHN: Gnomon 36(1964) 562.

⁷ Wie J. CARRIÈRE: REG 75 (1962) 37 ff. PERETTI versucht seinerseits die Bedeutung des Papyrusfundes zu vermindern, dabei verteidigt er seinen Standpunkt gegen die Folgerungen von RAHN und CARRIÈRE ungewöhnlich scharf (Maia 19 [1967] 114—154).

⁸ Einen positiven Standpunkt vertreten neuerdings u. a. G. MÉAUTIS: LEC 51 (1949) 16 ff. A. R. BURN: The Lyric Age of Greece, New York 1960, 262—264. — H. FRÄNKEL: Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums.² München 1962, 461. Einen negativen Standpunkt nehmen J. CARRIÈRE: REA 52 (1950) 11 ff. und A. PERETTI: op. cit. 19. 339 ein. Zurückhaltend äußert sich B. A. VAN GRONINGEN: Verhandl. der Kon. Nederl. Akad. Afd. Letterk., Amsterdam 65(2) 1958, 173. ff.

⁹ Vgl. Acta Ant. Hung. 14 (1966) 363 ff.

¹⁰ Bericht über zwei Reisen im südwestlichen Kleinasien. Denkschrift d. Kais. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 45 (1897) 1.

¹¹ Bezügl. Oinoanda s. neuerdings D. MAGIE: Roman Rule in Asia Minor. Princeton 1950. I. 241—242, 516, 521—522; II. 1122, 1370.

mit dem Attribut *φιλόπατρις* und anderen schmückenden Beiwörtern geehrt-ten [*Ιού*]λιος¹² Λούκιος Πείλιος Εὐάρεστος aus dem Anlaß zu verewigen sucht, daß dieser durch seine Stiftung die Abhaltung von Wettspielen in den griechischen Städten Lykiens alle fünf Jahre ermöglichte.¹³ Die letzten vier Zeilen der Inschrift (Z. 16–19) lauten folgendermaßen:

Ὡς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ἀπολεῖς
κλέος, ἀλλὰ μεγ' οἴσεις ἄ-
φθιτον ἀνθρώποις αἰὲν ἔχων
ὄνομα.

Die Veröffentlichung der Inschrift knüpfen an diesen Textteil keinerlei Bemerkung, obwohl der rhythmisch melodiose, gefeilte Text mit Recht Aufmerksamkeit verdient, zumal diese vier Schlußzeilen der Inschrift ein regelrechtes Distichon ergeben:

Ὡς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ἀπολεῖς κλέος, ἀλλὰ μεγ' οἴσεις
ἄφθιτον ἀνθρώποις αἰὲν ἔχων ὄνομα.

In ähnlicher Fassung findet sich die Verheißung unvergänglichen Nach-ruhms in der Odyssee (24, 93–94):

ὥς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ' ὤλεσας, ἀλλὰ τοι αἰεὶ
πάντας ἐπ' ἀνθρώπους κλέος ἔσσεται ἐσθλόν Ἀχιλλεῦ . . .

Sowohl in textlichen als in metrischen Belangen steht aber das Epi-gramm den Zeilen 245–246 des Theognis näher:

. . . οὐδέποτε' οὐδὲ θανὼν ἀπολεῖς κλέος, ἀλλὰ μελήσεις
ἄφθιτον ἀνθρώποις αἰὲν ἔχων ὄνομα . . .

Das Distichon der Inschrift weicht von den hier zitierten beiden Zeilen des Kyrnos-Epilogs¹⁴ nur an zwei Stellen ab (*οὐδέποτε' ~ ὥς σὺ μὲν* und *μελήσεις ~ μεγ'οἴσεις*). Die Anfangsworte *ὥς σὺ μὲν* bilden eine — allenfalls von Homerischen Reminiszenzen beeinflusste — vollkommen logische, offenbar gelegentliche Variante, mit der der feierliche Abschluß organisch an die voran-

¹² Bezügl. der Namenform s. S. 156. und Anm. 17 bzw. S. 158. und Anm. 25.

¹³ Zeile 6–12: . . . ἐξ ἰδίας δωρεᾶς καὶ φι|λ|λοτειμίας πρῶτον τῶν ἐν|τῇ πατρίδι σπαστησάμενον| ἀγῶνα κοινὸν Ἀνκίων θέμιδος πενταετηρικῆς ἐκ τε ἀνδριάντων καὶ θεμάτων, ποιη|σάμενον . . . Vgl. B. LAUM: Stiftungen in der griech. und röm. Antike (Neudruck). Aalen 1964. II. S. 130. Anm. 2. Hinsichtlich der begrifflichen Bestimmung des κοινὸν Ἀνκίων s. D. MAGIE: op.cit. I. 533 und II. 1311, n. 59.

¹⁴ In ungarischer Übersetzung von T. SZEPESY in der vom Übersetzer betreuten Anthologie griechischer Dichter erschienen. Budapest (Europa Verlag) 1959, 130–131. An dieser Stelle möchte ich dem namhaften Gräzisten für seine freundl. Hilfe meinen Dank aussprechen.

gehende konkrete Würdigung anknüpft. Die zweite Wortänderung *μελήσεις ~ μεγ'οῖσεις* wirkt gleichfalls keineswegs störend, zumal die Textüberlieferung der betreffenden Stelle bei Theognis mehrere Varianten aufweist, beispielsweise: *οὐδὲ τε λήσεις, οὐδὲ γε λήσεις*.

2. Die nächste Aufgabe ist die Datierung der Inschrift. Wie in ganz Kleinasien kam es im Zuge der Romanisierung auch in Lykien zur Einbürgerung der in Rom beliebten verschiedenen Spiele und Vorführungen, u. a. der Gladiatorenkämpfe, doch hielt man neben diesen auch an den traditionellen griechischen leichtathletischen und musikalisch-dichterischen Wettkämpfen fest. Unter diesen gab es gemeinsame Veranstaltungen für die hellenisierten Städte, wie etwa die hier erwähnte Stiftung, sowie Veranstaltungen lokalen Charakters. Sie fanden in regelmäßigen Zeitabständen statt (jährlich, alle zwei oder vier Jahre) und wurden nach ihrem Stifter oder nach dem Kaiser benannt, zu dessen Ehren oder zu dessen Gedenken sie gegründet wurden. Zuweilen erhielten sie beide Namen.

Auch Oinoanda besaß äußerst bemerkenswerte agonistische Überlieferungen. Die Beziehungen der Stadt zu Rom wurden zu Neros Zeiten enger geknüpft und bald danach wurden die alle vier Jahre zu veranstaltenden «Isolympia¹⁵ Vespasianeia» gegründet. Nach der Mitte des 2. Jahrhunderts stiftete ein gewisser Meleager die nach ihm benannten Meleagrischen Spiele (Meleagrea)¹⁶.

Bezüglich der Datierung obiger Inschrift und der Zeit der in ihr verewigten Stiftung findet sich bei Heberdey und Kalinka, die den Text veröffentlichten, keinerlei Hinweis. Auch anhand des Stifternamens allein läßt sich das Datierungsproblem umso weniger lösen, da der Name in der ersten Publikation noch auf *[A]λιος* ergänzt wurde, während sich aus anderen Angaben ganz zweifellos die Lesart *[Ἰού]λιος* ergibt.¹⁷

Zum Glück kommt der Name Euarestos auch noch anderswo vor, wobei es sich zweifellos um ein und dieselbe Person handelt. Vor allem in fünf an Ort und Stelle vorgefundenen und miteinander zusammenhängenden Inschriften mit ähnlichem Text, die zur Siegerehrung in den von ihm gestifteten Wettspielen angefertigt wurden.¹⁸ Neben dem Stifternamen und der Verewigung der Stiftung enthalten die Inschriften auch die Benennung der Spiele, auf Grund

¹⁵ Bezügl. des Begriffs s. Acta Ant. Hung. 14 (1966) S. 366 und Anm. 32 mit weiterer Literatur.

¹⁶ Vgl. D. MAGIE: op. cit. I. 534—536; II. 1392 (n. 63) und 1390 (n. 57).

¹⁷ Später (1934) schrieb auch schon HEBERDEY ohne irgendeine Berufung oder näheren Hinweis Iulius (PW—RE V A. 778, s. v. Termessos). — E. ZIEBARTH übernimmt in der Zeitschr. f. vergl. Rechtswiss. 16 (1903) 295 erklärlicherweise noch die Lesart Ailios, seltsam mutet es hingegen an, daß W. RUGE auch weiterhin an «Ailios» festhält (PW—RE XVII. 2233, s. v. Oinoanda), noch dazu unter Berufung auf Inschriften, in denen der Name Ἰούλιος gut leserlich vorkommt. S. folgende Anm.

¹⁸ S. BCH 10 (1886) S. 229—234, n. 9—13; zur Identifizierung der Stelle s. ebenda S. 216. (M. HOLLEAUX—P. PARIS); vgl. a. a. O. 24 (1900) S. 342, n. 6 (G. COUSIN) und IGR III. S. 187, n. 497 (R. CAGNAT).

derer sich sowohl diese Inschriften als auch die uns unmittelbar interessierende datieren lassen. Die für uns hier maßgebliche Stelle¹⁹ der in der Reihenfolge ersten Inschrift (n. 9) lautet folgendermaßen (3—12):

²Αγωνοθεοῦντος | διὰ βίου²⁰ . . . Ἰουλίον Λουκίον Πειλίον Ἐδαρέσ|του πανη-
γύρεως πρῶ|της Σενηρείων [Ἀλεξ|ανδρείων] Ἐναρσετέ|ων ἥς αὐτὸς συνέ-
στησατο . . .

In der mit Punkten bezeichneten Textlücke stand ursprünglich noch ein Wort, das nachträglich in allen fünf Inschriften gelöscht wurde. Wie Holleaux und Paris feststellten (S. 229) handelte es sich dabei um das Wort Ἀλεξανδρείων, so daß der einstige vollständige Name der Spiele Σενήθεια Ἀλεξάνδρεια Ἐδαρέστεια lautete. Die Löschung des Namens war eine Folge der *damnatio memoriae* des ermordeten Kaisers Alexander Severus, dessen Name hierauf aus allen öffentlichen Inschriften getilgt wurde.²¹ Folglich lassen sich die Stiftung der Spiele, mithin auch die Entstehungszeit der letztgenannten Inschriften und die weiter oben besprochene Inschrift mit dem Theognis-Zitat auf die Regierungszeit Kaiser Alexander Severus' (222—235 u. Z.) datieren.

3. Über den konkreten Anlaß zur Stiftung der Spiele erteilen uns die Inschriftentexte keinen unmittelbaren Aufschluß. Bringt man aber die Wörter γραμματικὸν ἀλει|τρ|ούργον in der 2. und 3. Zeile jener Inschrift, die den Ausgangspunkt und das Ziel unserer Untersuchungen bildete, mit der Würde des γραμματεῦς Λυκίων²² in unmittelbaren Zusammenhang, liegt die Vermutung nahe, daß die Stiftung vielleicht mit der Verleihung dieser Würde verbunden war. Es kam nämlich öfters vor, daß Bürger kleinasiatischer griechischer Städte aus Dankbarkeit und zur Erinnerung an eine eben erlangte höhere Würde Wettspiele stifteten.²³ Dies war der Fall beispielsweise bei C. Iulius Demosthenes, der gelegentlich seiner Erhebung zum Rang des ἀρχιερεῦς τῶν [Σεβασ]τῶν καὶ γραμματεῦς Λυκίων | τοῦ κοινοῦ zu Ehren Vespasians Spiele veranstaltete.²⁴

¹⁹ Für die Bedeutung der Wettspiele mag es bezeichnend sein, daß der in n. 13 erwähnte Sieger des Jugend-Ringkampfes schon früher in den Olympischen, Pythischen und Actiuner Wettkämpfen als Sieger hervorgegangen war. Bezügl. der letztgenannten vgl. Acta Ant. Hung., a. a. O. S. 366—368. Mit der Inschrift n. 11 beschäftigte sich neuerdings L. ROBERT: Eos 48 (1956) 229—231, mit den Inschriften 9, 10 und 13 der gleiche Autor in Hellenica XI—XII (Paris 1960) 354.

²⁰ Das Amt eines ἀγωνοθέτης bekleidete für gewöhnlich der Stifter lebenslang.

²¹ Diesbezügl. s. D. VAGLIERI in Ruggieros Dizionario epigr. I. 397.

²² Bezügl. der Bedeutung dieser Würde s. W. RUGE: PW—RE XIII 2279, s. v. Lykien.

²³ Vgl. diesbezügl. u. a. die Berichte des Plinius, *epist.* 10, 75, 2. Licinius Longus veranstaltete anlässlich seiner Wahl zum Lykiarchos in Oinoanda einen Gladiatoren- und Tierkampf (IGR III 492. 500). Bezügl. kleinasiatischer Inschriften, die sich auf Stiftungen von Wettspielen beziehen, s. B. LAUM: op. cit. II. n. 65, 73a, 87, 90, 101, 103, 121—125, 127, 134—135, 138—139, 141—142, 145—148, 151—161, 165—168, 170—172. Vgl. 69a, 102 (4.), 114, 162—163. S. überdies betr. Lykien A. РАНОВИЧ: Воссточные провинции Римской империи. М.—Л. 1949. S. 85 ff.

²⁴ τῶν πενταετηρικῶν μ[εγ]άλων ἰσολυμπίων Ὀδεσ[πα]σιανε[ίων] . . . S. HEBERDEY-KALINKA: a. a. O., S. 47, n. II. 62 = IGR III 487. — Vgl. D. MAGIE: op. cit. II. 1392 (n. 63).

Auf Grund unserer Annahme läßt sich mit noch höherer Wahrscheinlichkeit vermuten, daß sich in der näheren Umgebung des Euarestos ein in der griechischen Literatur bewandelter Mann befand, von dem das Theognis-Zitat stammt. In diesem Zusammenhang möchten wir uns abschließend noch auf eine weitere Inschrift in Oinoanda berufen, in welcher der Sieger des Jugendringkampfes, einer Kategorie der von Euarestos gestifteten Spiele,²⁵ gefeiert wird. Der zweite Teil (Zeile 13 – 19) der Inschrift enthält nämlich zwei gelegentlich improvisierte Disticha.²⁶ Die beiden Angaben ergänzen einander recht gut und lassen sich vielleicht gar auf die Tätigkeit desselben unbekannten Literaten zurückführen.²⁷

Letztere (im P. 3. enthaltenen) Ausführungen sind natürlich rein hypothetischer Natur und für das Wesentliche unserer Untersuchung belanglos. Wichtig ist allein, daß unsere Inschrift ein dem besonderen Anlaß bewußt angepaßtes Theognis-Zitat enthält, womit unsere Angaben über das römerzeitliche Weiterleben des Dichters um einen neuen Beitrag bereichert wurden, der bei Beurteilung der Authentizität des Kynos-Epilogs und hinsichtlich der Entstehungszeit der Theognis-Sammlung in ihrer heutigen Form nicht unbeachtet bleiben dürfte.

Budapest.

²⁵ IGR III n. 497 (S. 187). Die später als die vorgenannten, vermutlich zum fünftenmal veranstalteten Spiele werden von nun an nur noch unter dem Namen *Εὐαρέστεια* weitergeführt. R. CAGNAT führt übrigens die Form *Ηε[τ]ιλίος* an, während J. FRANZ früher (CIG III 4380 m. und n.) die Lesart *[Μ]ε[δ]ίλος* gab.

²⁶ *Παιδῶν μὲν τὰ πρῶτα πάλην | ἔστειψε με πάτρη || καὶ κίδνε κλύτῃ εἰκόνι χαλκελάτῳ | πανκράτιον δ' αἰδρῶν κοινόν | Λυκίων μετέπειτα | ἀράμενος πάτρη θῆκ' ἐρατὸν | ξόανον.*

²⁷ Aus der Zeit des Alexander Severus ist uns in Lykien ein Dichter namens Nestor überliefert (vgl. Suid. Lex. s. v. Nestor), von dem uns drei Epigramme erhalten blieben (s. Anth. Palat. IX. 129, 364 und 537). Laut G. KAIBEL (Epigr. Gr. Nr. 880) kann dieser mit einem in einer Inschrift zu Kyzikos vorkommenden (CIG 3671 = IGR IV 164) gleichnamigen Dichter identisch sein. Letzteren identifiziert L. ROBERT (Rev. Phil. 56 (1930) S. 42) mit dem in einer ephesischen Inschrift erwähnten Nestor. Falls man auf ein derart geringes Material überhaupt eine Hypothese aufbauen kann, möchten wir darauf hinweisen, daß Nestor in der Inschrift von Kyzikos *δοιδός* genannt wird, worin man eine Anspielung auf den archaisierenden Sprachgebrauch des Dichters erblicken kann, dem man in der 2. Zeile der Anth. Palat. IX. 537 begegnet.

REOCCUPATION OF PANNONIA FROM THE HUNS IN 427

(DID IORDANES USE THE CHRONICON OF MARCELLINUS COMES
AT THE WRITING OF THE GETICA?)

I

The evidence, according to which the Romans (*Romani*) — on the basis of Iordanes in alliance with the Goths —, after fifty years of Hunnish rule, reoccupied Pannonia in 427, a statement interpreted differently both by earlier and new historians of antiquity and disputed also in its relationship to the criticism of sources, was preserved only by two 6th century works written in the eastern part of the Roman Empire, viz. the *Chronicon* by Marcellinus Comes and the work of Iordanes entitled *De origine actibusque Getarum*, Marcellinus recorded the event in his work as a separate item at the year 427, viz.: *Pannoniae, quae per quinquaginta annos ab Hunnis retinebantur, a Romanis receptae sunt*.¹

On the contrary Iordanes mentions the reoccupation of Pannonia in a surprising relationship, only incidentally, as an inserted subordinate clause, in connection with the campaign of Valia, Prince of the Visigoths, against the Hispanian Vandals, dated to 427, as an event, which together with this Visigothic action increased the fame of the Goths, viz.: *Nam duodecimo anno regni Valiae, quando et Hunni post pene quinquaginta annorum invasam Pannoniam a Romanis et Gothis expulsi sunt, videns Valia Vandalos . . . cuncta in praedas vastare . . . contra eos movit exercitum. Sed Gyzericus rex Vandalorum, iam a Bonifatius in Africam invitatus . . . per traiectionem angustiarum . . . (se) transposuit*.²

The assertion that the African expedition of Gaisarik³ in 429 was evoked by the aggressive attitude in 427 of the Visigothic Prince Valia, who died in 418, is such a series of absurd statements, which we find seldom even in the *Getica* abridged somehow or the other from the «History of the Goths» of

¹ Marcellinus: *Chronicon* a. 427,1 (Chron. Min. II. p. 76).

² Iordanes: *Getica* 166, 167 (MGH. AA. V, 1. p. 101).

³ The name of this Vandal prince can be derived from the Gothic compound **gaisa-reiks*. See for example CHR. COURTOIS: Les Vandals et l'Afrique. Paris 1955. 394. Among the sources written in Latin language the form *Gaisericus*, given by the well-informed Hispanian Hydatius, is nearest to the original form of the name (Hydatius: *Chronic.* 90, 115, 118, etc.). As to the further variants of the name in the sources see SEECK: RE VII 935.

Cassiodorus.⁴ It is true that Valia fought against the Vandals, but this event took place still in 416–418, in the years immediately before his death, when he struck an annihilating blow on the Siling Vandals (but not on the Asding Vandals!) in the territory of Baetica.⁵ This clash, between Goths and Vandals however, could not serve for one of the elements of the bold conception to be read in Iordanes, since the main source of the *Getica*, the «History of the Goths» of Cassiodorus closed down for the first time not much before the year 534, did not use either the *Chronicon* of Hydatius,⁶ or the Gallian chronicle recorded up to the year 511, which — apart from the late Isidorus Hispalensis — were the only works to preserve the memory of these between Goths and Vandals fights.⁷

There were armed clashes between the Vandals preparing for emigration and the Hispanian Suevi⁸ also immediately before the African expedition of the Asding Vandals, led by Gaisarik. In fact the Suevi marched into the territory left by the Vandals. Gaisarik, however, turned back still in time and dispersed the Suevian groups endangering his rear. But this series of events cannot be reflected in the work of Cassiodorus-Iordanes either. As a matter of fact, even in the case of knowledge about Hydatius — what, however, cannot be proved in the case of either of the authors — a complete change of the roles and in place of the Suevi the showing of the Goths would have been necessary in order to make it possible for a later writer to use the above episode for the more vivid description of the history of the Goths.

In reality the Visigoths already lived in these years in the south-western part of Gallia, in Aquitania II, and partly on the territory of Narbonensis I, and expanded towards the valley of the Rhône and not towards Hispania.⁹ In 427 they besieged the city of Arelas (Arelate)¹⁰ and gave up the siege of the city only because of the approach of Actius, *magister equitum Galliarum* at

⁴ Cf. CHR. COURTOIS: *op. cit.* 54, note 2. The invention of this absurd conception was facilitated by the circumstance that Prosper Tiro, whose work was well-known to Cassiodorus, the main source of the *Getica*, dated the migration of the Vandals to Africa erroneously to the year 427 (see note 15 below), and at the same time, he did not mention any other Goth prince by name besides Valia, up to the year 439. The silence of Prosper in this connection made it possible for those who used his work to count with the rule of Valia still in the 420-es.

⁵ The issue of these fights was summed up by Hydatius, a. 418 (Chron. Min. II. 19, 67) as follows: *Vandali Silingi in Baetica per Valliam regem omnes extincti*.

⁶ The knowledge of Hydatius cannot be proved even in the earlier *Chronicon* written by Cassiodorus in the year 519.

⁷ *Chron. Gall.* a. 511 (Chron. Min. I. 655, 564). Isidor.: *Hist. Goth.* 22 (Chron. Min. II. 276).

⁸ Hydatius: a. 429 (Chron. Min. II. 21, 90). Cf. O. SEECK: *Geschichte der Unter-gang der antiken Welt*. VI². 1922. 112.

⁹ For the details see L. SCHMIDT: *Die Ostgermanen*.² 1941. 460 foll. This question is not discussed by HELBLING: *Die Gothen und Wandalen*. 1957.

¹⁰ The former name is the Late Latin variant of the city name. For this see besides those quoted under RE II 634 also *Cons. It.* a. 455 (Chron. Min. I. 304, 575,6), Anonym., *Cosmographia*, 30 (RIESE: I. 97) and the Gallian chronicles quoted in the next note.

that time.¹¹ South Gallia remained the scene of the military actions of the Visigoths also in the following years.¹²

Hydatius, who is contemporaneous with the events narrated by Iordanes and lived on the spot, in Hispania, continued the *Chronicon* of Hieronymus up to 468 and took his data on the history of Hispania between the years 379 and 427 partly from contemporary written records and partly from the statements of eyewitnesses.¹³ Thus he obviously does not yet know anything about the assumption that the departure of the Vandals would have been brought about by some movement of the Visigoths. In fact, Prosper Tiro, who knows the Gallian conditions well, but in the chronology of the events is not always reliable, does not write about this either. He also continued the *Chronicon* of Hieronymus, first only up to 433, and then to 443 and 455, respectively.¹⁴ At the year 427 Prosper recorded about the Vandals only that «*Gens Vandolorum ab Hispania ad Africam transit*».¹⁵ It was the much later Cassiodorus, who used the above mentioned data of Prosper at least half a century later to mix up the Goths with the emigration of the Vandals. In the *Chronicon* compiled by Cassiodorus in 519, on the occasion of the consulship of Eutharik, son of Theoderik,¹⁶ at the writing of which for the first half of the 5th century he relied on the work of Prosper as the main source, we can read the datum on the emigration of the Vandals already in the following, «Gothicized» form: «*Gens Vandolorum a Gothis exclusa de Hispaniis ad Africam transit*».¹⁷ Thus that part of chapter 167 of the *Getica*, according to which the Visigoths played a significant role in the emigration of the Vandals, in final conclusion can undoubtedly be traced back to Cassiodorus, who already more than 30 years before the appearance of his work entitled *Chronicon*, by mentioning the name of the Goths, had altered the text of Prosper.¹⁸

In chapters 166 and 167 of the *Getica*, however, we can not only read in detail, how the Visigoths under Valia turned against the Vandals of Gaisarik, but at the same time it also linked up the emigration of the latter with the story

¹¹ *Chron. Gall.* a. 427 (*Chron. Min.* I. 658, 102). This is recorded two years earlier by Prosper Tiro: 471, 1290; he similarly brought forward also the year of the emigration of the Vandals (see below note 15). Cassiodorus in his *Chronicon*, of course, kept silent about this unsuccessful undertaking of the Goths. Regarding the function of Aetius at that time see W. ENSSLIN: *Klio* 24 (1931) 475 foll.

¹² On details see for example L. SCHMIDT: *Ostgermanen*.² 463 foll.

¹³ Hydatii Lemici, praef. 5 (*Chron. Min.* II. 14).

¹⁴ TH. MOMMSEN: *Chron. Min.* I. p. 345.

¹⁵ Prosper: a. 427 (*Chron. Min.* I. 472, 1295).

¹⁶ Regarding the propagandistic objectives of this see most recently E. BACH: *Byzantion*. 25–27 (1955–1957) 417.

¹⁷ Cassiodorus: *Chronicon* a. 427 (*Chron. Min.* II. 156, 1215). Cp. TH. MOMMSEN: *MGH. AA. V*, I. p. 101, note 5.

¹⁸ We can quote in a similar sense e.g. L. SCHMIDT: *Ostgermanen*.² p. 465, note 2; E. STEIN: *Geschichte des spätrömischen Reiches*. I. 1929. p. 473, note 4; W. ENSSLIN: *Des Symmachus Historia Romana als Quelle für Iordanes* (SBAM. 1947,3), 72 (in the following: ENSSLIN: *Symmachus*). CHR. COURTOIS: *Les Vandales* . . . p. 54, note 2.

of the African revolt of Bonifatius, *comes domesticorum*.¹⁹ According to the *Getica*, Gaisarik, on the one hand, avoided the threatening attack of the Visigoths, but on the other hand, he complied with an earlier invitation of Bonifatius, when he decided to land in Africa. The part dealing with the Visigoths of the historical description in the *Getica* mentioned above, although in a summarized form, and the story of Bonifatius still independent from the migration of the Vandals, as a separate lemma, but they appear in the *Chronicon* of Cassiodorus at the year 427. Cassiodorus, in this brief work, did not yet pay attention to the sentence of the Bonifatius-lemma of his source, Prosper Tiro which, although in a quite general compilation, but already mentioned that the parties fighting in Africa asked for the help of overseas barbarian peoples and insured for them the sea passage, *viz.*:²⁰

*exinde gentibus, quae uti navibus nesciebant,
dum a concertantibus in auxilium vocantur,
mare pervium factum est.*

When Prosper at the year 427 mentioned Bonifatius as one of the parties fighting in Africa, and dated also the landing of the Vandals in Africa to the same year, the later historians relying on the work of Prosper did not need much imagination to find a direct relationship between the immigration of the Vandals and the asking for help by Bonifatius, mentioned in his source at the same time.

It was raised that this later historian was Q. Aur. Memmius Symmachus, who during the reign of Theoderik wrote the history of the Romans in seven books.²¹ Chapter 167 of the *Getica* and chapter 330 of the *Romana*²² equally dealing with the «betrayal» of Bonifatius show in certain places really a very close agreement with each other. The use of some common source, in the first place that of the «History of the Romans» by Symmachus, however, cannot be derived from this agreement.

It cannot be disputed that the earlier compilation of the Bonifatius story, to be read in Iordanes on two occasions, has been preserved by that passage in chapter 167 of the *Getica*.²³ This earlier version, however, as regards its subject matter, depends in final conclusion not from the historical work of Symmachus, but from the *Chronicon* of Prosper Tiro. In the latter, as the first lemma of the year 427, we can read the fight of Bonifatius in Africa with the generals of

¹⁹ On the office of Bonifatius in 427 see ENSSLIN: Klio (1931) 478.

²⁰ Prosper: a. 427 (Chron. Min. I. 471, 1274).

²¹ W. ENSSLIN: Symmachus, *loc. cit.*

²² Iordanes: Rom. 330: *Africana provincia per Bonifatium comitem Vandalis tradita et a Romano iure subtracta est, quia Bonifatius, dum in offensa Valentiniani venisset, malo publico se defendere voluit invitatoque ab Spaniis Gizerico Vandalorum rege dolum quod conceperat peperit.*

²³ On the relative chronology of the *Getica* and the *Romana* compared to each other see TH. MOMMSEN: MGH. AA. V, prooem. p. XV.

Valentinian and the action of the fighting parties directed to win the help of overseas peoples, and then, following this, similarly in the quoted work of Prosper, as the second lemma, we can also read the landing of the Vandals in Africa. The *Chronicon* of Cassiodorus abridged the work of Prosper exactly in the above succession. In the narration of the emigration of the Vandals, mentioned in the second place, however, he inserted the role of the Goths already at this time. A further, and for us final, transformation of this chronicle material is rendered by chapter part 166 of the *Getica*, which in the knowledge of the antecedents can hardly be regarded as anything else than a historical construction developed from the combination and partial distortion of the data of Prosper. And since the first step towards the developing of the story on the whole Valia-Gaisarik-Bonifatius relationship was taken by Cassiodorus in his work entitled *Chronicon*, closed down in the year 519, the mediation of Symmachus could be considered only in case it can be proved about this author of the Theoderik age that he used directly either the work of Prosper Tiro, or the *Chronicon* of Cassiodorus.

We cannot point out, however, any trace of the direct use of Prosper from those passages of the text relating to the 5th century which by the modern study of the sources, based on a comparative criticism of the text, could be assigned at a high probability to the «Roman history» of Symmachus.²⁴ The use of the *Chronicon* of Cassiodorus by Symmachus is rendered unlikely also by chronological difficulties. In fact, it seems that the work of Symmachus entitled *Historia Romana* was written somewhat earlier, than the *Chronicon* of his younger contemporary.²⁵ Bearing this in mind we have to emphasize again that the historical interpretation to be read in chapter part 166 of the *Getica*, on the other hand, can originate only from such an author, for whom the work of Prosper Tiro served as the main source for the twenties of the 5th century. And since Symmachus can hardly be taken into consideration in this relationship, while Cassiodorus, on the other hand, already used the work of Prosper Tiro as a basis in his *Chronicon* in regard to this period, and assigned to the Goths a role in the emigration of the Vandals already at this time, and

²⁴ Cf. W. ENSSLIN: Symmachus. *passim*.

²⁵ The handbooks (e.g. TEUFFEL-KROLL: *Geschichte der Römischen Litteratur*. III⁶, and M. SCHANZ—C. HOSIUS—G. KRÜGER: *Geschichte der Römischen Litteratur* 4,2 1920. § 1041, etc.) sidestep the questions of the dating of the *Hist. Rom.* But perhaps from the viewpoint of dating it can serve as a foothold that the grammarian Priscianus of Caesarea in the beginning of the 500-s, when Symmachus visited Constantinople, in his lines of recommendation surveying the literary activity of Symmachus, still does not mention the activity of the latter as a historian (*Grammatici Latini*. III. 405, ed. H. KEIL). In the above mentioned recommendation of Priscianus addressed to Symmachus the reference *studiis optimarum artium disciplinarumque* is quite general and from this we cannot make a definite conclusion as regards the cultivation of *historia*. On the other hand, Marcellinus Comes, who wrote the first part of his work treating a period up to the year 518, still at the time of the reign of Iustinus I, in Constantinople, was already used by the *Historia Romana*. Accordingly the latter work could be prepared or published in the 10-s of the 6th century at the latest.

the narration of chapter part 166 of the *Getica* on the alliance of Bonifatius and Gaisarik, linked up with the movement of Valia, is also based on the references by Prosper (*viz.: exinde . . . a concertantibus in auxilium vocantur*), therefore it can be taken almost for sure that the relationship among the attack of the Goths, the emigration of the Vandals and the betrayal of Bonifatius, in its form known from the *Getica*, was created by Cassiodorus, when he wrote his 12 volumes work entitled «History of the Goths». And Iordanes did not do anything else also here, but abridged his main source, the «History of the Goths», transforming it here and there according to his own style.

Accordingly the only possible way to derive the story of Bonifatius, the Goths and Vandals to be read in *Get.* 166 can be drawn up as follows: The almost contemporaneous events, which otherwise were still independent from each other, were dated by Prosper Tiro to the same year. These events were transformed by Cassiodorus into a coherent series, in two consecutive phases of his activity as a writer. First still the anti-Vandalic movement of the Goths was added by him to the text of Prosper (*Chronicon*). Later on, however, («History of the Goths») — on the basis of a reference in the text of Prosper, disregarded by him earlier — he also created a connection between the emigration of the Vandals pressed by the Goths, and the fights carried on by Bonifatius in Africa. Thus the literary activity of Cassiodorus played a significant role in giving a concrete form to the rumours circulating on the betrayal of Bonifatius.²⁶ The linking to a definite people of such generalizing phrases like *gentes* in the Bonifatius-story or *barbari* in other places of the *Chronicon* (*Get.* 167: *Vandalii*) shows the hand of Cassiodorus. In the following we shall still quote a further example on similar ethnic «concretization» from the literary work of Cassiodorus.

At the first glance the mentioning of the reoccupation of Pannonia in *Get.* 166 points to a source different from the historical narration based on Prosper's data and to an insertion adopted from another source. As regards its contents, this latter datum is in no relationship whatever with the series of events concentrated around the persons of Valia, Gaisarik and Bonifatius, and it fits in the narration rather loosely also with regard to composition. The fact

²⁶ At the time preceding the literary activity of Cassiodorus, besides the Prosper-lemma of other character, in western literature there is no trace of the betrayal of Bonifatius. In the historiography written in Greek language, Olympiodor. frg. 42 (FHG. IV. 67) mentions the *σύμμαχοι βάρβαροι* fighting in the army of Bonifatius, but in the same passage he underlines in connection with this *ἀνὴρ ἡρωϊκός* that *παντὶ τρόπῳ πολλῶν βαρβάρων καὶ διαφόρων ἔθνων ἀπῆλλαξε τὴν Ἀφρικὴν*. The detailed report on the betrayal of Bonifatius is given for the first time by Procopius: *Bell.* III. 3,14 foll. (HAURY—WIRTH: I. 320 foll.). The version of Procopius does not mention in the role of the intriguer the patrician Constantius Felix — up to 430 the real rival of Bonifatius —, but Aetius, the later adversary of the African leader. The narration of Procopius was abridged by Ioann. Ant. frg. 196 (FHG. IV. 613) and also later Theophanes *Chronogr.* A. M. 5931. The assumption of ENSSLIN (Symmachus, p. 73, note 101), according to which the legend of the Bonifatius-betrayal in the West took shape already before Procopius, by the correct judgement of the role of Cassiodorus, can be taken — in our opinion — for almost sure.

that the action of the reoccupation was held simultaneous with Valia's movement — as this is referred to by the adverb of time *quando* introducing the Pannonia pericope —, as well as the role attributed to the Goths — as a comparatively early example for the cooperation of the Romans and the Goths and the relations of the latter people connected with Pannonia — only rendered an opportunity for him to mention it in this relationship. Since the *Chronicon* of Prosper Tiro, furnishing the subject of the main theme of *Get.* 166 and 167, did not mention the reoccupation of Pannonia either, the question can be raised with justification, whether Cassiodorus dealt with this at all in the «History of the Goths», or it was inserted only by Iordanes, independent from Cassiodorus and from another source. In the latter case the *Chronicon* of Marcellinus could mostly be taken into consideration, where the Pannonia-lemma under discussion can really be read in a more original form than in the version given by Iordanes. In this case, of course, not only the more cautious wording of the 50 years' rule of the Huns in Pannonia, with the insertion of the adverb 'pene', characteristic of the style of Iordanes,²⁷ the phrase *invasam Pannoniam* constructed with *accusativus absolutus*,²⁸ but the mentioning of the Goths as participants in the reoccupation of Pannonia on the side of the Romans, could also be ascribed to the literary activity of Iordanes. Thus the question can be raised, whether the passage in chapters 166 and 167 of the *Getica* — apart from minor modifications made by Iordanes — can be traced back in their contents entirely to the «History of the Goths» of Cassiodorus, or the Pannonia pericope to be read in the *Getica* was inserted by Iordanes in the Valia-Gaisarik-Bonifatius story, omitted by Cassiodorus, from another source, *viz.* the *Chronicon* of Marcellinus, the only work mentioning the reoccupation of Pannonia. In the former case we can count with two parallel sources regarding the reoccupation of Pannonia, while in the latter case we can count with only one independent source, *viz.* the *Chronicon* of Marcellinus. The raised alternative cannot be solved reassuringly with the random collation of *Get.* 166 and *Chronic.* 427.1. For this the relationship of the two sources to each other must be examined on a broader basis.

II

Beside the Pannonia-pericope in question, in scholarly literature²⁹ two additional passages of the *Getica* are kept in evidence, where the direct use of the work of Marcellinus could be supposed. One of these loci is the story men-

²⁷ For the frequent use of this in the *Getica* and the *Romana* see the material published in MGH. AA. V, 1. p. 194.

²⁸ For its frequent occurrence in the writing of Iordanes see MGH. AA. V, 1. p. 179. The use of the *accusativus absolutus* is not unfamiliar to the style of Marcellinus Comes either, see *e.g.* a. 386,1; 502,1.

²⁹ See *e.g.* W. HARTKE: *Römische Kinderkaiser*. Berlin 1951. 432, where the earlier literature (SCHIRREN, v. GUTSCHMID, *etc.*) can also be found.

tioning the Gallian tyrants (Get. 165), while the other comprises chapters XLV and XLVI of the *Getica*, where this work deals with the history of the Late Roman emperors in a striking detail and in a form partly identical with the text of Marcellinus.

The passages on the Gallian tyrants, which for the sake of easier collation are given here parallelly, can be read in Marcellinus, as well as in the works *Getica* and *Romana* of Iordanes in the following versions:

Marcell., a. 411, 2—3.	Iord., <i>Get.</i> 165	Iord., <i>Rom.</i> 324
Honorii VIII et Theodosii IIII	eo namque tempore	
Constantinus apud Gallias invasit imperium filiumque suum ex monacho Caesarem fecit.	Constantinus quidam apud Gallias invadens imperium filium suum Constantem ex monacho fecerat Caesarem;	Constantinus tunc quidam Gallias occupatas invasit imperio filiumque suum Constantem ex monacho Caesarem ordinavit.
	sed non diu tenens regno praesumpto mox foederatos Gothos Romanosque ipse occiditur Arelato filius vero eius Vienna	sed mox
Ipse apud Arelatum civitatem occiditur, Constans filius apud Viennam capite plectitur.		ipse apud Arelatum, filius eius apud Viennam regnum cum vita amiserunt.
Marcell., a. 412, 1 Iovinus ac Sebastianus in Galliis tyrannidem molientes	post quos item Iovinus ac Sebastianus pari temeritate rem publicam occupandam existimantes	itaque eorum exitu inmemores Iovinus et Sebastianus ibi in Galliis tyrannidem moliantur:
occisi sunt.	pari exitio perierunt.	sed et ipsi ilico esse desierunt.

The first part of the Constantine-lemma of the *Getica*, apart from the insertion of the indefinite pronoun *quidam* and the changed verbal forms, is identical word to word with the text of Marcellinus. The shorter compilation of the pericope treating the fall of the tyrants can also be derived from the text of the *Chronicon*. The middle pericope linked together by the conjunction *sed*, especially the sentence mentioning the Gothic and Roman allies of the tyrants and compiled with *accusativus absolutus*, however, contain such a detail, which is missing from the text of Marcellinus.³⁰ Thus this sentence could by no means

³⁰ Regarding the short duration of the reign of the tyrant, Iordanes (in the case of the direct use of the *Chronicon*) could draw conclusions also from the latter work, since Marcellinus mentioned the accession to the throne and the death of Constantine at the same year erroneously. In reality, the reign of Constantine III in Britannia and Gallia lasted for five years, viz. from the end of 406 [Olympiodorus: frg. 12 (FHG. IV. 59)] up to the end of the summer of 411 [Cons. c. 411 (Chron. Min. I. 246)]: *Constantini tyranni in conto caput addatum est XIII cal. Octob.*, and Hydatius: *Chronic.* 50 (*Chronic.* 1232 and 1243), which record the beginning of the reign of the tyrant at the year 407 and the year of his death at 411.

be borrowed by the *Getica* from the work of Marcellinus, where the slightest reference cannot be read regarding the Gothic and Roman *foederati*. Regarding these *foederati* the *Getica* must have used some other source.

Among the sources narrating the story of the Gallian tyrants we can read about the «barbarian and Roman» allies of Constantine III only in the *Historiae adversus paganos* of Orosius in such a composition, which made it possible for Iordanes, or the author of the source directly used by him, to translate these data as allied Goths and Romans. In Orosius the passage regarding these *foederati* reads as follows: Oros., hist. 7, 40, 1 foll: (*Constantinus*) «*saepe a barbaris incertis foederibus illusus . . . (Constantinus) Constantem filium suum . . . cum barbaris quibusdam, qui quodam in foedus recepti atque in militiam adlecti, Honoriaci vocabantur, in Hispanis misit.*»

The «*barbari*» mentioned in the first place of the quoted passage, who repeatedly broke the *foedus* concluded with Constantine (*incerta foedera*), as it is shown in the related narrations of Zosimos and Sozomenos,³¹ can be identified with the Vandals, Alans and Suevi, invading Gallia at the end of 406, as well as with the Rhine German ethnic groups infiltrating into Gallia after the former.³² Surely in this relationship the Goths could not be mentioned at all.

The *barbari quidam* mentioned by Orosius in the second place, who were enlisted in the Roman Army, where they served in the troops bearing the imperial title *Honoriaci* and with whom Constans forced Hispania to obedience,³³ can be found in all probability in the 5th century Gallian *exercitus* among the *comitatensis* troops bearing the imperial title *Honoriani*, recorded by the *Not. dig.*³⁴ In connection with this certain investigators thought about the pair of troops *Atecotti Honoriani seniores* and *Atecotti Honoriani iuniores*,³⁵ enlisted from the ranks of the *Picti*. In this case, however, we should expect that Orosius — in accordance with the general use — would abbreviate the troop name with the ethnicon standing at the first place, and not with the rather common imperial title *Honoriani*. If he still mentions these troops by the name *Honoriaci*, then this shows that from the more complete name of these troops the ethnicon was missing. Bearing all this in mind, the *equites Honoriani seniores* and *iuniores*,³⁶ appearing among the Gallian *vexillationes comitatenses*, can be

³¹ Zosim.: VI. 3,1—3 and 5,1—4. Sozom.: *h.e.* IX. 11—12, both from a common source, which cannot be anything else than the work of Olympiodorus.

³² Hieronymus: ep. 123 (CSEL 55) mentions from the rank of these Franks, Alemans and Burgundians from the year 409. Sozom.: *h.e.* IX. 13,2 and Renat. Frigerid. (Gregor. Touron: Ilist. II. 9, ed. BUECHNER) mention the Frank and Aleman allies of Constantine III.

³³ Their names do not appear elsewhere in connection with the Hispanian expedition. The expeditionary troops are mentioned by Sozom. *h.e.* IX. 11,6 and 12,2 simply as *οἱ στρατιῶται* and by Zosim. VI. 5,1 as *οἱ ἀπὸ Παλαρίας στρατιῶται*.

³⁴ The name *Honoriaci* preserved by Orosius can be regarded as the «Gallian» version of the Latin nominal form *Honoriani* supplied with the Celtic suffix *-acus*.

³⁵ E. DEMOUGEOT: *De l'unité à la division de l'empire romain*. Paris 1951. 395.

³⁶ *Not. dign. Occ.* VII, 171; V. 79 = VII. 172.

mentioned at a higher probability in this relationship. The shield emblem of the *equites Honoriani seniores* and *iuniores*, the «*Rolltier*», is identical with the shield emblems of the *equites Marcomanni* and *equites Taifali*, originally formed from Marcomanni and Taifali, as well as with that of the Hispano-African *equites Cetrati*.³⁷ On the basis of the above mentioned relationships it is doubtless that the *equites Honoriani* were also enlisted from barbarian elements, like the *Honoriaci* mentioned by Orosius. Both *equites Honoriani* troops are missing from the list of troops of the eastern part of the Empire. This shows that the equestrian troops *Honoriani* stationed in Gallia were set up after 395, when on account of the disputed question of East Illyricum inter-state relations between the two parts of the Empire were discontinued. Orosius refers only in general, with the adverb of time *quondam*, on the conclusion of *foedus*, on the basis of which these barbarians were enlisted in the regular Roman troops. Perhaps we are not mistaken, if we bring this *foedus* into connection with the tour of Stilico in the year 396 in the Rhine region, when, according to our sources, the military leader of the western half of the Empire renewed the earlier agreements of alliance with the Germanic peoples along the Rhine³⁸ and at the same time took measures regarding the filling of the ranks of the western troops. This was necessary on account of the fact that in previous years certain part of the western troops was given to the eastern part of the Empire. The place of the «*barbari incertis foederibus*» mentioned by Orosius was occupied in the *Getica* by the *foederati Gothi*, while the *foederati Romani* took the place of the *Honoriaci*. The changing of the name *Honoriaci* in the *Getica* to *foederati Romani* as regards its contents can be regarded correct inasmuch as for the *Honoriaci* mentioned by Orosius the way to military service in the Roman moving army was really opened by an earlier *foedus*, where these barbarians were already regarded as *milites Romani*.³⁹ The interpretation by Iordanes as «*foederati Gothi*» of the *barbari* mentioned by Orosius in the first place is all the less founded. This could be done only by such an author, who, in interest of his political programme supporting coexistence between the Goths and Romans, looked for Goths everywhere forcibly, wherever he read about barbarians in alliance with the Romans in sources from the 4th and 5th centuries. At the time of Iordanes, in the fifties of the 6th century, this Gothic-Roman alliance policy seemed already to be an utopy. At the time of the compilation of the History of the Goths by Cassiodorus, at the time of the regentship of Amalasuntha, on the other hand, this alliance policy, one of the supporters of which on

³⁷ *Not. dign. Occ.* VI. 16, 22; 35–36. A. ALFÖLDI: *Germania* 19 (1935) 324 foll. Pl. 46, figs. 20–23.

³⁸ For the data see SEECK: *Untergang*. V. 552, ad 280, I. Cf. H. NESSELHAUF: *Die spätrömische Verwaltung der gallisch-germanischen Länder*. Berlin 1938. 70 foll. S. MAZZARINO: *Stilicone e la crisi imperiale dopo Teodosio*. Roma 1942.

³⁹ We can mention the well-known Óbuda inscription (CIL III 3576 = DESSAU: ILS 2814) as an epigraphic parallel of the phrase *foederati Romani* of the *Getica*, where the deceased addresses the living in *ego*-style, as *Francus ego civis, Romanus miles in armis*.

part of the senatorial circles was exactly Cassiodorus,⁴⁰ still promised to be a lasting reality. But apart from these general considerations, it can also be supported by more concrete data that the *foederatos barbaros*, appearing in the work of the Hispanian historian still anonymously, were re-named Goths and Romans not by Iordanes, in whose case, however, at the writing of the *Getica* we can count with a direct acquaintance with Orosius,⁴¹ but by Cassiodorus, author of the «History of the Goths».

According to the evidence of the Valia-excursus, discussed above, the *gentes* which were still undefined by Prosper Tiro, in *Get.* 166 were changed to Vandals (*Vandali*) by the hands of Cassiodorus. In the Constantine-lemma immediately preceding the Valia-excursus, already with regard to this, we can suspect the hand of Cassiodorus with justification in the concrete definition as *Gothi et Romani* of the *barbari* and *barbari quidam . . . Honoriaci*, mentioned by Orosius still in general. This can be supported by the fact that in the works of Iordanes the combining of the two people's names in a way betraying such a clear political tendency can only be found in the *Getica*, abridging the «History of the Goths» of Cassiodorus. We can be convinced about this also by the following summary.

As we have seen, according to the *Getica*, Pannonia was reoccupied by *Romani et Gothi*. Similarly to the tyrant Constantine, drawing the «Goths and Romans» into his alliance, *Get.* 142 writes in the same way on Gratianus, viz.: . . . *Theodosius convaluit imperator reppeperitque cum Gothis et Romanis Gratiano imperatore pepigisse*. When we know from other, authentic sources that Gratianus and Theodosius in 380 admitted to Pannonia the Gothic-Alan-Hun ethnic group as *foederati*,⁴² then it is selfevident that the source of the *Getica* interpolated the name of the Romans in the place of the Alans and Huns for the sake of the combination of the *Gothi et Romani*.

⁴⁰ The *Variae* of Cassiodorus, contain a rich material on this.

⁴¹ TH. MOMMSEN: MGH. AA. V, 1. prooem. p. XXVII, XLIV. FR. ALTHEIM: Rh. M. 90 (1941), 193 foll., W. HARTKE: Kinderkaiser. 436, 438. For the judgement of the direct knowledge of Orosius the chorography to be read in *Get.* 4 foll. is especially important. Taking the rules of the ancient historical *techné* into consideration, such a geographical introduction, naturally could not be missing also from the «History of the Goths» of Cassiodorus. But the main source of Cassiodorus was the Cosmographia of the «orator» Iulius Honorius (RIESE: Geogr. Lat. min. I. 24 foll.), appreciated too highly by him (cf. *de instit. divin. litt.* v. 25), which can still be recognized in a considerable number of passages in the geographical introduction of the *Getica*. (Besides the agreements noted by MOMMSEN, the island *Mevania* mentioned with an erroneous nominal form after the Balearic Islands, presumably can be traced back also to the use of Iulius Honorius, and not to that of Orosius.) On the other hand, the work of Orosius was judged by Cassiodorus rather non-committantly even in his later years (*de instit. divin. litt.* c. 17. MOMMSEN, prooem. p. XLIV). Bearing all this in mind, the *Orosiana*, kept on record in the chorography of the *Getica*, can be ascribed to Iordanes with justification.

⁴² Zosim.: 34,3; Ambros.: ep. 20,9 (MSL XVI. col. 980); Sozom.: h. e. VII. 4,2. For further details see T. NAGY: A IV. századvégi gót mozgalom és a keleti gótok, alánok, hunok betelepítése Pannoniába (The Goth movement at the end of the 4th century and the settlement of the Ostrogoths, Alans and Huns in Pannonia) (manuscript) 52 foll.

For this combination we can quote as a further example the following passage treating the battle at Catalaunum in *Get.* 213: *conveniunt itaque Gothi Romanique, et quid egerent de superato Attila, deliberant*. Neither of the parallels of the quoted passages, to be read in the *Romana* mentions the brotherhood in arms of the Goths and Romans. Besides this silence, we do not meet with the purposeful combination of the *Gothi et Romani* comparable with the aboves, also in other parts of the *Romana*, based in its chapters relating to the Late Roman Empire on the Roman History of Symmachus and the *Chronicon* of Marcellinus. In spite of the different subject of the *Getica* and the *Romana*, all these observations can only be explained by the assumption that the sometimes real, but mostly forcible combination of these two people's names in the *Getica* cannot be ascribed to Iordanes, but goes back to his main source, Cassiodorus. Otherwise it would come into prominence also in the *Romana*, using another main source, not the «History of the Goths» of Cassiodorus, or at least, this tendency would appear both here and there. And in order that after all this no doubt should remain regarding the real author of this *Gothi-Romani* combination meaning a political programme, we quote a passage from the epilogue of the *Chronicon* of Cassiodorus from the year 519⁴³: *Eo anno multa vidit Roma miracula, editionibus singulis stupente etiam Symmacho Orientis legato divitias Gothis Romanisque donatas*. Then, after the description of the amazing *spectacula* in Ravenna: *iteratis editionibus tanta Gothis Romanisque dona largitus est, ut solus potuerit superare quem Romae celebraret consulatum*. By this the circle has been closed. In the Pannonia-pericope, just like in the story on the tyrant Constantine, in the part dealing with the Pannonian expedition of Gratianus and the description of the battle at Catalaunum we can equally recognize the tendentious composition of Cassiodorus in the joint mentioning of the *Gothi et Romani*.

And since the «History of the Goths» of Cassiodorus written not much before 534 could not yet use the *Chronicon* of Marcellinus closed and published in 534,⁴⁴ obviously the agreements with the text of the *Chronicon* of chapters 165 and 166 of the *Getica*, abridged from Cassiodorus did not arise in the way that Cassiodorus copied the text of the *Chronicon*, but was the result of a common source used by both historians. This common source knew and used the *Historiae* of Orosius, as this is rendered doubtless by the description on the Gallican tyrants to be read in Marcellinus, as well as in Cassiodorus and Iordanes.

⁴³ Chron. Min. II. p. 161.

⁴⁴ For the dates see MOMMSEN: MGH. AA. V, 1 proem. p. XLI and Chron. Min. II. 41. In spite of all its wittines the presumption of A. MOMIGLIANO (Gli Anicii e la storiografia latina del VI. sec. d. C.; Histoire et historiens dans l'antiquité: Entretiens sur l'antiquité classique. IV (1956) 247 foll., especially 268 foll.) according to which Cassiodorus started to write his «History of the Goths» still in Ravenna on the inspiration of Theoderik, but completed it only in Constantinopolis at the end of the 40-es, at the time of the marriage of Germanus and Matasuntha, has still to be proved in detail.

As a matter of fact, the possibility that in the case of the Gallian tyrants both Marcellinus and Cassiodorus, independently from each other, borrowed from the work of Orosius, cannot be taken into consideration already on account of the following.

In both authors mentioned above from the 6th century, the same description can be read in the case of the story of Constantine, *viz.* that the tyrant seized the regime not in Britannia — *apud Britannos* —, as it is written correctly by Orosius,⁴⁵ but in Gallia (*apud Gallias*). In fact it is quite unlikely that, in case Marcellinus and Cassiodorus would have used the text of Orosius for the story of the Gallian tyrants quite independently from each other, both of them would have made the same mistake, apart from the fact that they abridged in an almost identical way the data of Orosius, scattered in two separate chapters. Thus the knowledge of Orosius can be ascribed with justification to the common source of the *Chronicon* and the «History of the Goths». Besides this, in the ranks of the *auctores* equally used by Marcellinus and Cassiodorus we can point out only one narrative source, in which the direct knowledge of Orosius can also be regarded as established. This is the Roman History of Symmachus.⁴⁶ It is almost selfevident that in a «Roman History», which covered also the 5th century, like the work of Symmachus, the chapter dealing with the Gallien tyrants of the Honorian Age could not be missing. Thus, partly by the recording of the knowledge of Orosius and partly on account of the knowledge of the relationships between the works of Symmachus and Marcellinus, as well as between the works of Symmachus and Cassiodorus, it can be taken almost for sure that the data recorded by Marcellinus at the years 411 and 412 can be traced back directly to the Roman History of Symmachus, while the report of the *Getica* (chapter 165) can be traced back to the same source through the mediation of the «History of the Goths» of Cassiodorus. The differing version of the later work of Iordanes (chapter 324 of the *Romana*) gives undoubtedly a new composition as compared with the text of *Get.* 165. This new composition, however, was not based on the direct use of the work of Symmachus, as it was thought by certain investigators,⁴⁷ but on the text of *Get.* 165. As a matter of fact, *Rom.* 324 is different from the abridged compilation of *Get.* 165.⁴⁸ Thus the relevant passage of the *Romana* represents the remotest

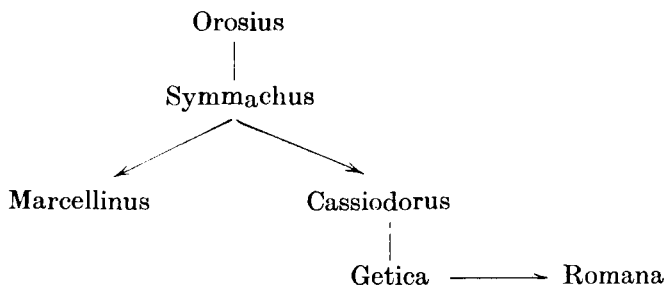
⁴⁵ Orosius: hist. 7, 40, 1: ... *apud Britannias Gratianus ... tyrannus creatur et occiditur. huius loco Constantinus ... eligitur, qui continuo ut invasit imperium, in Galliis transit.* In the same manner Prosper: 1232 (*Chronicon* Min. I. 415); Olympiodorus: frg. 12 (FHG. IV. 59); Zosim.: VI. 3,1 etc.

⁴⁶ W. ENSSLIN: Symmachus. 4 foll., 104 foll.; W. HARTKE: Kinderkaiser. 434 foll., 438.

⁴⁷ W. ENSSLIN: Symmachus.

⁴⁸ Abbreviation: The *Rom.* 324 from the tripartite structure of *Get.* 165 left out the pericope on the Goths and the Romans, and linked up the retained first and third pericope with the conjunction and adverb of time *sed mox* written out from the *Getica*. In the first part a stylistic recomposition is the phrase *Gallias occupatas* (accusativus absolutus), in place of the phrase *apud Gallias* of the *Getica*. Similarly the phrase *regnum cum vita amiserunt*. In place of this lengthy phrase we can read in the *Getica*: *occiditur*.

branch of the Symmachus tradition. The position of the criticism of sources on the passages dealing with the Gallian tyrants to be read in Marcellinus, as well as in the works of Iordanes, can be visualized by the following scheme:



III

Knowing all the above discussed points, the mentioning of the combination *Romani et Gothi*, showing the hand of Cassiodorus, clearly defines also the place of the Pannonia-pericope to be read in the following chapter (166) of the *Getica* in the tradition of the sources. In spite of the close agreement of the text with that of the *Chronicon* the report regarding Pannonia was not adopted by the *Getica* from the *Chronicon* of Marcellinus, but from the «History of the Goths» of Cassiodorus. Thus these agreements cannot be interpreted otherwise than that the main source of the *Getica* and the *Chronicon* used a common source from which both have borrowed independently from each other. Iordanes changed the text handed down in the «History of the Goths» only inasmuch as by the insertion of the adverb «*pene*» he loosened up to some extent the Pannonian rule of the Huns, dated in his source exactly to fifty years and by this he rendered it approximate. The composition *invasam Pannoniam* in place of the simple abl. loci (*Pannonia* or *Pannoniis*) is also the peculiarity of Iordanes. As compared with the aboves, the inserted character of the Pannonia-pericope — it is loosely connected only by the supposed synchrony of the events to Valia's anti-Vandal movement, meaning the main theme of the report which is linked to the pericope with the participial phrase *videns Valia* — in itself cannot serve as an evidence to prove that the *Getica* borrowed here from another source than the «History of the Goths» kept in evidence as his main source.

We find especially frequently «insertions» similar to the Pannonia-pericope in chapters 45 and 46 of the *Getica*, where in connection with the times after 455 data on the rulers of the western and eastern parts of the Empire interweave the main theme of the report, the history of the Visigothic ruler Eurik II. It is worth while to examine this passage more closely also for this reason. These «insertions» mentioned above were linked up by Iordanes with each other and with the story of Eurik by similar participial phrases, viz. *quod audiens Gyzericus* . . . , *quod cernens Leo imperator* . . . , *quod conperiens Anth-*

minus imperator . . . , etc., like in the Valia-excursus. Besides this, the biographical parts relating to emperors at several places show almost such a close agreement with the text of the *Chronicon*, like in the case of the Pannonia pericope.⁴⁹

On the basis of the stylistic phrases undoubtedly showing the authorship of Iordanes, the *participium praesens* verbal forms used in the function of *participium coniunctum* (*quod audiens, quod cernens, etc.*); and the parallels undoubtedly existing here and there with the text of the *Chronicon*, the report of *Get.* 45 and 46 on the emperors was interpreted by several investigators so that this was compiled by Iordanes, by using the lemmata of the *Chronicon* of Marcellinus.⁵⁰ The direct knowledge of Marcellinus on part of the *Getica*, however, cannot be proved in the case of *Get.* 45 and 46 either.

Although the stylistic peculiarities observed in the composition of *Get.* 235–244 undoubtedly elucidated the excerptive, activity of Iordanes very well, these alone, however, cannot decide, whether Iordanes in the excursus dealing with the emperors used the *Chronicon* of Marcellinus direct, or he abridged another narrative source. In the case of the abridgement of the *Chronicon*, the imperial biographies compiled with a chronicle-like briefness in chapter parts *Get.* 235–244 would depend from the text of the *Chronicon* in all their factual — non-stylistic — parts. The agreements between the *Getica* and the *Chronicon*, however, are only partial. At the same time in these brief imperial biographies we can find several details of the contents, which are missing from Marcellinus or are exactly opposite to the version to be read in the *Chronicon*. Consequently these passages can by no means originate from the work of Marcellinus. Thus, on the basis of the Late Roman History of the *Getica* either we can think that beside the *Chronicon* Iordanes also used an additional narrative source, which was here and there more talkative than the *Chronicon*, or we have to consider the possibility that Iordanes in these chapters did not abridge the *Chronicon*, but such a historical work, in which the passages identical with the *Chronicon* can be traced back to a common source equally used by the latter as well as by the narrative source lying before Iordanes. We hope that the short critical analysis of the following passages will give a reply on the questions raised above.

Already in the story of Petronius Maximus, successor of Valentinian III, the *Getica* gives more than the *Chronicon*. The former does not simply link up

⁴⁹ These parallels were accurately recorded already by MOMMSEN in the critical edition of the *Getica*, viz. MGH. AA. V, 1. p. 118 foll. *Loc. cit.* prooem. p. XXXIX, he rejected the possibility that in the chapters *Get.* 45 and 46 Iordanes would have copied out the *Chronicon*. According to him the stories of the emperors were compiled by Cassiodorus from some chronicle-like source.

⁵⁰ W. HARTKE: Kinderkaiser. 422, where the earlier literature of the question can also be found. According to HARTKE by the phrase *quod audiens* *Get.* 236 linked up the lemmata of the *Chronicon* 455, 2 and 3, at the same place the *quod cernens* «Gelenk» would introduce the Anthemius-lemma of *Chronicon*. 467,1, etc.

lemmata 2 and 3 of *Chronic.* 455 with the functional participle *quod audiens Gyzericus*, since it narrates the death of Maximus — unlike the *Chronicon* — after the «*sacco di Roma*» by Gaisarik. But the fall of Petronius Maximus is described differently by the *Chronicon* and the *Getica* not only on the chronological sequence, but even more in the version of the *exitus Maximi*.

According to the *Chronicon* Maximus was lynched by the inhabitants of the city of Rome, viz.: *Maximus . . . tertioque tyrannidis suae mense membratim Romae a Romanis discerptus est*. This is described by the *Getica* otherwise. In this work in the place of the inhabitants of Rome (*Romani*) a definite person, a certain Roman soldier named *Ursus*, is mentioned, as the murderer of Maximus, viz.: *Maximus tyrannus a quodam Urso, milite Romano, interemptus est*. The name and role of this soldier is mentioned by no other source. In spite of this, in connection with the appearance of *Ursus miles Romanus*, the tradition of the sources can be traced back to Cassiodorus.

The Senator, already in his *Chronicon* closed down in 519,⁵¹ changed the relevant statement of his source, Prosper Tiro.⁵² viz. *Maximus a famulis regis dilaniatus est*, into the phrase *militibus extinctus*. Thus in the narration of the death of Maximus the mentioning of the *milites* originates in all probability from the hand of Cassiodorus. The concrete interpretation of the *milites* is: *Ursus, miles Romanus*. Perhaps we are not far from the truth if we judge this personification narrowing down the general form, in the same way as the name of *Valia* appearing in chapter part 166 of the *Getica*, traced back already above to Cassiodorus, instead of the *Gothi* in *Chronic.* 156, 1215 of Cassiodorus. Both examples unanimously point to the fact that concretization of the general is one of the characteristics of the Senator's activity as a historian, frequently met with in the «History of the Goths». The possibility for his finding some evidence for *Ursus miles* in his source, the Roman History of Symmachus, is almost nil, since the text of *Rom.* 334, at the writing of which Iordanes could directly use both the *Chronicon* of Marcellinus and the Roman History of Symmachus,⁵³ agrees not with the version of the *Getica*, but accurately, verbally with the version to be read in Marcellinus.⁵⁴ And from this we can conclude with justification that the name of *Ursus, miles Romanus* was missing not only from the *Chronicon* of Marcellinus, but also from the report of Symmachus. Thus its mentioning without being based on any source can be ascribed with justification to the «History of the Goths» of Cassiodorus.

Proves the above argumentation to be correct, then Iordanes borrowed the story of Petronius Maximus, to be read in *Get.* 235, not from the *Chronicon*

⁵¹ Chron. Min. II. 157, 1262.

⁵² Chron. Min. I. 464, 1375.

⁵³ The latter was proved by W. ENSSLIN: Symmachus. 61 foll. For the direct use of Marcellinus see T. NAGY: Acta Ant. 4 (1956) 251 foll.

⁵⁴ MGII. AA. V, I. p. 43: . . . *Maximus . . . tertioque tyrannidis suae mense membratim Romae a Romanis discerptus est*.

of Marcellinus, but from the «History of the Goths» of Cassiodorus used as the main source of the *Getica*. Iordanes, by the functional participle *quod audiens Gyzericus*, did not link up one of the lemmata of the *Chronicon* to the other, but two consecutive parts of the «History of the Goths» lying before him.

Similarly to the Maximus-Vita, the narration of *Get.* 236 on Maiorianus cannot be traced back to the *Chronicon* of Marcellinus. According to the *Getica*, before his assassination Emperor Maiorianus prepared to wage war «*contra Alanos, qui Gallias infestabant*». But the parallel text to be read in lemma 461.2 of the *Chronicon* does not know anything about this Gallian expedition planned against the Alans. The two sentences of *Romana* 335 dealing with the reign of Maiorianus is also silent about this, what can serve as a guidance also regarding the fact that Symmachus in his «Roman History» did not speak about this in more detail either. Accordingly, we can consider the «History of the Goths» of Cassiodorus and not the *Chronicon* of Marcellinus as a direct source for the version of the *Getica*.

The biography of Anthemius to be read in *Get.* 236 also points to a more loquacious narrative source than the *Chronicon*. Already that statement of the *Getica* that Anthemius (who ascended the throne in 467) started an armed action against *Beorgus* (*sic*!), prince of the Alans, is diametrically opposed to the relevant testimony of the *Chronicon* according to which «*Beorgor rex Halanorum*» fell still in 464, *i. e.* under the reign of Libius Severus⁵⁵ and not Anthemius, in the fight against Ricimer «*rex*» (correctly: *patricius*).⁵⁶ The correctness of the chronology of the *Chronicon* as compared to the *Getica* is also supported by the recording of *Cons. It.*⁵⁷

Excluding the direct use of the *Chronicon*, in connection with the source of this passage of the *Getica*, the appreciative characterization of the patrician Ricimer, to be read in the *Getica* and standing entirely isolated in antique historiography, would be elucidating, *viz.*: (*Anthemius*) *Recimerem generum suum contra Alanos direxit, virum egregium et pene tunc in Italia ad exercitum singularem*.⁵⁸ The quoted appreciation of positive character is missing from the *Chronicon*, but it cannot be assigned to Cassiodorus. In fact, Cassiodorus, in his *Chronicon* closed down in 519, depicted Ricimer quite opposite to the

⁵⁵ *Libius* is the *nomen gentile* on the obverse of the coins of Severus (COHEN: Médailles impériales. 8, 228 foll.), as well as on the inscribed monuments (DESSAU: ILS 811; DIEHL: ILCV 3179A). Bearing in mind the late Latin phonemic change *v* > *b* (e.g. *labacrum*, *abia*, *ebenit*, *nabigo*, *bixit*, *birgo*, etc.), the emendation *Livius* recommended by SEECK: Untergang. VI. 482, ad 349, 5, cannot be regarded as well founded.

⁵⁶ Chron. Min. II. p. 88.

⁵⁷ *Cons. It.* a. 464 (Chron. Min. I. 305): *Rustico et Olybrio cons. occisus est Beorgor rex Alanorum Bergamo ad pede montis VIII idus Februarius*. Agreeing with this Cassiodorus: Chron. 158, 1278.

⁵⁸ *Get.* 236. In the text the *vir egregius* is not a title, but the compound of a substantive and an attribute of quality belonging to the characterization. To Ricimer, as *magister utriusque militae* and *patricius*, the bearing of the title *vir illustris* was due also otherwise. Cf. DESSAU: ILS 1294: *Fl. Ricimer v. i(n)lustris*, *magister utriusque militae, patricius etc.*

aboves, as a rebel trampling human and civic bonds equally under his feet, as a saboteur of the state, as an intriguing murderer, for whose military abilities he did not find a single word of appreciation either.⁵⁹ Knowing all this it is hardly likely that the Senator, while writing the «History of the Goths», would have modified considerably his opinion as a historian on the patrician Ricimer, and against his earlier judgement, the compilation of the positive characterization to be read in the *Getica* would originate from him. In spite of this the direct source of the characterization of the *Getica* can be sought in the «History of the Goths», where Cassiodorus used several other sources which did not agree with his viewpoints in every respect.

The more favourable judgement of the omnipotent patrician of the 460-es, who was the first to conclude from the political realities the idea of the maintenance of the state formation confined more or less to Italy,⁶⁰ belongs, in my opinion, to the traditions of the Italian chronicle. It is known that the manuscripts of *Cons. It.* without exception preserved the parts of text of the Italian chronicle regarding the 5th century fragmentarily and in an abridged form. The archetype, however, originally must have been almost as loquacious as the work recorded under the title *Excerptorum Valesianorum pars posterior*.⁶¹ In spite of the abridged character of the manuscripts preserved it is unmistakable that the 5th century *Cons. It.* showed Ricimer in a light which can be regarded as favourable. According to this source, *e. g.* the victory won in the vicinity of Placentia over Emperor Eparchius Avitus who was unpopular in Italy, can be attributed exclusively to Ricimer.⁶² Other sources brought this into connection in the first place with the name of Maiorianus.⁶³ The *Cons. It.* with equivocal veils over the role of Ricimer in the assassination of Maiorianus.⁶⁴ It does not refer at all to the role of Ricimer in connection with the death of Libius Severus⁶⁵ and it mentions also the fight for power between Anthemius

⁵⁹ *Chronic.* 158, 1293: (*Ricimer*) *Romae facto imperatore Olybrio Anthemium contra reverentiam principis et ius adfinitatis cum gravi clade civitatis extinguit. qui non diutius peracto scelere gloriatus post XL dies defunctus est.* Cf. 157, 1274: *Maiorianus inmissione Ricimeris extinguitur.* 158, 1280: *... ut dicitur Ricimeris fraude Severus Romae ... interemptus est.*

⁶⁰ E. STEIN: *Geschichte des spätrömischen Reiches.* I. 565, saw in him the forerunner of Odoacar and Theodoric correctly.

⁶¹ MOMMSEN: *Chron. Min.* I. 251 foll. Cf. J. MOREAU: *Excerpta Valesiana.* 1961. praef. p. VII. From the collation of the *Chronicon*-s of Marcellinus and Cassiodorus — naturally only regarding the years after 455 — we can also get a foothold on the text of the Italian chronicle, which is more complete than that of today.

⁶² *Chron. Min.* I. 304, 579. In the same manner Victor Tonnenensis: *Chronic.* 186, 455; Theophanes: *Chronogr.* A. M. 5948 (ed. DE BOOR). Cassiodorus: *Chronic.* 157, 1266, keeps silent about this.

⁶³ See *e.g.* *Chron. Gallic.* a. 511 (*Chron. Min.* I. 664, 6 28). Ioann. Ant.: frg. 202 (FHG. IV. 816).

⁶⁴ *Chron. Min.* I. 305, 588; Cassiodorus: *Chronic.* 157, 1274, beyond all doubt, brings the death of Maiorianus into connection with *inmissione Ricimeris*. In the same manner EUAGR.: h. e. II. 7 (ed. Bidez-Parmentier); Theophanes: A. M. 5955 (De Boor, 112).

⁶⁵ *Chron. Min.* I. 305, 595. In spite of all its briefness, Cassiodorus: *Chronic.* 158, 1280, does not fail to stress that: *Severus Ricimeris fraude peremptus est.*

and Ricimer simply as *bellum civile*, refraining from its political and ethical judgement.⁶⁶

The Italian chronicle was used directly among others by Marcellinus Comes,⁶⁷ and Symmachus.⁶⁸ The more favourable judgement of Ricimer could be read by Cassiodorus in the Roman History of Symmachus. Although he did not agree with this, but, as the literary opinion of an author highly appreciated by him,⁶⁹ he took it over in his «History of the Goths» with *ut quidam dicunt* or some other restriction, very likely expounding also his own differing opinion. The Goth Iordanes, who directly did not draw from the Italian chronicle⁷⁰ and in the *Getica* regarding the second half of the 5th century relied exclusively on the «History of the Goths» of Cassiodorus, selected the favourable characterization of the patrician Ricimer, being of Gothic descent on his mother's side.⁷¹ The description beginning with *virum egregium*, with its elegant style, differs from that of Iordanes and renders it doubtless that it is an adoption on part of the author of the *Getica*. Also this way leads from the main source of the *Getica* to the Roman History of Symmachus, used in connection with the history of the Late Roman Emperors.

The recognition, according to which the history of the emperors given in *Get.* 235 to 244 in their final analysis were based on the material of the Roman History of Symmachus, is supported also by the following small observation: *Get.* 236 writes about Libius Severus that *tertio anno imperii sui Romae obiit*. Marcellinus mentions the coming into power of Severus at the year 461 and his death at the year 465.⁷² Thus according to the judgement of Marcellinus, Severus died not in the third but in the fourth year of his reign. The contrast between the data of the *Getica* and the *Chronicon* is obvious also in this case. The dating of Marcellinus is linked up directly with the tradition of the *Cons. It.*,⁷³ which calculated the reign of Severus from the 19th November

⁶⁶ Chron. Min. I. 306, 606. Similarly the Chron. Gallic. 644, 650. On the other hand see Cassiodorus: *Chronic.* 158, 1293 above in note 59.

⁶⁷ MOMMSEN: Chron. Min. I. 252 and II. 54. Similarly instructive in this relationship is Marcellinus: *Chronic.* a. 438, viz.: *Valentinianus imperator cum Eudoxia uxore Ravennam ingressus*. The origin of this abridged passage is clearly indicated by one of the passages (c. 31) of the work of Angellus from Ravenna using one of the manuscripts of the *Cons. It.*, where the direct continuation of the above quoted sentence can be read (Chron. Min. I. 301), viz.: *et facta est domna Eudoxiae Augusta Ravennae VIII idus Augusti*.

⁶⁸ W. ENSSLIN: Symmachus. 61 foll. For restrictions see the studies quoted above, in note 53.

⁶⁹ Cf. the Symmachus-characterization to be read in the Cassiodorus fragment edited by H. USENER under the title *Aneecdota Holderi* (p. 4), viz.: *qui antiqui Catonis fuit novellus imitator, sed virtutes veterum sanctissima religione transcendit* . . .

⁷⁰ TH. MOMMSEN: Chron. Min. I. 252 and MGH. AA. V, 1. prooem. p. XXXIX.

⁷¹ Sidon. Apollinar.: *Carm.* II. 361 foll. (According to LUETJOHANN Ricimer is the grandson of Valia, Prince of the Visigoths on the maternal side. RE IA 797 (SEECK); L. SCHMIDT: Ostgermanen.² 308.

⁷² Chron. Min. II. p. 88. and 89.

⁷³ Chron. Min. I. 305, 589 and 595. As regards the year, identical date can be found in Cassiodorus: *Chronic.* 157, 1274 and 158, 1280. See also Hydatius: *Chronic.* 33, 231, viz.: *legati obisse nuntiant Severum imperii sui anno IIII*.

461 to the 15th August 465, or accepting the amendment of Seeck,⁷⁴ to November 14th 465. The contradictory evidence of the *Getica* cannot be derived from the work of Marcellinus Comes here either. *Rom.* 336 corrects the above mentioned datum of the *Getica* by a new wording, viz.: *ipse (sc. Severus) tyrannidis sui tertio anno expleto Romae occubuit. Rom.* 336 by this wording, viz. that Severus died after having completed the 3rd year of his reign, i. e. already in the 4th year of his reign,⁷⁵ joined the tradition of *Cons. It.*, which — as we have seen — is followed also by the *Chronicon* of Marcellinus.

The contradictory evidence of *Get.* 236, however, does not stand alone. The time of the reign of Severus is given in three years by the so called *Consularia Hydatiana*,⁷⁶ as well as by Euagrius⁷⁷ and Theophanes.⁷⁸ This duality of the tradition was observed already earlier, but its testimony regarding the three year period was rejected as an error.⁷⁹ In the relationship of the *Cons. Hydat.* this standpoint is undoubtedly correct. The *Consularia* dates the death of Severus to 464, what, in view to the dating of the 2nd Novella of Severus (September 25th 465),⁸⁰ cannot be taken earnestly. Similarly, the context of the report of Theophanes, swarming with errors, also warns to be cautious.⁸¹ The description given by Euagrius regarding the Western Roman Emperors after 455, however, is in regard to its other data accurate and therefore the period of three years given as the duration of the reign of Severus cannot be put simply aside. The more so, as the information of Euagrius, whether directly or by the mediation of the chronicle of Eustathios Epiphanius, can be traced back to the historical work of Priscus recorded up to the year 472.⁸² The *Getica* also refers to Priscos several times, but only in its part connected with the history of the Huns.⁸³ Without a reference to the author, we can discover a further »Prisciana» in the *Getica* in the description of the events in the decades following the death of Attila.⁸⁴ These references and adoptions were judged already by Mommsen so that in connection with these Priscos was not abridged by Jordanes, but the Gothic History of Ablabius, from where this material bor-

⁷⁴ O. SEECK: *Untergang*. VI. 483 ad 352, 19.

⁷⁵ It is incomprehensible that O. SEECK: *op. cit.* and RE II A 2006h. mentioned the data of the *Get.* 236 and *Rom.* 336 under the same category.

⁷⁶ Chron. Min. I. 247, 461 and 464.

⁷⁷ Euagr.: *h.e.* II. 7 (BIDEZ—PARMENTIER).

⁷⁸ Theophanes: *Chronogr.* A. M. 5947 (DE BOOR).

⁷⁹ Cf. SEECK above in notes 74 and 75.

⁸⁰ Novella Severi II [Leges, Novellae ad Theodosianum pertinentes, ed. P. M. MEYER: Berolini 1950. p. 201 foll].

⁸¹ According to Theophanes the successor of Petronius Maximus is Maiorianus, who reigned for 2 years, and he was followed by Avitus, who also ruled for 2 years. Avitus would have been followed by the 3 years' reign of Severus.

⁸² For the relationship to each other of the works of Euagrius and Priscus see K. KRUMBACHER: *Geschichte der byzantinischen Literatur*². 1897. 245 foll.; Gy. MORAVCSIK: *Byzantinoturcica*. I². 1958. 258.

⁸³ *Get.* 123, 178, 183, 222, 254, 255.

⁸⁴ TH. MOMMSEN: MGH. AA. V, 1. proem. p. XXXIV foll.

rowed from Priscos was conveyed to the author of the *Getica* by Cassiodorus.⁸⁵ The knowledge of Priscos by Ablabius «*istoricus*», however, is rather doubtful. We do not know almost anything about Ablabius, beside that he wrote a Gothic history in which he used sources written in Greek, thus among others the work of Dexippos entitled *Γετικὴ*.⁸⁶ It is presumed that Ablabius lived at the time of Theoderik and can be regarded as an elder contemporary of Cassiodorus.⁸⁷ It is striking, on the other hand, that in the *Getica* the references to Ablabius do not go further than the 4th century⁸⁸ and thus it is rather doubtful, whether Ablabius discussed at all the Age of Attila, on which the Priscos quotations of the *Getica* refer. On the basis of the data to be read in the *Getica*, Ablabius seems to belong more to that generation of writers, which in the last decades of the 4th century and in the beginning of the 5th century, with the impressions of the fatal role played by the Goths since 377, continuing the initiative of Dexippos, turned towards the study of the history of the Gothic people.

The Priscos-quotations of the *Getica* and its references can be traced back instead of Ablabius much more to the «Roman History» of Symmachus who carried on literary activity really in the Age of Theoderik. This is even more likely, as in connection with the collation of the Aspar-recordings to be read in *Get.* 239, *Rom.* 338, and Marcell. *Chronic.* a. 471, the more recent investigations have shown about this author that he borrowed directly from the work of Priscos.⁸⁹ On the other hand, besides the chapter parts *Get.* 83—88, Cassiodorus furnished further data from the «Roman History» of Symmachus to Iordanes, who abridged the «History of the Goths». Thus the report of *Get.* 236 regarding the not quite three years long period of the reign of Libius Severus, with a double transmission — with the mediation of Symmachus, and then of Cassiodorus —, can be traced back in a final analysis to the work of Priscos entitled *Ἱστορία Βυζαντινῆ*.

In the following we can also point out briefly, on the basis of what likely facts could the reign of Severus be dated to three years by Priscos, who was contemporary with the events and well informed also as regards the Italian conditions.

The more recent historiography dealing with the political history of the Western Empire in more detail, unanimously states that the Byzantine court, and particularly Emperor Leo, did not recognize Libius Severus in any form

⁸⁵ TH. MOMMSEN: *loc. cit.*

⁸⁶ *Get.* 117. F. SCHWARTZ: RE V 290, 13 foll.

⁸⁷ It was judged this way by TH. MOMMSEN: *op. cit.* XXXIX. The identification of Ablabius, the historiographer, with the person of C. Iul. Rufinianus Ablabius Tatianus (RE 10 (1917) 793) is quite hypothetic.

⁸⁸ *Get.* 28, 82, 117.

⁸⁹ W. ENSSLIN: Symmachus. 76; W. HARTKE: Kinderkaiser. 432, while note 7 is inclined towards the opinion of KAPPELMACHER, to be read in RE 9 (1916) 1920h, according to which Iordanes borrowed also direct from the work of Priscos.

as the Augustus of the Western Empire.⁹⁰ But on our own part we feel that in the summer of 463, on the basis of the actual position, some kind of agreement was arrived at between the Eastern and Western Courts and on the basis of this the former one *de facto* recognized the political situation developed in Italy.

In 462 on part of Byzantium the new Italian regime was still undoubtedly rejected. When in 461 Libius Severus ascended the throne, according to the old practice, he took over the office, of one of the eponymous consuls of the next year. The Eastern Court did not recognize this assuming of office by Severus,⁹¹ what in this case was equal to the refusal of the recognition of the office of co-ruler. As a retorsion, the second consulship of Leo⁹² was not recognized in the Western Empire officially, in spite of the fact that in Italy — independent from the change of the co-ruler — Emperor Leo was regarded as the Augustus first in rank.⁹³ The unfriendly relations between the regimes of the two parts of the Empire towards each other did not change even at the end of 462, when Libius Severus, disregarding the fact that Byzantium did not recognize him as a co-ruler, as the Augustus of the Western Empire availed himself of his right to appoint one of the consuls of the next year, in the person of the long-named Fl. Caecina Decius Maximus Basilius, the former Italian *praefectus praetorio* of Maiorianus.⁹⁴ This nomination, however, was not promulgated in the Eastern Empire in the beginning of 463. As a reply, on the other hand, in the West they did not take notice of the candidature of Fl. Vibianus, a high official of the court, designated by Emperor Leo for the year 463.⁹⁵

As from the middle of 463, however, a change can be observed in the first place in the attitude of the Western Court, but following the Western initiative, also in the policy of Byzantium towards Italy. As a sign of the change, Libius Severus and Fl. Ricimer actually holding the power, did not designate

⁹⁰ O. SEECK: *Untergang*. VI. 350 foll.; E. STEIN: *Geschichte des spätrömischen Reiches*. I. 563; E. W. BROOKS: *C. M. H. I* (reprint 1957) 468. The question is not touched by the newer summaries, not dealing in more detail with the western part of the Roman Empire, like for example N. A. MASKIN: *Az ókori Róma története* (History of Antique Rome) 1951.; A. PIGANIOL: *Histoire de Rome*. Paris 1954. W. ENSSLIN: *Historia Mundi* 5 (1956). S. MAZZARINO: *La fine del mondo antico*. Milano 1959.

⁹¹ For this and the following see the data in E. DEGRASSI: *I fasti consolari*. Roma 1952. 92 foll. Besides, the notes of W. LIEBENAM (*Fasti consulares*. 1909) can be read with advantage even now from the viewpoint, which consuls were recognized by the eastern and western part of the Empire, respectively. For the latter see also E. DIEHL: *ILCV III* p. 247 foll. In fact the consulship of Libius Severus was not promulgated in Dalmatia, the sphere of authority of the patrician Marcellinus either. In the beginning of the year 462, when the report of the 2nd consulship of Leo did not yet reach here from Byzantium, in Dalmatia the dating was made with the name of Fl. Severinus, the western consul of the previous year. DIEHL: *ILCV 1174*, viz.: *post c(o)s Severini uc.*

⁹² E. STEIN: *op. cit.* 563, note 3. On the objections made on the basis of this see DIEHL: *ILCV 115*, 3028A, 3179A, and E. DEGRASSI: *loc. cit.*

⁹³ DESSAU: *ILS 811* and *Novell. Severi I* (P. M. MEYER: 199 foll.).

⁹⁴ DESSAU: *ILS 810* and ENSSLIN: *RE 22* (1954) 2499, 59.

⁹⁵ For his person see Candidian.: *ιστ. frg. 1* (FHG. IV. 135b).

consuls for the year 464. The right of designation of both consuls was practised by Emperor Leo, who designated as the consuls of the year 464 two distinguished senators living in Byzantium, *viz.* Fl. Rusticius and Anicius Olybrius. Both designations were officially recognized in the West. The same thing repeated itself in the next year. Also at that time both consuls of the year 465 were designated by the East Roman Emperor in the persons of Fl. Basiliscus, brother-in-law of the Emperor, and Hermenericus, the youngest son of the powerful Fl. Ardabur Aspar, military Commander-in-Chief. In the West this designation of the two eponymous consuls of the year 465 was also recognized.

At the year 463, to be regarded as a turning point in the relations of the two courts, Priscos mentions the first West Roman delegation, which asked for the help of the Eastern Court to the pacification of the Vandals and the patrician Marcellinus, establishing his power in Dalmatia.⁹⁶ In the already mentioned place of Priscos we can also read that this delegation was not turned down by Emperor Leo, but on the contrary, in accordance with the intention of the delegation, he sent his court official Phylargios with instructions inviting for peace first to the patrician Marcellinus, and then from there to Gaisarik. As from the 7th July of the same year the beginning of the reign of Libius Severus is calculated by Victor Tonnenensis, as well as by Theophanes.⁹⁷

Both authors mentioned above borrowed from Constantinople tradition. The African Victor wrote his Latin *Chronicon* in 564–565 as an exile in one of the monasteries of Byzantium. The later Theophanes indirectly or directly used the data of the *Consularia Constantinopolitana*, which is well informed about the events in Byzantium. Theophanes did not know the work of Victor Tonnenensis written in Latin. Thus the identical data of both historians can be traced back to a common source which cannot be anything else than the *Consularia Constantinopolitana*. Victor could have borrowed from it directly and Theophanes indirectly.⁹⁸

⁹⁶ Priscus: frg. 30 (FHG. IV. 104). SEECK: *Untergang*. VI. 351 foll. dated this legateship to the year 464, since according to him Fl. Ricimer was placed into such an isolated position by the successful advance of Aegidius in Gallia, as well as by the danger of an alliance planned with Gaisarik and by the expected turning against Italy of Marcellinus, staying in Sicily, from which he could hope a way out only with the support of the Eastern Court. Aegidius, however, carried on his successful fights, mentioned by Priscus, against the Visigoths allied with Ricimer still in 463 (Hydatius: *Chronica*. 33, 218; *Chronica*. Gallie. a. 511, 664, 638, etc.) and the coastal regions of Sicily and Italy were disturbed also by the Vandals already as from the year 462 (Priscus: frg. 29). The reasons for the sending of the Western Roman delegation given by Priscus, *viz.* Aegidius on the one hand and the threatening of the Vandals on the other hand existed, therefore, undoubtedly already in the summer of 463. The role of the patrician Marcellinus could also be judged otherwise. Marcellinus, after having been compelled to leave Sicily in 462, appeared again in the island not in 464 — as this is recorded by Hydatius: 33, 227 —, but only in the next year, as this was recently shown by CHR. COURTOIS: *Byzantion* 21 (1951) 23 foll. On the basis of the aforesaid I do not see any reason, why we should change the dating to the year 463 of the Western Roman delegation, mentioned by Priscus: frg. 30, and established still by the argumentation of LE NAIN DE TILLEMONT (*Hist. des empereurs*. VI. 331).

⁹⁷ Chron. Min. II. 187, 463.2, and Chronogr. A. M. 5955.

⁹⁸ TH. MOMMSEN: *Chron. Min.* II. p. 180; M. SCHANZ — C. HOSIUS — G. KRÜGER: *Geschichte der römischen Literatur*. 4, 2, 113. On Theophanes see GY. MORAVCSIK: *Byzantinoturcica*. I² 1958, 531 foll.

Calculating from the 7th July 463, the death of Libius Severus (November 14th, 465) really fell to the 3rd year of his reign, as it can be read in the *Getica*, among the sources of which, of course, neither Victor, nor Theophanes can appear. Thus this datum could be conveyed only by a third source which was directly or indirectly used by the *Getica* and which can be pointed out also in the ecclesiastical history of Euagrius. Both the *Getica* and the work of Euagrius in connection with the history of the decades previous to 472 borrowed many data from the «Byzantine History» of Priscos, through the mediation of their directly used main source, Cassiodorus, and Eustathios Epiphaneus. Since in the case of the *Getica* and Euagrius in regard to the history of the West Roman Emperors we cannot reckon with any other common source than Priscos, its data on the duration of the reign of Libius Severus differing from the tradition of the western sources, can be traced back to the author of the «Byzantine History» asserting the viewpoints of the Eastern Empire.

The suspension of the right of appointment of one of the consuls on part of Libius Severus, as from the end of 463, the delegation sent by the Western Court about the middle of 463 to Byzantium, the reception of the same and the granting of its requests on part of Emperor Leo, the recording of the reign of Libius Severus by the chronicle of the eastern capital, all these together point to the fact that in July of 463 some agreement must have been brought about between Emperor Leo and the representatives of the Western Court. By a valuation of the fragmentary data which here and there are also contradictory, the most essential part of this agreement from the viewpoint of political law can be seen in the fact that Emperor Leo from this time onwards – among other things in return for the giving up of the right for the appointment of one of the consuls on part of Severus –, at least *de facto*, recognized the political situation developed in Italy and together with this also Severus, as the ruler of the Western Empire.⁹⁹ Besides the already mentioned data of Victor Tonnensis and Theophanes, some kind of definite appreciation is expressed in the relevant material of the version of the *Consularia Italica*, known under the title *Fasti Vindobonenses priores*.

As it was observed already earlier,¹⁰⁰ in the *Fasti Vindobonenses priores* the address *dominus noster* distinguishes the rulers of the Western Empire recognized by the Eastern Court, from those Emperors who were not recognized in Byzantium as corulers. Beside the names of the latter only the title *imperator* can be read in the Viennese manuscript of the Italian chronicle. In fact, in the names of the rulers of the decades following after Valentinian III in the above mentioned version of the *Consularia Italica* the title *dominus noster* is missing from the names of Petronius Maximus (a. 455), Fl. Eparchius Avitus (456–6), Anicius Olybrius (472) and Glycerius (473–4). According to

⁹⁹ The acceptance of the legal recognition is prevented for the time being by the fact that Leo in the addressing of his decree of the year 465, preserved in Cod. Iust. I. 36,1, does not mention Libius Severus as co-ruler. It is true that the *tituli* of the Cod. Iust. are not always accurate, so that – unlike SEECK: Untergang. VI. 483, ad 352,5 – we cannot ascribe a great significance to this silence, but for the time being we cannot entirely disregard it either.

¹⁰⁰ J. BURY: JRS 12 (1922) 223 foll., adopting the earlier expoundings of HOLDER--EGGER (Die Chronik des Marcellus und die oströmischen Fasten. 1877. 56 foll.).

the testimony of the relevant sources, the East Roman Emperors Marcianus and Leo did not recognize either of the above mentioned West Roman rulers as corulers really.¹⁰¹ As compared with the aboves, the address *imperator dominus noster* can be read in the Viennese manuscript of the *Cons. It.* beside the names of Maiorianus (457 – 461), Libius Severus (461 – 465), Anthemius (467 – 472) and Iulius Nepos (474 – 475).¹⁰² Among the above mentioned emperors, the recognition of Maiorianus is judged by the historical literature relating to the Late Roman Empire differently.¹⁰³

In our opinion, Seeck is on the correct way when, with reference to the recording of the *Chronicon* of Marcellinus representing the viewpoints of the Eastern Court,¹⁰⁴ he states that in the beginning Maiorianus did not assume the title *Augustus*, but up to the end of 457 ruled as a *Caesar* by recognition of Emperor Leo.¹⁰⁵ However, Seeck still felt that in December of 457 Leo withdrew the recognition of Maiorianus, although from the text to be read in lemma 461.2. of Marcellinus we can definitely conclude that in Byzantium after December of 457 Maiorianus was not recognized as *Augustus*, but as regards the relations of state law he was continually regarded as the ruler of the Western Empire in the rank of a *Caesar*.

After Maiorianus, in connection with the recognition of Anthemius by the Eastern Court it is sufficient to refer to the following sentence of the *Chronicon* of Marcellinus, viz.: *Leo imperator Anthemium patricium Romam misit imperatoremque constituit*.¹⁰⁶ Iulius Nepos in the summer of 474 arrived in the port of the city of Rome, similarly with the recognition by Emperor Leo in

¹⁰¹ Petronius Maximus, see Marcellinus: *Chronic.* a. 455,2. Regarding Eparchius Avitus see Chron. Min. I. 304, 575,7; 580. Regarding Anicius Olybrius see Chron. Min. I. 306, 606, 608. Regarding Glycerius see Ioann. Ant.: frg. 209 (FHG. IV. 618a); Marcellinus: *Chronic.* a. 474,1.

¹⁰² Chron. Min. I. 305, 583; 305, 588; 305, 597; 306, 613.

¹⁰³ See for example O. SEECK: *Untergang*. VI. 339; J. BURY: *op. cit.* in note 100 above; E. STEIN: *op. cit.* 553 foll.; W. ENSSLIN: *RE* XIV 584 foll., etc.

¹⁰⁴ Chron. Min. II. 87, 457,2, viz.: *Cuius (sc. Leonis) voluntate Maiorianus apud Ravennam Caesar est ordinatus*.

¹⁰⁵ J. BURY: *loc. cit.*, the objection made here, which was adopted also by STEIN: *loc. cit.*, can be accepted only partly. In fact, in contrast to the quoted investigators it is necessary to underline that the use of the title *Caesar* has a double meaning in the work of Marcellinus Comes. In lemma 402,2 the designation «*Caesar*» was used by Marcellinus undoubtedly not as a technical term of political law, but — as this is rendered doubtless by the parallel text of the Chron. Pasch. — in the sense of the full-fledged co-ruler, or «*Augustus*». But on the other hand it cannot be doubted that the passage to be read in lemma 424,2 of the *Chronicon*, viz.: *Valentinianus Caesar creatus etc.* communicates the raising of the child Valentinian to the rank of a *Caesar* — as this is corroborated also by other sources —, since the obtainment of the office of *Augustus* was reported by Marcellinus one year later in a separate lemma (a. 425,2) with these words: *Valentinianus iunior apud Ravennam factus est imperator*. Thus the designation «*Caesar*» of the Maiorianus-lemma belongs to this latter context. The designation «*Caesar*» of lemma 461,2 does not contradict to this, on the contrary, it confirms that although Maiorianus was not recognized as *Augustus* in Byzantium (this proclamation was made in Rome in December of 457), but he was continually handled as *Caesar*.

¹⁰⁶ Chron. Min. II. 89, 467,1.

his pocket, and then, a few days later, on the 24th June he officially ascended the throne in Rome.¹⁰⁷

Among the four West Roman rulers mentioned in the recordings of the *Fasti Vindobonenses priores* with the address *imperator dominus noster*, in the case of Maiorianus, Anthemius and Iulius Nepos can be proved beyond any doubt that the Augustus of the Eastern Empire recognized all three of them (Maiorianus at least in the rank of *Caesar*) as co-rulers. After these in the case of Libius Severus, recorded in the Viennese chronicle fragment also with the address *imperator dominus noster*, it would be forced to give on the address *dominus noster* an interpretation differing from the aboves. The *Consularia Italica* at any rate recorded Libius Severus right at the time of his accession to the throne as a ruler recognized by the Eastern Empire, although according to the references of the East Roman sources (Victor, Euagrios and Theophanes) this recognition was made only two years later, in the summer of the year 463.

As regards the forms of recognition the wording of Marcellinus Comes is instructive again. About the accession to the throne of Severus he writes in his *Chronicon* (a. 461.2) that Severus *invasit locum eius* (sc. *Maioriani Caesaris*). Marcellinus, who was brought up on the style of Orosius, denotes by the verb *invadere* always the coming to power of the tyrant. Thus according to the judgement of the historian following the Byzantine viewpoints, Severus in 461 expropriated the *Caesar*-jurisdiction of Maiorianus.

On the mentioning of the death of Severus, on the other hand, he mentions this ruler, as a person who *arripuit principatum*. The verb *arripere* in Marcellinus is synonymous with the verb *invadere* and also denotes the illegal expropriation of the power. In the above mentioned context the object of this verb is *principatus*, or the jurisdiction of the *princeps*. Marcellinus, on the other hand, applies the phrase «princeps» always to the lawful ruler in the rank of *Augustus*. Thus at the recording of the year 465, it is no longer the usurpation of the title and rank of *Caesar*, but that of the *Augustus*, what Marcellus ascribes to Libius Severus. In the case of the correctness of the above observations, it can be added to our earlier statements that in the summer of 463 the Eastern Court *de facto* recognized Severus as the ruler of the Western Empire, but in the relations of political law between the two parts of the Empire only the title *Caesar* was given to Severus, further denying him the recognition as *Augustus*, an equal rank with that of the East Roman Emperor.

After this short detour returning to the datum of *Get.* 236 relating to the reign of Severus, we feel that on the basis of the aforesaid, the traditions of the sources of this passage, as well as the authenticity of its contents can be regarded as clarified to a considerable extent. As regards the handing down of

¹⁰⁷ Chron. Min. I. 306, 613. II. 91, 474,2; 475,2 (the latter records the accession to the throne erroneously at the year 475).

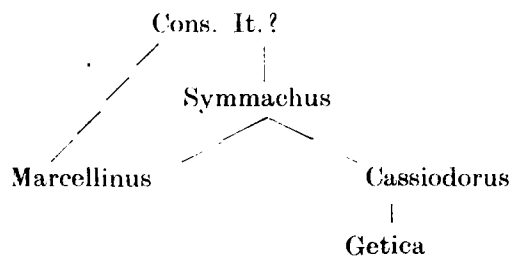
the sources, the datum of *Get.* 236, through the mediation of the works of Cassiodorus and Symmachus, can be traced back to the «Byzantine History» of Priscos. And the latter author obviously interpreted the standpoint of the Eastern Court in giving the reign of Severus in a period of three years. The direct use of the *Chronicon* of Marcellinus on part of the *Getica* can be regarded as excluded also in the case of the Severus-pericope. This evidence of the eastern tradition mediated through the Roman History of Symmachus was read by Iordanes in the main source of the *Getica* the «History of the Goths» of Cassiodorus.

On the basis of these results we can return to the starting point of our investigations, viz. the relationship of the *Getica* and the *Chronicon* to each other. In a summarized form we can say about this that in the parts of the *Getica* relating to the 5th century, the direct use of the text of the *Chronicon* can nowhere be proved. The report on the Gallian tyrants, just like the inserted pericope on the reoccupation of Pannonia, and finally the parts dealing with the history of the Late Roman Emperors inserted in the story of Eurik II, in spite of the partial and here and there even literal agreements, do not originate from the *Chronicon*, but also these parts were borrowed by Iordanes from the «History of the Goths» of Cassiodorus, based on the narration of the Roman History of Symmachus. The participial phrases *quod audiens, quod cernens, etc.*, these stylistic linking «sutures» in the Eurik story do not link up the lemmata of Marcellinus, but the single parts of the abridged Gothic History. The essentially identical passages on the reoccupation of Pannonia to be read in *Get.* 166 and in the *Chronicon* of Marcellinus, are independent from each other inasmuch as they were not borrowed by Iordanes from the *Chronicon*, but similarly from the «History of the Goths» of Cassiodorus, who found this historical event — still without mentioning the appearance of the Goths — in the same source, viz. the Roman History of Symmachus, as Marcellinus Comes.¹⁰⁸ Thus in the relationship of this common source the text of the *Getica* and the *Chronicon* is based on the same tradition. The work of Marcellinus deserves priority inasmuch as it preserved the data of its source more clearly, while Cassiodorus by mentioning the Goths, and then Iordanes by inserting the adverb «pene» and by the application of the *accusativus absolutus* deprived it of its original composition.

The source of Symmachus for the reoccupation of Pannonia cannot be given with full certainty. It is, however, likely that the *Consularia Italica* used by him also mentions this event. Since, however, the recordings of the Italian chronicle between 419 and 428 were unfortunately not preserved, we cannot state anything definitely about the primary source.

¹⁰⁸ However, in the case of Marcellinus the direct knowledge of one of the manuscripts of the *Cons. It.* cannot be disregarded either. In the case of Marcellinus the possibility of the use of synoptic sources in connection with the Pannonia-datum exists in the fullest measure.

In conclusion the tradition of the sources relating to the reoccupation of Pannonia could be visualized by the following scheme:



Budapest.

L'ITALIE DU SUD ET BYZANCE AUX X^e—XI^e SIÈCLES¹

Pour comprendre les rapports byzantins de l'Italie du Sud et de la Sicile il y a lieu de tenir compte de *la multiplicité des formes* que ceux-ci avaient pris pour l'essentiel avant la conquête normande. Aussi vais-je examiner successivement le sort des principautés lombardes, des domaines grecs et des républiques urbaines, eu égard en particulier aux faits du développement économique qui rattachent le territoire en question à la sphère de Byzance. Je me suis attaché à étudier ces questions en qualité de spécialiste de l'histoire générale et non comme byzantinologue, de sorte que c'est au point de vue de l'histoire de l'Italie du Sud que j'ai examiné les événements et c'est en fonction de l'évolution générale économique, politique et ecclésiastique autour de l'an mil que je traiterai de ces rapports.

Au début du XI^e siècle la principauté *Bénévent* (Benevento) décomposé intérieurement en de 'petits domaines féodaux allait en faiblissant, d'autant plus qu'il avait à soutenir des luttes avec les principautés de Capoue (Capua) et de Salerne (Salerno). Dans la première moitié du siècle il avait néanmoins encore un certain poids: les sources, en particulier dans le premier tiers du siècle, en tiennent compte, et c'est de l'importance économique du pays que témoigne la frappe de la monnaie d'or que les ducs de Bénévent poursuivent jusqu'au milieu du siècle. La principauté de Bénévent était le territoire sur lequel s'exerçait le droit privé lombard le plus pur.² A côté des milieudirigeants de

¹ Conférence donnée à Budapest le 13 octobre 1964 au colloque de byzantinologie (Académie des Sciences de Hongrie — Société Scientifique de l'Antiquité).

² R. HOLTZMANN: *Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (900—1024)* (troisième édition; Berlin, 1955) p. 213.; J. PENROSE TREVELYAN: *A Short History of the Italian People*. London—New York, 1929, pp. 70, 83.; A. SÜHLE: *Deutsche Münz- und Geldgeschichte von den Anfängen bis zum 15. Jahrhundert*. Berlin, 1955, p. 10.; PH. GRIERSON: *Monete bizantine in Italia dal VII al XI secolo* (dans: *Moneta e scambi nell'alto medioevo*. Spoleto, 1961.) pp. 41, 51.; compte rendu de M. MÓRA de l'ouvrage de P. S. LEIGHT: *Storia del diritto Italiano. Le fonti. Lezioni con appendice di documenti da servire per le esercitazioni*. Milano, 1939 (dans la revue *Századok*, 1940) p. 335.; S. RUNCIMAN: *The Eastern Schism. A Study of the Papacy and the Eastern Churches during the XIth and XIIth Centuries*. Oxford, 1956, p. 37.; T. WASILEWSKI: *Le thème byzantin de Sirmium-Serbie au XI^e et XII^e siècle*. Recueil des travaux de l'Institut d'Études byzantines, N° VIII₂ — *Mélanges G. Ostrogorsky II* — Beograd, 1964, p. 470.; P. KEHR: *Die Belehungen der süditalienischen Normannenfürsten durch die Päpste (1059—1192)*. Berlin,

nom lombard les sources offrent de plus en plus de noms bourgeois et paysans italiens. C'est sur le territoire de la principauté de Bénévent que se trouvait la ville d'Avellino dont les alentours étaient fertiles et évolués. Ainsi en 1026 on louait une terre sur la plaine en proximité de la ville en bail à mi-fruit pour 29 années pour la culture du lin et d'autres plantes. En 1037 le supérieur du couvent de San Modesto bâti dans la nouvelle ville de Bénévent (où nous connaissons une *civitas vetus* et une *civitas nova*) baille à des personnes habitant aux alentours d'Avellino une église et un domaine des environs pour une durée de 15 ans, tout en retenant à l'usage du couvent un châtaigneraie et une mûreraie (celsi). On pense immédiatement à la sériciculture. Et effectivement les métayers s'engagent à recueillir la soie en temps dû, et à remettre au couvent la moitié de la quantité de soie (*sericum*) que le Seigneur leur donne. (C'est le plus ancien document italien qui mentionne l'élevage du ver à soie.) De plus les métayers ont à verser annuellement un cens de 5 pièces (*tarì*) d'or de Salerne à titre du prix du bail.³ C'est ici que nous mentionnerons que dans la Sicile arabe (Palerme) la soierie paraît dès le X^e siècle.⁴

La principauté de Salerne, situé sur le littoral, offrait des possibilités économiques plus importantes, mais en même temps il était plus à la merci des pillards arabes et de la puissance de Byzance. Cela ne l'empêchait d'ailleurs pas à entretenir avec ces mêmes forces des rapports commerciaux, comme en témoigne le monnayage du prince Gisulf I (938 — 78). Pendant son règne la monnaie frappée à la façon arabe, avec une inscription en partie koufique, en partie latine portait le nom de *tarì* correspondant au dirhem. Le modèle de la monnaie de cuivre (*follari*) était byzantin. Ibn Hawqal aussi connaissait Salerne qu'il décrivit comme un Etat lombard. Les commerçants de Salerne sont parvenus à Pavie vers 1010/20. Le *tarì* d'or de Salerne circulait en 1037 aussi dans le duché de Bénévent. La capitale était un centre féodal (le château se dressait sur le sommet d'une montagne conique derrière la ville), avait une *civitas vetus* et une *civitas nova*, une population disparate (*vulgus necnon et sublimes*). Son importance ecclésiastique était également grande: aux IX — X^e siècles on y éleva la Chiesa del Crocifisso, plus tard on déposa dans la crypte de la cathédrale (*chiesa di santa Maria e di san Matteo*) les reliques de l'évangéliste Mathieu retrouvées par quelques Grecs salernitains et apportées en 954 de Lucanie.

1934, p. 14.; E. PONTIERI: Benevento Longobarda e il travaglio politico dell'Italia meridionale nell'alto Medioevo. Atti del 3^o Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo. Spoleto, 1959, p. 27; P. LAMMA: Il problema dei due Imperi e dell'Italia meridionale nel giudizio delle fonti letterarie dei secoli IX e X. *ibid.* p. 165; C. G. MOR: Considerazioni minime sulle istituzioni giuridiche dell'Italia meridionale bizantina e longobarda. *ibid.* pp. 142, 149; O. BERTOLINI: Longobardi e bizantini nell'Italia meridionale. *Ibid.* pp. 113—115.

³ Catalogo della mostra delle pergamene di Montevergine (Anni 947—1077). Roma, 1956 (avec une introduction par P. TROPEANO) pp. 5, 15—17; FR. CALASSO: La città nell'Italia meridionale dal sec. IX al XI (Atti del 3^o Congresso . . .) p. 57.

⁴ C. BATTISTI: Ripercussioni lessicali del commercio orientale nel periodo giustiniano (dans: *Moneta e scambi . . .*) p. 637.

Salerne fut siège archiépiscopal latin vers 983, mais nous connaissons au X^e siècle un assez grand rôle des moines grecs. Ce qui valut à Salerne la plus grande renommée, ce furent les sciences médicales. Sa célèbre école de médecine remontant au IX^e siècle (mentionnée en 846) connut au X^e et dans les siècles suivants un très grand essor. Elle assumait un rôle important dans la perpétuation de la culture gréco-latino-arabe déclinante. On suppose qu'au X^e siècle il existait dans la ville une corporation des médecins précédant l'expansion de la médecine pratiquée dans les couvents bénédictins. A côté de médication on s'y occupait aussi de la formation de médecins, et au XI^e siècle, plus exactement en 1110, l'école accéda au rang d'université. Gardienne des traditions de la science médicale grecque Salerne méritait bien le surnom de Hippocratica Civitas. Le prince Gisulf II. était un allié de l'empereur de Byzance en opposition avec les Normands.⁵

Le troisième Etat lombard de l'Italie du Sud, la principauté de *Capoue* exista de 856 jusqu'en 1065. Dans le X^e siècle cet Etat fit frapper une monnaie d'argent, en 960 on mentionne les «bizantios solidos». Enclavé entre Gaète et Naples, il garde son caractère continental. Sa capitale, Capoue, avec une population stratifiée (illustres et omne vulgus) fut siège épiscopal, puis à partir de 966 archiépiscopal. Son dôme fut bâti au XI^e siècle. C'est sur le territoire du duché de Capoue que se trouve le célèbre couvent de *Mont Cassin* (Monte Cassino) qui de 855 à 1112 entretenait de rapports étroits avec la Grèce. Le couvent détruit par les Arabes (en 883 et 914) fut reconstruit. Dans une vallée, la Valleluce de l'abbaye de Mont Cassin vécut avec la permission du supérieur bénédictin l'ermite Nilus (Nilos, saint Nil), père basilien (910—1005) et ses

⁵ S. RUNCIMAN: *The Eastern Schism* . . . p. 37.; T. WASILEWSKI: *op. cit.* pp. 470—471; PH. GRIERSON: *Monete bizantine* . . . p. 42; PH. GRIERSON: *Coinage and money in the byzantine empire 498—c. 1090* (dans: *Moneta e scambi* . . .) p. 453.; C. G. MOR dans: *La discussione sul tema: gli scambi internazionali e la moneta* (*Moneta e scambi* . . .) p. 683; R. BOUTRUCHE: *Seigneurie et féodalité. Le premier âge des liens d'homme à homme*. Paris, 1959, p. 47.; F. FRIEDENSBURG: *Münzkunde und Geldgeschichte der Einzelstaaten des Mittelalters und der neueren Zeit*. München und Berlin, 1926, p. 100.; J. H. MUNDY—P. RIESENBERG: *The Medieval Town*. Princeton, New Jersey, 1958, pp. 98, 172; *Catalogo della mostra delle pergamene di Montevergine* pp. 16—17; M. L. АБРАМОН: *О роль арендных отношении в социально-экономическом развитии южной Италии (IX—XI вв.)*. (dans le volume *Из истории трудящихся масс Италии*. Moscou, 1959) pp. 27, 33—44.; A. SCHIAVO: *L'arte a Salerno e nella sua provincia*. Salerno, pp. 3—5.; M. SCHMID: *Die Medizin der Dantezeit. Deutsches Dante-Jarhbuch. Vierzigster Band*. Weimar, 1963, p. 116.; M. UHLIRZ: *Untersuchungen über Inhalt und Datierung der Briefe Gerberts von Aurillac, Papst Sylvesters II.* Göttingen, 1957, pp. 124, 145; G. E. TRICASE: *Pharmacy in History*. London, 1964, p. 16.; H. LEY: *Studie zur Geschichte des Materialismus im Mittelalter*. Berlin, 1957, p. 193.; W. GOETZ—*etc.*: *Das Zeitalter der Gotik und Renaissance*. Berlin, 1932, p. 621.; M. SALMI: *L'arte italiana*. I. Firenze, 1954, pp. 244—245.; *Regola Sanitaria Salernitana. Regimen Sanitatis Salernitanum. Versione italiana di Fulvio Gherli*. Salerno—Roma, 1954, pp. 12—13.; N. ACCOCELLA: *La Traslazione di san Matteo*. Salerno, 1954, pp. 6, 8, 11, 13—16, 20—28, 31, 35—36, 39, 40, 45, 50, 53.; A. PERTUSI: *Bisanzio e l'irradiazione della sua civiltà in Occidente nell'alto medioevo* (dans: *Centri e vie di irradiazione della civiltà nell'alto medioevo*. Spoleto, 1964, p. 115.; A. LENTINI: *Sul viaggio costantinopolitano di Gisulfo di Salerno con l'arcivescovo Alfano* (*Atti del 3° Congresso* . . .) pp. 437—438; F. CALASSO: *op. cit.* pp. 45—46, 48, 57.

compagnons laborieux grecs. Mais Mont Cassin fut en relation avec Byzance même, par exemple le supérieur Atenulf pendant les années 1018–1022. Le supérieur Desiderius en 1058, puis à l'époque de l'empereur Alexios, les supérieurs Oderisius, Otho et Girard étaient intervenus dans les pourparlers et les correspondances relatifs au schisme. L'empereur Alexios fut particulièrement vénéré par les bénédictins de Mont Cassin qui le considéraient leur ami et patron. A la fin des années 1130, un ambassadeur laïque de l'empereur grec, en route vers l'empereur Lothaire et faisant escale à Mont Cassin ne craint pas de s'y répandre en récriminations à cause de la mondanisation de la papauté. L'abbaye engagea autour de 1000/1090 aussi des artistes grecs. C'est de 1058 à 1086, sous le supérieur Desiderius (de son nom original Dauferius, 1027–1087; fils de Landolf duc lombard de Bénévent), que le couvent connut une grande époque culturelle. Dans ces années là on y copia environ 70 livres. La culture hagiographique grecque s'est répandue au Mont Cassin.⁶

Si l'on en croit aux légendes du IX^e siècle, il y avait entre la Grèce (Constantinople, Thessalonique, Péloponnèse, Dyrhachion), l'Italie du Sud

⁶ T. WASILEWSKI: *op. cit.* p. 470; P. KEHR: *op. cit.* pp. 15, 27; F. FRIEDENSBURG: *op. cit.* p. 100; A. SLEUMER: Kirchenlateinisches Wörterbuch. Limburg a. d. Lahn, 1926, pp. 188, 547; T. LECCISOTTI: Montecassino. La vita. L'irradiazione. Firenze, 1946, pp. 29–31, 47, 52–55, 132, 144, 181–182, 184–185, 206; M. BARATTA–P. FRACCARO, Atlante Storico II. Medio Evo. Novara, 1954, p. 6; R. HOLTZMANN: *op. cit.* pp. 307: 476–477; F. GALLA: A clunyi reform hatása Magyarországon – La riforma di Cluny e l'Ungheria. Pécs, 1931, p. 46; E. WERNER: Die gesellschaftlichen Grundlagen der Klosterreform im 11. Jahrhundert. Berlin, 1953, p. 66; M. UHLIRZ: Die älteste Lebensbeschreibung des heiligen Adalbert. Göttingen, 1957, pp. 31–32; S. RUNCIMAN: The Eastern Schism pp. 37, 57, 105–107, 118, 164, 168–169; A. PERTUSI: Aspetti organizzativi e culturali dell'ambiente monacale greco dell'Italia meridionale (dans: L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII.) Milano, 1965, p. 398; A. GUILLOU: Il monachesimo greco in Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo (ibid.) pp. 362–363; S. RUNCIMAN: A History of the Crusades. Vol. II. Cambridge, 1957, pp. 136–137; J. L. CSÓKA: Ki volt Anonymus? (tiré à part de la revue Magyar Nyelv, Budapest, 1962) p. 18; A. C. CROMBIE: Histoire des sciences de Saint Augustin à Galilée (400–1650) T. I. Paris, 1959, pp. 31, 35; A. PERTUSI: Bisanzio e l'irradiazione . . . p. 115; A. SCHIAVO: *op. cit.* p. 5; M. SALMI: *op. cit.* I. pp. 204, 243, 281; J. L. CSÓKA: Clunyi szellemű volt-e a magyar egyház a XI. században? = Habuerit-ne Christianismus Hungaricus saeculo XI-o animum Cluniacensem? Bp. 1943, pp. 16–17, 21; J. KARWASIŃSKA: Les trois rédactions de «Vita I» de S. Adalbert. Roma, 1960, p. 3; G. E. TREASE: *op. cit.* p. 17; M. OBERSCHALL: Problémák a magyar Szent Korona körül (Antiquitas Hungarica, 1947. N° 1.) p. 97; G. FALCO: Voci Cassinesi nell'alto medioevo (dans: Il monachesimo nell'alto medioevo e la formazione della civiltà occidentale. Spoleto, 1957, pp. 26, 30, 33; T. LECCISOTTI: Aspetti e problemi del monachesimo in Italia (ibid.) p. 330; E. FARAL: Les conditions générales de la production littéraire en Europe occidentale pendant les IX^eme et X^eme siècles (dans: I problemi comuni dell'Europa post-carolingia.) Spoleto 1955, p. 284; G. DE FRANCOVICH: Problemi della pittura e della scultura preromanica (ibid.) pp. 475–476, 479, 486, 489, 491, 493, 495–496, 498–499, 502, 507–509, 514; M. V. LEVTCHEV: Byzance des origines à 1453. Paris, 1949, p. 216; C. CECHELLI: Sguardo generale all'architettura bizantina in Italia (dans: Studi bizantini e neocellenici a cura del Prof. Silvio Giuseppe Mercati. Volume quarto. Roma, 1935) p. 22; R. LEE WOLFF: Romania: the Latin Empire of Constantinople (tiré à part de la revue Speculum, January 1948) p. 17; G. GIOVANNELLI: I fondatori di Grottaferrata ed il mondo bizantino dell'alto medioevo nell'Italia meridionale (Atti del 3° Congresso . . .) pp. 422, 425, 429; R. M. RUGGIERI: Tra storia della lingua e storia del diritto: elementi bizantini, longobardi e romani nel placito capuano del 960 (ibid.) pp. 533, 539; O. BERTOLINI: *op. cit.* p. 115; F. CALASSO: *op. cit.* p. 48.

(Reggio, Bari, Tarente, Otrante, Rossano), la Sicile et Rome un vif *trafic maritime*. Cependant l'importance de l'Italie du Sud pour l'empire byzantin n'est finalement que bien faible: dès 878 (la chute de Syracuse) il n'existe plus d'atelier de monnayage impérial en Italie, des monnaies frappées à Constantinople sont introduites sur les territoires italiens se trouvant sous la domination des Grecs. Les limites de la domination grecque étaient constituées par trois thèmes, qui bien souvent ne signifiaient nullement des domaines intégraux mais seulement des fragments et des prétentions.⁷ Le premier était *Thema Longobardia* (ou Longibardia, thenia Longobardiae, dans une source hébraïque *eretz longovardia*), qui correspondait en somme à la Pouille (Apulie), avec comme siège *Bari*. C'était en même temps le centre du régime byzantin dans l'Italie du Sud et aussi le centre du commerce de distance avec les Arabes de la Méditerranée et avec Constantinople aux IX—XI^e siècles, bien que la ville eût passée aux mains des Arabes (841—871: «*civitas Sarracenorum*», le siège d'un émir), respectivement eût été assiégée (988, 1002—3). La seconde fois elle fut sauvée par l'action commune de la flotte byzantine et vénitienne. Néanmoins l'Eglise chrétienne de la ville tenta plus d'une fois de se défaire du régime byzantin: au témoignage d'une source le pontife Bisanzio (Bisanzius), bâtisseur de la cathédrale S. Sabino de Bari, était un gardien et un protecteur terrible et intrépide de la ville contre les Grecs (*cunctae urbis custos ac defensor, ac terribilis et sine metu contra omnes grecos*). La pratique des chartes par contre dénonce l'ambiance grecque. Le caractère de port de Bari, ville à majorité grecque, à minorité lombarde et juive, se traduit aussi par son culte. Les reliques de son patron, Nicolas de Myra (d'Asie Mineure) furent ravis en 1087 par des bourgeois-navigateurs qui l'apportèrent à Bari.⁸ Les peintures évoquant

⁷ E. WERNER: *op. cit.* p. 61; R. HOLTZMANN: *op. cit.* pp. 282—283; PH. GRIERSON: *Monete bizantine* . . . pp. 41—42, 51; G. CUCINOTTA: *Breve storia della Sicilia*. Messina—Firenze, 1958, p. 27; A. DUCCELLIER: *Les Byzantins*. Bourges, 1963, pp. 122, 124; M. V. LEVTCHENKO: *op. cit.* p. 181; G. GIOVANNELLI: *op. cit.* p. 422; G. FASOLI: *Le città siciliane dall'istituzione del «tema» bizantino alla conquista normanna* (Atti del 3^o Congresso . . .) pp. 383, 386—387; A. GHISLERI: *Testo-atlante di geografia storica generale*. Bergamo, pp. 23, 28; A. PERTUSI: *Bisanzio e l'irradiazione* . . . pp. 87, 89; J. HURÉ: *Histoire de la Sicile*. Paris, 1957, p. 64; J. P. TREVELYAN: *op. cit.* p. 70.

⁸ E. PONTIERI: *op. cit.* pp. 24, 30, 32; J. P. TREVELYAN: *op. cit.* p. 83; T. WASILEWSKI: *op. cit.* pp. 470—471; P. LAMMA: *Comneni e Staufer. Ricerche sui rapporti fra Bisanzio e l'Occidente nel secolo XII*. Volume I. Roma, 1955, p. 192; R. M. RUGGERI: *op. cit.* p. 534; A. PERTUSI: *Contributi alla storia dei «temi» bizantini dell'Italia meridionale* (Atti del 3^o Congresso . . .) pp. 495—496, 498; P. LAMMA: *Il problema dei due Imperi* . . . pp. 162—163, 166, 181, 187—191, 197, 202; A. SCHEIBER: *Fragment from the Chronicle of 'Obadyah, the Norman Proselyte. From the Kaufmann Geniza*. *Acta Orient. Hung.* 4 (1955) pp. 276, 280; J. STRIEDER: *Werden und Wachsen des europäischen Frühkapitalismus* (dans: W. GOETZ—*etc.*: *Das Zeitalter der Gotik und Renaissance 1250—1500*. Berlin, 1932) p. 6; A. C. CROMBIE: *op. cit.* T. I. p. 31; G. LUZZATTO: *Breve storia economica dell'Italia medievale. Dalla caduta dell'Impero romano al principio del Cinquecento*. Torino, 1965, pp. 72, 74—75; A. BALDAMUS: *Wandkarte zur deutschen Geschichte von 911—1125*.⁵; M. BARATTA—P. FRACCARO: *op. cit.* p. 6; B. KACZMARSKI: *Europa od IX—XI wieku*. Warszawa, 1962, carte murale; A. PERTUSI: *Bisanzio e l'irradiazione* . . . p. 86; R. PERRONE CAPANO: *Sulla presenza degli slavi in Italia e specialmente nell'Italia Meridionale*. Napoli, 1963, pp. 1, 3; M. V. LEVTCHENKO: *op. cit.* pp. 163, 180—

la légende de Nicolas font toujours ressortir les détails de navigation et de port (l'oeuvre accusant une forte influence byzantine de l'Anonyme de Pouille au XIII^e siècle dans la Galerie de Bari;⁹ les tableaux de Gentile de Fabriano et de Beato Angelico du XV^e siècle.¹⁰ Une mappemonde datant de la première moitié du XV^e siècle, la Mappamondo Borgia, mentionne à propos de la ville de Bari aussi les reliques du saint protecteur.¹¹ L'église du palais (S. Nicola) abritant les reliques fut construite déjà à l'époque des Normands (dès 1087 jusqu'en 1108), avec l'utilisation des restes du palais du catépan grec. Sous le nom de Saint Nicolas *in portu* le culte du saint fut répandu par les bateliers et les marchands jusque dans les territoires lointains d'Europe. Au Lido de Venise un couvent de San Niccolò doit sa fondation à la fin du XI^e siècle à l'initiative de marchands parcourant le Levant. A Bilbao fut construite l'église de San Nicolas de Bari. Un lieu de pèlerinage des habitants de Saint-Trond était Saint Nicolás à Bari et Laurent de Tar, un féodal hongrois allait en pèlerinage à Bari, ville de Saint Nicolas.¹² La différenciation sociale de Bari passant pour une grande ville devait être assez poussée, si même à Polignano, ville de moindre importance au Sud-Est de Bari, les autorités locales se réunirent en 992, selon le témoignage d'une charte, dans la présence des nobles (*maiores*), des moyens (*mediani*) et de la population entière (*cuncto populo*). Que l'autonomie locale ait été tolérée s'explique par la nécessité de se défendre contre les Arabes. Des ports importants furent encore Brindes (Brindisi) et Tarente. La dernière fut occupée de 841 à 881 par les Arabes, était le siège d'un émir, fut détruite en 927, reconstruite seulement en 967 par l'empereur Nicéphore Phocas II. En 988 les Arabes apparaissent de nouveau sous ses remparts. Au début du XI^e siècle Byzance réussit à grande peine à chasser les Arabes du thème. Le thème fut

181; J. M. HUSSEY: *Die byzantinische Welt*. Stuttgart, 1958, p. 35; F. COGNASSO: *Storia d'Italia*. Volume primo. Il medioevo (476—1492). Roma, 1958, p. 171; A. PETRUCCI: *Cattedrali di Puglia*.² Roma, 1964, pp. 37, 80—81, 83, 87, 111; T. LECCISOTTI: *Montecassino* p. 34; H. PIRENNE: *Histoire économique et sociale du moyen âge*. Paris, 1963, p. 16; N. RODOLICO: *Storia degli Italiani*. Firenze, 1954, p. 15; F. CHALANDON: *Histoire de la première croisade*. Paris, 1925, p. 152; S. RUNCIMAN: *The Eastern Schism* p. 67; W. FLEISCHER: *Die deutschen Personennamen. Geschichte, Bildung und Bedeutung*. Berlin, 1964, p. 51; R. HOLTZMANN: *op. cit.* pp. 217, 475; M. SALMI: *op. cit.* I. pp. 251—252; E. PENNETTA: *Spiritualità bizantina nel Salento medievale (Atti del 3^o Congresso . . .)* p. 474; P. GOUBERT: *Quelques aspects de l'hellénisme en Italie méridionale au moyen-âge* (*ibid.*) p. 303; W. OHNSORGE: *L'idea d'impero nel secolo nono e l'Italia meridionale* (*ibid.*) p. 270; C. G. MOR: *Considerazioni minime . . .* p. 142—143; O. BERTOLINI: *op. cit.* pp. 113—117; F. CALASSO: *op. cit.* pp. 39—40, 44, 60.

⁹ *Mostra dell'arte in Puglia dal tardo antico al rococo*. Catalogo. Roma, 1964. Avec une introduction du professeur M. SALMI) pp. 26, 28 et table 31.

¹⁰ Au Musée du Vatican.

¹¹ Au Musée du Vatican.

¹² N. ACOCCELLA: *op. cit.* pp. 6—7; M. SALMI: *op. cit.* I. pp. 251—252; A. PETRUCCI: *op. cit.* pp. 11—12, 39, 81; A. JORIS: *La ville de Huy au Moyen âge. Des origines à la fin du XIV^e siècle*. Paris, 1959, p. 198; E. JAIME: *Kleine Geschichte Venedigs* (Frankfurt am Main, 1955) p. 37; J. L. CHARLES: *La ville de Saint-Trond au moyen âge. Des origines à la fin du XIV^e siècle*. Paris, 1965, p. 389; Tinódi Lantos Sebestyén válogatott munkái (édité par L. BÓTA; Bp. 1956) pp. 250—251.

gouverné d'abord conformément à son caractère militaire par un général (stratège); après 975 le gouverneur siégeant à Bari fut revêtu du nom de catépan (katepanos, catapano), et sa puissance s'étendait à toute l'Italie du Sud (Catépanat d'Italie). Cette réorganisation est l'oeuvre de l'empereur Basile II. Un catépan nommé Basile Bojôannès (Bubianus, Bubagano) se distingue dès 1013 par la reconstruction de différentes villes, par exemple Troja en 1017.¹³

Bari et les villes de ses environs sont aux IX—XI^e siècles un foyer de la culture et de l'art ecclésiastique grecs.¹⁴ Le cérémonial exécuté au XI^e siècle à Bénévent et gardé dans la cathédrale de Bari relève du type de Bari et certaines représentations de Jésus, des anges et des saints y offrent des traits byzantins caractéristiques. Dans la cathédrale de Monopoli (province de Bari) on conserve un reliquaire de type byzantin. C'est un ouvrage du X^e siècle, en argent doré et émaillé, dont certaines faces rappellent les ouvrages d'émail de la couronne hongroise donnée par Constantin IX. Le reliquaire retrouvé récemment dans la cathédrale de Giovinazzo (province de Bari) est un ouvrage en ivoire du type byzantin de X^e—XI^e siècles.¹⁵

Au début du XI^e siècle, alors que les luttes byzantino-arabes battent leur plein, on observe à Bari, endroit le plus évolué, un *mouvement de la population urbaine* de la Pouille. En 1009 un bourgeois de Bari, le propriétaire et commerçant noble Melo (Mélès), un Lombard hellénisé (*more graeco vestitum*) appelle les habitants sous les armes contre le gouverneur impérial. Le catépan fut obligé de s'enfuir et la révolte s'étendit au Nord de la Pouille. En 1010 cependant de nouvelles forces byzantines fraîchement débarquées mirent le siège devant la ville qu'elles réussirent à occuper au bout de deux mois. Ce fut la fin des aspirations à l'autonomie de Bari. Les luttes ultérieures de ses dirigeants se fondèrent dans les intrigues politiques de l'Italie du Sud.¹⁶

Une des localités de caractère grecque était Trani, lieu du commerce d'exportation des céréales. Autour de 1052 Jean l'évêque grec de la ville,

¹³ N. RODOLICO: *op. cit.* p. 14; F. COGNASSO: *op. cit.* p. 171; P. LEMERLE: Histoire de Byzance. Paris, 1960, p. 88; A. PERTUSI: Bisanzio e l'irradiazione . . . p. 102; DU CANGE: Glossarium mediae et infimae latinitatis. T. II. Parisiis, 1842, pp. 234—235; A. GHISLERI: *op. cit.*; M. BARATTA—P. FRACCARO: *op. cit.* p. 6; B. KACZMARSKI: *op. cit.*; A. PETRUCCI: *op. cit.* pp. 62, 111; M. V. LEVTCHENKO: *op. cit.* p. 181; J. M. HUSSEY: *op. cit.* pp. 35, 152; R. LEE WOLFF: *op. cit.* p. 17; P. KEHR: *op. cit.* p. 14; E. PONTIERI: *op. cit.* p. 31; A. PERTUSI: Contributi alla storia . . . pp. 495, 499—502, 504—514; E. PENNETTA: *op. cit.* pp. 474—476; P. GOUBERT: *op. cit.* p. 301; P. LAMMA: Il problema dei due Imperi . . . pp. 181, 197, 202—203; C. G. MOR: Considerazioni minime . . . pp. 148—150; O. BERTOLINI: *op. cit.* pp. 113, 117, 119—120, 122—123; F. CALASSO: *op. cit.* p. 58.

¹⁴ A. GUILLOU: *op. cit.* p. 359; S. RUNCIMAN: The Eastern Schism p. 37; M. SALMI: *op. cit.* I. p. 245; A. PETRUCCI: *op. cit.* pp. 110, 112; C. CECHELLI: *op. cit.* pp. 22, 27; C. GIANNELLI: L'ultimo ellenismo nell'Italia meridionale (Atti del 3^o Congresso . . .) p. 276.

¹⁵ Mostra dell'arte in Puglia . . . pp. XIV, 5—9, 417, et planches I, 5, 8, 9.

¹⁶ F. COGNASSO: *op. cit.* p. 171; R. HOLTZMANN: *op. cit.* p. 475; compte rendu d'A. GUILLOU de l'édition de Guillaume de Pouille, La geste de Robert Guiscard. Palerme, 1961. (dans: Le Moyen Age, Tome LXX, 1964, N^o 1.) pp. 89—91; E. PONTIERI: *op. cit.* p. 33; P. GOUBERT: *op. cit.* p. 301, cf. C. G. MOR: Considerazioni minime . . . pp. 143—144; F. CALASSO: *op. cit.* pp. 40, 59.

transmit les vues dogmatiques fort belliqueuses de l'Eglise bulgare à l'Eglise romaine.¹⁷ Le culte local du saint de Trani, d'origine achéenne et pérégrinant dans l'Italie du Sud, Nicolas le Pèlerin (mort en 1094) indique à lui seul le caractère grec de la ville. Au concile d'unification de Bari en 1098 l'Eglise de Rome offrit en échange, en plus de la tolérance de la liturgie et des coutumes grecques de l'Italie du Sud et de la Sicile, la canonisation de ce Nicolas au concile même.¹⁸ La province apulienne tout autour était italienne et lombarde et observait la liturgie latine.¹⁹

Une charte datant de 1009 d'Ascoli, ville dans la province de Capitanate grecque renvoie de manière fort intéressante les caractéristiques italo-grecques du territoire. On y écrit la date selon les empereurs de Byzance, l'emplacement d'une vigne, une vallée est nommée Balle de Mega. La vigne se vend pour des solidi d'or. L'acheteur en est nettement italien: Urso Franco, fils de Sapatino. Les vendeurs par contre sont des habitants d'Ascoli, Riso et son épouse au nom lombard Daufalda, fille de Gualpoto. Ce document jette en plus une certaine lumière sur la stratification sociale de la population: c'est leur indigence qui oblige les vendeurs de se séparer de leur vigne, alors que l'acheteur est à même de payer 7 pièces d'or. Un autre document également d'Ascoli et datant de l'an 1067 (toujours avec les noms des empereurs de Byzance) possède une très grande importance du point de vue de l'histoire économique: maître Desindo, fils de Dalfio, qui avait vendu à Datto, fils de Giaquinto Mira une vigne, tout en retenant pour soi un quart d'une palmeraie et d'une villa (curtis), lui fait don de ces dernières et reçoit en échange, en rémunération comme «laune-gild» un certain atelier avec de la soie (una caia cum serico). On en conclura que les locaux servant à la *fabrication de la soie* constituaient l'objet d'achat et de vente.²⁰ Il s'agit là d'une donnée précédant le fait généralement connu que les tisserands de soie (opifices etiam qui sericos pannos texere solent) furent des prisonniers de guerre venant de Byzance qui s'établirent en 1147 à Palerme.²¹

¹⁷ G. LUZZATTO: Breve storia econ. p. 74; PH. GRIERSON: Coinage and money p. 449; S. RUNCIMAN: The Eastern Schism pp. 41—45; N. ZERNOV: Il cristianesimo orientale. Milano, 1962, p. 110; C. G. MOR: Considerazioni minime . . . pp. 149—150; F. CALASSO: *op. cit.* p. 46.

¹⁸ W. HOLTZMANN: Studien zur Orientpolitik des Reformpapsttums und zur Entstehung des ersten Kreuzzuges. Hist. Vierteljahrsschrift, 1924, pp. 188—190; S. RUNCIMAN: The Eastern Schism pp. 76—77; cf. Mostra dell'arte in Puglia . . . pp. 39—40 et planche 44.

¹⁹ S. RUNCIMAN: The Eastern Schism pp. 37—38; P. GOUBERT: *op. cit.* pp. 301, 309.

²⁰ Catalogo della mostra delle pergamene di Montevergine pp. 5, 13, 25—26; cf. DU CANGE: Glossarium mediae et infimae latinitatis IV. Parisiis, 1845, pp. 45—46; R. M. RUGGIERI: *op. cit.* p. 543.

²¹ J. KULISCHER: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. I. Berlin, 1954, p. 215; A. BON: Le Péloponnèse Byzantin jusqu'en 1204. Paris, 1951, p. 87; H. FILLITZ: Die Insignien und Kleinodien des Heiligen Römischen Reiches. Wien—München, 1954, p. 58; D. TALBOT RICE: Art of the Byzantine Era. London, 1963, p. 175; H. WIERUSZOWSKI: The Norman Kingdom of Sicily and the Crusades (dans: A History of the Crusades. Volume II. Edited by K. M. SETTON, R. L. WOLFF and H. W. HAZARD. Philadelphia) pp. 13—14; M. V. LEVTOCHENKO: *op. cit.* p. 230.

Le tronc de la *Sicilia Cismarina* était constitué par la Calabre habitée par des Grecs avec comme centre politique et ecclésiastique byzantin Reggio, ville en décadence. Entre 901 et 907, la Calabre est partagée entre deux métropoles: Reggio et Santa Severina. Avant de relever du pouvoir du catépan le thème était gouverné par un général (stratège), dès 955 unifié avec le thème Longobardia (956: stratigo Calabriae et Longobardia). Mais les véritables seigneurs du détroit étaient les Arabes, le vali de Palerme. Sur le littoral occidental de la Calabre la domination arabe était fortement établie, et la ville d'Amantea (dans la proximité de Cosenza) fut le siège d'un émirat temporaire.²² C'est avec le régime arabe qu'on peut mettre en rapport la *fabrication de la soie* au X^e siècle à Catanzaro dans l'Est de la Calabre. Même si l'histoire de l'industrie se trompait autrefois en affirmant qu'au XI^e siècle la frontière septentrionale de la culture des mûriers et l'élevage des vers à soie était en Calabre, il semble certain que Catanzaro en était un des centres sur la presqu'île.²³

Parmi les Eglises grecques de la Calabre il y a lieu de citer Rossano, connue de son manuscrit chrétien byzantin (*Codex Purpureus*) du début du VI^e siècle. A Rossano pratiquait la médecine le philosophe juif Shabbataï Donnolo (Domnullos). La population de la ville était presque entièrement grecque. C'est la ville qui avait accueilli en 982 l'empereur allemand Othon II fuyant les Arabes. On faillit nommer évêque de la ville le Grec Nilus de Calabre qui toutefois préféra la vie d'ermite. L'activité de Nilus, fils d'une famille aristocrate de Rossano fut un des traits d'union les plus importants entre l'Eglise de Byzance et l'Eglise de Rome.²⁴

Une des provinces byzantines perdues était Val Demone dans les montagnes du Nord-Est de la *Sicile*. La colonisation arabe n'a jamais pu s'y enracer-

²² S. RUNCIMAN: *The Eastern Schism* p. 37; W. HOLTZMANN: *Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I. und Papst Urban II. im Jahre 1089*. Byz. Zeitschr. 1928, p. 43; R. PERRONE CAPANO: *op. cit.* p. 1; G. ROHLFS: *Neue Beiträge zur Kenntnis der unteritalienischen Gräzität*. München, 1962, p. 40; F. COGNASSO: *op. cit.* p. 171; J. HURÉ: *Histoire de la Sicile*. Paris, 1957, pp. 65—66; R. HOLTZMANN: *op. cit.* p. 279; M. SALMI: *op. cit.* I. p. 245; M. V. LEVTCHENKO: *op. cit.* p. 163; C. CECHELLI: *op. cit.* pp. 21—22, 27; J. M. HUSSEY: *op. cit.* pp. 30, 35; A. PERTUSI: *Bisanzio e l'irradiazione* . . . p. 102; G. GIOVANNELLI: *op. cit.* p. 425; R. M. RUGGIERI: *op. cit.* pp. 534, 537; A. PERTUSI: *Contributi alla storia* . . . pp. 495, 499, 501—505, 510; P. GOUBERT: *op. cit.* pp. 301, 308—309; M. L. GENGARO: *Lo stile bizantino nei codici greci di provenienza dall'Italia meridionale e attualmente di proprietà della Biblioteca ambrosiana di Milano* (Atti del 3^o Congresso . . .) p. 415; C. GIANNELLI: *op. cit.* pp. 288—289, 293; P. LAMMA: *Il problema dei due Imperi* . . . pp. 196—197, 212; O. BERTOLINI: *op. cit.* pp. 113, 122.

²³ C. BATTISTI: *Ripercussioni lessicali* . . . p. 637; H. DINER: *Seide. Eine kleine Kulturgeschichte*. Leipzig, 1940, p. 207.

²⁴ A. PERTUSI: *Bisanzio e l'irradiazione* . . . p. 103; Z. KÁDÁR: *Ókeresztény és kora-bizánci művészet*. Bp. 1959, p. 50; D. TALBOT RICE: *op. cit.* pp. 54, 57; F. GALLA: *op. cit.* p. 46; E. WERNER: *Die gesellschaftlichen Grundlagen* . . . p. 66; R. SABATINO LOPEZ: *The Tenth Century. How dark the Dark Ages?* New York, 1959, pp. 40—41; A. PERTUSI: *Aspetti organizzativi* . . . p. 398; R. HOLTZMANN: *op. cit.* pp. 283, 345—346; J. L. CSÓKA: *Clunyi szellemű volt-e* . . . p. 16; A. DUCELLIER: *op. cit.* pp. 29, 170; J. M. HUSSEY: *op. cit.* p. 105; G. GIOVANNELLI: *op. cit.* pp. 421—424, 427—428; P. GOUBERT: *op. cit.* p. 305; C. GIANNELLI: *op. cit.* p. 288; P. LAMMA: *Il problema dei due Imperi* . . . p. 248.

ner, en partie du fait des discordes des Musulmans. N'empêche que les villes grecques furent mise à sac et obligée au paiement d'un tribut annuel qu'elles étaient toutefois loin d'exécuter régulièrement. Pendant les troubles on rebâtit même ses murailles. Les habitants se considéraient comme les sujets de l'empereur de Byzance malgré que celui-ci les laissa en embarras. A plusieurs reprises victime des Arabes avançant du littoral occidental de l'île, la population chrétienne du Val Demone se trouvait dans une situation difficile. Les Arabes entreprirent plusieurs guerres saintes contre elle, ainsi en 913, pour la réduire à l'état des «gens de la défense» et lui imposer le tribut. Les habitants mettaient tout leur espoir en ces navires byzantins qui n'avaient pas cessé de circuler sous protection militaire entre la Grèce-l'Italie du Sud-Marseille et Arles. Et effectivement en 931 la flotte byzantine remporta une grande victoire sur la flotte arabe.²⁵

La résistance des chrétiens du Val Demone se faisait de temps à autre plus active. En 962 l'emir Ahmed de la dynastie Kalbide, mena une campagne contre eux. Taormine fut repris. Cette fois-ci l'empereur Nicéphore Phocas II intervint, mais ne put empêcher que les Arabes s'emparent de Rametta, ville au Sud-Ouest de Messine et qui avait été aux mains des Byzantins jusqu'à 964. L'armée grecque fut défaite et la flotte impériale dispersée dans le détroit de Messine. Cette victoire consolida la puissance de la dynastie locale des Kalbides, appuyée sur le Val di Mazara qui, se transmettant le pouvoir de père en fils gouvernait l'île, pour ainsi dire, de manière autonome. Son règne qui dura de 948 jusqu'en 1040 correspond à la grande époque arabe en Sicile.²⁶

Le nom de l'unité administrative byzantine de la Sicile — unité qui n'était pendant longtemps que formale (cf. Constantin Porphyrogénète: Administration de l'Empire) — était *Sicilia Transmarina*. Ses villes plus importantes étaient Palerme (siège d'un archevêché grec), Catane et Syracuse. Profitant des luttes intérieures sanglantes entre les Musulmans indigènes et ceux venus d'Afrique, Byzance se redressant sous la dynastie macédonienne prit des mesures pour reconquérir l'île. En 1038 l'empereur Michel le Paphlagonien engagea dans l'Est de la Sicile une armée composée de Grecs, Italiens, Scandinaves et Normands placés sous la conduite de Georges Maniakès, un grand propriétaire de la noblesse militaire de province d'Asie. L'armée prit Messine, vainquit les Musulmans à Rametta et Troina, assiégea, puis délivra Syracuse. En 1040 on s'attendit déjà à la prise de Palerme, lorsque la disgrâce inattendue du chef de guerre, son rappel et son arrestation vint modifier la situation. Néanmoins les discordes intestines des Arabes préparaient la chute de la domination musulmane en Sicile.²⁷

²⁵ G. ROHLFS: *op. cit.* p. 33; J. HURÉ: *op. cit.* pp. 64—67; E. WERNER: *op. cit.* p. 61; I. PERI: Resistenza e decadenza dei «Greci» di Sicilia (Atti del 3° Congresso . . .) p. 489; G. FASOLI: *op. cit.* p. 387; P. LAMMA: Il problema dei due Imperi . . . pp. 202—204, 248.

²⁶ J. HURÉ: *op. cit.* pp. 65—66; G. CUCINOTTA: *op. cit.* p. 27; G. GIOVANNELLI *op. cit.* p. 429; G. FASOLI: *op. cit.* p. 387; P. LAMMA: Il problema dei due Imperi . . . p. 211.

²⁷ J. HURÉ: *op. cit.* pp. 66—68; GY. MORAVCSIK: Bevezetés a bizantinológiába.

C'est de Byzance que relevaient — de manière assez vague ou même nominalement seulement — certains endroits sur le littoral Sud-Ouest de la péninsule, comme *Gaète*, Naples et Amalfi, devenus progressivement et au prix de luttes infinies avec les Arabes, le pape Jean VIII, les princes lombards de l'Italie du Sud, Othon II, des républiques maritimes. Leur importance résidait dans leurs rapports économiques et culturels plus ou moins vifs avec Byzance, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient musulman. Nous connaissons à Gaète du X. siècle des diplômes grecs et la présence des moines grecs. Gaète, Naples et Amalfi avaient pu restés intégrés à cette zone méditerranéenne où la circulation d'argent et un reste de la pratique des crédits avaient survécu. Un signe extérieur de ces rapports grecs est la monnaie de cuivre circulant au IX^e siècle à Gaète, Naples et Amalfi munie en partie d'inscriptions grecques, mais aussi de l'image de leurs propres saints protecteurs, ce qui révèle l'indépendance de ces villes. Ces trois républiques maritimes entretenaient de rapports importants avec la Sicile, même lorsque celle-ci fut devenue arabe. Les marchands de Gaète arrivaient à Pavie. La population de Gaète était assez stratifiée (XI^e siècle: *magni et mediocres, maiores et minores*; 1032: *nobiliores viros*; 1105: *magnis, parvis et minimis*).²⁸

Le duché de *Naples* acquit son indépendance dès le VIII^e siècle, mais pendant longtemps il fut gouverné par un exarque byzantin nommé par l'empereur. L'exarque Sergius (840 — ?864) s'affranchit de la tutelle de Byzance et ses successeurs gardant la culture grecque doivent être considérés comme des princes napolitains indépendants. Les monnaies de Naples (*solidi*) étaient des imitations de monnaies grecques. Les Napolitains résistèrent aux Arabes, leurs navires de guerre participèrent en 849 à la victoire remportée sur les bateaux arabes à Ostie. En 856 toutefois les Arabes recoururent à un stratagème pour s'introduire dans la ville où ils firent un grand ravage. De l'autre côté l'évêque et le duc de Naples s'allièrent contre le pape Jean VIII avec les musulmans et d'autres républiques urbaines. Dans son ouvrage intitulé «Le livre des routes et des royaumes» Ibn Hawqal décrit Naples autour de 977 en connaissance du trafic napolitain-arabe. Selon lui la fortune principale de Naples est constituée

Budapest, 1966, p. 119; P. LEMERLE: *op. cit.* p. 90; G. CUCINOTTA: *op. cit.* p. 28; M. V. LEVTCHENKO: *op. cit.* pp. 195—196; P. KEHR: *op. cit.* p. 11; A. PERTUSI: *Contributi alla storia* . . . pp. 496, 502, 504; I. PERI: *op. cit.* p. 488; G. FASOLI: *op. cit.* pp. 387, 392; P. GOUBERT: *op. cit.* pp. 301—302.

²⁸ J. P. TREVELYAN: *op. cit.* pp. 70—71, 83; R. BOUTRUCHE: *op. cit.* pp. 47, 205; H. LEY: *Studie zur Geschichte des Materialismus im Mittelalter*. Berlin, 1957, p. 33; G. LUZZATTO: *Breve storia econ.* pp. 72—73; S. RUNCIMAN: *The Eastern Schism* p. 37; A. PERTUSI: *Bisanzio e l'irradiazione* . . . pp. 111, 115; R. HOLTZMANN: *op. cit.* pp. 280—281, 355; M. V. LEVTCHENKO: *op. cit.* p. 163; P. KEHR: *op. cit.* p. 20; A. PERTUSI: *Contributi alla storia* . . . p. 499; F. FRIEDENSBURG: *op. cit.* p. 100; A. LUSCHIN VON EBENGREUTH: *Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit*.² München und Berlin, 1926, p. 65; M. L. ABRAMSON: *op. cit.* p. 11; J. H. MUNDY—P. RIESENBERG: *op. cit.* p. 172; P. LAMMA: *Il problema dei due Imperi* p. 210; F. CALASSO: *op. cit.* pp. 44—45, 47, 48, 59.

par la toile et le tissu de toile avec lesquels les produits des autres pays ne peuvent pas soutenir la concurrence, les tisserands napolitains en étant les spécialistes. Nous connaissons à Naples une stratification sociale (1036: sive a viribus vel a mulieribus potens vel impotens de qualicumque ordo fuerit). Naples avait aussi des églises grecques. Aux X—XI^e siècles la ville représente un point de raccordement important de la civilisation occidentale et orientale. Léon, achirpêtre de Naples a traduit en latin au X^{ème} siècle le roman grec d'Alexandre.²⁹

Pendant longtemps *Amalfi* avait été plus important que Naples. La ville fut construite à côté du golfe de Salerne, près d'une étroite langue de mer de la Valle dei Mulini, sur une montagne rocheuse et verdoyante: ses escaliers sont taillés à même le roc. N'ayant pas de port convenable, le peuple avait au X^e siècle encore l'habitude de tirer ses bateaux sur la rive, jusqu'au moment où l'on vint à construire un arsenal pour abriter les bateaux. Pour la construction de son dôme placé sous le vocable de St. André (S. Andrea Apostolo) et fondé au IX^e siècle on utilisa de colonnes et de chapiteaux antiques. Par la suite la cathédrale abritant une relique douteuse de l'apôtre devint un chef-d'oeuvre de l'art arabo-sicilien, orné de splendides mosaïques (façade du X^e siècle). La célèbre porte en bronze fut apportée en 1066 de Constantinople. L'archevêque latin jouait un rôle social important dans la ville. En 1029 on l'appella «père de la patrie». Amalfi — avec une *civitas vetus* et une *civitas nova* — avait beaucoup d'habitants grecs et une Eglise grecque.³⁰

Sujet, puis alliée de Byzance dans la lutte contre les Arabes, la ville prospère assurait aux IX^e—XI^e siècles les rapports commerciaux entre l'Italie et l'Empire byzantin. Ce rôle politique ne l'empêcha toutefois pas de poursuivre une politique commerciale servant fort bien ses intérêts: ses relations «impies» avec les musulmans durent être interrompues sur le désir formel du pape. A la fin du X^e siècle le commerce avec les musulmans était si développé que les marchands d'Amalfi pouvaient vendre des étoffes meilleur marché à Rome qu'il ne coûtaient dans la ville de Byzance. Ses grands commerçants faisaient

²⁹ R. BOUTRUCHE: *op. cit.* pp. 47, 205; C. VON CHŁĘDOWSKI: Neapolitanische Kulturbilder XIV—XVIII. Jahrhundert. Berlin, 1918, p. 15; A. PERTUSI: Bisanzio e l'irradiazione . . . pp. 112—113, 115; J. P. TREVELYAN: *op. cit.* p. 71; Annales Bertiniani (ed. G. WAITZ, *Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum*. Hannoverae 1883) p. 47; H. LEY: *op. cit.* p. 33; J. H. MUNDY—P. RIESENBERG: *op. cit.* p. 98; S. RUNCIMAN: The Eastern Schism . . . pp. 37—38; PH. GRIERSON: Monete bizantine . . . p. 41; G. LUZZATTO: Breve storia economica . . . p. 72; A. C. CROMBIE: *op. cit.* p. 31; M. L. ABRAMSON: *op. cit.* pp. 4—32, 45; E. FARAL: *op. cit.* pp. 277—278, 284; C. CECHELLI: *op. cit.* p. 21; J. M. HUSSEY: *op. cit.* p. 25; E. PONTIERI: *op. cit.* p. 30; A. PERTUSI: Contributi alla storia . . . p. 499; M. FUIANO: I rapporti tra Oriente ed Occidente nell'attività culturale di Paolo, diacono della Chiesa napoletana nel sec. IX. (Atti del 3^o Congresso . . .) pp. 397, 404, 406, 409; P. LAMMA: Il problema dei due Imperi . . . pp. 166, 181, 187, 210; O. BERTOLINI: *op. cit.* pp. 113—114, 122; F. CALASSO: *op. cit.* p. 45, 47.

³⁰ A. SCHIAVO: *op. cit.* pp. 9, 12; M. SALMI: *op. cit.* I. p. 283; A. SLEUMER: *op. cit.* p. 101; S. RUNCIMAN: The Eastern Schism pp. 38, 45; N. RODOLICO: Storia degli Italiani p. 15; A. PERTUSI: Bisanzio e l'irradiazione . . . p. 115; C. GIANNELLI: *op. cit.* p. 293; F. CALASSO: *op. cit.* pp. 45, 57, 59.

partie de l'aristocratie de la ville dont l'existence nous est signalée par une charte de l'an 993. Selon ce document l'archevêque procéda à propos d'un acte important en présence «des nobles de tout le peuple commun» (*magnatibus cuncte plebis*). Les marins de la ville ont joué un certain rôle dans l'utilisation de la boussole magnétique. Tout ceci explique fort bien pourquoi une source arabe datant de 977 environ met Amalfi en ce qui concerne sa richesse, sa noblesse, sa distinction avant Naples. On pouvait y acheter des parfums orientaux. Ses marchands transportèrent autour de 1010/20 des épices et d'autres marchandises à Pavie. Au dire d'un chroniqueur du XI^e siècle ses marchands «sont riches d'or et des draps tissus». Selon le poème de Guillaume de Pouille la foire d'Amalfi est visitée par des Arabes, des Libyens, des Siciliens et des Africains, ses bourgeois livrent leurs marchandises dans les diverses parties du monde et en ramènent des produits étrangers. Cette description pittoresque correspond aux rapports commerciaux connus avec l'Alexandrie, le Caire, la Tunisie, la Sicile, l'Espagne. Vers le milieu du X^e siècle on frappa à Amalfi une monnaie d'or de 10—12 carats, nommée *tari*. Une charte datant de 957 du doge Mastallo II mentionne un paiement effectué dans la nouvelle monnaie *tari* d'Amalfi dont il calcule la valeur en *solidi* d'or. Cependant on frappait également des *solidi* d'or valant au début chacun 4 *tari*, autrement 48 *grana* environ. La devise gravée sur le *solidus* (*Gloria Romanorum — quies Reipublicae*) illustre à la fois les rapports avec Byzance et l'indépendance. L'empire grec accorda aux marchands d'Amalfi des privilèges commerciaux. Nous connaissons une colonie de ces marchands à Durazzo (*Dyrrhachion*). Deux marchands d'Amalfi, Mauro et son fils Pantaleone firent carrière à Constantinople, où ils obtinrent le titre de patricien et de consul. Dans la capitale grecque la colonie amalfitaine entretenait une Eglise séparée placée sous le vocable de St. André. C'est avec l'aide financière des marchands d'Amalfi qu'on fonda à la fin du X^e siècle un cloître latin au Mont Athos, la S. Maria degli Amalfitani. Dans le domaine religieux aussi la ville veillait à entretenir *des rapports étroits avec Byzance*. Les premières colonies italiennes d'Antioche et Jérusalem, les grands centres orientaux de la chrétienté, conquis par les Musulmans ont été formées par les marchands amalfitains. A Jérusalem ils avaient deux hospices qui continuèrent à fonctionner après la conquête turque seldjoukide: c'est de l'hôpital de St. Jean l'Aumônier (1048) que sortit l'ordre des chevaliers Johannites. Des Bénédictins de Scala (dans le duché d'Amalfi) fondèrent dans la deuxième moitié du XI^e siècle l'Eglise de Sainte Marie la Latine de Jérusalem. Ces relations permettent de comprendre pourquoi un chrétien latin nommé Laycus, d'origine probablement amalfitaine intervint autour de 1086 dans les questions liturgiques des Eglises de Jérusalem. La mise au point de ce traité est justifiée par les rapports interurbains. Lorsque les croisés occidentaux arrivèrent à Jérusalem, l'hôpital St. Jean fonctionnait encore dirigé par un certain Gérard qui avait été à l'origine un frère lai, venu à Jérusalem des environs

d'Amalfi. Amalfi joua également un rôle important dans la mise au point du droit du commerce maritime: les règles et cas juridiques réunis dès le XI^e siècle dans un manuscrit appelé *Tabula Amaliphitana* (*Tavole Amalfitane*) jouissaient d'une haute réputation et furent copiés à maintes reprises. Le recueil fut clos en 1570, c'est alors qu'il perdit son importance.³¹

La puissance d'Amalfi est attestée par le fait que pendant sa grande époque elle dirigeait plusieurs villes dont par ex. Sorrente et pendant le règne de Mansone III (981—983) Salerne. La plus importante en était *Ravello*, plus éloigné du littoral, et qui selon Marino Freccia, un juriste féodal local aurait été fondé par des Amalfitains. La ville est mentionnée au IX^e siècle. Au XI^e siècle, — son époque glorieuse — le nombre de ses habitants est évalué à 36 000, quand la population d'Amalfi à 50 000. Quoi qu'il en soit, la ville commerçante possédait 13 églises (*San Giovanni Battista del Toro* fut construit entre 975 et 1069 avec des colonnes antiques), 4 couvents (le couvent bénédictin *S. Agostino* des X^e—XI^e siècles) et des forteresses. À partir de 1086 c'est un siège épiscopal. La cathédrale *St. Pantaléon* fut construite en 1087.³² Enclavé dans une vallée rocheuse, au bord de la mer, s'étend *Atrani*, une ville commerçante, dans l'église duquel dès le X^e siècle les doges d'Amalfi furent investis dans leur fonction. La porte de bronze d'une de ses églises fut moulée en 1087 à Constantinople.³³

Si nous parlons ici des prétentions des *empereurs germano-romains* concernant l'Italie du Sud, c'est parce qu'elles contribuèrent à affaiblir le pouvoir de Byzance et qu'elles préparèrent dans un certain sens le chemin de la conquête normande.

Othon I. pour faire reconnaître son empire par les Byzantins poussa

³¹ A. PERTUSI: *Bisanzio e l'irradiazione* ... pp. 113—115; S. RUNCIMAN: *The Eastern Schism* pp. 37, 74—76; G. LUZZATTO: *Breve storia econ.* ... pp. 72—75; R. BOUTRUCHE: *op. cit.* pp. 47, 205; J. STRIEDER: *op. cit.* p. 6; PH. GRIERSON: *Coinage and money* ... p. 449; J. P. TREVELYAN: *op. cit.* p. 71; H. LEY: *op. cit.* p. 33; A. C. CROMBIE: *op. cit.* T. I. p. 31; C. G. MOR dans: *La discussione sul tema: gli scambi internazionali e la moneta (Moneta e scambi ...)* p. 683; N. A. SIDOROVA—*etc.*: *Всемирная История*. T. III. Moscou, 1957, p. 508; M. IA. SIOUSIOUMOFF: *A konstantinápolyi kézműipar és kereskedelem a X. sz. elején (Középkori Egyetemes Történet I. (III.) Bp. 1957; ronéotypé)* p. 37; N. RODOLICO: *op. cit.* pp. 14, 22—23; J. H. MUNDY—P. RIESENBERG: *op. cit.* pp. 98, 172; R. S. LOPEZ: *The Tenth Century*. pp. 28—29; Z. DI PINO: *Amalfi*.⁴ Amalfi, 1955, pp. 14—15; M. L. ABRAMSON: *op. cit.* pp. 11—12, 14, 20—22, 27, 40, 45; A. BON: *Le Péloponnèse Byz.* p. 84; A. WAAS: *Geschichte der Kreuzzüge* II. B. Freiburg im Breisgau, 1956, pp. 39—40, 181; F. CHALANDON: *Histoire de la première croisade* p. 284; les Tables amalfitaines sont conservées au «Musée Municipale» d'Amalfi; M. SALMI: *op. cit.* I. p. 243; H. WIERUSZOWSKI: *The Norman Kingdom of Sicily* ... p. 27; A. PETRUCCI: *op. cit.* p. 35; R. SABATINO LOPEZ: *Le città dell'Europa post-carolingia (dans: I problemi comuni dell'Europa post-carolingia)* pp. 561, 571; A. DUCELLIER: *op. cit.* pp. 122, 124, 127; M. V. LEVTCHENKO: *op. cit.* p. 167; J. M. HUSSEY: *op. cit.* pp. 25, 105; R. LEE WOLFF: *op. cit.* p. 13; E. PONTIERI: *op. cit.* p. 31; A. LENTINI: *op. cit.* pp. 438, 440; P. LAMMA: *Il problema dei due Imperi* ... pp. 166, 220, 235.

³² N. ACOCELLA: *op. cit.* p. 47; G. LUZZATTO: *Breve storia econ.* p. 73; A. SCHIAVO: *op. cit.* pp. 10—11; M. SALMI: *op. cit.* I. pp. 257, 281; P. KEHR: *op. cit.* p. 13; P. LAMMA: *Il problema dei due Imperi* ... p. 248; F. CALASSO: *op. cit.* p. 58.

³³ Z. DI PINO: *Amalfi* p. 31; G. LUZZATTO: *Breve storia econ.* p. 73; A. SCHIAVO: *op. cit.* p. 11; M. SALMI: *op. cit.* I. p. 283.

jusqu'à la Calabre et à Bari. Faute de navires il ne put cependant obtenir de résultats. Au prix de longues négociations Byzance finit par reconnaître Othon II qui obtint la main de la princesse Théophanou (955?—991), probablement la fille de l'empereur Constantin Porphyrogénète. VII. (Selon d'autres hypothèses celle de Romain II.) Le mariage fut célébré à Rome en 972. Othon II usait du titre «imperator Romanorum» et il y a un objet d'ivoire grec datant des années 980 qui figure Othon II et Théophanou couronnés par Jésus et une miniature de l'école Reichenau datant des années 980 qui montre l'empereur couronné par la main du dieu. Othon II s'était fixé un objectif de grande envergure — la conquête de l'Italie du Sud, de la Calabre Ulérieure. Cependant son armée avançant contre les Grecs tomba sur des troupes arabes. La lutte eut lieu le 13 juillet 982 et reçut par l'histoire le nom de bataille de Basantello (Basantello était situé autrefois près de Tarente), bien que, en réalité, la rencontre se fit davantage vers le Sud, près de Croton (Cotrone), sur le littoral d'Est de la Calabre. L'empereur essuya une défaite de «l'ismaélite» (ismahelita), et l'idée de l'unification de l'Italie échoua. Othon passa les derniers temps de sa vie à Rome, mais vers le Jour de l'An il se mit en route pour l'Allemagne afin de parer aux conséquences de sa perte de prestige en Italie, pour demander des troupes de renfort et pour préparer l'assemblée impériale, à laquelle il participa lui-même (Vérone, mai 983). Il mourut peu après.³⁴

Au début du XI^e siècle l'Italie du Sud et la Sicile se trouvaient être complètement démembrées. Les Etats byzantins, arabes, lombards, les républiques maritimes émiettés et enclavés l'un dans l'autre s'offraient pour ainsi dire à la nouvelle conquête.

En 1016 le pape Benoît VIII avait appelé quelques *Normands* à la rescousse contre les Arabes et les Byzantins.³⁵ Ce qui compliquait la situation c'était que les dirigeants du soulèvement échoué de Bari, Melo et son beau-frère Datto s'étaient réfugiés précisément à Bénévent et à Capoue. En 1017 après s'être unis à des détachements normands ils s'avancent en territoire grec pour attaquer la garde de Bari et de Trani. En 1018 une bataille sanglante fut livrée sur la plaine de Cannes. Le catépan Basile Bojôannès vainquait l'ennemi. Melo pour sauver sa vie fut obligé de fuir vers Bénévent. Les Normands qui

³⁴ I. MÜLLER: Von der Völkerwanderung bis zur Entdeckung Amerikas (= Benziger Illustrierte Weltgeschichte II.) Einsiedeln—Zürich—Köln, 1951, pp. 79—80; F. DÖLGER: Ungarn in der byzantinischen Reichspolitik. Bp. 1942, pp. 13, 23; P. LEMERLE: *op. cit.* pp. 87, 90; A. PERTUSI: Bisanzio e l'irradiazione . . . pp. 130—131; G. A. BEZZOLA: Das Ottonische Kaisertum in der französischen Geschichtsschreibung des 10. und beginnenden 11. Jahrhunderts. Graz—Köln, 1956, pp. 9, 98, 161—162, 198—9; S. P. LAMBROS: Leukoma Byzantinon Autokratoron. Athinai, 1930, planche 54; M. UHLIRZ: Die älteste Lebensbeschreibung . . . pp. 68—69; R. HOLTZMANN: *op. cit.* pp. 212, 215—221, 279—282, 286, 291, 303—305, 568 et planches 25, 27; J. KARWASIŃSKA: Studia krytyczne nad żywotami św. Wojciecha, biskupa praskiego. IV. (Studia Źródłoznawcze-Commentationes Tom IX. 1964) pp. 31, 37; J. KARWASIŃSKA: *op. cit.* V. (Tom XI. 1966) pp. 68, 72—73; J. M. HUSSEY: *op. cit.* p. 35; P. LAMMA: Il problema dei due Imperi . . . p. 248.

³⁵ J. HURÉ: *op. cit.* p. 69; N. ZERNOV: *op. cit.* p. 109; R. HOLTZMANN: *op. cit.* p. 475.

voyaient là une possibilité d'agir pour leur compte au milieu des forces byzantines, arabes, lombardes et républicaines se jetèrent avec l'avidité des pauvres guerriers sur les moyens leur permettant de se procurer des propriétés féodales. Henri II fit revivre les prétentions de l'empire dans l'Italie du Sud. Melo, le chef des révoltés de Bari, assisté par le pape Benoît VIII, réussit à passer en Allemagne pour demander à Henri II d'intervenir. L'empereur promit à Melo de le nommer duc de la Pouille, mais sur ces entrefaites l'Italien mourut le 23 avril 1020 à Bamberg. En sa qualité de protecteur des Etats pontificaux l'empereur entra en campagne contre Musulmans et Grecs et se dirigea contre la Pouille (1021—22). La fortune de guerre ne lui sourit pas. La ville de Troja résista au siège.³⁶

Au milieu du XI^e siècle la situation de l'Italie du Sud en vient à se compliquer par *le schisme*. Une dispute éclate entre le pape Léon IX et le patriarche de Constantinople Michel Cérulaire. Ils s'agit de décider à qui exercerait l'autorité suprême sur le clergé de l'Italie du Sud. La dispute non seulement aggrava les différends politiques et idéologiques des deux Eglises jusqu'à provoquer une rupture formelle, mais esquisssa aussi l'évolution des rapports entre le pape, les Normands et Byzance. Tout ceci n'était pas sans avoir une certaine influence sur l'aggravation des différends entre le souverain pontife et l'empereur germano-romain. A l'époque du schisme et la chute de l'Italie byzantine, Argyre, fils de l'ancien chef révolté Melo, élu par les habitants de Bari et par des Normands «princeps et dux Italiae» en 1042, bien que chrétien latin et lombard, s'activait en qualité de catépan (1051—58) en vue de *défendre l'union de l'Eglise et le territoire byzantin* vis-à-vis des Normands. Cependant entre le patriarcat de Byzance et les Normands ses efforts étaient condamnés à échouer. En tout état de cause ce fut Argyre qui en 1052 transmet la lettre amicale du patriarche d'Antioche à Rome.³⁷

Finalement l'empereur Michel VII réussit en 1074 à conclure une paix et une alliance provisoire avec les Normands, au prix de l'abandon définitif de l'Italie. En 1080 les dernières villes grecques de la Pouille furent soumises. La conquête normande s'accompagna de *la consolidation de l'Eglise catholique*: en 1089 à Brindes on construit l'église St. Benoît, dès 1093 le dôme de Troja, dès 1094 la cathédrale de Trani. Trani, Otrante devint siège d'un archevêché latin au XI^e siècle. Reggio devint un archevêché latin en 1082, le métropolitain fut

³⁶ F. COGNASSO: *Storia d'Italia*. Volume I. p. 171; P. LEMERLE: *op. cit.* p. 90; compte rendu d'André Guillou de l'édition de Guillaume de Pouille, *La geste de Robert Guiscard*. Palerme, 1961. (dans: *Le Moyen Age*. Tome LXX, 1964. N° 1) pp. 89—90; *Chronicon monasterii Mellicensis* (dans: II. PEZ: *Scriptores Rerum Austriacarum*, T. I. Lipsiae, 1721) colonne 222; I. MÜLLER: *Von der Völkerwanderung* . . . p. 82; J. DELORME: *Chronologie des Civilisations*. Paris, 1956, p. 142; R. HOLTZMANN: *op. cit.* pp. 475—478; E. PONTIERI: *op. cit.* p. 33.

³⁷ S. RUNCIMAN: *The Eastern Schism* . . . pp. 39, 42—45, 56, 63, 65; compte rendu d'A. GUILLOU: *op. cit.* p. 90; W. HOLTZMANN: *Studien* . . . p. 168.; A. PERTUSI: *Contributi alla storia* . . . pp. 504, 515—516; P. GOUBERT: *op. cit.* pp. 301—302.

exilé, c'est alors qu'on commence à bâtir la cathédrale d'Otrante.³⁸ Selon une légende hébraïque, André, archevêque de Bari, alla à Constantinople où il embrassa la religion juive, événement dont la nouvelle se répandit dans toute la Longobardie. L'archevêque est un personnage historique qui exerçait ses fonctions entre 1062 et 1078. Bien qu'on le retrouve dans l'ordre chronologique des évêques catholiques de Bari, étant donné que le changement de régime grec-normand tombe dans les années de son épiscopat, il pouvait être un dirigeant de l'Eglise grecque fuyant les Normands. Il était le prédécesseur de l'archevêque latin Ursone (1078—1089). Selon le texte de la légende, le changement de religion du prélat André couvra de honte les théologiens et de la Grèce et de Rome.³⁹

A ce point nous devons nous arrêter. La conquête normande en modifiant la situation de fond en comble inaugure une nouvelle époque dans l'histoire de l'Italie du Sud et de la Sicile. Le peu de volume dont je dispose m'oblige à traiter mon sujet en laissant de côté les détails de la conquête normande. Mais il y a lieu d'insister sur le rôle décisif que le legs byzantin a joué dans la formation de l'Etat, la centralisation dans l'Italie du Sud et la Sicile normandes. La consolidation du pouvoir d'Etat et la symbolique qui l'accompagne (Palerme, Monréal, Bari, Troja: les rois de Sicile couronnés directement par le Pantocrator ou par St. Nicolas), le corps des fonctionnaires d'Etat et le personnel de la vie scientifique (le grand amiral Georges d'Antioche, le logothète Philip, le protobobilissime Christodoulos, les fonctionnaires Doxopatros et Henri Aristippe), de même que la survie de l'Eglise grecque (Rossano, Santa Severina, Reggio, Otrante) montrent on ne peut mieux que *la culture grecque* si importante dans cette Italie méridionale, dans ses villes rebelles et monastères en décadence continue d'être vivante sous le règne normand.⁴⁰

Budapest.

³⁸ J. P. TREVELYAN: *op. cit.* p. 98; A. SLEUMER: *op. cit.* pp. 394, 680, 789; W. HOLTZMANN: *Die Unionsverhandlungen* ... pp. 42—46, 48—49, 52—53; M. SALMI: *op. cit.* I. pp. 225, 253—254; G. CUCINOTTA: *op. cit.* p. 38; A. PETRUCCI: *op. cit.* p. 11; C. ECCEHELLI: *op. cit.* p. 31; S. RUNCIMAN: *The Eastern Schism* ... p. 61; J. M. HUSSEY: *op. cit.* p. 141; P. KEHR: *op. cit.* p. 13; P. GOUBERT: *op. cit.* pp. 307, 310; M. PEDIO: *I vescovati lucani nell'alto medio evo* (Atti del 3^o Congresso ...) p. 469; C. GIANNELLI: *op. cit.* pp. 291—294.

³⁹ A. SCHEIBER: *op. cit.* pp. 273—274; 280; cf. S. D. GOITEIN: *L'état actuel de la recherche sur les documents de la Geniza du Caire*. (dans: *Revue des Etudes Juives*, Troisième série 1959—1960. Tome I. (CXVIII) p. 25; A. PETRUCCI: *op. cit.* pp. 76, 80—81.

⁴⁰ A. GUILLOU: *Il monachesimo greco in Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo* pp. 360, 365, 367—368; G. HOFMANN S. I.: *Papst Gregor VII. und der christliche Osten* (Studi Gregoriani I. Raccolti da G. B. Borino. Roma, 1947) p. 79; F. COGNASSO: *Storia d'Italia* I. planche XLIV; D. LATHOUD: *Bulletin d'art byzantin* (Echos d'Orient. Tome XXVI—Année 1927) p. 99; Z. KÁDÁR: *Bizánci művészet* 565—1453 (Bp. 1959) p. 28; D. TALBOT RICE: *op. cit.* pp. 159—177; *Mostra dell'arte in Puglia* ... pp. XV, 34—36 et planches 38—39; D. CLEMENTI: *Alexandri Telesini. «Ystoria serenissimi Rogerii primi regis Sicilie»*, Lib. IV, 6—10 (Twelfth century political propaganda) (dans: *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* N° 77. Roma, 1965) pp. 106, 108—109, 112, 114, 116—118, 123—124; C. VON CHŁĘDOWSKI: *op. cit.* pp.

15—16; J. HURÉ: *op. cit.* pp. 72—73, 78—79, 87; A. C. CROMBIE: *op. cit.* T. I. pp. 32, 36—37; A. MARONGIU: L'héritage normand de l'état de Frédéric II de Souabe (dans: Studi medievali in onore di Antonino de Stefano. Palermo, 1956) pp. 342—344; G. AGNELLO DI RAMATA: Problemi relativi allo stato normanno (*ibid.*) pp. 30, 34; F. CHALANDON: Histoire de la première croisade pp. 131—132; P. LAMMA: Comneni e Staufer I. pp. 236—237; A. SCHEIBER: *op. cit.* p. 274; G. LUZZATTO: *op. cit.* p. 74; O. PARLANGÈLI: Storia linguistica e storia politica nell'Italia meridionale. Firenze, 1960, pp. 91—93, 108, 110—113, 119, 135, 139—140; J. DEÉR: Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation (tiré à part de la revue Archivum Historiae Pontificiae 2, 1964, Romae) pp. 117—139, 143, 145—152, 183; H. WIERUSZOWSKI: Roger II of Sicily, *Rex-Tyrannus*, in twelfth-century political thought (tiré à part de la revue Speculum, January 1963, Cambridge, Mass.) pp. 46—71, 76—78; M. SALMI: *op. cit.* I. pp. 247—250, 295; G. CUCINOTTA: *op. cit.* pp. 39—40, 46; H. WIERUSZOWSKI: The Norman Kingdom of Sicily . . . pp. 5, 14, 19, 21—24, 26—27, 29; A. PETRUCCI: *op. cit.* p. 80; G. DE FRANCOVICH: *op. cit.* p. 486; A. DUCELLIER: *op. cit.* pp. 161, 168; C. CECCHELLI: *op. cit.* pp. 22, 27, 30, 35, 47; E. SKRŽINSKAJA: Esame e datazione del contratto di Messina conservato nel codice Sinaitico (dans: Studi bizantini e neoellenici a cura del Prof. S. G. MERCATI. Volume quarto) pp. 141—142, 144, 148; G. ROHLFS: *op. cit.* pp. 33, 45; C. CECCHELLI: Monumenti bizantini d'Italia (tiré à part de la revue Le vie d'Italia, Roma 1936) pp. 653—654; J. M. HUSSEY: *op. cit.* pp. 105, 138—139, 142; P. KEHR: *op. cit.* pp. 34—35, 39—40; G. GIOVANNELLI: *op. cit.* pp. 422, 432—433; A. PERTUSI: Contributi alla storia . . . p. 504; I. PERI: *op. cit.* pp. 485, 487—489, 492—493; E. PENNETTA: *op. cit.* pp. 476—477, 479; P. GOUBERT: *op. cit.* pp. 300, 304—306, 309—310; M. L. GENGARO: *op. cit.* pp. 413—415; C. GIANNELLI: *op. cit.* pp. 278—279, 285, 288—289, 291—292, 294; P. LAMMA: Il problema dei due Imperi . . . p. 251.

ANTIQUITÉ ET RÉALITÉ CONTEMPORAINE DANS LES COLLOQUES D'ÉRASME

Un seul mois après la mort d'Erasme — 12 juillet 1536 — Beatus Rhennus, un de ses fidèles les plus dévoués et son premier biographe, devait déjà avouer, qu'il ne sait rien de certain quant à l'année de naissance du Maître. Erasme, durant sa vie, fêtait son anniversaire le 28 octobre, mais il préférerait ne pas tirer de l'obscurité le nombre de ses années. Il semble même, que ses déclarations faites sur ce chapitre voulaient augmenter l'épaisseur des ténèbres enveloppant cette circonstance mystique, et en plus, ces mêmes déclarations sont tellement contradictoires, qu'elles permettaient à la postérité de découvrir — et par des raisons presque également fortes — des dates différentes, avant tout les années 1466 et 1469. Récemment les recherches bibliographiques minutieuses, surtout celles de R. R. Post,¹ assurent l'authenticité de la date postérieure, et les chercheurs ont peut-être raison en affirmant qu'Erasme de temps en temps faisait figurer délibérément l'année de naissance de son frère aîné de trois ans, comme la sienne. Preserved Smith allègue même un exemple d'analogie historique: Napoléon, en épousant Joséphine, a fait introduire sur le certificat de mariage la date de naissance de son frère aîné.²

Il est bien possible que c'étaient les circonstances honteuses aux yeux de l'époque qui ont conduit Erasme à se réfugier dans cette fraude pieuse. Lors de sa naissance, en 1469, son père fut déjà prêtre ordonné, en 1466, date de naissance du fils aîné, il ne le fut pas encore; c'est pourquoi Erasme aura choisi le moins grand des maux; il a pris sur lui d'être marqué de l'infamie d'une naissance illégitime, en acquittant au moins son père de l'accusation d'avoir manqué aux devoirs de l'état sacerdotal. Pour les besoins de ce souci il fait courir dans la suite un véritable roman, où figurent les membres de famille qui se sont opposés au mariage de ses parents, et qui répandent la fausse nouvelle selon laquelle la jeune fille bien-aimée portant déjà l'enfant dans son sein venait de mourir. Par cela ils ont poussé le jeune père qui ne doutait de rien, à

¹ R. R. POST: *Geboortjaar en opleiding van Erasmus. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel 16, No. 8. Amsterdam 1953.*

² P. SMITH: *Erasmus. New York and London 1923, p. 8.*

se retirer du monde dans son deuil et à entrer dans le sacerdoce; quand il a appris la vérité, il était déjà tard. Les reproches que la postérité trop sévère ferait peut-être à Erasme pour avoir falsifié les données de sa biographie, peuvent-être aisément adressées aux lois et aux préjugés qui ont contraint l'humaniste — chercheur passionné de la vérité — à embellir de cette façon les données de sa propre vie. Ces motifs se retrouvent d'ailleurs — en circonstances quelque peu changées — dans sa vie: ses tuteurs égoïstes forcent le jeune garçon à prononcer les vœux monastiques, dont le fardeau pèse sur lui durant toute sa vie, et dont il pouvait à peine se débarrasser, bien que les autorisations spéciales du pape le dispensent peu à peu de l'observance du jeûne, de la vie communautaire et de l'habit monachal.

Le décalage de trois ans, que l'on peut constater entre la date de naissance figurant dans la majeure partie des biographies anciennes et la date rendue plus acceptable par les chercheurs de notre temps, ne compte guère en ce qui concerne le fond historique; d'ailleurs, J. Huizinga, lui-même, dans la troisième édition allemande de sa monographie, admet l'opinion de J. J. Post — étayée entretemps de plusieurs côtés — et accepte l'an 1469 comme date de naissance d'Erasme.³

S'il est juste de faire débiter l'histoire de l'imprimerie par l'établissement de Gutenberg à Mayence, c'est à dire du milieu de la cinquième décennie du quinzième siècle, l'invention appelée à un si brillant avenir ne compta qu'une vingtaine d'années, quand naquit (trois ans plus tôt ou plus tard, qu'importe?) Desiderius Erasmus à Rotterdam. Ce n'est pas sans raison que Huizinga souligne le fait: «Erasme appartenait à la génération qui grandissait parallèlement à l'expansion du jeune art de l'imprimerie».⁴ Erasme est le premier écrivain important dans l'histoire de la littérature européenne dont toute la carrière fut décisivement influencée par les nouveaux moyens techniques. Cela ne veut pas dire seulement, qu'Erasme a passée les périodes les plus importantes de sa vie auprès des imprimeries célèbres, ou dans ces imprimeries mêmes, comme dans l'atelier d'Alde Manuce vénétien, puis dans celui de Froben à Bâle, ou bien dans ses cabinets de travail installés tout près des officines. Bien plus: le rythme de son activité, même l'ordre chronologique de ses ouvrages étaient dictés maintes fois par le rythme de l'imprimerie et par l'exigence de l'éditeur. Il est vrai que cette exigence reflétait les exigences intellectuelles de l'époque, et que le typographe-éditeur était lui-même un humaniste, représentant le plus haut niveau intellectuel de son temps. Et voilà ce qui est le plus important: c'est par suite de l'impression que l'oeuvre d'Erasme est plus qu'un oeuvre littéraire, il est à la fois une carrière dont les pierres milliaires sont formées par certains de ses livres, une carrière qui excita l'intérêt le plus

³ J. HUIZINGA: Erasmus (traduit en allemand de W. KAEGER). Bâle 1941,³ p. 11.

⁴ Ibid. p. 79. Cf. P. S. ALLEN: Erasmus' Relations with his Printers. London 1916.

vif, une attention passionnée du public, de tous les cercles littéraires d'Europe — phénomène nouveau dans la littérature européenne.

Car la carrière d'Erasme était l'affaire de toute l'Europe. Les presque soixante-dix années qu'elle renferme, sont chargées de grandes dates marquant la naissance de l'Europe moderne: la découverte de l'Amérique, l'activité de Luther, les révolutions paysannes d'Europe noyées dans le sang, etc. Et Erasme, que fait-il à cette époque mouvementée? Il s'efforce, entre autres, à présenter aux lecteurs le texte authentique et l'interprétation correcte des auteurs grecs et latins, païens et chrétiens; il applique à l'Écriture aussi les méthodes de la critique des textes. Pourtant ses contemporains, qui l'ont *accusé* d'avoir jeté les premières semences du bouleversement dans la vie ecclésiastique et sociale, et d'être le promoteur de la Réformation, de plus, d'être l'auteur moral des révolutions paysannes, l'ont jugé avec plus d'équité, que ses *défenseurs* modernes, qui se plaisent à reconnaître dans sa contemplation inactive l'attitude morale digne d'être imitée par tous les philosophes. Car bien qu'il professe l'idéal des réformes suggérées d'en haut, et qu'il recule d'horreur devant la révolution, c'est dans son oeuvre que les facteurs multiples de la crise sociale de l'époque se prennent conscience dans leur plénitude — pourrait-on dire — encyclopédique. Le recueil des *Colloques* en est une preuve par excellence.

Pour éviter toute méprise, il faut dire au préalable: ce livre — les *Colloquia Familiaria* — est un ouvrage masqué. De même que l'autre chef d'oeuvre, produit de l'humeur satirique du grand humaniste, l'*Eloge de la Folie*; de même — ou bien justement dans le sens inverse. Car dans l'*Eloge de la Folie* le sage ayant les yeux fixés sur les travers de la société, s'affuble d'un bonnet de fou, pour ne pas se faire casser la tête pour son franc-parler, tandis que dans les *Colloques* l'apparence d'une pédanterie scolastique procure le laisser-passer à cet esprit des moins pédantesques du XVI. siècle, alors qu'il s'élève avec audace au-dessus de toute pédanterie, de toute fausse idole. Les conservateurs entêtés et vigilants des formes survécues découvrant le *qui pro quo* ont déchiré — au moins dans les limites restreintes de leur pouvoir — la sauf-conduit, qui s'était révélée fausse. Cependant l'étrange livre a déjà rempli en grande partie sa mission: il a fait comprendre l'aspect périmé de toute une série des formes conventionnelles.

Le livre, selon son programme avoué dès le début, n'est qu'un manuel d'exercices du latin. Bien entendu, le latin était dans ce temps la langue de conversation dans la république des lettres. Ce ne sont pas les raides points de vue orthodoxes du cicéronianisme, qu'Erasme veut mettre en valeur, au contraire il se propose plutôt — même en enseignant la langue — de familiariser ses élèves avec l'élégance aisée et naturelle de la conversation polie. Le premier programme donc, bien que formel, est loin d'exclure l'esprit: il ranime cet esprit souverain de l'humanisme. C'est tout de même un fait historique, que le livre était destiné originairement à être un manuel, plus précisément: il doit sa

naissance à la pratique pédagogique du maître. Il a composé les premiers colloques en 1496 – 1497, à Paris, précisément à l'usage de ses élèves. La rédaction définitive de ce livre, maintes fois modifié et amplifié, garde encore dans son point de départ le système d'un manuel puisque l'auteur a posé à la tête du recueil une petite réflexion sur les formules de salutation — en tant que préliminaire de la conversation. Il prouve l'utilité de la salutation amicale, en alléguant l'autorité d'un savant, qu'il ne désigne pas nommément,⁵ «car la salutation cordiale et obligeante crée souvent l'amitié, détend l'inimitié et nourrit et augmente en tout cas la bienveillance mutuelle.» On tomberait dans l'outrance si l'on affirmait, qu'il se sert de cette méthode uniquement pour être masqué. «L'urbanité» est un élément essentiel de l'attitude érasmienne. Ce n'est pas l'effet du hasard que le premier nom de personne figurant dans le recueil de colloques est celui de *Demea*, type du vieux rustre et austère dans la comédie de Térence intitulée *Adelphoe*, qui ne répond même pas à la salutation cordiale de son frère, *Micio*. Dans la suite *Micio* est plusieurs fois mentionné. On pourrait élancer — sans trop exagérer — que la tension dramatique des discours érasmiens est déterminée par le contraste existant entre l'intolérance inhumaine et l'humanité cultivée, qui peuvent être caractérisées par les noms: *Micio* et *Demea*. L'humanisme d'Erasme exige le choix des termes d'adresse justes, non pas pour flatter l'éventuelle manie de titres de l'interlocuteur, mais plutôt pour ne pas manquer d'égards: le beau-fils doit toujours appeler sa belle-mère (*noverca*) «ma mère», comme la belle-mère doit appeler son beau-fils (*privignus*) «mon fils».⁶

Comme nous voyons, le manuel d'exercices s'élargit dans une direction et devient un véritable code de la politesse. Vu le caractère social de la langue, cela ne peut nullement nous paraître forcé. Au contraire: la langue ne vit que dans les rapports sociaux, soustraite à son élément, elle devient un simple lexique, ou tout au plus un recueil d'exemples grammaticaux. Au fond Erasme reste fidèle à son programme de maître de langue, quand il met à l'oeuvre son latin élégant dans l'ambiance tendue des différentes relations sociales. Ces relations sociales sont les plus diverses: camarades d'écoles à pied d'égalité, maître et élève, vieux copains, prêtre et laïque, moine et militaire, femmes entre elles, homme et femme en t o u t e s relations possibles. (Remarquons en passant que le mot «toutes» en lettres espacées comprend vraiment tous les rapports imaginables entre homme et femme.) On pourrait encore prolonger la

⁵ *Non temere docet qui idam, ut salutemus libenter.* C'est évidemment la reproduction de *Saluta libenter*, neuvième sentence (en prose) du recueil de Sentences répandue sous le nom de Caton. Ce n'est pas sans délibération, qu'Erasme remplace le nom de l'auteur prétendu par le pronom indéfini: il a prononcé son opinion en 1514 dans l'épître dédicatoire de la gnomologie adressée à Johannes Nevius; c'est qu'il a reconnu la qualité pseudographique du recueil de sentences.

⁶ Le bon usage du français a remplacé en effet p. e. le mot *marâtre* au sens d'un euphémisme humain par le terme d'adresse «belle-mère», en conséquence cette prescription d'Erasme reste en français presque intraduisible.

série: cette variété inépuisable ne détourne pas Erasme de ses prétentions de maître de langue. Un chapitre de la linguistique, qui n'est pas encore rédigé, est «la grammaire de deuxième personne», c'est à dire une grammaire dont le point de départ serait — au lieu du sujet parlant — la personne apostrophée. Ce point de vue paraîtra plausible, si l'on considère, que la situation de la personne apostrophée, plus précisément: le rapport du sujet parlant et de son interlocuteur influence décisivement — outre le terme d'appel et la variété délicate de l'emploi des *tu*, *vous*, *troisième personne* — le choix des mots, l'intonation et même la construction de la phrase. Dans la société de classes ce rapport est déterminé, ou au moins nuancé par les relations des classes et cela en proportion de l'accentuation de l'antagonisme. On comprend qu'à un tournant de l'histoire des sociétés de classes qui est caractérisé — comme l'époque d'Erasme — par la décadence du féodalisme et de l'élévation de la bourgeoisie, l'expression de ces relations devient problématique dans le langage, ce qui peut éveiller le vif intérêt des plus grands esprits. Erasme — sans approfondir théorétiquement le problème — répond d'une façon satisfaisante à cet intérêt. Tant que les phénomènes strictement grammaticaux de la langue sont relégués à l'arrière-plan, au moins dans ce livre-ci, c'est la conversation elle-même qui nous apparaît: une image de la vie palpitante, de la vie de la société européenne au carrefour du Moyen Age et de l'ère moderne. Et ceci est justement en quoi consiste — à nos yeux — l'intérêt passionnant des *Colloques*.

Qui sont les interlocuteurs de ces colloques? Les représentants variés de tous les types plus ou moins remarquables du XVI^e siècle. Et quel est le sujet de la conversation? Tout ce qui est un problème à démêler de l'époque, ou bien que la sensibilité délicate d'Erasme juge d'être «déjà» un problème et pas «encore» résolu. Et où a lieu cette conversation? Pour la plupart dans un milieu concret, évoquant le réalisme des peintres de genre hollandais; le milieu est assez éclairé par les propos des interlocuteurs, pour s'inculquer d'une façon inoubliable dans notre esprit: nous nous trouvons dans des écoles, sur des champs, dans les auberges, dans un sale cabaret ou au contraire dans un jardin digne d'un «banquet religieux» que les causeurs, eux-mêmes comparent au jardin d'Epicure. Au jardin d'Epicure, où seront invités quelques siècles plus tard, par Anatole France, l'héritier incontestablement le plus digne de l'«humanitas Erasmi» et de l'ironie érasmiennne les amis subtilement sceptiques.

Néanmoins les pièces de ce recueil elles-mêmes qui touchent la cible le plus hardiment gardent les traces d'origine de la primaire tendance pédagogique, à savoir, enseigner la langue et propager la bonne conduite dans la société, sans que cet héritage de l'école les rendent lourdes ou mêmes gauches. Tout d'abord, la conversation intitulée *Le voeu étourdi* donne l'impression de ne servir qu'à proposer des formules de politesse: compliments de salutation pour des amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps, et une causerie humaniste, convenable à la première rencontre. Cette impression, ou si vous voulez cette

fin est étayée par le procédé suivant: il répète la question une fois posée par une autre expression de même valeur, pour un choix libre: *Num similis morbus te quoque corripuit? Num afflavit et te huius mali contagium?* C'est ainsi qu'Erasmus réserve — ailleurs aussi — la fiction d'un recueil de formules, pour faire ressortir, derrière cette fiction, d'une façon d'autant plus hardie la tendance satirique. En ce cas-là, la pointe satirique vise deux terrains de la piété du Moyen Age déclinant; deux formes d'abus vides de sens: le pèlerinage et l'indulgence. Le culte excessif des reliques, se rattachant aux pèlerinages et à ses centres, est présenté sous un style encore plus énergique, dans le colloque intitulé *Peregrinatio religionis ergo*, où Erasmus entremêlait ses souvenirs d'Angleterre: il y parle de la Vierge Maritime de Walsingham, des reliques de Thomas Becket, détruits plus tard par la Réforme anglaise, en effleurant aussi le purgatoire de Saint Patrick. Il n'aborde pas seulement l'authenticité des reliques d'une façon ironique, mais exprime aussi ses scrupules d'ordre social: le pèlerinage éloigne ces gens pour des mois, même pour des années de leur foyer, de leur emploi, de leurs obligations sociales, et le luxe déployé par l'Eglise aux lieux de pèlerinage absorbe improductivement les ressources matérielles de la société. «Je me demande souvent comment peuvent se justifier ceux qui dépensent tant d'argent à la construction et à la décoration et à l'enrichissement des églises qu'ils n'y gardent plus aucune mesure. J'en conviens, quant aux chasubles et aux vases sacrés, l'office divin exige une certaine majesté. Que la majesté se manifeste donc dans l'architecture aussi! Mais à quoi bon tant de bassins à baptême, tant de candélabres, tant de statues d'or? Pourquoi tant d'orgues immensément coûteuses? Et par-dessus le marché, nous ne nous contentons pas toujours d'un seul: à quoi bon ce charivari s'il coûte tant, tandis que nos frères, les temples vivants du Christ meurent de faim et de soif?»

En ce qui concerne la vente des indulgences, c'était, comme l'on sait, une des causes immédiates de la proclamation de la Réforme. L'attitude critique d'Erasmus précède celle de Luther; plus tard il s'opposa aux plusieurs points de vue — surtout dans le problème du libre arbitre — au réformateur, quand même, il tenait à souligner son accord continu avec lui quant aux abus de l'Eglise, notamment la vente des indulgences. C'est d'une façon pareille que *La confession d'un soldat* traîne aux gémonies les moines, surtout les dominicains, qui trafiquent des indulgences, et qui ne se contentent pas d'allécher les mercenaires avides de butin par l'espoir de l'indulgence bon marché, mais ils font apparaître la guerre dans leurs sermons provocateurs comme une action agréable à Dieu. Ces deux dialogues sont pareils aussi en tant, qu'ils tournent en dérision la vénération superstitieuse des saints. D'autre part, s'il condamne le culte somptueux des reliques de Thomas Becket, c'est avec piété qu'il évoque le souvenir du martyr lui-même qui a affronté les excès du pouvoir royal, par exemple dans la dédicace de la paraphrase de l'Evangile selon saint Luc, adressée au roi d'Angleterre, Henri VIII. A ce moment-

là il ne pouvait pas encore prévoir que ce serait justement le despotisme tyrannique de Henri VIII qui ferait reproduire le martyr de Thomas Becket par Thomas More, un de ses meilleurs amis.

Le *Naufnage*, ce conte de marine, écrit avec la vivacité d'une nouvelle, donne beau jeu à l'auteur pour critiquer la vie religieuse de l'époque et pour opposer la simplicité de la foi évangélique au culte des saints et des reliques. Erasme y fait encore preuve, dans une forme plaisante, de son patriotisme hollandais souvent contesté: il contemple avec une certaine bonhomie le caractère du peuple qui s'accorde mieux avec la ruse simple qu'avec le fanatisme bigot, et dont les traits les plus caractéristiques sont la bonté sans façon, la bienfaisance humaine et l'hospitalité à cœur chaud. Si le compagnon de voyage de l'interlocuteur qui relate le naufrage n'était pas un Batave, en tout cas était-il Zélandais, qui s'efforce à frustrer saint Christophe par une restriction mentale assez percée à jour, mais d'autre part ceux qui aident les naufragés à gagner la terre et les font bénéficier des cadeaux offerts par la simplicité naturelle de l'amour du prochain, eux aussi sont des Hollandais.

En critiquant le culte des saints Erasme mentionne souvent saint Christophe, patron populaire des pèlerins et de tous ceux qui sont en route. Ce ne sont pas les pages de l'histoire ni de l'histoire ecclésiastique mais les traditions fantastiques de la mythologie, d'où sa personne passa dans le calendrier, et en conséquence sa légende est pleine de motifs fabuleux. Le dialogue érasmien intitulé *Cyclops* paraît proprement comme la parodie de cette légende. Le nom singulier *Evangeliphorus* («porteur de l'Evangile»), sous-titre du dialogue, nous rappelle d'une façon ironique l'étymologie du nom Christophe: Reprobis, le géant a reçu le nom *Christophorus*, c'est à dire porteur du Christ, car il se chargea les épaules de l'Enfant Jésus et le transporta à travers la rivière dans des circonstances miraculeuses. Erasme fait formuler ouvertement l'analogie par l'autre personnage du dialogue *Cyclops*, par Cannius: si le saint qui a porté l'enfant Jésus fut appelé Christophorus, celui qui porte l'Evangile avec lui devrait être appelé Evangeliphorus, non pas Polyphemus.⁷ D'autre part, si Polyphème érasmien garde son nom mythologique, il ne nous rappellé pas seulement le géant de la mythologie grecque, l'ogre qui n'a qu'un oeil, mais il évoque par l'intermédiaire du Cyclope mythologique la légende de saint Christophe d'après laquelle le saint passeur était — avant le baptême — mangeur d'hommes et selon certaines traditions un géant à la tête de chien. L'avis de Cannius est donc tout à fait motivé: il est grand temps, que Polyphemus, être brutal, se transforme en homme. C'est d'ailleurs le même état ou possibilité de transition entre l'homme et les animaux qui caractérise dans l'art contemporaine d'Erasme plusieurs ouvrages de son compatriote Jérôme Bosch.

⁷ Cf. Christophorus (1937) et Genius cucullatus (1944); réédités tous les deux en allemand dans le recueil de mes études concernant l'histoire de religion: Untersuchungen zur Religionsgeschichte. Amsterdam—Budapest 1966, pp. 403—472.

Quant au ton parodistique qui se maintient jusqu'au bout, ceci fait comprendre plusieurs détails du dialogue. Un exemple: Cannius exige la prière et le jeûne même de Polyphemus, quoique rien n'ait été plus étranger à Erasme, on le sait, que de donner la préférence à n'importe quelle prescription rituelle sur l'enseignement moral de l'Évangile; dans les Colloques et dans d'autres ouvrages il avance son opinion bien des fois sur le jeûne, observance contraire à la douce philosophie du Christ. D'après *La légende dorée* de Jacques de Voragine, un ermite pieux s'est donné la peine de faire comprendre à notre géant — au futur saint Christophe — qu'il doit beaucoup prier, beaucoup jeûner s'il veut se consacrer au service du Christ. Le géant qui pour servir le Christ ne peut offrir que sa force brutale, répond tour à tour, qu'il est incapable d'accomplir tels devoirs. Le malappris, qui recevra le nom d'Evangeliphorus, se rapproche le plus près des paroles du futur saint Christophe de *La légende dorée* quand Cannius lui recommande de se régler sur la morale de l'Évangile. Polyphemus ne peut même pas saisir ces subtilités, selon ses propres paroles, et le futur saint répond à l'ermite: il ne sait pas ce que cela veut dire, «prier». Ainsi, ce n'est pas sur la prière, ni sur le jeûne qu'Erasme veut mettre l'accent, mais — ici, comme partout et toujours — sur les exigences morales de la «philosophie du Christ».

Ce dialogue prête le meilleur à propos pour exposer le point de vue dont se sert Erasme pour se défendre contre les juges dogmatiques des *Colloques*: . . . *cum primis illud videndum erat, qualis sit persona, cui sermonem in dialogo tribuo*. Ses déclarations apologétiques — la Défense des Colloques, dédiée aux théologiens de Louvain, et l'essai plus étendu Sur l'utilité des Colloques surtout — ne lui donnaient pas d'ailleurs beaucoup de résultats pratiques. Nombre de ses amis et de ses ennemis d'autrefois sont encore en vie quand le Concile de Trente réserve une place choisie justement à cette oeuvre dans la liste des livres prohibés. Les personnages du dialogue dont il s'agit sont d'opinion et de caractère différents, pourtant aucun d'eux n'énonce littéralement l'opinion d'Erasme. Si Erasme — point par hasard, mais toujours malgré lui — était contraint à jouer un rôle dans la «tragédie luthérienne», les interlocuteurs du dialogue sont à comparer aux personnages-valets de certains drames shakespeariens. C'étaient en effet les valets d'Erasme qui servaient de modèles pour tous les deux; deux gars fidèles, mais quand même ne pas sûrs qu'entre certaines limites. L'un et l'autre, Nicolaus Cannius et Felix Rex Polyphemus — le surnom mythologique de celui-ci se rapporte à ce qu'on dit, à la qualité polyglotte du franc buveur,⁸ d'origine gantoise, faisant pour la plupart fonction du courrier — désiraient eux-mêmes, selon les lettres d'Erasme, qu'il éternise leurs figures. Lui, il les a éternisés, en effet, surtout Polyphème, qui de pure affection pour Erasme, est disposé à rosser avec un exemplaire de l'Évangile

⁸ P. S. ALLEN: *Opus Epistolarum Des. Erasmi Rotterdami*. Tom. VIII. Oxford 1934, p. 99.

à reliure rigide, les moines qui ont l'audace de prêcher contre l'édition du Nouveau-Testament d'Erasmus. C'est donc le cas de dire qu'il défend l'Evangile par l'Evangile, même si ce n'est pas dans l'esprit d'Erasmus qui renvoie les points de controverse théologique dans le monde doux des discussions savantes.

Mais est-ce qu'il n'y est question que de la figure du valet d'une force indomptée, raillée avec une grande adresse? Les contemporains se sont déjà posés cette question, et elle revient aussi à plusieurs reprises dans la littérature moderne érasmienne, sous la forme d'un raconter qui, au premier regard semble être facile à repousser, mais qui pourtant n'était soumis à un examen assez à fond, pour qu'on puisse aboutir à une opinion plus ou moins définitive.⁹ Ce qui empêche encore de voir clair en cette affaire, c'est qu'on insiste — partant de la lettre d'excuses d'Erasmus à Oecolampade — uniquement sur les traits extérieurs de Cannius qu'Oecolampade aurait pu déjà prendre sur son compte. A. Renaudet passe aussi sous silence les traits caractéristiques de Polyphème. Ce savant a toujours le mérite de généraliser conformément à l'intention d'Erasmus un propos de Cyclope porte-Evangile, comme paroles des «prêcheurs réformés»: Ces «évangélistes» aspirent conformément au nombre quatre des évangiles surtout à quatre choses: à mangerie et beuverie, aux plaisirs des sens, à l'argent, au libertinage.¹⁰ Il faut envisager plus minutieusement les circonstances de la première publication du dialogue, pour pouvoir passer outre cette généralité.

Il est connu que les éditions des *Colloques* qui se sont succédées dès 1518, respectivement 1519, s'élargissent toujours jusqu'à l'édition «définitive», parue en 1533.¹¹ Le *Cyclops* figura pour la première fois dans une édition qui a paru un peu avant qu'Erasmus soit allé s'établir presque en sorte de fuite à Fribourg. Il était poussé à cette fuite par les opérations de force qui ont accompagné le triomphe de la Réforme à Bâle, conduite par Jean Oecolampade, qui se disait longtemps l'adhérent d'Erasmus. Peu après l'édition des *Colloques* augmentée par ce dialogue, Erasmus était forcé à démentir dans une lettre adressée à Oecolampade le ragot d'avoir modelé sur lui la caricature de Cannius; c'est juste dans cette lettre qu'il désigne ses deux valets, comme les modèles vivants des deux personnages du dialogue. Et il n'y a lieu de douter des propres paroles d'Erasmus, d'autant moins qu'il a envoyé la copie de cette lettre d'excuses à son ami Wili-

⁹ C. R. THOMPSON accepte sans plus de formalités l'identification des deux personnages du dialogue avec les deux valets d'Erasmus, mais il tient à souligner que bien qu'Oecolampade lui-même ait accepté son explication — Erasmus a préféré de quitter Bâle un mois après la publication du dialogue, cf. Erasmus: Ten Colloquies. Translated, with introduction and notes, by C. R. THOMPSON. Indianapolis, N. Y. 1957, p. 120 et 122.

¹⁰ A. RENAUDET: *Études Érasmiennes*. Paris 1939, p. 355. Petrus Rab, le commentateur du XVII^e siècle d'Erasmus a d'ailleurs expliqué de même façon le passage ci-dessus du dialogue: *Ridet Lutheranos, qui se Evangelicos vocari volunt*. Je me sers de l'édition de Nuremberg, 1784, p. 653. Quant à l'allusion à Oecolampade, P. SMITH est assez réservé, mais le moine rossé par Polyphème, il l'identifie avec François Titelmann de Hasselt: *The Key to the Colloquies of Erasmus*. Cambridge. 1927, p. 48—49.

¹¹ Cf. M. DELCOURT: Erasmus. Bruxelles 1945, p. 25—74.

bald Pirckheimer — après avoir dit convenablement adieu à Oecolampade à Bâle, pour éviter le scandale peu avantageux pour l'un et l'autre des partenaires — de son nouveau domicile, de Fribourg, et dans cette ville il ne devait plus craindre l'animosité du sévère réformateur.¹² «Qui se sent galeux se gratte» — pourrait on dire. Mais le malheur est qu'Oecolampade avait toutes les raisons de prendre la plaisanterie pour son compte, et non pas en premier lieu à cause des traits extérieurs de Cannius qui vont bien à Oecolampade aussi. Bonnet, nez long, teint brun, cheveux noirs — ce sont les caractéristiques qu'alléguaient les bavards voulant exciter Oecolampade contre Erasme. Quant à l'allusion au nez long, Erasme trouve mieux de l'omettre dans l'édition suivante des *Colloques*, ce composant de la caricature d'Oecolampade devait être à un tel point dans toutes les bouches. Du temps de l'extrême exacerbation des différends entre les catholiques et les évangéliques de Bâle, à l'avent de 1528, le pontife Marius Augustinus n'avait pas honte d'accoler, en chaire de la cathédrale les sobriquets Nasus, Naso et même Rhinocerus au chef reconnu du parti opposé.¹³

«Je ne suis pas tellement de mauvais goût, de jouer un si vilain tour aux hommes savants» — écrit Erasme dans sa lettre d'excuses adressée à Oecolampade, et il est empressé d'ajouter que son autre valet Polyphème, de même que Cannius, a lui même désiré d'être éternisé par son maître dans ses écrits. Or, ce Polyphème a l'habitude d'avoir toujours à la main un bel exemplaire relié de l'Evangile, bien qu'on ne puisse imaginer un train de vie plus immonde que le sien. Pas de doute, ce portrait ne va pas au réformateur de moralité puritaine, même alors, si une année auparavant, le mariage d'Oecolampade, naguère religieux conventuel, a fait sensation générale, dont Erasme a mis avec une certaine ironie au courant plusieurs de ses correspondants. Mais étant connue son opinion souvent développée sur la possibilité d'une vie pieuse même dans le mariage,¹⁴ on pourrait difficilement lui imputer l'algarade avec laquelle Boniface Amerbach a enregistré le mariage d'Oecolampade: *O evangelium, o nuptias!*¹⁵. D'autre part les faits suivants sont à noter: Lors de la première édition du Nouveau Testament d'Erasme, Oecolampade lui a prêté assistance et a mérité par cela que le maître l'appelle du nom de Thésée fidèle. Ce théologien spécialement qualifié dans l'hébreu, a plaidé pour Erasme au moment aussi où il fut tombé, justement à cause de l'édition du Nouveau Testament, au feu roulant des attaques. De ses protestations de fidélité il suffit de mentionner, outre l'épilogue ajouté par Oecolampade en 1516 à l'édition érasmiennne du Nouveau Testament, la lettre à Erasme datée le 27 mars 1517, ainsi que l'intro-

¹² ALLEN VIII. 2147 et 2158.

¹³ E. STAEBELIN: Das Buch der Basler Reformation. Basel 1929, p. 168.

¹⁴ Cf. E. SCHNEIDER: Das Bild der Frau im Werk des Erasmus von Rotterdam. Basel 1955, pp. 54—64 et *passim*.

¹⁵ E. STAEBELIN: Briefe und Akten zum Leben Oekolampads. Bd. II. Leipzig 1934, p. 144.

duction du commentaire d'Isaïe, adressée en 1525 au conseil municipal, selon laquelle c'est une gloire pour Bâle qu'Erasme, le souverain des sciences, y demeure. Quatre ans plus tard, Erasme était poussé à se désolidariser d'Oecolampade et à quitter en même temps Bâle, mais ce n'était pas tant pour des divergences de principes fondamentales que pour la raison pratique: l'humaniste ne voulait pas suivre le théologien dans ses opérations de force qui accompagnaient la rupture décisive avec l'Eglise catholique.

En 1516 Oecolampade a été promu *licentiat* *theologiae* à l'université de Bâle; c'était l'année où parut le texte grec du Nouveau Testament. Puis il remplit pendant quelques années les fonctions de curé à Weinsberg et à Augsbourg; en 1520 il se retira dans un couvent de la Bavière, mais au printemps de l'an 1522 il se trouve déjà auprès de Franz von Sickingen comme chapelain. Mais là non plus, il ne peut tenir en place; en automne de la même année il réapparaît à Bâle. C'est ici qu'il trouve le terrain définitif pour prêcher l'Evangile; il s'a préparé à cette tâche pendant deux ans dans la retraite du couvent, comme Jésus pendant les quarante jours passés dans le désert. Bien qu'il soit arrivé ensemble avec Hutten, il aurait pu passer pour un savant de cabinet tout paisible pour ceux qui ne l'ont rencontré que dans l'imprimerie de Cratander. Mais dès les Pâques 1523 ses cours à l'université font un effet sensationnel. Les leçons où il explique Isaïe font fureur dans la ville, elles sont fréquentées par des centaines de bourgeois; dès ce temps il sera le protagoniste pour une bonne part dans les disputes fréquentes à Bâle. En 1525 les vagues des mouvements paysans parviennent jusqu'à Bâle, des anabaptistes apparaissent dans l'enceinte de la ville — ces événements augmentent la détente et jettent en même temps de la lumière sur les antagonismes sociaux cachés sous les controverses religieuses. Cette année encore le conseil municipal invite Erasme à dire son avis sur les thèses d'Oecolampade se rapportant au sens symbolique de l'Eucharistie. Dans l'ambiance donnée, son jugement raisonné, presque approbatif, mais qui exhortait en même temps à reconnaître l'autorité de l'Eglise, ne pouvait plus inspirer de sympathie chez aucun des partenaires. D'après le «conseil» mis à la disposition du sénat désuni par des controverses, la thèse d'Oecolampade est savante, claire, et élaborée avec soin; Erasme le pourrait même qualifier pieux, si l'on pouvait qualifier pieux n'importe quoi qui est en opposition avec l'opinion et la tradition de l'Eglise. Cela ne peut plus être la base de l'accord. Le conseil municipal demande encore en 1527 l'avis par écrit et des catholiques et des évangéliques sur les questions théologiques, mais le catholique Georges Zimmermann dans la chartreuse observe avec angoisse que les corporations n'invitent que des prédicateurs évangéliques à leurs réunions. En 1528 et au début de 1529 la bourgeoisie se composant surtout des artisans prend de plus en plus décidément parti pour la Réforme. Le 8 et 9 février les masses armées de cette bourgeoisie forcent la décision d'exclure du conseil «les nobles» adversaires de la Réforme, de même que l'éloi-

gnement des statues et des images sacrées des églises ou bien leur destruction, bien qu'Erasme aussi reconnaît postérieurement que le chef des évangélistes, Oecolampade, mettait en garde contre l'effusion du sang. Les informations d'Erasme, deux de ses lettres à Wilibald Pirckheimer, déjà après son établissement à Fribourg, et celles d'Oecolampade — surtout sa lettre pour Wolfgang Fabricius Capito, habitant à Strasbourg, écrite sur place, le 13 février 1525 — prouvent incontestablement que la Réforme emporta la victoire à Bâle à l'aide des actions armées. Oecolampade ajoute avec fierté plutôt qu'en s'excusant que le camp ennemi le considère comme promoteur de l'action (*adversarii me fontem huius rei vocant*) et ce qui est encore plus important, il souligne que les foules armées pour appuyer leurs exigences ont déclaré: ce n'est pas seulement pour l'Evangile qu'on en est venu aux armes, mais pour défendre les droits de la municipalité (*non evangelii, sed publicae justitiae adesse*).

En considération de tout cela, il est difficile de repousser la conclusion que — battre le chien devant le lion — dans le *Cyclops*, et quand ce serait écrit avant les jours mouvementés du février, en dehors de la figure de Polyphème, directement visée, il y a maintes choses qui vont encore à Oecolampade. Si le valet fidèle, mais rustaud répète en défendant Erasme, la grossièreté des adversaires d'Erasme, les réformateurs — à un niveau plus élevé du procès historique — s'efforçaient de résoudre les dernières conséquences du subtil raisonnement d'Erasme sur le terrain escarpé de la réalité pleine de menaces du bruit des armes. Outre ce double niveau des pensées générales, nous allons mettre en évidence un point concret du débat, mais d'abord nous voudrions alléguer, à l'appui de notre interprétation, un autre détail, qui loin d'être aussi important que les précédents, nuance plutôt la question. Le passage du dialogue que Petrus Rabus et récemment A. Renaudet ont interprété comme une attaque générale contre les adhérents de la Réformation, semble être, quant à sa forme, la parodie d'un écrit d'Oecolampade. Erasme aurait pu attendre un effet comique par ce qu'on reconnaisse l'aspect parodique de cet ouvrage, puisque flétrir si grossièrement les fidèles de la Réforme — ce que nous devrions supposer prenant au sérieux le contenu du passage en question — était étranger à Erasme, même alors qu'il entra en lutte ouverte avec Luther et avec d'autres réformateurs. Parmi les écrits d'Oecolampade il y a quand-même un — les thèses de la dispute annoncée pour le 16 août 1523, et ajournée pour le 30 août — qui mentionne également quatre incriminations contre les adhérents de l'Evangile ainsi que le *Cyclops*: Oecolampade, au cours de la dispute voulait les réfuter, tandis que Polyphème, dans le dialogue les admet et même avec fierté.¹⁶

¹⁶ Voilà les deux textes en original pour présenter la parodie. Les thèses d'Oecolampade (Briefe und Akten zum Leben Oecolampads. Tome I. 1927, p. 245): *Quoniam nonnulli contra evangelicos, quos ipsi novos doctores vocant, temere loquuntur multa et in summa quatuor auditu duriora inimice et infideliter tragica querimonia illis impingunt, nempe quod despiciant omnes doctores, deinde quod occupati in solius fidei doctrina nihili-faciant omnia bona opera, tertio quod despiciant omnes sanctos, denique quod conculcent*

Si Polyphemus frappe du livre sacré «au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit», ce n'est plus uniquement le paradoxe — quelqu'un recourt à la force abhorrée par Erasme pour défendre Erasme — qui est mis en relief. Il faut apercevoir, qu'ici Erasme, sous la forme d'une allusion hardie, relève les gants que ses adversaires dogmatiques lui ont jetés à cause d'un de ses résultats qu'il a obtenu par la critique des textes, et qu'il a publié dans l'édition du Nouveau Testament. (Entretemps, dans la troisième édition, en 1522, il a retiré ce résultat de ses recherches, bien qu'avec un accent assez équivoque.) Erasme a constaté que les anciens manuscrits du texte original grec ne contiennent pas les paroles de la première Epître de l'apôtre Jean entre les versets 5, 7 et 5, 8, les paroles auxquelles l'Eglise se référait pour documenter le dogme de la Sainte-Trinité par la Sainte-Ecriture. Par cela même, les adhérents des différentes tendances antitrinitaires, qui représentent la branche la plus radicale de la Réforme, se sont réclamés plus tard d'Erasme, pour authentifier leurs thèses. (Nous trouvons parmi ces réformateurs notre compatriote, François Dávid.)¹⁷ Erasme ne soupesait peut-être pas encore (et son valet ignorant encore moins), quelles conséquences pourraient avoir les conclusions de sa critique des textes, combien elles influenceront la critique de la religion; cette influence ne se développera pas entièrement qu'après la mort de l'humaniste. Une chose semble toutefois incontestable: c'est ici qu'il faut chercher le piquant de l'affaire, qu'Erasme a gardé pour les connaisseurs. Polyphème au nom de la Sainte-Trinité règle l'affaire de celui, qui ose attaquer l'édition érasmiennne du Nouveau Testament, livre, que l'on accuse de nier la Sainte-Trinité. Comme si Erasme disait: pour lui c'est égal, quelles seront les conclusions de la ratiocination théologique, mais il considère l'examen minutieux et savant du texte de la Bible — du Nouveau Testament cette-fois — comme le droit inaliénable de l'humaniste, libre de toute préoccupation théologique; il tient même pour le devoir incontestable du philologue de veiller et garder la pureté originale de ces sources.

Dès l'époque de Pétrarque l'humanisme de la Renaissance a élaboré, dans une forme toujours plus perfectionnée, certains points de vue et certaines méthodes scientifiques pour établir le texte le plus authentique des auteurs classiques des littératures grecque et latine. Erasme cherche à appliquer ces points de vue et ces méthodes au texte de la Bible, suivant — en cela aussi —

omnes humanas leges ... Les accusations que Polyphemus, le personnage comique du dialogue, admet avec fierté, touchent — bien sûr — un niveau immensément plus bas de la vie quotidienne: ... *Nos evangelici quatuor res potissimum venamur: ut ventri bene sit; ne quid desit iis, quae sub ventre sunt; tum ut sint unde vivamus; postremo ut liceat, quod lubet, agere.*

¹⁷ V. entre autres A. FLITNER: *Erasmus im Urteil seiner Nachwelt*. Tübingen 1952, p. 155 et 161. A. HARNACK: *Dogmengeschichte*. Tübingen 1914³, p. 436. Pour le problème de *comma Johanneum* v. SMITH: o. c. pp. 165—166. K. A. MEISSINGER: *Erasmus von Rotterdam*, Zürich 1942, p. 387; F. G. KENYON: *Der Text der Griechischen Bibel*. Remanié et complété par W. ADAMS, traduit en allemand par H. BOLEWSKI. Berlin 1961², p. 84.

l'exemple de Laurent Valla.¹⁸ Il est incontestable, qu'entre autres par ces efforts Erasme est devenu précurseur de la Réforme, et en outre, de la critique exégétique moderne. C'est une des découvertes d'Erasme, que la langue de l'Ancien Testament, le hébreu, résout souvent les problèmes du text grec du Nouveau Testament. Erasme ne connaissant pas assez profondément cette langue, devait se faire assister par un expert quand il prépara la première édition du Nouveau Testament. Ce fut justement Oecolampade qui l'aidait dans son travail; c'est ce travail pratique qui a fait comprendre à Erasme, que la connaissance du hébreu est indispensable pour expliquer les textes bibliques, même ceux qui sont rédigés en grec. Dans le but de l'interprétation correcte de l'Ecriture le hébreu est devenu nécessairement à côté du grec et du latin la troisième langue classique.^{18a}

Le représentant de l'idéal culturel qu'Erasme a accepté en principe comme le sien, était Jean Reuchlin (Johannes Capnio) issu de Pforzheim, apôtre de l'étude conjuguée des trois langues. La conjonction des trois langues — hébreu, grec, latin — était justifiée, en premier lieu, pour les humanistes par le rôle que ces langues jouent dans l'exégèse biblique. Seule l'exégèse basée sur la connaissance des trois langues peut éclairer le vrai sens de l'Ecriture, source limpide de la vie chrétienne. Pour atteindre ce but, il faut étudier l'original de l'Ancien Testament hébreu, le Nouveau Testament et les livres dits apocryphes grecs, les comparer avec les anciennes traductions d'importance fondamentale, et donner une appréciation critique de la Septante et de la Vulgate latine. Mais au delà des buts de l'exégèse biblique, ces trois langues conservent les documents de base de la culture européenne: l'humanisme restitué dans leurs droits les classiques latins, puis les grecs. Reuchlin mène une lutte acharnée en faveur de la littérature hébraïque des temps postérieurs à la Bible aussi, quand les théologiens de Cologne veulent brûler les livres hébreux. Erasme est du côté de Reuchlin dans cette lutte: c'est naturel, puisque non seulement les livres hébreux étaient en cause, mais la liberté de l'esprit aussi. Il imposa avec succès son autorité à la cour pontificale en faveur de son collègue plus âgé, et c'est encore à son initiative que se crée à Louvain le célèbre collège de trois langues avec l'aide du fonds Busleyden. Lorsque Reuchlin, professeur également réputé des langues hébraïque et grecque à l'université de Tübingen meurt en 1522 à l'âge de 67 ans, Erasme lui érige un monument qui est émouvant, quoique d'un ton plaisant: *Apotheosis Capnionis*.

L'humaniste défunt est accueilli dans le ciel par saint Jérôme, et ce n'est pas sans tendance: ce père d'Eglise, traducteur de la Bible était le personnage le plus apte de l'antiquité chrétienne pour être choisi comme modèle par les humanistes, partisans de l'idéal culturel des trois langues. Reuchlin

¹⁸ Cf. P. O. KRISTELLER: *Eight Philosophers of the Renaissance*. Stanford 1964, p. 25.

^{18a} Cf. L. GEIGER: *Das Studium der Hebräischen Sprache in Deutschland vom Ende des XV. bis zur Mitte des XVI. Jahrhunderts*. Breslau 1870, p. 109.

devait se défendre à cause de ses études hébraïques contre les théologiens pleins de préjugés, et saint Jérôme, au carrefour du IV. et du V. siècles dut quelquefois justifier sa piété en face de ses adversaires, surtout envers Rufinus, à cause de l'intérêt affectueux qu'il éprouvait, en dehors de l'Écriture, envers les classiques de la littérature latine: Cicéron, Virgile et Horace.

Erasme dans ce colloque fait élever Reuchlin parmi les saints, justement pour élargir la définition humaniste de la sainteté. Cette tendance est exprimée avec le plus de concision dans le *Convivium religiosum*, colloque qui commence sous le signe des trois langues: «La première place revient de droit à la Sainte Écriture. Et, cependant, il m'arrive parfois de relever des propos d'auteurs anciens ou de lire des passages écrits par des païens, même par des poètes, mais dont la pureté, la sainteté, je dirais même la divinité d'expression me frappent à tel point que je ne puis croire que leur main n'ait été guidée par une puissance bienfaisante. D'ailleurs, l'esprit du Christ s'est répandu plus largement peut-être que nous ne le pensons. Il y a beaucoup de saints qui sont au ciel sans figurer dans le calendrier.»¹⁹ C'est dans cet esprit, que l'un des participants du «banquet religieux» fait l'aveu qu'il prie quelquefois de cette façon: *Sancte Socrates, ora pro nobis!*

L'extension donnée à l'idée de la sainteté sous cette forme plaisante, dégagée, prouve à elle seule, que de la part d'Erasme il s'agit uniquement de la reconnaissance rationaliste du mérite humain et pas de tout du culte des saints canonisés par l'Eglise. Certes, l'Eglise a canonisé Thomas More en bonne et due forme lors du quatrième centenaire de son martyre, en 1935. Si un des contemporains avait lancé l'hypothèse de la canonisation de l'auteur de l'*Utopie*, les deux bons amis, partisans également enthousiastes de l'esprit satirique de Lucien, l'auraient entendue avec le même sourire. Le pape Pie II faisait élever au rang des saints Catherine de Siène par égard pour l'ordre de saint Dominique et pour la ville voisine de Corsignano, sa ville natale. Or, l'opposition de la sainteté de Reuchlin à celle de sainte Catherine conteste la justesse du culte ecclésiastique des saints en même temps qu'il consacre le souvenir du grand savant. D'autre point de vue, le dominicain populaire, saint Vincent de Ferrère mentionné dans le *Naufnage* en compagnie de sainte Catherine, pourrait être la contre-partie de Reuchlin. Le savant a renouvelé «le don des langues», — faculté merveilleuse des apôtres, qui partaient pour prêcher l'Évangile — dans le cadre de la science, qui exige un travail rationnel, dévoué. C'est ainsi que la science devient successeur légitime de la Révélation, dans le monde d'Erasme tout particulièrement la philologie: science maîtresse longtemps encore dans la vie intellectuelle de l'Europe, dont l'influence féconde se fait sentir encore longtemps dans les sciences naturelles, jusqu'à ce que celles-ci atteignent tour à tour la maturité. Et saint Vincent? Sa légende relate le miracle suivant:

¹⁹ Après la traduction savante et délicate de L. E. HALKIN: Les Colloques d'Érasme. Textes choisis, traduits et annotés. Bruxelles 1946², pp. 24—25.

lui, qui prêchait toujours en dialecte valencien, évoquant la pénitence dans ses paroles, était compris même par ceux qui ne savaient point du tout l'espagnol. C'est ainsi, qu'il était suivi dans son voyage de mission par des milliers de pèlerins: Jean Gerson, théologien contemporain fut déjà choqué par ce drôle cortège conduit par le moine espagnol exalté.

Erasme, dans son ouvrage coloré par les motifs drôlatiques empruntés à la nouvelle italienne, fait défiler sous les yeux des lecteurs le cortège multicolore des moines appartenant aux ordres les plus divers du déclin du Moyen Age — moines protecteurs des institutions ecclésiastiques dépassées, qui ne font que répéter d'une manière formaliste les jeux d'esprit creux de la scolastique détestée, qui ont fait perdre la morale exerçant leur culte superstitieux, des faux dévots. Mais, tout en critiquant la vie monacale, Erasme pouvait faire parfaitement la distinction entre les fondateurs des ordres et les successeurs indignes, trop attachés aux entraves gênantes, aux cérémonies qui ont perdu leur contenu à la suite des changements des circonstances. En cela il est tout comme son modèle ancien, Lucien, capable de faire si bien la distinction entre les grands promoteurs des écoles philosophiques grecques et les épigones-babilards qui dissolvent l'union de la théorie et de la pratique dans des formes excessives. Erasme, à son tour, discerne le saint d'Assise qui prêche aux oiseaux, ses «soeurette», du franciscain qui n'est digne que de prêcher à ses «frères», aux ânes et aux cochons.

Le moine qui donnait occasion à cette comparaison démasquante était celui qui lors de la diète de l'Empire à Augsbourg — assemblée où se manifesta l'irrévocabilité de la scission de l'Eglise — accablait l'absent des pires horreurs dans son discours qui prenait son point de départ d'un passage de l'interprétation érasmiennne du Nouveau Testament. Erasme constate avec une satisfaction tacite que beaucoup de personnages parmi les assistants haut-placés étaient indignés de l'attaque dirigée sur lui — comme Marie de Hongrie, la veuve du roi Louis II, devenue plus tard gouvernante des Pays-Bas qui arriva à Augsbourg avec son secrétaire et conseiller hongrois, Nicolas Oláh, partisan fervent d'Erasme. Un autre ami hongrois d'Erasme, qui appartenait également à l'entourage de la reine Marie, Jean Henckel, fait parvenir à l'humaniste une autre nouvelle d'Augsbourg, à savoir que l'adversaire le plus décidé d'Erasme et de Luther, le docteur Eck a relevé une centaine de passages des Colloques, considérés par lui comme hérétiques. (Erasme à cette époque-là se tenait loin de la scène tracassée de la diète de l'Empire.) Les cadres des *Colloques* n'étant pas définitivement fixés presque jusqu'à la mort d'Erasme, il était possible que leur édition définitive en 1533 soit enrichie de la narration de cet

²⁰ V. mon livre: Erasme et ses amis hongrois (Erasmus és magyar barátai). 1941, nouvelle édition dans le recueil Humanisme et littérature nationale (Humanizmus és nemzeti irodalom). Budapest 1966, surtout pp. 114—118, et mon article en français: Les efforts politiques d'Erasme en Hongrie. Nouvelle Revue de Hongrie 11 (1942), pp. 148—158.

épisode des jours excités de la diète, où Erasme donne le nom — même plus qu'équivoque — *Merdardus* au franciscain visé par sa plume. Cet épisode n'était pas décisif du point de vue historique, mais caractérisait très bien l'ambiance à Augsbourg.

Une autre fois Erasme montre volontiers des personnages exceptionnels, dignes des intentions du fondateur de l'ordre — du renouveau de la pauvreté et de la simplicité évangéliques —, quasi pour mesurer à leur échelle le vrai visage moral et intellectuel de la moyenne, dépourvue de toute humanité, comme dans l'un des plus excellents dialogues du recueil *Les riches mendiants* (*Πτωχοπλόσιοι*).

Il est difficile à décider, si c'est comme document de l'histoire des mœurs ou comme théorie éthique que ce merveilleux opuscule mérite plus d'attention. Mais, avant tout, il nous faut constater que celui qui estime *a priori* que la littérature latine de l'humanisme — vu son caractère trop littéraire, trop attaché aux traditions — soit incapable de représenter la vie d'une façon réelle, et qu'elle ne puisse atteindre qu'à la réalisation plus ou moins parfaite de l'idéal du style élégant, même celui-ci devra renoncer à son idée préconçue en lisant ce dialogue. Nous n'y trouvons aucune trace de la nature secondaire, du caractère livresque qu'on a coutume de reprocher à la littérature latine des humanistes. L'atmosphère qui enveloppe les deux franciscains quand ils entrent à l'auberge, le geste indolent dont l'aubergiste nu, sur le banc de la cheminée met sa chemise pour aller à l'encontre des hôtes nocturnes inopportuns — est-ce qu'il les accueille, est-ce qu'il les renvoie, on ne peut pas encore savoir — toute cette petite scène ferait l'honneur de n'importe quel romancier réaliste. Les franciscains avaient frappé à la porte du curé, mais celui-ci les a renvoyés d'un ton brusque. Non pas par avarice seulement, mais avant tout parce qu'il avait peur que les religieux ne connaissent sa vie privée; car il est connu, que ces prédicateurs dévoilent publiquement et sans merci les crimes et péchés des gens ecclésiastiques de même que ceux des laïcs. D'ailleurs eux-mêmes ne valent pas mieux, ils sont comme les autres, et dans une certaine mesure ils le reconnaissent, seulement les domicains et les franciscains, les observants et les spirituels se renvoient les uns sur les autres les griefs qu'on formule de leur attitude morale. Le peuple, naturellement, ne prête pas attention à ces arguties pointilleuses, et l'aubergiste — qui se montre à la fin plus humain et plus hospitalier que le curé — accueille les frères avec une méfiance bien compréhensible. Et la circonstance, que c'est justement sa femme qui prend leur parti, n'atténue point cette méfiance. Le moine qui prête un sens très subjectif à son vœu de chasteté, constitue un des motifs favoris des novellistes italiens, chez les prédécesseurs de Boccace aussi souvent que chez ses continuateurs. Notons p. ex. qu'un cinquième des nouvelles de Masuccio de Salerne forment un cycle rond autour de ce motif. Notons pourtant qu'Erasme avait ici son modèle classique aussi. Lucien, qui nous présente les philosophes

cyniques ambulants de l'Antiquité comme mendiants sans vergogne, moralisateurs tapageurs et hypocrites, qui ne suivent point du tout leur propres conseils ascétiques concernant les plaisirs sensuels. Il est vrai que Lucien peut montrer un Démonax, qui représentait le principe cynique en sa noble pureté — tout comme le porte-parole franciscain du dialogue d'Erasme a plus de droit de porter l'habit de saint François que la plupart de ses frères.²¹ Il est plus digne de le porter puisqu'il n'y attribue aucune valeur superstitieuse, étrangère aux intentions pieuses du saint fondateur de l'ordre.

C'est justement à propos de l'habit ecclésiastique que le dialogue s'engage dans une voie qui amène à l'élaboration de la sociologie des coutumes. Comme une hypothèse de travail, illustrant la relation des coutumes et des mœurs, l'auteur mit au dialogue la description de l'île lointaine dont les marins ayant fait le tour du monde apportent la nouvelle à l'aubergiste: n'oublions pas que l'opinion publique est encore sous l'effet de la sensation récente de la découverte de l'Amérique. Mais ce ne sont pas seulement les aventures, l'exotique des terres inconnues et lointaines qui occupent l'imagination de l'humaniste, mais aussi — au point crucial du développement social — la vision d'un ordre social plus équitable et plus digne de l'homme le hante. Et de ce point de vue, «l'utopie» de courte haleine d'Erasme est à la hauteur du célèbre livre qui prêta son nom et au genre littéraire et à la manière de voir la société; d'ailleurs c'est encore Erasme qui mit sous presse, dans l'imprimerie de Froben à Bâle, l'Utopie de Thomas More, du compagnon d'esprit semblable, de l'ami fidèle.²²

Ici, l'auteur nous permet de jeter un coup d'oeil dans l'avenir bien éloigné en nous donnant la description hâtive d'une société qui, basée sur l'abondance fabuleuse des biens et sur leur répartition démocratique, permettra qu'on utilise convenablement à la dignité humaine les loisirs incroyablement accrus à l'échelle sociale. Sur le plan de l'actualité plus proche, en dévoilant les formes survécues, entre autres le dialogue sur «Des choses et des noms» (*De rebus ac vocabulis*) favorise le neuf qui naît.

Dans ce dialogue, l'interprétation des noms des compagnons elle-même: *Beatus*, c'est à dire «heureux», «fortuné», *Bonifacius*, c'est à dire «au beau visage» (au moins selon l'une des étymologies possibles) — nous amène à la théorie ingénieuse des «mensonges conventionnels» et par là, même si ce n'est qu'en passant, à la critique générale de la société. Les critiques de l'humanisme ont souvent fait et font encore aux humanistes des griefs d'un verbalisme absolu-

²¹ Cf. Lucian, *Orient and Occident in the Second Century*. *Oriens Antiquus* 1945, pp. 130—146; nouvelle édition en allemand dans notre recueil d'essais: *Untersuchungen zur Religionsgeschichte*, pp. 384—402; outre la littérature y citée, cf. surtout T. KARDOS: *Zur Entstehungsgeschichte des «Lobes der Torheit»*. *Filológiai Közlemény* 4 (1958) *passim* et pp. 578—582.

²² C'était déjà la troisième édition, corrigée, cf. Thomas More: *L'Utopie*. Texte latin édité par M. DELCOURT, avec les notes explicatives et critiques. Paris 1936, p. 25.

ment creux, en les accusant d'un penchant qui leur fait oublier la réalité dans l'enchantement des grands mots, surtout des mots qui doivent leur gravité à l'histoire. Or, selon Erasme, c'est justement la condition indispensable de l'«humanitas» que nous regardions la chose même derrière le nom souvent trompeur, pour discerner l'existence réelle et nominale. En effet, c'est le dernier retentissement de l'antithèse du *réalisme* et du *nominalisme*, antithèse qui caractérisait la philosophie du Moyen Age. Les scolastiques discutaient si la notion générale existe réellement — *realiter* — ou elle n'est qu'un seul nom — *nomen* — qui comprend dans notre cogitation les sujets concrets et individuels, réellement existants. Ce sont les nominalistes victorieux de la fin du Moyen Age qui fournissent les armes à la philosophie d'Erasme, mais sa philosophie, l'«humanitas Erasmiana» foncièrement pratique, transfère le problème métaphysique sur le plan de l'éthique. Il établit comme postulat éthique que la «chose» réalise dans son existence particulière la définition d'une valeur absolue dont le «nom» n'est que la marque collective, le symbole. Ainsi par exemple le roi ne serait roi qu'au cas où — comme la définition du roi exige — il servirait non pas ses propres intérêts, mais le bien public, conformément aux exigences des lois et de l'équité. La décomposition du féodalisme et les heurts de la transition de l'économie naturelle à l'économie monétaire qui se cachent au fond de ce raisonnement sont des éléments particulièrement actuels, c'est à dire caractéristiques à la crise sociale du XVI^e siècle. L'idéal chevaleresque a déjà dégénéré (le dialogue *Chevalier sans cheval* insiste avec complaisance sur toutes les contradictions in terminis de gentilhomme-brigand), et les abus actuels de l'économie monétaire rendent directement possible que les détenteurs du pouvoir volent le peuple, sans que le nom infamant de «voleur» leur soit infligé. Erasme traite ici le problème sur le ton de railleries dégagées, mais il en reparle ailleurs, et par exemple dans l'*Institutio principis Christiani*, un «miroir de prince», il énumère dans les moindres détails les différentes formes de la dépréciation de la monnaie: vil titre d'alliage, allègement des pièces, rognage, évaluation arbitraire de la valeur. Il blâme ces pratiques dont résulte l'appauvrissement du peuple. C'est ainsi que le roi vole effectivement son peuple auquel il voua sa foi devant Dieu. En effet, on ne saurait attirer l'attention assez souvent aux relations économiques-sociales de l'enseignement d'Erasme, d'autant plus parce que l'opinion générale, qui s'est bâtie trop exclusivement sur la phrase bien connue des *Epîtres des hommes obscurs*: *Erasmus homo pro se*, les néglige ordinairement.²³ Cependant, les contemporains qui attaquaient le christianisme évangélique d'Erasme en le déclarant hérétique, défendaient en même temps les intérêts des classes dominantes. Et Erasme lui-même s'en rendait bien compte. C'est pourquoi en se défendant contre les attaques des religieux proches à

²³ Le livre de H. WISKEMANN: *Darstellung der in Deutschland zur Zeit der Reformation herrschenden nationalökonomischen Ansichten* (1861) est une exception digne d'éloge, mais rarement mentionnée.

la cour espagnole des Habsbourgs, il ne manque pas d'appuyer de l'autorité conjugée d'Aristote et de saint Augustin le célèbre énoncé de son *Enchiridion militis Christiani*: «Que le chrétien ne croie pas qu'il soit né pour lui-même, et qu'il ne veuille pas vivre pour lui-même. Mais quoiqu'il ait ou quoiqu'il soit devenu, qu'il ne l'attribue pas à lui-même, mais qu'il accepte tout comme le don de Dieu créateur, et qu'il considère toute sa fortune comme le bien commun de tous. La charité chrétienne ne connaît point la propriété privée.»

Le chevalier sans cheval constitue un cas spécial de l'antithèse du «nom» et de la «chose», et comme tel, ce dialogue éclaire dans tous les détails une des mailles du raisonnement déjà connu. Or, il est évident qu'il attaque non seulement le masque chevaleresque, mais à la fois le style de vie suranné de la chevalerie. La fonction sociale de la satire soit éclairée sur la base de la définition que H. Bergson donna du comique. Ridicule est telle action qui se répète machinalement, et le rôle du rire est de faire remarquer à ceux qui s'oublient leurs gestes distraits, leurs attitudes figées, détachées de leurs connections organiques, ayant perdu leur sens. Si nous voulons être plus exacts, nous ne dirions pas que le ridicule tue, comme le dit le proverbe, mais qu'il déclare le décès de ce qui est déjà mort. Le rôle social de la littérature est, en général, l'idéation, la formation de la conscience sociale; l'écrivain satirique contribue au progrès en faisant justice de ce qui doit être dépassé. Le chevalier est le fantôme qui a survécu au féodalisme se désagrégeant. Et pour Erasme rien n'est plus odieux que si parmi les humanistes, appelés par excellence à cultiver la conscience, le sens critique, il se trouve quelqu'un qui s'acharne aveuglément à représenter la mode de vie surannée. Erasme appelle *Harpalus* le chevalier maraudeur et autoritaire; par ce nom il fait allusion au trésorier infidèle d'Alexandre le Grand, tout en espérant que le lecteur saisira aussi le sens commun du mot qui veut dire: *rapace, maraudeur*. Or il pense à Ulrich von Hutten, son contemporain à qui s'attache l'une des plus grandes déceptions de sa vie. Parfois l'allusion est tout à fait évidente: c'était Hutten qui prit pour devise l'énoncé fameux de Jules César: *Iacta est alea*, le jeu en est jeté. La maladie «à la mode» de l'époque, l'avarie caractérisait non seulement le type, mais aussi le malheureux Hutten. Hutten naquit en 1488, dans une famille allemande de vieille souche. Dès le début, il tenait beaucoup à sa qualité de «chevalier franc», même plus qu'Erasme, ce self made man, d'origine obscure eût pu trouver naturel. Et pourtant Erasme attendait beaucoup de ce jeune homme, de son érudition classique, de sa latinité élégante qui se fit jour de bonne heure et en vers et en prose. C'est avec l'attitude respectueuse de disciple que Hutten s'approchait au maître fêté par l'Europe, et pendant un temps une certaine fraternité d'armes les lia l'un à l'autre, surtout à l'époque de la lutte menée en faveur des livres hébreux, où, naturellement, Hutten et Erasme embrassèrent la défense de l'humanisme de Reuchlin et de la liberté de l'esprit plutôt que celle des livres hébreux. Ils étaient d'accord encore en grandes

lignes en condamnant les abus de l'Eglise, mais ils devaient se séparer quand Hutten — encore plus énergiquement que Luther lui-même — fit cause nationale allemande de ce problème, et lutta contre l'influence de l'Eglise romaine par des arguments empruntés à Tacite: Arminius, le héros de l'antiquité germanique ne pouvait supporter, lui non plus, le joug des Romains. Et bientôt Hutten rappela à Erasme vraiment les germains barbares de l'antiquité, par son agressivité combative, ses violences, sa justice arbitraire, sa bravade chevaleresque. Même Melanchthon, le fidèle le plus dévoué de Luther, n'approuvait pas son caractère tracassier et l'attitude énergique qu'il prit pour défendre la Réformation de Luther, et il l'approuva encore moins quand Hutten, bien indélicatement, força Erasme à révéler sa prise de position. Ce pamphlet de Hutten lequel se dirigeait sur Erasme, parut en 1523, dernière année de la vie du chevalier menacé de la peine capitale. Il portait sur sa dernière page le portrait de Hutten, se plaisant dans le rôle du chevalier: épée nue à la main, et sous l'image la devise déjà connue: *Iacta est alea*. Ce portrait fait comprendre qu'Erasme se souvient de Hutten même quand il sourit en regardant l'habillement démodé de chevalier. D'ailleurs il refusa l'attaque de Hutten par un pamphlet volumineux qui prouve clairement, que même ceux ont tort, qui affirment «à la décharge» d'Erasme, que le vieux maître ne put marcher avec son siècle, ne put suivre les jeunes qui s'avançaient sur le chemin frayé par lui. Aux yeux d'Erasme, Luther, le *théologien*, et Hutten le *chevalier* sont également des phénomènes rétrogrades en face de son propre humanisme laïc et bourgeois.

D'ailleurs Heinrich von Eppendorf jouait un rôle bien équivoque dans la querelle de Hutten et d'Erasme. Certes, les biographes de Hutten réussissent à le blanchir de l'accusation de chantage, bien que nous ayons pris connaissance de certains marchandages qui visaient que Hutten — en retour de quelques compensations pécuniaires — renonçât à l'édition de son pamphlet. Ces marchandages aussi, paraît-il, reflètent plutôt la mentalité d'Eppendorf, à qui d'ailleurs n'étaient pas étrangères de semblables tentatives d'extorsion de fonds, et qui, au dire des contemporains, se serait attribué le titre de noblesse abusivement — tout comme Harpalus. C'est lui qui est le véritable modèle du «chevalier sans cheval», et en même temps le type du coquin littéraire sans scrupule. Une phrase allusive du dialogue nous laisse soupçonner des expériences personnelles bien amères.²⁴

Or même si c'est du point de vue de la bourgeoisie montante qu'Erasme critique les formes dépassées du féodalisme, il remarque les contradictions morales de la mode de vie du type nouveau, du bourgeois qui s'enrichit grâce aux machinations financières bien rusées; et c'est pourquoi on ne peut consi-

²⁴ Sur les rapports d'Erasme et de Hutten v. D. F. STRAUSS: Ulrich von Hutten. Leipzig 1858, surtout II. pp. 244—300; sur Eppendorf *ibid.* pp. 272—277; SMITH: *o. c.* pp. 385—386; M. MANN PHILLIPS: *The Adages of Erasmus*. Cambridge 1964, pp. 130—131. V. encore K. BÜCHNER: *Die Freundschaft zwischen Hutten und Erasmus*. München 1948.

dérer sa «neutralité» — qui ne lui permet pas, au cours des divergences qui vont s'accusant, de s'adhérer sans réserves à aucun parti — comme le prototype «triforciste».²⁵ Il se détourne du vieux dépérissant, mais il voit plus loin, au-delà du nouveau naissant, il jette son regard sur l'avenir lointain, et ses aspirations éthiques le sacrent, comme nous venons de voir, citoyen d'une utopie sociale.²⁶ Pseudocheus, personnage du dialogue *Vérité et Fausseté* — qui, d'après l'étymologie du nom parlant y verse les mensonges à flots — expose d'une franchise impertinente les «justifications théorétiques» des pratiques commerciales déjà plus ou moins acceptées de l'économie capitaliste naissante. Il peut le faire tranquillement dans ce «beau monde nouveau» où la fortune sourit à ceux qui, sans scrupule, volent, escroquent, mentent affrontément. Le tout est de ne pas être pris en flagrant délit, ou de trouver les formules juridiques qui justifient les formes impitoyables de l'appropriation indue, caractéristiques à l'époque de l'accumulation primitive du capital. Ce qui, comme nous savons, amène l'étayage de telles normes morales d'après lesquelles le brigand victorieux est considéré comme le type du bourgeois laborieux, doué, inspirant du respect, tandis que le faible, froustré, dépouillé même de ses outils de travail se qualifie malhabile, indigne de foi et, une fois sa défaite économique achevée, vagabond, oisieux.

Il est curieux que c'est un dialogue mythologique — *Charon* — qui nous présente les contradictions de l'époque dans des cadres les plus élargis. Et c'est dans ce dialogue qu'Erasme suit le plus apparemment son modèle grec, Lucien de Samosate. Mais cette imitation n'est que formelle: ce dialogue, comme les autres, a toutes ses racines dans le monde du XVI^e siècle, et donne le tableau de la politique mondiale qu'éclairent les considérations pacifiques qui déterminaient dès le début la ligne de conduite politique d'Erasme. C'était Erasme qui, dans plusieurs morceaux des *Colloques* et ailleurs, condamna le plus sévèrement la politique de guerre du pape Jules II, et professa le plus conséquemment que le pape se mit en opposition avec la mission que le Christ, le Roi de la paix avait confié au successeur de Saint Pierre. Et même les successeurs plus pacifiques, Léon X, Adrien VI ne pouvaient plus apaiser les passions que le pape belliqueux avait déchainées. C'est par toute une série de pamphlets et de lettres qu'Erasme s'efforçait de servir la cause de la réconciliation, et c'était pourquoi il dédia les paraphrases des quatre Evangiles aux quatre monarques les plus puissants de l'Europe — à Charles Quint, Henri VIII, François I^{er} et Ferdinand, futur roi de la Hongrie — en leur rappelant le commandement évangélique qui veut que la paix règne sur la terre, et en formant son vœu pour que «leurs âmes soient unies par l'harmonie, tout comme le livre contenant les quatre Evangiles unit paisiblement leurs noms».

²⁵ Comme le fait p. ex. F. HEER dans son oeuvre qui impose par sa documentation historique: *Die dritte Kraft*. Frankfurt am Main, 1958.

²⁶ Cf. *Untersuchungen zur Religionsgeschichte*, pp. 487—488.

Le *Charon* prit son actualité dans l'émulation qui se fit entre François I^{er}, roi de France et Charles de Habsbourg, roi d'Espagne et en 1519 déjà élu empereur d'Allemagne, pour la possession de l'Italie et en même temps pour la couronne impériale. Henri VIII, roi d'Angleterre guettait le jeu des forces pour augmenter son influence européenne, quel que soit le résultat de ce combat. La fin de cette guerre est connue: en 1525, à Pavie, François I^{er} tomba dans la captivité de Charles V, d'où il ne sortit qu'au prix des conditions humiliantes, mais l'année suivante déjà, il organisa contre Charles V la ligue de Cognac où entrent, outre le roi de France et plusieurs villes italiennes, le roi d'Angleterre et même le pape, l'indécis Clément VII. Auprès des trois grandes puissances, les plus petites n'ont que le rôle de figurants, mais le conflit des protagonistes — Charles Quint, François I^{er}, Henri VIII — fractionne toute l'Europe. Et quand, en 1530, le problème de la couronne impériale fut réglé par le couronnement de Charles Quint, il arriva ce dont Erasme s'était aperçu le premier: par suite du «dissentiment» la rupture protestante. Erasme avait beau essayer d'arranger les différends, le problème de la Réforme amena des guerres nouvelles, les guerres de religion des XVI^e et XVII^e siècles. Pour tant de sang versé Erasme rejette le tort pour une large part sur les ecclésiastiques qui, espérant tirer partie de la guerre, pouvaient réconcilier leur conscience avec l'empoisonnement de l'atmosphère de la vie publique, et comme publicistes par leur plume, comme orateurs du haut de la chaire embrassaient la cause de la guerre. Peu à peu personne n'entendait plus la voix placide d'Erasme, exigeant la paix — puisque c'est naturellement lui, ce Polygraphe qui avait écrit la plainte de la Paix et plus tard l'épithaphe de la Paix —, mais il prêchait toujours aux rochers. C'est une allusion ironique et amère à l'insuccès de ses efforts de publiciste, et surtout à la *Querela Pacis*, dont la parole tomba à terre quoiqu'elle eût accusé déjà en 1517 ceux qui n'avaient pas honte d'avancer des arguments théologiques en faveur de la guerre, et qualifiaient hérésie la position théorique du pacifisme.

Il est impossible de ne pas entendre l'écho du désir de paix de l'époque de la guerre du Péloponnèse, l'écho de la *Lysistrata* d'Aristophane, si nous écoutons *Le parlement des femmes*, plus exactement *Le petit sénat*, au moins les paroles de Cornélie qui se plaint des guerres qui durent depuis des années: «Si l'on passait le guide à nos mains, la situation de l'humanité serait certainement de beaucoup plus supportable». Mais Erasme — grand admirateur des comédies grecques et romaines — pouvait penser encore à d'autres oeuvres d'Aristophane, surtout à *L'assemblée des femmes*. Mais tout cela, avec toutes les allusions aux oeuvres antiques ne sert qu'un but: comment définir le plus précisément sa position vis à vis les problèmes cruciaux de sa propre époque. Et c'est de même dans la question féministe, qui l'occupait — tout comme Vives, son contemporain espagnol — dans des optiques essentiellement plus sérieuses que celle de la farce équivoque du *Parlement des femmes*, ainsi dans ses traités plus

volumineux comme la *Christiani matrimonii institutio*, traitant la morale matrimoniale, ou la *Vidua Christiana* laquelle présente l'idéal de la femme indépendante qui consacre sa vie au bien public. Il faut noter d'ailleurs à propos de ce dernier traité — de la *Veuve chrétienne* — qu'à l'époque d'Erasme, la viduité était le seul état qui assurait à la femme une position sociale plus ou moins indépendante. Et ajoutons encore que l'humaniste néerlandais dédia cette oeuvre à Marie de Habsbourg, veuve de Louis II, roi de Hongrie, mort sur le champ de bataille Mohács, car Erasme portait une profonde sympathie aux Hongrois menant des luttes tragiques sans merci. Parmi les *Colloques* nous trouvons plusieurs qui s'occupent — dans le ton de demi-caractère du genre — des problèmes des femmes. Les problèmes y traités sont tantôt déterminés par des facteurs biologiques, donc relativement persistants, tantôt ils sont nés de la décomposition de la société médiévale. L'idéal d'Erasme, c'est la femme cultivée vivant au cercle de sa famille, élevant ses enfants. La fille de joie et la religieuse se sont également écartées des tâches naturelles de la femme, et dans tous les deux cas, Erasme s'en prend à la morale hypocrite de l'époque. Il se mêle pas mal de joie maligne au dialogue de l'*Adolescent et la fille de joie* quand il apparaît que la courtisane a eu l'*occasion*, pour ne pas en dire davantage d'être informée par des religieux, adversaires d'Erasme, sur «l'impiété» de l'humaniste, traducteur de la Sainte-Ecriture. Mais *La pucelle ressentant de la répugnance pour le mariage* quittera bientôt en *pucelle repentante* le couvent où elle a trouvé tout, excepté ce que son imagination du premier âge avait attribué à la vie en commun des vierges gardant leur pureté angélique. D'autre part, profondément indigné, il qualifie infanticide l'arbitraire des parents qui forcent leur fille à se marier avec le chevalier maraudeur qui souffre d'une maladie plus pernicieuse que la lèpre, et à propos de cette question, *Le mariage indigne* ne recule pas devant l'application des mesures les plus sévères contre la terreur de l'avarie, pour protéger l'épouse dont la santé est compromise, et pour faire respecter les points de vue de l'eugénique. D'autre part, les difficultés de la vie conjugale qui sont dues à la rudesse du mari, elles peuvent être facilement éliminées par le doigté féminin, même la cause de cette rudesse est souvent la femme incompréhensive — au moins c'est ce que la sage Eulalie apprend à l'intraitable Xanthippe dans le dialogue de l'*Epouse médissant de mariage*.

Mais il ne faut point penser que c'est l'imposition banale du «point de vue masculin», de la «supériorité masculine». Bien au contraire: d'un sage sens réel, Eulalie qualifie domptage ce procédé grâce auquel elle rend supportable, même agréable la vie avec la «bête», avec laquelle, bon gré, mal gré elle est obligée de vivre sous le même toit. Mais elle n'accepterait aucunement une discrimination qui dirait que la femme soit un être inférieur, voué au service de l'homme. *La femme en couches* représente le parti d'Erasme quand elle dit à son visiteur que ce sont les hommes qui ont créé l'opinion selon laquelle un fils

donne plus de satisfaction qu'une fille, que l'homme vaut plus que la femme, soit au point de vue de l'esprit, soit au point de vue de la force physique. D'autre part c'est également la position d'Erasme que le personnage masculin du dialogue exprime quand celui-ci exige — en avançant la morale naturelle de Rousseau de deux grands siècles — à la base des connaissances biologiques de son époque, mais aussi en anticipant quelques unes des connaissances psychologiques futures — que la mère allaite elle-même son enfant, car, comme il dit entre autres, si elle partage son rôle maternel avec la nourrice, elle crée dans l'âme de l'enfant une dissension contraire à l'affection enfantine naturelle.

Or en même temps où il exige que la femme accepte la totalité de sa tâche naturelle, il soutient le droit de la femme à l'érudition, même à l'érudition la plus élevée, et dans ce domaine le dialogue de *L'abbé et la Femme érudite* peut s'appuyer sur des si beaux exemples comme les membres féminins de la famille More avec qui Erasme vivait sur un pied de noble familiarité humaniste, tout comme avec le célèbre chef de famille; ou Charité, soeur de Wilibald Pirckheimer, humaniste nurembergeois, à laquelle Conrad Celtes dédia les imitations chrétiennes de Térence, oeuvre de Hrotsvita, religieuse de Gandersheim, qu'il venait de découvrir.²⁷ Notons encore entre parenthèses, qu'une de ces comédies pieuses, le *Paphnutius* servit à Erasme l'exemple à la solution de la situation la plus délicate des *Colloques*, à celle de *L'adolescent et la fille de joie*.²⁸ Il faut que tout cela nous soit présent dans l'esprit pour que nous ne trouvions plus, que ce que l'auteur voulait mettre dans ce petit chef-d'oeuvre qui se moque des suffragettes du XVI^e siècle. Mais il faut également que nous remarquions que *Le parlement des femmes* présente le miroir courbe aussi à la vie publique des hommes. Le parlement des hommes s'occupe de problèmes qui souvent ne sont pas plus importants que ceux que les femmes ont mis sur leur ordre du jour: les survivances du système des Ordres menace, exactement de la même manière, les résultats de la grande vie politique. C'est justement Erasme qui fit grief à maintes reprises à la diète de l'Empire appelée à résoudre les problèmes les plus urgents de la politique mondiale de ce que, souvent, elles-mêmes se sont dissoutes sans avoir réglé leurs affaires, justement à cause de telles disputes mesquines de questions préalables. Naturellement, pour Erasme les querelles théologiques vétillardes qui étaient mises récemment à l'ordre du jour des diètes sont aussi stériles et pointilleuses que la survivance du passé: l'émulation qui se renouvelle toujours concernant la préséance des participants de la diète de l'Empire.

Après avoir jeté un coup d'oeil rapide sur les problèmes les plus importants traités par les *Colloques*, nous pouvons nous étonner de ce qu'Erasme qui

²⁷ J. ASCHBACH: Roswitha und Conrad Celtes. Wien 1868².

²⁸ V. SMITH: o. c. p. 289, et SCHNEIDER, o. c. pp. 28—29.

en 1522 soigna lui-même la troisième édition du recueil remarquablement augmenté — mais qui au cours des éditions ultérieures s'augmenta encore — ait jugé ce livre apte à être dédié à un garçon de 6 ans, à Johannes Erasmus Frobenius, fils de son ami, du célèbre imprimeur de Bâle. *Habent sua fata libelli*. *Robinson* et *Gulliver*, au cours des siècles sont devenus livres pour la jeunesse, et le recueil d'Erasme, au contraire, est né livre pour la jeunesse et représente, de nos jours, une remarquable borne milliaire du progrès de l'Europe se dégageant des contraintes du Moyen Âge.

Budapest.

ZUM ILLYRISCHEN

A. MAYER†: DIE SPRACHE DER ALTEN ILLYRIER. I—II. Wien 1957—1959. Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung XV—XVI. VIII + 364 und VI + 263 S.

Das vorliegende Werk des am 4. Februar 1957 verstorbenen Zagreber Professors Anton Mayer war als eine zusammenfassende Arbeit über die Sprache der alten Illyrier geplant. Dieser Zielsetzung entspricht der Aufbau des ganzen Werkes. Der erste Teil des ersten Bandes enthält eine Einleitung, die in siebzehn kurzen Unterabschnitten die Vorgeschichte und Wanderungen der Illyrier, sowie die Quellen und die Methode des Buches beleuchten soll. Der zweite Teil des ersten Bandes stellt ein umfangreiches Wörterbuch der illyrischen Sprachreste dar, in dem die geographischen Namen von Illyrien, von Pannonien mit Ausnahme des Gebiets von Emona, von Päonien und Dardanien einschließlich der nichtillyrischen Namen verzeichnet sind. Demgegenüber wurden von den Personennamen aus demselben Gebiet nur diejenigen aufgenommen, die auf Grund verschiedener Kriterien nach der Meinung des Verfassers als illyrisch gelten können. In diesem Teil wird die Etymologie der einzelnen Namensformen nicht behandelt.

Der erste Teil des zweiten Bandes enthält ein «Etymologisches Wörterbuch» des Illyrischen, in dem das im zweiten Teil des ersten Bandes verzeichnete Namenmaterial unter alphabetisch angeordneten Stichwörtern etymologisch behandelt wird. Der zweite Teil gibt eine systematische Darstellung der illyrischen Lautlehre und Wortbildung, soweit sie auf Grund des Quellenmaterials möglich war.

Im allgemeinen stellt das Werk von A. Mayer sowohl als Materialsammlung als auch vom methodologischen Standpunkt aus eine bedeutende wissenschaftliche Leistung dar. Die beiden Bände fassen einigermaßen die illyristischen Forschungen der letzten Jahrzehnte, darunter in erster Linie diejenigen des Verfassers zusammen. Es ist nur zu bedauern, daß er das Erscheinen des Buches nicht mehr erleben und die letzten nötigen Verbesserungen, Kontroll der Zitate usw. im Texte nicht mehr vornehmen konnte. Dadurch sind manche Ungenauigkeiten im philologischen Apparat des Werkes entstanden, die der Herausgeber J. Keil nicht beseitigen konnte. Da die bisherige Kritik auf all diese Mängel der Arbeit schon reichlich hingewiesen hatte,¹ soll hier vielmehr die Anlage und die theoretische Grundlage des Werkes untersucht werden.

Bei einer Sammlung von Sprachresten ähnlicher Art ist das Verfahren, die Materialsammlung von der Bearbeitung abzusondern, im allgemeinen wohl zu billigen. Offenbar wollte d. V. dieses Prinzip befolgen, aber die praktische Durchführung ist ihm nicht völlig gelungen. In einzelnen Fällen war es anscheinend unvermeidbar, gewisse sprachgeschichtliche Probleme schon in der Materialsammlung zu behandeln. Andererseits erwies sich die Wiederholung eines Teils der Angaben der Materialsammlung im etymologischen Wörterbuch der Sprachreste gleichfalls unumgänglich. Es wäre wohl besser ausgefallen, wenn d. V. einerseits ein strengeres System in der Materialsammlung befolgt und andererseits die etymologische Behandlung unter den einzelnen Stichwörtern der Materialsammlung gegeben hätte. Die beste Anordnung der Stichwörter wäre in diesem Fall wohl die folgende gewesen: 1. Namensform, 2. Belegstellen mit etwaigen Varianten, 3. Fragen der Überlieferung (Quellenkritik, epigraphische, textkritische usw. Fragen mit Literatur), 4. topographische oder prosopographische Fragen (mit Literatur), 5. Etymologie, 6. Weiterleben (der Ortsnamen), 7. frühere, abgelehnte Deutungen (mit Literatur), 8. Hinweise auf Zusammenhänge mit anderen Stichwörtern. Natürlich müßte man die etymologisch zusammenhängenden, aber lautlich oder morphologisch abweichenden Namensformen unter besonderen Stichwörtern angeführt haben. Auf diese Weise hätte man die Überschneidungen vermeiden können und zugleich hätte die Sammlung an Übersichtlichkeit viel gewonnen.

Noch wichtiger erscheint die Frage der theoretischen Grundlagen des Werkes.

¹ Vgl. z. B. H. KRAHE: IF 64 (1959) 202 ff., A. SCHERER: *Kratylos* 8 (1963) 49 ff.

Bei einer Sammlung von Sprachresten ist eine der wesentlichsten Forderungen die klare Umgrenzung des Materials. In dieser Hinsicht befindet sich der Forscher des Illyrischen in einer schwierigen Lage, in einer Art *Circulus vitiosus*, da er einerseits die Bestimmung der illyrischen Sprachreste auf Grund von sprachlichen Merkmalen vornehmen, andererseits aber die Charakterzüge des Illyrischen an Hand der Sprachreste bestimmen muß. Wie bekannt, führte diese ungenügende theoretische Grundlage für die Bestimmung des Illyrischen die Forschung einmal schon in die Sackgasse des Panillyrismus. Dieser Gefahr war d. V. offenbar bewußt und er suchte ihr gewissermaßen dadurch vorzubeugen, daß er die Sammlung der illyrischen Namen auf geographischer Grundlage vorgenommen hatte. Aber zur selben Zeit hat er die nichtillyrischen Personennamen der betreffenden Gebiete weggelassen. So überschneiden sich die geographisch-historischen und sprachlichen Gesichtspunkte in seiner Sammlung. Als eine Folge davon ergab sich, daß das «Wörterbuch der illyrischen Sprachreste» eine Menge von nichtillyrischem (lateinischem, keltischem, usw.) Sprachmaterial enthielt.

So ist es leicht verständlich, wenn sich in der Forschung gerade nach dem Erscheinen von A. Mayers Buch ein scharfer Skeptizismus gegenüber den bisherigen Ergebnissen der Illyristik und ein erneutes Bemühen um die sprachliche Umgrenzung des Illyrischen geltend gemacht hatte. Diese neue Forschungsrichtung, als deren Vertreter einerseits H. Kronasser, V. Georgiev² und andererseits eine Gruppe von jugoslawischen Forschern (R. Katičić, A. Benac, B. Čović u. a.)³ genannt werden können, bemüht sich in erster Linie darum, daß sie mit Hilfe von sprachwissenschaftlichen, philologisch-historischen und archäologischen Angaben und Methoden das illyrische Sprachgebiet genau umgrenze, um dadurch den Begriff «Illyrisch» in sprachlicher und historischer Hinsicht befriedigend bestimmen zu können. Diese Bemühungen stellen eigentlich die unmittelbare Fortsetzung einer Anregung, die von den Vorträgen von V. Pisani und H. Krahe (gehalten am Keszthelyer Ferienkurs der Universität Pécs i. J. 1937)⁴ ausging und derzufolge durch Absonderung des Venetischen vom Illyrischen die sprachliche Stellung des letzteren viel klarer als früher erfaßt werden konnte. Eine weitere Einengung des Begriffs «Illyrisch» erfolgte dadurch, daß man die Forderung gestellt hatte, als Illyrisch nur diejenigen Sprachreste anzusehen, die auf dem Gebiet der von den antiken Schriftstellern wirklich illyrisch genannten Stämmen bezeugt sind.⁵ So scheiden als illyrische Sprachen nicht nur das Messapische, sondern auch die Sprachen der pannonischen, dardanischen und päonischen Stämme aus und das illyrische Sprachgebiet wird im wesentlichen auf das Areal zwischen der Narenta und Dodona im Norden und Süden und der Großen Morava und dem Vardar im Osten eingeschränkt.

Diese Auffassung sucht man durch beachtenswerte sprachwissenschaftliche, philologische und archäologische Beobachtungen zu bekräftigen. So möchte z. B. R. Katičić die etymologische Methode, in der sich mehr oder weniger immer ein subjektives Motiv geltend machen kann, durch Umgrenzung des illyrischen Namengebiets ersetzen.⁶ Es ergab sich dabei, daß das von ihm abgesonderte südöstliche Namengebiet (dem Areal der illyrischen ethnischen Gruppe, wie es sich auf Grund der antiken Quellen abgrenzen läßt, ziemlich genau entspricht. Mit diesem Ergebnis stimmen die Beobachtungen von B. Čović vorzüglich überein. Er hat auf Grund des archäologischen Fundmaterials ein zentrales illyrisches Gebiet abgegrenzt,⁷ das annähernd dasselbe Areal umfaßt wie das von R. Katičić angenommene südöstliche Namengebiet. Nur muß man darauf hinweisen, daß das von Čović nachgewiesene zentrale illyrische Gebiet eigentlich zwei Fundgruppen mit abweichenden Bestattungssitten umfaßt: nordwestlich von der Narenta kommen nur Flachgräber vor, während der archäologischen Kultur südöstlich und östlich davon Hügelgräber das Gepräge geben. Diese territorial klar abgegrenzten abweichenden Bestattungssitten weisen offenbar auf zwei verschiedene ethnische Gruppen hin, von denen sich die mit Hügelgräbern den eigentlichen Illyriern gleichsetzen läßt.

² S. H. KRONASSER: Zum Stand der Illyristik. LB 4 (1962) 5 ff., V. GEORGIEV: Thrace et Illyrien. LB 6 (1963) 71 ff.

³ S. den Sammelband Simpozijum o teritorijalnom i hronološkom razgraničenju ilira u praistorijsko doba. Sarajevo 1964.

⁴ Vgl. V. PISANI: Il problema illirico. *Illyrica*. Pannonia-Könyvtár 34. Pécs 1934. 25 ff., H. KRAHE: Die sprachliche Stellung des Illyrischen. Ebd. 3 ff. und RhM 88 (1939) 97 ff.

⁵ Vgl. H. KRONASSER: LB 4 (1962) 15 ff.

⁶ R. KATIČIĆ: Die neuesten Forschungen über die einheimische Sprachschicht in den illyrischen Provinzen. Im Sammelband Simpozijum usw. 31 ff.

So zeichnet sich in großen Umrissen eine neue Konzeption in bezug auf das Illyrische und die Illyrier ab, wobei man jedoch nicht außer acht lassen darf, daß die neuen Methoden und Erwägungen zuweilen noch nicht ganz zuverlässig begründet sind. So hat man in erster Linie darauf hinzuweisen, daß in bezug auf die Bestimmung des Illyrischen die Abgrenzung der Namegebiete allein noch keine volle Beweiskraft haben kann. Denn einerseits — wie R. Katičić selbst zugibt⁸ — können verschiedene Namegebiete nebeneinander auch innerhalb desselben Sprachgebiets existieren. Andererseits besagt die Verbreitung der Namen ohne etymologische Deutung, d. h. ohne sprachliche Qualifikation in bezug auf die Sprache eines Gebiets nicht zu viel. Daneben darf man — um andere sprachwissenschaftliche Bedenken nicht zu erwähnen — auch den Umstand nicht außer acht lassen, daß die Absonderung der Namegebiete immer ein statistisches Verfahren voraussetzt, aber für diesen Zweck reicht das zur Verfügung stehende Namenmaterial bei weitem nicht aus. In dieser Hinsicht nimmt das Messapische (und das Venetische) eine Sonderstellung ein. Bei diesen Sprachen ermöglichen uns die Inschriften selbst eine Vorstellung über die charakteristischen Merkmale der Sprache zu machen, und auf dieser Grundlage ist eine sprachliche Schichtung auch des Namenmaterials besser möglich. So wird man von der etymologischen Deutung der illyrischen Namen — bei aller Gefahr der Subjektivität — auch in der Zukunft wohl kaum verzichten können und gerade in dieser Hinsicht wird das Werk von A. Mayer seine Bedeutung trotz all seiner Mängel noch lange bewahren.

Wenn man den heutigen Stand der Illyrierforschung charakterisieren will, so ist in erster Linie darauf hinzuweisen, daß die Erkenntnis, wonach das Venetische vom Illyrischen abzusondern und als eine selbständige indoeuropäische Sprache anzusehen ist, zweifellos eine neue Epoche in der Illyristik eröffnete. Durch die sorgfältige Bearbeitung des venetischen Namenmaterials⁹ wurde ferner klar erwiesen, daß das Venetische weit über die Grenzen vom eigentlichen Venetien verbreitet war. Wenn man dem Zeugnis des Namenmaterials und der archäologischen Beobachtungen einigermaßen Glauben schenken kann, so dehnte sich das venetische Sprachgebiet — vielleicht mit anderen Sprachen vermischt — etwa bis zur Narenta im Südosten, bis Kärnten im Nordosten aus. Dadurch wird das illyrische Sprachgebiet schon stark eingegrenzt und wenn man zumindest eine Sonderstellung des Messapischen im Kreise der illyrischen Dialekte oder sogar seine Unabhängigkeit vom Illyrischen anerkennt, so bleibt eigentlich nur noch die Frage der sprachlichen Zugehörigkeit der pannonischen Stämme, der Dardaner und der Päoner unentschieden. Will man diese Sprachen als unbekannte Größen vorläufig außer acht lassen, dann gelangt man zu einem eng begrenzten illyrischen Sprachgebiet, das ungefähr dem Areal der illyrischen Stämme der antiken Quellen entspricht.

Eine weitere Einengung des illyrischen Sprachgebiets läßt sich wohl kaum rechtfertigen. Wenn sich einige Forscher darauf berufen möchten, daß der Name «Illyrier» in der antiken geographisch-ethnographischen Literatur ursprünglich ein noch kleineres Gebiet bzw. einen noch engeren Kreis von Stämmen bezeichnete, so hat man dieser Auffassung entgegenzuhalten, daß der ethnische Begriff «Illyrier» als Bezeichnung einer fest umgrenzten Gruppe von Stämmen schon im VI. Jh. v. u. Ztr. bei Hekataios völlig ausgeprägt vorlag (seine diesbezüglichen Angaben lassen sich zum Teil aus Herodot wiedergewinnen) und das Gebiet der Illyrier bei ihm schon annähernd dasselbe Areal umfaßte, das auch nach den späteren Quellen von den illyrischen Stämmen bewohnt war. Wann sich dieser ethnische Begriff «Illyrier» bei den Griechen herausgebildet hatte, läßt sich vorläufig nicht sagen, aber er mag bis ins VII., vielleicht sogar bis ins VIII. Jh. v. u. Ztr. hinaufgehen, als die Beziehungen zwischen den Griechen und Norditalien bzw. Mitteleuropa durch das Adriatische Meer zum ersten Mal archäologisch faßbar werden.¹⁰

Dieses von Hekataios entworfene geographische Bild des illyrischen Siedlungsgebiets wurde von der späteren geographisch-ethnographischen Literatur der Antike übernommen. Daraus folgt, daß man derjenigen Auffassung der späteren Geographen, wonach die pannonischen Stämme nicht zu den Illyriern zu zählen sind, keine große Bedeutung beimessen kann. Hekataios hatte noch keine (oder jedenfalls keine genauen) Kenntnisse über diese Stämme gehabt, so daß bei ihm nur die Veneter und die Sigynnen als nördliche Nachbarn der Illyrier eine Rolle spielen.

⁷ B. ČOVIĆ: Traits caractéristiques essentiels de la culture matérielle des Illyriens — Région centrale. Im Sammelband Simpozijum usw. 112 ff.

⁸ Im Sammelband Simpozijum usw. 288.

⁹ J. UNTERMANN: Die venetischen Personennamen. Wiesbaden 1961.

¹⁰ Vgl. J. HARMATTA: Acta Ant. Hung. 3 (1955) 60 ff.

So kommt man zu dem Schluß, daß man bei der Bestimmung des sprachwissenschaftlichen Begriffs «Illyrisch» nur zu einem gewissen Grade die antike Vorstellung über die Ausdehnung des illyrischen Siedlungsgebiets zugrunde legen kann. Wenn auch die Sprache der Stämme, die nach der hekatäischen Vorstellung als Illyrier bezeichnet werden konnten, eine engere Einheit darstellen mag, kann man dennoch die Möglichkeit von vornherein nicht abweisen, daß auch die Sprachen anderer Stämme, wie die der Messapier, der Pannonier usw., die bei der Ausgestaltung des antiken Illyrierbegriffs im VII. Jh. v. u. Ztr. noch keine Rolle gespielt bzw. spielen können hatten, von sprachwissenschaftlichem Gesichtspunkt aus zum Illyrischen zu zählen sind.

Als ein anderes Erkenntnis von weittragender Bedeutung auf dem Gebiet der Illyrierrforschung ist die archäologische Feststellung anzusehen, wonach die Illyrier keineswegs den Trägern der Urnenfelderkultur (Lausitzer, Knovizer, Váler usw. Kulturen) gleichgesetzt werden können.¹¹ Der Nachweis ist einfach und klar: das oben skizzierte illyrische Kerngebiet liegt außerhalb der Verbreitung der Urnenfelderkultur. Aber auch die Gleichsetzung der Illyrier den Trägern der eigentlichen Hallstattkultur, wie sie in Westungarn während Hallstatt C erscheint, erweist sich jetzt als unmöglich. Die frühen Beziehungen zwischen Illyriern und Griechen setzen eine viel frühere Ansiedlung der illyrischen Stämme auf dem illyrischen Kerngebiet als der Beginn von Hallstatt C (ca. 750 v. u. Ztr.) voraus. Diese Erwägung fällt dann noch mehr ins Gewicht, wenn man zumindest einen Zusammenhang zwischen Messapiern und Illyriern annimmt, denn die frühe Einwanderung der Messapier nach Italien ist weder mit der Chronologie der Urnenfelderbewegung noch mit dem Erscheinen der eigentlichen Hallstattkultur vereinbar.

Will man all diesen Schwierigkeiten gerecht werden, so bleibt wohl kein anderer Ausweg übrig, als die Einwanderung der illyrischen Stämme mit der Hügelgräberbewegung am Ende der mittleren Bronzezeit in Zusammenhang zu bringen. Die Träger dieser großen ethnischen Bewegung, die den mittelbronzezeitlichen Kulturen in Ungarn ein Ende bereitet hatte,¹² dürften wohl die Illyrier gewesen sein. Im Laufe der Hügelgräberbewegung könnten die illyrischen Stämme und auch die Messapier auf dem westlichen Teil der Balkanhalbinsel erscheinen. Die Hügelgräberleute wurden in Westungarn und Kroatien später von den Trägern der Urnenfelderkultur überschichtet bzw. verdrängt. Nimmt man die Zusammenhänge zwischen der Verbreitung der Urnenfelderkultur und den Siedlungsgebieten der Veneter in Betracht, so liegt es nahe, die Träger dieser Bewegung den Venetern gleichzusetzen.¹³ Am Anfang von Hallstatt C wurden die Veneter in Westungarn von den Trägern der eigentlichen Hallstattkultur überschichtet, zum Teil wohl auch nach Süden und Südwesten verdrängt. Die Hallstatt C-Bewegung brachte offenbar die pannonischen Stämme mit sich, die einerseits manche venetische Elemente einverleibt hatten, andererseits später während der La Tène-Zeit teilweise keltisiert wurden. Da die hallstattzeitliche Hügelgräberkultur eindeutige Zusammenhänge mit der mittelbronzezeitlichen Hügelgräberkultur aufweist, so wird man mit großer Wahrscheinlichkeit auch in den Trägern der ersteren Illyrier oder einen mit ihnen verwandten Volksstamm erblicken dürfen.

Auf Grund des Gesagten dürfte man folgende Arbeitshypothese formulieren.¹⁴ In Süddeutschland und dem Alpengebiet lebte während der Bronzezeit eine Gruppe von indoeuropäischen Stämmen, deren Sprache sich durch die Lautentwicklung *bh, dh, gh > b, d, g* und andere sprachliche Merkmale deutlich vom Lateinischen, Germanischen und Venetischen absetzte. Von diesem Gebiet gingen mehrere Wellen von Auswanderern im Laufe der Bronzezeit aus. Zuerst zogen sich vielleicht die Sikuler nach Italien ab, dann folgte um 1300 v. u. Ztr. die Hügelgräberbewegung, d. h. die «erste illyrische Wanderung», die entlang der Donau nach Osten und weiter nach Süden vordrang. Ungefähr ein Jahrhundert später begann die Urnenfelderbewegung, d. h. die «venetische Wanderung», welche die Bevölkerung der Hügelgräberkultur zum Teil überschichtete und verdrängte. Zuletzt um 750 v. u. Ztr. vom Westen her drang die Hallstatt C-Kultur, d. h. die «zweite illyrische Wanderung» nach Westungarn vor und brachte die pannonischen Stämme mit sich. Erweist sich diese Arbeitshypothese im Laufe der künftigen sprachwissenschaftlichen und archäologischen Forschungen als richtig, so wird man auch die pannonischen Stämme zu den Illyriern zählen oder sie als ein mit den Illyriern verwandtes Volk ansehen dürfen.

J. HARMATTA

¹¹ Vgl. auch Simpozijum usw. 291.

¹² Vgl. über die Hügelgräberbewegung A. MOZSOLICS: *Acta Arch. Hung* 8 (1957) 140 ff., I. BÓNA: *Acta Arch. Hung.* 9 (1958) 266 ff.

¹³ S. schon P. KRETSCHMER: *Glo.* 30 (1943) 146.

¹⁴ Vgl. schon J. HARMATTA: *Arch. Ért.* 7—9 (1946—1948) 130.

RECENSIONES

ЯЗЫК И СТИЛЬ АНТИЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. Издательство Ленинградского Университета 1966. S. 226.

Die Ursachen der allbekannten Tatsache, daß die Sowjetwissenschaft ihr internationales Ansehen auf dem Gebiete der Altertumskunde besonders mit ihren Ergebnissen in der Geschichte und Archäologie erreicht hat, liegen auf der Hand. Vor allem die auf Grund des dialektischen und historischen Materialismus ausgearbeitete und bei jeder Anwendung ständig verfeinerte Methodik, die in dem halben Jahrhundert seit der sozialistischen Oktoberrevolution auch die Entwicklungsgesetze der Sklavenhaltergesellschaft zu erschließen verhilft, dann der schier unerschöpfliche Reichtum an Fundorten antiker Kultur innerhalb und außerhalb des Schwarzenmeergebietes im Territorium der Sowjetrepubliken, sind Vorteile, die — sich auf eine fortschrittliche Tradition der vorrevolutionären Epoche stützend — Historiker und Archäologen der Sowjetunion vielseitig auszunützen natürlich nicht versäumten. Doch wer nur die führende Zeitschrift der sowjetischen Altertumsforschung — *Westnik Drevnei Istorii* — vierteljährlich durchblättert, die übrigens vollkommen berechtigt die klassische Philologie selbst als Geschichtswissenschaft auffaßt, wird auf Schritt und Tritt darauf aufmerksam, daß nach Überwindung mancher fast selbstverständlichen Kinderkrankheiten der Entwicklung jetzt schon längst nur jene Geschichtswissenschaft sich eine allgemeine Achtung erwerben kann, die immer mehr der Unerläßlichkeit einer philologisch fest begründeten Quellenforschung bewußt, zur Synthese vordringt. In dieser Synthese hinwieder spielen Sprache, Literatur, Kunst, Philosophie, Religion usw. nicht eine untergeordnete, sondern eine unter ihre wahren Zusammenhänge eingeordnete Rolle. Aber nicht nur die genannte Zeitschrift, sondern zahlreiche Monographien, Sammelbände, großangelegte Zusammenfassungen, Jahrbücher von verschiedenen Universitäten und pädagogischen Instituten legen oft ein beredtes Zeugnis davon ab, wie die «traditionellen» Disziplinen der klassischen Philologie im engeren Sinne — Sprachwissenschaft, hie und da Textkritik, oft mit der Übersetzungskunst parallel laufende oder sie unterstützende Textauslegung, neuartig die früher sogenannte höhere Kritik, besonders hochentwickelt die griechische und römische Literaturgeschichte usw. — in der Sowjetunion weitgehend gepflegt, mit neuen Methoden und Gesichtspunkten belebt weiterentwickelt werden.

Das gefällige Bändchen, mit welchem wir nachstehend den geneigten Leser bekanntzumachen vorhaben, bietet unwillkürlich zu solchen Bemerkungen mehr allgemeinen Charakters eine günstige Gelegenheit. Es ist nämlich ein Sammelband, den unter dem Titel «Sprache und Stil antiker Schriftsteller» die Universität von Leningrad herausgegeben hat und der dreiundzwanzig Aufsätze vereinigt — ursprünglich Vorträge, einer Konferenz vorgelegt, die mit der lebhaften Teilnahme von Vertretern der übrigen Universitätsstädte der Sowjetunion in Leningrad abgehalten war. Die Konferenz hat eigentlich noch im Jahre 1961 stattgefunden, die Beiträge aber — wie zahlreiche Hinweise auf die neueste Fachliteratur zeigen — wurden meistens auf den letzten Stand gebracht. Dank und Lob für die wohlthuende Einheit, die sich trotz der Vielfältigkeit in der Thematik der Beiträge und in der Einstellung der Beitragenden ohne Zwang oder Starre durchsetzt, gebührt vermutlich dem gelehrten Herausgeber, A. I. DOWATUR, der besonders in der Herodot- und Aristoteles-Forschung mit je einem reichhaltigen Buch seinen Namen bekannt und seine Ergebnisse unentbehrlich gemacht hatte. Jetzt bleibt er aber bescheiden in Hintergrund, ohne einen einzigen Beitrag mit seinem Namen kennzeichnen zu wollen, die Kennzeichen seiner Akribie aber trägt er dem Ganzen uneigennützig und kaum hervorstechend bei.

Es ist vielleicht derselben Zurückhaltung des Herausgebers, der der Sammlung kein willkürliches Anordnungsprinzip aufdrängen wollte, zuzuschreiben, daß die Beiträge einfach in alphabetischer Ordnung der Verfasseramen aufeinander folgen. Wir hoffen aber in einer bündigen Inhaltsübersicht besser an die hier in Erscheinung tretenden hauptsächlichsten Forschungsrichtungen herankommen zu können, wenn wir dem Verhältnis der einzelnen Beiträge zu einander nachzuspüren versuchen. Themenkreise oder auch Fachgruppen von einander mit scharfen Scheidelinien abgrenzen zu wollen wäre freilich schon angesichts der grundlegenden Zielsetzung eine von vornherein verlorene Mühe. Das einheitliche Bestreben wird nämlich, obgleich nur im Gesamttitel des Buches ausgesprochen, mehr oder minder folgerichtig von den meisten Mitarbeitern berücksichtigt: in der Geschichte der Sprache den persönlichen Beitrag der Dichter und Schriftsteller, im persönlichen Gepräge des literarischen Stils die Wechselwirkung vom geerbten Sprachgut und weiterentwickelnder Sprachkunst anzupacken. Es ist klar, daß bei solch einer Anschauungsweise Sprachgeschichte und Stilgeschichte oft ineinanderspielen, sich gegenseitig ergänzen, sogar die unterschiedliche Eigenart der entgegengesetzten bzw. sich kreuzenden Forschungsrichtungen einander beleuchten, obgleich eine theoretische Begründung dieser Unterschiede bis auf eine einzige Ausnahme unterlassen wird. Nur M. L. GASPAROW läßt einer feinen Analyse der stilistischen Eigenschaften von Phaedrus und Babrios die folgende wohlbedachte Feststellung vorangehen: «Die Untersuchung der Sprache von literarischen Kunstwerken hatte zum Gegenstand das sprachliche System des Werkes in seinem Verhältnis zu Normen der Sprache im Allgemeinen und zur Literatursprache im Besonderen. Die Untersuchung des Stils der literarischen Kunstwerke . . . hat zum Gegenstande das sprachliche System des Werkes in seiner inneren Struktur, in seinem Verhältnis zum Gegenstande des sprachlichen Vortrags und in seinem Verhältnis zum Standpunkt des Verfassers.»

Diese vernünftige Unterscheidung bleibt offensichtlich bewußt im Kreise des Literarischen, sie bestimmt ausschließlich literaturbezogene Aufgaben auch der Sprachgeschichte; die Sprache als Gemeingut einer Gemeinschaft — eines Volkes, eines Stammes usw. — oder alle ihre vor- und außerliterarischen Erscheinungsformen werden höchstens mittelbar, im Verhältnis zum individuellen Sprachgebrauch in seiner hochentwickelten Kunstsform, in Betracht gezogen. Das ist freilich auch ein berechtigtes Verfahren, nur die erwähnten Grenzgebiete einerseits der Sprachwissenschaft, andererseits der Literaturgeschichte ins Auge zu fassen, ihre Aufgaben in ihrem dialektischen Zusammenhang zu bestimmen, alles Übrige, insbesondere das rein Literaturgeschichtliche und das rein Sprachwissenschaftliche hier et nunc außer acht lassend. Vorwiegend gilt diese zweiteilige Bestimmung der Aufgaben für die ganze Sammlung, dennoch bei weitem nicht im Sinne einer Einseitigkeit, die vielleicht zur Auflösung des Geschichtlichen in der Sprache oder zur Vernachlässigung des Inhaltlichen in der Literatur führen könnte. Im Gegenteil. Gerade nahe liegt der Versuch, die dreiundzwanzig Aufsätze in einer Reihenfolge zu überblicken, die — anstatt starre Grenzen aufzustellen — von der rein sprachwissenschaftlichen Problematik durch verschiedene Mengungsverhältnisse der angrenzenden Wissenschaftsgebiete in kontinuierlicher Abstufung bis zur rein literaturgeschichtlichen Fragestellung annähernd das vollständige Spektrum der klassischen Philologie darstellt.

Der von uns gewählte Gesichtspunkt, den nach Belieben mit manchen anderen zu vertauschen nichts im Wege steht, rückt ebenso wie die um die Sprachwissenschaft und um die Literaturgeschichte gleicherweise hochverdiente Persönlichkeit des Verfassers denjenigen Aufsatz an die erste Stelle, mit welchem I. M. TRONSKI seine bekannte Monographie über die altgriechische Betonung (Древнереческое ударение. М.—Л. 1962) ergänzt. Ausgehend von solchen Properispomena, wie *φῶνιξ*, *λαίλαψ* usw. verfolgt Prof. Tronski die sprachgeschichtlichen Angaben bis zu den mykenischen Inschriften und die einschlägigen Aussagen der griechischen Grammatiker besonders durch Dionysios von Halikarnassos vermittelt bis Aristoxenos zurück und gelangt zur Verneinung der traditionellen Regel, nach welcher die Endsilbe eines Wortes kurz sei, wenn einem einfachen Konsonanten ein kurzer Vokal vorangeht: eine geschlossene Silbe ist auch in dieser Position unbedingt lang, andererseits für die Anwendung des griechischen Dreisilbengesetzes ist nicht die Quantität der letzten Silbe, sondern die des letzten Vokals entscheidend. T. P. KORYCHALOWA behandelt die Hauptwörter in der lateinischen Sprache mit dem Suffix *-or*, die eine Farbe bezeichnen (*candor*, *rubor*, *pallor*, *luror*, *viror* etc.), N. D. TSCHISLENKO trägt zur Frage der Semantik der lateinischen Verbalpräfixe bei, die ursprüngliche Bedeutung von *ab-* und *con-* zu bestimmen versuchend. W. B. SCHEMITILLO untersucht die Entstehung und semantische Entwicklung des Zeitworts *debere*, wobei neben der bekannten Etymologie (**de-habere*) auf Grund beachtenswerter Er-

wägungen die Umgangssprache — man darf vielleicht hinzufügen: die städtische Umgangssprache — als diejenige sprachliche Schicht angegeben wird, in welcher das Wort entstanden ist. Wir verkennen aber kaum die eigentliche Absicht des scharfsinnigen Verfassers, wenn wir meinen, daß er noch mehr Gewicht auf die mehrfache Verzweigung der Bedeutung legt, die wenigstens zum Teil schon im Rahmen des Schrifttums vor sich gegangen ist, sowie auf den stilistischen Wert der verschiedenen Bedeutungen, der sich zuverlässig nur mit literarisch-ästhetischen Maßeinheiten abschätzen läßt. So führt uns hier fast unmerklich die Wortgeschichte zu jenem Grenzgebiet, wo der Sprachforscher und der Literaturhistoriker gleichberechtigt erscheinen; dasselbe können wir von jenen Beiträgen behaupten, die den Sprachgebrauch je eines Dichters beobachten.

Ob diese mehr zur Sprachwissenschaft oder mehr zur Literaturgeschichte gehören — wenn solche eine Zuständigkeitsfrage noch irgendwie von Belang sein kann —, ist einzig davon abhängig, ob der Forscher das Kunstwerk als ein Sprachdenkmal betrachtet und dadurch zur sprachgeschichtlichen Verallgemeinerung zu gelangen, oder durch Einreihung des Dichters in die Sprachgeschichte ihn selbst von einer neuen Seite beleuchten will. Absolut gültige Merkmale sind das auch nicht, wenn man aber das Prinzip *a potiori* anwendet, das erste Kriterium paßt auf die Arbeit von N. P. LETOWA, die den subordinativen Satzbau ohne Bindewort im Lateinischen des II. Jahrhunderts v. u. Z. auf Grund des Materials in den Komödien des Terenz untersucht. Das zweite trifft eher für N. S. GRINBAUM zu, der die zusammengesetzten Eigenschaftswörter Pindars mit dem inschriftlich überlieferten Sprachmaterial vergleichend eine merkwürdige Übereinstimmung mit der thessalischen Mundart feststellt. Eine Art Mittelstellung wird von A. A. DERJUGIN vertreten, der die *verba incohativa* bei Ennius untersucht und dadurch ihn von einer neuen Seite gesehen wieder einmal als den gewaltigen Sprachneuerer hinstellt, zugleich aber auch eine wichtige Linie in der Geschichte der lateinischen Literatursprache aufdeckt. Noch ungezwungen kann man dieser Gruppe etwa die in ihrer Art eigentlich in der Sammlung alleinstehende Textauslegung von Aeschyls Perser vv. 165–167 angliedern, indem die Verfasserin, B. L. GALERKINA, das *punctum saliens* in der sprachlichen Erklärung des Beiwortes *ἀνδρός* in bezug auf *ζῳημάτων* erblickt, dem sie die Bedeutung «der männlichen Würde beraubt» beimißt.

Ein ganz andersartiger Weg eröffnet sich von der Sprachwissenschaft zur Literaturgeschichte — oder umgekehrt, von der Literaturgeschichte zur Sprachwissenschaft —, wenn man den Anfängen der wissenschaftlichen Behandlung der griechischen, der lateinischen oder im allgemeinen der menschlichen Sprache nachgeht. Dieses ertragreiche Forschungsfeld wird von drei Mitarbeitern der Sammlung betreten. W. W. KARAKULAKOW erschließt die Keime der Sprachphilosophie bei Heraklit. I. U. KOBOW zeigt, wie die griechischen und römischen Grammatiker ihre Aufgaben beurteilt haben (neben der Sprachwissenschaft freilich auch die Grundlagen verschiedener Zweige der Literaturwissenschaft bestimmend). E. I. TSCHKALOWA bearbeitet ein interessantes Kapitel der römischen Lexikographie, indem sie das leider nur durch zweifache Überarbeitung bzw. Verkürzung erhalten gebliebene Wörterbuch des in dieser Beziehung für die lateinische Sprache bahnbrechenden Verrius Flaccus charakterisiert.

Eine ganz besonders untrennbare Verbindung können Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte in stilistischen bzw. stilgeschichtlichen Untersuchungen eingehen, zu dem Grade, daß keiner entscheiden vermag, welcher Wissenschaftszweig mehr an der Forschungsarbeit beteiligt war, welcher mehr Anteil an arbeitsverwendungsfähigen Ergebnissen davon haben wird. Man kann den Stil eines einzigen Schriftstellers und eines einzigen Werkes untersuchen, wie es z. B. sehr lehrreich T. W. POPOWA betrifft der Kaiserbiographien Suetons tut, oder einer ganzen Epoche, eines bestimmten Schriftstellerkreises, sogar einer Kunstgattung, wie in bezug auf den griechischen Roman S. W. POLJAKOWA eine gründliche Durchmusterung unternimmt. Es ist tatsächlich merkwürdig, daß gerade was diese Kunstart betrifft, die einst E. Rohde aus schulmäßigen Bedürfnissen, aus den Stilübungen der zweiten Sophistik herleitete, in den Jahrzehnten, als dieser Theorie sozusagen eine Alleinherrschaft zukam, wie wenig Aufmerksamkeit die Philologie ihren stilistischen Eigenschaften zuwandte. Die Verfasserin will freilich ebenso wenig wie der Rezensent die überholte Theorie wiederaufnehmen, die stilistischen Beobachtungen aber, die uns hier vorgelegt werden, sind geeignet, den Einfluß der Rhetorik auf die Romanliteratur ohne irgendeine Übertreibung, dennoch ins rechte Licht zu stellen. Die Verfasserin führt nämlich eine bedeutungsvolle Fortbildung jener Beobachtungen durch, die in diesen Romanen einen der *satura Menippeae* ähnlichen Wechsel von prosaischen und poetischen — wenn auch nicht immer in Versform, doch wenigstens sich nach festen Regeln richtender metrischer Prosa vorgetragenen — Abschnitten nachgewiesen haben. Rein prosaisch läuft die Erzählung weiter, die in dem

bezeichneten weiteren Sinne des Wortes «poetischen» Abschnitte sind in erster Linie Beschreibungen, lyrische Einschübe, kontemplative Monologe, Prophezeiungen usw. die das Ebenmaß der Erzählung unterbrechen oder vorübergehend aufheben. Diese Mischform selbst hat ihre folkloristischen Wurzeln, was aber auf den ersten Blick über- rascht: gerade die «poetischen» Einlagen wirken eintönig und schematisch, sie befolgen also strenge rhetorische Vorschriften, infolgedessen könnte man sie auch aus dem einen Roman in den anderen ohne weiteres überpflanzen. Die einen oder den anderen Schrift- steller kennzeichnenden Stileigenschaften gehen aus den erzählenden Hauptteilen der einzelnen Romane hervor, die sich hinwiederum nach zwei Richtungen ordnen lassen, die eine wird z. B. an dem verzierten, prunkvollen Stil Heliodors, die andere an der ein- fachen, fast den Geist der Volksmärchen atmenden Erzählungsweise Xenophons von Ephe- sos veranschaulicht. Es ist nur schade, daß Xenophons Roman nur in einer stark verkürz- ten Form vorliegt; R. Merkelbach (Roman und Mysterium in der Antike. München und Berlin 1962. S. 91) meinte gerade, daß der Kürzung manche Ausdrücke zum Opfer gefallen sind, die auf die Mysterien verwiesen. Und jene Einteilung, die Longos zu den Schriftstellern zählt, die sich — mit Heliodor und Achilleus Tatios — von dem volkstüm- lichen Boden am weitesten entfernt haben, ließe vielleicht noch manche Einwände zu.

Wie dem aber auch sei, hier sind stilistische und stilgeschichtliche Beobachtun- gen und Gesichtspunkte vorhanden, die man gerade darum weiterführen soll, weil sie zur Lösung mancher *κατ' ἐξοχήν* literaturgeschichtlichen Probleme beitragen können. Literaturgeschichtliche Probleme behandeln in ihrer reinen Form die meisten von den noch übrigen Beiträgen, diese «reine» Form schließt aber selbstverständlich den gesellschaftlichen Hintergrund der literaturgeschichtlichen Entwicklung ein, und schließt auch nach Bedarf das Stilgeschichtliche nicht aus. Dies letztere tritt dennoch nicht mehr in den Vordergrund, so hindert uns nichts daran, in der weiteren Reihenfolge anstatt das Methodologische zu übertönen, die inhaltlich bestimmte Chronologie der Literaturgeschichte geltend zu machen. Durch dieses Verfahren wird übrigens auch in methodischer Hinsicht der am meisten augenfällige gemeinsame Charakterzug dieser Beiträge unterstrichen, das zielbewußte Aufdecken des geschichtlichen Ablaufs der Literaturgeschichte, unter ständiger Berücksichtigung jener zeitgemäßen politischen An- regungen, durch die jedes Kunstwerk in seiner Entstehung gefördert und gestaltet wurde.

Dieser Forschungsrichtung gemäß rekonstruiert A. I. SAIZEW inhaltlich aus den Fragmenten Alkmans Hymne an die Dioskuren, er bleibt aber nicht dabei stehen, sondern fragt nach den Umständen der Entstehung und im engen Zusammenhang damit nach der politischen Tendenz des Dichters. Seine Vermutungen sind überzeugend: Athens Erscheinen auf der Bühne der Weltgeschichte und die Verhältnisse um Kylon von Megara unterstützten, dennoch bald vereitelten Staatsstreich, aus spartanischem Gesichtspunkt betrachtet, gab Anlaß zur Bearbeitung und Umformung der Sage, nach welcher Helene von dem athenischen Theseus geraubt und durch die Heldentat der Dioskuren befreit wird. J. W. OTKUPSCHSCHIKOW hingegen vermeidet im Prinzip bei der Datierung der «Iphi- genie auf Tauris» alle Bezugnahme auf geschichtliche Koinzidenzen, nicht als ob er die politische Bedeutung einer griechischen Tragödie unterschätzen wollte, sondern lediglich in der Überzeugung, daß in Anbetracht der Unbestimmtheit des Entstehungsjahres ein Versuch, die Tragödie auf Grund zeitgemäßer Anspielungen zu datieren, zu einem *circulus vitiosus* führte. Ein vernünftiges Prinzip an sich, das uns aber übertrie- ben mancher brauchbaren Forschungsmittel berauben kann, obgleich man zugeben muß, daß der Verfasser mit seiner bloß auf Grund der inneren, zumal formgeschichtlichen Entwicklung des Dichters angenommenen Ansetzung des Werkes dicht vor «Helene», um 414–413, im wesentlichen recht haben kann. Wir möchten nur den inhaltlichen Übereinstimmungen besonders zwischen «Iphigenie auf Tauris» und «Helene» etwas weniger Bedeutung für die Datierung beimessen.

Mit vollständigem Einverständnis und unbehelligter Freude haben wir die tief- schürfende Analyse der euripideischen «Bakchen» von G. G. ANPETKOWA-SCHAROWA gelesen: man kann diese Tragödie keineswegs als eine «Rückkehr des Dichters zu den Göttern», sondern nur als einen erschütternden Aufruf griechischer Aufklärung beur- teilen. Ich gebe auch gerne zu, daß die «Rätselhaftigkeit» des Werkes, die zu verschiede- nen, unter einander entgegengesetzten Interpretationen führen konnte, sich gerade als ein Ausfluß seiner künstlerischen Reife erklären läßt; ich möchte nur hinzufügen, daß sich diese auch die übrigen Tragödien des Dichters übertreffende Reife nicht nur in seiner Kunst, sondern — untrennbar davon — auch in seiner Philosophie kundgibt. Der «Denker der Schaubühne», wie er doch war, erweitert hier seine Entdeckungen auf dem Gebiete der Psychologie — von weltgeschichtlicher Bedeutung schon an sich — zu einer Massenpsychologie, die ihn lehrt, daß die Religion unabhängig davon, ob man den

Göttern ein objektives Sein zuschreibt oder nicht, als eine psychologische Realität zu den unleugbaren Tatsachen des gesellschaftlichen Seins gehört und unter gewissen Umständen sich zu einer die Massen bewegenden zersetzenden Kraft entfalten kann. Darin besteht die Dialektik jener verneinenden Bejahung der Götter, die eine metaphysische Weise der Interpretation nur als unbedingte Anerkennung der Religion auffassen kann. Es ist mir noch ein gedankliches Zusammentreffen sehr angenehm: Anpetkowa-Scharowa vergleicht den euripidischen Herakles und noch einige Helden der tragischen Bühne mit dem alttestamentlichen Hiob; ähnliche Beobachtungen habe ich vor einigen Jahren in der Einleitung einer ungarischen Euripides-Ausgabe (Euripidész: Tíz tragédia. Budapest 1964, S. XII–XV) in bezug auf die Fragmente von «Bellerophon» gemacht, auch jene Engländer berücksichtigend, die Prometheus, bzw. Oidipus mit dem biblischen Dulder verglichen haben (G. Murray: Aeschylus. Oxford 1940; M. Fortes: Oedipus and Job in West African Religion. Cambridge 1959).

Neben die Euripides-Aufsätze kann man noch den Beitrag zu den Fragmenten der «Fugitivi» stellen, in welchem O. A. GUTAN zeigt, wie der ältere Zeitgenosse des Euripides, Kratinos der Komödiendichter die Gründung von Thurii um 444–443 und die anlässlich dieser Koloniegründung auftauchenden utopistischen Vorstellungen — wie etwa die «Gesetze für Thurii» des Protagoras — in parodistischer Bearbeitung auf die Bühne führt. Weitere drei Studien sind der epischen Dichtung des Hellenismus, des augusteischen Zeitalters und der Spätantike gewidmet.

N. A. TSCHISTAKOWA widerspricht mit Recht jener herkömmlichen Auffassung, die innerhalb der alexandrinischen Poesie eine Sonderstellung des Dichters Apollonios Rhodios dadurch begründen will, daß sie ihn entweder für politisch gleichgültig hinstellt oder ihn als Vertreter einer demokratischen Opposition von den übrigen namhaften Dichtern — Kallimachos, Theokritos, sogar Herodas — isolieren möchte, die alle mehr oder weniger ausgesprochen der königlichen Macht der Ptolemäer huldigten. Außenpolitische Bestrebungen des Ptolemaios Philadelphos II. nach dem zweiten Krieg mit Syrien und fast in der gleichen Zeit nach dem sogenannten Chremonideischen Krieg lenkten die Aufmerksamkeit auf Kleinasien, auf das Schwarzmeergebiet und damit auch auf den mythologischen Schauplatz der Schifffahrt der Argonauten. Die hervorgehobenen Stationen dieser Schifffahrt sind mehrmals in der Zeitgeschichte eine gewisse Rolle spielende Inseln; so werden zeitgemäße Anspielungen hinter der mythologischen Handlung durchsichtig, die alle zusammen nach dem umsichtig begründeten Standpunkt der Verfasserin der Propaganda der königlichen Außenpolitik dienten. Auch die stark hervorgehobene Rolle des Apollonkultes gehört hierzu, den Frau Tschistakowa mit dem bevorzugten Kult Apollons seitens der Ptolemäer erklärt. Mit vollem Recht; wir könnten aber noch hinzufügen, daß auch diese Hinneigung zum Apollonkulte besonders um Ptolemaios II. politisch ausgenützt war; Kallimachos feiert in seinem «Hymnos an Delos» den Gott, der dem König den Kelten gegenüber den Sieg verlieh, und der König selbst restauriert nicht umsonst den Apollonkult gerade in der kleinasiatischen Stadt Patara (Strabon XIV. 3,6).

N. W. WULICH weist Motive des Volksmärchens in Ovids «Metamorphosen» nach. M. E. GRABAR-PASSEK betont mit Recht, daß die von der Forschung äußerst vernachlässigte griechische Epik der IV. und V. Jahrhunderte (Quintus Smyrnaeus, Tryphiodoros, Kolluthos, die orphische Argonautik, Musaios, Nonnos, die Kaiserin Eudokia) bisher nicht genügend gewürdigte ästhetische Werte in sich birgt. Woher diese Frühlingsschwinde, die diese Gelehrtenpoesie eines Spätherbstes auffrischen? Zum Teil m. E. aus der Volkspoesie. Die Verwandtschaft der von Musaios bearbeiteten Sage Heros und Leanders mit dem Volksballadentyp «der zwei Königskinder» ist längst bekannt und man vergleiche z. B. auch die an die ziehenden Vögel gerichteten Worte der verwaisten Tochter in dem «Raptus Helenae» des Kolluthos mit Formeln verschiedener Volksballaden, wo verlassene oder gefangene Helden oder Heldinnen ihren Angehörigen in der Ferne durch die ziehenden Vögel eine Nachricht senden. Es besteht nur die Frage, ob Ovid und diese griechischen Spätlinge selbständig mit den Urwurzeln jedweder echten Poesie die Fühlung wieder aufgenommen haben? Ich meine das gemeinsame Vorbild für Ovid und für die griechischen Dichter der Spätzeit in der hellenistischen Poesie wiederauf finden zu können, wie schon E. Rohde z. B. eine gemeinsame hellenistische Vorlage für Ovid und Musaios in der Bearbeitung der Hero-Leandros-Sage voraussetzte. In der Behandlung von Märchenmotiven hat I. I. Tolstoj (Статьи о фольклоре. М.—Л. 1966, S. 142–156) bei Kallimachos dieselbe Manier beobachtet, wie Wulich bei Ovid, und folkloristische Formeln sind auch bei Theokrit vorhanden (vgl. z. B. T. A. Krassotkina in WDI 1948/2, S. 208–212 und meine Aufsätze ActAntHung 7, 1959, S. 1–20 und 14, 1966, S. 1–31).

Zum Schluß seien noch zwei wichtige Beiträge zum Fortleben der Antike erwähnt. In dem einen untersucht der sich durch philologische Gelehrsamkeit und poetische Begabung gleicherweise auszeichnende Übersetzer klassischer Dichtung, F. A. PETROWSKI, Krylows Verhältnis zur antiken Fabel. Der andere, in welchem J. M. BOROWSKI die internationale Bewegung *Viva Latina* bzw. ihre Kongresse in Avignon (1956), Lyon (1959) und Strasbourg (1963) begrüßt, beschäftigt sich mit dem Fortleben der lateinischen Sprache, sowohl geschichtlich, wie aus der Perspektive jener Hoffnungen, die die Wiederherstellung der lateinischen Sprache als einer gemeinsamen Sprache der internationalen Wissenschaft erwarten. Unter gewissen Beschränkungen sind auch diese Hoffnungen und die Bestrebungen, sie zu erfüllen, berechtigt. Dessenungeachtet aber ist das humanistische Bildungsideal vollkommen überzeugend, zu welchem sich der Verfasser — übrigens auch als lateinischer Dichter vorzüglich — bekennt, das allein durch den Lateinunterricht noch bei weitem nicht aufrechterhalten werden kann. Lateinunterricht im Rahmen dieses mehr vielseitigen Bildungsideals gehört dennoch zu den wichtigsten Garantien jener philologischen Schulung, die über die praktischen Sprachkenntnisse weit hinausgehend in den ernstzunehmenden Mahnungen des bedeutenden sowjetischen Sprachforschers L. W. Tschscherba gefordert wird.

I. TRENCSENYI-WALDAPFEL

С. Л. УТЧЕНКО: КРИЗИС И ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Москва 1965, 286 стр.

Новый труд выдающегося знатока римской истории является дальнейшим развитием более ранних исследований автора, которые разрабатывают главнейшие проблемы данной эпохи. Книга, поднимающая важные принципиальные вопросы и в то же время своими многочисленными тонкими и детальными разработками обогащающая наши фактические знания, излагает материал в восьми главах, следующих за введением («Полис—империя» — стр. 3—33). Первая глава (стр. 33—82) посвящена, в основном, описанию исторических событий. Она исследует политическую историю пяти самых критических лет кризиса Римской республики, пятилетний период от подавления заговора Катилины до трибуната П. Клодия (63—58 гг. до н. э.). На этот богатый по своим наблюдениям фундамент опираются следующие главы, разрабатывающие, в основном, принципиальные, государственно-теоретические вопросы, а также разделы, которые анализируют широко трактованный фон кризиса республики: Идея народного суверенитета у римлян (стр. 83—107), Кризис комитального устройства в Риме (стр. 107—121), Плебс и рабы (стр. 122—155), Оптиматы и популяры (стр. 156—173), Социально-политическая роль римской армии в I в. до н. э. (стр. 174—197), Проблемы римского гражданства (стр. 198—223) и, наконец, в завершение — опять вернувшись к методу изложения исторических событий — автор рассматривает диктатуру Цезаря (стр. 224—263). Книга оканчивается кратким заключением (стр. 264—271) и именным и предметным указателями.

Исходным принципом работы является мнение о том, что кризис, который в конце концов сделал необходимым создание монархии Цезаря и Августа, не был единым процессом, в нем можно учитывать по крайней мере два компонента: с одной стороны, превращение Рима из полиса этрусско-греческого типа в империю, что сделало устаревшими институты, установленные по масштабам полиса, а также породило новые концепции в области теории государства; с другой стороны, быстрое развитие рабства, что обострило к 60-ым годам до н. э. классовые противоречия, даже независимо от требований, порожденных противоположностью полиса-империи, сделало необходимым укрепить государственный строй, произвести его переустройство. Эти два круга вопросов, две проблемы (в принципе своем независимые друг от друга, но сплетающиеся друг с другом, взаимно обусловленные и дополняющие друг друга) взяты вместе, влияли в том направлении, чтобы монархия сменила республиканский государственный строй, и именно в такой форме, в какой Цезарь — скорее инстинктивно и в рамках случайных мероприятий — это подготовил, а Август претворил в жизнь благодаря своей многодесятилетней, медленной и последовательной организаторской работе. Таким образом, в противовес тем упрощенным взглядам, которые выдвигали на передний план только один какой-нибудь компонент из различных исторических факторов (завоевание или рабство), автор рецензируемого труда стремится последовательно провести более дифференцированное понятие «многокомпонентности» к раскрытию фона революционного по своему характеру переустройства.

На основании известных указаний Маркса (ср.: К. Маркс, *Формы, предшествующие капиталистическому производству*), основу античной полисной организации автор усматривает в характерной античной земельной собственности, сущность которой заключается в тесном контакте между земельной *собственностью* и *гражданством*, неотделимыми друг от друга, и в то же самое время в противоречиях между личной земельной собственностью отдельных граждан (*dominium ex iure Quiritium*) и общинной земельной собственностью гражданского коллектива (*ager publicus*). Различные *гарантии* обеспечивали существование полисной организации, а также юридическое равенство граждан на почве классической формы земельной собственности. Эти гарантии, по мнению автора, были следующими: 1. правом собственности на землю обладал только полноправный гражданин (*cives optimo iure*); 2. Сохранение замкнутости гражданства (ср., например, проведение в Афинах закона Перикла после 454 г. до н. э. о сужении круга граждан); 3. народное собрание, и, наконец, 4. армия как *непосредственное* орудие в руках как земельных собственников, так и участников народного собрания для обеспечения господства над элементами, не обладающими гражданскими правами (в античной обстановке это, в первую очередь, рабы и перебранны).

Итак, автор в своей работе шаг за шагом прослеживает разложение четырех факторов, которые обеспечивали существование организации полиса; всех подробнее он останавливается на вопросах упадка народного собрания (главы II—III), на членении единого понятия римского гражданства (главы IV—V) и по сути дела присоединяя к этому — возникновение правовых различий внутри гражданства (глава VII), а также переустройство военной организации (глава VI). Так, главы, кажущиеся на первый взгляд не связанными друг с другом, на самом деле трактуют различные формы проявления одного и того же явления.

Упадок римского «полиса» по этим признакам начался уже в первой половине III века до н. э., тогда, когда Рим стал во главе всей союзной организации, распространившейся на всю Италию; это переустройство переросло в кризис тогда, когда в результате усиления рабства в конце II века до н. э. внутри разлагающегося полисного общества появляются те революционные силы, которые намеренно ускорили распад политико-организационных форм этого общества, сделали их бездействующими и в конце-концов привели к коренному переустройству всей политической организации. Автор считает, что все это «переустройство» имело революционный характер, и в этом терминология автора совпадает с терминологией М. Ростовцева и Р. Сайма, с одной стороны, с другой же — с терминологией А. В. Мишулина и С. И. Киселева. Однако содержание социальной революции автор оценивает иначе, чем его предшественники. Соответственно своей теории о «двух факторах» автор видит две независимые друг от друга «революционные» силы: городской и сельский *плебс* и *рабов* (ср. главным образом главу IV). «Разлагающая» роль плебса коренится в упадке полисной организации, революционные выступления рабов — в кризисе рабовладения. Движения этих двух сил по своим основным мотивам были по существу различными, их цели не были одинаковыми и по времени они не совпадают друг с другом. Самый активный и самый сознательный период движения городского плебса (между 63—58 гг. до н. э.) наступает тогда, когда самостоятельное восстание рабов Спартака уже потерпело поражение. Именно поэтому автор выступает против таких модернизирующих мнений, которые общие выступления рабов и плебса (что, несомненно имело место) стремятся представить как классовый «союз» под гегемоном одного определенного класса, и необходимость империи односторонне объясняют уроками восстания Спартака. Кроме проведения различия между плебсом и рабами, как двумя независимыми друг от друга «революционными» силами, автор тщательно вскрывает и некоторые симптомы дифференциации внутри плебса и рабов (а также противоречия внутри господствующего класса). Особо предостерегает автор рассматривать городской плебс Рима последних десятилетий республики как «люмпен-пролетариат» (ср. стр. 116).

В эти общие (и уже сами по себе новые) принципиальные рамки книги входит ряд исследований, посвященных отдельным вопросам, из которых мы можем сослаться лишь на некоторые. Автор выступает против такой теории — и в этом отношении он развивает результаты своих ранних исследований — по которой принципиальную основу государственной структуры Римской республики следует усматривать в идеях *народного суверенитета*. Автор показывает, что и претензия на сосредоточение власти *исключительно* в руках народного собрания, и теория, восходящая к Полибию и в классической форме разработанная Цицероном о трехфакторной смешанной форме государственного устройства, являющаяся привнесенным извне, чужеземным продуктом, в то время как подлинны римские воззрения всегда предполагают двойную власть (*диархию*). В эпоху республики власть распределялась между народным собранием, представляющим силу (*vis*) и сенатом, олицетворяющим авторитет (*auctoritas*); продолжением этой респуб-

ликанской диархии (с другими факторами) является распределение власти при Августе между императором и сенатом. К этому стоит добавить, что в позднереспубликанское время и в эпоху империи действительно — даже несмотря на нанесенный ущерб принципу *auctoritas patrum* посредством *lex Hortensia*, — теория о государстве стояла на принципиальной основе двойной власти народного собрания и сената. Дионисий Галикарнасский именно в таком плане реконструирует конституцию Ромула (II 14 сл); такую же идеальную государственную организацию видят также и Брут с Кассием (App. BC II § 574 и IV § 385). Подлежит вопросу, однако, не можем ли мы предполагать как неосуществленную программу (хотя бы на основе эллинских или эллинистических влияний) идею о народном суверенитете (точнее: требование суверенных прав народного собрания) у таких «популярных» политиков как Г. Гракх или П. Клодий. У них заметны стремления отстранить сенат, пренебречь им. Прав однако автор, когда считает, что Саллустий стоял на принципах двойной власти, состоящей из сената и народного собрания.

Как своей общей концепцией, так и развернутыми разработками отдельных деталей, содержащихся в труде, выдающийся советский историк внес значительный и новый вклад в дело исследования переходной эпохи от Римской республики к империи, проблематика которой неоднократно исследовавшаяся и столь значительными специалистами, начиная с Друманна вплоть до Р. Сайма и Н. А. Машкина, все еще, как видно, до конца не исчерпана.

И. ХАН

И. Ф. ФИХМАН: ЕГИПЕТ НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ. Москва 1965, 308 стр.

Признанный специалист экономической истории Египта римской и византийской эпох, автор настоящего труда предлагает вниманию прекрасное и, с точки зрения материала, полное обобщение позднееантичного производства Египта IV—VII веков н. э. Две эпохи, на рубеже которых имеют место показанные автором производственные и социальные отношения Египта — отживающий рабовладельческий строй и формирующийся феодальный строй византийского типа. Выводы труда, чрезвычайно насыщенного фактическим материалом, важны, следовательно, с точки зрения того, как отражаются отношения этой переходной эпохи в конкретных источниках, ограниченных территориально и по времени. Собственно говоря, прежде чем с претензией на обобщения и в общей форме подводить итоги и, главным образом, давать оценку тех явлений, которые обычно трактуются под названиями «упадок рабовладения» или «формирование феодальных отношений», нам было бы необходимо иметь целый ряд подобного рода монографий и исследований, подвергающих анализу явления, ограниченные как территориально, так и по времени. С методической точки зрения, таким образом, постановка проблемы предлагаемого труда является чрезвычайно поучительной.

Еще более ценным нам представляется метод исследования. Книга, разделенная на три больших главы, которые в свою очередь подразделяются на части, дает, на основании обзора находящихся в нашем распоряжении источников, характеристику всех тех вопросов, которые могут интересовать марксистского историка-экономиста по ремесленному производству; на переднем плане — в противовес некоторым, лишь бегло освещенным вопросам техники ремесла — стоят проблемы организации работы: труд рабов и свободных; крупные мастерские и индивидуальный труд; типы крупных мастерских: государственные, муниципальные, церковные, городские и сельские мастерские, действующие в крупных имениях; мужчины и женщины в ремесленном производстве; методы обучения ремеслу; виды и возможности оценки ремесленной продукции; типы ремесленных организаций (корпораций); вопросы ремесленного труда в крупных сельскохозяйственных мастерских и так далее.

Картина, которую мы получаем в результате тщательного анализа, проведенного автором, по своим основным чертам убедительна и соответственно этому многогранна. Правда, остается большой вопросительный знак: характер источников по Египту не дает облика ремесленного производства именно в столице, Александрии, тогда как нам известно (и к сожалению, известно лишь столько), что это был город с крупными ремесленными мастерскими, «in qua nemo vivat otiosus» (SHA XXIX. 8,5 в письме Гадриана сомнительной подлинности). Отсутствие данных относительно Александрии — в противовес множеству папирусов, освещающих экономическую жизнь провинциальных центров (точнее, некоторых поселений, расположенных на сухих почвах) настолько подав-

ляющие, что, например, автор одновременно вышедшей из печати монографии по истории текстиля (Ewa Wypsińska: *L'industrie textile dans l'Égypte Romaine*, Wrocław—Warszawa—Kraków 1965) в принципе отказывается от обсуждений отношений в столице Египта (ук. соч. стр. 9). Автор предлагаемого труда поступает иначе (и правильно), и насколько позволяет возможность, он говорит обычно более или менее гипотетично и об отношениях самого большого ремесленного центра (например, стр. 59, сн. 315—317). Действительно, мы располагаем данными только о провинции, и это несомненно в определенном направлении влияет на полученную картину (вероятно, соотношения крупных ремесленных мастерских, их производственный вес, а также вопрос экспорта ремесленной продукции мы могли бы характеризовать по-иному, зная источники и по Александрии — но и это только предположение!) С этой прискорбной, но необходимой оговоркой полученная характеристика может быть признана полной, развернутой.

На исследуемой территории в рассматриваемое время рабский труд был уже незначительным — это первый подробно обоснованный вывод исследования, который, между прочим, совершенно совпадает с мнением, выраженным в более раннем исследовании рецензента. Ремесло (и здесь я опять ссылаюсь на односторонность источников) протекает большей частью в мелких или индивидуальных мастерских, наличие крупного ремесленного производства мы можем считать только лишь в государственных *фабриках* и некоторых монастырях. Ремесленники в основном были свободными — здесь однако можно было бы сильнее подчеркнуть, чем это делает автор, что это относится только лишь к ремесленникам, располагающим орудиями производства и своими мастерскими. Работники государственных мастерских были *полусвободными*, и тенденцией законодательства (которая была осуществлена не в полной мере) являлось приближение их положения к положению *адскрипциев* посредством как можно более крепких уз зависимости. Но положение «свободных» ремесленников тоже отягощалось той всеобщей практикой, что они были вынуждены арендовать помещения, и это (опять-таки аналогично колонам) приводило их как экономически, так и социально в зависимое положение (например, в отношении свободного передвижения) в противоположность крупному владельцу, сдававшему в аренду помещение или мастерскую (реестр всех сохранившихся договоров по сдаче в аренду см. стр. 48—55). Договора с арендаторами могут заключаться не только отдельными ремесленниками, но и «корпорациями», а также ремесленными организациями. (ср. стр. 196 сл.)

К одной из наиболее ценных относится та часть книги, которая исследует проблемы ремесленных корпораций, коллегий. В противоположность общепринятым взглядам об окончательном закреплении и застывании позднеримско-византийского общества, картина, полученная благодаря данным автора, более подробна: только организации, зависящие от государства, имеют принудительный характер и только на них действуют известные принудительные законодательства; поскольку, однако, наши знания о позднеримских коллегиях (вне Египта!) базируются, главным образом, на них, то вполне понятно, что относящиеся к ним (в первую очередь к *collegia pistorum*) предписания распространенное научное мнение обобщило; однако, как показывают данные папирусов V—VI веков эти закрепощения также смягчаются, и содержащиеся в некоторых конституциях Кодекса Феодосия, они позднее, в Кодексе Юстиниана принимают более мягкую форму (ср. ко всему этому стр. 145 сл.) Автор объясняет это тем, что с разделением империи на две части в восточной части империи, позднее в Восточной Римской империи, и затем в Византийской империи улучшается экономическое положение и прежние ограничения становятся там ненужными.

Вместе с коллегиями, однако, существовали и независимые корпорации (о них см. стр. 149 сл.), принадлежность к которым — такой вывод можно сделать из данных, приведенных автором — не была специально предписана законом, она осуществлялась, можно сказать, по существующим обычаям. Дошедшие до нас уставы коллегий не дают на этот вопрос единодушного ответа.

Работа открывает перед нами следующую картину: упадок рабского труда, рост удельного веса занятых в ремесленном производстве юридически свободных или квалифицируемых, на основании определенных, не всегда одинаковых видах зависимости, как полусвободных ремесленников; заметное отклонение этого производства, наблюдаемое и в исследуемый период времени, от крупных мастерских к более мелким, более того, в сторону индивидуального производства, возрастающее значение ремесленного производства в крупных имениях — все это отдельные явления феодализации всего античного общества. Заслуга автора заключается в том, что этот процесс он демонстрирует на чрезвычайно богатом фактическом материале и в конкретной форме.

И. ХАН

VORTRÄGE

GEHALTEN AM KONGRESS FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE
DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

(1—6 November 1965)

Die nachstehenden Aufsätze stellen die in den Sektionen I—II am Kongress für klassische Philologie der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (Budapest, 1—6 November 1966) gehaltenen Vorträge dar. Die Vorträge der Sektionen III—IV werden in einem besonderen Band unter dem Titel «Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums» (Budapest 1968, Akademie-Verlag) veröffentlicht.

I. ТЕП

Ю. Б. ЮСИФОВ

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ И ПРАВЯЩЕЙ СЕМЬЯХ ЭЛАМА

Как правило, во главе гражданской семьи, под которой мы понимаем как большую, так и малую семью, стоял патриарх, обладавший правом собственности на семейное имущество, следовательно и правом, распределения. Если отец при жизни не оставлял завещания, то имущество семьи делилось между его детьми вне зависимости от пола. Мать в этом дележе не участвовала, поскольку она не входила в группу наследников и наследниц. Так как жена не могла претендовать на наследство, то супруг нередко передавал ей свое или семейное имущество и наделял ее другими правами в ином порядке. Есть случаи, когда супруг определяет доли детей и жены в наследстве (№378).¹ Но есть случаи, когда супруг все имущество и право распоряжения передает жене (№№ 131, 282, 379, 406 и др.). Иногда встречаются клаузулы: «сын, который почет ей окажет, перед ней пребудет, всеми доходами ее руки владеет» (№ 406); «(отец) в пользование оставил, (она) идущему за (ней) может отдать» (№ 378, 379), или «кому хочет, (тому она) может отдать» (№ 131). Общее содержание документов показывает, что мать могла владеть землей, переданной ей супругом, лишь временно, но с правом распоряжения. Если вдова решалась отдать поле одному наследнику в обход других, то таким человеком должен был быть один из ее детей, кто выполнял работу по ее хозяйству, или «идущий за (ней)». В этих случаях не может быть и речи об обязательной передаче имущества старшему. Это не было характерно для Элама. Выражение «идущий за (нею)» подразумевает того, кто находился при матери и вследствие этого получал наследство: он мог быть и тем, кто оказывал ей почет. Фактически, выражение «идущий за (нею)» могло бы относиться ко всем детям, ведущим общее с матерью хозяйство. Если после смерти матери распад совместного хозяйства становился неизбежным, то общее хозяйство делилось между ее детьми поровну. Приведенные случаи показывают также, что послушание матери со стороны детей должно было привести к их изгнанию из общего хозяйства. Если и предусматривается, что мать может

¹ Документы, номера которых приводятся в статье, опубликованы В. Шейлем в *Mémoires de la Mission archéologique de Perse*, vol. XXII (1930), XXIII (1932), XXIV (1935), XXVIII (1939). (=MDP).

передать имущество тому, кто завоеует ее доверие, то это не значит, что все имущество переходило к одному в ущерб интересам других детей. В данном случае, вероятно, прежде всего имелось в виду главенство одного в роде для сохранения единства семейной общины. Конечно, не всегда удастся отличить акты, в которых предусматривается продолжение совместного хозяйства, от актов, которые вносят разьединение в общее землевладение в пределах такой общины.

В одном случае глава семьи все свое имущество передает своей дочери (№ 285), в другом выделяет ей определенную долю (№ 379). Мать же могла дарить имущество как сыну (№ 287), так и дочери (№ 374). Интересен случай в документе № 381. Некая Иштаярту дарит дочери своей «все, что отец ей оставил». В документе № 382 она же дарит той же дочери другое имущество, причем в этом случае угроза наказанием направлена против сестер и братьев Иштаярту, т. е. против родственников по восходящей линии, которые, естественно, могли бы предъявить претензии по поводу родового (отцовского) имущества.

В эламской семье право наследования принадлежало всем членам семейной общины по нисходящей линии. Мать не входила в число наследников. В эламской семье существовала патриархальная власть отца, которому принадлежало право собственности и отсюда вытекающие последствия.

К сказанным имеет отношение документ № 395, в котором, хотя и в фрагментарном виде, сохранился сузский закон о землевладении и наследовании. Большинство исследователей (П. Кошакер, Г. Драйвер, Дж. Майлс, И. Клима)² считали его отрывком закона, но воздерживались от какой-либо интерпретации. Интерпретацию этого документа нельзя оторвать от общего содержания частно-правовых документов.

Судя по некоторым признакам, этот закон был издан эламскими правителями Балаишшаном и Кук-Кирвашем (между 1874 и 1868 годами до н. э. — Датировка наша). Для нашей цели большой интерес представляют строки 11—14 лицевой стороны и строки 5—9 оборотной стороны документа № 395. В строке 11—14 говорится: «Если он (человек) женится на дочери Сузианы, то дом раба он не может взять и дом женщины не может взять».³ Этот отрывок свидетельствует о наследственном состоянии гражданки Суз в момент ее замужества. Пока она находится в составе домашней или семейной общины, она пользуется иными наследственными правами, чем когда покидает ее; тогда она не может забрать с собой дом раба (É.DÜ.A ša ERÊ) и дом женщины (SAL). Что такое «дом женщины»? Под этим выражением подразуме-

² P. KOSCHAKER: *Göttliches und weltliches Recht nach den Urkunden aus Susa*, *Orientalia*, NS, vol. IV, 1935, S. 67; G. R. DRIVER—J. C. MILES: *The Babylonian Laws*, II, Oxford, 1955, p. 314—317; J. KLÍMA: *Le droit élamite au II^{me} Millénaire av. n. e. et sa Position envers le droit babylonien*, AO, 31, 1963, p. 295—296.

³ Ср. также перевод у G. R. DRIVER—J. C. MILES: *The Babylonian Laws*, II, p. 317.

вается «дом рабыни». «Дом рабыни» существовал также в Вавилонии, что видно из документа № 183, опубликованного М. Шорром,⁴ хотя последний и дал ему иное толкование. Соответствующий отрывок из вавилонского документа № 183 звучит следующим образом: «В день, когда муж возьмет ее (замуж), дом рабыни (*bit amtim*) с собой она (может) взять и в дом своего супруга она (может) войти». Сопоставление соответствующих документов показывает, что уходя из дома, вавилонянка в качестве приданого берет лишь «дом рабыни»,⁵ а остальная часть имущества остается в семье братьев. А в Эламе при замужестве гражданка Суз не имеет права взять себе рабов или рабынь вместе с их домами или имуществом. Отсюда и вытекает, что в хозяйстве домашней общины рабская сила имела огромное значение, и вообще в ней была большая нужда по сравнению с Вавилонией.

Как видно из документа (№ 379 : 25), отец обязует своих детей выделить сестре своей серебро, вероятно, в качестве приданого. Казалось бы, соблюдается соответствующая статья закона, и дочь получает лишь серебро. Однако дочь получала также недвижимое имущество (№№ 285, 374, 381—382, 403—404 и др.), причем братья не должны были претендовать на это имущество. Но в рассмотренных нами документах мы не находим никакого намека на то, что существовал «дом раба» или «рабыни», и он передавался или не передавался дочери или ее супругу. Лишь в одном случае (№ 402) зарегистрирована передача раба супруге; после ее смерти этот раб должен был перейти к трем ее сыновьям. Данный случай обнаруживает какое-то сходство с упомянутой статьей закона в том, что раб в конечном итоге остается в хозяйстве наследников отца, так же как «дом раба» должен был остаться в домашней общине, из которой уходила гражданка Суз. Поскольку мужчины, — следовательно, главы партиархальной семьи — играли основную роль в хозяйстве, то рабская сила в конечном итоге законом закреплялась за ними.

Однако дочь и в доме отца могла получить недвижимость. Во-первых, об этом позволяют говорить документы №№ 374, 381—382, 399 и т. д. Более того, при разделе наследства она получала равную долю наряду с братьями (№№ 16, 21, 168). Во-вторых, это доказывается другой статьей того же закона (об. стн. стк. 5—9). Строки 5—9 частично повреждены и первоначальное восстановление принадлежит В. Шейлю, Г. Драйверу и Дж. Майлсу. Однако их восстановление целиком основано на формальной аналогии со строками 11—14 лицевой стороны закона.

Этот отрывок частично был восстановлен В. Шейлем, а в дальнейшем восполнен Драйвером и Майлсом. Приведем текст с их восстановлениями:

⁴ M. SCHORR: Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozessrechts, Leipzig, 1913, S. 253.

⁵ Этот термин иначе толковали или вовсе оставляли без объяснения В. MEISSNER: Assyrische Studien, MVAG, Bd. 10, Heft 4, 1905, S. 65; J. KOHLER—A. UNGNAD: Hammurabi's Gesetz, III, Leipzig, 1909, N = 57, S. 22.

mārat šu]-šī ma-ak-ku-ur a-bi-ša ₆[*i-šu*]-ū⁶ ₇[*mārē^{meš}-ša*]⁷ DUMU-UŠ⁸
a-bi-šu-nu i-šu-ū ₈[*ša i-na É-ša*]⁹ *wa-aš-bu* [*É.DÛ.A ša*]¹⁰ SAL *i-le-ek-ke*.
 Драйвер и Майлс этому отрывку дают следующий перевод: «[Дочь] Сузианы
 [будет иметь] имущество своего отца [и] [ее сыновья] будут иметь наслед-
 ство их отца; [сын], который живет [в ее доме], [усадебу] женщины возьмет».

Касаясь этого отрывка, И. Клима отмечал, что, если восстановление текста верно, то в этой части речь идет об урегулировании наследственной позиции сузианской женщины.¹¹ Это восстановление в целом, хотя и кажется правильным, но некоторые детали, которые в определенной степени меняют смысл текста, нуждаются в уточнении. Восстановление «гражданка Суз» верно, судя по сохранившейся части знака и по тому, что это выражение встречается также на лицевой стороне документа № 395. Из первой строки приведенного отрывка вытекает, что сузианка, иначе говоря, дочь главы домашней общины, может получить в качестве наследства имущество отца, следовательно, до издания этого закона подобный порядок наследования нарушался, т. е. дочь постепенно исключалась из числа наследников, а закон вновь возвращает ей ее прежние наследственные права.

Таким образом, общий смысл фразы таков, что дочь может получить наследство отца так же, как и другие его дети. Именно таков должен быть смысл также строки 7, которая частично неверно переведена и поэтому восстановление вызывает сомнение. Начало этой строки Драйвер и Майлс дают [DUMU.MEŠ-ša] DUMU. UŠ и переводят «(ее сыновья) наследство...».¹² Во-первых, DUMU.UŠ не означает «наследство», а имеет значение «сын — наследник» (акк. *aplum*-DUMU.NITAḥ). Поэтому, во-вторых, предшествующее этому слову восстановление отпадает как неверное. Восстановление Драйвера и Майлса к данному случаю не подходит также потому, что в законе речь идет о наследственных правах не ее сыновей, поскольку сыновья ее всегда пользовались подобным правом, а, вероятно, имеются в виду ее братья. Это мнение подтверждает также сам текст, где написано DUMU. NITAḥ=*apal a-bi-šu-nu* «наследник(и) отца их». Какое же слово могло стоять в лакуне? Здесь можно предложить два восстановления; в обоих случаях общий смысл фразы совпадает. Первое, в строке 5 оборотной стороны имеется слово *makkuru*, которое, видимо, могло повторяться в лакуне 7. Второе, в лакуне могло стоять слово [*ahhē^{meš}-ša*] «братья ее». Общий смысл отрывка заставляет нас вставить в лакуну одно из этих слов. Судя по всем имеющимся данным, нужно принять второе восстановление. В результате этого соответствующая часть отрывка (стк. 5—7) должна быть истолкована

⁶ Восстановление строк 5—6 принадлежит Шейлю.

⁷ Восстановление Драйвера и Майлса. У Шейля: [...u].

⁸ У Шейля — TUR.UŠ(?).

⁹ Восстановление принадлежит Драйверу и Майлсу. Шейль ничего не дает.

¹⁰ У Шейля [*bīta . . . ša*]. Дополнено Драйвером и Майлсом.

¹¹ J. KLÍMA: *Le droit élamite*, p. 296.

¹² G. R. DRIVER—J. C. MILES: *The Babylonian Laws*, II, p. 316—317.

так: гражданка Суз имеет право на имущество как отца, же как на это имущество имеют право братья ее, как наследники их отца.¹³ Именно такой вывод и понимание отрывка напрашиваются, когда в качестве вспомогательного материала привлекаются также частно-правовые документы. Судя по частно-правовым документам, дочь получает равную долю при дележе отцовского имущества, на которое она приобретает право собственности и которое могла даже отчуждать (ср. №№ 21, 51). Следовательно, дочь вместе со своими братьями, как дети одного патриархального главы семьи, участвует в разделе наследства отца, более того, статья узаконивает долю дочери в общем наследстве.

После сказанного и учитывая содержание частно-правовых документов, можно пересмотреть восстановления лакун в строках 8—9, которые могут быть восстановлены сравнительно легко. Строка 8, как мы видели, была восстановлена [*ša i-na É-ša*] «[кто в доме ее]», что не противоречит общему смыслу отрывка. Но здесь можно предложить и другое возможное восстановление, а именно: [*ša it-ti-ša*] «[кто вместе с нею] (живет)». Такое восстановление подтверждается еще и тем, что в частноправовых документах наследует матери тот, кто находится при ней (*alik arki*) (№ 378). Следовательно, кто в доме гражданки Суз живет, тот получает [*É. DÛ. A ša*] SAI. В данной части (стк. 9) восстановление опять кажется сомнительным, поскольку оно является буквальным повторением строки 13 лицевой стороны закона. Но там это выражение упоминается в другой связи, а здесь слово [...] SAI связано со свободным лицом. Учитывая характер отрывка в целом, мы предлагаем следующее восстановление: [*ma-ak-ku-ra ša*] SAI «[имущество] женщины». Вероятно, в этом отрывке слово SAI, включая в себя понятие женщины, имеет в виду имущество прежде всего сестры, которая еще не вышла замуж, но живет вместе с разделенными братьями. Из разбора частно-правовых документов мы видели, что имущество матери получал тот, кто оказывал ей уважение или был любим ею, т. е. жил при ней и помогал ей в хозяйстве. То же самое закон, видимо, предусматривает для брата, что можно наблюдать в вавилонских документах,¹⁴ когда брат получал наследство сестры в том случае, если он был любим ею, иначе говоря, если он принимал участие в ее домашних делах. Из этого отрывка к тому же вытекает, что, если после смерти женщины (матери или сестры, не выходившей замуж) оставалось имущество — будь движимое или недвижимое,¹⁵ — то его получал тот, кто постоянно пребывал в ее доме.

¹³ Если принять первое восстановление, то отрывок может быть истолкован примерно так же: гражданка Суз имеет право на имущество отца, так же как на это имущество имеют право наследники отца. Судя по местоимению «их», слово в лакуне строки 5 стояло во множественном числе.

¹⁴ В. MEISSNER: *Assyrische Studien*, S. 61.

¹⁵ Слово *makkuru* в частно-правовых документах часто передает значение всего имущества, не исключая и недвижимости. Например, *makkur ša āli u ʔēri* «(недвижимое) имущество, которое в поселении и степи».

Исходя из сказанного, строки 5—9 оборотной стороны документа № 395 следует восстановить и переводить следующим образом: ${}_5[mārat \textit{Šu}] \textit{-šī ma-ak-ku-ur a-bi-ša} \textit{ }_6[i-šu] \textit{-ú} \textit{ }_7[u aḥḫē \textit{-mes-ša}] \textit{ }_8[apal a-bi-šu-nu i-šu-ú] \textit{ }_9[ša it-ti-ša] wa-aš-bu \textit{ }_9[ma-ak-ku-ra ša] \textit{ }_{10}[SAL i-le-ek-ke] \textit{ }_{11} \llcorner \textit{[Гражданка C]uz имущество отца своего может иметь, [также как братья ее], (а именно) наследники отца их имеют. [Кто вместе с ней] живет, [имущество]} \textit{ }_{12} \textit{ }_{13}$ женщины может взять».

Таким образом, установки закона относительно наследственно-правового положения женщины в Сузах почти полностью совпадают с теми данными, которые извлекаются из содержания документов, следовательно, документы в своей основной массе, вероятно, написаны после издания этого закона.

Появление подобного закона не было случайным.¹⁷ Он был направлен против попыток ликвидировать право дочери получить наследство отца. Закон не появился бы, если бы в Эламе отсутствовали условия для этого. А эти условия, вызвавшие издание подобного закона, существовали в царских семьях.

Для нашей цели еще необходимо остановиться на характерной для эламской царствующей семьи, главным образом, первой половины II тысячелетия до н. э., форме обозначения родовой принадлежности. Согласно аккадским документам, относящимся к Эламу, эламские правители обозначают себя *mār aḫāti* «сын сестры» правящего предка, а эламские надписи в данном случае применяют термин *ruḫušak* «потомок», который в принципе соответствовал аккадскому *mār aḫā i*.

Первым царем, к сестре которого возводили свою генеалогию последующие правители, был Шилхаха.

Аддахушу, Кук-Кирваши и Ширукдух, которые правили друг после друга, были непосредственными сыновьями сестры (или сестер) Шилхахи.¹⁸ Впоследствии Сивепалархуппак (№ 396), Кудузулуш (№ 397) и Темтиагун (№ 398) называют себя «сыном сестры» не Шилхахи, а Ширукдуха. Следовательно, определенная группа правителей называет себя сыновьями сестры Шилхахи, а другая группа возводит себя к сестре Ширукдуха. При последнем появляется упоминание (№ 328) об *amma hašduk* «мать почитаемая» в качестве правительницы Суз: она была не кем иным как сестрой (или одной из сестер) Шилхахи. Отсюда вытекает, что лицо, обозначенное как *amma hašduk*, должно было быть родоначальницей нового правящего поколения — также ее дочь для следующего поколения могла считаться «матерью почитаемой». Например, Сивепалархуппак, правивший после Ширукдуха, также

¹⁶ Можно было бы поместить в лакуне слова $[ap-lu-tam \textit{ }_9[ša]]$

¹⁷ Остальная часть закона настолько фрагментарна, что делать какие-либо выводы невозможно.

¹⁸ MDP, XXVIII, N = 3, pp. 5, 8—9; V. SCHILL: *Sirkutuh-Sirtuh*, RA, 33 (1936), p. 152; G. A. BARTON: *The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad*, New-Haven, 1929, p. 164.

упоминает об *amma hašduk*, которая несомненно была сестрой Ширукдуха. Следовательно, с одной стороны, «мать почитаемая» является сестрой предшествовавшего правителя, с другой стороны — матерью последующих правителей, но и дочь ее могла стать «матерью почитаемой» для следующего поколения правителей. Значит, сестра Ширукдуха становится родоначальницей нового, второго, поколения правителей. Эта сестра должна была быть родной, а не двоюродной или троюродной. Этот вывод отражает одну сторону рассмотренных родственных отношений и явно указывает на преобладание в царском роде матрилинейного счета родства.

Темтиагун также упоминает об *amma hašduk*,¹⁹ а его сестра должна была быть родоначальницей третьего поколения правителей. Действительно, уже Кук-Нашур III себя обозначает как «сын сестры» Темтиагуна (№ 283 : 1—3).

Следовательно, через определенный промежуток времени определялась новая родоначальница, к которой возводили свое происхождение эламские правители соответствующего поколения. Хотя при этих случаях имя родоначальницы не упоминается, но само абстрактное упоминание о ней совершенно ясно намекает на то, что правом наследования трона пользовались те, кто был сыном сестры соответствующего правителя, в конечном итоге находился в родстве с сестрой Шилхахи. С другой стороны, это родство не обязательно должно было восходить лишь к одной сестре, а, видимо, к любой из сестер правителя.

Наследование власти по женской линии продолжалось долго, а уже к концу II тысячелетия эламские цари свою генеалогию определяют по мужской линии; это превращается почти в правило в I тысячелетии, когда к тому же начинаются раздоры между отдельными царствующими родами. Эти раздоры отчасти, вероятно, происходили потому, что сын стал наследовать отцу, между тем как и другие представители царствующего рода претендовали на престол.

Сопоставления этих сведений с теми, которые извлекаются из отрывка эламского закона и частно-правовых документов, позволяют отметить общие черты сходства между порядками, существовавшими как в царском роде, так и в гражданской семье.

В царском роде явное почтение оказывалось матери и сестре. Отголоски почтения к женщине отразились также в законе и частно-правовых документах. Из частно-правовых документов видно, что дочь могла участвовать в разделе имущества и получать наследство, мать же при жизни осуществляла право собственности и распоряжения над имуществом, которое она принесла из отцовского дома, и имуществом, которое было оставлено ей, скажем, как подарок, или которое перешло к ней по воле отца или мужа. В большинстве

¹⁹ V. SCHEIL: *Kutir-Nahhunte I*, RA, 29 (1932), N = 2, p. 67.

случаев этим имуществом она распоряжалась по своему собственному усмотрению, она возглавляла также домашнюю общину после смерти супруга. Мать царствующего правителя, а именно *amma hašduk* «мать почитаемая», — также могла возглавить царство или, во всяком случае, часть его, и управлять им. Следовательно, мать (или сестра предыдущего царя) продолжает свое участие в управлении государством, так же, как она возглавляет домашнюю общину после смерти супруга. Последующие цари всегда отдавали дань уважения *amma hašduk*. В данном случае, как было видно, преследовалась также иная цель, а именно подчеркнуть личность матери, дочь которой должна была стать новой родоначальницей, к которой впоследствии возводили бы свое происхождение эламские правители. Частно-правовые документы дают также косвенный намек на существовавшую борьбу между отцовским и материнским принципами. В гражданской семье пускало корни отцовское право, хотя авторитет матери после смерти супруга в семье сохранялся. Этот авторитет в царских родах приводил к иным последствиям, а именно к передаче престола по женской линии, но в гражданской семье брало верх наследование по мужской линии, т. е. все дети считались наследниками отца. Правда, управление царством также переходило в руки мужчин, но это было следствием существовавшего порядка наследования, поскольку эти мужчины должны были находиться в определенных родственных отношениях с женской линией, иначе говоря, наследник должен был быть сыном родоначальницы — сестры соответствующего правителя.

Поскольку царская власть в определенный период отдавала предпочтение наследованию по женской линии, то это в какой-то степени должно было отразиться в их законах, направленных на восстановление или сохранение прав женщины-дочери. Здесь мы сталкиваемся с попыткой сохранить разнообразность того порядка наследования, который пустил наиболее устойчивые корни в царском роде. Так или иначе мы наблюдаем устойчивое положение женщины в обоих случаях. Принципы же наследования в царском роде и гражданской семье фактически были разные, но те факторы, которые действовали в обществе, т. е. борьба материнского и отцовского права, в конечном итоге должны были привести к победе патрилинейного принципа наследования также в царском роде, что уже не ускользает от взора в конце II тысячелетия и в I тысячелетии в Эламе.

Баку.

DIE ORGANISATION DES PYLISCHEN STAATES

Die Entzifferung der kretisch-mykenischen Silbenschrift Linear B hat den Weg zur Lösung mancher historischer, ökonomischer und sozialer Probleme des mykenischen Hellas geöffnet. Überraschenderweise hat sich nur ein kleiner Teil der Historiker — obwohl sie die Richtigkeit der Entzifferung nicht bezweifelten — der Interpretation der Texte angeschlossen und mit einer gewissen Zurückhaltung nur Allgemeinheiten ausgesprochen. Palmer, einer der besten Kenner der Inschriften, mußte sich noch im Jahre 1962 beklagen, daß «professional ancient historians, with few exceptions, were holding aloof and maintaining an attitude of reserve».¹

Seitdem hat sich die Lage kaum geändert und man muß noch auf weitere Einzelinterpretationen warten, bis es möglich sein wird, das Bild des spätbronzezeitlichen Griechenland ausführlicher zu entwerfen.

Auf einen schnelleren Fortschritt kann man hoffen, wenn jene Analogien erforscht werden, die die spätmykenische Epoche mit der zeitgenössischen Entwicklung des Nahen Ostens verbinden. In der Tat ist auf diesem Gebiet manches bereits geschehen. Schon Ventris benützte die verschiedenen schriftlichen Denkmäler des zweiten vorchristlichen Jahrtausends anlässlich der Vorarbeiten der Entzifferung, und manche Einzelstudien haben zur Klarlegung dieser Probleme beigetragen.²

Wir möchten diesmal einen Aspekt dieses Fragenkomplexes untersuchen. Unsere Fragestellung heißt: inwiefern spiegelt sich die Staatsorganisation des pylischen Staates in den Linear B-Tafeln von Pylos; was für einen Zweck erfüllten die Inschriften in dem bürokratischen System der pylischen Burg;

¹ The Interpretation of Mycenaean Greek Texts. Oxford 1963. V. Siehe ferner die Erörterungen von F. SCHACHERMEYR: Die Entzifferung der mykenischen Schrift. *Saeculum* 10 (1959) 54.

² Grundlegend ist für die Bedeutung des Nahen Ostens: T. B. L. WEBSTER: From Mycenae to Homer. London 1958, 7 ff.; dazu: M. I. FINLEY: The Mycenaean Tablets and Economic History. *The Economic History Review* 10 (1957/58) 128 ff. Seitens der sowjetischen Altertumsforschung haben zu diesem Problem beigetragen: A. И. Тюменев; Восток и Микены. *Вопросы Истории* 1959, 12. 58; С. Я. Лурье: Микенские надписи и древний восток. *Проблемы социально-экономической истории древнего мира*. Москва—Ленинград 1963 169.

was war die Stellung dieses Systems unter den ähnlichen Staatswesen des Nahen Ostens.

Wir müssen zum Entstehen der Linearschrift B zurückgreifen. Die Mehrheit der Forscher neigt zur Annahme, daß der Prozeß der Umformung der alten Schrift, der Linearschrift A sich in Kreta abspielte, nachdem die Griechen in Knossos im 15. Jahrhundert v. Ch. Fuß faßten.³ Die Linear A-Tafeln sind aus verschiedenen Fundorten ans Licht gekommen, aber sie bilden ein zusammenhängendes System nur in Hagia Triada. Das bloße Vorhandensein solcher Aufzeichnungen zeugt für das Verhandensein einer Zentralmacht, einer Bürokratie, und obwohl man die Linearschrift A nicht mit Sicherheit lesen kann, ist es gewiß, daß sie der Wirtschaftsorganisation der kretischen Höfe angehörte.⁴

Läßt man die Sprache der Linear A-Tafeln außer acht — möge sie die Sprache der Minoer, die luwische, eine semitische, oder auch die griechische Sprache selbst sein⁵ —, so kann man auf Grund der Struktur und Anordnung der Inschriften auf eine ziemlich primitive und dürftige Verwaltungsordnung schließen.

Myres und Brice,⁶ die die Formel untersucht hatten, konnten nur wenige Typen feststellen; die meisten handeln von Transaktionen zwischen Personen und Autoritäten. Dieses Schriftsystem mit seinen wenigen Ideogrammen und erstarrten einfachen Formeln war seiner Aufgabe nicht gewachsen und konnte die Ansprüche der neuen Situation, d. h. die Sicherung der Herrschaft der Neuankömmlinge aus dem griechischen Mutterland nicht befriedigen. Zu den politischen und ökonomischen Umwälzungen kam noch hin, daß die Schrift für eine nicht-griechische Sprache erfunden wurde; es ist also leicht zu verstehen, daß ein neues, vollkommeneres Schriftsystem in verhältnismäßig kurzer Zeit die Linearschrift A ablöste.

Ohne auf die Diskussion der Frage über die Datierung der Linear B-Tafeln in Kreta einzugehen, die von Blegen und Palmer aufgeworfen wurde,⁷ kann man feststellen, daß dieselben Denkmäler nach zwei Jahrhunderten auf dem griechischen Festland erscheinen. Aus Mangel an archäologischem Material ist es nicht möglich, zu bestimmen, wann die Übernahme der Schrift in Griechen-

³ Vor allem: S. Dow: *Minoan Writing*. AJA 58 (1954) 115 ff., *ders.*: *The Greeks in the Bronze Age*. XI^e Congrès International des Sciences Historiques. Rapports II. Stockholm 1960, 15 ff. M. VENTRIS—J. CHADWICK: *Documents in Mycenaean Greek*. Cambridge 1956, 28 ff.

⁴ VENTRIS—CHADWICK: *Documents* 31 ff.; SCHACHERMEYR: *Die minoische Kultur des alten Kreta*. Stuttgart 1964. 239 ff.

⁵ Für die Zusammenfassung dieses Fragenkomplexes siehe: SCHACHERMEYR: *a. a. O.* 253 ff.

⁶ J. L. MYRES: *The Purpose and the Formulae of the Minoan Tablets from Hagia Triada*. *Minos* 1 (1951) 26 ff., W. C. BRICE: *Inscriptions in the Minoan Linear Script of Class A*. Oxford 1961. 7 ff.; für andere Möglichkeiten vgl. V. GEORGIEV: *Les deux langues des inscriptions cretoises en linéaire A*. *Linguistique Balkanique* VII. 1. Sofia 1963.

⁷ L. R. PALMER—J. BOARDMAN: *On the Knossos Tablets*. Oxford 1963 und C. W. BLEGEN: *A Chronological Problem*. *Minoica*, Festschrift J. Sundwall. Berlin 1958, 61 ff.

land stattgefunden hat: für gesichert kann jedoch das Dasein einer komplizierten bürokratischen Verwaltungsordnung in Pylos am Ende des 13. Jahrhunderts v. Chr. gelten.

Im Vergleich zu den Tafeln aus den Archiven des Nahen Ostens fallen zwei charakteristische Züge der pylischen Inschriften auf.

1. Bemerkenswert ist das Fehlen der historischen, juristischen und literarischen Dokumente, was Pylos vom Osten am weitesten trennt. Es ist wohl bekannt, wie gefährlich die *argumenta ex silentio* sind; denjenigen aber, die das ehemalige Vorhandensein seitdem natürlich verlorengegangener Inschriften auf Holz und Papier in dem mykenischen Hellas für gesichert halten, können wir erwidern: warum brauchten die Griechen nicht auch für diese Zwecke den Stein, obgleich sie ihn für Bau und Dekoration verwendeten? Die vorhandenen Inschriften bezeugen nur, daß die Zentralmacht in einem Königtum des spätbronzezeitlichen Griechenlands in bezug auf die Schriftlichkeit kein Interesse für auswärtige Angelegenheiten, für Gesetzgebung, für juristische Fragen und für Außenhandel zeigt, von den kultischen und literarischen Texten ganz zu schweigen.⁸

Der Mangel an Texten in bezug auf den Außenhandel ist besonders zu erwähnen. Die meisten Tontafeln behandeln wirtschaftliche Angelegenheiten und Transaktionen, wie Steuervorschriften, Rohstoffzuteilung, Bodenverteilung, Lebensmittelversorgung, Arbeitskraftlenkung usw.; andererseits zeugt die Archäologie von einem weitverbreiteten mykenischen Handel von Italien bis in die Levante, und es ist wohlbekannt, daß die Hauptquelle des Reichtums von Mykene und anderen Zentren der Handel mit den reichen orientalischen Städten war;⁹ doch kann man davon nur wenige Spuren an den Tafeln entdecken (wie z. B. die Wörter für die verschiedenen Spezereien, vielleicht einige Vaseninschriften). Daraus folgt jedenfalls nicht, daß die Führung des Außenhandels nicht in den Händen des Palastes war (heute steht es schon klar, daß das berühmte *House of Oil Merchant* in Mykene kein Privathaus, sondern ein Teil des Palastes war, eines der Magazine¹⁰), bloß ist es schwierig, dem Schluß auszuweichen, daß das Hauptinteresse des Staates anders gelegen war.

2. Da es in sehr vielen Fällen näher zu bestimmen ist, auf welchen Ort sich die betreffenden Tafeln beziehen, wird es klar, daß die Aufzeichnungen des Palastes nur teilweise die Angelegenheit von Pylos selbst behandeln: die meisten sind mit den vom Palast fernliegenden Ortschaften verbunden.¹¹

Diese Ortschaften — ohne Zweifel die größeren Siedlungen des pylischen Königtums — liefern die verschiedenen Steuern ab, bekommen z. B. Bronze

⁸ FINLEY: a. a. O. 132.

⁹ Zuletzt: W. TAYLOUR: *Mycenaean Pottery in Italy*. Cambridge 1958; F. H. STUBBINGS: *Mycenaean Pottery from the Levant*. Cambridge 1951.

¹⁰ S. MARINATOS: Zur Entzifferung der mykenischen Schrift. *Minos* 4 (1956) 15.

¹¹ CHADWICK: *Burocrazia di uno stato miceneo*. *Rivista di Filologia Classica*. 40 (1962) 337 ff.

für ihre Schmiede, und ihr Ackerboden wird durch das von der Zentralmacht vorgeschriebene System verteilt. Die neueren Forschungen haben gezeigt, mit einer wie strengen Ordnung diese Siedlungen organisiert wurden: von den regelmäßig wiederkehrenden Reihenfolgen von neun bzw. sieben Städten läßt sich die Bezirkplanung des pylischen Reiches rekonstruieren: die Gebiete, die unter der Oberhoheit von Pylos standen, wurden in zwei Provinzen geteilt, und wahrscheinlich stand je ein Verwaltungsbeamter an der Spitze beider.¹²

Analogieschlüsse, die durch die zeitgenössischen Dokumente nahegelegt werden, zeugen dafür, daß ein ähnliches Steuersystem, eine gleiche Landesverteilung usw. auch in den Stadtstaaten des Nahen Ostens, die unter dem Schatten der orientalischen Großmächte existierten, üblich waren; aber wir finden keine Parallelen zu jener strikten Provinzorganisation, mit der das pylische Reich zusammengehalten wurde. In Alalakh begegnet man z. B. Census-Listen, die die Zahl, Klassen, Häuser, teilweise die Wagen der Bevölkerung der Umgebung von Alalakh (insgesamt 14 Dörfer) enthalten,¹³ auch in Ugarit schrieb man regelmäßig die vom König verwalteten Ortschaften zusammen,¹⁴ man kann aber nicht von einer solchen arithmetisch außerordentlich genauen Verteilung der Steuern, Lebensmittel, in gewisser Hinsicht auch Metalle usw. lesen, wie es in Pylos üblich war. Man denke nur an die Proportionen, wie die Ma-Reihe der Tafeln gruppiert wurde: es gibt ein genaues Verhältnis unter den verschiedenen Waren, die die Verwaltungsbehörde den einzelnen Ortschaften zugeschrieben hat. Dasselbe findet man in den sogenannten dosmos-Tafeln, in denen es sich um 13 Männer in Verbindung mit Gottheiten handelt.¹⁵

In Pylos hat die Zentralisierung der bisher unabhängigen kleinen Ortschaften relativ spät begonnen; die pylische Burg hat keine so lange Vorgeschichte hinter sich, wie z. B. Mykene. Das Konzentrieren der lokalen Kräfte hat sich ziemlich rasch vollgezogen, binnen einem knappen Jahrhundert blühte der Palast empor und im homerischen Schiffskatalog ist Nestor einer der wichtigsten Herrscher. Zu diesem Prozeß der Entwicklung paßt sehr gut die minutiöse Herausbildung der Staatsbürokratie: die Hauptaufgabe des pylischen Königs, des *wanax* war — zum mindesten zur Zeit der Anfertigung der Inschriften — die administrative Sicherung des Staatsgebietes.

Und dazu kam noch die militärische Aufsicht über die zum Palast gehörigen Ortschaften und Provinzen.

¹² Vor allem: PALMER: Interpretation 65 ff.; CHADWICK: The two provinces of Pylos. *Minos* 7 (1963) 125 ff.; M. LEJEUNE: Études de philologie mycénienne. VI. Les circonscriptions administratives de Pylos. *Revue des Études Anciennes* 67 (1965) 5 ff.

¹³ D. J. WISEMAN: The Alalakh Tablets. London 1953, 10 ff.

¹⁴ C. F. SCHAEFFER: Le Palais Royal d'Ugarit III. (ed. J. Nougayrol). Paris 1955, 126 ff., 189 ff. dazu: CH. VIROLEAUD: Les villes et les corporations du royaume d'Ugarit. *Syria* 21 (1940) 123 ff.

¹⁵ VENTRIS—CHADWICK: Documents 289 ff., 275 ff.; W. F. WYATT: The Ma Tablets from Pylos. *AJA* 66 (1962) 21 ff.; M. LANG: Es Proportions. *Mycenaean Studies* (ed. E. L. BENNETT). Madison 1964, 37 ff.

Wir vermuten, daß die auf den Tafeln aufgezeichnete militärische Aktion nicht gegen das einbrechende Feindesheer gerichtet war, sondern eine übliche Konskription der Zentraltruppen mit dem Zweck der Sicherung der Oberhoheit darstellt. Es handelt sich um die sog. o-ka-Tafeln, in denen das Mann-Ideogramm, Ortsnamen und eine relativ große Anzahl der beteiligten Männer erscheinen: diese Texte wurden von Palmer, Risch, Mühlestein und anderen untersucht und als Truppen mit ihren Offizieren und Bestimmungsort gedeutet.¹⁶ Es ist leicht zu verstehen, daß man in diesen Texten, in Hinsicht auf die Endkatastrophe von Pylos, wobei der Palast in Flammen aufging, die Tafeln ausgebrannt und für uns gerettet wurden, das Zeichen einer gewissen militärischen Vorbereitung gegen die drohende Invasion gesucht hat.

Doch berichten die übrigen Tafeln größtenteils nur von dem Alltagsleben einer Hauptstadt, in der man Herden zusammenzählte, Ackerländer verteilte, Gold und Silber maß, Korn und Gerste zerteilte und Textilien verarbeitete.¹⁷

In den Archiven des Nahen Ostens begegnet man mehreren Parallelen für eine solche Konskription: zahlreiche Listen enthalten entweder die zum Militärdienst verpflichteten Männer der verschiedenen Städte und Dörfer, oder die Garnisonen des Palastes.¹⁸

Eine solche Sicherung des Staatsgebietes mit Hilfe der militärischen Kraft widerspricht keineswegs dem stark zentralisierten bürokratischen System dieses mykenischen Staates und der Eigenart der Schriftlichkeit, die nicht geeignet war, gelegentliche Truppenbewegungen aufzuzeichnen.

Die schnell zu Kräften kommenden mykenischen Fürstentümer sind nicht zu der entwickelten Hofkanzlei- und Archivführung der Großmächte des Alten Orients gelangt, wodurch das Fehlen mehrerer Typen der Dokumente erklärt werden kann; die Staatsorganisation hat aber ein — den wichtigsten Forderungen und Aufgaben entsprechendes — bürokratisches System herausgebildet und dadurch die Einheit des Staatsgebietes gesichert.

Zur Abwehr einer Invasion, zur Zusammenfassung der Kräfte Griechenlands, zur Herausbildung einer einheitlichen Großmacht war sie keineswegs geeignet; es ist kein Zufall, daß das Ahhijawa der hethitischen Texte — laut

¹⁶ VENTRIS—CHADWICK: Documents 183 ff.; PALMER: Military Arrangements for the Defence of Pylos. *Minos* 4 (1956) 120 ff.; H. MÜHLESTEIN: Die oka-Tafeln von Pylos. Basel 1956; E. RISCH: L'interprétation de la série des tablettes caractérisées par le mot o-ka. *Athenaeum* 46 (1958) 334 ff.

¹⁷ Vgl. jedoch die Vermutungen von F. J. TRITSCH: The women of Pylos. *Minoica* 406 ff.

¹⁸ WISEMAN: The Alalakh Tablets. No. 128, 180—183, 203—206. C. F. SCHAEFFER: Le Palais Royal d'Ugarit, II. No. 28 (15.15 + 25), 29 (15.73), 30 (15.94), 31 (15.103); V. 46 (18.118), 71 (18.98), 76 (18.45). J. R. KUPPER: Les nomades en Mésopotamie au temps des rois de Mari. Paris 1957, 23 ff.; Excavations at Nuzi (ed. E. R. LACHEMAN) VI. The Administrative Archives. (Harvard Semitic Series XV.) 1955. No. 1.

der neueren Forschung — nur ein Teilgebiet von Griechenland sein konnte, und nicht das gesamte griechische Mutterland.¹⁹

Die mykenischen Paläste sind mit ihren Schreibern und Tontafeln verschwunden und die neu ankommenden Griechen haben einen anderen Weg der Entwicklung eingeschlagen.

Debrecen.

¹⁹ D. L. PAGE: *History and the Homeric Iliad*. Berkeley 1959, 15 ff. Vgl. die einschlägige Literatur bei G. STEINER: *Die Ahhijawa-Frage heute*. *Saeculum* 15 (1964) 365 ff.

J. BOUZEK

BALKANISCHE ELEMENTE IM SPÄTMYKENISCHEN UND GEOMETRISCHEN GRIECHENLAND

Die mykenischen Städte und Paläste auf dem griechischen Festland sind am Ende des 12. Jh. vernichtet worden. Die mykenische Kultur — obwohl schon viel bescheidener — blieb noch einige Generationen erhalten, doch verschwand sie im 11. Jh. völlig. Die Barbaren, die die mykenische Zivilisation vernichtet hatten, waren aus dem Norden gekommen, wie dies sowohl die griechische Tradition wie auch die archäologische Evidenz bestätigen. Die mykenischen Griechen haben gegen diese Barbaren eine Mauer auf dem Isthmos erbaut¹ und von intensiven Beziehungen zum Balkan zeugt die Verbreitung nördlicher Bronzegegenstände in der Ägäis zu dieser Zeit. Die erste Welle vom Ende des 13. Jh. ist u. a. durch einige Waffen- und Schutzwaffentypen und die Violinbogenfibel belegt. Die letztgenannten lassen auf eine neue, dem mykenischen Milieu fremde Tracht schließen und besitzen Parallelen im östlichen Balkan, in Italien und Mitteleuropa.²

Die neuen Waffen und Schutzwaffen zeigen, daß sich die Kriegstechnik verändert hat: die Krieger (mit kleinerem Schild) sind jetzt beweglicher und das neue Schwert (Sprockhoff IIa) dient sowohl zum Stechen wie auch zum Hauen (cut and thrust sword). Der neue Schwerttypus entstand wohl im nördlichen Balkangebiet, ist aber eine «gemeineuropäische» Erscheinung.³ Mit ihm gelangte die geflammte Lanzenspitze nach Griechenland und auch die Schutzwaffen dieser Zeit lassen sich teilweise von nördlichen Mustern ableiten, obwohl sich die mykenischen und europäischen Schutzwaffen beiderseits beeinflussen.⁴

Die zweite Welle der nördlichen Einwanderer wird am Ende der mykenischen Kultur durch die Verbreitung der Gewandnadeln, der Bogenfibel und der Kistengräber belegt, die nur eine einzige Bestattung enthalten,⁵ und die

¹ O. BRONEER: *Atti di VII congresso di arch. classica*, vol. I, 243—250.

² V. R. d'A. DESBOROUGH: *Last Mycenaeans and Their Successors*, Oxford 1964, 69 ff. V. MILOJČIĆ: *AA* 1948/9, 12—36.

³ H. CATLING: *Antiquity* 35 (1961) 115—122.

⁴ G. v. MERHART: *Geschnürte Schienen*, 37—38. *Ber. RGK* (1956/7), 41 ff., *Panzerstudie*, *Origines*, Como 1954, 54 ff.; H. MÜLLER-KARPE: *Germania* 40 (1962) 255—287.

⁵ DESBOROUGH: *Last Mycenaeans*, 38 ff., 71 f. Die Einzelgräber sind jedoch auch in der früheren mykenischen Kultur belegt, vgl. J. DESHAYES: *Argos, Les fouilles de la Deiras*, Paris 1966, 240ff.

die ältere Bestattungsart (Kammergräber) verdrängen. Bald danach tritt in einem Teil Griechenlands die Leichenverbrennung auf, die sich kaum von einem anderen Gebiet als vom Norden herableiten läßt, obwohl die Herkunft noch nicht völlig geklärt ist.

Im Bereich der Keramik weisen mehrere primitive Gattungen einen Zusammenhang mit dem Balkangebiet auf:

1. sog. Lausitzer Ware Makedoniens (12. Jh.) findet im jetzigen Forschungsstand die besten Parallelen im westlichen Karpatenbecken, aber teilweise auch am westlichen Balkan.⁶

2. Die ritzverzierte Keramik und Glockenidole aus den protogeometrischen Gräbern in Kerameikos, Agora und Nea Ionia bei Athen hat einmal schon V. Milojević mit der Žuto Brdo Kultur verglichen. Auch die Glockenidole besitzen im Balkangebiet Gegenstücke in derselben Kultur und der mit ihr verwandten Gruppen.⁷

3. Die primitive Buckelkeramik von Troja VII b 2 («Knobbed Ware»)⁸ zieht Parallelen in Thrakien, aber auch die Buckelkeramik Makedoniens (und aus Griechenland selbst) steht dieser Gattung nahe. Gewisse Beziehungen zu Makedonien und Griechenland zeigen auch die Keramik und die Fibeln der Phrygier noch im 8. Jh. auf.⁹

4. Mehrere Gefäßformen, die teilweise schon in SH III C aufkommen (Vogelaskoi)¹⁰ oder erst später belegt sind (Etagegefäße usw.), besitzen Gegenstücke im westlichen Balkangebiet und Mitteleuropa; dieser Umstand entspricht einer ähnlichen Situation im Bereich der Bronzeplastik und des Symbolgutes aus Bronze und in der Vasenmalerei.¹¹

5. Eine weitere keramische Gattung, die wohl mit den Westgriechen zusammenhängt, läßt sich nordwärts nur bis Makedonien verfolgen, und ist deshalb für unsere Zwecke weniger ausschlaggebend.

Auch diese kurze Übersicht zeigt schon, daß die mündliche Tradition, die nur die griechischen Wanderungen kennt, die damalige Geschichte als zu einfach schildert, und daß an dem Untergang der mykenischen Zivilisation, allem Anschein nach, mehrere Völkergruppen teilgenommen hatten.

Praha.

⁶ J. BOUZEK: Sbornik fil. fak. Univ. Komenského — *Musaica* 16, Bratislava 1965, 7 f. Taf. I; W. KIMMIG: Studien aus Alteuropa I (Festschr. K. Tackenberg), Köln—Graz 1964, 257 ff.

⁷ V. MILOJEVIĆ: AA 1948/9, 12 ff.; M. GARAŠANIN: *Diadora* 2 (1960/61) 120 ff. (auch zur Anm. 6); W. KIMMIG: Studien aus Alteuropa I, 267 ff.

⁸ C. W. BLEGEN, C. G. BOULTER, J. L. OASKEY, MARION RAWSON, J. SPERLING: Troy, vol. IV.

⁹ J. BOARDMAN: *The Greeks Overseas*, Harmondsworth 1964, 104 ff.

¹⁰ E. VERMEULE: *AJA* 64 1960, 11 f.

¹¹ H. KOSSACK: Studien zum Symbolgut d. Urnenfelder- u. Hallstattzeit Mitteleuropas, Berlin 1954, 52 ff.; A. ROES: *Greek Geometric Art*, Haarlem—London 1933; J. DE LA GENIÈRE: *Rev. Ét. Anc.* 60 (1958) 27—35; J. BOUZEK: *Actes du VIII^e congrès d'archéologie classique*, Paris 1963 (1965), 105 f.

В. И. АВДИЕВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ПУНИЧЕСКОГО КАРФАГЕНА

(КАРФАГЕН И ЕГИПЕТ)

С социально-экономической точки зрения история Карфагена, особенно в период Пунических войн, интересна тем, что она показывает, как уже почти 2500 лет тому назад стал выступать торговый капитал, который повсюду, где он имеет, по словам К. Маркса, «преобладающее господство, он представляет систему грабежа, и недаром его развитие у торговых народов, как древнего, так и нового времени непосредственно связано с насильственным грабежом, морским разбоем, хищением рабов, порабощением колоний; так было в Карфагене, в Риме, позднее у венецианцев, португальцев, голландцев и т. д.»¹

Так же характеризует и Ленин пунические войны, указывая на то, что «война Рима с Карфагеном была с обеих сторон империалистской войной.»² А в письме к И. А. Арманд В. И. Ленин подчеркнул экономический характер соперничества между этими двумя государствами, отметив «отношение между двумя угнетающими нациями. Борьба за колонии, за рынки и т. п. Рим и Карфаген. Англия и Германия 1914—1917 г.г.»³

Таким образом Маркс и Ленин отметили твердо установленный историческими источниками факт экономического соперничества между Римом и Карфагеном. Раскопки последних лет и богатые археологические фонды Тунисских музеев, которые я имел возможность лично изучить, дают мне возможность поднять вопрос об экономических связях Карфагена не только с соседними странами, но и с более далекими, в частности с Египтом.

Карфаген, крупнейшая торговая колония финикийского Тира, по преданию был основан в IX в. до н. э. на побережье Северной Африки около современного города Туниса. Недалеко от берега моря археолог Сента нашел остатки пунического святилища, относящегося к VIII-му веку до н. э. Очевидно здесь находилась обычная финикийская торговая контора (эмпорион), основанная торговцами-мореходами около удобной гавани. Место для коло-

¹ К. Маркс—Ф. Энгельс: Сочинения.² Т. 25, ч. 1. Москва 1961. Стр. 364.

² В. И. Ленин: К пересмотру партийной программы. Сочинения.⁴ Т. 26. Москва 1949. Стр. 135.

³ В. И. Ленин: (Письмо) Инессе Арманд. 19. 1. 1917. Сочинения.⁴ Т. 35. Москва 1950. Стр. 219.

нии было выбрано удачно. Области, прилегающие к гавани, были удобны для сельского хозяйства, в частности оливководства и виноделия. Даже теперь Тунис славится своими оливками и вином. Используя технический опыт финикийцев и греков, карфагеняне накопили много практических знаний в области сельского хозяйства. Впоследствии значительного развития достигли в Карфагене ремесленные производства. Использование труда рабов и местного ливийского населения дало возможность карфагенским богачам торговать не только иноземными товарами, но и собственной продукцией сельского хозяйства и ремесла. Интенсивное развитие рабовладельческого хозяйства и эксплуатация крестьянского населения Ливии, которое должно было уплачивать высокий налог (до 50% урожая) в Карфагенскую казну, приводило нередко к восстаниям обездоленных трудовых масс. Имена Ганнона Великого и Бомилькара связаны с воспоминаниями о крупных социальных движениях, среди которых так называемое «восстание наемников» продолжалось более трех лет. Широко развитая торговля способствовала дальнейшему обострению классовых противоречий внутри Карфагенской державы. Расположенный в центре скрещения торговых путей стран Средиземноморья и Северной Африки, Карфаген постепенно вырос в большой торговый город, ставший центром крупнейшего финикийского военно-торгового государства. Эти торговые пути можно наметить лишь в общих чертах, так как не всюду были произведены археологические раскопки. Но то, что было найдено на побережье, например, в Утике (около современной Бизерты) или в Лептис Магна (в современной Ливии), а также в глубинных районах Северной Африки, например, в Дугге или в Тубурбо Маюс, указывает на наличие большой и разветвленной сети торговых путей. Среди этих торговых дорог, шедших как по морю, так и по суше, можно выделить наряду с основной магистралью, соединявшей Карфаген с Финикией, большую дорогу, шедшую из Египта в Карфаген. Большую роль в торговле между Карфагеном и Египтом играл в VII—VI вв. греческий город Навкратис. Очевидно, это был первоначально своего рода эллинский эмпорион, напоминавший по своему экономическому значению финикийские торговые колонии Северной Африки. Как сообщает Геродот, Навкратис был связан прямой дорогой с Мемфисом, одним из важнейших городов Северного Египта.

Наряду с морским путем из Карфагена в Египет шел караванный путь через обширную страну Киренаику, расположенную вдоль побережья Северной Африки. Греческие историки отмечают, что плодородная почва, орошаемая источниками и реками, лесистые холмы и большие стада овец привлекли сюда греческих колонистов. Но на эту территорию претендовали и египетские фараоны, пытавшиеся ее завоевать.

Вся эта обширная территория в эпоху персидского завоевания находилась под некоторым египетским влиянием. Имеются сведения, что в Кирене поклонялись Изиде, культ которой, как известно, впоследствии

широко распространился во всем районе Средиземноморья. Камбиз пытался захватить важнейшие центры Северной Африки и даже Карфаген. Персы предполагали использовать для этой цели финикийские корабли. Однако, Камбизу не удалось поднять финикийцев против Карфагена. Очевидно, кровные национальные связи между финикийцами и карфагенянами и тесные традиционные узы, соединявшие пуническую торговлю с финикийской, были еще настолько прочными, что их не удалось разбить персидскому завоевателю. Аппиан, проявлявший особенный интерес к пуническим войнам, отмечает связи Карфагена с Египтом. Так, Аппиан сообщает, что карфагеняне обращались за помощью к Птолемею Филадельфу. Именно в это время, в III в. до н. э., Египетское Государство достигло большого могущества. Первые цари из династии Лагидов господствовали над восточной частью Северной Африки. Очевидно, продолжая традиционную политику Александра Македонского, Птолемей I завоевал Киренаику. Таким образом, экономическое и культурное влияние Египта на Киренаику и даже на Карфаген могло быть довольно значительным не только в саисскую, персидскую, но даже и в александрийскую эпоху. На это указывают также и находки птолемеевских монет на территории Туниса в слоях, относящихся к последним векам до н. э.

Широкий размах египетская внешняя торговля получила уже в VII-VI веках до н. э. в царствование фараонов XXVI династии, которые открыли доступ в Египет финикийским и греческим купцам. Большое значение получили построенные в Дельте греческие города. Но важнейшим экономическим, культурным и даже военно-административным центром Египта в то время был древний Мемфис. Фараоны XXVI династии, стремившиеся к развитию внешней торговли Египта, строили здесь большие и роскошные здания. Псамтик I украсил новыми пристройками старинный храм бога Пта. Яхмос II построил здесь храм Изиы, который Геродот называет «обширным и замечательным». Наконец, в развалинах Мемфиса были обнаружены остатки большого царского дворца этого времени. По словам Геродота в Мемфисе находилось древнее изображение бога Гефеста, похожее на священные изображения карлика, которые финикийцы ставят на передней части кораблей.⁴ Гефеста греки очевидно сопоставляли с египетским богом творчества и мастерства — Пта. Характерно, что статуэтки божества в виде карлика, которые греки называли патэками, были найдены в большом количестве не только в Египте, но даже в далеком Карфагене. Как известно, в Мемфисе был особый квартал, населенный финикийскими торговцами, выходцами из Тира. Очевидно, финикийские, греческие и египетские торговцы часто привозили в Карфаген различные изделия египетского ремесла, в том числе и культовые статуэтки бога-карлика (патэки). Проникновение египетского экономического и куль-

⁴Геродот. III. 37.

турного влияния, наличие связей между Египтом и Карфагеном подтверждаются археологическими раскопками. В районе Мемфиса была найдена азиатская статуя, похожая на карфагенскую. Эме-Жирон обнаружил в районе того же города выдержанную в египетском стиле стелу с посвящением Астарте, причем эта стела похожа на аналогичные посвященные памятники, происходящие из Карфагена. Наконец, в Пунической Африке было найдено много поздне-египетских амулетов, среди которых особенно часто встречаются наряду с амулетами священного глаза, богини-змеи и бога-сокола типичные для этого времени миниатюрные статуэтки патэки.

Все эти образцы древнеегипетского художественного ремесла могли служить не только в качестве амулетов или талисманов, но также в виде украшений, главным образом, подвесок. Из них, как из бус, делали браслеты и ожерелья. Среди ценных коллекций древних памятников в тунисских музеях мне пришлось видеть много египетских амулетов разнообразных типов, которые характеризуют религиозные верования древних египтян и карфагенян и в то же время указывают на те тесные связи, которые в те времена установились между этими народами. Вполне естественно, что в Северную Африку часто попадали египетские предметы религиозного культа, которые больше соответствовали религиозным верованиям и художественным вкусам племен Северной Африки. Так, среди амулетов чаще встречаются изображения священных животных, как, например, барана, или обезьяны. Культ священных животных был широко распространен в те времена в Египте и особенно в Северной Африке, где он очень долго сохранялся. Большинство этих египетских амулетов было найдено в пунических погребениях VII-VI и IV вв. до н. э., когда Египет вел оживленную торговлю с соседними странами, в частности и с городами Северной Африки. Несомненно, эти привозные изделия ценились в древнем Карфагене, так-как они чаще встречаются в богатых погребениях. Следовательно, египетские иноземные культы проникали в среду зажиточного городского населения, более связанного с заморской египто-финикийской и греко-египетской торговлей.

Пунийцы пытались подражать этим маленьким образцам египетского ремесла и в то же время предметам, характеризующим религиозно-магические воззрения древних египтян. Наряду с египетскими амулетами в погребениях Карфагена были найдены их пунические имитации; даже надписи на них были сделаны неумелой рукой местного мастера.

Эти амулеты, сделанные из цветной непрозрачной стекловидной массы (стеклянной пасты), в большинстве случаев происходят из Навкратиса. Пунийские, финикийские и греческие мореплаватели и торговцы распространяли их по всему обширному Средиземноморью.

В пунических погребениях Северной Африки встречаются также и египетские скарабеи, которые настолько глубоко вошли в быт пунического населения, что даже в очень бедных погребениях их можно обнаружить.

Пунийцы так широко пользовались этими египетскими амулетами, которые часто служили печатями или украшениями, и настолько к ним привыкли, что сохраняли их в своем быту, хоронили их со своими покойниками даже тогда, когда этот обычай стал исчезать в самом Египте. На обратной плоской стороне этих скарабеев часто изображались фигурки божеств и религиозные оценки, связанные с культом Озириса. Мы видим здесь богиню-мать, кормящую младенца Гора в зарослях Дельты. Часто попадаются изображения Гарпократа в виде младенца, сидящего на лотосе или держащего палец во рту. В Карфагене эту цепь верований, в частности культ богини-матери, можно проследить, начиная с глубокой древности и вплоть до христианства. Самые разнообразные статуэтки, изображающие богиню-мать, кормящую младенца, относящиеся к пунической, греко-римской и христианской эпохе, хранятся в тунисских музеях. Эти маленькие культовые предметы, так же, как и свидетельства многих других, самых разнообразных источников, ясно показывают, как все эти древние религиозные верования, связанные с земледельческим культом природы, образовали в конечном счете христианскую иконографию и мифологию. Ведь именно в Северной Африке, как и в Египте, христианство распространилось в самые первые века своего существования.

Наконец, в пунических погребениях Северной Африки были обнаружены различные египетские бытовые предметы и украшения, как, например, сосуды с новогодними поздравлениями, вазочки из оникса и разноцветной стеклянной пасты, бусы и драгоценности: золотые кольца, амулеты сердца и украшения из хрусталя. Таким образом, эти изделия египетского мастерства привозились в Карфаген и пользовались там популярностью.

Вполне естественно, что египтяне должны были не только посылать в Карфаген свои товары, но и ездить в этот прославленный город, подлинную столицу Северной Африки. Имеются все основания предполагать, что в Карфагене пользовались египетскими печатями. По крайней мере их отпечатки со следами папируса были найдены в пунических погребениях. Египетские надписи на этих отпечатках содержат имена фараонов Тутмоса III и Шабак. Небольшие кусочки папируса, заключенные в особых металлических футлярах, были обнаружены при раскопках в Северной Африке. Весьма возможно, что в будущем удастся здесь найти и целые папирусы с египетскими надписями, которые смогут пролить более яркий свет на вопрос о взаимоотношениях между Карфагеном и Египтом.

Нет никакого сомнения в том, что египетская культура должна была оказывать значительное влияние на быт, искусство, ремесленные производства, архитектуру и даже религиозные верования древних пунийцев.

Пунийцы, в широком смысле слова жители пунических городов Северной Африки, получая из Египта различные изделия и широко ими пользуясь, настолько к ним привыкали, что в случае их отсутствия пользовались подражаниями местного производства. Так появились предметы смешанного (син-

кретического) типа, выдержанные в египто-пуническом стиле. Весьма возможно, что египетские предметы, иногда выдержанные в смешанном египто-пуническом или египто-финикийском стиле, делались в самом Карфагене. По крайней мере, в Карфагене были найдены формочки для отливки типично египетских амулетов священного глаза и статуэток священного карлика-египетского бога Беса. Наряду с ними в Северной Африке были найдены подражания египетским скарабеем.

Среди этих вещей выделяются своеобразные, единственные в своем роде бритвы в виде маленьких топориков и золотые полосы, покрытые магическими изображениями.⁵ По своей форме эти бритвы очень похожи на египетские бритвы времени Нового Царства. Больше того, на них сохранились изображения бога и богини Изиды. Но наряду с ними встречаются типично пунические изображения женщины с диском в руке, пальмы, людей в пунической одежде, бородатого мужчины в африканской митре и с топором в руке, м. б. изображение семитского бога Решефа, культ которого был столь широко распространен в Сирии и в Финикии и даже временами проникал в Египет. Так, египетские религиозные верования своеобразно сочетались с финикийскими и пуническими, а может-быть и соперничали с ними в эту эпоху в Карфагене, создавая тот своеобразный синкретизм, который столь характерен для всей пунической культуры в целом. На золотых полосках, найденных в серебряных и золотых футлярах, сохранились обычные древнеегипетские религиозные изображения, в частности богини-львицы, культ которой был распространен в Пунической Африке. В Тунисском Музее сохранилось несколько статуэток этой богини в виде женщины с головой львицы. Очевидно, эти статуэтки являются пуническими подражаниями, которые во многом напоминают аналогичные египетские статуэтки. Наряду с религиозными изображениями на золотых полосках сохранились пунические надписи. Так, одна надпись гласит: «Огради и защити Хиллешбаала, сына Арисатбаала». Очевидно, эти карфагенские драгоценные полосы, спрятанные в особых футлярах, были своего рода амулетами, которые должны были охранить от определенных бед и напастей их владельцев, которые, судя по их именам, были настоящими пунийцами.

Египетское влияние в Карфагене было значительным и многообразным. Оно сказалось не только в художественном ремесле, но и в архитектуре. Даже в V в. до н. э. пуническое зодчество впитало в себя многие элементы египетского искусства. На одной стеле конца VI-го века до н. э., найденной в Суссе, изображен пунический бог Ваал—Хаммон, сидящий на престоле в египетском храме.⁶ В этом отношении особенно типичны массивная дверь с

⁵ Cp. J. VERCOUTTER: Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois. Paris 1945. pp. 302 sqq.

⁶ C. et G. CHARLES-PICARD: La vie quotidienne à Carthage au temps d'Hannibal. Paris 1958. p. 39.

прямоугольными столбами и фронтоном, украшенный крылатым солнечным диском. Очевидно, пунический мастер хотел изобразить в данном случае внешний вид египетского храма. Раскопки пунических городов обнаружили явные следы зданий, построенных частично под египетским влиянием. Очень характерен в этом отношении мавзолей, построенный в Тугге в конце III в. до н. э. в честь нумидийского вождя Атебана.⁷ По образцу египетских построек мавзолеев увенчан небольшой пирамидкой (пирамидионом). Среди различных архитектурных орнаментов встречается типичный египетский орнамент, воспроизводящий форму лотоса. Возможно, что дальнейшие археологические работы прольют новый свет на этот вопрос. В Северной Африке как в пуническую, так и в римскую эпоху строились египетские храмы. Эти храмы, посвященные египетским богам, привлекали к себе как пунийцев, так и римлян, поселившихся в районе Карфагена во II-м в. до н. э. Так, на территории Карфагена и Феддан-эль-Бехим французский археолог Сент-Мари нашел множество пунических стел, а немного севернее этого места — несколько римских скульптур времени расцвета римского искусства и среди них прекрасную статую Сабинны, жены императора Адриана, а также части статуй и голову Сераписа.⁸ Тут же были найдены четыре посвятельные надписи в честь Сераписа и голова от статуи этого бога, культ которого был столь широко распространен в Египте и во многих странах Средиземноморья в греко-римскую эпоху. Очевидно, здесь в древности находился храм Сераписа — Серапей. Судя по найденным здесь пуническим стелам, здесь находилось древнее пуническое святилище или кладбище, около которого и возник Серапей, сохранившийся вплоть до римского времени. Тертуллиан, проводивший свою молодость в Карфагене и конечно хорошо знавший этот город, упоминает находившийся в Карфагене «квартал» Изиды, в котором, очевидно, находился храм Изиды, а возможно также и Сераписа.⁹

Эти храмы, построенные в Карфагене в честь египетских богов, были проводниками египетского религиозного влияния. И действительно, в религиозные верования и обряды пунийцев проникали элементы египетской религии и магии. Пунические жрецы по примеру египетских брили себе голову, как это видно на одной стэле, найденной в карфагенском святилище богини Танит, а иногда надевали на голову своеобразный головной убор, очень похожий на египетский. Длинная прозрачная одежда пунических жрецов, надевавшаяся на маленький фартук, также по многом напоминает египетские одеяния.

Таким образом, египетские влияния особенно сильно сказались в художественном ремесле, в погребальных обрядах и в религиозных верованиях древних пунийцев. В этом отношении особенно интересно изображение жен-

⁷ CL. POINSSOT: *Les ruines de Dougga*. Tunis 1958. p. 58. pl. XVI.

⁸ A. AUDOLLENT: *Carthage romaine*. Paris 1901. pp. 237 sqq.

⁹ «*Vicus Isidis*». De Spectaculis, 8; De idolatria, 20.

щины, сохранившейся на крышке саркофага, найденного в Карфагене в пунической гробнице и относящегося к IV-III вв. до н. э. Нижняя часть туловища женщины как-бы окутана крыльями большой птицы. Так, обычно изображали египтяне некоторых богинь. Голова женщины украшена головным убором, живо напоминающим египетский. Некоторые исследователи (Лапейр и Паллегрин) думали, что на крышке этого саркофага изображена карфагенянка в одежде египетской жрицы. Другие (Пикар) полагали, что здесь изображена карфагенская богиня Танит. Наконец, Канья считал, что в этом изображении следует видеть «великую карфагенскую жрицу». Все эти предположения еще требуют дальнейших доказательств. Однако, несомненным является, что художник, делавший крышку этого саркофага, подражал египетским изображениям богинь Изиды и Нут, которые своими распростертыми крыльями, по верованиям людей того времени, должны были охранять покой умершей.¹⁰

Влияние египетской религии проникало и в другие города Северной Африки. Так, в 100 км от Туниса были найдены развалины большого города, древней Тугги, построенной в IV-III в. до н. э. пунийцами и достигшей своего расцвета при римлянах во II в. н.э. При раскопках были обнаружены остатки многочисленных зданий, в частности в центральной части города, где находились форум и Капитолий. Здесь были найдены два столба, на которых сохранились изображения Гарпократа, Изиды и Анубиса. Таким образом, египетские божества, особенно тесно связанные с заупокойным культом, были известны жителям Тугги, древнего пунического города, построенного в глубине страны в самой гуще берберского населения.

Очень интересные результаты дали раскопки Сабраты, расположенной к юго-востоку от Карфагена, на территории древней Триполитании и современной Ливии. Древнейшая часть Сабраты, как показали последние раскопки, была финикийским торговым поселением на морском берегу, расположенным между гаванью и позднейшим форумом римской эпохи. Судя по пуническим сосудам, это поселение восходит к VII в. до н. э. Влияние египетской религии проникало в этот город, расположенный от Триполи на расстоянии 70 км. На это указывают довольно хорошо сохранившиеся развалины двух храмов, посвященных Серапису и Изиде. Храм Изиды первоначально был построен на морском берегу к западу от города. Расположенный за пределами города, вдали от шума и сутолоки большого приморского торгового города, он был, возможно, предназначен для совершения тайных религиозных обрядов, так называемых мистерий. Его архитектура воспроизводит некоторые черты, типичные для такого рода храмов, построенных в Северной Африке в эту эпоху. Сам храм находился в средней части двора, окруженного порти-

¹⁰ Cp. R. CAGNAT: Carthage, Tingad. Tebessa. P 1909. pp. 7—8; G. G. LAPEYRE et A. PELLEGRIN: Carthage punique. P. 1942. pl. V. p. 225.

ками. Святилище, воздвигнутое на возвышении, было обнесено колоннадой. Около западной стены дворика были расположены пять часовен. Некоторые из них были посвящены триаде Сераписа, Изиды и Гарпократа—Гора. Вход, окруженный колоннадой, находился на восточной стороне. Можно предполагать, что этот храм в таком виде первоначально был построен при Августе. В 70-ых гг. 1-го века н. э. при Веспасиане этот храм Изиды был перестроен и расширен. При раскопках, которые были начаты еще до 1947 г., здесь было обнаружено очень мало обломков статуй культового характера. Найденные здесь латинские посвяtitельные надписи позволяют довольно точно определить время постройки и существования этого единственного в своем роде архитектурного памятника.¹¹ Дальнейшие археологические обследования несомненно прольют новый свет на важную проблему экономических и культурных взаимодействий между Египтом и римско-пунической Африкой, а также на распространение культа богини плодородия Изиды, из которого вырос культ христианской богородицы. Но все же изучение найденных здесь памятников позволяет предполагать, что египетские влияния уже в эллинистическую эпоху проникали через всю Ливию до районов, заселенных берберами. Ведь в одном из этих районов Северной Африки правила Клеопатра Селена, считавшаяся потомком знаменитой египетской царицы, навеки прославившей имя Клеопатры.

Храм Изиды в Сабрата невольно заставляет вспомнить Апулея, уроженца и исконного жителя Северной Африки, родившегося в Мадавре близ Карфагена, получившего образование и достигшего высокого положения в том самом Карфагене, в котором столь причудливо сочетались элементы пунической цивилизации с римской, и греческой культурой, а также с египетской. Теперь, в свете новых раскопок, отдельные штрихи из жизни Апулея, некоторые блестящие страницы из его произведений облекаются в плоть и в кровь вполне реальных исторических фактов. В Сабрата раскопаны 4 археологических слоя той базилики, в которой выступал с таким большим успехом прославленный автор «Метаморфоз».

Как известно, Апулей именно в городе Сабрата выступал на суде, где его обвиняли в том, что он при помощи магии околдовал богатую вдову Пудентиллу, склонивши ее вступить с ним в брак. Его речь на этом процессе является характерным образцом позднегреческого ораторского искусства. Несколько страниц в эго документальной «Апологии» посвящены магии и дают яркое представление о том, как воспринимались в то времена образованными людьми древние религиозно-магические воззрения, восходящие в частности к религии древних египтян. Впрочем, многочисленные амулеты и талисманы, найденные в Карфагене, ярко рисуют своеобразные синкрети-

¹¹ G. PESCE: Il templo d'Iside in Sabratha. Roma 1953. K. D. MATTHEWS: Cities in the Sand. Philadelphia, 1957. p. 51.

ческие религиозные представления жителей Северной Африки. Этот синкретизм и это смешение верований и магических обрядов, столь типичные для эпохи возникновения христианства, особенно ярко выступают в 11-ой главе «Метаморфоз» Апулея, в которых автор отдает дань «египтианизму» той эпохи, описывая сложный и таинственный ритуал посвящения в мистерии Изиды. Во всяком случае, египетские религиозные тексты и изображения показывают, что Апулей основывал свое описание на большом опыте. Может быть в Сабрате и в других городах обширной Римской Империи Апулей мог вдохновиться тем пышным ритуалом египто-эллинистических религиозных культов, из которых в эту эпоху выделялись отдельные элементы раннего христианства.

Таким образом, самые разнообразные источники, надписи и литературные произведения того времени, предметы быта и религиозного культа, произведения искусства и художественного ремесла, найденные на территории Северной Африки, указывают на экономические и культурные связи, существовавшие между Карфагеном и Египтом во второй половине 1-го тысячелетия до н. э.

Очевидно, эти связи Карфагенской державы и пунической культуры в целом с древневосточным миром, с Африкой, с Финикией и, что особенно важно, с крупным, древним и сильным государством ближнего востока, с Египтом были постоянным источником, из которого Карфаген постоянно черпал свои материальные и идейные ресурсы в длительной и упорной борьбе с Римом. Опираясь на свою широкую внешнюю торговлю и на свои заморские владения, а также на глубинные африканские резервы, Пунический Карфаген в течение нескольких столетий противостоял в упорной борьбе железным легионам Рима и его стремлению захватить все Средиземноморье.

Москва.

DAS LYKURGISCHE PROBLEM

Die antike Tradition verband mit dem Namen des Lykurgos den Ursprung eigentümlicher Merkmale der spartanischen Verfassung. Wir besitzen jedoch bereits aus dem Altertum über diesen Gesetzgeber einander stark widersprechende Angaben. Es ist daher kein Wunder, daß auch Plutarch, der Biograph des Lykurgos, es notwendig fand, in der Einleitung seines Werkes zu betonen, über den großen spartanischen Gesetzgeber könne «nichts unstrittiges» berichtet werden. Insbesondere sei man sich völlig uneinig über den Zeitabschnitt, in dem er gelebt haben soll.¹ Die Mitteilungen der antiken Autoren, von denen Plutarch verschiedene mit Namen erwähnt, schwanken zwischen der Zeit der Ankunft der Herakliden, d. h. der sogenannten «dorischen Wanderung», und der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Dieser Unsicherheit mag auch die Annahme des Timaios entsprungen sein, in Sparta hätten zu verschiedenen Zeiten zwei Männer namens Lykurgos gelebt.²

Ernste Zweifel an der historischen Existenz des Lykurgos erweckt notwendigerweise auch die Tatsache, daß ihm die verschiedensten Eingriffe in die Entwicklung der spartanischen Gesellschaft zugeschrieben werden. Wie Plutarch berichtet, war Lykurgos Urheber nicht nur der sogenannten Rhetra, sondern auch der Einteilung des spartanischen Bodens in *klaroi*: er war der Begründer der Syssitien und einer Reihe charakteristischer Eigentümlichkeiten der spartanischen Erziehung und des Familienlebens.

Es ist also nicht zu verwundern, daß der Lykurgostradition viele Forscher skeptisch gegenüberstanden. Schon George Grote zweifelte an der historischen Existenz dieses spartanischen Gesetzgebers³ und G. Gilbert suchte den Ursprung der lykurgischen Tradition in dem Bereich des Kultus. Da schon bei Herodot das Wirken des Lykurgos mit dem Delphischen Orakel verbunden wird, brachte Gilbert den spartanischen Gesetzgeber in Zusammenhang mit

¹ Plut. Lyk. 1: *Περὶ Λυκούργου τοῦ νομοθέτου καθόλου μὲν οὐδὲν ἔστιν εἰπεῖν ἀναμφισβήτητον . . . ἤκιστα δὲ οἱ χρόνοι, καθ' οὓς γέγονεν ὁ ἀνὴρ, ὁμολογοῦνται.*

² Über antike chronologische Angaben s. ausführlich bei G. BUSOLT: Griech. Gesch. I, 573–577. Zusammengefaßt (wenn auch nicht vollständig) auch bei U. KAHRSTEDT: Lykurgos, RE XIII 2 (1927), 2443. Vgl. auch Plut. Lyk. 1.

³ G. GROTE: History of Greece II, New York 1859, S. 338, 389, 400.

Apollo, der als Gott des Lichtes mit dem Attribut *Lýkeios* (— *Lykóergos*) verehrt wurde. Lykurgos, der, nach Herodot, in Sparta seinen Tempel hatte, war also Gilberts Meinung nach ursprünglich der Gott des Lichtes.⁴ Von der nicht historischen Herkunft des spartanischen Gesetzgebers war auch U. Wilamowitz überzeugt. Ähnlich wie Gilbert nahm er an, Lykurgos sei ein Gott gewesen. Aber er verband ihn nicht mit Apollo, sondern mit Zeus, der in Arkadien mit dem Attribut *Lykaios* verehrt wurde.⁵ Wilamowitz's Darlegung akzeptierte und erweiterte E. Meyer, der dem Problem des Lykurgos besonders große Aufmerksamkeit widmete. Er bezeichnete als Urheber der lykurgischen Legende den Historiker Ephoros, der die beiden sich widersprechenden Überlieferungen von kretischer und delphischer Herkunft über die lykurgische Gesetzgebung miteinander verbunden hätte. Meyer trat entschieden gegen den Gedanken auf, ein einzelner Mann sei imstande gewesen, durch seinen Eingriff die Lebensweise eines ganzen Stammes zu verändern, und er verwies auf die zahlreichen Widersprüche in der überlieferten Darstellung der Tätigkeit des Lykurgos. Er war vielmehr überzeugt, Lykurgos sei ein mit dem Kult des arkadischen Zeus verbundener Gott gewesen, in dem er mit Wilamowitz übereinstimmend den alten Kult des Wolfsgottes⁶ erblicken wollte. Den gleichen Standpunkt vertrat auch K. J. Neumann. Als besonders triftiges Argument für die historisch nicht erwiesene Tätigkeit des Lykurgos sah er das Zeugnis des Plutarch an, wonach es in Sparta keine geschriebenen Gesetze gab. Dadurch erscheint die Existenz eines Gesetzgebers, wie wir ihn aus anderen griechischen Gemeinden kennen, ausgeschlossen. Zur Erhärtung seiner Annahme, Lykurgos sei ein Gott gewesen, erwähnte Neumann Herodots Bericht, wonach auch die

⁴ Her. I 65 und 66: τῷ δὲ Λυκούργῳ τελευτήσαντι ἱερὸν εἰσάμενοι σέβοντα μεγάλως. (Weitere Belege für den Lykurgoskult erwähnt U. Kahrstedt: Lykurgos 2442.) G. GILBERT: Altspart. Gesch. 81, 93 f., 117, 118: «Von allen verschiedenen Gestalten des Apollon mußte aber gerade der Lichtgott für den Begründer der Verfassung geeignet erscheinen. Deshalb nahm man diese specielle Seite des Gottes, um sie zum Zweck geschichtlicher Personification zu heroisieren.» Die Form *Λυκόεργος* oder *Λυκούργος* neben der Form *Λύκειος* leitet Gilbert analog ab, nach der homerischen Dublette eines anderen Attributes des Apollon, *Ἑκατος* und *Ἐκάεργος*; er weiß jedoch genau, daß seine Ausführungen nur hypothetisch sind (120 «... Derartige Fragen werden selbstverständlich eine gesicherte Lösung nie finden...»).

⁵ U. v. WILAMOWITZ: Lykurgos, Hom. Untersuchungen, Berlin 1844, 267, 283: «Lykurgos tat der tradition nach etwas, was nie stattgefunden hat, aus verhältnissen heraus, die es nie gegeben hat: also hat es auch ihn nie gegeben.» 285: «... daß der heros den namen vom Zeus Lykaios hat, und daß die Spartiaten diesen Zeus, an dem sie vorbei mußten, ehe sie nach Olympia kamen, hoch verehrt haben, das ist eine tatsache: Alkmans erster hymnus gilt ihm.»

⁶ E. MEYER: Lykurgos von Sparta, Forschungen zur alten Geschichte I, Halle 1892, 213 ff. (bes. 269—283). 271: «... eine ungeheuerliche Vorstellung ist, daß ein Mann durch weise Vorschriften die ganze Lebensweise eines Volkstammes umgestaltet.» 279: «Das einzige, was wir sicher von ihm wissen, ist, daß er ein Gott war, der in Sparta hoch verehrt wurde...» 281: «Der arkadische Heros ist von dem arkadischen Wolfsgott Zeus nicht zu trennen.» Zu diesem Kult vgl. auch H. KRUSE: Lykeios, RE XIII 2 (1927), 2244—2246.

delphische Pythie in Lykurgos eher einen Gott als einen Menschen sah.⁷ Diesen delphischen Ausspruch, der auch bei späteren Autoren (mit geringen Abänderungen), sowie in einer delphischen Inschrift vorkommt, zitierte K. J. Beloch als Motto und Grundthese seiner Studie über Lykurgos. Auch er — ähnlich wie E. Meyer — verwies auf zahlreiche Widersprüche in den Berichten über Herkunft, chronologische Eingliederung und Wirken des spartanischen Gesetzgebers. Er lehnte es jedoch ab, ihn mit dem Kult des Wolfsgottes zu verbinden und er zog es vor, ihn unter die Götter des Lichtes oder des Sonnenscheins einzureihen.⁸

Diese Studien brachten viel Wertvolles, insbesondere in ihrem negativen Teil. Zweifellos ist die spartanische Verfassung nicht das Werk eines einzigen Gesetzgebers, sondern das Ergebnis einer langen Entwicklung und des Einwirkens zahlreicher Faktoren. Die antike Tradition, die fast alle ihre wesentlichen Grundzüge dem Lykurgos zuschrieb, war nach und nach entstanden, vermutlich im 4. Jahrhundert. E. Meyer, K. J. Beloch und andere Forscher haben ebenfalls die Unhaltbarkeit der einzelnen Angaben über die Tätigkeit des Lykurgos, wie sie in der antiken Tradition erscheint, nachgewiesen. Aber alle Versuche, Lykurgos einem Gott gleichzusetzen hatten lediglich das Entstehen neuer Hypothesen zur Folge. Ihre gemeinsame Basis ist der in Sparta bezeugte Lykurgoskult und vornehmlich die etymologische Analyse des Namens. Hingegen ist eine ganze Reihe mythischer und historischer Gestalten des gleichen Namens bekannt. Die Existenz des Kultes ist lediglich ein Beweis dafür, daß Lykurgos in Sparta göttliche Ehren genoß (oder daß er als Held verehrt wurde), aber der Kult bezeugt durchaus nicht, daß er ein Gott war.⁹

Das lykurgische Problem ist weder aus den wissenschaftlichen Zeitschriften, noch aus systematischen Darstellungen der spartanischen Geschichte verschwunden. Schon am Ende des vorigen Jahrhunderts trat J. Toepffer der Konzeption E. Meyers entgegen. Er argumentierte, die Gesellschaftsordnung und die Aufteilung des Bodens in Sparta seien nicht das Werk eines Einzelnen gewesen. Erst später seien sie Lykurgos zugeschrieben worden, der, nach Toepffers Auffassung, eine historische Gestalt und Begründer der spartanischen

⁷ S. Plut. Lyk. 13: «...μὴ χοῖναι νόμοις ἐγγράφοις» K. J. NEUMANN: Hist. Z. 96 (1906) 4: «... daß es einen Gesetzgeber im Sinne des Dracon oder Solon oder der Duumviren in Sparta nicht gegeben hat.» 60: «... das einzige, was wir von Lykurgos wirklich wissen, ist sein Kultus, seine Göttlichkeit.» 61: «Noch war, wenn auch bereits schwankend, das Orakel für die Gottheit des Lykurgos eingetreten, aber die Zeit entschied sich für seine Menschlichkeit.»

⁸ K. J. BELOCH: Gr. Gesch. I 2 (1913), 253—254 (samt den dazugehörigen Nachweisen der delphischen Weissagung), 256: «Wie Sparta, haben auch andere griechische Staaten die Begründung ihrer Verfassung oder ihrer Gesetze auf einen Lichtgott zurückgeführt.»

⁹ K. J. BELOCH hielt übrigens auch den athenischen Gesetzgeber Dracon für einen Gott und seine Ausführungen über ihn verband er direkt mit denjenigen über Lykurgos (op. cit., 258—262).

Staatsordnung war.¹⁰ Wie verwickelt das Problem ist, geht deutlich aus den Studien G. Busolts hervor. Im ersten Band seiner Griechischen Geschichte vom Ende des vorigen Jahrhunderts stimmt G. Busolt im wesentlichen der Annahme einer göttlichen Herkunft des Lykurgos zu, und er brachte ihn mit dem Kult des Zeus in Zusammenhang. In Übereinstimmung mit E. Meyer lehnte er gleichfalls den Gedanken ab, die spartanische Verfassung wäre das Werk eines einzelnen Menschen gewesen.¹¹ Aber in seinem systematisierenden Werk über den griechischen Staat, das ungefähr 25 Jahre später entstand,¹² hatte er schon eine völlig andere Ansicht. Er erwähnte zwar — ähnlich wie auch K. J. Neumann —, daß es in Sparta keine geschriebenen Gesetze gab, folglich es auch keinen Gesetzgeber wie z. B. in Athen geben konnte, aber er vermutete doch Lykurgos sei im klassischen Sparta nicht als Gott sondern als Heros verehrt worden; und er kam zu dem Schluß, daß die Zweifel an der historischen Existenz des Lykurgos unbegründet wären und daß Lykurgos um die Mitte des 8. Jahrhunderts gelebt habe.¹³

Erhöhte Aufmerksamkeit wurde dem Lykurgosproblem in den zwanziger Jahren gewidmet. In seiner übersichtlichen Studie hielt sich U. Kahrstedt noch an die Auffassung, Lykurgos sei göttlicher Herkunft gewesen.¹⁴ Aber schon zwei Jahre vorher hatte H. T. Wade-Gery eine neue Hypothese aufge-

¹⁰ J. TOEPFFER: Die Gesetzgebung des Lykurgos. Beiträge zur griechischen Altertumswissenschaft, Berlin 1897, 358: «Wir müssen eine Scheidung vornehmen. Die Begründung der Gesellschaftsordnung ist nicht das Werk eines Mannes; das hat die Überlieferung nachträglich an den berühmten Namen gehängt wie die Landesverteilung, die auch nicht das Werk des Lykurgos ist . . . Dagegen ist kein Grund zu bezweifeln, daß die Staatsordnung das Werk eines großen Gesetzgebers gewesen ist, der eine historische Persönlichkeit war und den Namen trug, den ihm die Tradition des Altertums gibt.»

¹¹ G. BUSOLT: Griech. Gesch. I 569 f., 578: «Aller Wahrscheinlichkeit nach war Lykurgos keine historische Persönlichkeit, sondern mit dem arkadischen Heros dieses Namens identisch und demnach wohl eine Abzweigung des Zeus Lykaios . . . Jedenfalls hat kein einzelner Mann das gesellschaftliche und staatliche Leben eines ganzen Volksstammes mit einem Schlage umgestellt und es in neue feste Formen gekleidet. Vielmehr ist der Kosmos unter dem Zusammen- und Gegeneinanderwirken verschiedener Faktoren offenbar ganz allmählich erwachsen.»

¹² Der 2. Teil der Griechischen Staatskunde war bei BUSOLTS Ableben (1920) beendet. Die von H. SWOBODA darin vorgenommenen Anordnungen und Ergänzungen betreffen nicht die Stellen, die sich auf den spartanischen Staat beziehen. Vgl. hierzu SWOBODAS Vorwort (S. V).

¹³ G. BUSOLT—H. SWOBODA: Gr. Staatskunde, 649: «Einen Gesetzgeber . . . wie . . . Zaleukos, Drakon, Solon u. a. . . kann es in Sparta nicht gegeben haben . . .»; 650: «Ein Kultus des Lykurgos als eines Gottes ist jedenfalls erst seit der mit Vergötterungen nicht sparsamen hellenistischen Zeit bezeugt. Heroisierungen von Menschen waren nichts Seltenes.» 651: «Es gibt mithin keine zwingenden Gründe für die Streichung der geschichtlichen Persönlichkeit Lykurgos. Dann muß es bei der Überlieferung bleiben, daß er der Gesetzgeber war, der die Grundzüge der in historischer Zeit in Sparta bestehenden Staatsordnung geschaffen hatte. Diese Gesetzgebung vollzog sich im Anschlusse an den Synoikismus um 754.» Hingegen lehnt BUSOLT die Vermutung B. NIESES ab (Hermes 42 [1907] 466 ff), wonach Lykurgos im 7. Jahrhundert gelebt haben soll. Vgl. V. COSTANZI: Riv. fil. 38, 1910, 42 ff; s. auch K. J. BELOCH: Griech. Gesch. I 2, 253, Anm. 1, und V. EHRENBURG: Neugründer 123, Anm. 8.

¹⁴ U. KAHRSTEDT: Lykurgos RE XIII 2 (1927), 2442: «Die Gestalt des Vaters der spartanischen Verfassung ist von Haus aus ein Gott.»

stellt,¹⁵ wonach Lykurgos ein spartanischer Heros war, unter dessen Schutz die Reform der spartanischen Verfassung vollzogen wurde, die Wade-Gery an die Wende des 7. und 6. Jahrhunderts setzte. Gleichzeitig gelangte zu einem ähnlichen Schluß auch V. Ehrenberg. Seiner Meinung nach ist es kein Zufall, daß Thukydides in seinem bekannten Exkurs über das Entstehen der spartanischen Verfassung den Namen des Lykurgos nicht erwähnt. Lykurgos es soll erst die Schöpfung eines Gesetzgebers sein, der um die Mitte des 6. Jahrhunderts in Sparta tätig war; aller Wahrscheinlichkeit nach soll es der Ephoros Cheilon gewesen sein.¹⁶ Aber in seinen späteren Arbeiten hat Ehrenberg seine Ansichten einigermaßen korrigiert, indem er aus den Geschehnissen, die er in das 6. Jahrhundert verlegt hatte, die dem Lykurgos zugeschriebene Rhetra ausschloß und sie in eine frühere Epoche der spartanischen Geschichte einordnete.¹⁷

Wade-Gerys und Ehrenbergs Darstellung der lykurgischen Verfassung wurde mit allerlei Modifikationen auch in die Werke aufgenommen, die in der Vorkriegszeit und zu Beginn des Krieges erschienen. Nach Ansicht von A. Andrewes entstand die spartanische Verfassung um die Wende des 7. und 6. Jahrhunderts. Erst zu dieser Zeit soll auch die Lykurgos-Legende entstanden sein, die er als «eine der erfolgreichsten Täuschungen der Geschichte» bezeichnet.¹⁸ Besonders lebhaft war das Interesse am Lykurgosproblem in der deutschen Geschichtsschreibung. Th. Lenschau schrieb die Rhetra, die er in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts setzte, einem unbekannten Gesetzgeber zu; die mit dem Namen des Lykurgos verbundene Reform vermutete er am Beginn des 6. Jahrhunderts.¹⁹ Einen vorsichtigen Standpunkt nahm zu jener Zeit H. Berve ein. Seiner Ansicht nach könnte Lykurgos der Schöpfer der einen

¹⁵ H. T. WADE-GERY: *The Growth of the Dorian States*. CAH III (1925), 562: «There is little profit in discussing whether the lawgiver's name of c. 600 B. C. was Lyeurgus or not . . . » und in Anm. 2: «In the opinion of the present writer Lyeurgus was the hero under whose protection the reform was put.»

¹⁶ S. Thuk. I 18. V. EHRENBURG: *Neugründer*, 13, 30, 49: «Der Gesetzgeber Lykurg ist eine Schöpfung des wahren Gesetzgebers von 550. Zum Schöpfer des ganzen Kosmos aber hat ihn erst eine der folgenden Generationen gemacht, indem sie seine Gestalt in die Legende überleitete.»

¹⁷ V. EHRENBURG: *Der Gesetzgeber von Sparta*, Epitymbion H. Swoboda, Reichenberg 1927, 20: «In Erkenntnis des methodischen Fehlers, zuviel durch eine Erklärung deuten zu wollen, müssen wir die große Rhetra aus der Problematik des 6. Jahrhunderts lösen und in frühere Zeit, also vor das Hochkommen des Ephorats setzen.»

¹⁸ A. ANDREWES: *Eunomia*, CQ 1938, 100: «Before c. 600 Sparta was not governed by the Lyeurgan system, or anything that resembled it.» 102: «Whether he existed before 600, and in what form is immaterial», «. . . it is clear that the reforms developed him if they did not invent him.» «. . . the perpetration of his name was one of the most successful frauds in history.»

¹⁹ TH. LENSCHAU: *Die Entstehung des spartanischen Staates*, Klio 30 (1937) 271 f., 279: «Den Mann, der dem Volke den entscheidenden Beschluß vorlegte, kennen wir nicht: kannten wir ihn, so müßten wir ihn als den Begründer des spartanischen Staates betrachten.» In der chronologischen Tabelle (287) führt Lenschau die Rhetra in der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts und Lykurgs Reform in den achtziger Jahren des 6. Jahrhunderts.

oder anderen Reform der spartanischen Verfassung gewesen sein.²⁰ Als jedoch später H. Lüdemann ähnlicher Meinung war, nämlich, daß die spartanische Tradition in der Gestalt des Lykurgos zwei Gesetzgeber aus verschiedenen Zeitabschnitten der spartanischen Geschichte vereinigt hätte,²¹ nahm Berve hierzu eine kritische Stellung ein. Ebenso kritisierte er scharf Ehrenbergs Konzeption eines Reformators im 6. Jahrhundert. Er erhob weitere Einwände auch gegen eine andere Variante, deren Urheber H. John war,²² und derzufolge Lykurgos die Verfassung von der Wende des 9. und 8. Jahrhunderts geschaffen hätte, während die «soziale Reform» im 6. Jahrhundert das Werk eines anderen, unbekannten Gesetzgebers wäre.²³

Die Bestrebungen, den einen oder anderen vermuteten Eingriff in die spartanische Verfassung dem Lykurgos zuzuschreiben, führten zu keinem endgültigen Ergebnis. Ebenso wenig konnte das lykurgische Problem durch die Annahme erklärt werden, die Reformen der spartanischen Verfassung hätten Gesetzgeber durchgeführt, die sich hinter des Lykurgos Autorität verbargen oder dieses möglicherweise geschaffen hatten. Trotzdem aber haben besonders Ehrenbergs Studien darauf hingewiesen, daß die Entwicklung der spartanischen Verfassung in archaischer Zeit viel komplizierter war, als vordem vermutet wurde.

Eine eigenartige Auffassung der Gestalt des Lykurgos vertrat P. R. Coleman Norton in seiner Studie aus dem Jahre 1941. Die Fachliteratur beiseite lassend, ging dieser Verfasser im wesentlichen von der Darstellung des Aristoteles aus, derzufolge in Sparta Elemente aus verschiedensten Verfassungstypen vermischt waren. Angeblich waren dies jedoch nur die äußeren Merkmale, während das Wesen der spartanischen Verfassung auf der «sozialistischen Ordnung» beruhte, was durch die Unterordnung des Einzelnen dem Staat bezeugt sei. Der Schöpfer dieses Systems war Lykurgos, über den bereits in der Antike verschiedene Ansichten herrschten. Coleman Norton schlichtet die

²⁰ H. BERVE: Sparta, Leipzig 1937, 33: «... so daß auch die Zeit, in die etwa ein historischer Lykurgos zu setzen wäre, nicht bestimmt werden kann. Die geschichtliche Betrachtung wird also von der Gestalt eines Gesetzgebers überhaupt absehen und die Ordnungen, aus denen der spartanische Staat hervorgegangen ist, unpersönlich nehmen müssen, ohne daß sie damit leugnete, es könnte um 800 oder vor 600 nicht einen hervorragenden Mann gegeben haben, dessen Tatkraft die damals vollzogenen Neuerungen wesentlich zu verdanken waren.»

²¹ H. LÜDEMANN: Sparta, 42: «Nur so viel sei hier gesagt, daß unseres Erachtens in der Überlieferung über ihn die Erinnerung an zwei große Persönlichkeiten zusammengefloßen ist...»

²² H. BERVE: Gnomon 17, 1941, 4: «mir scheint..., daß dieser zweite, angeblich im 6. Jahrhundert wirkende Lykurgos sein Dasein lediglich einer von Ehrenberg... aufgestellten These verdankt und deshalb nicht so ernst genommen werden sollte, wie es jetzt wieder durch John und Lüdemann geschieht.»

²³ H. JOHN: Vom Werden des spartanischen Staatsgedankens, Diss. Breslau 1939, 30: «So ergibt sich, daß vielleicht die Zeit um oder kurz vor 800 die Verfassungsreform durch den später als Gott verehrten Lykurg gebracht hat, während die Sozialreform in die Mitte des 6. Jahrhunderts auf einen anderen Gesetzgeber zurückgeht, der zur Heiligung seines Werkes den Kosmos dem bereits als Gott verehrten frühen Gesetzgeber Lykurg übertrug.»

Uneinigkeit durch die «wahrscheinlichste» Auslegung, wonach Lykurgos zunächst als Bandit (!) angesehen, späterhin jedoch als Heros und zuletzt als Gott anerkannt worden sei.²⁴

In der Nachkriegsliteratur widersetzte sich K. M. T. Chrimes der Tendenz, prinzipielle Veränderungen in der spartanischen Verfassung an die Wende des 7. und 6. Jahrhunderts zu datieren. Die mit dem Namen des Lykurgos verbundene Reform verlegte K. M. T. Chrimes gegen das Ende des 9. Jahrhunderts, und sie glaubte sogar zu wissen, daß es sich dabei genau (!) um das Jahr 809 handelte.²⁵ Ihre chronologischen Ansichten lehnte bereits W. den Boer ab, der aber ihrer Kritik an Ehrenbergs Konzeption seinen Beifall aussprach. Er selbst setzte Lykurgos in das erste Viertel des 8. Jahrhunderts und hielt ihn für eine historische Gestalt.²⁶ Für die historische Existenz des Lykurgos hat sich in letzter Zeit eine Reihe weiterer Forscher ausgesprochen. Zu ihnen gehört N. G. L. Hammond, der die lykurgische Verfassung (ähnlich wie K. M. T. Chrimes) schon zu Ende des 9. Jahrhunderts vermutete und schrieb, Lykurgos sei allem Anschein nach eine reale Gestalt der spartanischen Geschichte gewesen.²⁷ H. Michell erklärte kategorisch, Lykurgos sei ein ebensolcher Gesetzgeber, wie wir sie aus anderen antiken Staaten kennen, und die spartanische Verfassung sei nicht das Ergebnis allmählicher Entwicklung. Seiner Ansicht nach wirkte Lykurgos in Sparta zur Zeit der zweiten Verfassungskrise, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts.²⁸ Auch A. G. Tsopanakis hielt Lykurgos für eine völlig reale historische Gestalt. Er verglich ihn mit Solon und setzte ihn an die Wende des 9. und 8. Jahrhunderts.²⁹ Ähnlich war die

²⁴ P. R. COLEMAN NORTON: *Socialism at Sparta*, Studies . . . W. K. Prentice, Princeton 1941, 61: « . . . these aspects were merely the outer trappings concealing the inner working of a socialist order, for the Spartan Government, unique among Hellenic constitutions, was a despotism in which the state was exalted above the individual. » 63 f.: « Whether Lycurgus was a god or a gangster or a hero or a king — he has had partisans for each role — we know not. » Hierzu vgl. Anm. 4: « The likeliest rationalization about Lycurgus regards the legislator thus: first accepted as a gangster, then acclaimed as a hero, finally acknowledged as a god; if he was a king, his kingdom was not of this world. »

²⁵ K. M. T. CHRIMES: *Ancient Sparta*, 305 ff., 346: « There is therefore no difficulty whatever in supposing that in 728 B. C. Sparta marked the end of the first period of nine times nine years from the Lyeurgan reforms by special feasts and other celebrations . . . » « . . . the general conclusion to which this examination of the sources leads is that there are fairly cogent reasons for dating the Lyeurgan reforms to 809 B. C. »

²⁶ W. DEN BOER: *Laconian Studies* 89, 93 (Anm. 1), 126, 154: « Plutarch, following Aristotle . . . dates Lycurgus in the first quarter of the VIIIth century B. C. »; vgl. auch Anm. 1.

²⁷ N. G. L. HAMMOND: *The Lyeurgan reform at Sparta*. JHS 70 (1950) 57: « We can only hazard the opinion that the reform was probably carried by one man and that the man was probably named Lyeurgus. »

²⁸ H. MICHELL: *Sparta*. Cambridge 1952. 22: « Evidently Lyeurgus belongs to the array of lawgivers met with elsewhere, such as Moses, Draco and Solon . . . It is hard to believe that the Spartan system was the production of an evolutionary process . . . » 23: « . . . at some time in the second half of the seventh century? »

²⁹ A. G. TSOPANAKIS: *La rhétre de Lyeurgue — L'annexe — Tyrtée*. Thessaloniki 1954, 81: « Il nous semble en effet que de la brume archaïque émerge une grande figure réaliste, une de celles qui ont fait l'histoire. Lyeurgue s'était trouvé en face d'une situation

Ansicht G. L. Huxleys (mit Berufung auf G. Forrest), der Lykurgos hundert Jahre später datierte.³⁰

Die Skepsis gegenüber dem lykurgischen Problem, die am Ausgang des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts vorherrschte, wich also in den meisten Nachkriegsarbeiten überraschenderweise dem Glauben an die historische Persönlichkeit des Lykurgos. Zu den Versuchen, Lykurgos einem Gott gleichzusetzen und zu der Tendenz, den wichtigsten Umschwung in der Entwicklung der spartanischen Verfassung in den Ereignissen des 6. Jahrhunderts zu erblicken, habe ich mich bereits geäußert. Obgleich ich mich nicht den Schlußfolgerungen der einzelnen Forscher anschließen kann, bin ich mir dessen bewußt, daß vor allem die Studien von E. Meyer und V. Ehrenberg zahlreiche neue Aspekte des behandelten Problems bieten. Aber es erweckt in mir den Verdacht, als ob manche der neuesten Arbeiten eher einen Rückschritt als einen Fortschritt auf diesem Gebiet bedeuteten. Ihre Verfasser beachten nicht in genügendem Maße die ältere Literatur und halten es nicht für notwendig, sich mit deren Argumenten auseinanderzusetzen. So polemisiert z. B. G. L. Huxley nur mit Toynbees Auffassung des Lykurgos als Gott, in dessen Übersicht des Hellenismus, wobei außer Zweifel steht, daß Toynbee diese Meinung aus den hier bereits erwähnten Spezialstudien übernommen hatte.³¹ Den Ausführungen von A. G. Tsopanakis, der die Verhältnisse in Athen um das Jahr 600 mit der in Sparta zwei Jahrhunderte früher herrschenden Lage verglich, kann ich auf keinen Fall zustimmen. Es ist allgemein bekannt, daß sich beide Gemeinden sehr unterschiedlich entwickelt hatten und auf abweichenden Grundlagen beruhten, wobei in Sparta mehr Reste der Gentilgesellschaft erhalten blieben. Außerdem besteht auch kein Zweifel darüber, daß die Entwicklung des archaischen Athen bedeutend besser verfolgt werden kann als diejenige von Sparta, und zwar sowohl in literarischen Quellen wie auch an Hand vom archäologischem Material. Dennoch ist uns auch aus Athen keine historische Persönlichkeit aus der Zeit um die Mitte des 7. Jahrhunderts bekannt. Wollten wir

politique et sociale désespérée . . . et il a fait ce que Solon aurait dû faire à Athènes deux siècles plus tard . . . » 82: « . . . nous croyons que Lycurgue doit être placé au début de cette ère (800) ».

³⁰ G. L. HUXLEY: *Early Sparta*, 7: « . . . George Forrest . . . provided me with many original suggestions (the view of Lykourgos taken here is his) . . . » 42: « . . . Lykourgos was not a god . . . » « The Olympic discus is a very strong argument for dating Lykourgos about 700 B. C. » Vgl. W. G. FORREST: *Phoenix* 17(1963) 168 — 170.

³¹ G. L. HUXLEY: *Early Sparta*. 119, Anm. 261. A. J. TOYNBEE gibt in seinem Werk (*Hellenism, the history of a civilisation*. Oxford 1959, 1960²) allerdings nur eine Übersicht der hellenistischen Epoche und Lykurgos erwähnt er nur am Rande. Wie aus dem Vorwort ersichtlich ist (darauf verweist auch HUXLEY), entstanden TOYNBEEs erste Kapitel schon im Jahre 1914. Im Jahre 1913 erschien auch seine Studie *The growth of Sparta*, JHS 33 (1913) 246 — 275. Mithin ist es kein Zufall, daß er sich der damals am meisten verbreiteten Ansicht von der göttlichen Herkunft des Lykurgos anschloß. Dagegen widersetzt er sich an der erwähnten Stelle (42) der Vorstellung, die spartanische Verfassung sei das Werk eines einzelnen Menschen gewesen: « The so-called 'Lycurgan' system was not a social reformer's blue print. »

überhaupt die spartanische und athenische Tradition gegenseitig vergleichen, so würde die Gestalt des Lykurgos am ehesten dem mythischen Theseus gleichkommen. Letzterem wird der Synoikismos, die Einigung Attikas zu einem Ganzen, die Bildung des Rats und des Prytaneions, sowie die Teilung der gesamten Bevölkerung in drei Gesellschaftsklassen ohne Rücksicht auf die Gentilordnung zugeschrieben.³² Wenn, wie schon Karl Marx treffend sagt,³³ «der Name des Theseus als Bezeichnung einer Epoche oder einer Reihe von Ereignissen betrachtet werden muß», so kann auf die gleiche Weise auch das Wirken des Lykurgos charakterisiert werden.

Obwohl ich jener Meinung von U. Wilamowitz, E. Meyer und K. J. Beloch, nach welcher Lykurgos als Gott angesehen werden sollte, nicht zustimmen kann, bin ich doch der Ansicht derselben Forscher, daß nämlich die historische Existenz des Lykurgos sich nicht nachweisen läßt. Aber wie alle Mythen, so ist auch der Mythos des Lykurgos keine bloße Erfindung, sondern mythischer Widerhall wirklicher Begebenheiten. Mythos darf jedoch nicht als Geschichte gelten, weshalb wir auch die mythische Gestalt des Lykurgos nicht als den historischen «Schöpfer» der spartanischen Verfassung gelten lassen dürfen.

Praha.

³² Thuk. II 15: ... ἐν βουλευτήριον ἀποδείξας καὶ πρυτανεῖον, ξυνόκησε πάντας. Plut. Thes. 25: πρῶτος ἀποκρίνας χωρὶς Εὐπατρίδας καὶ Γεωμόρονος καὶ Δημονοργούς.

³³ K. MARX: Конспект книги Л. Г. Моргана, „Древнее общество“, Архив Маркса и Энгельса IX, Ленинград 1941, 17; vgl. P. OLIVA: *Raná řecká tyrannis*, Praha 1954, 274.

DIE ANFÄNGE GRIECHISCHER PORTRÄTKUNST ALS GESELLSCHAFTLICHES PROBLEM

Wenn wir uns im folgenden bemühen, aus wenigen Schriftzeugnissen, die obendrein erst der Kaiserzeit angehören, eine Aussage zu den Anfängen und Wurzeln der griechischen Porträtkunst in archaischer Zeit zu machen, so unternehmen wir diesen Versuch nur, weil wir den Archäologen zustimmen, die ein realistisches attisches Porträt in der Frühklassik annehmen und in der Themistoklesherme zu Ostia ein sprechendes Beispiel gefunden haben. Der ausgeprägte Realismus dieses Kopfes ist nicht denkbar ohne in gleiche Richtung tendierende Vorläufer. Wir müssen versuchen, diese in archaischer Zeit aufzuspüren. Da zudem die enge Verknüpfung des Realismus des Themistoklesbildnisses als künstlerische Erscheinung mit der politischen Haltung seines Auftraggebers unverkennbar ist, wird unser Problem in die Richtung gewiesen, die in der Formulierung des Themas ausgedrückt ist.

Das 7. und 6. Jahrhundert war in der historischen Entwicklung Griechenlands eine Übergangszeit. Die Ausbildung des Polisstaates vollzog sich in der Auseinandersetzung zwischen der im Landbesitz wurzelnden Aristokratie und dem zur politischen Mitbestimmung strebenden Stadtbürgertum, das, auf Handel und Gewerbe gestützt, die fortschrittlichen Zeittendenzen vertrat. In dieser ganz Griechenland mehr oder minder stark einschließenden Entwicklung waren die kleinasiatischen Küstenstädte sowie die vorgelagerten Inseln dem Mutterland in ökonomischer und kultureller Hinsicht voraus.

Als Ausdruck der gesellschaftlichen Entwicklung bricht sich in dieser Zeit auf allen Gebieten ein ausgeprägtes Persönlichkeitsbewußtsein Bahn. Erstmals stehen die großen Individuen greifbar in ihrem Werk vor uns. Wie die ionischen Naturphilosophen, die mit starker Persönlichkeit hinter ihrer Lehrmeinung standen,¹ gab Hekateios von Milet seinen Namen an² und ließ Hesiod die homerische Anonymität fallen, um sein persönliches Anliegen auszusprechen. Epik, Philosophie und aufkeimende Wissenschaft wurden zum

¹ Anaximander beispielsweise ersetzt die vor ihm gebräuchliche mündliche Überlieferung durch das Aufschreiben seiner Lehrvorträge. Vgl. MEYER: GdA III 699 f.; W. CAPELLE: Die Vorsokratiker, Berlin 1958, 72 ff.

² Vgl. JACOBY: FGrHist., Hekateios I, F 1a—c; MEYER: GdA III 701 ff.

persönlichen Bekenntnis des Künstlers und Denkers. Stärker noch als in diesen Bereichen fand das erwachende Individuum in der frühgriechischen Lyrik seinen Ausdruck.³ In der Mitte des 7. Jahrhunderts wußte Archilochos⁴ sein Ich auszusprechen in der qualvollen Verstrickung seiner Gefühle in Lebensbegeisterung und hilflosem Zweifel.

Ein vergleichbares Individualitätsbewußtsein läßt sich auch für die bildende Kunst nachweisen. Es findet sich in den Künstlersignaturen,⁵ die seit dem 7. Jahrhundert wiederum zuerst in Ionien⁶ auftraten und im 6. Jahrhundert in allen Gegenden Griechenlands gebräuchlich wurden.⁷ Sind aber diese Signaturen der einzige Ausdruck der Künstlerpersönlichkeit, sollte gerade die Plastik und da speziell die Porträtplastik aus der großen Strömung des Individualismus ausgespart sein und so im Gegensatz zu den übrigen Bereichen der archaischen Kultur stehen?

Das archaische Menschenbild ist in einer Reihe klar formulierter Typen faßbar, in denen Raum für die Stil- und Schuleigenheiten der einzelnen Meister ist. Es gibt Einzelfälle, bei denen der Typus zum individuell Besonderen eingengt wird, z. B. durch eine nähere Charakterisierung der Sportdisziplin, wie sie sich bei einer fragmentierten Boxerstele aus der Themistoklesmauer⁸ findet. Eine ähnliche Spezifizierung weist der sog. Rayetsche Kopf⁹ auf. Diese wenigen

³ Vgl. W. NESTLE: Die Vorsokratiker, Jena 1922², 10 ff.; *ders.*: Griechische Geistesgeschichte, Stuttgart 1944, 40 ff.; R. PFEIFFER: Gottheit und Individuum in der griechischen Lyrik, Phil. 84, 1929, 137 ff.; SCHMID—STÄHLIN: GdgrLit. I/1, 336 ff.; JAEGER: Paideia I 160 ff.; B. SNELL: Die Entdeckung des Geistes, Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen, Hamburg 1946, 57 ff.; G. MISCH: Geschichte der Autobiographie I, Das Altertum, Frankfurt 1949³ 80 f.; LESKY 130 ff.

⁴ DIEHL: Anth. Lyr. Graec. fasc. 3 Archilochos fr. 1 ff.

⁵ Vgl. E. LÖWY: Inschriften griechischer Bildhauer, Leipzig 1885, 3 ff.; A. E. RAUBITSCHKE: Dedications from the Athenian Akropolis, Cambridge (Mass.) 1949. E. AKURGAL: Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, Berlin 1961, 224 ff.; auf Grabstatuen vgl. KARUSOS: Aristodikos 29; BSA. 57, 1962, 115 ff. (JEFFERY); vgl. auch JAEGER: Paideia I 255 und BUSCHOR: Porträt 93 f.

⁶ Vgl. E. AKURGAL: Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander. Berlin 1961, 229.

⁷ Aus der Reihe der üblichen Signaturen ragt eine Vaseninschrift des Euthymides hervor, aus der ein ausgeprägtes Wertgefühl spricht; der Künstler rühmt sich einer größeren Meisterschaft als sein Konkurrent, Euphronios. Vgl. J. D. BEAZLEY: Attic Red-Figure Vase-Painters. Oxford 1963². I 26 «Euthymides» Nr. 1 Amphora München 2307. Vgl. auch E. PFUHL: Meisterwerke griechischer Zeichnung und Malerei. München 1924. 24; J. D. BEAZLEY: Potter and Painter in ancient Athens. London 1946. 20; K. SCHEFOLD: MusHelv. 3 (1946) 81; A. RUMPF: HdArch. IV. München 1953. 74 Anm. 2.

⁸ BCH. 78, 1954, 107, Abb. 9; AJA 58, 1954 Tf. 43, 1; JHS 74, 1954, Tf. 8, 4; KARUSOS: Aristodikos 40 meint, daß hier eine Einzelheit des «Naturvorbildes» eingefangen sei, vgl. auch Anm. 90 und 44 K I A1; G. M. A. RICHTER: The Archaic Gravestones of Attica. London 1961. 31 fig. 92.

⁹ LIPPOLD: GrPl. 76 Anm. 4; F. POULSEN: Catalogue of ancient sculpture in the Ny Carlsberg Glyptothek, Kopenhagen 1951, 28 Nr. 11; KARUSOS: Aristodikos 46 K I C 2, 63 K II A 17; R. LULLIES—M. HIRMER: Griechische Plastik von den Anfängen bis zum Ausgang des Hellenismus, München 1960, Nr. 46/47, 45 f. lehnen die Deutung als Faustkämpfer ab.

In diesem Zusammenhang muß der sog. Sabouroffsche Kopf in Berlin wenigstens erwähnt werden, in dem man früher ein Porträt vermutet hat. BLÜMEL hat mit Recht darauf hingewiesen, daß dieser Eindruck nur eine Folge des fragmentierten Zustandes

Beispiele stellen einen Schritt zum Individualbildnis dar.¹⁰ Die Ausnahmefälle gehen jedoch unter in der Vielzahl der streng typusgebundenen Darstellungen.

Der normative Typus war die künstlerische Formulierung eines Ideals, das dem adligen Auftraggeber auf Grund seiner Lebenshaltung und seiner Standestradiation Verpflichtung bedeutete.¹¹ Dieses Ideal des Kaloskagathos fand seinen sinnfälligsten Ausdruck im unbekleideten Kuros. Das Individuum ging in ein überindividuelles Standesideal ein und hatte kein Bedürfnis nach einer Darstellung, die es aus Tradition und adliger Exklusivität herausgehoben hätte.

Im Mutterland tritt uns ein sport- und kriegstüchtiges Männerbild entgegen, das eine Verkörperung der altadligen Tugenden darstellt. In Ionien dagegen ist es ein weicherer, mehr auf Leibesbequemlichkeit gestellter Typus, wie er etwa in den Branchiden oder dem Jüngling vom Kap Phoneas¹² ausgebildet ist. Er verkörpert mehr das Leitbild des auf die eigene Kraft vertrauenden handel- und gewerbetreibenden Stadtbürgers und wirkt somit sehr viel «bürgerlicher».¹³ Die Unterschiede, die zwischen dorischer und ionischer Plastik im 6. Jahrhundert bestehen, zeigen somit in durchaus charakteristischer Weise

von Haar und Bart ist. Vgl. ältere Literatur bei PFUHL: Anfänge 2 Anm. 4; ferner KARUSOS: Aristodikos 44 K I A 3; L. ALSCHER: Griechische Plastik II/1, Berlin 1961, Anm. I 95; C. BLÜMEL: Die archaisch-griechischen Skulpturen der Staatlichen Museen zu Berlin, Berlin 1964², Nr. 6 Abb. 16–19 (S. 13 ff.)

¹⁰ LAURENZI: RG. 140 sieht in dem Typus des Athleten, der durch größere Bewegung und charakteristische Attribute gekennzeichnet ist, eine Spezifizierung des allgemeinen Kurosideals; BUSCHOR: Bildnisstufen 191, 214 «Man muß die Frage prüfen, ob nicht doch in manchen dieser späteren Gestalten etwas wie ein persönliches Bild auftaucht oder ob der Name in allen Fällen austauschbar bleibt, der Charakter des Benamungsporträts gewahrt ist . . . Gewiß lag in diesen Gestalten von Anfang an der Drang verborgen, in einem engeren Sinn persönlich zu werden als etwa die des artverwandten frühägyptischen Porträts», vgl. auch 220 ff.; *ders.*: Porträt 88 ff. «Das griechische Daseinsporträt bietet in seiner zweiten Hälfte einen gesteigerten Porträtwillen und eine «gesteigerte Unterteilung und Variation des Allgemeinbildes». Vgl. dazu KARUSOS: Aristodikos 39.

¹¹ Vgl. PFUHL: Anfänge 16 f.: «Dem Griechen ist auch das Bildnis in erster Linie Kunstwerk und hinter dem Individuum steht ihm immer der Typus, den es vertritt.» Vgl. auch LIPPOLD: Porträtstatuen 21 f. und G. KARO: Greek Personality in Archaic Sculpture, Cambridge (Mass) 1948, 104, 199 f., 243 und 251 weist er auf den aristokratischen Charakter der frühen archaischen Plastik in Attika hin.

¹² E. LANGLÖTZ: Frühgriechische Bildhauerschulen, Nürnberg 1927, 103 ff. mit Literaturangaben; KARO: Greek Personality, 210 ff.; LIPPOLD: GrPl. 57 f. und Anm. 10; E. AKURGAL: Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander 229 ff.; LIPPOLD: Porträtstatuen 6; V. POULSEN: Les Portraits Grecs, Kopenhagen 1954, 10 deutet die Namensunterschriften archaischer Statuen in Ionien und Samos als orientalische Manier, in der das Porträt ohne individuelle Züge gekennzeichnet wird; dazu SCHWEITZER: Studien 14: «Statue und Aufschrift atmen das ungebrochen in das Bildwerk selbst eingegangene Machtgefühl des orientalischen Großen.» Zum Kasus der Namensaufschriften vgl. KARUSOS Aristodikos 33 ff. Vgl. die Stele eines feisten Mannes aus Lemnos, AM 47 (1922) 128 ff. Abb. 3 (PFUHL), dessen Gesichtspröfil möglicherweise eine Vorstellung von den Köpfen ionischer Mantelfiguren reifer Männer geben könnte; Voraussetzung für diese Vermutung wäre allerdings, daß sich in diesem Werk ionisches Formengut ausdrückt und der vergleichsweise hohe Realismus nicht auf spezifisch lemnische Stileigenheiten zurückzuführen ist.

¹³ Vgl. E. BUSCHOR: Altsamische Standbilder, Berlin 1934, 26 ff. (zur Deutung der Geneleos-Gruppe) und *ders.*: Porträt 91.

das Gefälle, das in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht zwischen beiden Stammesbereichen vorhanden war. Diese Unterschiede sagen aber zunächst noch nichts aus über ein entwickelteres Individualbewußtsein in der ionischen Plastik.

Häufiger werden zum Problem der Anfänge einer realistischen Porträtkunst die Erzeugnisse der Kleinkunst, besonders der Vasenmalerei herangezogen.¹⁴ Hier findet sich tatsächlich ein Reichtum an scharfer Menschenbeobachtung, der das Verständnis der Künstler für die Besonderheiten der menschlichen Physiognomie belegen kann.¹⁵ Als direkte Parallele zur Großplastik können diese Kleinkunstwerke indessen nicht gelten, da für sie andere Gesetzmäßigkeiten und Anforderungen gelten als für die Monumentalplastik. Es kann aber aus diesem Sachverhalt nicht ohne weiteres geschlossen werden, daß nur ein Mangel in der Überlieferung das Fehlen gleichartiger Schöpfungen in der Großplastik verschuldet habe. Die Erklärung dafür liegt weniger im Künstlerischen, sie muß vielmehr im Willen des aristokratischen Auftraggebers gesucht werden, der in der typusgebundenen Statue den geeigneten Ausdruck seines überindividuellen Lebensideals fand. Die Kleinkunst dagegen entstand ohne direkte Auftragsbindung, so daß die Künstler hier stärker ihr eigenes Daseinsgefühl entfalten konnten. Wir können also diesen Zeugnissen aus der Kleinkunst nur entnehmen, daß der Sinn der Künstler für «individuelle» Bildungen durchaus vorhanden war.

Aber auch innerhalb der Monumentalplastik scheinen sich im 6. Jahrhundert keimhafte Ansätze zu einer gewissen Individualisierung bemerkbar zu machen. Sie finden sich für uns nicht in der monumentalen Überlieferung,

¹⁴ Das wichtigste Material ist zusammengestellt bei BINSFELD: Grylloi 6 1. (in den Anmerkungen mit Literaturangaben und Abbildungsnachweisen). Vgl. außerdem PFUHL: MZ I 310 f.; JHS 49 (1929) 76, Negertypen (BEAZLEY); RUMPF: AA 1936, 55 Anm. 1 f. Diese Darstellungen werden entweder als standardisierte Typen beurteilt, in denen kein Ansatz zum Bildnis zu finden sei (PFUHL: Anfänge 3, 23 f.) oder man sieht hier die Wurzeln eines «langsam zunehmenden Hinübergreifens in das Gebiet weit persönlicherer . . . Formen» (STUDNICZKA: Anfänge 128) und damit des Individualporträts. A. BOETHIUS: The Themistocles Herm from Ostia, From the Collections of the Ny-Carlsberg-Glyptothek III 1942, 220 spricht von «any continuous realistic and individualistic tradition in Greek sculpture», die besonders in der Kleinkunst zutage tritt; SCHWEITZER: Act. Mad. III, 8 sieht hier wichtige Voraussetzungen für das Porträt; AA 1962, 80 ff. (BIELEFELD); G. HEJZLAR: Zu den Anfängen der griechischen Karikatur, Charisteria Novotný. Praha 1962. 175 ff.

¹⁵ Ein besonders sprechendes Beispiel findet sich auf dem Innenbild eines kleinen fragmentierten Münchener Tellers in der Darstellung eines gebrechlichen und verwachsenen Greises. Seine in der Häßlichkeit liegende Einmaligkeit ist so überzeugend, daß trotz Karikatur an eine konkrete Modellperson gedacht werden muß. Von A. FURTWÄNGLER besprochen und abgebildet in Strena Helbingiana. Leipzig 1900. 91 f.; PFUHL: MZ III, Abb. 387; HEJZLAR: in Charisteria Novotný, 189, Anm. 105 f.; vgl. auch die von FURTWÄNGLER genannten Parallelen, besonders P. HARTWIG: Meisterschalen des streng-rofigurigen Stiles, Stuttgart—Berlin 1893, Tf. 14,2 = BEAZLEY: Vase-Painters² I 317 Nr. 9. In diesem Zusammenhang können auch einige Terrakotta-Votivmasken aus dem Heiligtum der Artemis Orthia zu Sparta herangezogen werden, in denen R. M. DAWKINS «possibly portraits» erkennt; vgl. R. M. DAWKINS: The sanctuary of Artemis Orthia, London 1929, Pl. 55; BINSFELD: Grylloi 9 Anm. 31.

sondern in einigen Schriftzeugnissen, die von plastischen Selbstbildnissen archaischer Künstler berichten. Diese wenigen Quellen könnten vielleicht für die Wurzeln des Individualporträts in der Plastik aufschlußreich sein. Ihrer Betrachtung wollen wir uns deshalb zuwenden.

Pausanias¹⁶ 8, 53, 7 f. berichtet bei der Beschreibung von Tegea, daß Cheirisophos,¹⁷ der zu den wandernden kretischen Bildhauern gehörte und wohl noch in die erste Hälfte des 6. Jahrhunderts zu datieren ist, ein vergoldetes Standbild des Apollon¹⁸ gearbeitet habe, neben dem eine Statue des Meisters stehe. Offenbar handelte es sich dabei um ein Selbstbildnis.¹⁹ Wie es beschaffen war, ob es individuelle Züge in Gesicht oder Körper trug, ob es durch Berufsattribute näher gekennzeichnet war oder ob seine Identität nur aus der Weihinschrift hervorging, kann man aus der kurzen Erwähnung bei Pausanias nicht schließen. Auf jeden Fall drückte sich in der Weihung der eigenen Person als Standbild ein betontes Selbstgefühl aus, das über jene Stufe hinausging, auf der der Künstler sich nur durch seine Signatur als Persönlichkeit aussprach. Eine solche Weihung setzte neben der Selbstschätzung einen gewissen Wohlstand voraus, der eine solch aufwendige Weihung ermöglichte.²⁰

Als Parallele zu diesem Selbstzeugnis eines archaischen Bildhauers können jene Chariten und als Verherrlichung seiner Heimatstadt die Artemis Leukophryene genannt werden, die nach Pausanias (3, 18, 9) der Magnesier Bathykles zum Dank für die Vollendung des Thrones in Amyklai stiftete. Hier steht die Stadtgöttin von Magnesia stellvertretend für den Meister.

In der Beschreibung des amykläischen Thrones durch Pausanias (3, 18, 9 ff.) stößt man auf ein zweites Zeugnis für die großplastische Darstellung archaischer Künstler. Ganz oben am Throne sollen die Gehilfen des Bathykles²¹ im Reigentanz dargestellt gewesen sein. Wie sie jedoch im einzelnen vorzu-

¹⁶ Τούτου (des Aphroditetempels in Tegea) δὲ ἐστὶν οὐ πόρρω Διονύσου τε ἱερὰ δύο καὶ Κόρης βωμός καὶ Ἀπόλλωνος ναὸς καὶ ἀγαλμα ἐπὶ χροῦσσον· Χειρίσοφος δὲ ἐποίησε, Κόρης μὲν γένος, ἡλικίαν δὲ αὐτοῦ καὶ τὸν διδάξαντα οὐκ ἴσμεν. ἡ δὲ δίαυτα ἡ ἐν Κνώσσῳ Λαϊδάλῳ παρὰ Μίνῳ συμβάσα ἐπὶ μακρότερον, δόξαν τοῖς Κορησὶ καὶ ἐπὶ ξοάνων ποιήσει παρεσκεύασε. παρὰ δὲ τῷ Ἀπόλλωνι ὁ Χειρίσοφος ἔστηκε λίθον πεποιημένος.

¹⁷ Vgl. BRUNN: Gr. K. I 51, 57; OVERBECK: GrPl, I⁴ 90; FRAZER IV 441; RE. III 2221 Nr. 3 «Cheirisophos» (ROBERT 1899); HITZIG—BLUEMNER, 5. Hdb. 301; AIBildK. VI 449 ff. «Cheirisophos» (AMELUNG 1912); LIPPOLD: GrPl. 23 f.; EAA II 539 «Cheirisophos» (GUERRINI 1959); KP I 1142 Nr. 3 «Cheirisophos» (RUMPF 1964).

¹⁸ Über die Neuvergoldung des Kultbildes vgl. BCH 17 (1893) 12 (BÉRARD).

¹⁹ Vgl. RE. III 2221 Nr. 3 (ROBERT); JEX-BLAKE und SELLERS zu Plin. n. h. 34, 83. 8.

²⁰ Zur Vervollständigung sei auf Xenophilos und Sraton (Paus. II, 23, 4) hingewiesen, die etwa in der Mitte des zweiten Jahrhunderts v. u. Z. ihre Statuen neben die von ihnen gefertigten Kultbilder des sitzenden Asklepios und der stehenden Hygieia zu Argos aufstellten. Vgl. BRUNN: GrK. I, 420, FRAZER III 204 f.; HITZIG—BLUEMNER 2. Hdb. 592.

²¹ Vgl. W. KLEIN: Bathykles, AEM. 9, 1885, 145 ff.; BRUNN: GrK. I 52 ff., 57, 59; FRAZER III 351 ff.; HITZIG—BLUEMNER, 2. Hdb. 811 f., 825; RE. III 124 ff. «Bathykles» (AMELUNG 1909); G. KARO: Greek Personality in Archaic Sculpture, Cambr. (Mass) 1948, 164 ff.; LIPPOLD: GrPl. 55 f.; EAA. II 17 f. (AMORELLI 1959); KP I 841 «Bathykles» (RUMPF 1964).

stellen sind,²² darüber ist ebensowenig eine genauere Aussage zu machen, wie über das «Selbstporträt» des Kreters Cheirisophos. An der Richtigkeit der Nachricht kann indessen nicht gezweifelt werden, denn Pausanias nennt in seiner Beschreibung eine Fülle von Göttern und mythologischen Figuren, die, teils als Rundplastiken, teils in erzählenden Szenen auf Reliefs dargestellt, den Thron schmückten. Aus diesem Rahmen fallen die Magnesier als Darstellungen historischer Persönlichkeiten heraus. Das muß zu denken geben. Es handelt sich hierbei sehr wahrscheinlich nicht um eine unbegründete Vermutung von «Fremdenführern»,²³ die Pausanias kritiklos in sein Werk aufgenommen hat. Auch die Identifizierung mancher der von Pausanias mit Sicherheit benannten mythologischen Szenen oder Gestalten dürfte nicht allein auf einer bloßen Inhaltsdeutung basieren, sondern könnte auf erklärenden Beischriften beruhen, die bereits den Spartanern des sechsten Jahrhunderts zum Verständnis nötig gewesen waren. Derartige schriftliche Inhaltsbezeichnungen waren in archaischer Zeit üblich, wie die Beischriften auf Vasen, auf der Kypseloslade, auf den Metopen des Sikyonierschatzhauses u. a. beweisen. Vorstellbar wäre es beispielsweise auch, daß die Mitarbeiter des Bathykles durch Attribute als Handwerker gekennzeichnet waren.²⁴ Gegen eine Darstellung lebender Persönlichkeiten auf sakralen Gegenständen im sechsten Jahrhundert sind keine grundsätzlichen Einwände geltend zu machen. Es war üblich, sowohl die Namen der Weihenden als auch die der Künstler an den Werken selbst anzubringen. Warum sollte dann nicht auch eine bildliche Darstellung hinzugefügt worden sein, zumal wenn es die Umstände, wie sie beim amykläischen Thron gegeben waren, erlaubten? Wir hätten in den Mitarbeitern des Bathykles am Thron zu Amyklai letzten Endes nur die gleiche Verhaltensweise zu konstatieren, die den Cheirisophos veranlaßte, seine eigene Statue unmittelbar neben das von ihm geschaffene Kultbild zu stellen. In gleiche Richtung zielt die von Pausanias (3, 18, 9) erwähnte Weihung eines Agalma der Artemis Leukophryene durch Bathykles, das er vermutlich selbst angefertigt hatte²⁵ und da_s

²² Paus. 3, 18, 14. ἀνωτάτω δὲ χορὸς ἐπὶ τῷ θρόνῳ πεποιήται, Μάγνητες οἱ συνεργασμένοι Βαθυκλεί τὸν θρόνον. Sie wurden als Rundplastiken gedeutet von FURTWÄNGLER: MW 704; HITZIG—BLUEMNER: 2. Hdb. 824; FIECHTER: JdI. 33 (1918) 204; BUSCHOR und v. MASSOW: AM 52 (1927) 84; G. KARO: Greek Personality 168; als Reliefs von W. KLEIN: Bathykles, AEM 9, 1885, 157; O. SAUER: Anfänge der statuarischen Gruppe. Leipzig 1887. 16 Anm. 62.

²³ So PFUHL: Anfänge 24.

²⁴ Etwa in der Art, wie sich nach Plin. n. h. 34, 83 Theodoros von Samos mit einer Feile in der Hand darstellte oder der Töpfer auf einem Weihrelief von der Akropolis (DICKINS Kat. 1332), dessen Spezialistentum durch zwei Gefäße ausgewiesen wird. Vgl. H. SCHRADER: Die archaischen Marmorbildwerke der Akropolis. Frankfurt/M. 1939. Nr. 422, S. 301 f., Tf. 176; vgl. auch B. SCHWEITZER: Der Bildende Künstler und der Begriff des Künstlerischen in der Antike. (1925), Ausg. Schriften I 27; LIPPOLD: Porträtstatuen 9; ders.: GrPl. 85 Anm. 11; A. P. RAUBITSCHKE: AJA 46 (1942) 245 ff.; ders.: Dedications from the Athenian Akropolis. Cam. (Mass.) 1949. Nr. 70; BEAZLEY: Potter and Painter 22.

²⁵ Vgl. LIPPOLD: GrPl. 56.

ebenso wie die Chariten seinen Dank für die Vollendung des Thrones bekunden sollte.

In den beiden eben besprochenen Fällen handelt es sich um Nachrichten, die von Selbstdarstellungen lebender Künstler in monumentaler Form berichten. Anders ist das auf Bupalos und Athenis²⁶ bezogene Zeugnis des Plinius (n. h. 36, 11 ff.)²⁷ zu interpretieren. Diese Künstler waren die Abkömmlinge eines berühmten Bildhauergeschlechtes und wurden wegen ihrer Geschicklichkeit der Ruhm der Familie. Plinius (n. h. 34, 12) erwähnt ein Epigramm aus Delos, das Ausdruck ihres hohen Selbstbewußtseins war: die Insel Chios wäre nicht nur durch ihre Reben berühmt, sondern auch durch die Werke der Söhne des Archermos.²⁸

Die Quellen²⁹ wissen davon, daß zwischen den Bildhauern und dem Dichter Hipponax, dessen Akmé nach Plinius und dem Marmor Parium um 541/0 anzusetzen ist, persönliche Streitereien bestanden und sie einander jeweils durch ihre Kunst Schaden zuzufügen suchten. So wird nun berichtet, die Bildhauer hätten in einer Darstellung die Häßlichkeit des Hipponax dem öffentlichen Spotte preisgegeben.³⁰ Es ist schwer vorstellbar, daß sie das in großplastischer Form taten. Viel eher kann an eine Karikatur gedacht werden. Vielleicht handelte es sich sogar um eine häufiger wiederholte und variierte Darstellung, die Bupalos dem Dichter zum Hohne improvisierte. Wir wissen von Athenaios (12, 552 c f), daß Hipponax einen kleinen dünnen Körper besaß. Eine Karikatur wurde möglicherweise bereits durch das Äußere des Dichters

²⁶ Vgl. BRUNN: GrK. I 38 ff.; II 324, 344; JEX-BLAKE und SELLERS zu Plin. n. h. 36, 11 ff.; SQ 314—319; RE. II 2042 f. «Athenis» (ROBERT 1896) und RE. III 1054 «Bupalos» (ROBERT 1899); AlBildK. 2. Bd., 210 f. «Athenis» (AMELUNG 1908); 5. Bd., 237 «Bupalos» (AMELUNG 1911); R. HEIDENREICH: Bupalos und Pergamon, AA. 1935, 668 ff.; A. RUMPF: Zu Bupalos und Athenis, AA. 1936, 52 ff.; BOETHIUS (s. Ann. 14), 219 und Anm. 3; LIPPOLD: GrPl. 62 f.; EAA. I 881 «Athenis» (MARABINI MOEVS 1958); II 156 «Bupalos» (CATTERUCCIA 1959); KP I 704 «Athenis» und 971 «Bupalos» (RUMPF 1964).

²⁷ *Cum hi (Dipoenus et Scyllis) essent, iam fuerat in Chio insula Melas sculptor, dein filius eius Micciades, ac deinde nepos Archermus, cuius filii Bupalus et Athenis vel clarissimi in ea scientia fuere Hipponactis poetae aetate, quem certum est LX. olympiade fuisse, quodsi quis horum familiam ad proavom usque retro agat, inveniat artis eius originem cum olympiadum initio coepisse. 12. Hipponactis notabilis foeditas voltus erat, quamobrem imaginem eius lascivia iocorum hi proposuere ridendum circulis, quod Hipponax indignatus destrinxit amaritudinem carminum in tantum, ut credatur aliquis ad laqueum eos compulisse, quod falsum est.*

²⁸ Vgl. JHS 59 (1939) 282 (BEAZLEY). Als etwaige Parallele zu dem ehiischen Epigramm der Künstler kann die Inschrift gelten, die das Gemälde kommentierte, das der Samier Mandrokles als Architekt der Bosphorusbrücke vom Lohn des Dareios anfertigen ließ und im samischen Heratempel weihte. (Herod. IV, 88). Vgl. BRUNN: GrK. II 55, 369; PFUHL: MZ. I 538; G. RODENWALDT: Gnom. 7 (1931) 295.

²⁹ Die Spottverse des Hipponax vgl. DIEHL: Anth. Lyr. Graec. fasc. 3 frgg. 1, 13, 15, 20, 70; II 4; VI 18 bedenken vor allem Bupalos. Sie könnten eventuell an einen Streit anknüpfen (so LESKY 136), in dessen Verlauf auch die Karikatur eine Rolle gespielt haben könnte.

³⁰ Neben Plin. n. h. 36, 12 berichtet Helenius Aeron zu Hor. Epod. VI, 13 f. und die Suda (Hipponax) von einem verspottenden Bilde des Dichters. Beide Quellen gehen aber vielleicht auf Plinius selbst zurück. Vgl. AA. 1935, 669 (HEIDENREICH).

nahegelegt.³¹ Diese Deutung wird durch scharf charakterisierende Menschen-darstellungen in der Kleinkunst gestützt und läßt vermuten, daß man eine derartige Fähigkeit nicht nur zur Bezeichnung von allgemeinen Typen einsetzte, sondern auch in bewußter Bildnisabsicht. Dieses Zeugnis allein läßt aber — das soll ausdrücklich betont werden — noch keinerlei Schlüsse auf den Individualitätsgehalt der beiden vorausbesprochenen großplastischen Denkmäler zu.

Anders verhält es sich mit der von Plinius (n. h. 34, 83)³² überlieferten Nachricht über ein Selbstbildnis des Samiers Theodoros.³³ Plinius spricht ausdrücklich von der wunderbaren Ähnlichkeit, die das Bild ausgezeichnet habe. Mit dieser Aussage läßt sich indessen nicht entscheidend argumentieren, denn es darf sicher angenommen werden, daß Plinius das Werk nicht selbst gesehen hat.

Außer diesem sachlich nicht weiterführenden Werturteil gibt Plinius jedoch eine detaillierte Beschreibung der Statue. Er berichtet, daß Theodoros in der einen Hand eine Feile gehalten habe, die nicht anders denn als Berufs-attribut zu verstehen ist. Dieses Zeugnis gibt einen Hinweis darauf, daß die Aussage der gesamten Statue insofern vom Normativen archaischer Bildwerke abwich, als hier eine nähere Charakterisierung gegeben wurde, die nicht am sonst üblichen Adelsideal orientiert war, sondern sich vielmehr von ihm absetzte. Mit der Feile als Attribut des Thoreuten bekannte sich der Künstler zu seinem Stand. Durch die Beigabe, die Theodoros in der anderen Hand hielt, wurde diese Aussage noch betont. Ohne Zweifel handelte es sich bei dem Vier-gespann, das von den Flügeln einer Fliege verdeckt wurde, um ein Kleinkunst-werk, das die artistische Fertigkeit seines Meisters bezeugen sollte.³⁴

³¹ Eine ausführliche Zusammenstellung besonders der älteren Gelehrtenmeinungen gibt G. HEJZLAR in *Charisteria Novotný* 187 f. H. denkt 188 in der Karikatur des Hipponaxbildnisses «an eine Übertreibung irgendeines physiognomischen Details». Es ist nicht nötig, die Karikatur aitiologisch aus den Gedichten des Hipponax zu erschließen (LIPPOLD: GrPl. 63 Anm. 3). Der Vorschlag JEX-BLAKE und SELLERS zu Plin. n. h. 36, 12, in den archaischen Statuen der Bildhauer, die den späteren Generationen simply grotesque erschienen wären, hätte man den Grund zu dem Streit gesehen, erscheint nicht stichhaltig. Eher leuchtet der Gedanke BINSFELDS, Grylloi 6 f. ein, daß Hipponax selbst die Karikatur erwähnt haben könnte. RUMPF (AA. 1936. 55) dagegen hält es nicht für möglich, daß Hipponax den Grund des Hasses selbst mitgeteilt habe.

³² *Theodoros, qui labyrinthum fecit, Sami ipse se ex aere fudit, praeter similitudinis mirabilem famam magna suptilitate celebratus; dextra limam tenet, laeva tribus digitis quadrigulam tenuit translata Praeneste, tante parvitas ut miraculo pictam (fictam) eam currumque et aurigam integeret alis simul facta musca.*

³³ Seit BRUNN: GrK. I 30 ff. überwiegt in der Forschung die Annahme nur eines samischen Künstlers Theodoros. Vgl. HITZIG—BLUEMNER: 2. Hdb. 777; BUSCHOR: AM. 55, 1930, 49; RE. 2. R. 10. Hdb., 1917, Nr. 195 (LIPPOLD 1934); AlBildK. 32. Bd. 597 (ZÜCHNER 1938). Zwei Künstler dieses Namens nahmen an: FURTWÄNGLER: MW. 722 Anm. 4; FRAZER IV 238; CH. PICARD: Man. d'arch. gr., La sculpture I, Per. arch. Paris 1935, 542 f.; AlBildK. 32. Bd. 598 (BIEBER 1938).

³⁴ Wie man sich das Viergespann, das von einer Fliege verdeckt wurde, vorzustellen hat, ist umstritten: als Gemme (in Parallele zu dem von ihm gefertigten Ring des Polykrates), in Form eines Skarabäus (JEX-BLAKE und SELLERS zu Plin. n. h. 34, 83, 10 halten aber auch ein mikrotechnisches Wunderwerk der Goldschmiedekunst für möglich; O. BENNDORF: Ztschr. f. öst. Gymn. 1873, 401 ff.; OVERBECK: GgrPl. I 79; COLLIGNON:

Ein Blick auf die sonst noch überlieferten persönlichen Leistungen des Künstlers macht es glaubhaft, daß die hier vorgetragene Interpretation begründet ist.³⁵ Theodoros von Samos gehörte wegen seiner Vielseitigkeit und seines

Pl. I 169; KLEIN: GrK. I 198; SPRINGER—MICHAELIS—WOLTERS: Die Kunst des Altertums, Leipzig 1923¹², 194 f.; BUSCHOR: AM. 55, 1930, 49; *ders.*: Alts. Standb. Berlin 1934. 43; *ders.*: Porträt 91) in Parallele zu der Verbindung des Theodoros mit Ägypten und der Übernahme des Erzgusses von dort. Die dritte Version, daß es sich um ein mikrotechnisches Wunder der Schmiedekunst gehandelt hat, leuchte am ehesten ein. (HITZIG—BLUEMNER: 5. Hdb. 162; FURTWÄNGLER: AG. III 82; LIPPOLD: Porträtstatuen 8 Anm. 5; *ders.*: RE. 2. R. 10. Hdb. 1919; AlBildK. 32. Bd. 598 (BIEBER); LIPPOLD: GrPl. 59). Daß dieses Attribut nach Praeneste gelangt sein soll, ist unglauwürdig. (KLEIN: GrK. I 198 stimmt BENNDORF: Ztschr. f. öst. Gymn. 1873, 401 ff. zu, der für Praeneste *ἐπὶ τῷ πρᾶνεί* Stellung des Viergespannes auf dem Skarabäus — im Urtext annimmt. Vgl. FURTWÄNGLER: AG. III 82 Anm. 1; JEX-BLAKE und SELLERS zu Plin. n. h. 34, 83, 11). Als Parallele zu diesem Kleinkunstwerk sei auf den delischen Apollon der Dipoinos- und Skyllis-Schüler Tektaios und Angelion hingewiesen, der die Chariten auf seiner Hand trug; diese hielten Leier, Flöten und Syrinx; die Rechte des Gottes faßte den Bogen. Vgl. dazu Paus. I, 32, 5; BRUNN: GrK. I 50 f.; LIPPOLD: GrPl. 45 Anm. 3 — dort Literatur- und Quellenangaben).

³⁵ Theodoros war einer der führenden Architekten seiner Zeit: Mit Rhoikos baute er das Heraion III zu Samos (Plin. n. h. XXXIV 83); nach Vitruv 7 *praef.* 12 verfaßte er eine Schrift über das Heraion; nach einer einleuchtenden Kombination von BUSCHOR (AM. 55 [1930] 49 ff.) ist mit dem von Plin. n. h. XXXVI, 90 erwähnten lemnischen Labyrinth der Heratempel *ἐν λίμναις* zu Samos gemeint (ebenso schon FURTWÄNGLER: MW. 722 — vgl. Literatur Anm. 3; JEX-BLAKE u. SELLERS zu Plin. n. h. XXXIV 83, 8; R. EILMANN: Labyrinthos. Diss. Halle 1928. Athen 1931. 84 ff.; RE. 2. R. 10. Hdb. 1918 (LIPPOLD 1934), als dessen Architekten der gleiche Verfasser n. h. XXXIV 83 wieder unter Verwendung von Labyrinth Theodoros ausdrücklich nennt. Bei der Fundamentierung des Artemisions von Ephesos wird Theodoros herangezogen, wohl weil er auf Grund seiner samischen Erfahrungen als Spezialist auf diesem Gebiete galt (Diog. Laert. II 103; Plin. n. h. XXXVI 95 — ohne Namensnennung —; Hesych. Miles., *de vir. illustr.* fr. 34 — Müller FGH; August., *de civ. Dei* 31, 4). Nach Paus. III 12, 10 baute er die Skias zu Sparta (vgl. HITZIG—BLUEMNER 2. Hdb. 776). Wie bereits erwähnt, schrieb er eine theoretische Abhandlung über das samische Heraion. Auf dem Gebiet der Architektur werden ihm eine Reihe von technischen Erfindungen zugeschrieben: Plin. n. h. VII 198 erwähnt die Erfindung von Winkelmaß (*norma*), Wasserwaage (*libella*) und Drehbank (*tornus*) zum Abdrehen der Säulentrommeln (vgl. ÖJh. 8 [1905] 1 ff. — PERNICE) und des Schlüssels (*clavis*).

Auch als Erzgießer hat sich Theodoros besonders hervorgetan. Ihm wird geradezu die Erfindung des Erzgusses — wohl des Wachserzgusses — zugeschrieben (vgl. Plin. n. h. XXXV 152; Paus. III 12, 10; VIII 14, 8; IX 41, 1; X 38, 5 — vgl. dazu folgende Literatur: HITZIG—BLUEMNER 2. Hdb. 777; JdI 44 (1929) 1 ff. (KLUGE); CH. PICARD: Man. d'arch. gr., La sculpture, I. Per. arch., Paris 1935, 179 ff.; AlBildK. 32. Bd. 598 (BIEBER).

Ein Paradestück seiner Kunstfertigkeit lieferte er anscheinend bei der Herstellung des ehernen Apollon Pytheos: die eine Hälfte der Figur goß er selbst in Ephesos, die zweite sein Vater Telekles auf Samos (Diod. I 90; Athenag., leg. pro Christ. p. 19, 11 sq. (SCHWARZ)). Für möglich halten diese Überlieferung FURTWÄNGLER: MW 713 f.; JdI 44 (1929) 29 (KLUGE); B. SCHWEITZER: Xenokrates von Athen, Sehr. d. Königsberger Gel. Ges. Geisteswiss. Kl. 9, Heft 1, 1932, 26; RE. 2. R. 10. Hdb. 1919 (LIPPOLD).

Auch als Kunsthandwerker hat er sich betätigt. Davon zeugt ein goldener Weinstock mit Trauben aus eingeleigten Edelsteinen (Ilm., ap. Phot. p. 375b (BECKER); Plin. n. h. XXXIII 51 — ohne Namensnennung; vgl. dazu P. JACOBSTAHL: Ornamente griechischer Vasen. Berlin, 1927. 102 u. 172). Eine seiner berühmtesten Arbeiten war der Ring des Polykrates (Herod. III 41; Paus. VIII 14, 8; Strab. XIV p. 638; Clem. Alex., Paed. III 59, 2; Tzetz. Chil. VII 210 sqq.; ohne Künstlerangabe Plin. n. h. XXXVII 4. u. 8; vgl. dazu FURTWÄNGLER: AG. III 81). Für Kroisos fertigte er einen riesigen silbernen Krater an, den dieser in Delphi weihte (Herod. I 51). Ein goldener Krater von seiner Hand befand sich im Besitze der Perserkönige (Athen. XII. p. 514^F FGrHist. II 152 F 2).

Erfindergeistes zu den berühmtesten Künstlern seiner Zeit. Dieser universale Meister, der nur mit den Großen der Renaissance verglichen werden kann, arbeitete für den Tyrannen von Samos, den Lyderkönig Kroisos und für die Perserkönige. Er war in Samos, Ephesos und Sparta tätig. Theodoros gehörte zu den archaischen Weltbürgern, die auf sich gestellt im Bewußtsein ihres Wertes lebten und höchste technische und künstlerische Leistungen zeigten, die ihren Namen schon zu Lebzeiten in ganz Griechenland berühmt machten.³⁶

Plinius legt bei der Beschreibung der Statue des Theodoros großen Wert auf die Attribute. Sie sind, ganz abgesehen von ihrer handwerklichen Vervollendung, die sie für Plinius erwähnenswert gemacht hat, außerordentlich wichtig für die Deutung des Werkes als Porträt. In diesen Beigaben wurde die künstlerische Bedeutung des Theodoros eingefangen, die die Basis seiner gesellschaftlichen Wertschätzung ausmachte, so daß diese äußerlichen Attribute seine Persönlichkeit in ihrer Besonderheit und ihrem Wert deutlicher bezeichneten, als es durch die Wiedergabe seiner körperlichen Erscheinung allein möglich gewesen wäre.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch in der Gesamtdarstellung vom Typus abgewichen worden war, denn es sprach sich in dieser Statue ja nicht eine Persönlichkeit aus, die das Adelsideal als für sich verbindlich ansah. Wenn auch Plinius Urteil über die *similitudo mirabilis* nicht ohne weiteres glaubhaft erscheint, könnte seine Nachricht doch einen Funken Wahrheit enthalten.³⁷ Möglicherweise fand er in diese Richtung weisende Angaben in seinem uns unbekannten Gewährsmann, die er dann unbedenklich interpretiert und verwendet hat.

Die Porträtstatue des Theodoros wird man sich am ehesten im Typus der ionischen Gewandfiguren vorstellen können; möglicherweise engten nur die bezeichnenden Attribute das sonst noch weitgehend gewährte Schema ein. Die Charakterisierung des Theodoros als Toreut und Kunstschmied war einer Typusbezeichnung insofern noch verwandt, als ja gleichzeitig ein bestimmtes Handwerk, eine bestimmte Kunstsparte dargestellt war, die unabhängig von Theodoros sehr ähnlich an anderen Künstlerstatuen verifiziert werden konnte.

Trotz aller gebotenen Zurückhaltung in der Ausdeutung der nur schriftlich überlieferten Sachverhalte sind diese wenigen Schriftzeugnisse, die von archaischen Selbstdarstellungen berichten, für das Problem der Anfänge einer auf das Individuum zielenden griechischen Porträtkunst von nicht zu unter-

³⁶ Vgl. B. SCHWEITZER: *Der Bildende Künstler und der Begriff des Künstlerischen in der Antike* (1925) Ausgew. Schriften. Tübingen 1963, I 26.

³⁷ LIPPOLD: *RE* 2. R. 10. IIbd. 1919: die Porträtähnlichkeit sei nicht wörtlich zu nehmen, die spätere Zeit hätte die Berühmtheit der Statue nur aus ihrer Ähnlichkeit erklären können. Vgl. auch F. KOEPP: *GGA*. 189, 1927, 375; K. SCHEFOLD: *Die Bildnisse der antiken Dichter, Redner und Denker*, Basel 1943, 11; K. MAJEWSKI: *Demetrios z Alopeke, Poczatki Portretu Greckiego*, *Rocznik Zakladu Narodowego Imienia Ossolinskich* III 1948, 363; G. KARO: *Greek Personality* 208 spricht von einer «courageous tale, open to considerable doubt».

schätzender Wichtigkeit.³⁸ Sie weisen nämlich Gemeinsamkeiten auf, die für ihre Wertung bedeutsam sind. Die Quellen berichten bis auf die Ausnahme des Kreters Cheirisophos von Künstlern, die dem ionischen Kulturkreis zuzurechnen sind und außerdem hochberühmt waren. Ihre soziale Stellung gründete sich ganz auf die eigene Tüchtigkeit und war nicht abhängig von einem bestimmten Auftraggeber; sie waren freizügig auf Grund ihrer künstlerischen Fähigkeiten.

Ebenfalls nicht als zufällig kann es aufgefaßt werden, daß die in den Quellen genannten Statuen bildender Künstler in unmittelbarer Nähe der von ihnen geschaffenen bedeutenden Werke aufgestellt waren. Die Selbstporträts der Künstler sind an ihre Werke gebunden und erhalten von ihnen ihren eigentlichen Sinn.³⁹ So stellte Cheirisophos seine Statue neben das von ihm verfertigte Kultbild des Apollon, die Magneten des Bathykles schmückten den amykläischen Thron, der ihren Ruhm bedeutete, und Theodoros weihte nach der Vollendung des Heraions seine selbstgegossene Statue, die seinen Berufsstand und sein Künstlertum bezeugte. Das betonte Bekenntnis zu seinem sozialen Stand durch die Attribute ist freilich nur für die Statue des Theodoros direkt überliefert, kann aber auch für die des Cheirisophos und für die Darstellung der Magneten vermutet werden.

Es ist das der Ausdruck ihres Selbstbewußtseins, das gleichzeitig ein Standesbewußtsein ist. Diese ionischen Künstler bildeten ein bürgerliches Lebensgefühl aus, das sie zu Selbstdarstellungen führte, die sich von dem aristokratischen Ideal unterschieden. Es handelte sich dabei um ein bewußtes Absetzen vom Adelsideal und die Unterscheidung kann nicht etwa als bloße Naivität verstanden werden, das bezeugen als Parallelen die antiaristokratischen Tendenzen beispielsweise bei Archilochos, der einem krummbeinigen, aber tüchtigen Offizier durchaus den Vorzug vor einem wohlgestalteten, aber un-

³⁸ Folgende Quellen sind für eine Auswertung in unserem Zusammenhang nicht direkt verwertbar: Plin. *n. h.* XXXV 151 f.; Athenag. *legat. pro Christ.* 14 p. 59 f. (SQ. 259–61) erwähnen den sikyonischen Töpfer Butades, der in Korinth ein Reliefporträt aus Ton angefertigt haben soll, das bis zur Zerstörung der Stadt aufbewahrt wurde. Obwohl die Erzählung im einzelnen phantastisch klingt, braucht sie nicht völlig erfunden zu sein, zumal Plinius noch von anderen Erfindungen zu berichten weiß (der Herstellung von plastischen Stirnziegeln und der Rötelbeimischung zum Ton). Vgl. BRUNN: GrK. I 23; OVERBECK: GrPl. I 75 f.; COLLIGNON: Pl. I 230; KP. I 974 «Butades» mit Literaturangaben (RUMPF 1964).

Athen. XII p. 533 c spricht von einer Dionysosstatue zu Athen, die die Züge des Peisistratos getragen haben soll. Diese Angabe ist von höchst zweifelhaftem Wert; Athenaios gibt hier nicht, wie sonst häufig, seine Quelle an; möglicherweise verdankt er diese Nachricht einem Lexikographen. Vgl. F. TAEGER: *Charisma, Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes*. I. Stuttgart 1957. 84. Die Erzstatue eines Kitharoden, die Polykrates im Heraion von Samos aufstellte (Apul., Florida XV) und die als Bathyllos oder Pythagoras gedeutet wird, war vermutlich im Kurosschema gebildet. Vgl. dazu KARO: *Greek Personality* 209, LIPPOLD: GrPl. 59 und Anm. 12; RE. III 137, 34 (CRUSIUS 1899).

³⁹ SCHWEITZER: *Studien 2*: «Das eine wie das andere, die Gemeinschaft und die Taten und Werke werden im Porträt mitgebildet, ja sie bestimmen erst das Volumen des Bildnisses». (Diese Stelle bezieht sich jedoch auf die Porträts des fünften Jahrhunderts.)

fähigen gab,⁴⁰ oder bei Xenophanes, der Kritik an dem aristokratischen Sport übte und dem denkenden Menschen den Vorzug vor dem Athleten gab.⁴¹

Das Individualbewußtsein, das sich so leicht auf den übrigen Gebieten der archaischen Kultur nachweisen läßt und das sich zuerst in Ionien als dem gesellschaftlich am weitesten fortgeschrittenen Gebiet der griechischen Welt ausprägte,⁴² läßt sich also auch in der bildenden Kunst in den vorgestellten Selbstdarstellungen archaischer bildender Künstler wenigstens in Ansätzen spüren.

Für die Entwicklung einer realistischen griechischen Porträtkunst sind diese wenigen Schriftzeugnisse insofern wichtig, als hier stärker auf das Individuum zielende Bildnisse nachweisbar sind, die aus einer sozialen Schicht erwachsen, die ohne die hemmende Tradition des Adels war, aber auf Grund ihres gesellschaftlichen Aufstieges neue Wege auch in der Kunst gehen konnte. Es ist naheliegend, daß die berühmten, selbstbewußten ionischen Bildhauer als erste diesen Weg beschritten haben, der später zum realistischen Porträt in der Frühklassik führen sollte.

Jena.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Außer den in den bisher erschienenen Bänden des Handbuches der Archäologie, München 1939 ff. angeführten Abkürzungen werden in vorliegender Arbeit folgende verwendet:

BIELEFELD: AA. 1962 = E. BIELEFELD: Aus skandinavischen Museen, AA. 1962, 71 ff.
BINSFELD: Grylloi = W. BINSFELD: Grylloi, Ein Beitrag zur Geschichte der antiken Karikatur, Diss. Köln 1956.

BUSCHOR: Bildnisstufen = E. BUSCHOR: Bildnisstufen, München 1947.

BUSCHOR: Porträt = E. BUSCHOR: Das Porträt, Bildniswege und Bildnisstufen in fünf Jahrtausenden, München 1960.

COLLIGNON: Pl. I = M. COLLIGNON: Geschichte der griechischen Plastik, I. Straßburg 1897.

DIEHL: Anth. Lyr. Graec. = E. DIEHL: Anthologia Lyrica Graeca, fasc. 1–3, Leipzig 1952–54³.

EAA. = Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale, Rom 1958 ff.

FRAZER = J. G. FRAZER: Pausanias' Description of Greece, London 1898.

HITZIG—BLUEMNER = H. HITZIG und H. BLUEMNER, Pausaniae Graeciae Descriptio. Leipzig 1907.

JAEGER: Paideia I. = W. JAEGER: Paideia, Die Formung des griechischen Menschen, I. Bd. Leipzig und Berlin 1936².

⁴⁰ DIEHL: Anth. Lyr. Graec. fasc. 3 Archilochos fr. 60; vgl. AA. 1936, 54 (RUMPF); LESKY 132 ff.

⁴¹ W. CAPELE: Die Vorsokratiker, Berlin 1958, 119, 18. Xenophanes Kritik ist umfassend. Sie schließt die Welt des Mythos ebenso ein wie die Epen Homers und Hesiods oder den antropomorphen Polytheismus. Vgl. W. CAPELE: Die Vorsokratiker, 119 ff.; S. LURIA: Anfänge griechischen Denkens, Berlin 1963, 49 ff.

⁴² JdI 33 (1918) 242 und Anm. 12 (FIECHTER); JAEGER: Paideia I 141 ff.; SCHWEITZER: Studien 19; E. AKURGAL: Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, Berlin 1961, 218 ff. und Anm. 2; gegen die Unterschätzung der Wertung des Individuums in Attika: KARUSO: Aristodikos 38 f.

- JEX-BLAKE u. SELLERS = J. JEX-BLAKE und E. SELLERS: The Elder Plinys Chapters on the History of Art, London 1896.
- KP = Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike, I., Stuttgart 1964.
- KARUSOS: Aristodikos = CHR. KARUSOS: Aristodikos, Zur Geschichte der spätarchaisch-attischen Plastik und der Grabstatue, Stuttgart 1961.
- KLEIN: GrK. = W. KLEIN: Geschichte der griechischen Kunst, Leipzig 1904.
- LAURENZI, RG. = L. LAURENZI: Ritratti Greci, Florenz 1941.
- LESKY = A. LESKY: Geschichte der griechischen Literatur, Bern—München 1963².
- LIPPOLD: Porträtstatuen = G. LIPPOLD: Griechische Porträtstatuen, München 1912.
- LIPPOLD: GrPl. = G. LIPPOLD: Die griechische Plastik, HdArch. III, München 1950.
- MEYER: GdA. III. u. IV/1 = E. MEYER: Geschichte des Altertums, III, Darmstadt 1954³, IV/1, Darmstadt 1954⁵.
- OVERBECK: GgrPl. I. = J. OVERBECK: Geschichte der griechischen Plastik, I. Bd., Leipzig 1893⁴.
- PFUHL: Anfänge = E. PFUHL: Die Anfänge der griechischen Bildniskunst, Ein Beitrag zur Geschichte der Individualität, München 1927.
- SCHMID—STÄHLIN: GdgrLit. = O. SCHMID und W. STÄHLIN: Geschichte der griechischen Literatur, I/1, München 1929.
- SCHWEITZER: Studien = B. SCHWEITZER: Studien zur Entstehung des Porträts bei den Griechen, SächsGesAb. 91. Bd., 1939, 4. Heft, Leipzig 1940.
- SCHWEITZER: Act. Mad. III. = B. SCHWEITZER: Griechische Porträtkunst, Probleme und Forschungsstand; Bedeutung und Geburt des Porträts bei den Griechen, Acta Congressus Madvigiani, III. Bd. Kopenhagen 1957. (= Ausgewählte Schriften, II. Bd., Tübingen 1963, 168 ff.).
- STUDNICZKA: Anfänge = F. STUDNICZKA: Die Anfänge der griechischen Bildniskunst, ZBK. 62, 1928/29, 121 ff.

F. SCHACHERMEYR

DIE GRIECHISCHE POLIS ZUR ZEIT DER FRÜHEN KLASSIK (510 bis 460)

In meinem 1966 erscheinenden Buch über die Frühe Klassik der Griechen habe ich, vom Standpunkt meiner Kulturmorphologie aus, eine Definition des Begriffes «Klassik» gegeben. Danach würde dieser Ausdruck eine Harmonisierung der Kulturwerte im Sinne einer *coincidentia oppositorum* auf höchster, eben noch erreichbarer Ebene bedeuten. Hierdurch soll folgendes zum Ausdruck kommen: In den meisten menschlichen Kulturen blieb das Prinzip der inneren Harmonie der einzelnen Sparten durch die gesamte Entwicklung gewahrt, so z. B. in allen orientalischen Gesittungen. Anders verhielt es sich nur mit den Kulturen der Griechen, der Römer und mit denen des Abendlandes. Nur hier stellen wir nämlich das Phänomen eines ganz exorbitant hohen Aufschwunges fest und gleichzeitig eine schier beängstigende Zunahme der kulturellen Eigendynamik in allen Einzelsparten. Hierdurch wird deren Harmonisierung immer schwieriger, bis auf einer letzten Höhe die immer selbständiger sich gebärdenden Einzelsparten gerade noch ein letztes Mal durch höchste Geistesleistungen und höchsten Optimismus zusammengehalten werden. Diese letzte große Vereinigung bezeichne ich dann als «Klassik». Sie bedeutet in einer aufs höchste gesteigerten Entwicklung ein höchstes und reichstes, reifstes und letztes gerade noch mögliches Harmonisierungssystem und einen höchsten und letzten Optimismus.

Jenseits dieser klassischen Stufe nimmt das Autonomiestreben der kulturellen Einzelsparten so überhand, daß ihre Harmonisierung bereits unmöglich ist. Die Kulturinteressen streben schon allzu sehr auseinander. Was unmittelbar auf die Klassik nun folgt, erweist sich begreiflicherweise als Enttäuschung und Ernüchterung, ja führt mitunter zu Pessimismus. In diese neue Stimmung gerieten in der Generation, welche sich des Scheiterns der Klassik noch unmittelbar bewußt war, vor allem die geistig höher stehenden Kreise. Oberflächliche Naturen fanden sich mit dieser Wandlung natürlich weit leichter ab. In künstlerischer Hinsicht drückt sich die Preisgabe bzw. der Verlust des klassischen Geistessystems aber durch eine Haltung aus, die ich — der Terminologie der deutschen Literaturgeschichte folgend — als «Realismus» bezeichne.

Was aber die Klassik, so wie ich diesen Begriff auffasse, angeht, so möchte ich mit Nachdruck darauf hinweisen, daß ich diese Ära keineswegs besonders anpreisen will, ich möchte mich auch nicht «auf ihre Seite stellen», es wird mir vielmehr genügen, wenn es mir gelingt, sie nach ihren Merkmalen zu erkennen und zu beschreiben.

Dabei lassen sich, wie mir scheint, in der griechischen Klassik drei Unterstufen unterscheiden:

Für die Frühklassik wurde durch die Begründung der kleisthenischen Demokratie gleichsam der Grundstein gelegt (ca. 510—507), sie fand ihre Vollendung in der Zeit nach den großen Perserschlächten und ihr Ende mit dem Sturz des Kimon (462), mit dem Tod des Aischylos und mit der Vollendung des Tempels von Olympia. Ihr Harmonisierungssystem hatte den alten Götterglauben zur Basis und die Idee der Polis zum zentralen Wertkomplex.

Die Hochklassik sieht sich durch das Perikleische Zeitalter (462—429) gebildet. In ihr begann sich das Wertzentrum von der Polis weg auf den Menschen verschieben und gleichzeitig lösten sich die Bindungen an die Götter — auch an die Polisgötter — immer mehr.

Die Spätklassik stellt überhaupt kein Harmonisierungssystem mehr dar, sondern nur noch ein Auslaufen der klassischen Kunst, so in den Tragödien des alternden Sophokles und in der Plastik bis Praxiteles.

Ich bin nun der Frage nachgegangen, ob wir nicht auch auf dem Felde der Politik bei den Griechen Züge klassischen Geistes feststellen können. Wenn ich meine Ergebnisse nun kurz umreiße, so bitte ich das in umgekehrter Reihenfolge tun zu dürfen:

Die Zeit der Spätklassik zeigt auf oligarchischer Seite eine völlig unklassische Radikalisierung. Für die Demokraten können wir gelegentlich ähnliches feststellen oder aber einen müden Quietismus. Wohl hat man immer wieder nach einer *coincidentia oppositorum* gestrebt, doch ist es niemals gelungen, eine *patrios politeia* wirklich ins Leben zu rufen. Auch die Reformversuche und Regenerationsvorschläge Platons blieben ohne praktische Folgen. Es will mir daher scheinen, daß die Spätklassik, so bedeutsam sie im Künstlerischen auch ist, mit dem Staatlichen kaum etwas zu tun hatte.

Wie verhält es sich nun mit der Hochklassik? Hier spricht aus dem Wirken des Perikles in der Tat der großartige Wille des klassischen Umfassens und Umfangens. Wir dürfen aber nicht verhehlen, daß der Staatsmann dabei doch einen durchaus einseitigen Standpunkt zugunsten Athens vertrat. Wohl wurde hier der demokratische Gedanke im Sinne einer weiteren Gleichstellung der breiteren Volksschichten erfolgreich gefördert, doch geschah dies mit Hilfe von Ausbeutung einerseits der Bundesgenossen, und mit Hilfe der Sklaven. So kann kein Zweifel darüber herrschen, daß weder das *homo mensura*-Gesetz der Sophisten, noch die Verherrlichung des Humanen durch Sophokles in der praktischen Politik zu einer Linderung des bitteren Loses der Unterdrückten

führte. Da sich damals auch Oligarchie und Demokratie unversöhnlich gegenüberstanden, so gewinnen wir den Eindruck, als ob auch in der Hochklassik die Gesamtheit des Hellenentums in *politicis* von einer *coincidentia oppositorum* nicht viel zu spüren bekam. Nur in Athen gab es die erhabene Ausformung einer lokalen Staatsklassik, doch vermochte sie vor der öffentlichen Meinung aller Griechen noch weniger zu bestehen als der Kosmos von Sparta.

Ganz anders verhält es sich mit dem Staatsleben der Frühklassischen Periode. Als ich mich in den letzten Jahren mit dieser so andachtsvollen und von Verantwortung erfüllten Zeit eingehender beschäftigte, mußte ich erkennen, daß sich das Prinzip der klassischen Harmonie hier nicht nur im Zusammenklingen schöngestiger Kräfte, so in der Plastik des Strengen Stils, in der Malerei Polygnots, im Tempel von Olympia und im Wirken von Aischylos wie Pindar verwirklichte, sondern ganz besonders auch im Staatsleben dieser Zeit. Ich glaube daher, daß wir — wenn überhaupt — gerade hier von einem klassischen Staat sprechen dürfen, einfach weil die damalige Politik für Toleranz, Maßhalten und eine *coincidentia oppositorum* besonders günstig gestimmt war.

Die Beweggründe für diese so loyale Einstellung dürften recht komplexer Natur gewesen sein. Da mag schon die Selbstbefreiung des griechischen Geistes von den Banden der archaischen Naivität und damit zugleich ein Heranreifen zu verantwortungsbewußter Mündigkeit eine beträchtliche Rolle gespielt haben. Dazu gesellte sich aber auch der Wandel der griechischen Kriegsführung, der Übergang vom feudalen Reiterkampf zur Hoplitenschlacht, was die Voraussetzung für die Begründung lebensfähiger Demokratien schuf. Für Athen wurde außerdem die so umfassende Staats- und Kulturpolitik des Kleisthenes in diesem Sinne Richtung gebend. Und schließlich waren es natürlich die Perserkriege mit ihren Gefahren, welche eine Milderung der innergriechischen Gegensätze gebieterisch forderten und alsbald auch segensreich erscheinen ließen.

Wie sehr hier gerade die Perserkriege einwirkten, können wir aus folgendem erkennen: Noch in den Jahrzehnten vor 500 schien sich eher eine Radikalisierung der Standpunkte anzubahnen, was sich einerseits gegen die Tyrannis, andererseits aber auch gegen die Demokratie richtete. Auch die Vernichtung von Sybaris im Jahre 510 zeugt von Radikalismus und Intoleranz.

Mit dem Ionischen Aufstand änderte sich aber die Gesinnung und wir können das erste Zeugnis einer neuen Toleranz darin erkennen, daß Sparta seine Angriffe auf die attische Demokratie einstellte, ja daß es diese sogar anerkannte und mit Athen ein Abwehrbündnis gegen die Perser schloß.

In dieser attischen Demokratie des Kleisthenes, des Miltiades, des Aristides und Kimon scheint mir überhaupt das klassische Streben nach einer *coincidentia oppositorum* in beachtenswerter Weise im Vordergrund zu stehen.

Die vornehmen Geschlechter waren damals ihrer Privilegien wohl schon beraubt, so daß sie sich nicht mehr einem oligarchischen «ich lieg' und besitz'» hingeben konnten, sie wurden hierdurch aber um so mehr angestachelt, sich

durch Leistungen aller Art zugunsten des Staates hervorzutun. Das Volk erwartete diese Leistungen und gab die Bahn dafür frei, nur berief es solche Männer, sobald sie ihr Werk getan hatten, allsogleich ab oder stieß sie geradezu aus.

So kam es in dieser Demokratie zu einem beachtlichen Zusammenspiel der Kräfte:

Die Gesamtheit der *Besitzenden* stellte in der Volksversammlung die Mehrheit — es war eben eine «Hoplitenpolis» —, doch hatten auch die *Besitzlosen* dazu vollen Zutritt und sahen sich seit Salamis als Kriegskameraden voll anerkannt. Allerdings mangelte damals noch eine Finanzierung der Beteiligung der breiteren Massen am Staatsleben.

Die angesehenen Geschlechter aber leisteten nach Kräften gewisse Führungsarbeit, hatten sich aber unter der öffentlichen Meinung zu beugen, über der allein noch die Idee der Polis, verkörpert durch Athene, die Staatsgötter und die Landesheroen, stand.

Wohl zeigten sich unter der Führung des Themistokles gewisse Radikalisierungerscheinungen, zumal damals auch die staatliche Subventionierung der Komödie eingeführt wurde. Unter Kimon stellte sich durch die stärkere Heranziehung des Areopags aber das Gleichgewicht wieder her.

Wir haben es nun mit einem ziemlich ausgewogenen Staat zu tun, ausgewogen zwischen Göttern, Volk, Familie und Einzelwesen, umfassend alle kulturellen Aufgaben, von der Tragödie bis zu Dithyrambenaufführungen, zur Stoa Poikile, zu den Weihungen auf der Akropolis und in Delphi. So könnte man diesen attischen Staat im Sinne Hegels (wenn auch nicht ohne Einschränkungen) als einen Inbegriff aller Sittlichkeit ansprechen.

Für Athen finden wir damals auch Polygnot und Pindar tätig, die attischen Adelsfamilien verschwägerten sich weiter über ganz Hellas hin. Der Nationalgedanke verband eine friedliche Staatenwelt.

Im Sinne des Aristides und des Kimon lag auch eine gewisse Toleranz gegenüber den Bundesgenossen des *attischen Seebundes*. Wohl hielt man strenge Zucht, verzichtete aber noch auf Eingriffe in die Verfassungen der Bündner und garantierte ihnen die Sicherheit vor persischen Angriffen.

Eine besondere Rolle spielte im kimonischen Programm aber die Ausgleichspolitik gegenüber Sparta. In der Chersonnes hatte der junge Philaide gelernt, sich zuerst einmal als Hellene und dann als Athener zu fühlen. So war er auf die Erhaltung des nationalen Reichtums bedacht, der im Nebeneinander von Dorischem und Ionischem, von Peloponnesischem und Attischem Bund, von Kosmos, Oligarchie und Demokratie lag. Kimon war immer begeisterter Athener und auch Demokrat im Sinne der Hoplitenpolis, er hat aber die Notwendigkeit eines harmonischen Nebeneinanders von spartiatischer und attischer bzw. ionischer Haltung erkannt, für ihn waren Sparta und Athen die beiden Rosse, welche gemeinsam den hellenischen Wagen zogen.

Die Bedeutung der damaligen Demokratie von Attika war um so größer, als sie das Vorbild für alle übrigen Demokratien wie z. B. für Elis und Argos abgab.

Versuche radikaler Ausformungen, so wie sie noch im 6. Jhdt. in Megara und Sybaris vorgekommen waren, hatten sich ja nicht zu erhalten vermocht, mit anderen Worten, die Demokratie kannte bis 462 noch keine Unduldsamkeit, sie war die Staatsform eines wenigstens einigermaßen gemeinsamen Maßes, der Kräftekonzentration und einer einigermaßen klassischen coincidentia aller gesellschaftlichen Komponenten.

So wie die Demokratie zeigte nun aber auch die damalige Oligarchie die Neigung zur Verbürgerlichung, zur Erweiterung des bevorzugten Kreises und zu klassischer Mäßigung. In Theben wurde nach 479 das auf wenige Familien beschränkte Oligarchenregiment beseitigt und der Kreis der Vollbürger erweitert.

Gleiches tritt uns in Korinth entgegen und ähnliches mag als eine Folge des Überganges von der Ritteraristokratie zur Hoplitenpolis wie auch als eine Folge der Perserkriege in anderen Oligarchien erfolgt sein.

Auch Sparta selbst zeigte sich nun toleranter und überließ dem demokratischen Athen sogar die Führung der ionischen Bundesgenossen.

Aber nicht nur Demokratie und Oligarchie tolerierten einander, auch die Einstellung zur Tyrannis und Monarchie zeigte damals gemilderte Züge:

Aischylos stattete in den Hiketiden den König Pelasgos mit den Merkmalen einer gleichsam schon konstitutionellen und aufgeklärten Regierung aus. Auch Eteokles und selbst Agamemnon stehen bei ihm irgendwie im Dienste ihres Staates und Volkes. Vor allem hat sich Aischylos aber nicht gescheut, bei Hieron zu Gast zu sein und dessen Gründung Aitna durch ein eigenes Bühnenweihespiel zu verherrlichen.

Aber auch die sizilischen Tyrannen selbst, vor allem Hieron und Theron, öffneten durch ihre Rechtlichkeit die Tore zu bürgerlicher Freiheit. Hieron schuf in Aitna so etwas wie einen Idealstaat, in dem er fürstliches Mäzenatentum, bürgerliche Freiheit und dorische Staatsordnung zu verbinden suchte.

Im Weihespiel des Aischylos spielten aber nur der erste und der dritte Akt in Aitna, der vierte aber in Leontinoi und die zwei letzten in Syrakus. Vielleicht hat Hieron in Leontinoi eine Art von ionischem Pendant zum dorischem Aitna schaffen wollen, wobei dann das Werk des Aischylos in den letzten Akten wohl in einer Verherrlichung der syrakusanischen Gesamtherrschaft des Hieron über Ostsizilien ausklang.

Nichts ist für die Toleranz dieser Zeit aber bezeichnender als die Einstellung Pindars zu den einzelnen Verfassungen. Daß er persönlich zur Gesellschaftsschicht der Oligarchie zählt, hat dieser Meister immer betont. Von seinem radikal oligarchischen, spartafreundlichen Standpunkt, den er in seiner Jugend in der X. Pythischen Ode vertrat, ist er dann aber abgegangen. Man beachte

nur, wie eng er zeitweise mit den Alkmeoniden, besonders nachher aber mit dem kimonischen Athen verbunden war. Er bezeichnete diese Stadt als Bollwerk von Hellas, als die glänzende, als die im Lied verherrlichte, als die veilchen-umkränzte, heilige, ja göttliche Stadt und rühmte vor allem ihre Verdienste in den Perserkriegen. Wohl bezeichnete er in späteren Jahren vor allem Korinth als eine wohlverwaltete Stadt (Ol. XIII 6), aber gerade hier hatte sich das oligarchische Regime so sehr gemäßigt.

Besonders bedeutsam will es uns aber erscheinen, daß Pindar in einer Ode (Pyth. II 87ff.) Oligarchie, Demokratie und Tyrannis als irgendwie gleichwertig nebeneinander nennt. Nicht auf die Form der Verfassung käme es an, sondern auf die rechte Gesinnung.

Überschauen wir die hier zusammengestellten Tatbestände, so wird uns klar, daß sie nicht zufälliger Weise zusammentreffen, sondern daß es sich hier um ein System der offenen Türen und der Toleranz handelt, das einfach aus dem damaligen klassischen Zeitgeist erwachsen ist.

Das dünkt uns um so bezeichnender zu sein, als in der vorherigen Periode der archaischen Ära und nachher wieder in der hochklassischen Zeit Unduldsamkeit und Radikalismus die Politik bestimmten.

So will es uns scheinen, als ob die Frühklassische Ära in der Griechischen Geschichte insofern eine gewisse Sonderstellung einnahm, als gerade in ihr — und eigentlich *nur* in ihr — die Idee des Maßhaltens in der Politik sich durchsetzte und so die opposita von Dorischem und Ionischem, von Nation und Einzelstaat, von Demokratie, Oligarchie und Tyrannis noch einmal zu einer friedlichen coincidentia gelangten, bevor das politische Gefüge des Hellenentums endgültig auseinanderbrach.

Unwillkürlich fragen wir da, weshalb man nicht diese für alle Beteiligten so vorteilhafte Konstellation auf die Dauer zu erhalten versuchte. Solches haben nun Kimon, Hieron und Theron, haben Pindar und auch Aischylos zweifellos versucht.

Das Rad der dynamischen Kulturbewegung war aber dermaßen in Schwung, daß es nimmermehr zu einem «verweile doch, du bist so schön» angehalten werden konnte.

Schon mit der unmittelbar folgenden Generation verlangte man nach neuen sozialen Errungenschaften, nach Wohlstand durch gesteigerte Sklavenausnutzung, nach Ausbeutung der Bundesgenossen, nach imperialistischer Machtausweitung, nach Aufklärung und Sophistik. So blieb der Frühklassik das Schlimmste erspart, nämlich zu verkalken und einer institutionellen Erstarrung zu verfallen. In voller Blüte sank sie dahin, auf daß an ihre Stelle immer wieder Neues und vielfach nicht minder Großartiges, so die Ära eines Perikles und dann die eines Platon und Aristoteles träte.

Wien.

KÖNNEN WIR DEN PELOPONNESISCHEN KRIEG ALS EINE EINHEIT BETRACHTEN?

Es ist Gemeingut der Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung geworden, die militärischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Hegemonialsymmachien des griechischen Mutterlandes in der Spanne von 431 bis 404 als einen einheitlichen geschichtlichen Vorgang zu betrachten, trotz eines vertraglich gesicherten Friedenszustandes zwischen den Hegemonialmächten Athen und Sparta von sieben Jahren, 421—414 und unbeschadet der noch nicht abgeschlossenen Diskussionen darüber, ob Thukydides schon bei der Konzeption oder erst bei der Redaktion seines Werkes von einer solchen zusammenfassenden Schau der Ereignisse ausgegangen sei. In den Gesamtvorhängen wird, ebenfalls allgemein, der Ausdruck einer Strukturkrise der hellenischen Polis gefunden, der Krise also eines Typs von hunderten von Gemeinwesen, in dessen Form griechische Politen über 200 Jahre Epoche gemacht hatten in dem Sinne, daß sich in ihren Leistungen und Errungenschaften ein weltgeschichtlich führender — wenn auch sehr widerspruchsvoller — Fortschritt vollzog.

Im Unterschied zu der Einhelligkeit dieser Auffassungen gehen jedoch die Meinungen über die Gründe der allgemeinen Krise weit auseinander, und was den Zusammenhang der Kriegssereignisse zwischen 431 und 404 betrifft, so führen Einzeldarstellungen der bekannten jeweils nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten bezeichneten Abschnitte — archidamischer Krieg, sizilische Expedition, dekeleisch-jonischer Krieg — zum Teil zu Ergebnissen, die den einheitlichen Charakter der Vorgänge nur noch dem Namen nach bestehen lassen.¹

Der Rahmen eines Vortrags genügt nicht, um die angerührten beiden Probleme eingehender zu behandeln. Ich kann die Aufmerksamkeit nur auf einige hervorstechende Tendenzen lenken, wobei ich die Kriegssereignisse nicht isoliert, sondern im Zusammenhange aller menschlichen Tätigkeitsgebiete verstehen möchte.

¹ Vgl. H. BENGTSON: «Griechische Geschichte» 1950: «Der Untergang der athenischen Expedition in Sizilien ist ein Wendepunkt nicht allein in der Geschichte Griechenlands, sondern der gesamten Alten Welt» (S. 227). Trotzdem datiert er das Zeitalter des «Niedergangs der hellenischen Polswelt» nicht ab 414, sondern erst ab 404 (S. 234).

Die militärische und politische Ausgangssituation bei der Aufnahme unmittelbarer Feindseligkeiten zwischen den beiden Hegemonialmächten Athen und Sparta 431 und das Ergebnis des archidamischen Krieges im Nikiasfrieden war von zwei durch jahrzehntelange praktische Erprobung bestätigten historischen Ergebnissen bestimmt. Wir sehen das sofort, wenn wir die Fäden bis in die Zeit des Abwehrsieges der Eidgenossen über die Perser, 480, und bis zur Vorbereitung dieses Sieges durch den Flottenbau in Athen zurückverfolgen. Jene Ereignisse haben den letzten Anstoß zur Entwicklung der attischen Seemacht und Demokratie gegeben. Der Aufstieg Athens zur zweiten Hegemonialmacht neben dem alten Prostates der Hellenen, Sparta, war damit vollzogen und die Konkurrenz zwischen der alten Handelsstadt Korinth und der jungen Handels- und Flottenmacht Athen reifte heran. Die Entwicklung der folgenden Jahrzehnte bestätigte immer wieder, daß die alte Vormacht Sparta und die neue Athen nicht imstande waren, einen dauernden, tragfähigen Zustand des friedlichen Nebeneinanders zu verwirklichen, wie ihn attischerseits erst Kimon, zeitweise der vorsichtig gewordene Perikles, später Nikias in einem brüchigen Vertragszustand herbeiführen wollte. Kimons Politik scheiterte an seinen demokratischen Gegnern in Athen und am Mißtrauen Spartas, das ihn auch in den Augen seiner Landsleute diskreditierte. 461 wurde er verbannt; Perikles ging nach 12 Jahren Frieden (446—434) zu einer Aggressionspolitik über, die letzten Endes auch die Interessen Spartas von neuem verletzen mußte. Der Nikiasfriede 421 wurde durch die Unzufriedenheit der peloponnesischen Bündner, besonders Korinths, gestört, die an Argos einen Rückhalt fanden; die attischen Ansprüche erwachten bei diesen Anzeichen sofort wieder. Athen und Sparta, die es nicht vermochten, friedlich nebeneinander zu leben, waren aber auch nicht imstande, einer den andern militärisch oder politisch endgültig zu überwältigen. Themistokles, Perikles, Kleon, verschiedene Persönlichkeiten aus verschiedenen Gruppen der jeweils führenden Kreise, alle jedoch in ihrer Politik dem attischen Demos verhaftet, erstrebten unter verschiedenen Verhältnissen mit verschiedenen Methoden für Athen die unbestrittene Vormachtstellung. Aber die vorhandenen Menschen und Mittel reichten, insbesondere bei den innenpolitisch bedingten Grenzen für ihren Einsatz, nie aus. Der Ost-rakismos des Themistokles 471, die versäumte Gelegenheit des großen Heiloten-aufstandes 464, das Scheitern des panhellenischen Kongresses, die Niederlage bei Koroneia, die Athen der Landmacht Böotien als Bundesgenossen beraubte (447), der Kompromißfrieden nach einem verlustreichen Kriegsjahrzehnt 421, die Niederlage der Argiver und des attischen Hilfscorps bei Mantinea 418, die die Aussichten eines indirekten Angriffs auf Sparta vernichteten, waren Knotenpunkte dieser Entwicklung.

Das zweite wesentliche historische Ergebnis, das zugleich Voraussetzung wurde, lag auf einem ganz anderen Feld. Es betraf die Versuche Athens, sich unabhängig von Sparta außerhalb des Mutterlandes und auch außerhalb des

Seebundes ertragreiche größere Territorien zu sichern. So scheiterte der Kampf um die Vormachtstellung in Thrakien oder auch die direkte Eroberung Thrakiens unter Kimon 465 am Widerstand der Thraker, 454 endete die ägyptische Expedition mit einer entscheidenden Niederlage durch die Perser. Der Blick nach Sizilien deutet sich schon in den vermuteten Ambitionen des Themistokles an. Eine nachzuweisende politische Einmischung in Sizilien hat Athen² erstmals 458/57 durch einen Vertrag mit Egesta aufgenommen, 440 knüpfte Athen wahrscheinlich Verbindungen mit dem Führer der Nordsikeler, Archonides an (a. a. O. S. 97), 439 setzte es diese Politik durch Verträge mit Leontinoi, Rhegion und Katane fort (a. a. O. S. 94). Im archidamischen Krieg griff Athen 427 zunächst mit 20 Schiffen in Sizilien ein, man wollte abtasten, ob man das Land in Abhängigkeit bringen könne (Thuk. III, 86, 4). Die Flotte wurde 425 auf 60 Schiffe verstärkt, d. h. auf die gleiche Zahl gebracht, mit der Athen zehn Jahre später auch das unglückliche große Unternehmen eröffnet hat. Den sizilischen Unternehmungen Athens lagen offensive Absichten, als Mindestprogramm aber vermutlich die defensive Absicht zugrunde, eine Aktion der syrakusanischen Flotte zugunsten Korinths und Spartas zu verhindern. Die Versuche blieben bis 421 vorsichtig und ohne bedeutende Wirkung. Auch der beachtenswerte Versuch Spartas, 431 die Sikelioten zur Stellung von 500 Schiffen unter spartanischer Führung und zur Bereitstellung entsprechender Geldmittel (Silber) zu veranlassen (Thuk. II, 7, 2), war nur mit konventioneller Höflichkeit beantwortet worden.

Jahrzehntelange Entwicklungen waren somit am Ende des archidamischen Krieges in ihrem Ergebnis entschieden oder anders ausgedrückt, ein «Unentschieden» von 50 Jahren ist durch das erste Kriegsjahrzehnt bestätigt worden. Eine neue Entwicklungstendenz hatte sich im Schoße der bisherigen Vorgänge angebahnt und trat jetzt bestimmend hervor. Sie war fürs erste darin begründet, daß das Unentschieden nicht in die Konzeption einer tragbaren Koexistenz umgewandelt worden ist (ich bitte um Verzeihung für diesen Ausdruck), auch nicht durch den Nikiasfrieden, sondern daß man zuerst von Athen aus, dann von seiten Spartas zu dem totalen Risiko und dem Einsatz aller Mittel überging, um die ungelösten Knoten zu durchhauen.

Die sizilische Expedition, von allen Bevölkerungskreisen Athens als entscheidende Expansion und Mittel zur Verbesserung des Lebensstandards begeistert begrüßt, ihrem Charakter nach viel mehr als ein persönliches Abenteuer des Alkibiades, war der Anfang des ganzen Risikos und des ganzen Einsatzes. Das Ergebnis des 2. Peloponnesischen Krieges — von 418 bzw. 414 bis 404 — ist gewesen, daß auch ein solcher Einsatz nicht mehr zur selbständigen Lösung der Poliskrise hinreichte, sondern eine neue Situation und Tendenz aus sich heraustrieb.

² Vgl. H. WENTKER: «Sizilien und Athen». Heidelberg 1956.

Während m. E. die erste Phase des Peloponnesischen Kriegs (oder der 1. Peloponnesische Krieg) der Politik seit 479 verhaftet ist, tritt jetzt die Wendung ein — und zwar m. E. nicht erst mit dem Scheitern, sondern auch schon zu Beginn der Sizilischen Expedition — mit der sich der Umbruch zum «4. Jahrhundert» vollzieht.

Natürlich gibt es auch in dieser Beziehung Vorläufer, Leucht- oder Warnsignale der Politik. Schon bei Beginn des archidamischen Krieges, während der Kämpfe um Plataiai, hatten Athen und Sparta nicht nur militärisch, sondern auch diplomatisch aufgerüstet und sich beide um die Freundschaft des Perserkönigs bemüht (Thuk. II, 7). Das geschah 427, in einem Jahr, in dem sich überhaupt wie im Wetterleuchten gewisse Konturen für die späteren Vorgänge abgezeichnet haben. Damals sandten die Athener, wie erwähnt, ein erstes Flottenkontingent nach Sizilien, und die Spartaner sammelten Geld- und Sachspenden für einen Kriegsschatz (Inscr. Tod I, Nr. 62). 425, als die Athener ihre Flotteneinheit bei Sizilien verstärkten, wurden sie erneuter Bemühungen der Spartaner um die Gunst des Persers gewahr (Thuk. IV, 50). Nehmen wir den erwähnten Versuch Spartas, schon 431 mit Hilfe der Sikelioten zu einer großen Flotte zu kommen, hinzu, so wirkt der von Thukydides dem Archidamos (I, 82) vor Kriegsbeginn in den Mund gelegte Vorschlag, Sparta müsse sich unter Griechen und Barbaren weitere Verbündete sichern, Schatz und Flotte stärken, nicht mehr derart nachträglich konzipiert, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Es lag an Persien, ob es die Wünsche der Griechen erfüllen wollte, und es wollte sie erst erfüllen, als es mit Geld die abgekämpften, zur selbständigen Lösung ihrer eigenen Probleme nun offenbar unfähig gewordenen Mächte am Gängelband zu halten vermochte. Es benutzte die unvorsichtige Politik Athens, um den Kalliasfrieden aufzukündigen, Sparta lieferte die Jonier aus und die persischen Gelder für die Flottenmannschaften rollten, zunächst zugunsten des peloponnesischen Bundes. Wenn es Athen nie gelungen war, eine Sparta ebenbürtige Landmacht zu gewinnen — die Freundschaft Böotiens war längst verspielt (447), Argos im entscheidenden Moment mit zu geringen Kräften unterstützt (418), für die thrakischen Söldner hatte man kein Geld mehr — so gelang es Sparta jetzt, eine der athenischen ebenbürtige Flotte aufzustellen, auf Kosten der Unabhängigkeit der eigenen Politik. Athen suchte diesem Beispiel zu folgen, auch von hier aus bemühte man sich erneut um die Gunst des Großkönigs und seiner Satrapen, in der Not 406 auch noch um die Freundschaft Karthagos als des Erzfeindes von Syrakus. — Die Abhängigkeit von Persien ist für die folgenden Jahrzehnte bestimmend geworden. Dabei fehlte es nicht an Anstrengungen der Hegemonialmächte der Griechen, ihr Geschick noch einmal in die eigene Hand zu nehmen. Aber solche Bemühungen blieben prekär, hatten keine Dauer und konnten nichts zur Entscheidung bringen, denn die Entscheidungen fielen zur See, und dort blieb Sparta von der persischen Unterstützung abhängig, trotz der von Xenophon (Hellenika I. 6)

mit Wärme geschilderten Bemühungen eines Kallikratidas, seine Vaterstadt auch auf diesem Gebiet wieder unabhängig zu machen. Athen hat im Laufe eines Jahrzehnts zweimal eine Flotte aus eigenen Mitteln aufgestellt und beide Flotten gingen im wechselnden Kriegsglück (Notion 407, Aigos Potamoi 405) verloren. Wieviel Zufälle oder Unklugheiten dabei eine Rolle gespielt haben mögen, das Wesentliche blieb, daß Athen seine Mittel erschöpft hatte und nicht mehr imstande war, große Rückschläge auszugleichen. Die persischen Gelder aber erschöpften sich nicht, und die kämpfenden Mannschaften verlangten ihre Löhnung. Wenn Polybios mit Recht in seiner Darstellung des punischen Krieges die Kraft der Römer in ihrer gesellschaftlichen Basis gesucht hat, deren sie durch verlorene Schlachten nicht verlustig gingen, so müssen wir im Hinblick auf den jonischen Krieg sagen: das Geld, Inkarnation neuartiger, die Polis allmählich sprengender menschlicher Beziehungen, war das Dauerhafte geworden. Am deutlichsten kommt diese Tatsache im Kriegsabschluß zum Ausdruck. Nicht eine Bestimmung des Kapitulationsfriedens, zu dem Lysandros die hungernden Athener auf Grund der mit Hilfe der Perser herbeigeführten günstigen Augenblickslage gezwungen hat, ist bestehen geblieben. Schon 403 wurde die Demokratie wiederhergestellt, Artaxerxes II. entschloß sich zu der schon von Alkibiades dem Satrapen Tissaphernes empfohlenen Schaukelpolitik (Thuk. VII, 46), 394 siegte Konon, der Athener, mit von Persien delegierten Schiffen, über Sparta, ab 393 wurden die langen Mauern und der Mauerring des Piräus mit persischem Gelde wieder aufgebaut, 392 gewannen attische Peltasten und Iphikrates die Oberhand über spartanische Hopliten. 384 ging Athen unter Wahrung der persischen *προστάγματα* die Symmachie mit Chios (Inscr. Tod II No. 118) ein, deren Bestimmungen das Vorbild für den Wiederaufbau eines zweiten Seebundes ab 377 geworden sind. Nach dem Siege der neuen attischen Flotte unter Chabrias 376 beherrschte Athen wieder die Ägäis. Die Geschichte der folgenden Jahrzehnte aber zeigt den erneuten Zusammenbruch der erneuerten athenischen Macht und zugleich den Zusammenbruch des alten Sparta. Was bei allen Auseinandersetzungen als das Dauernde blieb, war Persiens finanzieller Einfluß.

Wie bei den kriegerischen Zusammenstößen und den politischen Hegemonialansprüchen die persische Unterstützung oder Zustimmung jeweils unentbehrlich wurde, so auch bei der Realisierung des Friedens. Vielleicht ist das noch bedeutsamer. Ich habe darauf hingewiesen, wie Athen und Sparta keinen tragfähigen Friedenszustand untereinander verwirklichen konnten. Die Geschichte der Friedensangebote während des archidamischen und während des dekeleisch-jonischen Krieges hatte diese Unfähigkeit nur bestätigt; sie ist eine einzige Tragödie — man ist versucht zu sagen Tragikomödie — des Friedenswillens bei dem jeweils Schwächeren und der Ablehnung der Friedensangebote durch den jeweils Stärkeren. Bedeutende Chancen sind dabei verpaßt worden, von Athen nach dem Erfolge bei Sphakteria und Pylos (425) und nach den

Siegen von Kynossema und Abydos 411, von Kyzikos 410; Sparta lehnte das Angebot des athenischen Oligarchen Antiphon 411 ab. Das wirkliche und endliche Resultat auch dieser Entwicklungslinie war nicht die Kapitulation Athens 404, sondern die Übernahme der Friedensgarantie durch Persien, 386, der sog. Königsfrieden, der in Susa und Sardes vorverhandelt und von der augenblicklichen Vertrauensmacht des Großkönigs, Sparta, durch Blockade des Hellespont mit Hilfe von Persien und Syrakus gegen Athen durchgesetzt, endlich in Sparta verkündet wurde. Eleutheria und Autonomia, die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Poleis wurde von der fremden großen Macht verbürgt, durch diese Bürgschaft wurde das Netz der Beziehungen zwischen den Poleis dauernd in eine Abhängigkeit gebracht, die in die Zukunft, auf die prekäre *αὐτονομία* und *ἐλευθερία* der Poleis in hellenistischen Staaten hinweist. Das war die endliche triste Realität der *κοινὴ εἰρήνη*, des Friedens zwischen den Poleis, den Aristophanes in nimmermüder Weise, mit immer neuen Einfällen dichterisch-komödiantischer Form von den Acharnern 425 bis zur Lysistrate 411 auf der Bühne Athens gefordert hatte.

Rufen wir uns die dem dekeleisch-jonischen Kriege vorangegangenen Entscheidungen noch einmal ins Gedächtnis und überblicken wir die Bedeutung der persischen Einmischungspolitik von Beginn des jonischen Krieges bis tief in das 4. Jahrhundert, so rücken die Vorgänge des Kriegsjahrzehnts 414—404 von der Vergangenheit ab und erscheinen den künftigen Entwicklungen, insbesondere den Vorgängen bis zu dem Königsfrieden in wesentlichen Zügen eng verbunden. Der zweite Abschnitt des sog. peloponnesischen Krieges wird insofern zum ersten Abschnitt einer neuen Geschichtsperiode.

Es erhebt sich die Frage, ob wir einen solchen Einschnitt auch auf anderen Gebieten als dem der außenpolitisch-militärischen Vorgänge beobachten können. Ich wende mich der Innenpolitik zu. 411 wurde in Athen die Wiederherstellung einer strengen Oligarchie und als diese sich nicht halten ließ, unter Theramenes die Restituierung einer gemäßigten versucht. Das Kriegsende brachte eine zur übelsten Tyrannis ausartende Oligarchie unter Kritias. Alle diese Versuche waren von kurzer Lebensdauer. Die Möglichkeit einer demagogischen Tyrannis unter Alkibiades kam nicht über die ersten Ansätze hinaus. Die demokratische Politeia behauptete sich in Athen. In Sparta zeigen sich die bedeutendsten Tendenzen zu einer Umwälzung in der autokratischen Stellung des Lysandros, aber es gelang dem Königtum und den Ephoren gleich nach Beendigung des Krieges, ihn zu entmachten. Wenn wir auf die künftige Entwicklung monarchisch-despotisch regierter Territorialstaaten und auf die nicht unbedeutenden Leistungen und Wirkungen der syrakusanischen Tyrannis im 4. Jahrh. blicken, so scheinen in den Tendenzen zur Tyrannis gewisse Zukunftsmöglichkeiten beschlossen, die sich aber im Umkreis der alten Metropole weder nach dem Persereinfall in den Bestrebungen des Themistokles und Pausanias noch später realisiert haben. Die oligarchischen Versuche waren

Restauration schlechthin, rückwärts gewandt. Sie wirkten aber nicht nur in der Innenpolitik. Wir finden zur gleichen Zeit die lakonisierende Mode, nicht damals erst entstanden, aber von Aristophanes in den «Vögeln» (wahrscheinlich 414) von der Bühne aus verspottet. In der Kunst haben sich gegen Ende des 5. Jahrhunderts neue Stilarten angebahnt; im gegebenen Zusammenhange interessiert, daß archaisierender Stil 407 datierbar bezeugt ist. Aristophanes, der als junger Dichter 425 in den Acharnern das Idol der Marathonkämpfer noch ironisierte, ging in den «Fröschen» (405) zum Hades, um Aischylos gegen Euripides auszuspielen. Die Restaurationsbestrebungen fanden ein doppeltes Vorbild, in der Vergangenheit der eigenen Polis und in den gegenwärtigen Verhältnissen des siegreichen Sparta, in denen archaische Züge bewußt und gewaltsam festgehalten waren. Maßgebende Philosophierichtungen und Geschichtsschreibung im 4. Jahrhundert waren von den rückwärts gewandten Tendenzen beeinflußt, das ist bezeichnend. Xenophon ist als Lakonerfreund bekannt. Platon und Aristoteles sehen die beste oder wenigstens bestmögliche Verfassung in der Wiederaufnahme von Formen der aristokratischen Politeia, und ihre gedanklichen Bemühungen gehen dahin, die Wiederherstellung solcher Verfassungsformen gegen das — von Platon noch miterlebte — Scheitern abzuschirmen. Das alles blieb Theorie, abgelöst von der Wirklichkeit, aber gedanklich anknüpfend an die letzten Realisierungsversuche in der Kriegsspanne, die wir behandelt haben. Die geistige Nachwirkung ist offensichtlich, und durch das Lob des Aristoteles für Theramenes in der *Ἀθηναίων Πολιτεία* (XXVIII, XXXIII) ist die Verbindung direkt bezeugt. Für die Praxis bestimmend blieb jedoch die zweimalige Abwehr der Restauration, 410 und 403. Die Demokratie in Athen behauptete sich. Die Bedeutung des Demos als desjenigen Teils der Bevölkerung, der die Schiffe in Bewegung setzt, blieb bestehen, aber seit dem Scheitern der Sizilischen Expedition verschlechterte sich seine Lage wesentlich; die Nominallöhne — sogar die Nominallöhne! — sanken. Der Demos aber wurde um so reaktionärer und exklusiver, je schlechter es ihm wirtschaftlich ging. Das hatten die besitzenden und regierenden Kreise mit ihrer Politik der Spenden, Diäten, Verteilungen usw., die nicht an die produktive Arbeitsleistung, sondern an das Bestehen der exklusiven Polis in alter Form gebunden waren, erreicht. Die Ereignisse des jonisch-dekeleischen Krieges waren hierfür die endgültige Bestätigung und die böse Erbschaft für das 4. Jahrhundert. Selbst in der äußersten Not spüren wir keinen Hauch revolutionärer Anstrengung des Demos; es kam zu keinem Versuch revolutionärer Kriegsführung von seiten Athens, obgleich das Echo in Sparta vielleicht nicht ausgeblieben wäre. Der spätere Versuch des Kinadon (398) gibt zu denken. Die Freilassung der Sklaven, die bei den Arginusen mitgekämpft hatten, ist nur eine Notmaßnahme, wie wir sie in der antiken Geschichte auch an anderer Stelle finden, und sie blieb ohne grundsätzliche Bedeutung. Der Antrag des Thrasyboulos nach der Wiederherstellung der Demokratie, seinen Mitkämpfern, auch den Metoiken und Skla-

ven das Bürgerrecht zu verleihen, stieß in betreff der Sklaven sofort auf Widerstand und wurde als *γραφὴ παρανόμων* gebrandmarkt. Die auf die Einbürgerung bezügliche Inschrift ist leider stark verstümmelt. Auch in bezug auf die Bundesgenossen konnte man sich, selbst in der äußersten Not, nicht zu revolutionierenden Maßnahmen durchringen. Allein die Samier erhielten, nachdem sie den Athenern als letzte treu geblieben waren, das Bürgerrecht. Auch dies also nur die Ausnahme und nicht eine neue Regel. Auch eine Revolution hätte allerdings ökonomisch auf die Dauer nur erfolgreich sein können, wenn sie den Zusammenschluß von Poleis zu größeren Territorien bemerkt hätte. Denn der Konkurrenz, die den Mutterstädten durch die ökonomisch erstarkenden Apoikien und bisherigen Randgebiete erwuchs, wären diese nur auf territorial breiterer, sozial erneuerter und technisch verbesserter Basis gewachsen gewesen.

Im dekeleisch-jonischen Kriege hatte sich der Demos von Athen der Restauration erwehrt und in der eigenen Position endgültig für die Reaktion entschieden. Das Athen dieses Demos und seiner Demagogen verließ im dekeleisch-jonischen Kriege Euripides, um sich an den Hof des Makedonenkönigs Archelaos zu begeben, der im Zusammenhang mit den makedonischen Lieferungen von Schiffsbauholz im Todesjahr des Dichters 407,6 *πρόξενος* und *εὐεργέτης* der Athener wurde (Inscr. Tod I No. 91, S. 222). Auch Zeuxis emigrierte nach Pella. Sokrates wurde hingerichtet. Demokrit fand in diesem Athen keine Heimat. — Nach dem Königsfrieden 386 wurde man klassizistisch: neben den neuen wurde jeweils eine Tragödie der «klassischen» Zeit mit aufgeführt. Aristophanes blieb in der Heimat und verfolgte das Weitere, der Polis und ihrem Nomos unangemessene Wirken des *πλοῦτος* mit seinem Witz. Metoiken und ökonomisch verselbständigte Sklaven traten wirtschaftlich, Intellektuelle geistig, Söldner militärisch aus dem Rahmen einer reaktionären Demokratie heraus.³ Der unterschiedliche Charakter der Kriegsabschnitte 431—421 — Abschluß der Vergangenheit — und 414—404, Wurzel der Zukunft in schwerer Krise — scheinen mir mindestens die Diskussionsfrage zu begründen: sollten wir nicht von einem 1. und 2. Peloponnesischen Kriege sprechen, statt uneinheitliche, nur einzelnen konkreten Merkmalen entnommene, im Grunde nichtssagende Bezeichnungen der einzelnen Kriegsabschnitte zu verwenden?

Berlin.

³ Vgl. S. LAUFFER: «Die Bedeutung des Standesunterschiedes im klassischen Athen.» Hist. Zeitschr. Heft 185/3, Juni 1958.

DIE HARMOSTIE HERAKLEIA TRACHIS

(EIN KOLONISATIONSVERSUCH DER LAKEDAEMONIER VOM JAHRE 426)

Soweit sich die Entstehung lakedaimonischer Harmostien zurückverfolgen läßt,¹ bestanden diese ursprünglich in den zum Gebiet Lakedaimons² gehörenden Perioikenpoleis.³ Die Harmosten, die als Beamte der Polis Lakedaimon einer Harmostie vorstanden, waren den Ephoren gegenüber verantwortlich, wie sie auch von den Ephoren in ihre Funktion eingesetzt, jährlich bestätigt bzw. abgelöst wurden.⁴ Die Aufgabe der Harmosten war es, Poleis und Gebiete, die zum Verwaltungsbereich Lakedaimons gehörten, gegen Angriffe feindlicher Poleis zu schützen. Zugleich aber griffen sie in die inneren Angelegenheiten der ihnen unterstehenden Poleis ein und sorgten für die Erhaltung oder Einführung einer den Lakedaimoniern genehmen oligarchischen Politeia.⁵ Zur Sicherung der Harmostie unterstand dem Harmosten eine Truppe.⁶

¹ Die Herkunft der Worte ἀρμόζω bzw. ἀρμστής ist unbekannt (vgl. H. FRISK: Griechisches etymologisches Wörterbuch. I. Heidelberg 1960. 144 f.; É. BOISACQ: Dictionnaire étymologique de la langue grecque.³ Heidelberg 1938. 79); jedoch gab es nach neuerer Lesung und Interpretation der mykenischen Schrift Harmosten, deren eigentlicher Ursprung wie auch die Deutung ihrer damaligen Funktion bisher ungeklärt blieben, bereits in kretisch-mykenischer Zeit (vgl. M. VENTRIS—J. CHADWICK: Documents in Mycenaean Greek. Cambridge 1959. 387; E. VILBORG: A Tentative Grammar of Mycenaean Greek. Göteborg 1960. 73, 85, 94, 145—147; L. R. PALMER: A Mycenaean Tomb Inventory. Minos 5 (1957) 73; ders.: The Interpretation of Mycenaean Greek Texts. Oxford 1963. 406).

² Obwohl nur die Spartiaten, die Politen Lakedaimons, vollberechtigt waren (BÖLTE: RE 2. Reihe 6. Halbbd., 1929, 1274 s. v. Sparta [Geographie]; G. BUSOLT: Die griechischen Staats- und Rechtsaltertümer.² München 1892. [Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft 4, 1, 1], 95), zählten auch die Perioiken zu den Lakedaimoniern, den freien Bewohnern des Polisgebietes von Lakedaimon.

³ Die Siedlungen der Perioiken können Poleis genannt werden, da ihnen von Lakedaimon die Autonomie, d. h. die Wahl eigener Polisbehörden zugestanden wurde. Allerdings wurden diese Poleis von Lakedaimon aus kontrolliert und zu verschiedenen Diensten, besonders aber zur Heeresfolge herangezogenen (vgl. LARSEN: RE 37. Halbbd., 1937, 816, 919 s. v. Περίοικοι; G. BUSOLT: Griechische Staatskunde.³ 2. Hälfte; Darstellung einzelner Staaten und der zwischenstaatlichen Beziehungen, bearb. von H. SWOBODA, München 1926 [Handbuch der Altertumswissenschaft 4, 1, 1], 663 f.). Den Polischarakter der Perioikensiedlungen beweist auch, daß sich ihre Bewohner nicht nach Lakedaimon, sondern nach den Namen ihrer eigenen Poleis nannten (dies wie auch die Existenz von Harmosten bei den Perioiken bezweifelt V. EHRENBURG: Der Staat der Griechen, 1. Teil: Der hellenische Staat, Leipzig 1957, 27).

⁴ Vgl. die etwa mit der Gründung von Herakleia Trachis gleichzeitigen Harmostien in Thrakien, besonders zu Brasidas Thuk. 4, 132, 3; zu Klearchos Thuk. 5, 21; 24, 1.

⁵ Zu den damit verbundenen Hegemoniebestrebungen der Lakedaimonier auf der Peloponnesos vgl. Isokr. 12, 98 f.

⁶ H. G. LIDDELL—R. SCOTT: A Greek—English Lexicon, new edition by H. ST. JONES, R. MCKENZIE, Oxford 1940, 243 s. v. ἀρμόζω 4b; ebd., 244 s. v. ἀρμστής; Suida o

Harmostien der Lakedaimonier sind auf der Peloponnesos⁷ erstmalig in Asine,⁸ Methone,⁹ Thyrea,¹⁰ Anthene¹¹ und auf der Insel Kythera¹² nachzuweisen, als die Lakedaimonier nach der Unterwerfung der Messenier im zweiten messenischen Krieg und nach dem Sieg über Argos im Gebiet der Messenier und Argeier Perioikenpoleis gründeten.

Die Einrichtung einer Harmostie in einer Perioikenpoleis läßt sich nun an der Geschichte der Kolonie Herakleia Trachis verfolgen. Dabei kann die Feststellung getroffen werden, daß die Lakedaimonier wie auch die Athener unter Landmangel bei einer bestehenden relativen Übervölkerung litten.¹³

lexicon edidit A. ADLER 1, Lipsiae 1928, 364 s. v. *Ἀρμοσταί*; Hesychii Alexandrini lexicon recensuit et emendavit K. LATTE 1, Kopenhagen 1953, 248 s. v. *Ἀρμοστής*; Harpocratonis lexicon in decem oratores Atticos ex recensione G. DINDORFII 1, Oxonii 1853, 58 s. v. *Ἀρμοσταί*; Anecdota Graeca e codd. mss. Bibl. Reg. Parisin. descripsit L. BACHMANNUS 1, Lipsiae 1828, 145 s. v. *Ἀρμοσταί* (*Συναγωγή λέξεων χρησίμων ἐκ διαφόρων σοφῶν τε καὶ ῥήτορων πολλῶν*); Im. Bekkeri anecdota Graeca 1, Berolini 1814, 206 s. v. *Ἀρμοσταί*; ebd. 211 s. v. *Ἀρμοστής* (*Λέξεις ῥητορικαί*) außerdem, jedoch mit zu starker Betonung des Hegemoniebestrebens der Lakedaimonier, U. KAHRESTEDT: Griechisches Staatsrecht 1: Sparta und seine Symmachie, 2. Aufl. Göttingen 1922, 229.

⁷ Nur wenige der bei Schol. Pind. 6, 154 e überlieferten 20 Harmostensitze (*ἦσαν δὲ ἄρμοσταὶ Λακεδαιμονίων εἰκοσὶν*) sind gesichert zu bestimmen.

⁸ OBERHUMMER: RE 4. Halbbd., 1896, 1581 s. v. Asine; im Jahre 362 war dort Geranor Harmost (Xen. hell. 7, 1, 25).

⁹ Vgl. MEYER: RE 30. Halbbd., 1932, 1393 f. s. v. Methone; nach Thuk. 2, 25, 1 f. griffen die Athener im Sommer 431 Methone an, das von Brasidas (*φρουρὰν ἔχων*) erfolgreich verteidigt wurde; KAHRESTEDT: Griech. Staatsrecht 1², 73, bezweifelt, daß Brasidas in Methone Harmost war; CLASSEN—STEUP 2⁵ (Thukydides, erklärt von J. CLASSEN 2, 5. Auflage bearb. von J. STEUP, Berlin 1914) z. St. sehen in der Definition *ἐς Μεθώνην τῆς Λακωνικῆς* einen Hinweis auf die Eroberung des Gebietes von den Messeniern; vgl. Diod. 12, 43, 2.

¹⁰ Herodot. 1, 82; Thuk. 5, 41, 2; vgl. PIESKE: RE 23. Halbbd., 1924, 44 f. s. v. Kynuria; im Jahre 424 war Tantalos Harmost in Thyrea (Thuk. 4, 56, 2 — 57, 5; bes. 57, 3; Diod. 12, 65, 9); wahrscheinlich existierte schon ein Harmost in Thyrea vor der Ansiedlung der Aigineten; vgl. CLASSEN—STEUP 6³, 116 zu Thuk. 4, 57, 3; zu Thyrea auch KAHRESTEDT: Griech. Staatsrecht 1², 73 f.

¹¹ Thuk. 5, 41, 2; HIRSCHFELD: RE 1. Halbbd., 1894, 2370 s. v. Athene.

¹² Der lakedaimonische König Demaratos riet Xerxes, die lakonische Küste von Kythera aus anzugreifen; schon der sagenhafte Chilon wünschte den Untergang der Insel wegen ihrer die Peloponnesos gefährdenden Lage (Herodot. 7, 235); zu den Argeiern als den ursprünglichen Besitzern der Insel vgl. Herodot. 1, 82; zur Harmostie auf Kythera s. Thuk. 4, 53, 3—5; 118, 4; 5, 18, 7; 7, 57, 6; Diod. 12, 65, 8; L. LEONHARD: Die Insel Kythera, Gotha 1899; BÜCHNER: RE 23. Halbbd., 1924, 215—217 s. v. Kythera; OEHLER: RE 14. Halbbd., 1912, 2389 s. v. *Ἀρμοσταί*; KAHRESTEDT: Griech. Staatsrecht 1², 73 f., 145, 229; ED. MEYER: Theopomps Hellenika, Halle S. 1909, 269 Anm. 2, bezweifelt wohl zu Unrecht, daß der Kytherodikes ein Harmost war; Kythera war noch 393 Harmostie (Xen. hell. 4, 8, 8; Diod. 14, 84, 5); ein Harmost Nikandros ist aus dem 4. (KOLBE) bzw. 3. Jh. (LOEWY) belegt (IG 5, 1, S. 177 Nr. 937 Z. 2).

¹³ Vgl. die bei Aristot. pol. 3, 1 (1), 8 = 1275 b 17—21; 7, 4 (4), 8 = 1326 b 22—25 aufgestellte Forderung nach Autarkie einer jeden Polis. Jedoch war in dem behandelten Zeitabschnitt Landerwerbung nur noch durch Unterwerfung einer anderen Polis möglich; so die Maßnahmen der Athener auf Aigina (Thuk. 2, 27, 1; Xen. hell. 2, 2, 3 f.; Diod. 12, 44, 2 f.); in Amphipolis bei Polisgründung (Thuk. 4, 102; Diod. 11, 70, 5; 12, 32, 3); in Hestiaia auf Euböia (Thuk. 8, 96, 2; Diod. 12, 22, 2) in Kolophon (Thuk. 3, 34, 3); auf Melos (Thuk. 5, 89; 116, 2; Isokr. 4, 100); in Mytilene auf Lesbos (Thuk. 3, 50, 2 f.; Diod. 12, 55, 8—10; DITENBERGER, Sylloge 1³, Lipsiae 1915, 94 Nr. 76 = M. N. Tod: A Selection of Greek Historical Inscriptions 1, 2. Aufl. Oxford 1946, 135 f. Nr. 63); in Notion (Thuk. 3, 34, 3); in Poteidaia (Thuk. 1, 59, 1; 60, 1 f.; 62, 2, 70, 4; Diod. 12, 46, 6 f.; Tod. A Selection 1², 129 Nr. 60); in Skione (Thuk. 5, 32, 1; Diod. 12, 76, 3; Isokr. 4, 100) und Torone (Thuk. 5, 2, 3).

Um zu zeigen, welche inneren Gründe die Lakedaimonier zu dem Kolonisationsversuch veranlaßten, sei nun zunächst auf die Bevölkerungsstruktur Lakedaimons hingewiesen.

In Lakedaimon kann man eine immer stärker werdende Verringerung der Zahl der vollberechtigten Spartiaten beobachten,¹⁴ wobei in gleichem Maße der Anteil der Minderberechtigten und Rechtlosen an der Gesamtbevölkerung wuchs. Die Gründe dafür dürften im folgenden zu suchen sein: Ein Spartiat behielt das Recht eines Politen, wenn er an den Syssitien und an der Erziehung teilnahm. Er mußte eine Naturalabgabe entrichten, deren Höhe unabhängig des persönlichen Besitzes für alle Spartiaten gleich hoch war. Diese Bestimmung entstammte einer Zeit, in der alle Spartiaten durch die sog. lykurgische Landaufteilung mit einem gleich großen Kleros versehen wurden, sicher, um bei gleichem Besitz Kämpfe untereinander, damit eine Schwächung ihrer Klasse zu vermeiden und alle Kraft der Unterdrückung der Heiloten widmen zu können. Nun aber fiel es bereits verarmten Spartiaten schwer, die gleichen Abgaben zu entrichten wie die Reichen.¹⁵

Als Hauptursache, die zu einer Differenzierung der Besitzverhältnisse in Lakedaimon führte, muß das Erbrecht bezeichnet werden.¹⁶ Ein Spartiat durfte zwar seinen Kleros nicht verkaufen oder durch Kauf vergrößern, jedoch nach Belieben verschenken oder vererben.¹⁷ Die entsprechende Überlieferung bei Plutarch über das Gesetz und den Gesetzgeber Epitadeus mag im Kern wie auch in der zeitlichen Ansetzung richtig sein. Der Ephor Epitadeus soll ein Gesetz veranlaßt haben, wonach jeder Spartiat seinen Kleros schon bei Lebzeiten vererben oder verschenken durfte.¹⁸ Die Folge war, daß sich die Zahl

¹⁴ Zu den sog. Homoien s. Thuk. 4, 40, 2; Xen. hell. 3, 3, 5; Bevölkerungsmangel in Lakedaimon bei Xen. Lak. pol. 1, 1; völlig irrig L. ZIEHEN: Das spartanische Bevölkerungsproblem, Hermes 68 (1933) 231, 237, der den Rückgang der Spartiaten infolge des Frauenmangels zu erklären versucht, da 466 bei dem großen Erdbeben viel Frauen und Mädchen umgekommen wären; der Grund für den später immer stärker werdenden Geburtenrückgang sei die «Entartung der spartanischen Frauen» (S. 237).

¹⁵ Aristot. pol. 2, 6 (9), 21 f. = 1271 a 29–37; nach Xen. Lak. pol. 10, 7 sind alle Spartiaten den Gesetzen unterworfen und Lykurg nahm keine Rücksicht *οὔτε σωμάτων οὔτε χρημάτων ἀσθένειαν*; Nichtteilnahme an den gemeinsamen Mahlzeiten wurde bestraft (Plut. Lyk. 12); zur Erziehung und den Mahlzeiten (Phiditien oder Syssitien) vgl. Xen. Lak. pol. 3; 4; Plut. apophth. Lakon. (Instit.) 21; EHRENBERG: RE 2. Reihe 6. Halbbd., 1929, 1375 f. s. v. Sparta (Geschichte); SCHWARTZ: Das Geschichtswerk des Thukydides. 2. Aufl. Bonn 1929, 146, 266; U. KAHRSTEDT: Die spartanische Agrarwirtschaft, Hermes 54 (1929) 288; BUSOLT: Die griech. Staats- und Rechtsaltertümer², 1892, 99 Anm. 2; 110; BUSOLT—SWOBODA: Griech. Staatskunde 2³, 1926, 640, 669.

¹⁶ Aristot. pol. 2, 6 (9), 10 = 1270 a 16–18 (*τοῖς μὲν γὰρ αὐτῶν συμβέβηκε κεκτηῖσθαι πολλὴν ἰάν οὐσίαν, τοῖς δὲ πάντων μικράν, διόπερ εἰς ὀλίγους ἦκεν ἡ χώρα*).

¹⁷ Ebd. §§ 10 f.; zum Verkaufsverbot vgl. BUSOLT—SWOBODA: Griech. Staatskunde 2³, 1926, 634 Anm. 3.

¹⁸ Plut. Agis 5 (*ἐφορεύσας δὲ τις ἀνὴρ δυνατὸς . . . Ἐπιτάδευς ὄνομα . . . ῥήτραν ἐγράψεν ἐξεῖναι τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ τὸν κληρὸν ᾧ τις ἐθέλοι καὶ ζῶντα δοῦναι καὶ καταλιπεῖν διατιθέμενον . . . ἐκτῶντο γὰρ ἀπειδῶς ἤδη παρωθοῦντες οἱ δυνατοὶ τοὺς προσήκοντας ἐκ τῶν διαδοχῶν καὶ ταχὺ τῆς εὐπορίας εἰς ὀλίγους συρρουείσης πενία τὴν πόλιν κατέσχεν*); vgl. dazu Aristot. Ath. pol. 35, 2; Plut. Solon 21, 3 f.; vor Solon mußte in Athen jeglicher Besitz in der Familie des Verstorbenen verbleiben; Solon erließ ein Gesetz, wonach kinderlose Athener ihr Vermögen nach Belieben vererben durften; eine noch weitere Festigung erfuhr dieses Gesetz durch die Dreißig in

der vollberechtigten Spartiaten von 9000 auf weniger als 1000 verringerte.¹⁹

Von seinem Kleros mußte jeder Spartiat die Naturalabgaben zu den Syssitien für sich und seine Söhne entrichten. Falls der Kleros nicht so viele Erträge hervorbrachte, daß für alle Söhne die Abgaben geleistet werden konnten, verloren vermutlich jüngere Söhne das Politenrecht und gehörten nun zu der Schicht der minderberechtigten Spartiaten.²⁰ Da Gelderwerb und Kauf eines Kleros verboten waren,²¹ bestand auch keine Möglichkeit des Landerwerbs. Wenn man dazu die großen Bevölkerungsverluste im Krieg in Betracht zieht, erklärt es sich, daß die Kleroi in der Hand der Erbtöchter verblieben. Somit konnte ein Spartiat eine Erbtöchter heiraten und vereinigte dann zwei Kleroi in seinem Besitz. Ein Spartiat war so in der Lage, seine ärmeren Verwandten, die bereits zur Schicht der Minderberechtigten gehörten, aus ihrem Erbteil zu verdrängen.²² Ein erneutes Anwachsen der Klasse der Spartiaten

hrer Funktion als Nomotheten (vgl. E. RUSCHENBUSCH: Die sogenannte Gesetzescode vom Jahre 410 v. Chr., *Historia* 5 [1956] 124 f.); MEIER: Das Wesen der spartanischen Staatsordnung, Leipzig 1839 (Klio, Beiheft 429) 56, sieht «in Epitadeus eine erfundene Gestalt»; BUSOLT-SWOBODA: Griech. Staatskunde 2³, 1926, 635, 636 Anm. 1 bezweifeln in keiner Weise die Wirksamkeit eines solchen Gesetzes.

¹⁹ Aristot. pol. 2, 6 (9), 13 f. = 1270b 4–6; vgl. die Reaktion der Lakedaimonier nach der Gefangennahme der Spartiaten auf Sphakteria (Thuk. 4, 108, 7 usw.); nach Aristot. pol. 2, 6 (9), 11 f. 1270a 23–31 besaßen um das Jahr 360 die Erbtöchter 2/5 des Landes, und es gab nur noch 1000 Reiter und Hopliten; nach Plut. Agis 5 gab es nur noch 700 Spartiaten, und von diesen besaßen nur noch 100 Land (*ὁδ' ἄλλος ὄχλος ἄπορος καὶ ἄτιμος ἐν τῇ πόλει παρεκάθητο*); zu der Abnahme der Spartiaten von einer Anzahl von 9000 z. Zt. der Perserkriege bis auf die von Aristot. und Plut. angegebene Zahl vgl. G. BUSOLT: Spartas Heer und Leuktra, *Hermes* 40 (1905) 418; MEIER: Das Wesen der spartanischen Staatsordnung, 9 f.; BELOCH: Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt, Leipzig 1886 (Hist. Beiträge zur Bevölkerungslehre 1) 8, bezweifelt «die Abnahme der Volkszahl Griechenlands seit den Perserkriegen»; dazu die Berechnungen bei V. EHRENBURG: Der Staat der Griechen 1, 24, die Zahl der Spartiaten betrug im 5. Jahrhundert 4–5000, um 371 aber nur noch 2500–3000, während gleichzeitig die Zahl der minderberechtigten Bürger von 500 auf 1500–2000 stieg, dem gegenüber standen 40–60 000 Perioiken und 140–200 000 Heiloten.

²⁰ Vermutlich gehörte auch Kinadon zu diesen *ὕπομειονες*; vgl. Xen. hell. 3, 3, 4–11 zu dessen Aufstandsversuch; über die Ursache derartiger *στάσεις* Aristot. pol. 5, 6 (7), 2 = 1306b 31–36, daß auch in Athen mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte zeigen Demosth. Symm. 182; vgl. dazu Harpocrationis lexicon s. v. *κοινωνικοί*.

²¹ Plut. Lys. 17; Xen. Lak. pol. 7, 1 f.

²² Vgl. Plut. Agis 5, daß die Reichen durch das neue Erbgesetz ihre Verwandten aus dem Erbteil verdrängen konnten; das bei Aristot. pol. 2, 6 (9), 13 f. = 1270b 1–6 überlieferte Gesetz, daß ein Spartiat mit drei Söhnen vom Kriegsdienst, mit vier Söhnen von allen Abgaben befreit wurde, brachte kein Anwachsen der Anzahl der Spartiaten, sondern erreichte nur, daß der Grund und Boden in noch kleinere Anwesen zerfiel und dadurch die Zahl der Armen sich erhöhte (*ἔστι γὰρ αὐτοῖς νόμος τὸν μὲν γεννήσαντα τρεῖς υἱοὺς ἄφρονον εἶναι, τὸν δὲ τέτταρας ἀτελῆ πάντων. καίτοι φανερόν ὅτι πολλῶν γυνομένων, τῆς δὲ χώρας οὕτω δημομένης, ἀναγκαῖον πολλοὺς γίνεσθαι πένητας*); vgl. ebd. 2, 4 (7), 3 = 1266b 8–13; anzuzweifeln nach den Feststellungen über Besitz und Erwerb in Lakedaimon ist KAHNSTEDT: Griech. Staatsrecht 1², 50, der annimmt, daß ein verarmter Spartiat wieder Polit werden konnte, wenn er seine «pekuniäre Stellung» wiedergewann; BUSOLT-SWOBODA: Griech. Staatsrecht 2³, 1926, 636, stellten fest, daß «in Verbindung mit der Unveränderlichkeit der Erbllichkeit der Landlose gegenüber der wechselnden Bürger- und Kinderzahl» ein gleichbleibender Anteil am «Bürgerland» nicht bestehen blieb; MEIER: Das Wesen der spartanischen Staatsordnung, 53, weist auf die Kriegsverluste hin, da beim Tod des Familienvaters die Gefahr des Aussterbens der Familie durch Fehlen legitimer Kinder bestand; zu den Kriegsverlusten der Lakedaimonier vgl. J. MÄLZER:

hinderten die dauernden Kriege, in denen viele Spartiaten den Tod fanden. Da die Spartiaten der Verringerung ihrer Klasse durch Kriegseinwirkungen dadurch zu begegnen suchten, daß sie Heiloten in den Krieg schickten, mögen sie indirekt wieder durch Vernachlässigung des Ackerbaues ihre eigene Verarmung gefördert haben.²³

Neben diesen inneren Gründen muß man aber auch die außenpolitische Situation der Lakedaimonier zu Beginn des Peloponnesischen Krieges beachten, die ebenfalls den Kolonisationsversuch verständlich werden läßt. So traten auf der Peloponnesos, verursacht durch die Blockaden der Athener bei Zakynthos und Kephallenia, Ernährungsschwierigkeiten auf, die einer dringenden Abhilfe bedurften.²⁴ Traditionsgemäß trachteten die Lakedaimonier nicht nach Unterwerfung überseeischer Gebiete, sondern sie versuchten, sich mit einer Koloniegründung auf dem Lande neue Gebiete botmäßig zu machen.

Im Sommer 426 baten nun die Trachinier und Dorier in Lakedaimon um Hilfe gegen die Oitaier, die diese beiden Stämme durch dauernde Angriffe zu vernichten drohten.²⁵ Da den Lakedaimoniern die Landschaft Trachinia, die in der Nähe Thrakiens, Euboiass und der Thermopylen gelegen war, günstig erschien, entsprachen sie der Bitte durch die Neugründung der Polis Trachis, der sie den Namen Herakleia beileigten.²⁶ Die Lakedaimonier sandten eigene Leute²⁷ sowie Perioiken nach Herakleia und gestatteten auch anderen Hellenen die Ansiedlung in der neuen Polis. Eine solche Niederlassung war aber den Ioniern, also den Poleis der delisch-attischen Symmachie, und Achaïern, die im Krieg gegen Athen die Neutralität wahrten, verboten.²⁸ Der Polisgründung folgten 4000 Peloponnesier und 6000 andere Hellenen, so daß Herakleia in der ersten Zeit 10 000 Einwohner hatte, die alle mit einem Kleros ausgestattet wurden.²⁹

Die weiteren Maßnahmen der Lakedaimonier lassen nun vermuten, daß Herakleia als Perioikenpolis eingerichtet wurde, in der die Spartiaten als vollberechtigte Politen von Lakedaimon größere Rechte beanspruchten als die übrigen Siedler. Die Lakedaimonier hatten Leon, Alkidas und Damagon als *πρύταται* mit der Einrichtung und der Leitung der Polis beauftragt, die nach den anderen uns bekannten Harmosten als Harmostie der Lakedaimonier bezeichnet

Verluste und Verlustlisten im griechischen Altertum bis auf die Zeit Alexanders des Großen, Diss. Jena 1911, bes. 29–37.

²³ So der Mord an 2000 Heiloten bei Thuk. 4, 80, 3 f.; Diod. 12, 67, 3–5; Heiloten im Heer des Brasidas bei Thuk. 4, 80, 4 f.; Diod. 12, 67, 3–5.

²⁴ Nach Thuk. 3, 86, 3 f. blieb die Getreideeinfuhr aus Sizilien aus.

²⁵ Im Verlaufe der Koloniegründung unterwarfen die Lakedaimonier die Oitaier; nach Xen. hell. 3, 5, 6 zog Lysandros 395 das Aufgebot der Oitaier vor Haliartos zusammen.

²⁶ In Nord-Ost-Hellas am Golf von Malea; vgl. H. W. PARKE: The Development of the Second Spartan Empire (405–371 B. C.), JHS 50 (1930) 38 f.; STÄHLIN: RE 14. Halbbd., 1912, 424–426 s. v. Herakleia. Die Polis wurde nach Herakles, dem Stammesheros der Lakedaimonier, benannt.

²⁷ Vielleicht als Ausweg, um Spartiaten ohne Kleros Land zuzweisen und ihnen damit die Erhaltung des vollen Politenrechts zu ermöglichen.

²⁸ Thuk. 3, 92, 5; zur Neutralität Achaïas ebd. 2, 9, 1.

²⁹ So Diod. 12, 59, 4 f.

werden kann. Leon, Alkidas und Damagon bevorzugten die Siedler aus ihren eigenen Reihen und benachteiligten die anderen Hellenen, die sich in Herakleia niedergelassen hatten. Dadurch aber erwuchs der Polis großer Schaden, da die enttäuschten Siedler ihre neue Heimat teilweise wieder verließen, zumal sie vermutlich auch keinen Anteil an der Polisverwaltung erhielten.³⁰

Außerdem sahen sich die Thessaler, Achaier und Boioter durch die Neugründung ihres Landes beraubt und versuchten nun, Herakleia durch dauernde Angriffe zu vernichten. Der erste Angriff der Thessaler erfolgte gleich nach der Polisgründung im Sommer des Jahres 426,³¹ da sich die Befürchtungen bewahrheiteten; denn Lakedaimon benutzte Herakleia als Stützpunkt für Kriegszüge in die umliegenden Gegenden. So unterstützten die Lakedaimonier im Sommer 426 die Aitolier bei einem Angriff auf Naupaktos. Die Bewohner von Naupaktos, von die Athenern dort angesiedelte und mit diesen verbündete Messenier, wurden von den Lakedaimoniern und ihren Symmachoi als störendes Element angesehen.³²

Die Lakedaimonier zogen für das Unternehmen gegen Naupaktos 2500 Hopliten der Symmachoi und 500 Hopliten der Herakleoten zusammen und behielten sich selbst die Leitung vor, die dem Spartiaten Eurylochos nebst seinen Begleitern Makarios und Menedaios übertragen wurde. Vermutlich war Eurylochos der Harmost von Herakleia, somit wäre auch verständlich, daß er das Heer bei Delphi sammelte.³³ Der Feldzug endete damit, daß Eurylochos von den Athenern, die Naupaktos zu Hilfe eilten, besiegt wurde.³⁴

Im Winter 420/19 griffen die Thessaler Herakleia erneut an, besiegten die Herakleoten in einer Schlacht, in der der Harmost Xenares fiel.³⁵

³⁰ Dazu Thuk. 3, 92; 93; bes. 92, 5 (*οἰκιστὰὶ δὲ τρεῖς Λακεδαιμονίων ἡγήσαντο, Λέων καὶ Ἀλκίδας καὶ Δαμάγων*); 93, 3 (*οὐ μὲντοι ἥκιστα οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τῶν Λακεδαιμονίων οἱ ἀφικνούμενοι τὰ πράγματά τε ἐφθεύον καὶ ἐς ὀλιγωνθρωπίαν κατέστησαν, ἐκφοβήσαντες τοὺς πολλοὺς χαλεπῶς τε καὶ ἔστιν ἃ οὐ καλῶς ἐξηγούμενοι, ὥστε ὅρων ἦδη αὐτῶν οἱ πρόσκοι ἐπεκράτουν*); diese Handlungsweise kann als eine eklatante Verletzung des Programms der Eleutheria und Autonomia angesehen werden, das die Lakedaimonier vor allen hellenischen Poleis bei Kriegsbeginn verkündet hatten (so Brasidas bei Thuk. 4, 86, 1; 5, 9, 9; vgl. G. GROSSMANN, Politische Schlagwörter aus der Zeit des Peloponnesischen Krieges, Diss. Basel 1950, 36 f.); allgemein begnügten sich die Lakedaimonier nach der Eleutheria-Definition bei Aristot. pol. 6, 1 (2), 6 = 1317b 2 f. (*ἐλευθερίας δὲ ἐν μὲν τὸ ἐν μέρει ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν*) gegenüber den anderen hellenischen Poleis mit dem ἄρχειν.

³¹ Thuk. 3, 93, 2 (*οἱ τε Θεσσαλοὶ ἐν δυνάμει ὄντες τῶν ταύτῃ χωρίων καὶ ὦν ἐπὶ τῇ γῇ ἐκτίζετο, φοβούμενοι μὴ σφίσι μεγάλη ἰσχύϊ παροικῶσιν*).

³² Zur Ansiedlung der Messenier in Naupaktos vgl. Thuk. 1, 103 (von den Lakedaimoniern wurde den Messeniern freier Abzug zugebilligt; doch konnte jeder Messenier, der auf die Peloponnesos zurückkehrte, dort versklavt werden); nach dem Sieg über Athen vertrieben die Lakedaimonier die Messenier aus Naupaktos und aus ganz Hellas (Diod. 14, 34).

³³ Thuk. 3, 100, 2 (*Σπαρτιάτης δ' ἦρχεν Εὐρύλοχος τῆς στρατιᾶς, καὶ ξυνηκολούθουν αὐτῷ Μακάριος καὶ Μενεδαῖος οἱ Σπαρτιάται*), damit Hervorhebung der Tatsache, daß sich die Spartiaten die Leitung des Unternehmens vorbehielten; ferner Thuk. 3, 101, 1; vgl. PARKE: The Development, 39.

³⁴ Thuk. 3, 107; 108.

³⁵ Thuk. 5, 51, 1 f.; bes. 51, 2 (*καὶ Ξενάρης ὁ Κνίδιος, Λακεδαιμόνιος, ἄρχων αὐτῶν ἀπέθανε*); Xenares war nach Thuk. 5, 36, 1 Ephor und wurde am Ende seines Ephorats im Herbst 420 nach Herakleia geschickt; vgl. PARKE: The Development, 38.

Im Sommer 419 nahmen dann die Boioter die Polis ein und sandten den Harmosten Hegesippidas mit der Begründung fort, er habe die Polis schlecht verwaltet.³⁶

Den Lakedaimoniern gelang es jedoch, ihre Position in Herakleia wieder zu festigen und weiterhin Harmosten in die Polis zu senden. Im Jahre 409 nämlich versuchten die Achaier und Oitaier eine Vernichtung der Polis, töteten 700 Herakleoten und auch ihren Harmosten Labotas.³⁷

Als in der Polis selbst Unruhen ausbrachen, die sich gegen die Lakedaimonier richteten, sandten diese im Jahre 399 Herippidas als Harmosten nach Herakleia. Dieser berief die Ekklesia ein, ließ den Versammlungsort von seinen Hoplitern umstellen, die dort versammelten Herakleoten fesseln und 500 von ihnen umbringen.³⁸

Diese Maßnahme aber beschleunigte das Ende der Polis, da nun die Herakleoten danach trachteten, sich der Herrschaft der Lakedaimonier mittels fremder Hilfe zu entledigen. Als Lysandros im Jahre 395 auch das Aufgebot der Herakleoten nach Haliartos befahl,³⁹ beschlossen die Boioter und Argeier, diese Polis endgültig dem Einfluß der Lakedaimonier zu entziehen. Zugleich konnten sie den nördlichsten Stützpunkt der Lakedaimonier, der ihnen in dem damaligen Krieg gefährlich werden mußte, vernichten. Die Boioter und Argeier verbündeten sich mit einigen den Lakedaimoniern feindlich gesonnenen Herakleoten, die sie nachts in die Polis einließen. Die Argeier besetzten selbst die Polis, ermordeten die dort anwesenden Lakedaimonier und vertrieben die Politen.⁴⁰

Somit war der Versuch der Lakedaimonier, sich durch die Gründung der Harmostie Herakleia Trachis neues Perioikenland zu schaffen, endgültig gescheitert.⁴¹

Berlin.

³⁶ Thuk. 5, 52, 1 (καὶ Ἠγησιππίδαν τὸν Λακεδαιμόνιον ὡς οὐ καλῶς ἄρχοντα ἐξέπεμψαν).

³⁷ Xen. hell. 1, 2, 18 (σὺν τῷ ἐκ Λακεδαιμόνος ἀρμοστῇ Λαβώτῃ); zu Labotas vgl. OEHLER: RE 14. Halbbd., 1912, 2389 f. s. v. Ἀρμοσταί.

³⁸ Diod. 14, 38, 4 f.; Polyain. 2, 21 s. v. Herippidas; vgl. EHRENBURG: RE 2. Reihe 6. Halbbd., 1929, 1403 s. v. Sparta (Geschichte).

³⁹ Xen. hell. 3, 5, 6.

⁴⁰ Diod. 14, 82, 6 f. Hiernach waren die vertriebenen Politen keine Trachinier; diesen verwehrten die Lakedaimonier die Ansiedlung in Herakleia und vertrieben sie sogar aus ihrer Heimat. Diese Tatsache deutet darauf hin, daß sich die Lakedaimonier in der gleichen Weise wie auch die Athener durch Vertreibung der ursprünglichen Bevölkerung Land verschafften. — Für die erwähnten Harmosten gibt es in den Inschriften keinerlei Belege; in IG 9² (KERN), Berlin 1908, S. 1 Nr. 1 f. gibt es für Herakleia Trachis lediglich zwei aus römischer Zeit stammende Inschriften.

⁴¹ Vgl. auch die mißglückte Polisgründung bei Xen. anab. 5, 6, 15 f., die die Poleis an der Schwarzmeerküste aus Furcht vor einer möglichen Konkurrenz verhinderten, wie den Versuch der Lakedaimonier, sich auf der Chersonesos anzusiedeln (Xen. hell. 3, 2, 8–10; 4, 8, 3–5; nach Xen. anab. 7, 1, 13 war dort um 400 Kyniskos Harmost; vgl. PARKE: The Development, 59). Zu den Harmosten und Harmostien vgl. G. BOCKISCH: Ἀρμοσταί (431–387). Klio 46 (1965) 129–239.

E. MARÓTI

BEWUSSTHEIT UND IDEOLOGISCHE FAKTOREN IN DEN SKLAVENBEWEGUNGEN

(EUNUS UND ATARGATIS)

IN MEMORIAM GERHARDI SCHROT

In der Erforschung der Geschichte der antiken Sklaverei dringt die Untersuchung des Seelenlebens und der geistigen Welt der Sklaven, der ideologischen Beziehungen, Bewußtheit und Zielsetzungen der Sklavenbewegungen immer mehr in den Vordergrund.¹

Die Wichtigkeit des Problemkreises braucht heute nicht mehr betont zu werden. Es ist allgemein bekannt, daß es nur wenige Gebiete gibt, wo der Forscher so vielen schweren und eigenartigen Quellenproblemen gegenübersteht, wie eben bei diesem: die antiken Mitteilungen über die Sklaverei wurden durch die Interessen, Ansichten der jeweiligen herrschenden Klassen grundlegend bestimmt und verzerrt. Demzufolge stehen unsere Quellen den Manifestationen der Klassenkämpfe der Sklaven feindlich gegenüber;² die Handlungen der aufständischen Unterdrückten werden als Folgen der Rachegier, als sinnlose Verwüstung und Bluttaten hingestellt. Die offizielle Stellungnahme, die sklavenhalterische Mentalität kommt in vieler Hinsicht auch in der Darstellung des Diodors von Sizilien zum Ausdruck, dessen Bericht über den Sklavenaufstand in dieser Provinz eine Ausnahmestellung unter allen antiken Schilderungen einnimmt.³

Der griechische Geschichtsschreiber zeigt ein erstaunliches Verständnis für das erbitterte Auftreten der aufständischen Sklaven, gibt ein empörendes Bild über die sinnlosen Grausamkeiten ihrer Besitzer, weist zugleich auf die billigen, gerechten Gesten der Sklaven hin und betont, daß: «was sie anderen

¹ Vgl. J. VOGT: Struktur der antiken Sklavenkriege. Abhandl. Mainz 1957: 1, 27 ff. F. BÖMER: Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom. Ebd. 1957: 7, 1960: 1, 1961: 4, 1963: 10. S. LAUFFER: Die Sklaverei in der griechisch-römischen Welt. XI.^e Congrès Internat. Hist. Rapports II. Uppsala 1960, 78–79. (Die ausführliche Kritik der Ansichten von Lauffer s. bei E. CH. WELSKOPF: AAH 12, 1964, 359 ff.) R. GÜNTHER: Der politisch-ideologische Kampf in der römischen Religion in den letzten 2 Jahrhunderten v. u. Z. Klio 42, 1964, 236–259, ferner J. E. M. ŠTAJERMANN: Расцвет рабовладельческих отношений в римской республике. Москва 1964, 198–218.

² Natürlich ließ sich eine ähnliche Tendenz auch den gesellschaftlichen Bewegungen der freien Bevölkerung bzw. den Reformbestrebungen einzelner Aristokraten gegenüber beobachten, wenn diese die materiellen oder politischen Interessen der herrschenden Klasse beeinträchtigten.

³ 34,2, 8–11, 26, 2–11.

angetan haben, keine Grausamkeit war, die aus ihrer Sklavengesinnung entsprang, sondern eine Vergeltung der gegen sie begangenen Ungerechtigkeiten» (34, 2, 13).

Wie bekannt, beeinflusste die Schilderung des Autors, der die erinnerungsschweren sizilianischen Geschehnisse mit begreiflicher Aufmerksamkeit verfolgte, Poseidonios der Philosoph und Geschichtsschreiber, syrischer Herkunft. Die Aufmerksamkeit des Poseidonios erfaßten indessen bereits in sich allein die Handlungen seiner Landsleute, die nach dem Westen verschlagen wurden. Seine Zuneigung für Wahrsagung und Astrologie mag sein Interesse für die Aufstände in Sizilien noch mehr deswegen gesteigert haben, nachdem darin den verschiedenen Wahrsagern eine bedeutende und führende Rolle zukam.⁴

Diodor widmete der Vorgeschichte des ersten Aufstandes eine besondere Aufmerksamkeit, wie auch den Umständen des Ausbruches und den einzelnen Momenten der Organisation des Sklavenstaates. Aus dem fragmentarischen, im Auszug erhalten gebliebenen Stoff entfaltet sich auch eindeutig, welche große Rolle im Aufstand der syrische Eunus gespielt hatte, vornehmlich durch seine Tätigkeit als Wahrsager.⁵ Eunus trat als Vermittler zwischen den Massen der Sklaven, die vorwiegend syrischer Herkunft waren, und der Göttin ihres Heimatlandes⁶ auf; er garantierte den Aufständischen die Unterstützung von Atargatis (Dea Syria) und flüsterte ihnen durch seine Wahrsagungen und andere Mittel Sicherheitsgefühl, Begeisterung, Fanatismus ein. Zur Wirksamkeit seines Auftretens trugen — auch unter den anderen Sklaven, die aus Kleinasien stammten — die verwandten Züge der verschiedenen orientalischen

⁴ Zu der Frage siehe E. MARÓTI: *Annal. Univ. Budapest. Sect. Philol.* 1, 1957, 95—98, 100—101. J. VOGT: *op. cit.* 29—30. P. GREEN: *Past and Present* 20, 1961, 10 ff. R. GÜNTHER: *Sozialökon. Verhältnisse im alten Orient und im klass. Altertum*. Bln. 1961, 100 ff. F. BÖMER: *a. a. O.* 1963: 10, 115 ff. P. OLIVA: *Neue Beiträge zur Gesch. der alten Welt II*. Bln. 1965, 83—84. Übrigens entstammen die übertriebenen Berichte über die Greuelthaten der Sklaven wahrscheinlich nicht von Poseidonios. Es ergibt sich aus den entgegengesetzten Tendenzen der Quellen des Diodoros die Inkonsistenz seiner eigenen Darstellungsweise: das Gesamtbild und das Urteil des Verfassers sind im allgemeinen den Sklaven gegenüber günstig; siehe auch noch unten S. 325 und Anm. 29.

⁵ Vgl. 34, 2, 6, 10, 11, 14.

⁶ Vgl. 36, 2, 7, 10. — Nach dem Zeugnis der Votivinschriften aus Delos bedienten sich die Syrier in fremder Umgebung neben den Namen ihrer Gottheiten Hadad und Atargatis besonders anfänglich sehr häufig der Bezeichnung *θεοί πατρίοι*. Offenbar dachte auch der Syrier Poseidonios an dieselben Gottheiten, wenn er im Zusammenhang mit Eunus häufig nur im allgemeinen von *θεοί* redete. Für den Atargatis-Kult der aufständischen Sklaven haben wir übrigens keine inschriftlichen Zeugnisse. Dies erklärt sich jedoch einfach auch schon damit, daß ihr Aufstand für den römischen Staat besonders gefährlich war. Die Gegenbeispiele von BÖMER (*a. a. O.* 1961 S. 85 Anm. 5), die sich auf andere Gottheiten beziehen, sind auch methodisch verfehlt, denn sie stammen von anderen Gebieten und aus anderen Zeiten. Aber wir pflichten dennoch keineswegs jener Ansicht von H. BOLKENSTEIN (*Wohltätigkeit und Armenpflege im vorschristl. Altertum*, Utrecht 1939, 325) bei, wonach Eunus die Aufständischen nicht ihrer ethnischen Zugehörigkeit nach sondern deswegen als Syrier bezeichnet hätte, weil diese sich unter den Schutz der syrischen Göttin gestellt hatten.

Kulte und die Anziehungskraft und Zugänglichkeit des Kultes von Atargatis bei.⁷

Eunus wurde laut Diodor von seinen Mitsklaven nicht wegen seiner Tapferkeit, noch als begabter Feldherr zum König erwählt, sondern vor allem wegen seiner mystischen Wahrsagertätigkeit, und wegen jener Rolle, die er in der Vorbereitung des Aufstandes gespielt hatte (34, 2, 14).

Der Geschichtsschreiber gebraucht zur Bezeichnung des Sklavenführers den Ausdruck *μάγος καὶ τερατοῦργος* (34, 2, 5) und für sein Verfahren in der Wahrsagung das Wort *τερατία* (34, 2, 14). Die Ausdrücke können in gleicher Weise für Zauber, Magie und Gaukelei ausgelegt werden — jedenfalls beziehen sie sich auf die Äußerlichkeiten und zwar darauf, daß Eunus bei der Wahrsagung Feuer und Flamme aus seinem Mund blies. Dies geschah auf die Weise, daß er «in eine, auf beiden Seiten durchbohrte Nuß oder in etwas ihresgleichen die Glut und zur Erhaltung des Feuers einen Brennstoff steckte, nahm dann die Nuß in den Mund, fachte das Feuer mit seinem Atem an und stieß bald Funken, bald Feuer aus» (34, 2, 6–7). Auch der Römer Florus erwähnt das Verfahren,⁸ bezeichnet es indessen bereits als eine ausgesprochene und absichtliche Täuschung (*fanatico furore simulato*).⁹ Gleichzeitig hält er es auch für einen zielbewußten Kniff, mit dem Eunus seinen Sklavenbrüdern, die um Rat zu ihm kamen, den Beweis erbringen wollte, daß ihr Auftreten auf göttliche Fügung geschieht: *idque ut divinitus fieri probaret*.¹⁰ Wie wirksam diese Lösung war, darüber sagt Florus selber: *ad libertatem et arma servos quasi numinum imperio concitavit* (2, 7, 4); *hoc miraculum . . . fecit exercitum* (2, 7, 6). Dasselbe sagt er nachher mit einem ungewohnten, prägnanten Ausdruck, der bisher nicht genügend berücksichtigt wurde: *conflavit exercitum* (2, 7, 10).

Nicht so sehr die Wahrsagungen des Eunus waren es, worüber sich die Römer empörten¹¹ — Florus erwähnt auch nicht ausdrücklich, daß er gewissagt hätte —, sondern das willkürlich angewandte Feuerzeichen und das Feuerprodigium,¹² nachdem die Auslegung dieser ein Privilegium der römischen Priesterkörperschaften war.

⁷ Dieselbe Erscheinung läßt sich auf der Insel Delos beobachten. — Das Zentrum des Atargatis-Kultes, der Tempel von Hierapolis wurde durch Pilger von entfernten Gebieten, so auch aus Kappadozien aufgesucht (F. CUMONT: PW—RE IV. 2238, s. v. Dea Syria). Diese Tatsache mag jenen Schluß von S. LAUFFER (Die Bergwerksklaven von Laureion II. Abhandl. Mainz 1956: 12, 228–29), daß Kleon und sein Bruder Komamos nicht kilikischer sondern kappadokischer Herkunft waren, erhärten.

⁸ 2,2,5 *in ore abdita nuce, quae sulphure et igni stipaverat, leniter aspirans flammam inter verba fundebat*.

⁹ 2,7,4., Apul. met. 8, 27, 4. 29,1. Siehe noch unten S. 323 Anm. 19.

¹⁰ 2, 7, 5. Vgl. Diod. 34, 2, 10.

¹¹ Orakelglaube und Inanspruchnahme von Wahrsagern — besonders in krisenhaften Zeiten — war unter den Völkern des Altertums, so auch bei den Römern, allgemein verbreitet; ähnlich bei den Syrern, vgl. Lukianos, de dea Syria 36. Über den außerordentlichen, fanatisierenden Einfluß der Wahrsager siehe die Bemerkung von Curtius Rufus, *Hist. Alex. Magni* 4, 10, 7.

¹² Über die Machenschaften der römischen Politik im Zusammenhang mit den Prodigien siehe R. GÜNTHER: *Klio*, a. a. O. 209–236.

Das Wesentliche für den modernen Forscher ist jedenfalls die Feststellung: Eunus gebrauchte bewußt solche Mittel, mit denen er seine Mitsklaven, die wegen ihres unmenschlichen Schicksals erbittert waren, zum Vorgehen ermutigen konnte und er wollte dies durch Herbeiführung von bedeutsamen Vorstellungen erreichen, die für sie wohlbekannt waren.

Nach all dem muß die Frage gestellt werden: welche Bedeutung, welchen Zweck hatten die bei der Wahrsagung angewandten Äußerlichkeiten, was stand als Wesentliches im Hintergrund, das ihre Wirkung erklären könnte?

Um dem Problem näher zu kommen, muß zunächst der Sinn einer anderen, bei Florus erzählten Begleiterscheinung, die Diodor nicht erwähnt, geklärt werden. Laut der Worte des Florus: Eunus, während er fanatische Besessenheit vorspiegelt, «*Syriae deae comas iactat*» (2, 7, 4). Die Erklärung hierfür finden wir in der satyrischen Beschreibung, die Apuleius in seinem Roman über die Bettelpriester der syrischen Göttin gegeben hat.¹³ Die Gallen geraten durch die Umdrehung des Kopfes in ekstatischen Zustand, in Verzückung, ihr Haar fliegt selbstverständlich im Kreise: *crinesque pendulos in circulum rotantes*.¹⁴

Die von Florus erwähnte Begleiterscheinung, die also auf Grund dieser Parallele einen Sinn erhält, weist das Verfahren von Eunus eindeutig in den Bereich des Atargatis-Kultes.¹⁵ Dieser Tatsache kann im übrigen als konkreter Beitrag in der Unterstützung der Annahme von J. Vogt¹⁶ gelten, daß Eunus nicht nur Wahrsager und König, sondern auch Priester war.

Zu recht können wir nach all dem voraussetzen, daß die mit der Wahrsagung verbundene andere Handlung, die Hervorrufung des Feuerzeichens gleichfalls in die Richtung des Atargatis-Kultes zeigt. Im Zusammenhang damit können wir uns vor allem darauf berufen, daß laut der ausführlichen Beschreibung von Lukian von den Jahresfeiern des Kultes der Göttin das im Vorfrühling gehaltene sog. Brand- oder Fackelfest das bedeutendste war (De dea Syria 49).

Die Mystik in den Umständen der Wahrsagung steigerte das Stattfinden des Feuerzeichens auf jedem Fall, bedeutete jedoch unbedingt auch mehr als dies.

Diodor erwähnt auch, daß als die Sklaven unter Führung des Eunus in der Nacht zur Eroberung der Stadt Henna zogen, Eunus das mysteriöse

¹³ Vgl. Lukianos, *Luc.* 36. οἱ δὲ τὰς μίτρας ἀπορρίψαντες τὴν κεφαλὴν κάτωθεν ἐκ τοῦ ἀνχέρος εἰλίσσοντες.

¹⁴ CUMONT (ebd. 2239) verbindet die Stelle mit dem aus Lukianos, de dea Syria 60 bekannten Darbietungsritus; aber das hat in dem gegebenen Zusammenhang gar keine Bedeutung.

¹⁵ Gelegentlich weissagten auch die Bettelpriester der Atargatis; vgl. Apul. *met.* 8, 29, 1. 9, 8, 1 ff.

¹⁶ Op. cit. 33. — Es gibt auch mehr Parallelen zwischen dem ersten sizilischen Sklavenaufstand und dem Makkabäer-Aufstand. Man denke an die geteilte geistig-ideologische und militärische Führung (I. Macc. 2, 65–66), an die himmlische Hilfe I. 2, 19. 21. I. 3, 60. 4, 30 u. a. m.

Zeichen wiederholte (34, 2, 11). J. Vogt faßt die Geste als Zeichen des vernichtenden göttlichen Feuers auf.¹⁷ In der Tat läßt sich von den šumerischen und babylonischen Hymnen des Šamaš über die Esra-Apokalypse bis zur Dies irae des Mittelalters der Glaube verfolgen, wonach die Gottheit die Sündiger, die Feinde ihrer Verehrer in Flammenzungen, in Form von flammendem Hauch vernichtet. Auch Atargatis begegnen wir als einer strafenden Gottheit: in einer Inschrift auf Delos¹⁸ beruft sich ein Sklave, namens Theagenes auf sie, als er seine eidbrüchige Herrin verflucht: *μὴ ἐκφύγοι τό κ(ρά)τος τῆς θεᾶς*.

Bei Apuleius wünscht Philebus, der Bettelpriester dem spöttischen Ausrufer: «*At te . . . dea Syria . . . caecum reddant . . .*» (met. 8. 25, 3).

Diese Deutung des Feuerzeichens begründet jedoch nicht, daß es überhaupt im Zusammenhang mit der Wahrsagung eine Rolle hätte: es muß daher eine derartige gemeinsame Erklärung gefunden werden, die für beide Zusammenhänge befriedigend wird.

Ebenfalls von Diodor wissen wir, daß die Sklaven von Henna so lange nicht den Mut hatten, mit der Durchführung ihres Vorhabens anzufangen, bis Eunus ihnen nicht versicherte, daß die Göttin ihre Tat billigt und unterstützt.¹⁹ Das Flammenzeichen bezweckte daher Stärkung und Erhaltung des Gläubens, den sie der in der Wahrsagung verheißenen Hilfe schenkten; es war berufen, die helfende Anwesenheit der Gottheit auszudrücken! Ebenso wie auch Apuleius den ekstatischen Zustand, das Verhalten des Priesters der Atargatis mit der Bezeugung der Anwesenheit (*praesentia*) der Gottheit verbindet.²⁰

In diesem Zusammenhang soll außer dem erwähnten Flammen- oder Fackelfest der Atargatis noch auf zwei andere Mitteilungen des Lukianos hingewiesen werden, die einerseits auf die weitere Verbindung zwischen dem

¹⁷ Op. cit. 32—33.

¹⁸ BCH 6, 1882, p. 501, nr. 24. Emendierter Text ebd. 28, 1904, 152 p. — P. ROUSSEL (Delos colonie Athénienne. Paris 1916, 266) hat im Zusammenhang mit dem Verwünschungstext festgestellt, daß der Kult der Göttin eine solche Gruppe zu bilden bestrebt war, die von derselben religiösen Begeisterung durchdrungen war, und deren Mitglieder sozusagen von dem Gefühl der Brüderlichkeit verbunden waren.

¹⁹ 34, 2, 10. Vgl. Flor. 2, 7, 5, im Zusammenhang mit dem zweiten Aufstand Diod. 36, 5, 3. Siehe noch Vogt. op. cit. 30. — In den östlichen (semitischen) Religionen ist der Glaube an die Abhängigkeit der Menschen von der Gottheit betonter; auch die Götter der östlichen Monarchien sind despotische Erscheinungen (vgl. F. CUMONT: Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum. Lpz.—Bln, 1914, 136.) Charakteristisch für das Verhältnis zwischen der Gottheit und dem Gläubigen ist jene syrische Inschrift (BCH 21, 1897, p. 60. nr. 68), wonach die Göttin als *κνρία* und der Verehrer als *δοῦλος* bezeichnet wird (vgl. Lukianos, de dea Syria 35). Ein Orientale mag auch jener Sklave in Sizilien gewesen sein, der Demeter als Herrin und sich selbst als ihren Diener bezeichnet (BCH 25, 1901, 412, vgl. BÖMER a. a. O. 1963, 136—137. Es ist auch bezeichnend, daß nach den Dedikationen die kultischen Gebäude und Gegenstände in Delos auf Geheiß der Göttin (*κατὰ προστάγμα* — *προστάγματα*) errichtet wurden. Vgl. Inscription de Délos, publ. P. ROUSSEL et M. LAUNAY, nr. 2264, 4; 2280, 2; 2281, 2; 2294, 4; 2303, 2—3 bzw. 2220, 1—2 etc.

²⁰ met. 8, 27, 4 *inter haec unus ex illis bacchatur effusius ac de imis praecordiis anhelitus crebros referens velut numinis divino spiritu repletus simulabat sauciam vecordiam, prorsus quasi deum praesentia soleant homines non fieri meliores, sed debiles effici vel aegroti.*

Feuerprodigium und dem Atargatin-Kult schließen lassen, andererseits anscheinend die Nähe der Göttin zum Ausdruck bringen wollen.

Von dem Kultbildnis des Atargatis-Tempels von Bambyke — wegen seiner religiösen Bedeutung Hierapolis genannt — sagt Lukian als das Beachtenswerteste (c. 32): Die Statue der Göttin «trägt einen Stein auf dem Kopf, der Leuchte heißt, und dessen Benennung seiner Beschaffenheit entspricht. Denn aus ihm strahlt in der Nacht ein heller Glanz aus, von dem der ganze Tempel wie von Leuchtern erleuchtet wird. Am Tag ist aber dieser Schein schwächer, hat aber doch ein sehr feuerfarbenes Aussehen.²¹ Es ist noch ein Wunderbares an diesem Götterbild, nämlich daß es dir, wenn du ihm gegenüberstehst, gerade ins Gesicht sieht, und mit seinem Blick dir folgt, wenn du deine Stellung veränderst, zu gleicher Zeit aber demjenigen, der von einer ganz anderen Seite diesen Versuch macht, ganz dieselbe Erscheinung gewährt.»²² Dieser mit dem glänzenden Edelstein verbundene Glauben dürfte in ganz Syrien allgemein verbreitet gewesen sein, war selbst auf den die Göttin darstellenden Münzen zu finden.²³

Kommen wir auf die Begleiterscheinungen der Wahrsagungen von Eunos zurück, so muß auf die Tatsache verwiesen werden, daß im Atargatis-Kult ohne Zweifel die auffallenden, sehenswerten Elemente hervorstechend waren,²⁴ die Wahrsagerzeremonie mit der Apollostatue in ihrem Tempel zu Hierapolis war ausgesprochen mit theatralischen Äußerlichkeiten verbunden.²⁵ Wie bekannt, gehörte zu den Atargatis-Heiligtümern gewöhnlich auch ein Theater von kultischer Bestimmung hinzu, wo auch die außerordentlich sehenswürdigen Mysterien aufgeführt wurden.²⁶ Man kann sich leicht vorstellen, daß diese Eigenart des Kultes der Göttin zur Entstehung der in sich allein schon außerordentlich bedeutsamen Anregung des Eunos beigetragen hat. Namentlich dazu, daß der Sklavenkönig, um die Kampflust rege zu halten, in Henna auch eine Mimenvorstellung veranstaltete, die den Aufständischen ihre früheren Leiden darbot und die Momente des Aufstandes als gerechte Strafe für ihre grausamen Herren vorführte (34, 2, 46).

Die Rolle, die der Idee der Gerechtigkeit, dem beleidigten Rechtsgefühl

²¹ Ebd. c. 32. Zu einem ähnlichen Moment in dem persischen Sonnenkult siehe Curtius Rufus 3, 3, 8—10.

²² Plinius, n. h. 5, 81 gibt der Atargatis das Attribut *prodigiosa*.

²³ Vgl. CUMONT: PW—RE IV 2243. Es ist natürlich eine andere Frage, inwiefern dieser Glaube mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Vgl. C. CLEMEN: Lukians Schrift über die Syrische Göttin. Lpz. 1938, 42.

²⁴ Vgl. Lukianos, ebd. 47—50.

²⁵ Ebd. 36. 10.

²⁶ Vgl. M. P. NILSSON: Gesch. d. Griech. Religion II. München 1950, 116. 613. — Das Heiligtum von Delos wurde gegen Ende des 2. Jahrhunderts mit Theater ergänzt; in diesem wurden der Göttin ein vergoldeter Thron und auch Altar errichtet (vgl. P. ROUSSEL: Delos . . . 259—61. 419 nr. 22. 23); unter denjenigen, die zu dem Bau des Theaters beigesteuert hatten, findet man auch Sklaven und Freigelassene (ebd. 267—68); es befand sich unter den Trümmern der Mauer auch eine Votivinschrift (ebd. 422—23, nr. 31).

der Sklaven zukommt, verdiente einen eigenen Abschnitt bei der Analyse der Sklavenbewegungen.²⁷ In diesem Zusammenhang wollen wir hier nur daran erinnern, daß Diodor zahlreiche solche Fälle aufzählt, in denen das Gerechtigkeitsgefühl, die Billigkeit, das Streben der Sklaven, sich Gerechtigkeit widerfahren lassen, zum Ausdruck kommt.²⁸ Als Konklusion stellt er fest, daß «selbst die Natur die Sklaven lehrt, daß sie die ihnen zuteil gewordene Güte und das Unrecht gerechterweise erwidern» (34, 2, 40).²⁹ Wahrscheinlich ist jedoch, daß auch diesem Verhalten die Wirkung des Kultes der syrischen Göttin zur Geltung kam, wonach Atargatis den Menschen Gerechtigkeit gelehrt hatte: Auf einer kaiserzeitlichen Inschrift z. B. erscheint Dea Syria als *iusti inventrix*.³⁰

Wir sahen also, daß in der Hand des Wahrsagers und Sklavenkönigs Eunus die bewußte Heraufbeschwörung der Elemente der heimischen Religion zur Mobilisierung der Sklavenmassen ein äußererst wirksames Mittel war, so daß es der römische Senat für wichtig fand, den Kampf mit den aufständischen Sklaven auch in ideologischer, kultischer Sphäre aufzunehmen.³¹

Das Bestreben der Römer richtete sich vor allem zur Gewinnung der Schutzgötter der Insel. Auf Grund der Sibyllinischen Bücher entsandten sie eine Priesterbotschaft nach Sizilien, die Priester stellten dort einen Altar dem Jupiter von Aetna, boten ihm Opfer dar und umgaben sodann die Kultstätte mit einer Mauer³² — offenkundig in der Absicht, sie vor den Sklaven abzusperren.³³

Auch die Aussendung einer ähnlichen Kommission nach Henna, zu der uralten Kultstätte der Demeter hielten sie für nötig, als sich nach Ermordung des Tib. Gracchus weitere bedenkliche Vorzeichen zeigten.³⁴ Der Entschluß ist um so verständlicher, da Henna zugleich auch ein bedeutsamer Ort der aufständischen Sklaven war, die den Tempel der Göttin verschonten und ihm die ihm zukommende Ehre zuteil werden ließen.³⁵

²⁷ Vgl. E. MARÓTI: AAH 11, 1963, 232—33 Anm. 81.

²⁸ 34, 2, 9. 13. 34. 39. 41.

²⁹ "Ὅτι παρὰ τοῖς οἰκέταις αὐτοδιδασκός ἐστιν ἡ φύσις εἰς δικαίαν ἀπόδοσιν χάριτος τε καὶ τιμωρίας.

³⁰ CHL VII 759, 2. Vgl. 5.: *lance vitam et iura pensitans*.

³¹ Vgl. BÖMER: a. a. O. 1963, 92 ff. 108 ff. 112 ff. 118 ff.

³² Diod. 34, 10. Vermutlich nach jener Eruption der Aetna, die sich auf das Jahr 135 datieren läßt.

³³ A. HOLM: Gesch. Siziliens im Altertum III Lpz. 1898, 111. VOGT: op. cit. 30—31. — Dies Vorgehen erinnert übrigens an jene magischen Praktiken, wie die Römer immer bestrebt waren, die Götter der belagerten feindlichen Städte zu sich herüberzulocken. Siehe Macrobi. sat. 3,9. Plin. N. H. 28, 18. Livius 5, 21, 3. 5. Servius ad Aen. 2, 351—52.

³⁴ *atroci et difficili rei publicae tempore*, wie Cicero darüber schreibt in Verr. 2/4, 108.
³⁵ Cic. ebd. 112. — Auf der einen Seite der Münze des Eunus Basi(leus) Antio(chos) sah man das mit Ähre geschmückte Profil der Demeter (Num. Chron. 20, 1920, 175). Es wird wohl nicht überflüssig, gegen manche negative Tendenzen, den Schluß von F. S. G. ROBINSON, der den Fund beschrieben hatte, zu zitieren; seiner Meinung nach das Sklaven-Königtum «was not merely destructive or anarchial institution». — Der Kult der chthonischen Gottheit mag übrigens auch später unter den Sklaven orientalischer Herkunft heimisch gewesen sein. Es ist bezeichnend, daß die eine führende Gestalt des zweiten

Abschließend können wir darauf hinweisen, daß man in Rom nach all dem — wahrscheinlich als Lehre der in Sizilien gemachten Erfahrungen — in gesteigertem Maße der Gefahr Rechnung trug, die die mystische Ideologie hinsichtlich der Organisation der Sklaven bedeuten könnte. Dieser Gefahr wollten sie u. a. auch durch die Propagierung des Kultes der amtlich anerkannten Götter,³⁶ durch die abermalige Verfolgung der orientalischen Wahrsager und Astrologen entgegentreten.³⁷ So entstanden die — bei größerer Sklavenzahl auf dem Gebiete der Organisation der Arbeit undurchführbaren — Vorschläge, wie z. B. die von Varro, in bezug auf die Haltung von Sklaven verschiedener ethnischer Herkunft und Muttersprache.³⁸

Budapest.

Aufstandes, der Wahrsager, der ebenfalls zum König gewählt wurde, Salvius-Tryphon früher als Flötenspieler in den Mysterien der Demeter behilflich war. (Diod. 36, 4, 4). Nach Lukianos (c. 43) gehörten in dem Tempel der Atargatis zu Hierapolis auch die Flötenspieler zu den Priestern, ja sie waren gerade die vornehmsten unter diesen; vgl. C. CLEMEN: op. cit. 53, 54. Sieh auch oben S. 777 Anm. 19.

³⁶ Vgl. Annal. Univ. a. a. O. 95.

³⁷ Ebd. 88—89. GÜNTHER: Klio, a. a. O. 248—9. Laut BÖMER (a. W. 1963, 116) hat Verf. dieser Zeilen bei der Erklärung von Catos Verbot über die Weissager dem Gesichtspunkt der Sicherheit des Grundbesitzes, bzw. der Zügelung der Sklaven allzu grosse Bedeutung zugeschrieben. In diesem Zusammenhang verschweigt er aber die Tatsache, auf die sich unsere Behauptung vor allem stützt, daß von den vier Führern der sizilischen Sklavenaufstände drei Wahrsager waren.

³⁸ r. r. 1, 17, 15; vgl. Annal. Univ. a. a. O. 96—97. *Studia Antiqua* 7 (1960) 125.

DER AUGUSTUS VON PRIMAPORTA ALS OFFIZIÖSES DENKMAL

Der Augustus von Primaporta¹ ist trotz der zahlreichen Studien, die ihm in den seit seiner Auffindung vergangenen hundert Jahren gewidmet worden

¹ Die folgenden Ausführungen geben den Wortlaut eines Vortrages von 20 Minuten Dauer wieder. Die von der Statue des Augustus von Primaporta aufgeworfenen Fragen sind so umfangreich und kompliziert, daß sie hier keineswegs auch nur annähernd erörtert, geschweige denn beantwortet werden konnten. Selbst die für die eigene Beweisführung an sich notwendigen Begründungen konnten nur in sehr komprimierter Form, oft nur als einfache Feststellungen vorgetragen werden; auch die Anmerkungen konnten und wollten diesen Mangel keineswegs ausgleichen; in ihnen wird nur auf die wichtigste Literatur hingewiesen, soweit sie mir zugänglich war.

Außer den in den bisher erschienenen Bänden des Handbuches der Archäologie, München 1939 ff. verzeichneten Abkürzungen werden in den Anmerkungen folgende verwendet:

ALFÖLDI = A. ALFÖLDI: Zum Panzerschmuck der Augustusstatue von Primaporta. RM 52 (1937) 48 ff.

AMELUNG = W. AMELUNG: Die Skulpturen des vaticanischen Museums. Bd. I. Berlin 1903, 19 ff.

DOMASZEWSKI = A. v. DOMASZEWSKI: Der Panzerschmuck der Augustusstatue von Primaporta, Strena Helbigiana, Leipzig 1900, 51 ff.

FITZLER-SEECK = K. FITZLER-O. SEECK: RE. I. R. 19. Hbd. Art. Augustus, 275 ff. (1917)

HANSLIK = R. HANSLIK: Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike. Stuttgart 1964, Art. Augustus, 744 ff.

GELZER = M. GELZER: RE. I. R. 19. Hbd., Art. Tiberius, 478 ff. (1917)

GROSS = W. H. GROSS: Zur Augustusstatue von Primaporta, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Klasse, Jg. 1959, Nr. 8, 143 ff.

HELBIG⁴ = W. HELBIG: Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom, I. Bd., Die päpstlichen Sammlungen im Vatikan und Lateran, Tübingen 1963, 314 ff. Nr. 411, Statue des Augustus von Primaporta (H. v. HEINTZE)

HOHL = E. HOHL: Der Cupido der Augustusstatue von Primaporta und der große Pariser Cameo. Klio 31 (1938) 269 ff.

KÄHLER = H. KÄHLER: Die Augustusstatue von Primaporta, Köln 1959

LÖWY = E. LÖWY: Zum Augustus von Prima Porta, RM 42 (1927) 203 ff.

OLLENDORFF = L. OLLENDORFF, RE. I. R. 25. Hbd. Art. Livia, 900 ff., Nr. 37 (1926)

SIMON I = E. SIMON: Zur Augustusstatue von Primaporta. RM 64 (1957) 46 ff.

SIMON II = E. SIMON: Der Augustus von Primaporta. Opus nobile Heft 13, Bremen 1959

STUDNICZKA = F. STUDNICZKA: Zur Augustusstatue der Livia. RM 25 (1910) 27 ff.

Die ältere Literatur wird ausführlich zitiert bei STUDNICZKA 27 Anm. 1; AMELUNG 27 f.; HELBIG³, 8; vgl. auch das ausführliche Literaturverzeichnis bei KÄHLER 29 f.; die neuere Literatur wird genannt bei HELBIG⁴, 319 (die dort angeführten Arbeiten von L. A. HOLLAND, C. C. VERMEULE, P. RENTERSWÄRD, R. REBUFFAT und H. INSTINSKY waren mir zur Zeit der Ausarbeitung des Vortrages nicht zugänglich; ebenso auch nicht J. GAGÉ: Apollon Romain, Bibl. Ecoles Françaises, Fasc. 182, 1955 und L. POLACCO: Il volto di Tiberio, Rom 1955). Zu der in HELBIG⁴ angeführten Literatur wäre noch nachzutragen H. INGHOlt: AJA 64 (1959) 187 ff.

sind, noch immer eines der rätselhaftesten Kunstwerke der Antike. Seine Datierung wurde jeweils durch seine Deutung als historisches Denkmal praejudiziert. Diese aber hing entscheidend von der Gewichtigkeit ab, die einzelnen seiner «Attribute» zugebilligt wurde.²

Für einige Forscher war die Statue vor allem ein offizielles Denkmal, das ganz der Verherrlichung des Augustus diene.³ Andere wiesen mit mehr Nachdruck auf den privaten Ort der Aufstellung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen hin.⁴ Die meisten hielten sie für ein erstrangiges Original,⁵ aber sie wurde auch für eine Kopie erklärt.⁶ Unklarheit herrschte auch darüber, ob der Augustus von Prima porta auf genau bestimmbare historische Ereignisse Bezug nähme⁷ oder ob er nur als eine allgemeine Lobpreisung aufzufassen sei.⁸ Die Bedeutung der Barfüßigkeit,⁹ des Gestus der rechten Hand,¹⁰ der

Die im Vortrag ausführlicher dargelegten Gedankengänge finden sich bereits angedeutet in meiner Rezension von H. KÄHLER: Die Augustusstatue von Prima porta, DLZ 83 (1962) 685 ff.

² Hier wären alle älteren Studien zu nennen, in denen die Statue vor allem wegen der im Zentrum des Panzers dargestellten Rückgabe der Feldzeichen durch die Parther in die Jahre unmittelbar nach 20. v. u. Zt. datiert wurde. Die Barfüßigkeit dagegen veranlaßte neuerdings KÄHLER 18 f. und GROSS 159 ff. zu ihrer Spätdatierung, weil sie nach deren Meinung ein eindeutiges Indiz für die Divinisierung des Augustus sei.

³ Mit Augustus als dem eigentlichen Auftraggeber bringen die Statue in Verbindung DOMASZEWSKI 53; ALFÖLDI 62, der die Statue als eine Verherrlichung des Augustus als Kosmokrator im hellenistischen Sinne auffaßt; SIMON I 51 bezog die drei Gruppen in der Mittelzone des Panzers ganz auf Augustus, vgl. ferner 59, 61; auch KÄHLER 19 bezog die Panzerdarstellungen ganz auf Augustus, räumte aber 28 auch dem Tiberius eine wichtige Beziehung zu den Figuren des Mittelstreifens des Panzers ein; G. v. KASCHNITZ-WEINBERG: Zwischen Republik und Kaiserreich. Römische Kunst II. Reinbek b. Hamburg 1961. 14.

⁴ Mit Livia als der eigentlichen Auftraggeberin bringen die Statue in Verbindung STUDNICZKA 28, 48 («... Standbild, das vor allem für die Augen der stolzen Mutter bestimmt war.»); HELBIG³ 5 («Livia, für deren Villa die Statue gearbeitet wurde»); OLLENDORFF 906; dagegen LÖWY 203 f.; G. RODENWALDT: Kunst um Augustus. Berlin 1943. 11 weist auf die Verbindung mit Livia hin; H. KOCH: Römische Kunst. Weimar 1949². 131 f. («... das Besitztum gehörte der Kaiserin Livia; dort befand sich auch der Lorbeerhain, dem die Kaiser ihre Triumphalkränze entnahmen.»); SIMON I 64, KÄHLER 15, 27; GROSS 165.

⁵ STUDNICZKA 27 bezeichnet die Augustusstatue als «Meisterwerk und Eckstein der Kunstgeschichte»; für ein Original halten die Statue auch HELBIG³ 7; G. RODENWALDT: Kunst um Augustus. 11 («Originalwerk ersten Ranges»); H. KOCH: Römische Kunst. Weimar 1949². 132; KÄHLER 14 f. und 20.

⁶ LOESCHKE: BJB. 114/115 (1906) 470 f.; vgl. auch HOHL 283; besonders betont GROSS 150 ff., der sie nicht nur für eine Kopie, sondern für eine gegenüber dem Original weitgehend veränderte Kopie hält: Die Barfüßigkeit, die «leise Veränderung des Porträtkopfes» (Vergrößerung der Augen) und die auf Tiberius bezogenen Panzerdarstellungen seien bei der Kopie hinzugefügt worden; ihm schließt sich HELBIG⁴ 317 an.

⁷ Gegen DOMASZEWSKI 52 f. zuerst prononciert STUDNICZKA 30 ff. HELBIG³ 4 weist richtig auf die teils allgemeine, teils konkrete Aussage hin; H. KOCH: Römische Kunst. 132; SIMON I 50, 64; KÄHLER 28; GROSS 153.

⁸ Vgl. dazu DOMASZEWSKI 52 f.; ihm folgte ALFÖLDI 55, 62.

⁹ Vgl. dazu folgende Meinungen: AMELUNG 26 (mit anderen Beispielen barfüßiger Panzerstatuen); HELBIG³ 4 (gleichfalls mit Parallelen); LÖWY 218 (Anm. 1 mit Literatur); SIMON I 66 als zu einem Betenden gehörig interpretiert; für KÄHLER 18 ff. und für GROSS 159 ff. bedeutet die Barfüßigkeit ohne jeden Zweifel Vergöttlichung des Augustus.

¹⁰ Als Redegestus aufgefaßt von AMELUNG 25; HELBIG³ 4; G. RODENWALDT: Kunst um Augustus. 11; H. KOCH: Römische Kunst. 132; vgl. dazu SIMON I 65 Anm.

beiden weiblichen Personifikationen¹¹ und des Tropaeums auf dem Rücken des Panzers¹² sind nach wie vor umstritten. Die im Zentrum des Panzers dargestellte Rückgabe der Feldzeichen durch die Parther war das Hauptargument für eine Frühdatierung, während die Barfüßigkeit zu einer Spätdatierung verleitete.¹³

Nur in einem Punkte herrschte in der Forschung völlige Einmütigkeit: der Augustus von Primaporta stellt eine politische Manifestation dar. Zu deren konkretem Verständnis wollen die folgenden Ausführungen einen Beitrag leisten.

Es ist evident, daß die Beantwortung aller Einzelfragen, die die Statue aufwirft, auf einen Generalnenner zu bringen sein muß. Er würde auf ihren eigentlichen Sinn hinweisen und erlauben, die attributiven Einzelheiten ins rechte Verhältnis zueinander zu setzen. Unsere Deutung stützt sich einerseits auf allgemein anerkannte Tatsachen und andererseits auf noch umstrittene Vorschläge, die zu Einzelfragen bereits gemacht worden sind. Auf diese Weise wird aus vielen Mosaiksteinchen ein neues Bild vom Augustus aus Primaporta

151; KÄHLERS Theorie 27, der in der rechten Hand einen Lorbeerzweig ergänzt, scheint mir richtig; GROSS 156 ff. faßte den Gestus der rechten Hand als ein Mittelding zwischen Gruß und Rede, als Anrede auf.

¹¹ In der neueren Erforschung zuerst von DOMASZEWSKI 52 *Gallia* und *Hispania* genannt (wegen der keltischen Feldzeichen und des Schwertes mit Adlerkopfgrieff); ihm folgten AMELUNG 24; STUDNICZKA 37; HELBIG³ 6; LÖWY 208; ALFÖLDI 56 hielt die Personifikationen nicht für Darstellungen von Provinzen, sondern von noch nicht unterworfenen Völkerschaften, 62 für allgemeine Anspielungen auf entfernte Völkerschaften; SIMON I 50 f. griff die alte Theorie von DOMASZEWSKI wieder auf; KÄHLER 17, 28 schloß sich ALFÖLDI an, verwandelte aber dessen *Dacia* in eine *Pannonia/Dalmatia*; GROSS 152: *Germania-Dalmatia*; völlig neuartig, wenn auch nicht überzeugend G. BRUNS: Festschrift W.-H. Schuchhardt. Baden-Baden 1960. 38 ff., die in der rechten Figur die Personifikation eines afrikanischen Volkes sehen wollte; wohl mehr ein Druckfehler die Identifizierungen HELBIG⁴ 315.

¹² Das Tropaeum wurde schon von P. BIENKOWSKI: *De simulacris barbarorum gentium apud Romanos*, Krakau 1900, 27 und Nachtrag 100 mit der davor auf der Vorderseite des Panzers sitzenden Frau verbunden; dagegen AMELUNG 24. Vgl. auch LÖWY 208: «... und die Hispania verrät ihre Herleitung aus einer größeren Gruppe durch das links von ihr noch erhaltene Tropaeum...»; BIENKOWSKI folgte neuerdings wieder G. CH. PICARD: *Les trophées romains*. Paris 1957. 280; vgl. SIMON I 50, die das Tropaeum ganz allgemein mit Besiegten verband; KÄHLER 17 brachte es wegen der an ihm erkennbaren *Carynx* mit einem Sieg über Gallien in Verbindung, maß ihm aber (Anm. 58) keine besondere Bedeutung bei; vgl. auch G. BRUNS: Festschrift W.-H. Schuchhardt. 40; HELBIG⁴ 317 hält das Tropaeum lediglich für ein Füllsel.

¹³ DOMASZEWSKI 53 datierte sie in die Zeit der Ara Pacis; AMELUNG 27 nach 13 v. u. Zt.; dagegen STUDNICZKA 30 ff., 50, der sie in das Jahr 18 v. u. Zt. datiert; ihm folgten HELBIG³ 8; ALFÖLDI 55 (zwischen 20 und 10 v. u. Zt.); E. STRONG: *CAH X* 1934, 558 in claudische Zeit; HOHL 283 bringt den Augustus von Primaporta mit einer von Livia im Jahre 22 u. Zt. geweihten Statue des Augustus in der Nähe des Marcellus-Theaters in Verbindung und hält ihn vor 12 u. Zt. nicht für möglich; eine Datierung nach dem Tode des Augustus deutete G. RODENWALDT: *Kunst um Augustus*. 14 an; L. POLACCO: *Il volto di Tiberio*. Rom 1955. 168 f. hielt eine Entstehung frühestens 4 u. Zt. für möglich; SIMON I 64 schloß sich wieder STUDNICZKA an; KÄHLER 20 trat nachdrücklich für eine Entstehung erst nach dem Tode des Augustus ein; ebenso GROSS 153 ff., 167; G. BRUNS: Festschrift für W.-H. Schuchhardt. 29 ff. hat sich für eine Datierung um 20 v. u. Zt. ausgesprochen; H. v. HEINTZE, HELBIG⁴ 317 datierte das Original um 20/17 v. u. Zt. und die Kopie 14–29 u. Zt.

zusammengefügt, das bemüht sein muß, die inneren Widersprüche und Einseitigkeiten der älteren Gesamtdeutungen zu vermeiden.

Als Arbeitshypothese dient der Begriffskomplex des *Offiziösen*, der — wie uns scheint — mit guten Gründen kürzlich von Möbius¹⁴ bezüglich der frühkaiserzeitlichen Prachtkameen in die Diskussion gebracht worden ist. Er bietet sich um so dringlicher an, als auf die innere Verwandtschaft dieser kostbaren Kleinkunstwerke mit dem Augustus von Prima porta schon gelegentlich hingewiesen worden ist.¹⁵

Die Statue wurde im Bereich einer Villa der Livia gefunden.¹⁶ Sie war daher zuerst und vor allem Privatbesitz, denn Livia genoß das Vorrecht, ihr Vermögen selbständig zu verwalten.¹⁷ Wichtig ist jedoch, daß gerade von diesem Landsitz, der die Bezeichnung «*ad gallinas*» trug, Umstände überliefert sind, die sich bereits in den Bereich des Offiziösen einordnen lassen.¹⁸ Die Hühner, die der Villa ihren Namen gaben, sollen bekanntlich die Nachkommen jenes ominösen Huhnes gewesen sein, das ein Adler in den Schoß der Livia hatte fallen lassen. Das Huhn trug ein Lorbeerreis im Schnabel, aus dem sich jenere Strauch entwickelte, von dem Augustus zu seinem großen Triumph vom Jahr 29 v. u. Zt. einen Zweig abschchnitt.¹⁹ Damit war eine Tradition begründet, die in der Folgezeit Respektierung fand. Livia war ihr Ursprung, und es ist ihr nach allem, was uns über sie überliefert ist, durchaus zuzutrauen, daß sie den Lauf der Dinge bewußt gefördert hat.

Doch wenden wir uns der Statue selbst zu. Es unterliegt — besonders nach den neuerlichen Untersuchungen von Kähler — keinem Zweifel, daß sie den Doryphoros des Polyklet zum Vorbild hatte.²⁰ Diese Abhängigkeit kann

¹⁴ H. MÖBIUS: Alexandria und Rom. BayAkAb., Phil.-hist. Kl. NF. Heft 59. München 1964. 15 mit Hinweisen auf Gelehrte, die seinem Standpunkt nahestehen.

¹⁵ SIMON I 68.

¹⁶ Um die Rekonstruktion der Fundumstände und des Fundortes, vor allem aber der ehemaligen Aufstellung des Augustus von Prima porta hat sich KÄHLER 7 ff. besonders verdient gemacht; seine Theorie dürfte in wesentlichen Punkten richtig sein. Dagegen ohne hinreichende Gegengründe GROSS 143.

¹⁷ Vgl. OLLENDORFF 905; dieses Recht wurde ihr zusammen mit Octavia schon im Jahre 35 v. u. Zt. eingeräumt.

¹⁸ KÄHLER stand m. E. dicht vor einer Lösung des Problems, wie wir sie im folgenden vornehmen wollen; ihm war jedenfalls die Diskrepanz «zwischen dem politischen Gewicht des Werkes und dem privaten Charakter des Ortes» (15) aufgefallen; «es muß daher unsere Aufgabe sein, diesen seltsam offiziellen Charakter der Statue an dieser Stelle (der Villa der Livia — G. Z.) verständlich zu machen» (25); «Durch diese Zeremonie (das Schneiden des Lorbeers — G. Z.) war die Villa der privaten Sphäre entzogen» (27); «Vielleicht wird der für ein privates Landgut auffallend offizielle Charakter der Statue verständlicher, wenn wir sie in die Verbindung mit jener Zeremonie bringen, deren Mittelpunkt der Lorbeerstrauch war» (27). Vgl. dazu auch HELBIG⁴ 317.

¹⁹ Vgl. STUDNICZKA 28; dazu auch H. KOCH: Römische Kunst². 131 f.; besonders KÄHLER 26 ff. mit Hinweisen auf Plin., n. h. 15, 136, Suet., *Galb.* 1, Cass. Dio 48, 52, 3; gegen KÄHLER (seinen vor dem Buch erschienenen Aufsatz) sowohl SIMON I 66 als auch besonders GROSS 153 f., 158.

²⁰ Vgl. dazu auch G. RODENWALDT: Kunst um Augustus. 12; H. KOCH: Römische Kunst². 132; dazu ausführlich KÄHLER 13; GROSS 145; HELBIG⁴ 317.

sich nicht im Formalen erschöpft; sie muß inhaltliche Bedeutung gehabt haben. Das wird niemand bestreiten, der die Hintergründigkeit der übrigen Aussagen gerade dieser Statue anerkennt. Der Doryphoros galt mindestens den Römern bekanntlich als eine Darstellung des Achill.²¹ Darüber hinaus wissen wir, daß Achill bereits seit Alexander dem Großen in der Herrscherverehrung eine Rolle spielte.²² Die griechische Statue mußte den besonderen Zwecken des römischen Auftraggebers angepaßt und daher in mancher Hinsicht verändert werden, aber in einer Beziehung stimmt das römische Werk mit seinem Vorbild überein: nämlich in der Barfüßigkeit. Daß damit bei einer Panzerstatue etwas ganz Bestimmtes gemeint war, unterliegt keinem Zweifel. Vor allem die Barfüßigkeit war das entscheidende Argument für eine Datierung der Statue in tiberianische Zeit, denn sie bedeute nach Ansicht der Verfechter dieser These ohne jeden Zweifel eine Divinisierung des Dargestellten.

Uns scheint jedoch dieses Argument nicht überzeugend. Wir wissen zwar, daß Augustus im Westen des Imperiums, vor allem aber in Italien und besonders in Rom eine göttliche Verehrung seiner Person nicht duldete, gemeint war damit jedoch eine offizielle, was aber private Versuche in dieser Richtung nicht in jedem Falle ausschloß.²³ Immerhin stand die Statue auf einem Privatgrundstück, aber da es der Livia gehörte, wäre es hier wohl wirklich nicht möglich gewesen, den Kaiser bereits zu Lebzeiten als *divus* darstellen zu lassen.²⁴ Mußte aber Barfüßigkeit in jedem Falle Divinisierung bedeuten? Dafür sind keinerlei Beweise zu erbringen, und so hat denn auch neuerdings wieder E. Simon die Barfüßigkeit zusammen mit dem Gestus der rechten Hand als zu einem Betenden gehörig interpretiert.²⁵ Wäre es aber nicht naheliegend, die Barfüßigkeit gewissermaßen als ein Relikt vom Doryphoros, den die Römer ja für einen Achill hielten, zu verstehen? Dann brauchte sie nämlich nicht Divinisierung, sondern lediglich Heroisierung zu bedeuten, denn Achill war eben kein Gott, sondern nur ein Heros. Eine «Heroisierung» des Augustus konnte

²¹ Vgl. dazu KÄHLER 13 (mit Anm. 27); dagegen GROSS 145. Vgl. dazu auch LIPPOLD: HdArch. III 163 mit Anm. 13.

²² Vgl. KÄHLER 13 mit Anm. 29 und 30; dagegen GROSS 145. Vgl. dazu auch ALFÖLDI 57 ff., der auf die Übernahme von hellenistischen Kosmokratorvorstellungen im Augustus von Prima Porta mit großem Nachdruck hingewiesen hat. Ganz von der Hand zu weisen wäre demnach die Vermutung nicht, daß der Doryphoros des Polyklet wegen seiner Bedeutung als Achill bereits im Hellenismus als Vorbild für Herrscherstatuen gedient hat. Vielleicht wurde auch schon damals das Vorbild in eine Panzerstatue verwandelt. Auf die Beziehungen zwischen dem Augustus von Prima Porta und dem hellenistischen Herrscher auf einem pompejanischen Gemälde nach einem pergamenischen Vorbild (vgl. PFUHL: MZ. II 816, abgebildet III 658) hat bereits Löwy 218 (Anm. 2 mit Lit.) hingewiesen; ebenso auch G. CH. PICARD: Les trophées romains. 278. Der Augustus von Prima Porta könnte daher in doppelter Beziehung auf den Doryphoros zurückgehen: einmal direkt (daher die bedeutungsvolle Barfüßigkeit) — möglicherweise jedoch nicht auf das Original, sondern eine Kopie — und zum anderen indirekt über eine hellenistische Panzerstatue, die ihrerseits an die Achillvorstellungen und damit an die Statue Polyklets anknüpfte.

²³ So auch SIMON I 64.

²⁴ So ganz richtig auch KÄHLER 20.

²⁵ SIMON I 66 f.

aber damals von niemandem, auch von ihm selbst nicht, als anstößig empfunden werden, denn in ähnliche Richtung zielende Auszeichnungen hatte er bereits offiziell vom Senat entgegengenommen.²⁶ Da wir aus dem Fundort der Statue schließen dürfen, daß Livia ihre Auftraggeberin war, hätten wir hier wiederum einen Hinweis dafür, daß sie mit feinem Takt, aber mit noch mehr politischem Verstand Tendenzen unterstrich, die ohnehin im Zuge der Zeit lagen. Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, daß das vorhin erwähnte Omen und die Statue in inneren Beziehungen zueinander standen, deren Charakter eben am treffendsten als offiziös bezeichnet werden kann.

Doch sehen wir zu, ob uns die Statue nicht noch weitere Anhaltspunkte für diese Vermutung zu geben vermag. Über den «kosmischen Rahmen» und die Deutung der ihm angehörenden Gestalten auf dem Panzer herrscht in der Forschung wenigstens im Grundsätzlichen so weitgehend Übereinstimmung, daß wir uns mit diesen Fragen hier nicht weiter zu beschäftigen brauchen: die Gestalten der göttlichen Sphäre preisen den anbrechenden segensreichen Weltentag, der ganz im Zeichen des Augustus steht.²⁷ Wie weit hier hellenistische Anregungen eingewirkt haben, die Alföldi vermutet²⁸ oder wie eng die Verknüpfungen mit der augusteischen Dichtkunst und mit der sibyllinischen Weisheit sind, auf die Erika Simon²⁹ besonders hingewiesen hat, können wir hier unberücksichtigt lassen. Aber eines scheint uns wichtig: der «kosmische Rahmen» steht zweifellos in innerer Beziehung mit der «Heroisierung», die in der Barfüßigkeit anklingt — er bedeutet wie diese eine Verherrlichung des Augustus, der nach offizieller Auffassung eine Art Zwischenstellung zwischen Menschen und Göttern³⁰ einnahm, auf die auch der auf einem Delphin reitende

²⁶ Schon seine Abstammung vom *divus Julius* und die Bezeichnung Augustus wären hier zu nennen, ferner die Tatsache, daß seinem Genius durch einen Senatsbeschluß Spenden dargebracht wurden, auch sein Numen wurde öffentlich verehrt. Vgl. dazu auch KÄHLER 19 f., der selbst schreibt: Augustus «ist eine Erscheinung zwischen Gott und Mensch». KÄHLER 20 weist selbst auf die «schrittweise Entwicklung» hin, die die Verehrung des Augustus durchlaufen habe: Genius (29 v. u. Zt.), Augustus-Bezeichnung (27 v. u. Zt.), Larenkult (7 v. u. Zt.), Pater patriae (2 v. u. Zt.), Numen (10 u. Zt.), Divinisierung (14 u. Zt.). Zur göttlichen Verehrung des Augustus in Italien vgl. die von KÄHLER selbst genannten Beispiele (20). Vgl. zu diesem Problemkomplex allgemein G. CH. PICARD: *Les trophées romains*. Bibl. éc. fr. d'Ath. et de Rome, fasc. 187, Paris 1957, 229 ff. und F. TAEGER: *Charisma*. Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes. Stuttgart 1960, 2. Bd., 89 ff.

²⁷ So schon DOMASZEWSKI 52 f. und STUDNICZKA 33; vgl. dazu auch SIMON I 52 ff.; SIMON II 12 ff.; KÄHLER 28; GROSS 152; HELBIG⁴ 315.

²⁸ ALFÖLDI 57 ff. Auf den Einfluß griechischer Vorbilder auf die formale Gestaltung hat Löwy 208 ff. hingewiesen.

²⁹ Vgl. SIMON I 61 ff., 68 — ob die Beziehungen in jedem Fall so direkt zu verstehen sind, wie E. SIMON meint, spielt dabei m. E. nicht die ausschlaggebende Rolle, auf jeden Fall hatten die Betrachter der Figur, als die außer der kaiserlichen Familie nur die Hofkreise in Betracht kamen, die Lobpreisungen der Dichter im Ohr, und sie werden zwischen den Darstellungen auf dem Panzer und den Gedichten jedenfalls allgemeine Assoziationen und je nach ihrem Bildungsgrad und Gedächtnis auch speziellere hergestellt haben.

³⁰ So ganz richtig KÄHLER 19.

Cupido³¹ zu seinem Teil hindeutet, der den *divi filius* als einen Abkömmling der Venus ausweist.

Was aber sollten die beiden weiblichen Personifikationen und vor allem die zentrale Szene aussagen? Hier gehen die Meinungen noch immer sehr weit auseinander. E. Simon bezieht sie ganz auf Augustus,³² Gross dagegen bringt sie ebenso ausschließlich mit Tiberius in Verbindung.³³

Ausgangspunkt der Interpretation muß die Mittelszene³⁴ sein, der schon wegen ihrer zentralen Stellung innerhalb der Figurenkomposition des Panzers eine besondere Aussagekraft zukommt. Über ihr Thema herrscht Übereinstimmung: es ist die Übergabe der seinerzeit an die Parther verlorenen Feldzeichen dargestellt. Die Deutung der beiden Männer als Tiberius und ein vornehmer Parther überzeugt am ehesten.³⁵ Die Datierung dieses Ereignisses in das Jahr 20 v. u. Zt. ist gesichert. Damals trat der zweiundzwanzigjährige Tiberius, an den die Feldzeichen übergeben worden waren, zum erstenmal wirkungsvoll in den Mittelpunkt der politischen und militärischen Ereignisse. Die ungemein verdichtete und wirkungsvolle Darstellung dieses Geschehnisses stellt eine Huldigung an Augustus dar, aber sie weist ebenso auch unübersehbar auf Tiberius³⁶ hin.

Größere Schwierigkeiten bereitete die Deutung der beiden weiblichen Personifikationen. Früher sah man in der linken — vom Betrachter aus gesehen — eine *Hispania* und in der rechten eine *Gallia*, aber die überzeugen-

³¹ AMELUNG 27 betont die flüchtige Ausführung des Cupido, der deutlich «als Nebensache» behandelt sei; so auch HELBIG³ 7. Von STUDNICZKA 50 ff. wurde dann die Theorie entwickelt, es handle sich hier um ein Porträt des zweijährigen C. Caesar, STUDNICZKA sprach 54 von einer «spielenden Apotheose»; vgl. dazu auch LÖWY 217. Gegen STUDNICZKA mit aller Entschiedenheit HOHL 270 f., der in dem Cupido einen Hinweis auf einen früh verstorbenen Sohn des Germanicus sah. Vgl. auch SIMON I 55 und 64 f., wo die Theorie STUDNICZKAS angenommen wird; von KÄHLER 18 wieder abgelehnt, nach ihm weise der Cupido wieder lediglich auf die göttliche Abkunft des Augustus hin; vgl. auch SIMON II 16; unberechtigt dagegen GROSS 151 Anm. 24; HELBIG⁴ 316 wird die Gaius-Theorie «wegen der nicht porträthafter Züge» abgelehnt. Aus unseren folgenden Darlegungen wird zur Genüge hervorgehen, daß wir die Gaius-Theorie gleichfalls ablehnen, wobei wir uns außer auf unsere eigenen Gründe vor allem auf HOHL 270 f. stützen.

³² SIMON I 51, 59, 61 sieht in ihnen eine *Hispania* und eine *Gallia*, die sie mit Augustus direkt in Verbindung bringt; vgl. auch KÄHLER 19, aber 28 mit Hinweis auf Tiberius.

³³ Vgl. bereits KÄHLER 28; GROSS 153, 165, 167 — beide sehen in ihnen eine *Germania* und eine *Pannonia/Dalmatia*.

³⁴ So meint auch SIMON I 64, aber ihre Schlußfolgerung ist viel zu eng, wenn sie meint: «Läßt sich das Werk auf diese Weise ganz von der Mittelszene her verstehen, dann muß diese auch den Anlaß für seine Errichtung enthalten.»

³⁵ Der linke Mann als Mars gedeutet von DOMASZEWSKI 52; AMELUNG 22. Die Deutung der beiden gegenüberstehenden Männer als Tiberius und Phraates IV. geht auf STUDNICZKA 38 ff. zurück; dazu unbestimmt HELBIG³ 5; ablehnend LÖWY 204 f., der wie auch ALFÖLDI 54 und G. RODENWALDT: Kunst um Augustus. 16 f. wieder auf die alte Marstheorie von DOMASZEWSKI zurückgriff; vgl. dazu auch SIMON I 46 f. (in Anm. 4—13 mit übersichtlicher Darstellung der älteren Deutungen und entsprechenden Literaturziten); KÄHLER 17 f., 23 und GROSS 151 schlossen sich wieder STUDNICZKA an. Dagegen wieder G. BRUNS: Festschrift W.-H. Schuchhardt, Baden-Baden 1960, 37 f., die den Tiberius allgemein für einen höheren römischen Offizier hielt; so auch HELBIG⁴ 316.

³⁶ Zu Tiberius vgl. GELZER: RE. I. R., 19. Hbd. 478 ff. (1917).

den Ausführungen von Alföldi³⁷ haben aus der *Hispania* eine *Germania* und aus der *Gallia* die Personifikation eines Donauvolkes gemacht. Zweifellos sind diese Darstellungen, die sich von denen des «kosmischen Rahmens» als dem irdischen Bereich zugehörig abheben, nur in Verbindung mit der Mittelszene zu verstehen, auf die sie überdies kompositionell bezogen sind. Der Versuch, sie mit Tiberius in Verbindung zu bringen, führt zu Ergebnissen, die wiederum auf Livia als die Auftraggeberin der Statue hinweisen.

Nach dem Tode des Agrippa erwarb sich Tiberius in den Jahren 12–9 v. u. Zt. in Pannonien und Dalmatien ganz außerordentliche Verdienste.³⁸ Vielleicht ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, daß im Jahre 11 v. u. Zt. die Provinz Illyricum, deren Verwaltung bis dahin dem Senat unterstand, in eine kaiserliche verwandelt wurde.³⁹ In der trauernden Frau hätten wir somit eine *Illyrica* zu sehen.

Einige Jahre später mußte Tiberius wiederum in die Bresche springen. Nach dem Tode seines Bruders Drusus erhielt er das Oberkommando im Germanenkrieg,⁴⁰ den er so erfolgreich führte, daß ihm der Triumph zuerkannt wurde. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß die als *Germania* erkannte Personifikation noch im Besitze ihres Schwertes ist, aber bereits trauert. Das würde in der Bildersprache haargenau dem damaligen Zustand Germaniens entsprechen, wie ihn Velleius Paterculus charakterisiert, wenn er es als beinahe (*paene*) tributpflichtige Provinz bezeichnet.⁴¹

³⁷ Vgl. ALFÖLDI 48 ff.; ihm folgten G. RODENWALDT: Kunst um Augustus. Berlin 1943. 18; KÄHLER 17, der aber statt *Dacia* eine *Dalmatia* und 28 eine *Pannonia* vorschlug; GROSS 152.

³⁸ Vgl. dazu GELZER 483 f. In den Jahren 12–9 v. u. Zt. stand Tiberius bei Augustus durchaus noch in Gunst: er bekam dessen Tochter Julia zur Frau und wurde dadurch Stiefvater der Adoptivsöhne des Augustus – die Ordnung der Angelegenheiten in Pannonien und Dalmatien wurde ihm anvertraut. Aber Augustus sah sich doch veranlaßt, ihm gelegentlich einen Dämpfer aufzusetzen: So erlaubte er im Jahre 12 v. u. Zt. den vom Senat bereits beschlossenen Triumph des Tiberius nicht und erkannte auch dessen Ausrufung zum Imperator durch die Truppen nicht an. Die Haltung des Augustus war schwankend (möglicherweise war das direkt oder indirekt durch Julia verursacht. Um sich mit ihr verloben zu können, wurde Tiberius gezwungen, seine glückliche Ehe mit der Tochter des Agrippa zu lösen; vielleicht gehorchte Tiberius in diesem Falle nur zögernd und verstimmte damit sowohl Augustus als auch Julia?), aber nach der Eheschließung mit Julia wurde sie wieder günstiger (am Anfang lebten die beiden durchaus einträchtig, aber schon bald setzte die Entfremdung ein, die sich in den folgenden Jahren immer mehr vertiefte). In den Jahren 11 und 10 v. u. Zt. wurde ihm zweimal die ovatio bewilligt und 9 v. u. Zt. erhielt er auch den ihm drei Jahre vorher vorenthaltenen Titel des Imperators: er durfte sich bei dieser Gelegenheit Popularität erwerben, so bewirtete er das Volk und seine Mutter und seine Gemahlin die Frauen. Vgl. dazu auch HANSLIK 752: Pannonien und Dalmatien kamen zur Provinz Illyricum.

³⁹ Vgl. dazu auch J. MARQUART: Römische Staatsverwaltung I³. Darmstadt 1957. 291 f., 298 f.; G. WESENBURG: RE. 45 Hbd. Art. provincia, 1021 (1957).

⁴⁰ Vgl. dazu GELZER 484. Tiberius erhielt wegen seiner Erfolge zusammen mit Augustus wiederum den Titel Imperator und durfte nun erst den Triumph feiern (8 v. u. Zt.); für das folgende Jahr erhielt er das Konsulat zum zweiten Male. Vgl. dazu ferner G. WESENBURG: RE. 45 Hbd., Art. provincia, 1018 ff. (1957).

⁴¹ Vell. Pat. II 97, 4. Vgl. dazu GROSS 152, der aber aus der *Germania* falsche Schlußfolgerungen zog; vgl. dazu auch G. BRUNS: Festschrift für W.-H. Schuchhardt. Baden-Baden 1960, 40. Gerade die Tatsache, daß die *Germania* zwar als Trauernde, aber

Mit dem Donauraum und Germanien waren also schon vor der Zeitenwende großartige Leistungen des Tiberius verknüpft, so daß die auf dem Panzer dargestellten Personifikationen um so eher mit ihm verbunden werden können, als auf ihn ja bereits die Mittelszene hinweist.

Vielleicht läßt sich in diesem Zusammenhang auch das Tropaeum unter der rechten Schulter besser als bisher verstehen. Es brauchte nicht mehr länger als belangloses Füllsel angesehen zu werden, was ohnehin an einer Figur von so bedeutungsvoller Aussage in jeder Einzelheit unverständlich wäre, sondern könnte jenes Tropaeum meinen, das der Senat um 7/6 v. u. Zt. dem Augustus als Zeichen der endgültigen Unterwerfung der Alpenstämme errichten ließ.⁴² Die am Tropaeum sichtbare Carnyx läßt sich mit dieser Identifizierung recht gut vereinbaren. Die Befriedung des Alpenraumes aber hatte wiederum Tiberius zusammen mit Drusus durchgeführt.⁴³

Nach unserer Interpretation wären bei der Statue aus Primaporta allem Anschein nach drei Persönlichkeiten im Spiele: Livia als die Besitzerin der Villa, in deren Bereich sie stand, Augustus als der hervorragend in ihr Geehrte und schließlich Tiberius, auf den deutlich genug hingewiesen wurde.⁴⁴ Es soll nun versucht werden, aus dieser Dreieckskonstellation den Sinn des Gesamtkunstwerkes und damit seinen besonderen Zweck zu ergründen.

Die auf historische Umstände hinweisenden Darstellungen in der Mittelzone des Panzers lassen sich mit Ereignissen aus den Jahren 20–12/10–8/7 v. u. Zt. in Verbindung bringen. Das Tropaeum — falls die von uns nur sehr widerstrebend geäußerte Vermutung tatsächlich zutreffen sollte — wiese auf die Jahre 7/6 v. u. Zt. hin. Demnach ergibt sich als terminus post quem das Jahr 7/6 v. u. Zt. Wir haben nun zu fragen, in welchem Verhältnis die drei obengenannten Persönlichkeiten zu diesem Zeitpunkt zueinander standen.

Das Jahr 6 v. u. Zt. war eine Zeit voller Spannungen und Gegensätze.

noch im Besitze ihrer Waffen dargestellt ist, spricht für ein Datum vor 4/5 u. Zt., denn damals wurde Germanien infolge der Erfolge des Tiberius Provinz (HANSLIK 753). Diesen neuen Zustand Germaniens charakterisiert wiederum mit aller Prägnanz Vell. Pat. II 108, wenn er schreibt, daß damals die Herrschaft der Römer in Germanien anerkannt wurde. Dazu aber würde das Schwert in der Hand der trauernden Frau nicht passen. Nach der Schlacht im Teutoburger Wald gingen dann die rechtsrheinischen Eroberungen der Römer verloren; daran konnte auch Tiberius in den Jahren 10–12 u. Zt. ebenso wenig etwas ändern wie nach dem Tode des Augustus Germanicus, dem zwar wegen seiner «Erfolge» in Germanien der Triumph zuerkannt wurde, dessen Rückeroberungsplänen sich Tiberius jedoch widersetzte, der ihn in den Orient schickte (vgl. dazu GELZER 498 ff.)

⁴² Vgl. dazu H. PHILIPP: Tropaea Augusti, RE. II. R., 13. Hbd. 661 f.; Z. GANSI-NIEC: Genez tropaionu. Warszawa—Wrocław 1955. 126 (Anm. 135 wird die ältere Literatur zitiert); G. CH. PICARD: Les trophées romains. Paris 1957. 291 ff. (291 Anm. 1 mit Literaturhinweisen).

⁴³ Vgl. dazu GELZER 482; die endgültige Unterwerfung der Alpenvölker fiel in das Jahr 15 v. u. Zt., aber das darauf bezogene Tropaeum wurde erst in den Jahren 7/6 v. u. Zt. vom Senat zu Ehren des Augustus errichtet.

⁴⁴ Die Verknüpfung von Augustus, Livia und Tiberius zuerst bei STUDNICKA 48 ff., der dafür als Anhaltspunkt nur die Mittelszene auf dem Panzer heranzog. Vgl. dazu auch SIMON I 64, KÄHLER 25 ff.; GROSS 153, 165 ff.

Nichts bezeichnet das deutlicher als die Tatsache, daß in diesem gleichen Jahr Tiberius durch die Verleihung der tribunizischen Gewalt praktisch zum Stellvertreter des Princeps erhöht wurde, daß er aber kurz darauf auf seine Macht radikal verzichtete und sich als Privatmann ins Exil nach Rhodos begab.⁴⁵ Velleius Paterculus gibt als Grund an, Tiberius habe seinen Stiefsöhnen nicht im Wege stehen wollen. Diese Interpretation verdient um so eher Glauben, als der Sohn der Livia erst nach dem Tod der beiden Caesaren wieder aktiv in die Politik zurückkehrte. Zudem wissen wir, daß der vierzehnjährige C. Caesar 6. v. u. Zt. seinem Alter unangemessene politische Ambitionen hegte.⁴⁶ Natürlich kann der Ehrgeiz des Kaiserenkels nicht nur als Laune des verwöhnten Knaben bewertet werden; hinter ihm verbargen sich Kräfte, deren Einfluß auf Augustus nicht zu unterschätzen war. Der Princeps stand damals vor schwierigen und schwerwiegenden Entscheidungen: die Alternative scheint Tiberius oder C. Caesar gewesen zu sein. Augustus wählte einen Kompromiß: Gaius wurde dafür gerügt, daß er nach dem Konsulat strebte, und Tiberius wurde die tribunizische Gewalt auf fünf Jahre zugestanden, womit zunächst einmal Zeit gewonnen war. Eine klare Entscheidung wäre die Adoption des Tiberius gewesen, aber das hätte de iure eine Gleichstellung mit seinen Enkeln und de facto eine Bevorzugung des Tiberius bedeutet.

Der Entschluß des Augustus wird in einer längeren Phase des sorgfältigen Abwägens von Für und Wider herangereift sein. Der Livia konnten die zu erwartenden Entscheidungen nicht gleichgültig sein. Sie brauchte nur das Wohl des Staates im Auge zu haben, wenn sie sich für ihren Sohn einsetzte, denn die Kaiserenkel waren eben noch viel zu jung, um das Geschick des Imperiums als Helfer des Augustus mitgestalten zu können. Für diese Rolle stand nur der bereits bewährte Tiberius zur Verfügung. Seine Chancen sich durchzusetzen waren in dieser Zeit, abgesehen von seinen unbezweifelbaren militärischen Erfolgen, auch sonst gut. Er war Konsul und hatte Gelegenheit, auch vor Roms Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen. So begann er beispielsweise mit der Erneuerung des Concordiatempels. Seine Beziehungen zu seiner Mutter waren ausgezeichnet: mit ihr zusammen weihte er die Porticus Liviae ein und bewirtete aus diesem Anlaß die Senatoren.⁴⁷

In diese Zeit läßt sich nun auch der Augustus von Prima porta einordnen. Livia ist mit einem bemerkenswerten Takt, aber mit noch treffsichererem politischem Instinkt vorgegangen. Die ganze Statue war eine einzige Huldigung an Augustus: Augustus wurde als Imperator dargestellt, daher die mili-

⁴⁵ Vgl. dazu GELZER 485.

⁴⁶ Vgl. dazu GELZER 485; ferner auch GARDTHAUSEN, RE. I. R. 19. IIbd. 424 (Nr. 134) und FITZLER—SEECK 363 ff.

⁴⁷ Bezeichnend ist, daß bei einem ähnlichen Anlaß im Jahre 9. v. u. Zt. noch Livia und Julia gemeinsam den Tiberius unterstützten, indem sie die Frauen bewirteten (vgl. GELZER 484), zwei Jahre später fehlte Julia bereits (vgl. GELZER 485); vgl. dazu auch OLLENDORFF 910 ff.

tärische Kleidung. Der Cupido verwies auf seine göttliche Herkunft. Er war der neue Achill; die Hofkreise werden wie wir die Beziehungen zur Statue Polyklets erkannt haben; die Barfüßigkeit unterstrich das Übermenschliche seines Wesens. Die Götterdarstellungen auf dem Panzer verherrlichten das neue Zeitalter, das in seinem Zeichen stand; wir könnten sie als Bildzitate der Dichtkunst auffassen, die nicht müde geworden war, ihn zu verherrlichen. In der Mittelzone des Panzers wurden Erfolge verzeichnet, die Augustus für sich in Anspruch nahm, denn sie wurden unter seinen Auspicien errungen. Noch in seinem Tatenbericht gedachte er der Rückgabe der Feldzeichen durch die Parther und der Kriege gegen pannonische Völker. Aber es waren Erfolge, bei denen Tiberius sein Helfer war. Gerade das aber sollte ausgedrückt werden: Tiberius als der Helfer des überragenden Augustus wurde empfohlen.⁴⁸

Livia konnte des Erfolges ihrer Bemühungen um so sicherer sein, als sie die Statue gerade in ihrer Villa «*ad gallinas*» aufstellen ließ, da an diesen Ort bereits ein von Augustus anerkanntes glückverheißendes Omen geknüpft war. So könnte denn auch der Gestus der rechten Hand im Sinne Kählers verstanden werden: er vermutete in ihr einen Lorbeerzweig.⁴⁹ Wie das Omen sich bereits als zukunftssträchtig erwiesen hatte, so hatte auch die Empfehlung des Tiberius Zukünftiges im Auge. Die Statue und das Omen gehörten zusammen.

Livia erreichte ihr Ziel wenigstens teilweise, wenn auch zunächst nur für ganz kurze Zeit: dem Tiberius wurde die tribunizische Gewalt verliehen. Aber diese Maßnahme des Augustus erwies sich schon bald als ungenügend. Nur wenig später zog sich Tiberius ins freiwillige Exil zurück; er kapitulierte offenbar vor dem unerträglich gewordenen Druck jener Kräfte, die hinter C. Caesar standen.⁵⁰

⁴⁸ In diesem Zusammenhang muß ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden, daß bei der Auswahl der historischen Themen auf dem Panzer nur auf Erfolge hingewiesen wurde, die zwar Tiberius errungen hatte, aber immer unter den Auspicien des Augustus: die Feldzeichen waren an ihn übergeben worden, aber Augustus feierte dieses Ereignis als großen Erfolg (vgl. FITZLER—SEECK 351); die Operationen in Dalmatien und Pannonien hatte Tiberius geleitet, das von ihm befriedete Gebiet wurde kaiserliche Provinz, Tiberius erhielt für seine Erfolge in Germanien den Imperatorentitel, aber Augustus nahm diesen auch für sich in Anspruch (vgl. GELZER 484); die Alpenvölker hatten Tiberius und Drusus endgültig erobert, aber der Senat weihte dem Augustus das Tropaeum.

⁴⁹ Vgl. AMELUNG 19; dazu ausführlich KÄHLER 12 und 27 mit seinen m. E. berechtigten Schlußfolgerungen.

⁵⁰ Augustus hatte schon im Jahre 13 v. u. Zt. gerügt, daß der siebenjährige Gaius neben dem Konsul Tiberius bei den Jupiterspielen gesessen hatte (vgl. GELZER 482): wer hatte ihn dort hingesezt? Im Jahre 6 v. u. Zt. erhoffte Gaius eben vierzehnjährig das Konsulat; Augustus betrachtete das zwar wiederum als Anmaßung, aber wer hatte den Gaius und seinen Bruder dazu bestimmt? (vgl. GELZER 485). Tiberius ging ins Exil, «um seinen Stiefsöhnen nicht im Wege zu stehen» (vgl. GELZER 485). Zum Verhältnis des Tiberius zu seinen beiden Stiefsöhnen in den Exiljahren vgl. GELZER 486 ff. Vgl. zu den Zusammenhängen im Jahre 6 v. u. Zt. auch OLLENDORFF 912, die sich auch sonst zu der Stellung äußert, die Livia gegenüber den Blutsverwandten des Kaisers bezog (vgl. besonders 908 — zum Tode des Marcellus; 912 — Schuld am Tode der Kaiserin Livia; 914 f. — Einfluß auf die Verstoßung des Agrippa Postumus und der Enkelin Julia; 915 — zu den Gerüchten, die Livia eine Schuld am Tode des Augustus zuschreiben).

Die Statue der Livia läßt sich demnach in das Spannungsfeld jener Überlegungen und Maßnahmen einbeziehen, die zu den widerspruchsvollen Entscheidungen des Jahres 6 v. u. Zt. führten.

Aber auch noch andere Gründe können für diese Datierung — wenn auch mit aller gebotenen Zurückhaltung — ins Feld geführt werden. Gelegentlich wurde schon auf die Beziehungen hingewiesen, die zwischen der Ara Pacis und dem Augustus von Prima Porta bezüglich ihrer Bildersprache bestünden.⁵¹ So verdienen vielleicht einige Umstände doch Erwähnung, die beide Kunstwerke — das offizielle und das offiziöse — miteinander verbinden könnten. Im Jahre 13 v. u. Zt. leitete Tiberius während seines ersten Konsulates die Senatssitzung, auf der der Beschluß zur Errichtung der Ara Pacis gefaßt wurde. Tiberius war ein Mann, der sowohl eine umfassende Bildung als auch Verständnis für bildende Kunst besaß.⁵² Wäre es deshalb außerhalb aller Möglichkeiten, wenn wir ihm auf die Gestaltung der Ara Pacis und der Augustusstatue seiner Mutter einigen Einfluß zugestünden? Er war schließlich auch der Mann, auf den die beiden großen Prachtkameen der frühen Kaiserzeit hinielen; auch sie werden vermutlich in seinem Interesse geschaffen worden sein.

Doch zurück zu unseren Datierungsproblemen. Völlig ausgeschlossen ist eine Entstehung der Statue in den Exiljahren des Tiberius. Möglich wäre sie unter Umständen aber noch im Jahre 4. u. Zt.,⁵³ in dem C. Caesar starb und Tiberius adoptiert wurde.⁵⁴ Zu jener Zeit war der Friede des Imperiums erneut durch Germanen, Donauvölker und Parther bedroht — die Ereignisse der unmittelbar anschließenden Jahre haben es zur Genüge bewiesen. Damals hätte ein Hinweis auf die zurückliegenden Erfolge des Tiberius noch einen gewissen Sinn gehabt, aber sehr wahrscheinlich scheint uns das nicht zu sein.

Doch drängt sich in diesem Zusammenhang eine freilich sehr gewagte Hypothese auf. Bekanntlich hatte die Statue bereits in der Antike eine Restaurierung abgebrochener Teile⁵⁵ erfahren. Wäre sie, wie wir vorschlagen möchten, im Jahre 6. v. u. Zt. aufgestellt worden, dann hätte sie in den Exiljahren des Tiberius nicht nur ihre Aktualität verloren gehabt, sondern sie hätte sogar selbst in der Villa Livia erheblichen Anstoß erregen müssen, da ja Tiberius in tiefste

⁵¹ Von DOMASZEWSKI 53 wurde der Augustus von Prima Porta bereits in die Zeit der Ara Pacis datiert. Vgl. H. KOCH: *Römische Kunst* 2. 132 f.: «Die ganze Komposition entspricht wie der Festzug der Ara Pacis einer einmaligen politischen Situation».

⁵² Bezeichnend dafür ist etwa die Tatsache, daß er für den Apoxyomenos des Lysipp eine besondere Vorliebe hatte (vgl. GELZER 479). Noch auf seiner Fahrt ins Exil machte er in Paros Halt, um eine Hestia-Statue für seinen Concordia-Tempel zu erwerben (vgl. GELZER 486).

⁵³ So L. POLACCO: *Il volto di Tiberio*. Rom 1955. 168 f.; vgl. dazu auch Gross 153.

⁵⁴ Vgl. dazu auch GELZER 488. Die Adoption fiel Augustus nun ganz unverkennbar schwer, und er führte sie nur durch, weil ihm kein anderer Ausweg blieb; sie geschah — wie bekannt — unter Begleitumständen, die Tiberius das deutlich machten: Augustus adoptierte gleichzeitig den Agrippa Postumus, und Tiberius mußte seinen Neffen Germanicus adoptieren.

⁵⁵ Vgl. dazu AMELUNG 19; ausführlich auch KÄHLER 12 (besonders zur rechten Hand!); IELBIG⁴ 314.

Ungnade gefallen war. Möglicherweise war sie deshalb damals entfernt und in diesem Zusammenhang beschädigt worden. Nun aber konnte sie wieder aufgestellt werden, und die Ereignisse der kommenden Jahre bestätigten und unterstrichen aufs glänzendste ihre Aktualität: wie Livia seinerzeit mit dem Omen eine an ihre Villa geknüpfte weiterwirkende Tradition begründet hatte, so bestätigte sich auch hier wieder die politische Weisheit ihrer Empfehlungen.

Auf gar keinen Fall aber können wir einer Datierung der Statue erst in tiberianische Zeit zustimmen.⁵⁶ Sie wäre ein Anachronismus erster Ordnung. Nach dem Tode des Augustus waren die Beziehungen zwischen Mutter und Sohn ohne jeden Zweifel nicht die besten.⁵⁷ Tiberius trat den politischen Ambitionen seiner Mutter mit aller Entschiedenheit entgegen, und Livia hätte in diesen Jahren wirklich keinen Grund gehabt, im Bereich ihrer Villa ein Denkmal neu errichten zu lassen, das so auffällig auf ihren undankbaren Sohn hinwies.

Wir bleiben also bei unserem Datierungsvorschlag, dem — sind seine Prämissen richtig — weder von seiten der Kunstgeschichte noch von anderer Seite wirklich überzeugende Fakten entgegenstehen. Wir glauben, durch unseren Vorschlag einem Kunstwerk ersten Ranges seinen Platz im politischen Geschehen seiner Zeit zugewiesen und es damit datiert zu haben. Der Augustus von Primaporta war ein offizielles Werk, in dem Livia ihrem Gemahl, ihrem Sohn und nicht zuletzt sich selbst ein bleibendes Denkmal gesetzt hat.

Jena.

⁵⁶ Tiberius hatte zwar in den Jahren nach seiner Adoption glänzende Erfolge in Germanien erzielt (vgl. GELZER 488 ff.) und auch den gefährlichen Aufstand in Pannonien und Dalmatien endlich niedergedrückt (vgl. GELZER 490 ff.), aber nach der vernichtenden Niederlage der Römer in der Schlacht im Teutoburger Wald wäre ein Hinweis gerade auf Germanien auf einer Statue, die doch vor allem den Augustus verherrlichte, kaum am Platze gewesen, auch nicht nach den bescheidenen Erfolgen, die Tiberius danach noch zu Lebzeiten des Kaisers in Germanien erringen konnte. Nach dem Tode des Augustus leitete dann ja auch Germanicus die Unternehmungen in Germanien. Germanien war 11 u. Zt. als Provinz aufgegeben worden (vgl. HANSLIK 753).

⁵⁷ So lehnte Tiberius nach dem Tode des Augustus die vom Senat beschlossenen Ehrungen für Livia ab (vgl. GELZER 496). In den folgenden Jahren trat er den Einmischungsversuchen der Livia in die Regierungsgeschäfte entgegen und «verweigerte standhaft jegliche staatsrechtliche Anerkennung ihrer politischen Aspirationen. Er verbot ihr, den Titel Mutter des Vaterlandes anzunehmen» (GELZER 508). Nach ihrem Tode verweigerte er ihr die Konsekration, führte ihr Testament nicht aus und ließ den vom Senat beschlossenen Ehrenbogen nicht bauen (vgl. GELZER 511 ff.). Vgl. zu diesen Fragen auch OLLENDORFF 916 ff. und 922.

SKLAVEN UND FREIGELASSENE IN DER STAATLICHEN FINANZVERWALTUNG DES RÖMISCHEN KAISERREICHES

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß in der römischen Kaiserzeit der dem Kaiser unterstellte Sektor der Staatsverwaltung zu einem großen Teil — abgesehen von den höchsten Beamtenstellen — von den Sklaven und Freigelassenen der kaiserlichen *familia* verwaltet wurde.¹ Besonders deutlich ist das in der Finanzverwaltung zu sehen, wo sowohl in der Zentralverwaltung in Rom, dem Amt des *a rationibus*, wie auch in den Finanzzentren der Provinzen,² den vom Provinzprokurator geleiteten Tabularien, das subalterne Beamtenpersonal sich ausschließlich aus *Augusti liberti* und *Caesaris servi* zusammensetzte.³ Selbst in den höchsten Stellen, als *a rationibus* und *procurator provinciae*, finden sich kaiserliche Freigelassene.⁴

Neben der kaiserlichen Finanzverwaltung bestand aber auch die senatorische weiter, repräsentiert durch das *aerarium Saturni* und die städtischen und provinzialen Quästoren.⁵ Diesen immer dem Senatorenstand angehörenden Beamten stand ein subalternen Angestelltenstab zur Seite, an dessen Spitze die *scribae librarii quaestorii* standen. Ihre soziale Herkunft erstreckte sich vom römischen Ritter bis zum Freigelassenen. Diese Tatsache verdient hervorgehoben zu werden, da im allgemeinen die sozialen Schranken in der römischen Gesellschaft es kaum erlaubt haben dürften, daß Ritter und Freigelassene sich gleichsam auf ein und derselben Ebene begegneten: Die kaiserlichen Freigelassenen machten davon natürlich eine Ausnahme, die verständlich ist. Aber hier handelte es sich um Freigelassene nicht der Kaiser, sondern anderer Personen,

¹ Vgl. O. HIRSCHFELD: Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian. Berlin 1905. 457—465.

² Ursprünglich wohl nur in den kaiserlichen Provinzen, während die Prokuratoren in den Senatsprovinzen zunächst lediglich das Privatvermögen des Kaisers verwalteten, vgl. die in Anm. 13 angeführten Arbeiten H.-G. PFLAUMS.

³ Zusammenfassend behandelt sind die Sklaven und Freigelassenen der Finanzverwaltung der römischen Kaiserzeit von K. WACHTEL: Prosopographische Untersuchungen zur Finanzverwaltung der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian, phil. Diss. Humboldt-Universität Berlin 1965; leider habe ich folgende Arbeiten noch nicht einsehen können: G. BOULVERT: Les esclaves et les affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain, Aix-en-Provence 1964 (Thèse droit. Aix 1964); H. CHANTRAINE: Freigelassene und Sklaven im Dienste der römischen Kaiser, Habil.-Schrift Mainz 1965.

⁴ WACHTEL: a. a. O. S. 17—20, 24—87, 117—119, 122 f.

⁵ HIRSCHFELD: a. a. O. S. 15 f.; W. KUBITSCHKE: *Aerarium*, RE 1, 1894, 669 f.

wie die Gentilnamen deutlich zeigen. Wie ist das Vorkommen von Unfreien in der römischen Staatsverwaltung der Kaiserzeit zu erklären?

Prinzipiell muß man zur Beantwortung dieser Frage in die Zeit der römischen Republik zurückgehen, um zunächst zu klären, ob etwa Traditionen aus dieser Zeit vorliegen. Und tatsächlich lassen sich Sklaven und Freigelassene in der republikanischen Staatsverwaltung feststellen: Die magistratischen Beamten verwendeten ihre eigenen Sklaven und Freigelassenen in ihrem Amtsbereich als Gehilfen bei der Erledigung ihrer dienstlichen Aufgaben. Beispielsweise sei hier an folgende Tatsachen erinnert:

Aus frühaugusteischer Zeit gibt es zwei Belege, wie Ädilen ihre Dienstpflichten durch eigene Sklaven erfüllten: Egnatius Rufus, Ädil im Jahre 21 v. u. Z., stellte eine Löschmannschaft aus eigenen Sklaven auf,⁶ und M. Vipsanius Agrippa, der im Jahre 33 v. u. Z. die Ädilität bekleidete, ließ die zu einem großen Teil von ihm selbst geschaffene Wasserversorgung Roms durch ein Heer seiner Sklaven betreuen.⁷

Daß Volkstribunen ihre *liberti* einsetzten, ist durch zwei Fälle ebenfalls bezeugt: T. Gracchus verwendete einen seiner Freigelassenen bei der Absetzung seines Kollegen im Jahre 133 v. u. Z.⁸ und der Konsul des Jahres 91 v. u. Z. L. Marcius Philippus wurde von dem Volkstribunen M. Livius Drusus durch einen Freigelassenen verhaftet.⁹

Die höheren Magistrate wie Prätor und Proprätor, Konsul und Prokonsul konnten als Hilfskräfte sogenannte *accensi* einsetzen, die zum größten Teil Freigelassene ihrer Vorgesetzten waren.¹⁰

Schließlich sei noch auf einen Fall hingewiesen, der einen *nomenclator censorius* nennt, den Hilfsbeamten eines Zensors, dessen Freigelassener er ist.¹¹

In dieser Tradition wird man die Unfreien des kaiserlichen Haushalts, die in der Staatsverwaltung beschäftigt wurden, betrachten dürfen. Der Kaiser hatte einen Teil der Aufgaben der alten republikanischen Magistrate übernommen, zu deren Bewältigung er sich unter anderem seiner Sklaven und Freigelassenen bediente. Er setzte damit eine durchaus, wie gezeigt wurde, übliche Tradition aus republikanischer Zeit fort.¹² Neu an der augusteischen Verwal-

⁶ Vell. Pat. 2, 91 *exstinguendis privata familia incendiis*; vgl. Dio 53, 24, 4.

⁷ Frontin. aqu. 98, 3 *habuit et familiam propriam aquarum, quae tueretur ductus atque castella et lacus*.

⁸ Plut. Ti. 12 . . . ὁ μὲν Τιβέριος τῶν ἀπελευθέρων τῷ προσέταξεν ἀπὸ τοῦ βήματος ἐλκύσαι τὸν Ὀκράβιον. ἐχρήτο δὲ ὑπηρέτας ἀπελευθέρους ἰδίοις . . .

⁹ Val. Max. 9, 5, 2 *non per viatorem, sed per clientem*

¹⁰ Cic. ad Quintum fratrem 1,1,13 *accensus sit eo numero, quo eum maiores nostri esse voluerunt, qui hoc non in beneficii loco, sed in laboris ac muneris non temere nisi libertis suis deferebant, quibus illi quidem non multo secus ac servis imperabant*; vgl. Cic. in Verr. 3, 67, 157 *libertus et accensus tuus*.

¹¹ CIL VI 1968 = ILS 1953; vgl. MOMMSEN: Staatsrecht I³ S. 359.

¹² Über Augustus als Fortsetzer republikanischer Traditionen vgl. A. H. M. JONES: Studies in Roman Government and Law, Oxford 1960, S. V.

tung waren vor allem drei Dinge: Die Verwendung von Rittern in der staatlichen Verwaltung, wie man sie bei der Besetzung der Finanzprokuren der Provinzen beispielsweise beobachten kann;¹³ die Bezahlung der Dienste der Unfreien und damit im Zusammenhang der ständig wachsende Einfluß, den die Ämter der Freigelassenen, aber auch der Sklaven, erfuhren. So wurde beispielsweise das Amt des *a rationibus*, etwa des Finanzministers, im ersten Jahrhundert u. Z. ausschließlich von *Augusti liberti* bekleidet.¹⁴ Nur an den bekanntesten von ihnen, Pallas unter Claudius, sei hier erinnert.¹⁵ Von der Bedeutung des Amtes kann man sich etwa eine Vorstellung machen, wenn man bedenkt, daß im 2. Jh., als der Posten mit Rittern besetzt wurde, dieser in der ritterlichen Laufbahn noch über den höchsten ducenaren Finanzprokuren der Provinzen stand,¹⁶ ja unter Markus sogar als erste trecenare Stelle eingerichtet wurde,¹⁷ und oft die unmittelbare Vorstufe zu einer der hohen ritterlichen Präefkturen bildete.¹⁸

Außerdem wird der steigende Einfluß der kaiserlichen Freigelassenen durch die Tatsache beleuchtet, daß sich auch bei ihnen eine Art Laufbahn ähnlich dem senatorischen und ritterlichen *cursus honorum* herausbildete, wofür es einige inschriftliche Belege gibt.¹⁹

Abgesehen von diesen genannten Unterschieden, die Ausdruck der weiteren Entwicklung der Verwaltungspraxis sind, kann man also die Unfreien der kaiserlichen *familia* in der Staatsverwaltung als Fortsetzer republikanischer Tradition betrachten. Dasselbe trifft für die Freigelassenen in der senatorischen Finanzverwaltung der Kaiserzeit zu. Hier handelt es sich aber, wie bereits betont wurde, nicht um kaiserliche *liberti*, sondern um solche anderer Personen. Da es sich dabei um relativ einflußreiche Ämter handelte, die sogar von Rittern bekleidet wurden,²⁰ wäre die Besetzung mit Freigelassenen recht merkwürdig, wenn nicht die Lösung auch hier in den vorangegangenen Beobachtungen läge: Auch hier handelt es sich um jene republikanische Tradition der magistratischen Beamten, ihre Freigelassenen in ihrem Amtsbereich anzustellen. Es lassen sich tatsächlich für fast alle diese Freigelassenen senatorische Familien desselben Gentilnamens nachweisen, zu denen sie gehört und durch

¹³ Zu den ritterlichen Prokuratoren vgl. H.-G. PFLAUM: Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain, Paris 1950; ders.: Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain, Paris 1960/61 (Institut français d'archéologie de Beyrouth, Bibliothèque archéologique et historique t. 57); ders.: Procurator, RE 23, 1957, 1240–1279.

¹⁴ Vgl. WACHTEL: a. a. O. S. 17–20, 117–119.

¹⁵ Ebenda S. 118 Nr. 7.

¹⁶ Vgl. PFLAUM: Procurateurs (Anm. 13) S. 323.

¹⁷ Ebenda S. 74.

¹⁸ Ebenda S. 257. 294 f.

¹⁹ Vgl. WACHTEL: a. a. O. S. 93–105, und die oben Anm. 3 genannten weiteren Arbeiten, außerdem P. R. C. WEAVER: The Slave and Freedmen 'cursus' in the Imperial Administration, Proceedings of the Cambridge Philological Society, 190, 1964, 74–92.

²⁰ WACHTEL: a. a. O. S. 6, Anm. 7 und 8; S. 16, Anm. 31; JONES: a. a. O. S. 154.

die sie ihr Amt erhalten haben können.²¹ Mit völliger Sicherheit läßt sich das natürlich nicht behaupten, doch spricht die Tatsache für sich, daß unter den 56 bis jetzt bekannten *scribae quaestorii* sich nur drei vermeintliche Ausnahmen befinden mit Gentilnamen, die nicht für Senatoren in Frage kommen.

Der erste von diesen drei heißt L. Numpidius L. 1. Philomelus.²² Die Lösung scheint sich aber m. E. aus dem Text der Inschrift selbst zu ergeben: *Q. Fabius Africanus l. Cytisus viator quaestorius ab aerario, scr. libr. tribunicius, scr. libr. quaestorius trium decuriarum. C. Calpetanus C. l. Cryphius viator pullarius, prior vir Culicinae. L. Numpidius L. 1. Philomelus scr. libr. q. III decuriarum, Cytisi frater pius et fidelis . . .*

Philomelus ist also nach der Inschrift *frater* eines Q. Fabius Africani l. Cytisus, der ebenfalls *scriba quaestorius* gewesen ist. Dessen Patron ist offensichtlich Africanus Fabius Maximus, Konsul im Jahre 10 v. u. Z.,²³ durch den Cytisus *scriba quaestorius* geworden ist. Wenn nun die Bezeichnung *frater* wahrscheinlich auch nicht wörtlich als Verwandtschaftsgrad zu nehmen ist (vgl. die Gentilnamen der beiden Freigelassenen), so deutet sie doch mit Sicherheit auf ein näheres Verhältnis hin, so daß die Vermutung nicht abwegig erscheint, Numpidius Philomelus habe durch Fabius Cytisus seinen Posten in der staatlichen Verwaltung erhalten.

Noch eine kurze Bemerkung zum *nomen gentile* Numpidius, in anderer Form Nymphidius. Bei seiner Verbreitung fällt die relative Häufigkeit in Rom auf.²⁴ Nach ihrer sozialen Stellung scheinen hauptsächlich Freigelassene diesen

²¹ Vgl. dazu WACHTEL: a. a. O. S. 8—13, Anm. 17.

²² CIL VI 1815 cf. 32.266 = ILS 1926; CIL VI 1821.

²³ H. DESSAU: zur Inschrift ILS 1926.

²⁴ Inschriftlich sind folgende Nymphidii und Nymphidiae bekannt:

1. {N}umphidius	CIL VI 23160 (Roma)
2. {Ny}nfidius	CIL III 9242 (Salona)
3. C. Numpidius	CIL VI 23160a = 34145 (Roma)
4. Q. Numpidius	CIL VI 23160a = 34145 (Roma)
5. C. Nymphidius Chresimus	CIL VI 200 VII 74 (Roma)
6. P. Nymphidius P. fil. Fuscianus	CIL XIV 221 (Ostia)
7. Nymphidius Helius	Ann. ép. 1933, 215 (Palmyra)
8. Nymphidius Maximus	Ann. ép. 1935, 172 (Camena)
9. C. Nymphidius Ogulnians	Thylander, Ostia A 146 f.
10. M. Manilius Nymphidius Phoebus	CIL VI 13319 f. (Roma)
11. C. Ny(m)phidius Primio	CIL VI 23189 (Roma)
12. C. Nymphidius Sabinus	CIL III 4269 (Adiaum); VI 6621 (Roma)
13. Q. Numpidius Q. f. Sabinus	CIL IX 545 (Venusia)
14. C. Numphidius Thamyrus	CIL VI 4685, 23161 (Roma)
15. Nymphidia	CIL II 3888 (Saguntum)
16. [Nym?]phidia	CIL XIII 3115 (Namnetes)
17. Numphidia Agathoclia	CIL VI 4685, 23161 (Roma)
18. Nymphidia Chreste	CIL VI 35956 (Roma)
19. Nymphidia Gynegis	CIL VI 23180 (Roma)
20. Nymphidia L. l. Erotis	CIL VI 23181 (Roma)
21. Nymphidia C. f. Lupula	CIL VI 23182 (Roma)
22. Nymphidia Margaris	CIL VI 23183 = 37882 (Roma)
23. Nimp(h)ydia Miserina	CIL VIII 12794 (Carthago)
24. Nymphidia Quartina	CIL VI 10202 = ILS 5130 (Roma)

Namen getragen zu haben, vgl. vor allem die Cognomina der Frauen. Doch gibt es neben einigen Rittern²⁵ auch noch weitere Personen, die eindeutig Freie sind.²⁶ Trotz der relativen Seltenheit des Namens kann man es aber nicht wagen, irgendwelche Beziehungen zwischen einzelnen Personen herzustellen außer den schon bekannten.²⁷ Vor allem können keine Verbindungen zwischen dem *scriba quaestorius* L. Numpidius L. l. Philomelus und dem Prätorianerpräfekten C. Nymphidius Sabinus angenommen werden, sowohl aus chronologischen, wie auch aus sachlichen (vgl. die Praenomina der beiden Personen) Gründen.

Der zweite *scriba*, dessen *nomen gentile* seine Verbindung zu einem senatorischen Patron ausschließt, heißt C. Telegennius Optati l. Anthus.²⁸ Da hier nähere Angaben fehlen, kann man nur ähnliche Umstände wie bei Numpidius vermuten, die es dem Freigelassenen ermöglichten, *scriba quaestorius* zu werden.

Besonders interessant ist der dritte Fall. Dieser Freigelassene heißt M. Ulpus Aug. lib. Callistus,²⁹ ist also mit Sicherheit ein *libertus* des Kaisers Trajan. Da außer einem weiteren Fall³⁰ keine Angehörigen des kaiserlichen Haushalts in der senatorischen Verwaltung belegt sind, muß man annehmen, daß es sich hier um einen Sonderfall handelt und es nicht üblich gewesen ist, *Augusti liberti* im *aerarium Saturni* zu beschäftigen. Für Callistus, dem Freigelassenen Trajans, bietet sich aber unter Berücksichtigung der oben gemachten Ausführungen folgende Interpretation an:

Man wird annehmen dürfen, daß er, als M. Ulpus *M. l.* Callistus, *scriba quaestorius* geworden ist, als Trajan, vor seiner Kaiserwürde, seine offizielle senatorische Laufbahn absolvierte. Als sein Patron dann auf den Thron gelangt war, hat sich Callistus statt *M. l.* nun stolz *Aug. l.* genannt, sich gleichsam aufgewertet, da der Freigelassene eines Kaisers gesellschaftlich offensichtlich mehr galt als die anderen *liberti*. Daß er auch noch als *Augusti libertus*, also doch etwa 20 Jahre nachdem Trajan Quästor gewesen und Callistus *scriba quaestorius* geworden war,³¹ sein Amt bekleidete, braucht keine Verwunderung zu erregen, da im allgemeinen die Unterbeamten ihr Amt länger als die befristeten Magistrate, oft auf Lebenszeit, innehatten.³²

Außerdem sind folgende Nymphidii literarisch belegt:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 25. <i>Nymphidius</i> | Dig. 35, 1, 81 |
| 26. <i>Nymphidius Lupus</i> (Vater) | Plin. ep. 10, 87 |
| 27. <i>Nymphidius Lupus</i> (Sohn) | Plin. ep. 10, 87 |
| 28. <i>Nymphidia</i> | Plut. Galba 9, 14 |

²⁵ Nr. 26 f. und der bekannte Prätorianerpräfekt Nr. 12.

²⁶ Nr. 6. 13. 21. Vgl. auch Nr. 7, einen *centurio* der *cohors II Hispanorum*.

²⁷ Nr. 28 und 12 Mutter und Sohn, Nr. 26 f. Vater und Sohn.

²⁸ CIL VI 1829.

²⁹ CIL VI 1809.

³⁰ CIL VI 816 = ILS 1928: M. Aurel(ius) Auggg. lib. December, *viator quaestorius*.

Zeit: 238 u. Z.

³¹ Zur Quästur Trajans vgl. R. HANSLIK: M. Ulpus Traianus, RE Suppl. 10, 1965, 1036, 47–49.

³² Vgl. MOMMSEN: Staatsrecht I³ S. 338–340.

Fassen wir zusammen: Die öffentliche Stellung von Sklaven und Freigelassenen ist weitestgehend von der ihres Patrons abhängig: Das bedeutet für die römische Kaiserzeit, daß an der Spitze der Unfreien die Mitglieder der kaiserlichen *familia*, also die *Augusti liberti* und *Caesaris servi*, standen, denen dann die Angehörigen der bedeutenden senatorischen Familien folgten. Zu erklären ist diese Tatsache mit der aus republikanischer Zeit übernommenen Gepflogenheit, daß die römischen Beamten — und an ihrer Spitze dann der Kaiser — ihre dienstlichen Aufgaben zu einem großen Teil, ja bisweilen fast ausschließlich, von unfreien Mitgliedern ihres Haushalts ausführen ließen. Damit gewannen solche Freigelassene und Sklaven bedeutenden Einfluß, so daß ihre öffentliche Stellung die des gewöhnlichen römischen Bürgers in vielen Fällen weit überragte, ja die eines römischen Ritters manchmal sogar erreichte, was seinen Ausdruck schließlich in der Aufnahme in den Ritterstand finden konnte.³³

Berlin

³³ Vgl. A. STEIN: Der römische Ritterstand. Ein Beitrag zur Sozial- und Personengeschichte des römischen Reiches. München 1927, S. 109–127 (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte. 10. Heft).

MOBILITÄT UND DIFFERENZIERUNG DES GRUNDBESITZES IM NORDAFRIKANISCHEN VANDALENREICH

Die in der Überschrift angegebene Fragestellung ist nicht völlig neu, bisher jedoch vernachlässigt worden, obwohl sie an sich wichtig sein und auf die Lösung mancher für die Übergangsperiode zwischen Sklavenhalter- und Feudalformation maßgeblicher Probleme hinführen dürfte. Bisher hat man sich allzu sehr an die schematische Einteilung bei Victor Vitensis¹ und Procop² gehalten, derzufolge der Vandalenkönig (Geiserich) das prokonsularische Afrika bzw. die Zeugitana an die Vandalen verteilt und das Eigentum bzw. Obereigentum an den übrigen mit Gewalt erworbenen Provinzen sich selbst vorbehalten habe. Procop läßt zwar die Provinzeinteilung weg, geht aber auch nur summarisch auf die Expropriierung oder auf die hohe Besteuerung der wichtigsten Grundbesitzerkategorien ein.³ Andere Quellen (Prosper Tiro, Victor Tonnunensis, Fulgentius Ruspensis, Ferrandus) ergänzen oder korrigieren die 'Feststellungen' der Hauptquellen nur in geringfügigem Maße.

Trotzdem sind von der modernen Forschung mit Recht gewisse Einwände gegen die von den Hauptquellen wahrscheinlich gemachte Depossidierung und Vertreibung der provinzialrömischen Grundbesitzer erhoben worden. Man hat auch betont, daß manchen der Vertriebenen später die Rückkehr ermöglicht wurde,⁴ die immer mit einer Teilrestituierung verbunden gewesen sein dürfte. Da diese Fragen jedoch immer nur innerhalb anderer Themata angeschnitten wurden, lohnt es sich, sie erneut aufzugreifen und einer Lösung entgegenzuführen.

Die Ergebnisse können nicht in jeder Hinsicht differenziert sein. Denn einmal fehlen — stärker noch als für das spätrömische Afrika — alle statistischen Angaben über Größe und provinzielle Verteilung des Grundbesitzes, zum anderen sind die vorhandenen Quellen (literarische, epigraphische, juristische⁵) an diesen Fragen nur sehr wenig oder überhaupt nicht interessiert. Es

¹ *Historia persecutionis Africanae provinciae* (CSEL VII, rec. M. PETSCHENIG), I, 13.

² *De bello Vandalico*, I, 5, 11 ff.

³ Hierzu jetzt: CHR. COURTOIS: *Les Vandales et l'Afrique*. Paris 1955, bes. 275 ff.

⁴ S. etwa COURTOIS: a. a. O., 278.

⁵ S. dazu COURTOIS: a. a. O., passim. Die ohnehin recht lückenhafte epigraphische Tradition scheint nichts auszugeben (vgl. jetzt die Zusammenstellung aller vandalen-

gilt daher, das Material durch genaue Analyse jeder verfügbaren Quellennotiz zusammenzubringen. Wenn in dieser Arbeit — schon vom Umfang her — keine lückenlose Quellenaufbereitung gegeben werden kann, so sollen doch mit Hilfe reicher Quellendokumentation einige sichere Ergebnisse vorgetragen und weitere angebahnt werden.

Im Widerspruch zu der vereinfachten Darlegung bei Victor Vitensis und Procop muß es in der Vandalenzeit Nordafrikas folgende sechs Grundbesitzkategorien gegeben haben:

1. Königlicher Besitz
2. Besitz der Prinzen bzw. des vandalischen Hochadels
3. Besitz der gemeinfreien Vandalen (die eigentlichen «sortes Vandalorum»)
4. Besitz der arianischen Kirche
5. Besitz der katholischen Kirche
6. Besitz der Provinzialrömer (bzw. anderer Einheimischer)

Diese sechs Besitzformen waren selbstverständlich recht unterschiedlich ausgeprägt und könnten noch weiter differenziert werden. Bei Kategorie 6 ist z. B. Großgrundbesitz neben kleinerem Grundeigentum erwähnenswert. Der Wert des Provinzialenbesitzes oder des katholischen Kirchengutes war schon deshalb stets unsicherer und geringer als der des vandalischen Grundeigentums, weil dieser Besitz besteuert wurde. Es kommt hinzu, daß die zu den Kategorien 5 und 6 gehörigen Besitzer oft mit einer Konfiszierung zu rechnen hatten, während die Eigentümer der Kategorien 1 bis 4 einen viel sichereren Besitztitel hatten. Über gewisse Ausnahmen aus der Zeit Geiserichs und Hunerichs ist hier nicht näher zu sprechen.⁶

Wir versuchen zunächst, die sechs verschiedenen Besitzkategorien zu definieren:

1. Der königliche Besitz ist, schon von seinem Umfang in den einzelnen Provinzen aus gesehen, sehr bedeutungsvoll. Im Normalfall dürfte der Vandalenkönig die Nachfolge des kaiserlichen Besitzes an saltus und latifundia antreten haben;⁷ das Königsgut wurde aber, vor allem in der Eroberungsperiode zwischen 429 und 442, auch durch Übernahme privaten Grundbesitzes ver-

zeitlichen Inschriften bei COURTOIS: a. a. O., Append. II). Die meisten direkten Aufschlüsse vermitteln die sog. Tablettes Albertini, eine Reihe von Holztafeln, die Kaufverträge enthalten. Offenbar sind sie im Jahr 496 wegen eines Maureneinfalles versteckt worden (S. CHR. COURTOIS, L. LESCHI, CH. PERRAT, CH. SAUMAGNE: Tablettes Albertini, *Actes privés de l'époque vandale* [fin du V^e siècle], Paris 1952).

⁶ Unter den beiden ersten Vandalenkönigen hatten auch Vandalen mit Konfiskationen zu rechnen, die als politisch oder religiös unzuverlässig galten — vor allem natürlich solche, die zum Katholizismus übergetreten waren; vgl. Victor Vitensis, I, 43; II, 9 ff.; 12 ff.; III, 3—14; 31 (ff.).

⁷ S. L. SCHMIDT: *Geschichte der Wandalen*. München 1942². 72 f.; 179 f.; CHR. COURTOIS: a. a. O., 275 ff.; H.-J. DIESNER: *Art. Vandalen* (Paulys Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft. Suppl.-Bd. X, 984 f.).

größert.⁸ Auch spätere Schenkungen und Konfiskationen — letztere vor allem in der Zeit der Katholikenverfolgung Hunerichs — haben domus regia und fiscus⁹ entsprechend gestärkt. Man muß jedoch hervorheben, daß zeitweise größere Teile königlichen Besitzes an die Prinzen und an solche Vandalen oder Provinzialrömer 'ausgetan'¹⁰ worden sind, die im königlichen Dienst standen. Darüber ist noch ausführlich zu sprechen. Nach 455 kam es auch vor, daß senatorischer Besitz, der in der Invasionsperiode zugunsten des Königs oder des fiscus eingezogen worden war, den ursprünglichen Besitzern restituiert wurde.¹¹ Aus diesen Hinweisen ergibt sich schon, daß die Mobilität des Grundeigentums in dieser Periode nicht gering gewesen sein kann.

Der Königsbesitz verdichtete sich vor allem in der weiteren Umgebung von Karthago, wo es nicht nur Landgüter, sondern auch städtische Paläste und Villen gab; selbstverständlich zählten auch zahlreiche Parks, Wälder, Steinbrüche, Bergwerke oder Fischteiche zum Königsgut.¹² Obwohl die Quellen den königlichen Besitz vor allem unter dem Blickwinkel der Repräsentation, des Vergnügens und der Erholung¹³ sehen, hat er natürlich in erster Linie für die agrarische und gewerbliche Produktion eine erhebliche Rolle gespielt.¹⁴

2. Bereits Geiserich hatte seinen Söhnen und anderen Verwandten große Besitztümer zugeteilt. Man kann diese Munifizienz evtl. als Äquivalent für die politische Zurückdrängung, ja Entmachtung des Hochadels seit der Niederschlagung des von diesen Kreisen getragenen Aufstandes von 442 ansehen.¹⁵ Jeder Prinz hatte seinen eigenen Hof und seine eigene Güterverwaltung. Betraute der König einen maiordomus mit der Domanalverwaltung, so werden procuratores als Verwalter der prinziplichen Güter genannt.¹⁶ Der Besitz des Hochadels war offenbar, ebenso wie der des Königs, auf die Proconsularis konzentriert. Sicherlich durfte dieser Adel aber auch in den anderen Provinzen immobiles Eigentum erwerben.¹⁷

⁸ Dies ergibt sich z. B. aus Ferrandus' *Vita Fulgentii* (ed. G. G. LAPEYRE), I, 1; vgl. Victor Vitensis, I, 12 ff.; Procop, I, 5, 11 (hiernach kamen diese Besitzungen angeblich nur an Geiserichs Söhne; selbstverständlich hatte Procop kaum irgendeine Möglichkeit festzustellen, wie Geiserich etwa 100 Jahre vorher im einzelnen verfahren war).

⁹ Streng genommen ist zwischen Königsschatz und Staatskasse zu unterscheiden, wenn die Differenzierung hier auch von untergeordneter Bedeutung ist.

¹⁰ Zu diesem Problem s. unten.

¹¹ S. *Vita Fulgentii*, I.

¹² S. etwa Victor Vitensis I, 17; II, 8; 10; 16; III, 16; *Vita Fulgentii*, I; Anthologia Latina (rec. A. RIESE) I¹, 376, 19 ff.; Procop, *De bello Vandalico*, I, 14, 10 (Domäne Hermiana); 17, 8 ff. (Villa und Park); vgl. auch L. SCHMIDT: a. a. O., 72 f.; CHR. COURTOIS: a. a. O., 250 f.

¹³ S. CHR. COURTOIS: a. a. O., 250f.; M. ROSENBLUM: Luxorius. A Latin Poet among the Vandals. New York—London 1961, passim.

¹⁴ S. dazu unten S.

¹⁵ Zum Aufstand von 442: L. SCHMIDT: a. a. O., 74; CHR. COURTOIS: a. a. O., 236.

¹⁶ S. Pseudo-Gennadius, *De viris illustribus* (MIGNE, PL 58, 1117), 98. Dazu CHR. COURTOIS: a. a. O., 252. Procuratores werden (im Gegensatz zum maiordomus) des öfteren genannt, so Victor Vitensis, I, 45; 48.

¹⁷ S. etwa Victor Vitensis, I, 45 (Besitz des Prinzen Theoderich in der Byzacena); II, 10 (königlicher Besitz bei Utica in der Proconsularis); Anthologia Latina, 369 (Heilkräutergarten des Prinzen Hoageis).

3. Die proconsularische Provinz bestand überhaupt zum größten oder doch zum überwiegenden Teil aus vandalischem Besitz, da hier die Masse der gemeinfreien Vandalen und Alanen auf möglichst zusammenhängendem Gebiet unter ihren millenarii angesetzt worden war. Der Einfachheit halber könnte man die ganze Proconsularis mit dem Gebiet der «sortes Vandalorum» gleichsetzen — was einige Quellenstellen ohnehin nahelegen¹⁸ —, wenn man in diesen Oberbegriff den königlichen und prinzlichen Besitz sowie die Güter der arianischen Kirche einbezieht, die von der katholischen Kirche oder von geflohenen Provinzialen übernommen worden waren.¹⁹ An der Frage des Grundeigentums innerhalb der «sortes Vandalorum» (im weitesten Sinne gesehen) entzündete sich auch der Gegensatz von arianischen Vandalen und katholischen Provinzialrömern immer wieder. Erst unter Geiserich, dann unter seinem Sohn Hunerich wurde Kurs darauf genommen, das Gebiet der «sortes Vandalorum» katholikentfrei zu machen, und im Gefolge entsprechender Edikte bzw. Dekrete muß es zu einer Reihe von Konfiskationen gekommen sein.²⁰ Das so neu Erworbene mag auch einfachen vandalischen Siedlern zugefallen sein, obwohl der König es wohl überwiegend in seine Regie nahm.

Während sich verschiedene Güterbezirke, Villen, Paläste oder Fischteiche der Könige und Prinzen in der Nähe Karthagos und mithin in der Proconsularis nachweisen lassen — wobei die genaue Lokalisierung meist große Schwierigkeiten bereitet²¹ —, ist nur ein einziges Beispiel für die Existenz eines 'normalen' vandalischen Gutes überliefert. Und auch hierbei handelt es sich um einen überdurchschnittlich großen fundus, der sich in der Hand eines millenarius befand. Der streng katholische Schriftsteller Victor Vitensis berichtet von den großen Viehherden und den zahlreichen Sklaven dieses 'Tausendschaftsführers', der nicht nur als Truppenführer, sondern auch als Richter und Verwaltungsfunktionär über eine entsprechende Gruppierung von Stammesgenossen gestellt war.²² Auf dem Gut dieses millenarius gab es neben der agrarischen auch Waffenproduktion²³, was für die Größe und Bedeutung des Betriebes spricht, der wahrscheinlich aus einem privaten Teil und einem Lehnsgut bestand. Denn nach dem Tode des millenarius und seiner Söhne blieb das Gut höchstens zum Teil seiner Witwe erhalten, die sich auch veranlaßt fühlte, einen gewissen

¹⁸ S. Victor Vitensis, II, 39; III, 4; Procop, *De bello Vandalico*, I, 5, 12.

¹⁹ Auf letztere Möglichkeit weist etwa *Vita Fulgentii*, I, hin.

²⁰ Das von Victor Vitensis, III, 3–14, aufgeführte Dekret, das an die spätrömische Ketzergesetzgebung anknüpft, ist zwar nicht in voller Schärfe durchgeführt worden, hat aber doch eine harte Katholikenverfolgung mit sich gebracht; s. Victor Vitensis, III, 15–54.

²¹ S. CHR. COURTOIS: a. a. O., 250; ders.: *Victor de Vita et son oeuvre*. Alger 1954. 35 ff.; 46 ff.

²² S. Victor Vitensis, I, 30 ff.; dazu CHR. COURTOIS: *Les Vandales et l'Afrique*, . . ., 217; H.-J. DIESNER: *Sklaven und Verbannte, Märtyrer und Confessoren bei Victor Vitensis* (Philologus 106 [1962], 101–120).

²³ Einer der Sklaven des millenarius zumindest war *armifactor*, s. Victor Vitensis, I, 30.

Prozentsatz der Sklavenschaft einem Verwandten des Königs zu schenken.²⁴ Das Vorgehen ist u. E. so zu erklären, daß der Verlust des Grundbesitzes die Besitzerin zwang, auch ihr mobiles Eigentum wegzugeben oder wenigstens zu reduzieren. Völlige Klarheit läßt sich in dieser Frage allerdings nicht erzielen. Man ist jedoch gezwungen, an eine Art Heimfallrecht zu denken. Etwas anders war die Situation, wenn katholisch gewordene Vandalen ihre «sortes» freiwillig verließen oder wenn diese Güter vom König konfisziert wurden.²⁵

Offenbar muß also innerhalb der «sortes Vandalorum» zwischen erblichem Eigengut und unvererblichem Dienst- oder Lehnsgut geschieden werden. Die Quellen lassen leider keine saubere Trennung zu. Es ist jedoch undenkbar, daß ein millenarius oder ein Ministeriale der königlichen oder prinzlichen Güterverwaltung neben seiner eigentlichen sors nicht noch ein Landstück erhalten haben sollte, das ihn für die zusätzlich zu leistenden Dienste entschädigte. Anders mag es bei den eigentlichen Hofbediensteten gewesen sein, die nur von annonae und stipendia²⁶ lebten. Ein indirekter Beweis unserer These liegt darin, daß die Ministerialen, die wir im Auge haben (millenarii, comites, procuratores, evtl. auch domestici), in den Quellen durchgängig als wirtschaftlich unabhängige, ja reiche Männer auftreten.²⁷ Mochten sie einer strengen königlichen Aufsicht unterstellt sein, so wurden sie dafür doch durch die Verfügung über große Zahlen von Sklaven, Kolonen und sonstigen abhängigen Leuten sowie durch den Besitz umfangreicher Ländereien entschädigt, was alles auch ihr Sozialprestige hob. Bei treuer Pflichterfüllung gab es, sogar für untergeordnete Ministerialen provinzialrömischer oder ausländischer Herkunft, manche Aufstiegsmöglichkeiten. Unter Gelimer sind — ähnlich wie bereits in spätrömischer Zeit — einfachen ministri und sogar Sklaven leitende Funktionen übertragen worden.²⁸ Gelimers gotischer Sklave Godas erhielt, wahrscheinlich *nach* einer formellen Freilassung, sogar die sardinische Statthalterwürde.²⁹ Insgesamt dürften die vandalischen Dienstadligen unter den Besitzern der Kategorie 3 eine besonders profilierte Rolle gespielt haben. Personell ergeben sich Zusammenhänge mit Kategorie 6, da wie gesagt ein Teil dieser Besitzer provinzialrömischer Herkunft war,³⁰ materiell auch mit Kategorie 1, da der Dienstadel mit Königsland oder den daraus fließenden Erträgen versorgt werden mußte.

²⁴ S. Victor Vitensis, I, 35.

²⁵ S. Victor Vitensis, III, 3—14; 38.

²⁶ S. Victor Vitensis, II, 10.

²⁷ S. etwa Victor Vitensis, I, 30 ff.; 48; Procop, *De bello Vandalico*, II, 6, 5 ff.; vgl. Anthologia Latina, 350; 369; 376; 377; Procop, *De bello Vandalico*, IV, 4, 39 ff.

²⁸ S. Procop, *De bello Vandalico*, I, 10, 25 ff. (Godas); II, 4, 33 ff. (Bonifatius; mit Recht scheint M. ROSENBLUM: a. a. O., 219, die schon hervorgehobene Identität des Bonifatius mit dem Eutychus bei Luxorius [Anthologia Latina, 341 f.] zu bekräftigen.)

²⁹ S. Procop, *De bello Vandalico*, I, 10, 26 (Von der Wahrscheinlichkeit der Freilassung sagt der Historiker nichts.)

³⁰ Vgl. die Aufstellung bei CHR. COURTOIS: a. a. O., 255 f.; dazu H.-J. DIESNER: Art. Vandalen, a. a. O., 977 f.

4. Im Vergleich zu den vorerwähnten Kategorien spielte die arianische Kirche samt ihren Geistlichen keine überragende Rolle als Grundbesitzer. Auf Grund der Edikte Geiserichs und Hunerichs war sie jedoch oft Nachfolgerin katholischen Kirchenbesitzes, vereinzelt auch privaten Provinzialenbesitzes geworden.³¹ Der größte Besitzzuwachs dürfte zwischen 429 bzw. 435 und 442 und zwischen 481/482 und 484 erfolgt sein. Da König Thrasamund, an sich der letzte bedeutende Verfechter des Arianismus im Vandalenreich, nicht mit den Mitteln ökonomischen Druckes gegen die Katholiken vorgeing,³² war ab 496 kaum noch eine Bereicherungsmöglichkeit für die arianische Kirche gegeben. Unter Hilderich (523–530) muß die ökonomische Entwicklung sogar rückläufig geworden sein, da dieser König die verbannten katholischen Bischöfe zurückrief und ihnen ihre – bislang unter Staatsaufsicht stehenden oder in arianische Hand geratenen – Kirchen zurückgab.³³

Die wenigen vorhandenen Direktzeugnisse verdeutlichen uns, daß die arianische Kirche und ihre Kleriker in Karthago selbst,³⁴ in der Gegend von Sicca Veneria in der Proconsularis,³⁵ zeitweise aber auch im mauretanischen Tipasa³⁶ und im Grenzgebiet zwischen der Byzacena und der Tripolitana³⁷ begütert gewesen sind. Diese wenigen Belege geben natürlich kein vollständiges Bild.

5. Der häufig zitierte Antikatholizismus der Vandalenkönige mit Ausnahme Hilderichs erscheint in einem eigenartigen Licht bei der notwendigen Feststellung, daß es während der vandalischen Herrschaftsperiode keinen Zeitpunkt gegeben hat, in dem die katholische Kirche aller Mittel und allen Einflusses bar gewesen ist. Allerdings besteht für die Zeit kurz nach 439 eine gewisse Unsicherheit. Immerhin – die sehr rigorose Katholikenverfolgung Hunerichs, die mit den Edikten vom Februar 484 gekrönt wurde,³⁸ hat trotz ihrer drakonischen Strenge den Katholiken in praxi manche Möglichkeiten belassen und vor allem dem Mönchtum und Klosterwesen Spielraum gegeben.³⁹ Wie habe also das viel unsystematischere Vorgehen Geiserichs während der Invasionsperiode das ökonomische Potential der katholischen Kirche bis ins Mark treffen können? Für die spätere Regierungszeit Geiserichs werden ohnehin wieder eine Vielzahl von Klerikern und auch Bischöfen namhaft gemacht, denen offenbar die erforderliche Menge an Kirchen und auch an

³¹ S. Victor Vitensis, I, 14 (ff.); III, 3–14; *Vita Fulgentii*, 1.

³² S. Procop, *De bello Vandalico*, I, 8, 9; *Vita Fulgentii*, 20.

³³ S. Victor Tonnunensis, *Chronica* (MG AA, Bd. 11), ad ann. 523, 2; vgl. CHR. COURTOIS: a. a. O., 304.

³⁴ S. Victor Vitensis, I, 15; *Vita Fulgentii*, 1; 20 f.

³⁵ S. *Vita Fulgentii*, 6.

³⁶ S. Victor Vitensis, III, 29.

³⁷ Ebenda III, 42.

³⁸ Ebenda III, 3–14; dazu H.-J. DIESNER: a. a. O., 959 ff.

³⁹ S. H.-J. DIESNER: Kirche und Staat im spätrömischen Reich, Berlin 1964², Nr. 10. und ders.: Zur Katholikenverfolgung Hunerichs (Theol.-Lit.-Zeitung 1965, H. 12).

Grundbesitz zur Verfügung stand. Dasselbe gilt für die spätvandalische Zeit, in der vor allem eine große Zahl von Klöstern neu entstand. Des öfteren ist von Landschenkungen an Klöster (Äbte) und Bischöfe die Rede.⁴⁰ Mönche und auch Kleriker beschäftigten sich viel mit Gartenbau.⁴¹ Soweit wir sehen, handelt es sich bei den Schenkungen an die katholische Kirche durchgehend um Besitzübertragungen von Provinzialrömern (Kategorie 6).⁴²

6. Aus den obigen Hinweisen ergibt sich bereits, daß die übliche Auffassung von der Landarmut der Provinzialrömer erheblicher Korrekturen bedarf. Eine Schicht, die durch die Vandaleninvasion entweder depossediert oder durch Steuerdruck aufgerieben worden war,⁴³ hätte weder Landschenkungen vornehmen, noch durch Konfiskationen weiter bedroht werden können. Vor allem für die späte Vandalenzeit verdichten sich jedoch die Zeugnisse, die auf das Leben kleiner und mittlerer provinzialrömischer Grundbesitzer innerhalb⁴⁴ wie außerhalb der Proconsularis⁴⁵ eingehen. Die Kaufverträge der Tablettes Albertini, die Vita Fulgentii und sogar Procop lassen erkennen, daß auch die Zahl der einheimischen Großgrundbesitzer wieder anstieg.⁴⁶ Einige ehemalige Senatoren wurden von Geiserich restituiert, andere Römer wurden von späteren Königen beschenkt, wieder andere haben offenbar unter Ausnützung der ungünstigen ökonomischen Situation von Kolonen oder freien Kleinbauern größere Güterbezirke an sich gebracht. Es gab also auch innerhalb der von den Barbaren unterdrückten Provinzialbevölkerung ein «Bauernlegen», das für die damalige Klassenlage kennzeichnend ist.

Während über die Situation auf den kleineren Gütern nichts Näheres bekannt ist, können wir für die Latifundien eine Reihe von Schlußfolgerungen aus den Quellen und aus der Kenntnis des spätrömischen Agrarbetriebes ziehen. Soweit möglich, verwalteten die Latifundienbesitzer ihre Güter ebenso wie in spätrömischer Zeit, d. h. einen Teil persönlich mit Hilfe von Sklaven und einen anderen Teil durch die selbständig wirtschaftenden Kolonen, die normalerweise den conductores unterstellt waren.⁴⁷ Die Tablettes Albertini scheinen, zumindest für einen begrenzten Bereich im Südwesten des vandalischen Staates, zu belegen, daß die dortigen Kolonen über ihren Boden frei verfügten, ihn also auch verkaufen konnten.⁴⁸ In der Veräußerlichkeit des Bodens durch Kauf

⁴⁰ S. *Vita Fulgentii*, 10; 16.

⁴¹ Ebenda 10; 12; 27.

⁴² Ebenda 10; 16.

⁴³ Wie es Victor Vitensis und Procop generell behaupten.

⁴⁴ S. etwa *Vita Fulgentii*, 6.

⁴⁵ Ebenda 10; 14; 16; Procop, *De bello Vandalico*, I, 16 f.

⁴⁶ S. *Vita Fulgentii*, 1; 10; Procop, *De bello Vandalico*, II, 5, 7 f.; zu den betreffenden Aussagen der Tablettes s. CHR. COURTOIS (in: Tablettes Albertini . . ., besonders 208 ff.).

⁴⁷ Für Sklavenbetrieb sprechen *Vita Fulgentii*, 1; für Kolonenwirtschaft die Tablettes Albertini und Victor Vitensis, III, 20 (allerdings handelt es sich dabei um katholische Bischöfe, die von Hunerich als Zwangskolonen angesetzt wurden). Die Vielfalt der Quellen wird größer, wenn man die Begrenzung auf den provinzialrömischen Bereich fallen läßt (s. etwa Victor Vitensis, I, 30; 48; Procop, *De bello Vandalico*, I, 23, 3).

⁴⁸ Dazu CHR. COURTOIS in: Tablettes Albertini . . ., 208 ff.

bzw. Verkauf liegt übrigens einer der Hauptunterschiede zwischen vandalischem und provinzialrömischem Grundbesitz. Da die Provinzialen gleich den Vandalen auch die Übertragung durch Schenkung und Vererbung kannten, muß man innerhalb der Kategorie 6 mit einer größeren Mobilität des Eigentums rechnen als innerhalb der Kategorien 1 bis 3.

In der Byzacena vor allem dürfte die Zahl der Großgrundbesitzer nicht gering gewesen sein. Für die Zeit Hunerichs wird hier der Prokonsul Victorianus als reichster Grundbesitzer erwähnt, der offenbar über viele Sklaven und Kolonen verfügte.⁴⁹ In derselben Periode tauchen weitere namentlich erwähnte Großgrundbesitzer auf, so die Eltern bzw. der Onkel des Fulgentius von Ruspe.⁵⁰ Für einen etwas späteren Zeitpunkt nennt die *Vita Fulgentii* den primarius Silvester⁵¹ und den Ruspenser Bürger Posthumianus⁵² als größere Grundbesitzer, während beispielsweise Procop die großzügigen Schenkungen König Hilderichs an den aus Italien übergesiedelten Apollinarius⁵³ erwähnt. Fast immer läßt sich aus den Quellenstellen erschließen, daß die namentlich Erwähnten nur Repräsentanten eines ihnen gleichgestellten Kreises sind, einer ganz genau fixierten Gesellschaftsschicht, die durch Besitz, Bildung und passive Wählbarkeit für bestimmte Ämter auch interessenmäßig ziemlich eindeutig ausgerichtet war. Ähnlich den spätrömischen Latifundienbesitzern — oder den Advokaten, Dichtern, Professoren und höheren Ministerialen — kam diesen Männern meist das Adelsprädikat eines clarissimus, spectabilis oder gar illustris zu,⁵⁴ das im allgemeinen ererbt war. Natürlich stagnierte diese Schicht insofern, als ihr niemals solche Ehrungen oder Ämterkarrieren geboten wurden wie im spätrömischen Reichsdienst. Nur bei besonderer Gefügigkeit gegenüber den Wünschen des Königs konnten sie eines der begehrten Ehrenämter in Karthago erlangen oder unter die amici des Herrschers aufgenommen werden.⁵⁵ Im übrigen stand ihnen wohl nur das Dekurionat oder das Prokuratorenamt ihrer Vaterstadt offen,⁵⁶ das neben einem gewissen Sozialprestige auch die Haftbarkeit für das Steueraufkommen der Gemeinde mit sich brachte. Solche Ämter waren von fragwürdigem Wert und boten den Inhabern zumindest ebenso leicht eine Chance nach unten wie nach oben. Daß Fulgentius von Ruspe die Position eines mit dem Prokuratorenamt ausgezeichneten Großgrundbesitzers aufgab, um Mönch zu werden,⁵⁷ gibt auch in diesem Zusammenhang zu denken.

⁴⁹ Dies legt Victor Vitensis, III, 27, zumindest zwingend nahe.

⁵⁰ S. *Vita Fulgentii*, 1.

⁵¹ Ebenda 10.

⁵² Ebenda 16.

⁵³ S. Procop, *De bello Vandalico*, II, 5, 7 f.

⁵⁴ S. etwa M. ROSENBLUM: a. a. O., 39 ff.

⁵⁵ S. etwa Victor Vitensis, III, 27; *Incerti auctoris passio septem monachorum* (CSEL VII, rec. M. PETSCHENIG), 8; vgl. 12 und Victor Vitensis, I, 19.

⁵⁶ S. *Vita Fulgentii*, 1; 14.

⁵⁷ S. Ebenda 3 (und 2).

Auf Grund der bisherigen Untersuchung können wir eine ganze Reihe von Feststellungen treffen, die hinsichtlich des Grundbesitzes im afrikanischen Vandalenreich, seiner Verteilung auf die verschiedenen Bevölkerungsschichten, seiner Mobilität und Stabilität von Belang sind. Von hier aus fällt auch Licht auf die Klassenlage im Vandalenreich bzw. in den einzelnen Phasen der rund hundertjährigen vandalischen Herrschaft.

Es muß nochmals betont werden, daß die sechs erwähnten Kategorien des Grundeigentums⁵⁸ für die Gesamtdauer der Hasdingenherrschaft nachweisbar sind. Zumindest den Kategorien 1 bis 3 und 6 kommt eine konstante Bedeutung zu, auch der Besitz der Kategorien 4 und 5 kann jedoch nicht unerheblich gewesen sein. Die Verschiedenartigkeit des Besitzes hängt natürlich auch mit gewissen Unterschieden der Produktionsmethoden und Produktionsweisen zusammen. Die vandalische Regierung war kennzeichnenderweise großzügig genug, diese 'Konkurrenz' zuzulassen, die höchstwahrscheinlich auf eine Ertragssteigerung hinzielte. Folgende Überlegung vermag dies wohl einsichtig zu machen. Die Vandalen selbst spielten in der gewerblichen und auch in der agrarischen Produktion nur eine unerhebliche Rolle. Am ehesten haben noch die normalen Inhaber der «sortes Vandalorum» auf ihren Gütern mitgearbeitet, wobei sie sich vor allem für die Viehzucht interessiert haben dürften.⁵⁹ So kamen die «sortes» für die Erzeugung von Produkten, die besondere Mühe und Pflege erforderten, kaum in Frage. Öl, Wein, Feigen und anderes Obst mußten daher auf den königlichen und prinzlichen Ländereien oder auf den Gütern einheimischer Besitzer erzeugt werden, die trotz der hohen Besteuerung Anreiz genug gehabt haben dürften, möglichst viel und gut zu produzieren. Bei Wein, Öl und Getreide muß der Export nach Übersee stimulierend gewirkt haben.⁶⁰ Die Regierung war selbst am Export oder gar an der Steigerung des Exportes interessiert und förderte daher, trotz ständiger Furcht vor subversiven Elementen, die in Byzanz ihren Rückhalt hatten, den Ausbau Karthagos als Handelshafen.⁶¹ Trotzdem hat es sicherlich Absatzkrisen gegeben; über Produktionskrisen wird vor allem am Beispiel einer ins Jahr 484 fallenden Hungersnot gesprochen, durch die der Viehbestand dezimiert wurde.⁶² Für viele Provinzialen, angeblich sogar auch für viele Vandalen, hatte diese Hungersnot katastrophale Folgen.⁶³

⁵⁸ Zwischen Besitz und Eigentum unterscheiden wir hier nicht genauer, zumal die Verhältnisse oft reichlich verwickelt sind und die Quellen eine Fixierung meist nicht erlauben.

⁵⁹ S. Victor Vitensis, I, 35; dies erklärt sich zwingend aus dem großen Bedarf an Pferden für die im Krieg ausschließlich kavalleristisch eingesetzten Vandalen. Wahrscheinlich stellt das Mosaik vom Bordj Djedid (E. F. GAUTIER: Geiserich [deutsch], 1934, Tafel vor S. 205, Orig. Brit. Museum) einen vandalischen Dienstadligen zu Pferd dar.

⁶⁰ S. CHR. COURTOIS: Les Vandales et l'Afrique, . . ., 318 ff.

⁶¹ S. Anthologia Latina, 387; Procop, *De bello Vandalico*, I, 20.

⁶² S. Victor Vitensis, III, 55 ff.

⁶³ Ebenda III, 55 ff. Die Darstellung ist immerhin übertrieben, und die den gleichen Zeitraum berührenden Teile der *Vita Fulgentii* wissen von einer Hungersnot überhaupt nichts zu berichten.

Es ist sicher, daß die unter Kategorie 1 bis 3 genannten Betriebe und die dazu gehörigen Personenkreise die Krisen am leichtesten überstanden. Besonders günstig im Hinblick auf Produktivität und Rentabilität muß der königliche (und prinzhliche) Grundbesitz eingeschätzt werden. Die Güterorganisation und -verwaltung war übersichtlich;⁶⁴ genaue Kontrollen des Arbeitsablaufes und die Verfügung über reichliche Arbeitskräfte — notfalls Zwangsarbeiter⁶⁵ — garantierten die Anhäufung eines großen Mehrproduktes. Vom Warenüberschuß her gesehen ergaben sich daher hohe Exportquoten und Möglichkeiten der Reservenbildung. Wieweit die königliche Güterverwaltung in ihrer Agrarpolitik und speziell in der agrarischen Produktion konsequent gearbeitet hat, ist allerdings unsicher. Es ist zumindest mit großen Schwankungen unter den verschiedenen Königen zu rechnen. Daß die Könige Boden an Zwangskolonen⁶⁶ oder auch schenkungsweise weggegeben haben, gibt immerhin zu denken. Diesem Schrumpfungsprozeß stand aber immer wieder ein expansiver Vorgang gegenüber; Konfiskationen sind nicht selten gewesen, und zumindest Gelimer hat auch für sich Schenkungen erzwungen.⁶⁷

Da wir nichts über die Größe der eigentlichen «sortes Vandalorum» wissen,⁶⁸ können wir auch nicht sagen, ob diese wesentliche Erträge über den Eigenbedarf der Besitzer hinaus abgeworfen haben. Viel spricht wohl — schon vom Wort her — nicht dafür. Der Ertrag wird meist nur für die betreffenden Vandalen, die durch Militärdienst, andere Dienstverpflichtungen und Vergnügungen vom Betrieb abgelenkt wurden, sowie für die Sklaven gereicht haben. Allerdings werden in den Quellen alle Vandalen als quasi reiche Leute bezeichnet,⁶⁹ wobei freilich mit rhetorisch bedingter Übertreibung zu rechnen ist. Jedenfalls stellten die «sortes» einen sicheren Grundbesitz dar, der im Normalfall vererbt wurde. Ein vandalisches Landlos war auch durch Erbteilung kaum bedroht. Ein kinderreicher Vandale konnte folgerichtigerweise damit rechnen, daß die nichtversorgten Nachkommen mit Dienstgütern oder königlichen Pfründen bedacht würden, zumal die Bevölkerungskurve des Stammes insgesamt fallende Tendenz zeigte.⁷⁰

⁶⁴ S. etwa Victor Vitensis, I, 43 ff.; 48 ff.; II, 10; 16. Gerade die hier erwähnten Strafmaßnahmen zeigen, daß man rationell arbeitete und die Sträflinge einerseits demütigte, ihnen andererseits aber ein möglichst großes Mehrprodukt abgewann.

⁶⁵ S. etwa Victor Vitensis, I, 44; II, 10; 16; III, 20 (Zwangskolonen).

⁶⁶ S. etwa Victor Vitensis, III, 20.

⁶⁷ Dies zeigt ein Gedicht des Luxorius, das wir unter der Überschrift «*In ministrum regis, qui alienas facultates vi extorquebat*» kennen (Anthologia Latina, 341); der dort kritisierte Eutychus ist wahrscheinlich mit Gelimers «Kämmerer» Bonifatius identisch (s. o. Anm. 28).

⁶⁸ CHR. COURTOIS denkt wohl (a. a. O., 279, Anm. 9) an eine Durchschnittsgröße von 50 ha, was eher zu hoch als zu niedrig gegriffen sein dürfte.

⁶⁹ S. Victor Vitensis, III, 59; Procop, *De bello Vandalico*, II, 3, 24 ff.; vgl. 9, 3 ff. Interessanterweise bringt Procop den vandalischen Reichtum mit den Beutezügen und mit den Einkünften aus dem fruchtbaren afrikanischen Territorium zusammen.

⁷⁰ S. etwa CHR. COURTOIS: a. a. O., 221 et passim.

In diesem Zusammenhang muß noch auf den elastischen Übergang zwischen den Besitzkategorien 1 und 3 unserer Aufteilung — großzügiger könnte man auch die Wechselseitigkeit zwischen den Formen 1 bis 4 betonen — eingegangen werden, der bisher kaum gesehen worden ist. Wenn die Quellen von königlichen Schenkungen sprechen, so muß fast immer damit gerechnet werden, daß es sich um eine Art Belehnung gehandelt hat, mit der auch der Dienstmann, sei es ein Vandale, sei es ein Provinzialrömer, gewisse Verpflichtungen militärischer oder administrativer Art einging. Der 'Belehungsakt' und die Formen der Abhängigkeit sind nicht ganz klar, jedoch verweisen die Quellen beispielsweise auf die Treue- und Gehorsamsverpflichtung der Dienstleute, die oft überprüft wurde.⁷¹ Auf die personalen Bindungen zwischen Herrn und Ministerialen ist wie in der Vasallität des vollentwickelten Feudalismus großer Wert gelegt worden; die *domestici* oder *ministri regis* wurden vom König mit den verschiedenartigsten Dienstleistungen beauftragt, oft aber auch als Ratgeber in Anspruch genommen.⁷² Sofern die Dienstadligen nicht selbst Grund und Boden erhielten, wurden sie durch Zuteilung von *annonae* und *stipendia* versorgt.⁷³ Die Möglichkeiten eines Landkaufes gab es bei den Vandalen offenbar nicht.

Anders, wie wir schon sahen, bei den Provinzialrömern. Trotz aller sonstigen Behinderungen hatte diese Schicht die Möglichkeit, Land durch Schenkung, Vererbung oder durch Kauf zu erwerben und auf die verschiedenste Weise zu verwerten. Da die Vandalen, sofern sie überhaupt arbeiteten, militärisch oder administrativ eingesetzt waren, fiel den Provinzialrömern der Löwenanteil an der agrarischen und gewerblichen Produktion zu. Weil sie für militärische Aufgaben gar nicht mehr und für administrative nur in geringfügigem Maße verwendet wurden, waren ihre Kräfte für die Wirtschaft frei. Die politische Unterdrückung kam ihnen somit auf dem Umweg über die Wirtschaft bis zu einem gewissen Grade wieder zugute;⁷⁴ allerdings nicht restlos, da der Steuerdruck hart war und das Land in den letzten Dezennien der vandalischen Herrschaft von häufigen maurischen Invasionen heimgesucht wurde.⁷⁵ Natürlich ist gerade in dieser spätvandalischen Zeit mit einer wachsenden Misere der Sklaven bzw. Kolonen — der agrarischen Hauptproduzenten — zu rechnen.⁷⁶ Auch die kleineren Grundbesitzer haben dem mehrfachen Druck — durch Vandalen, Feindeinfälle sowie Konkurrenz der Großgrundbesitzer — oft nicht standgehalten. Die Tendenz ging also weithin wieder in Richtung der

⁷¹ S. Victor Vitensis, I, 19 f.; 43 ff.; 48 ff.; II, 8 ff.; (III, 31).

⁷² Ebenda I, 19; II, 24; vgl. I, 18.

⁷³ Ebenda II, 10.

⁷⁴ Ähnlich ansatzweise bei CHR. COURTOIS: a. a. O., 310 ff.; besonders 323.

⁷⁵ Zu den Invasionen: CHR. COURTOIS: a. a. O., 325 ff.

⁷⁶ Auf die zahlreichen, in der (späten) Vandalenzeit entlaufenen Kolonen geht eine Verordnung Justinians vom 6. 9. 552 ein (Novell. app. VI).

Herausbildung großer Latifundien. Immerhin spielt der provinzialrömische Grundbesitz vor allem als Ganzes gesehen eine beachtliche Rolle. So sehr die Vandalen während der Invasionsperiode (429–442) oder unter Hunerich (477–484) die alte Eigentumsordnung auch angegriffen hatten⁷⁷ — es fehlte dabei zumindest nicht an Versuchen, sie ganz zu beseitigen —, ebenso sehr mußten sie im Laufe der Zeit wieder eine rückläufige Entwicklung zulassen. Was innerhalb des königlichen Besitzes oder der »sortes Vandalorum« auf eine feudale oder doch präfeudale Ordnung hin entwickelt wurde, fiel gegenüber dem Bestehenbleibenden wohl nicht allzu sehr ins Gewicht. Allerdings muß das vandalische Experiment, das sich an der Neuverteilung des Bodens in der proconsularischen Provinz mit den weiter daraus folgenden Konsequenzen ergibt, als wichtiges Beispiel für den revolutionären und zugleich evolutionären Übergang von der Sklavenhalter- zur Feudalgesellschaft gewertet werden, wenn es auch nicht zu voller Wirksamkeit gelangte. Die byzantinische Eroberung (533/34) hat hier einen Riegel vorgeschoben und die Verhältnisse im wesentlichen wieder nach dem status quo ante geordnet.

Halle/Saale.

⁷⁷ S. etwa H.-J. DIESNER: Kirche und Staat im spätrömischen Reich . . . , Nr. 9.

ZUR SKLAVEREI IN BYZANTINISCHER ZEIT

Es soll im folgenden versucht werden, ganz allgemein und unter Heranziehung nur weniger Beispiele die Hauptlinien der Entwicklung zu kennzeichnen, die ein für die griechisch-römische Antike so charakteristisches Phänomen wie die Sklaverei im byzantinischen Mittelalter genommen hat. Dabei stütze ich mich auf vorliegende Untersuchungen zu sachlichen oder zeitlichen Teilkomplexen dieses interessanten Problems, deren es aus den letzten zwei Jahrzehnten nicht wenige gibt.¹

Allmählicher als im Westen ging der Umwandlungsprozeß von Sklaverei- zu Feudalverhältnissen im Osten vor sich. Überwog in der Zeit vom 7. bis 9. Jahrhundert noch die freie Bauernschaft, so bildeten sich erst etwa um die Mitte des 9. Jahrhunderts verstärkt feudale Produktionsverhältnisse heraus, die sich schließlich im 11. Jahrhundert voll durchsetzten. Neben den sich herausbildenden und schließlich herrschenden Feudalverhältnissen erhielten sich mit erstaunlicher Zähigkeit noch immer auch Sklavereiverhältnisse, und zwar — unterschiedlich lange und unterschiedlich intensiv — in der Landwirtschaft, im Handwerk und in der Hauswirtschaft.

¹ A. HADJINICOLAOU-MARAVA: Recherches sur la vie des esclaves dans le monde byzantin. Athen 1950 (zitiert: HADJINICOLAOU-MARAVA); A. П. Каздан: Рабы и мистии в Византии IX—XI веков, Уч. зап. Тульского гос. пед. ин-та Heft 2 (1951) 63—88 (zitiert: KAZDAN); М. Я. Сюзюмов: Ремесло и торговля в Константинополе в начале X века, Виз. Врем. 4 (1951) 11—41, besonders S. 13—16 (zitiert: SJUZJUMOV: Handwerk); derselbe: О правовом положении рабов в Византии, Уч. зап. Свердловского гос. пед. ин-та 11 (1955) 165—192 (zitiert: SJUZJUMOV: Rechtslage); Р. Браунинг: Рабство в Византийской империи (600—1200 гг.), Виз. Врем. 14 (1958) 38—55 (zitiert: BROWNING); З. В. Удальцова: Рабство и колонат в византийской Италии во второй половине VI—VII в. (Преимущественно по данным равеннских папирусов), in: Византийские очерки. Moskau 1961, 93—120; dieselbe: Некоторые изменения в экономическом положении рабов в Византии VI в. (по данным законодательства Юстиниана), Сборник радова византологического института VIII/1 (1963) 281—290 (zitiert: UDAL'COVA); ferner die zahlreichen Untersuchungen des belgischen Gelehrten Ch. VERLINDEN zur mittelalterlichen Sklaverei, zuletzt besonders: Ch. VERLINDEN: Le Crète, débouché et plaque tournante de la traite des esclaves aux XIV^e et XV^e siècles, in: Studi in onore di Amintore Fanfani, Bd. 3, Mailand 1962, 593—669; derselbe: Traite des esclaves et traitants italiens à Constantinople (XIII^e—XV^e siècle), Le moyen âge 69 (1963) 791—804; s. auch H. KÖPSTEIN: Die byzantinische Sklaverei in der Historiographie der letzten 125 Jahre. Klio 43—45 (1965) 560—576; dieselbe: Zur Sklaverei im ausgehenden Byzanz. Philologisch-historische Untersuchung, Berlin 1966 (zitiert: KÖPSTEIN).

Die Verwendung von Sklaven in der Landwirtschaft in einem Feudalstaat ist zunächst vielleicht die befremdlichste Erscheinung. Immerhin gibt es eine Reihe eindeutiger Nachrichten. So nennt z. B. das Agrargesetz (7/8. Jahrhundert) Sklaven, die als Hirten tätig sind.² Die eigentliche Arbeit auf dem Felde allerdings führten nicht die Sklaven, sondern die Gemeindebauern selbst aus. Wie besonders deutlich aus dem Steuertraktat (10. Jahrhundert) hervorgeht, waren die *προάστεια* Gutswirtschaften, in denen nicht die jeweiligen Grundbesitzer selbst, sondern nur deren Sklaven, Lohnarbeiter und andere wohnten,³ scil. die die Felder zu bestellen hatten. Der heilige Philaretos (702—792) besaß — wie die von seinem Enkel verfaßte Vita berichtet (821/822) — in Paphlagonien neben Unmengen von Groß- und Kleinvieh auch 48 solcher Gutshöfe (*προάστεια*), *καὶ οἰκέται πολλοὶ ὑπῆρχον αὐτῷ*.⁴ Philaretos hat nun offensichtlich — selbst bei Abzug der in solchen Fällen üblichen Übertreibungen — doch eine recht ansehnliche Zahl von Sklaven in der Landwirtschaft genutzt, auf jeden Fall wesentlich mehr als z. B. die Gemeindebauern des Agrargesetzes. Besonders wenn durch siegreiche Kriege große Mengen von Kriegsgefangenen-Sklaven dem Byzantinischen Reich zufließen, wurden diese in hohem Maße auch in der Landwirtschaft genutzt, wie z. B. die von Nikephoros Phokas 961 auf Kreta besiegt und gefangen genommenen Araber.⁵

Die reiche Großgrundbesitzerin Danielis aus Patras hatte Kaiser Leo VI. (886—912) zu ihrem Erben bestellt. Da jedoch — von ihrem übrigen Reichtum einmal abgesehen — die Zahl ihrer Sklaven außerordentlich hoch war, ließ der Kaiser 3000 von ihnen frei und siedelte sie als Bauern im byzantinischen Italien an.⁶ Sowohl die hohe Zahl der Sklaven als auch die ihnen von Leo zugedachte Tätigkeit deutet darauf hin, daß sie zuvor in der Landwirtschaft tätig gewesen waren. Sie zeigt aber andererseits auch, daß die massenhafte Verwendung von *Sklaven* in der Landwirtschaft im byzantinischen Mittelalter nicht mehr als die rentabelste Produktionsweise betrachtet wurde. Dies zeigt sich auch darin, daß besiegte und unterworfenen Völkerschaften zum Teil auch freigelassen und in schwach bevölkerten Gebieten angesiedelt wurden,⁷ wobei

² W. ASHBURNER: The Farmer's Law, JHS 30 (1910) 103.

³ F. DÖLGER: Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts. Unveränd. Nachdr. der Ausg. von 1927: Darmstadt 1960, 115 (Traktat ASHBURNER Z. 39—42), 127 z. B. f. s; auch M. H. FOURMY—M. LEROY: La vie de S. Philarète, Byzantion 9 (1934) (zitiert: *Vita Philareti*) 115,35—117,5.

⁴ *Vita Philareti* 113,6—115,2.

⁵ Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope ab I. BEKKERO suppletus et emendatus, Bd. 2, Bonn 1839, 341, 13—15: τῶν δὲ ἁλόντων καὶ ἐν τῇ πόλει πεμφθέντων τοσούτων ἦν τὸ πλῆθος ὡς πληρῶσαι δοῦλων καὶ τὰς ἀστικὰς οἰκίας καὶ τοὺς ἀγρούς.

⁶ Theophanes continuatus . . . , ex recognitione I. BEKKERI, Bonn 1838 (zitiert: Theoph. cont.), 320,20—321,10; 321, 3—6: ἐπεὶ δὲ τὰ οἰκετικὰ ταύτης ἀνδράποδα εἰς πλῆθος ἀπειρον ἦν, κελεύσει βασιλικῇ ἐκ τούτων ὥσπερ εἰς ἀποικίαν ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐστάλησαν εἰς τὸ θέμα Λαγοβαετίας τρισχίλια σώματα. Leo erbte ferner 80 *προάστεια* (321,8—10).

⁷ So z. B. im 8. Jahrhundert Ansiedlung der besiegten Slawen in Kleinasien (Theophanis Chronographia, rec. C. DE BOOR, Bd. 1, Leipzig 1883, 364, 11—15; Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani Opuscula historica, ed. C. DE BOOR, Leipzig 1880, 36,

es sich dann eben nicht mehr um Sklaverei, sondern bereits um eine Form der Hörigkeit handelt. Daß die Verwendung von Sklavenarbeit in der Landwirtschaft, aufs Ganze gesehen, nicht mehr die geeignete Produktionsform war, zeigt auch die Novelle, die der Kaiser Romanos Lakapenos nach einer schweren Mißernte im Jahre 934 zum Schutz der freien Kleinbauern erließ. Darin heißt es u. a. sinngemäß: Es ist die Menge der Sklaven (*πλήθος τῶν οἰκετῶν*), der Lohnarbeiter und anderer, mit denen die *δυνατοί* die armen Bauern, die *πένητες* ruinieren.⁸ So wurden also die freien Kleinbauern durch die Konkurrenz der auch noch Sklaven verwendenden Großgrundbesitzer aufgerieben und früher oder später in deren Abhängigkeit gedrückt. Andererseits aber ging infolge der wachsenden Zahl der Hörigen und der größeren Rentabilität ihrer Arbeit die Verwendung von Sklavenarbeit in der Landwirtschaft zurück.

Alle bisher genannten Beispiele reichen nur bis ins 10. Jahrhundert. Der einzige Beleg, der aus dem 11. Jahrhundert bekannt ist, als sich die feudalen Produktionsverhältnisse bereits eindeutig durchgesetzt hatten, ist sehr bezeichnend. In einer Urkunde vom Jahre 1073, die den gesamten Besitz eines Gutes auf Patmos aufführt, heißt es u. a.: Sklaven: keine, da diese gestorben sind.⁹ In allen späteren Besitzurkunden ist nirgends mehr von Sklaven die Rede.¹⁰ Sie sind also in der Landwirtschaft tatsächlich von den Feudalverhältnissen verdrängt worden.

Über die Verwendung von Sklaven im byzantinischen Handwerk gibt das Eparchenbuch recht interessanten Aufschluß. Es handelt sich hier um eine im 10. Jahrhundert veranstaltete Sammlung von Bestimmungen des Eparchen von Konstantinopel hinsichtlich der Zünfte. Diesem Dokument ist zu entnehmen, daß in zahlreichen Handwerken auch Sklaven tätig waren, ja daß Sklaven sogar Mitglied einiger Zünfte werden und eine eigene Werkstatt eröffnen konnten, z. B. der Juweliere und der Seidenweber, und zwar auf relativ einfache Weise. Denn während ein Freier, der in eine solche Zunft eintreten wollte, fünf Bürgen stellen mußte, bedurfte der Sklave nur eines kapitalkräftigen Herrn, der für ihn die nötige Summe hinterlegte.¹¹ Den Nutzen daraus zog der Herr, der auf diese Weise durch seine Sklaven eine beliebige Anzahl Ergasterien besitzen konnte, besonders wenn er beim Eparchen der Stadt, der über die

16—22); später z. B. Ansiedlung von Teilen der 1122 besiegten Petschenegen in einer der Westprovinzen des Byzantinischen Reiches (Nicetae Choniatae Historia, ex recensione I. BEKKER, Bonn 1835 [zitiert: Nik. Chon.], 22, 16—23).

⁸ Jus Graeco-Romanum, ed. C. E. ZACHARIAE a Lingenthal (zitiert: JGR), Bd. 3, Leipzig 1857, 247,2—9.

⁹ Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, collecta edd. F. ΜΙΚΛΟΣΙΧ et I. ΜÜLLER, Bd. 6, Wien 1890, 6: *Λιὰ τῶν δούλων. οὐδεὶς, διὰ τὸ ἀποθανεῖν τοὺτους.*

¹⁰ F. Г. Острогорский: Византийские писцовые книги, Byzantinoslavica 9 (1947/1948) 239, der auch auf die eben erwähnte Urkunde aufmerksam gemacht hat. Zur Verwendung von Sklaven in der Landwirtschaft s. noch HADJINICOLAOU-MARAVA 50—52; KAŽDAN 72 f.; BROWNING 46—48.

¹¹ Eparchenbuch II 10; VIII 13 (neueste Ausgabe: Византийская Книга Эпарха. Вступительная статья, перевод, комментарии М. Я. Сюзюмова, Moskau 1962).

Zahlungsfähigkeit des Herrn zu entscheiden hatte, genügend Rückhalt besaß.¹² Sjuzjumov machte darauf aufmerksam, daß Sklaven nur in solchen Zünften Aufnahme fanden, in denen Luxusartikel hergestellt wurden, die in den Export gingen, wie Juwelierwaren, Seidenstoffe, Seifen,¹³ während sie zu Zünften, die Massenbedarfsgüter für den Binnenmarkt produzierten, wie z. B. denen der Bäcker, Fleischer, Tischler, Schlosser, Bauarbeiter und anderer, offenbar nicht zugelassen waren (denn in den Bestimmungen über diese Zünfte werden Sklaven nicht erwähnt). Da für die Zünfte der genannten Luxusgewerbe — im Gegensatz zu den für die Versorgung der Bevölkerung Konstantinopels lebensnotwendigen Gewerbe — die Profitrate nur für Transaktionen innerhalb der Zünfte, sonst aber nicht staatlich reguliert war, bedeutet das, daß gerade zu den rentabelsten Gewerben Sklaven herangezogen werden und als Handwerker oder gar als Mittelsmänner ihrer Herren tätig sein konnten; hierdurch wurden die nicht konkurrenzfähigen kleinen Handwerker der Luxusindustrie ruiniert. Dies machte es verständlich, daß der reiche hauptstädtische Beamtenadel, dessen Vertreter in nicht geringem Maße Nutznießer dieser Situation waren, an der Bewahrung der Sklaverei selbst noch im 10. Jahrhundert stark interessiert war.¹⁴

Die im Handwerk beschäftigten Sklaven besaßen zweifellos zum großen Teil hohe Qualifikation. Der englische Byzantinist Browning betrachtet sogar gerade das als ein Charakteristikum des byzantinischen Handwerks, daß unter den darin beschäftigten Sklaven die qualifizierten überwogen, ja vielleicht sogar — wie er doch wohl etwas zu pointiert sagt — unter den qualifizierten Arbeitern die Sklaven überwogen.¹⁵

Leider besitzen wir in den erzählenden Quellen nur wenige Nachrichten, die das aus dem Eparchenbuch gewonnene Bild abrunden und über die mögliche Verwendung von Sklavenarbeit in den Werkstätten in anderen großen Handelsstädten des Reiches Auskunft geben können.¹⁶ Auf jeden Fall aber gab es neben den Ergasterien einzelner Besitzer auch noch die kaiserlichen Werkstätten und die der großen Magnaten. Die Stoffe, die die bereits erwähnte Grundbesitzerin aus Patras (9. Jahrhundert) dem Kaiser Basileios I. zum Geschenk machte,¹⁷ stammten offensichtlich aus ihren eigenen Textilwerk-

¹² SJUZJUMOV: Handwerk 14 f.

¹³ Eparchenbuch II 10; VIII 13; XII 9. In den Handel dieser Luxusartikel über die byzantinischen Grenzen hinweg wurden Sklaven allerdings ebenfalls nicht mit einbezogen (SJUZJUMOV, Handwerk 14).

¹⁴ SJUZJUMOV, Handwerk 14–16.

¹⁵ BROWNING 45 f.

¹⁶ Im 12. Jahrhundert jedenfalls wurden in Theben und Korinth, damals wichtigen Zentren der byzantinischen Seidenindustrie, offenbar keine Sklaven in der Seidenweberei beschäftigt, wie die Nachricht über die Verschleppung der dortigen Seidenweber durch den siegreichen Normannenkönig Roger II. im Jahre 1147 nach Palermo nahelegt (Nik. Chon. 99, 15–21; ferner 129, 18–130,6); s. auch BROWNING 45.

¹⁷ Theoph. cont. 318, 12–18.

stätten, in denen zahlreiche Sklaven für sie tätig waren.¹⁸ Begünstigt wurde auf der Peloponnes die Beschäftigung größerer Mengen von Sklaven überhaupt und so auch im Handwerk durch die zahlreichen byzantinischen Eroberungskriege im 9. Jahrhundert gegen die Slawen.¹⁹ — Aus siegreichen Kriegen stammten zweifellos auch die Sklaven, die in großer Zahl in den kaiserlichen Werkstätten tätig waren und, höchstwahrscheinlich über mehrere Generationen in diesen Ergasterien tätig,²⁰ den Ruf der byzantinischen Luxusindustrie wesentlich mitbestimmten.

Sklavenarbeit wurde im byzantinischen Handwerk also offenbar nur in den Werkstätten verwandt, die bestimmte Privilegien genossen, wie etwa die kaiserlichen, denen aus dem kaiserlichen Beuteanteil Unmengen von Sklaven zuflossen, und die der großen Magnaten auf der Peloponnes und vielleicht auch anderswo, die wohl hauptsächlich eigene Produkte verarbeiteten, und im privaten Bereich in den Produktionszweigen, die mit relativ großer Gewinnspanne arbeiteten, wie die Luxusindustrie. In all diesen Fällen konnte sich die niedere Rentabilität der Sklavenarbeit weder für die gesamte byzantinische Wirtschaft noch für den jeweiligen Herrn des Sklaven all zu stark auswirken.²¹

Am längsten erhielt sich die Verwendung von Sklaven im Haushalt. Wir hören von reichen Byzantinern, die sich mit einer ganzen Schar von Sklaven umgaben,²² und von weniger Begüterten, die nur wenige oder nur einen Sklaven besaßen.²³ Wo die Sklaven nicht nur dem Prestige dienten, verrichteten sie alle im Hause anfallenden Arbeiten. Wer in einem größeren Haushalt eine qualifizierte Kraft benötigte, kaufte sie nicht, sondern bildete in der Regel einen vorhandenen Sklaven entsprechend aus.²⁴ Einen gewissen Sonderfall bildeten die Sklaven am kaiserlichen Hof. Diese konnten gelegentlich, wie Beispiele zeigen, zu hohen Ämtern und Ehren aufsteigen.²⁵ Unter diesen wiederum

¹⁸ So zuletzt BROWNING 44. — A. BON: *Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 1204*, Paris 1951, 122; 128—133, warnt davor, den Umfang der handwerklichen Produktion auf der Peloponnes zu überschätzen. Verwendung von Sklavenarbeit erwähnt er gar nicht.

¹⁹ BROWNING 44 f.

²⁰ Zur Beschäftigung von Sklaven in den kaiserlichen Textilwerkstätten s. z. B. auch Theodoros Studites, in: MIGNE: *Patrologia Graeca* (zitiert: PG) 99, 1249 D.

²¹ S. hierzu BROWNING 54.

²² Wie z. B. Danielis aus Patras (Theoph. cont. 317, 17—24; 318, 5 f.; 228, 3 f.); ferner der abgesetzte Patriarch Ignatios (9. Jahrhundert) (PG 105, 516 D); der Feldherr Theognostos (um 900) (PG 111, 632 A); weitere Beispiele bei BROWNING 42. — Zur Hausklaverei s. auch KAZDAN 73.

²³ Wie z. B. im 11. Jahrhundert Theodoros Prodromos, der aber trotz seiner Armut für einen 7-Personen-Haushalt immerhin noch mindestens fünf Sklaven und eine Sklavin hatte (E. MILLER und É. LEGRAND: *Poèmes vulgaires de Théodore Prodrome*, *Revue archéologique* N. S. Jg. 16, Bd. 29 (1875) 60—67; 183—193; 254—261, besonders 60, 27; 184, 36 und 188, 88).

²⁴ Z. B. zum Sekretär (PG 111, 632 A—B).

²⁵ So ist z. B. im 12. Jahrhundert der Großdomestikos Johannes Axuchos am Hofe des Johannes Komnenos ein einst in Gefangenschaft geratener und versklavter Türke (Nik. Chon. 14, 4—21; s. auch 65, 1—3; 103, 15—17).

bildeten die Eunuchen eine besondere Gruppe. In wie hohem Maße diese, die ja dem Thron selbst nie gefährlich werden konnten, am byzantinischen Hof begehrt waren, zeigt allein schon der Umstand, daß Besucher gern Eunuchen als Gastgeschenke überbrachten.²⁶ Erhöht wurde ihr Wert noch dadurch, daß *εὐνοχισμοί*, die auf byzantinischem Gebiet an Kindern und Sklaven vorgenommen wurden, seit Justinian mit schweren Strafen belegt wurden.²⁷

Selbst noch nach dem 4. Kreuzzug von 1204 und nach der mehr als fünfzigjährigen Herrschaft der Kreuzfahrer über wesentliche Teile des Byzantinischen Reiches, als Byzanz wirtschaftlich wie politisch immer mehr an Boden verlor und das Feudalsystem bereits seinen Kulminationspunkt überschritt, lassen sich Sklaven in Byzanz nachweisen — aber nur Haussklaven, und auch diese nur in sehr geringem Umfang. Während in den früheren Jahrhunderten Besitz von Sklaven zur Verwendung im Haushalt bis in die mittleren Schichten hineingegangen zu sein scheint,²⁸ ist der Kreis derer, die Sklaven halten, jetzt relativ begrenzt; genannt werden nur mehr Kaufleute, Geistliche und Klöster, vor allem aber Angehörige des hohen und höchsten Adels einschließlich besonders des Kaiserhauses.²⁹

Ließen sich Handwerks- und Landwirtschaftssklaven bis höchstens ins 11./12. Jahrhundert hinein nachweisen und verschwinden bei voll ausgebildeten Feudalverhältnissen, so sind im Haushalt beschäftigte Sklaven bis zum Fall Konstantinopels im Jahre 1453 zu belegen.³⁰ Dies aber war eine Tätigkeit außerhalb der materiellen Produktion, die für das wirtschaftliche Gesamtgefüge des Byzantinischen Reiches keine Rolle spielte.

Die bequemste Möglichkeit zur Beschaffung von Sklaven bot der Sklavenhandel. Zentrum des byzantinischen ebenso wie des internationalen Sklavenhandels rings um das Mittelmeer war — besonders in der Blütezeit des 9./10. Jahrhunderts — Konstantinopel. Hierher brachten russische,³¹ bulgarische,³²

²⁶ Theoph. cont. 318, 5—10; s. z. B. auch Die Werke Liudprands von Cremona, 3. Aufl. hrsg. von J. BECKER, Hannover und Leipzig 1915, 108, 12—15 (Antapodosis IV 9). — Über Eunuchen s. R. GUILLARD: Les eunuques dans l'Empire Byzantin. Étude de titulature et de prosopographie byzantines, *Revue des études byzantines* 1 (1943) 197—238; derselbe: Fonctions et dignités des eunuques, ebenda 2 (1944) 185—225.

²⁷ Corpus Juris IV 42, 2.

²⁸ So z. B. weiter oben Anm. 23 sowie weitere von BROWNING (S. 42) genannte Beispiele.

²⁹ KÖPSTEIN 76—84.

³⁰ Wie allein schon die Berichte über die Einnahme Konstantinopels und die Gefangennahme der Byzantiner zeigen, z. B. Ducac Historia Turco-byzantina (1341—1462) ex recensione B. GRECU, Bukarest 1958, 367,8 f.: *ἐδεσμεῖτο δοῦλῃ σὺν τῇ κυρίᾳ, δεσπότης σὺν τῷ ἀρχιεπισκόπῳ*.

³¹ So z. B. Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio. Greek text ed. by GY. MORAVCSIK. Engl. transl. by R. J. H. JENKINS, Budapest 1949, 56—63 (cap. 9); Повесть временных лет. Подготовка текста Д. С. Лихачева, перевод Д. С. Лихачева и Б. А. Романова, под редакцией П. П. Адриановой-Перетц, Bd. 1, Moskau und Leningrad 1950, 28; 37.

³² Belege bei И. Сакъзов: Една новела на Алексия Комнин за робин-българи, in: Сборник в чест на Васил Н. Златарски по случай на 30-годишната му научна и професорска дейност, Sofia 1925 (zitiert: SAKŪZOV), 374—377.

ungarische³³ und nicht zuletzt venezianische und andere italienische Kaufleute Sklaven zum Verkauf.³⁴ Im 9. Jahrhundert wurde den Sklavenhändlern sogar ein ganz bestimmter Platz in Konstantinopel als Sklavenmarkt zugewiesen.³⁵ Weitere wichtige Sklavenhandelszentren waren die Krimhäfen. Hier allerdings ebenso wie sogar in Konstantinopel selbst wurde den byzantinischen Kaufleuten seit dem 12. und vollends seit dem 13. Jahrhundert die Initiative von den Venezianern und Genuesen entrissen.³⁶ Zu dieser Zeit profitierten im internationalen Handel die Byzantiner selbst von den Vorteilen der geographischen Lage ihrer Handelszentren nur noch bedingt. Denn die Einfuhrsteuern, die dem byzantinischen Fiskus in den früheren Jahrhunderten — nicht zuletzt auch aus den Sklavenimporten³⁷ — große Summen eingebracht hatten, waren seit Ende des 11. Jahrhunderts den Handelsrepubliken Italiens vertraglich erlassen worden, womit sie gegenüber den byzantinischen Kaufleuten eindeutig im Vorteil waren.³⁸

Auf diesen zentralen Sklavenmärkten versorgten sich auch die Byzantiner mit Sklaven. Aber natürlich gab es für den Binnenbedarf noch zahlreiche andere Plätze; höchstwahrscheinlich wurden je nach Bedarf an jedem größeren Ort Sklaven gehandelt.

Die im Inland zum Verkauf gelangenden Sklaven stammten nicht ausschließlich aus dem internationalen Sklavenhandel, sondern auch aus der Kriegsgefangenenbeute. Soldaten, die ihre Kriegsgefangenen nicht selbst als Sklaven behalten wollten, verkauften diese entweder selbst an Interessenten oder aber zunächst nur an Sklavenhändler, die dann den Weiterverkauf besorgten.³⁹

Wurden in der Antike die Stammesgenossen geschont und in der Regel nur «Barbaren» in die Sklaverei geführt, so wurde im christlichen Byzanz Barbarei und Unglaube identifiziert, und es galt das Prinzip: Schonung der christlichen Glaubensgenossen, Versklavung der «Ungläubigen»,⁴⁰ d. h. der

³³ Theoph. cont. 359, 2–4; 701, 22–24 (Symeon Magister); s. auch Gy. MORAVCSIK: Die byzantinische Kultur und das mittelalterliche Ungarn, Berlin 1956, 11 f.; ferner — allerdings die Krim betreffend — SAKŮZOV 373.

³⁴ Für die spätere Zeit s. besonders VERLINDEN, *Traite* (s. Anm. 1); allgemeine Überblick s. HADJINICOLAOU-MARAVA 41; 89–94; KAŽDAN 68–70; BROWNING 50–52; H. KÖPSTEIN: Zum byzantinischen Sklavenhandel. *Wiss. Zeitschr. der Karl-Marx-Univ. Leipzig* 1966. Gesellschaft- und sprachwissenschaftliche Reihe, 487–493.

³⁵ Codini *Curopolatae de officialibus palatii Constantinopolitani et de officiis magnae ecclesiae liber, ex recogn. I. BEKKERI*, Bonn 1839, 50, 4–6.

³⁶ Interessante Materialien liefert dazu G. I. BRĂTIANU: *Actes des notaires génois de Pera et de Caffa de la fin du XIII^e siècle (1281–1290)*, publ., Bukarest 1927.

³⁷ Nikephoros I. (802–811) z. B. erhob für jeden über Abydos importierten Sklaven zwei Nomismata Zoll (Theoph. I 487, 11–13 DE BOOR).

³⁸ Bekannt ist die Nachricht des Nikephoros Gregoras (Edition von L. SCHOPEN, Bd. 2, Bonn 1830, 842, 2–4), daß im 14. Jahrhundert die Genuesen in Galata fast siebenmal so hohe Zolleinnahmen hatten wie die Byzantiner in Konstantinopel.

³⁹ Mehr darüber in der interessanten Novelle des Johannes Tzimiskes (zwischen 972 und 975) über Sklaveneinfuhrzoll (JGR III 301–303).

⁴⁰ Dieses Prinzip wurde zwar häufig von den byzantinischen Hofhistoriographen proklamiert, aber doch auch gar nicht selten gegenüber den nicht-orthodoxen Christen,

nichtchristlichen Völker. Dieser aus der damals herrschenden Ideologie resultierende Grundsatz brachte im Verlauf siegreicher Kriege Unmengen von Sklaven auf den Markt und begünstigte so auch von außen her die Verwendung von Sklavenarbeit.

So wie mancher Soldat seine Kriegsgefangenen selbst als Sklaven behielt, sei es für die Dauer des Feldzugs, sei es — wenn er vermögend genug war — auch für die Verwendung in der Heimat, und er damit Direktversorger war, bezog auch der Kaiser einen großen — vielleicht den größten — Teil seiner Sklaven direkt von den Kriegsschauplätzen. Denn ein Sechstel der Beute stand dem *δημόσιον* zu, erst die übrigen fünf Sechstel wurden an die Soldaten verteilt.⁴¹ Diese Sklaven fanden vornehmlich Verwendung entweder in den kaiserlichen Werkstätten oder direkt am Kaiserhof. Nur bei sehr großem Zustrom von Sklaven wurden diese — wie schon erwähnt — auf verödetem Land angesiedelt.⁴²

Weitere Rekrutierungsmöglichkeiten, wie Piraterie, oder auch Sklaverei als Strafe, Selbstverkauf Freier und ähnliche juristische Quellen der Sklaverei, fielen quantitativ weniger ins Gewicht, so daß sie hier beiseite bleiben.⁴³

Es ist früher gelegentlich die byzantinische Sklaverei mehr als eine Art von Hörigkeit, nicht aber tatsächlich als Sklaverei betrachtet worden. Diese Annahme wurde dadurch begünstigt, daß die mittellgriechische Terminologie schwankend ist und Wörter wie *δοῦλος*, *οἰκέτης*, *ἀνδράποδον* sowie das jüngere *σκλάβος* keineswegs stets nur den Sklaven als soziale Kategorie bezeichnen, sondern häufig — und mehr noch als im Altgriechischen — in übertragener Bedeutung verwandt werden (alle genannten Termini) oder auch eine andere soziale Kategorie bezeichnen, wie besonders *δοῦλος* (gelegentlich auch = der Tagelöhner, der gegen Lohn arbeitende arme Freie) und *οἰκέτης* (auch = der Gefolgsmann u. ä.). Immerhin gibt es zahlreiche Belege, auch der späteren Zeit, an denen die exakte soziale Bedeutung «Sklave» hinreichend sicher ist.⁴⁴

Was für ein Bild vermitteln die Rechtsquellen? Bereits in der Justinianischen Gesetzgebung deuten sich Tendenzen an, die den sich herausbildenden neuen ökonomischen Verhältnissen Rechnung tragen. Da man den Sklaven jetzt nicht mehr nur ein Stück Land, sondern auch Werkstätten als *peculia* übertrug, wurden solche Sklaven gegen willkürlichen Entzug ihrer *peculia* durch bestimmte Klauseln gesichert, damit den mit diesen Sklaven Handel treibenden Freien durch eventuelle Willkürakte des Herrn ihres Handels-

gelegentlich sogar gegenüber Orthodoxen, gebrochen (Beispiele aus der Spätzeit bei KÖPSTEIN 32–34; 66 f.).

⁴¹ *Ecloga privata aucta* XVIII 2 (JGR IV 48).

⁴² Zum Komplex Kriegsgefangenschaft s. auch HADJINICOLAOU-MARAVA 32; 40 f., 86–89; KAŽDAN 66–68; BROWNING 48–50; KÖPSTEIN 30–47 (nur Spätzeit).

⁴³ S. hierzu HADJINICOLAOU-MARAVA 24; 94–101; KAŽDAN 70; BROWNING 48; 52 f.; KÖPSTEIN 52–56; 74 f.

⁴⁴ Näheres zur Terminologie, besonders der Spätzeit, und weitere Literaturhinweise bei KÖPSTEIN 13–29.

partners kein finanzieller Schaden erwuchs. Solche Maßnahmen wurden unter den Bedingungen der Warenproduktion in den großen Handelsstädten nötig.⁴⁵ Gleichzeitig aber ist ein extrem ausgeprägter Konservatismus des byzantinischen Rechts von Justinian bis in die späteste byzantinische Zeit zu beobachten. Die letzten byzantinischen Gesetzessammlungen, des Harmenopulos und des Blastares, stammen aus dem 14. Jahrhundert;⁴⁶ aber selbst sie noch übernehmen wie alle früheren byzantinischen Rechtswerke fast die gesamte Justinianische Sklavengesetzgebung mit all ihren das Personenrecht des Sklaven einschränkenden Bestimmungen, und sie wiederholen auch den Grundsatz, daß sich die Menschen in Freie und Sklaven scheiden. Diese juristischen Normen entsprechen, selbst noch in spätbyzantinischer Zeit, durchaus dem Bewußtsein der herrschenden Klassen. Juristisch hat also der Sklave an seiner Qualität als Sklave seit der römischen Zeit nichts — oder doch kaum etwas — eingebüßt. Er ist Sklave mit all den daraus folgenden juristischen Konsequenzen. Denn so sehr auch die byzantinische Sklavengesetzgebung noch in der Vergangenheit wurzelte und altes Rechtsgut mitschleppte, das zum Teil schon überholt war, so war es eben doch geltendes Recht, nach dem im gegebenen Fall entschieden wurde, und wirkte so auch wieder retardierend auf das Institut der Sklaverei zurück. Vor diesem im Prinzip antiken Sklavenrecht fielen die wenigen in den 800 Jahren erfolgten Änderungen zugunsten der Sklaven (gewisse Erleichterungen der Freilassung und der Eheschließung⁴⁷) praktisch nicht ins Gewicht.

Was die faktische Lage der Sklaven betrifft, so mag allein der Hinweis auf den Sklavenhandel und alles, was daraus für den Sklaven erwuchs, genügen, um gewisse vom Gesetzgeber zugebilligte Erleichterungen nicht zu überschätzen. Sicher ist es den in einem byzantinischen Haushalt oder am Hof tätigen Sklaven in der Regel vergleichsweise besser ergangen als etwa den außerhalb des Hauses tätigen Sklaven des Altertums; Nachrichten über Willkür und Grausamkeit der Herren,⁴⁸ gegen die sich die Sklaven vor allem durch die Flucht erwehren,⁴⁹ haben wir aber auch aus den byzantinischen Jahrhunderten. Ja, bekannt ist sogar die Beteiligung von Sklaven an größeren Aufständen, besonders dem Thomas' des Slawen (9. Jahrhundert),⁵⁰ und zweifellos haben sich auch in späteren antifeudalen Erhebungen zahlreiche Sklaven auf die Seite der Aufständischen geschlagen.

⁴⁵ Hierüber besonders SJUZJUMOV: Rechtslage 174—178 und UDAL'COVA 285—290.

⁴⁶ Const. Harmenopuli Manuale legum sive Hexabiblos . . . rec. G. HEIMBACH, Leipzig 1851; *Ματθαίου τοῦ Βλαστάρεως σύνταγμα κατὰ στοιχείων τῶν ἐμπεριειλημμένων ἀπασῶν ὑποθέσεων τοῖς θελοῖς καὶ ἰεροῖς κανόσι* . . . ὑπὸ Γ. Ἀ. Πάλλη καὶ Μ. Πότλη, Athen 1859.

⁴⁷ Wie z. B. durch die 100. Novelle Leos VI. (um 900) (JGR III 199 f.) und die 35. Novelle des Alexios Komnenos vom Jahre 1095 (JGR III 403 f.).

⁴⁸ S. KAŽDAN 75.

⁴⁹ S. KAŽDAN 75 f.

⁵⁰ E. Э. Липшиц: Восстание Фомы Славянина и византийское крестьянство на грани VIII—IX вв., ВДИ 6 (1939) Nr. 1, 364 f.

Wenn sich auch der Status des Sklaven über Jahrhunderte qualitativ unverändert erhalten hat, so nahm doch die Bedeutung der Sklaverei als Ganzes in den späteren Jahrhunderten mehr und mehr ab. Als sich in Byzanz Feudalverhältnisse erst entwickelten und noch ein gewisser Bedarf, etwa im Handwerk der großen Handelsstädte, bestand und andererseits siegreiche Kriege in großen Mengen Sklaven auf den byzantinischen Markt brachten und in und um Byzanz ein lebhafter Sklavenhandel betrieben wurde, kam der Sklaverei in Byzanz quantitativ wie qualitativ noch eine gewisse Bedeutung zu. Daß sich im Osten Sklavereiverhältnisse überhaupt so lange erhielten, erklärt sich wohl vornehmlich daraus, daß das Oströmische Reich nicht nur seinen Staatsapparat, sondern auch Handwerk und Handel seiner Städte seit der Antike im wesentlichen intakt bewahren konnte. Es handelt sich hier um einen stark verzögerten Übergang von einer Gesellschaftsformation zur anderen mit charakteristischen Übergangserscheinungen, mit einem Jahrhunderte währenden Nebeneinander und Gegeneinander alter und neuer Ausbeutungsformen. Mit herrschenden Feudalverhältnissen schwand der Bedarf an Sklaven; die Sklaverei verlor ihre Existenzberechtigung. Dadurch, daß in den letzten Jahrhunderten des Reiches kaum siegreiche Kriege geführt wurden und der Sklavenhandel immer mehr in die Hände der mächtigeren und aktiveren italienischen Handelsrepubliken Genua und Venedig überging, wurde diese Entwicklung nur noch gefördert. Immerhin blieb, begünstigt durch jahrhundertelange Tradition und stabilisiert durch den konservierenden Einfluß der Sklavengesetzgebung, bis zum Ende des Byzantinischen Reiches in den Haushalten der Begüterten die Verwendung von Sklavenarbeit bestehen, die allerdings für die byzantinische Gesamtwirtschaft ohne Belang war.

Berlin.

II. TEIL

L. KÁKOSY

ZUR VORGESCHICHTE DER ERRICHTUNG DES THEBANISCHEN GOTTESSTAATES

Staatliches und religiöses Leben in Ägypten hatten noch lange unter der Wirkung der Krise nach Ehnatons Tod zu leiden. Tutenhamun und Ay richteten ihre Politik auf Kompromisse ein. Mit Ramses I. kam eine neue Dynastie zur Macht, die gesetzmässige Ordnung der Thronfolge wurde hergestellt. Die neue Dynastie folgte in religiösen Fragen der Richtung Horemhebs, wofür die Wiederherstellung der unter Ehnaton beschädigten, den Namen des Amun tragenden Inschriften zur Zeit des Sethos I. ein augenfälliges Zeugnis abgelegt hat. Der Sieg der Amunspriester war aber selbst nach der endgültigen Abrechnung mit der Amarnarichtung nicht vollkommen zu nennen. Sowohl Horemheb wie auch seine Nachfolger erkannten wohl die Gefahr, die das thebanische Priestertum für die Macht des Königs bedeutete, und trotz ihrer scheinbaren Anerkennung der Allmacht des Amun läßt sich bei ihnen das Bestreben deutlich beobachten, neben Amun auch den Kult des Ptaḥ und des Rē' Harahti immer mehr in den Vordergrund zu stellen.¹ Eine lange Zeit hindurch nur verborgener, später aber immer offenkundigerer Gegensatz zwischen Theben und den im Norden herrschenden Königen nahm hier seinen Anfang. In dem sich immer mehr verschärfenden Kampf gegen das thebanische Priestertum bedienten sich die Könige der verschiedensten Mittel. Unter den wichtigen Faktoren dieses ideologischen Kampfes hat die Geschichtschreibung bisher jener besonderen Form des Herrscherkultes verhältnismässig wenig Beachtung geschenkt, die vor allem zur Zeit Ramses II. zu beobachten ist.

Die Herrschaft dieses Pharaos schob den Sieg der Amunspriester auf lange Zeit hinaus, und seine Tätigkeit hat die allgemeinen Richtlinien des unter seinen Nachfolgern fortgesetzten Kampfes angegeben. Ein Überblick der Regierung des Ramses II. zeigt, daß der Pharao, nach den ersten Jahren unbedingter Unterwerfung gegenüber Amun in immer höherem Maße seine eigene Göttlichkeit betonte. Bei der Ernennung des Nebwenenef zum Hohenpriester von Theben in dem ersten Jahr seiner Regierung hat der König jenem Wunsch

¹ J. V. BECKERATH: Tanis und Theben. Glückstadt 1951 64. Obwohl das Verhalten Horemhebs gegenüber die Amarnarichtung wahrscheinlich nicht so eindeutig feindselig war, wie früher dargestellt wurde (s. darüber R. HARI: Horemheb et la reine Moutnedjemet. Genève 1964), ist der Bruch mit der Politik seiner Vorgänger klar.

der Priester Rechnung getragen, den, nach dem Brauch jener Zeit, die Statue des Gottes in der Form eines Orakels kundgab.² Der Text, der darüber berichtet, stammt aus dem Grab des Hohenpriesters und bezeugt, daß er Wert darauf legte, seine Erwählung durch den Gott zu betonen. Noch wichtiger ist eine dichterische Bearbeitung der Schlacht von Kadesch,³ in der es heißt, der in Lebensgefahr geratene König habe, von seinen Soldaten verlassen, die letzte Hoffnung auf Amun gesetzt und zu ihm gebetet. Der Gott eilte ihm zu Hilfe und mit seiner Kraft wurde Ramses Herr über die Hethiten.⁴ Es ist kaum ein Irrtum, wenn wir annehmen, daß dieses Gedicht, das in mehreren Punkten von dem «offiziellen» Bericht über die Schlacht abweicht, dem auch die Amun-Episode fehlt, — in Theben entstanden ist, und die Ansichten der Priester des Amun über die Schlacht widerspiegelt. Natürlich hätte es ohne die Zustimmung des Königs nicht zur Verbreitung des Gedichtes kommen können.

Die dichterische Bearbeitung der Schlacht bei Kadesch ist in derselben barocken, hie und da ans Schwülstige grenzenden Sprache abgefaßt, die für die Inschriften der XIX. und XX. Dynastie so charakteristisch ist und damals sehr geeignet zum Ausdruck des neuen, viel innigeren Verhältnisses zwischen Gott und König schien. Besonders wichtig zu unseren diesbezüglichen Untersuchungen ist die Inschrift von Abydos, die Ramses II. auf den Tempel seines Vaters Sethos I. am Anfang seiner Regierung anbringen ließ, nachdem er die Vollendung des Baues befohlen hatte. Die auch literaturgeschichtlich interessante, in eigenartigem Stil gehaltene Inschrift bietet auch für die damals übliche Vergöttlichung des Königs interessante Aufschlüsse. Auf den ersten Anblick glaubt man es auch hier mit der entwickelten Form der Vergöttlichung des Ramses zu tun zu haben, da die Mitglieder des königlichen Rates den Herrscher als Herrn des Himmels und der Erde und Re^c anreden.⁵ In der Sprache der Hofleute ist er Atum, Herr des Schicksals, Hnum Schöpfer der Menschen, usw.⁶ Aus dem zweiten Teil der Inschrift wird jedoch klar, daß all dies noch keine im theologischen Sinn gemeinte Vergöttung des Königs ist. Es handelt sich lediglich darum, dass der Lobgesang der Hofleute das segensreiche Wirken und die Verdienste des Königs mit denjenigen der Götter vergleicht. Am Schluß des Textes bittet nämlich der früher als Re^c angesprochene König seinen bereits in der Sonnenbarke fahrenden Vater, dieser möge sich für ihn beim Sonnengott verwenden, ihm ein langes Leben erfliehen.⁷ Der verstorbene Sethos I. dagegen wird uns in

² R. A. PARKER: A Saitic Oracle Papyrus from Thebes. Providence, Rhode Island 1962 36 (Das von J. ČERNÝ befasste Kapitel). K. SETHE: ZÄS XLIV (1907—8) 30 ff. Porter-Moss I². 267.

³ CH. KUENTZ: La bataille de Qadech. Le Caire 1928—34. 243 ff.

⁴ Ebenda 328 ff.

⁵ H. GAUTHIER: La grande inscription dédicatoire d'Abydos. (Bibliothèque d'Étude IV) Le Caire 1912 (Zeile 6) Zur Inschrift siehe noch G. Roeder: Kulte und Orakel. (Die ägyptische Religion in Text und Bild III). Zürich 1960 37 ff.

⁶ GAUTHIER a. a. O. Zeile 37.

⁷ Ebenda Zeilen 93—94.

dem Text als wirklicher Gott dargestellt. Er befindet sich in Gesellschaft der Sterne und des Mondes, unter den Begleitern des Sonnengottes. Ihm ist in der Unterwelt ein vornehmer Platz zuteil, er selbst ist zum Gott geworden.⁸

Im Text der sog. Kuban-Stele,⁹ aus dem dritten Regierungsjahr des Königs handelt es sich um die Errichtung eines Brunnens auf dem Wege zu den Goldminen des Wadi el Alaki. Hier wird Ramses II. schon entschieden über seinen Vater erhoben. Nach einem schwülstigen, dem obenerwähnten ähnlichen Lobgesang wollen die Hofleute den König von seinem Plan der Errichtung des Brunnens abbringen, indem sie sich auf einen anderen missglückten Versuch aus der Zeit seines Vaters berufen. Das Ende der Stele fehlt, doch kann aus dem Ton des Textes mit Gewißheit festgestellt werden, daß unter Ramses II. dort Wasser gefunden wurde.

Auf ein inniges Verhältnis zwischen dem König und den Göttern deutet die Heiratstele. Hier heißt es, daß die Götter im Winter günstiges Wetter geben, um den Weg der hethitischen Prinzessin zum ägyptischen König, ihrem Gemahl, zu erleichtern.¹⁰

Die Inschriften Ramses II. heben also mit besonderem Nachdruck den engen Kontakt des Pharaos mit den Göttern hervor. Der König steht diesen so nahe, daß er endlich sowohl von der offiziellen wie auch der Volksreligion seiner Zeit unter sie aufgenommen wird. Hier können wir nur auf einige hervorragende Denkmäler seines Kultes verweisen. Im Allerheiligsten des Tempels von Abu Simbel erscheint Ramses II. in Gesellschaft der anderen Götter. Die Reliefs zeigen ihn zwischen Amun und Mut.¹¹ Zu den Verehrern des neuen Gottes Ramses gehört der Pharao Ramses selbst. Über dem Eingang des Tempels identifiziert sich der König mit Re.¹² Neben der Gestalt des Gottes befinden sich nämlich die Hieroglyphen *wšr* und *M3^c.t*, also ergibt die Gruppe den Namen *Wšr M3^c.t R^c* (Abb. 1). Die Vergöttlichung des Königs ist aber nicht nur in Nubien nachweisbar (Es Sebua, Derr, Gerf Hussein, Abu Simbel, Aksche)

⁸ Op. cit. 24 (Zeile 111 ff.) Für die Vergöttlichung des Königs in Ägypten zusammenfassend G. POSENER: *De la divinité du Pharaon*. (Cahiers de la Société Asiatique XV.) Paris 1960. Für das Alte Reich: H. GOEDICKE: *Die Stellung des Königs im Alten Reich*. Wiesbaden 1960. S. MORENZ: *Die Heraufkunft des transzendenten Gottes in Ägypten*. (SSAW Phil.-hist. Kl. Bd. 109. H. 2) 1964. Vgl. noch B. BRUYÈRE: *Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1935–1940)* FIFAO XX. fasc. III. Le Caire 1952 65 ff. Der Aufschwung der Königsverehrung ist seit Sethos I. zu beobachten. In einer seiner Inschriften spricht der König zu seinen Ahnen: «Ihr seid Götter. Ein Herr wird zu der Neunheit gerechnet». S. SCHOTT: *Kanais*. (Nachr. der Akad. der Wiss. in Göttingen. Phil.-hist. Kl. 1961 Nr. 6) 148. Vgl. Taf. 19 Text C. Zeile 2. Auch die Vergottung des Ramses I. zur Zeit Sethos' I. läßt sich nachweisen. SCHOTT: *Der Denkstein Sethos' I. für die Kapelle Ramses' I.* (Ebenda Jahrg. 1964 Nr. 1).

⁹ P. TRESSON: *La stèle de Kouban*. (Bibliothèque d'Étude IX.) Le Caire 1922.

¹⁰ CH. KUENTZ: *ASAE* 25 (1925) 216. Zeile 38.

¹¹ PORTER-MOSS VII. 104. L. KÁKOSY: *Ann. Univ. Bud. de Rolando Eötvös Nominatae Sectio Hist. VII.* (1966) Abb. 1.

¹² Ebenda 101. Auf den Kult des Ramses II. in Nubien siehe T. Säve-Söderbergh: *Ägypten und Nubien*. Lund 1941 205; Vgl. die Schreibweise des Namens *Wšr M3^c.t R^c*: J. ČERNÝ—S. DONADONI—E. EDEL: *Abou Simbel. Extérieur*. Le Caire (Centre de Documentation) 1960 C 20 1–2 usw.

sondern auch auf ägyptischem Boden. Hier dienen auch Stelen¹³ zur Verkündigung der Göttlichkeit des Königs, der auf ihnen als Gott, der die Bitten erhört, dargestellt wird. Der Kult gewisser Statuen wurde bestimmt von Seiten des Staates unterhalten. Ein Papyrus spricht nämlich von der Getreideversorgung einer Statue des Königs,¹⁴ was wohl zur Sicherung der Opfer notwendig war.

Der Kult des Königs nahm bald einen kosmischen Charakter an. Er wurde nicht nur der Sonne, sondern auch dem Mond¹⁵ gleichgesetzt.

Diese wenigen, aus einer Unzahl herausgegriffenen Beispiele sollten zum Beweis dafür dienen, daß der Kult der ersten Herrscher der XIX. Dynastie sich seinem Wesen nach von der Königsverehrung früherer und späterer Perioden unterscheidet.

Der unter Ramses II. blühende Kult des Königs hängt offenbar mit dem *Wiederaufleben des Interesses für die Denkmäler früherer Herrscher* und der Pflege ihres Kultes zusammen. Die frühere Forschung hat die innigen Verbindungen dieser Faktoren wenig beachtet. Es genügt, hier nur auf die Tätigkeit des *Haemuaset*, Sohnes des Königs, Hohenpriesters von Memphis zu verweisen, der zahlreiche Bauten der um Memphis gelegenen Friedhöfe wiederherstellen ließ.¹⁶ Gleichzeitig dienten natürlich viele alte Bauten als Steinbrüche zu den neuen Gebäuden. Die Königslisten in Abydos aus der Zeit des Sethos I. und Ramses II., die Königsliste von Sakkara und der aus derselben Zeit entstammende Papyrus von Turin¹⁷ deuten auf das eingehende Studium vergangener Zeiten hin. In Abydos bringt Sethos I. vor den Kartuschen der alten Könige Weihrauch dar und rezitiert Ramses als Kronprinz Hymnen. Aus der Zeit Ramses' II. bestätigen mehrere Belege das Vorhandensein des bereits früher existierenden Brauches, in den thebanischen Privatgräbern auch die Gestalten der alten Könige darzustellen.¹⁸ Von diesem, offenbar seitens des

¹³ G. ROEDER: ZÄS 61 (1926) 57 ff. LABIB HABACHI: ASAE 52 (1954) 514 ff. erwies die Abstammung der sog. Horbeit Stelen aus Qantir. Vgl. noch A. Scharff: ZÄS 70 (1934) 47 ff., J. J. Clère: Kômi XI. (1950) 24 ff. Zum Kult des Königs s. noch E. Otto: Die Religion der alten Ägypter. (Hb. der Orientalistik) Leiden 1964. 27 f. Über die Abstammung des Ramses II. von Ptah bzw. vom Widder von Mendes siehe POSENER 35, J. H. BREASTED: Ancient Records III; § 400, J. ČERNÝ—E. EDEL: Abou Simbel. Décret de Ptah. (Le Caire, Centre de Documentation) F 62,2—3. Dieselbe Geschichte wurde auch über Ramses III. erzählt: Medinet Habu II. (OIP IX) Taf. 105.

¹⁴ A. H. GARDINER: Ramesside Administrative Documents. Oxford 1948 59.

¹⁵ KUENTZ: ASAE 25 (1925) 199 f. und 228 f.

¹⁶ Siehe z. B. E. DRIOTON—PH. LAUER: ASAE 37 (1937) 201 ff.; G. JÉQUIER: Le Mastabat Faraoun. Le Caire 1928 13; H. KEES: Das Priestertum im ägyptischen Staat. Leiden 1953 93 f. usw. Der König machte seinen anderen Sohn Meriatum zum Oberpriester von Heliopolis. KEES: ebenda 114.

¹⁷ Zu den Königslisten vgl. E. DRIOTON—J. VANDIER: L'Égypte.⁴ Paris 1962 159; A. H. GARDINER: The Royal Canon of Turin. Oxford 1959; W. HELCK: Untersuchungen zu Manetho und den ägyptischen Königslisten. (Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens Bd. XVIII) Berlin 1956.

¹⁸ Siehe z. B. PORTER-MOSS I.² (part I.) 7, 8, 9 (Grab Nr. 2), 15 (Nr. 7), 21 (Nr. 10), 48 (Nr. 31). Für frühere Zeiten z. B. 150 (Nr. 76) (Zeit Thutmosis' IV.). Von besonderem Interesse ist eine Stele aus Deir el Medine, auf der die Vorgänger Ramses' II. in dieser Reihenfolge auftreten: Ramses I (?), Horemheb, Sethos I. BRUYÈRE: Rapport sur les fouilles de Deir el Medineh (1935—1940) FIFAO XX. fasc. II. Le Caire 1952 68 und Taf.

Staates unterhaltenen Herrscherkult muss natürlich der Kult des Königs Amenophis I. und seiner Mutter der Königin Ahmes Nefertari,¹⁹ dieser «Schutzpatrone» der Arbeiter von Deir-el-Medine sorgfältig geschieden werden.

Ramses II. hat also, obwohl er das gute Einvernehmen mit den Amunspriestern bis zuletzt bewahrt zu haben scheint, einerseits durch das Hervorheben der Rolle der Götter von Memphis, Heliopolis und Tanis, besonders aber durch die *viel stärkere Betonung des Königskultes*, als es bis dahin üblich war, eigentlich einen scharfen Kampf gegen die Repräsentanten der Amun-Theokratie geführt. Unseres Erachtens muß dieser letztere Faktor als entscheidend betrachtet werden. Erst in diesem historischen Zusammenhang wird die besondere, Vergöttlichung von Ramses II. verständlich.

Es war eine Folge der Politik von Ramses II., daß unter seinen Nachfolgern bis in die Zeit Ramses XI. die Vergöttlichung des Königs das zentrale Problem des Kampfes der weltlichen und der priesterlichen Macht geblieben ist. Die wenig energischen Nachfolger des Ramses II. haben in großem Maße zur Erniedrigung der königlichen Autorität beigetragen, doch scheint unter Ramses III. ein schwacher Versuch unternommen worden zu sein, dem Gottkönigtum in weiteren Kreisen Anerkennung zu verschaffen. Unter Ramses III. kann man die beiden, sich bereits unter Ramses II. geltend machenden Richtungen beobachten. Der König bemühte sich um die Wiederbelebung des Kultes alter Herrscher, besonders aber des Ramses II. Eine der kleinen Seitenkammern des Temples von Medinet-Habu diente ausschliesslich dem Kulte des Ramses II. Hier wird auf der einen Darstellung Ramses III. vor der heiligen Barke des Ramses II. Weihrauch und Opfer darbringend abgebildet. Ein anderes Bild zeigt denselben Herrscher der thebanischen Triade huldigend, hinter der die Gestalt des Gott gewordenen Ramses II. erscheint.²⁰ (Abb. 2). Dabei ist nicht zu vergessen, daß Ramses III. auch um die Verbreitung seines eigenen Kultes²¹ besorgt war, was aber bei weitem nicht in dem Ausmaß geschah, wie unter Ramses II. Die riesigen Stiftungen zugunsten Amuns in den Listen des Papyrus Harris lassen zwar bereits die vollkommene Kapitulation der

XII. Unseres Erachtens käme jedoch für die beschädigte Kartusche auch eine Lesung Nb M3^c.t R^c (Amenhotep III.) in Betracht. Das wäre historisch leichter erklärbar als Ramses I. Eine Darstellung aus dem Ramesseum bezeugt, daß anlässlich des Min-Festes die Statuen der alten Könige auch unter Ramses II. in Prozession umhergetragen wurden. LI). III. 163. Vgl. H. RANKE: CdtÉ 11 (1931) 277 ff. Vgl. auch Medinet Habu IV. (OIP LI.) 203, 205, 207, 213, 214

¹⁹ ČERNÝ: BIFAÖ 27 (1917) 159 ff.; E. OTTO: Die Topographie des thebanischen Gaues. Berlin 1952 (Untersuchungen . . . XVI) 57 ff.

²⁰ Medinet Habu V. (OIP LXXXIII) Chicago 1957 Taf. 335, 337. Der Kult des Ramses II. ist auch in Abu Simbel unter der XX. Dynastie nachweisbar. PARKER a. a. O. 43. Er wurde auch unter Ramses IV. als Ideal betrachtet. A. MARIETTE: Abydos II. Paris 1880 35 21 ff. Zeilen. In einer Version von Kap. 157 des Totenbuches heißt es, dass der Text am Halse des Königs Wsr M3^c.t R^c, also gewiß Ramses II. gefunden wurde. W. PLEYTE: Les chapitres supplémentaires . . . Leiden 1881 II. 52.

²¹ Zum Kult in Memphis des Königs Ramses III. siehe A. R. SCHULMANN: JNES 22 (1963) 177 ff. Der Gedanke der göttlichen Abstammung taucht auch in Zusammenhang mit ihm auf. Siehe Anm. 13 Ende.

Staatsmacht voraussehen, der ideologische Kampf selbst aber ist noch nicht ausgefochten. Einen interessanten Beweis hierfür bieten, unseres Erachtens, die Prinzengräber im Tal der Königinnen, in die die Söhne des Ramses III. (Pa Reherwenemef, Sethherhopšef, Haemuašet, Ramses, Amenherhopšef) begraben wurden.²² *Hier führt der König als »Psychopompos« seine Söhne ins Jenseits ein und stellt sie den Göttern vor.* Diese Szenen deuten einerseits an, daß die jungverstorbenen Prinzen des Schutzes bedürftig sind, heben aber andererseits auch den Einfluß hervor, den der König dort drüben im Jenseits hat.

Nach dem Tode Ramses' III. drängen die Amunspriester immer kühner auf Erreichung ihres Zieles. Unter Ramses IX. liess sich der thebanische Hohepriester Amenhotep auf einem Relief zu Karnak bereits in gleicher Höhe mit dem König abbilden,²³ was nach ägyptischen Begriffen mit der Missachtung der Oberhoheit des Königs gleichbedeutend war. Ramses XI. unternahm noch einen letzten verzweifelten Versuch mit Theben abzurechnen,²⁴ das bereits ein «Staat im Staate» war, doch der Versuch mißlang, und der neue Hohepriester, Herihor, brachte es zu noch größeren Ehren als seine Vorgänger. Auf den Inschriften des Honš-Tempels trägt er den Titel eines Königs. Die Einführung der Periode der «Wiedergeburt» stand auch mit diesen Ereignissen in Zusammenhang. Die neueren Untersuchungen (Gardiner) haben überzeugend nachgewiesen, daß der Wenamunpapyrus ebenfalls in diese Zeit zu datieren ist,²⁵ als im Süden schon Herihor, im Norden der mit ihm wahrscheinlich in gutem Einvernehmen stehende Nešsubanebdedi die Herrschaft ausüben. Offiziell noch immer König, hat Ramses alle Macht verloren. Die Lehre von der Göttlichkeit des Königs erschien selbst unter diesen Umständen den Priestern noch gefährlich, darum wollten sie jetzt damit aufräumen. Das ist der klarste Beweis dafür, daß, obgleich die moderne Forschung²⁶ sich der Rolle des Gottkönigtums gegenüber viel skeptischer und zurückhaltender zeigt, als die frühere, die Zeit der XIX. und XX. Dynastie, besonders aber Ramses II. einen besonderen Platz in der Geschichte des Königskultes einnimmt.

In der Geschichte des Wenamun wird der damalige König gar nicht erwähnt, nur an einer einzigen Stelle steht eine auf ihn bezügliche ironische Bemerkung.²⁷ Herihor und Nešsubanebdedi werden als die Herrscher im Lande bezeichnet. Der Text unterstreicht, daß die segenbringende Statue des Amun

²² Die Gräber befanden bisher nur geringe Beachtung. PORTER-MOSS I.² (part II.) 752 f. (Grab Nr. 42), 753 f. (Nr. 43), 754 f. (Nr. V44), 759 (Nr. 53, 54) Für die Gräber des Haemuašet und des Amenherhopšef s. noch C. CAMPBELL: *Two Theban Princes* . . . London 1910.

²³ GARDINER: *Egypt of the Pharaohs*. Oxford 1961, 299.

²⁴ Panehesi spielt eine problematische Rolle, doch scheint unseres Erachtens jene Meinung am stichhaltigsten, laut der er zur Unterstützung des Königs von Nubien nach Ober- und Unterägypten eingerückt ist.

²⁵ GARDINER op. cit. 306.

²⁶ POSENER op. cit. bes. 102. Für das Alte Reich II. Goedicke: a. a. O.

²⁷ Wenamun 2,46 GARDINER: *Late Egyptian Stories* (Bibl. Aegyptica I.) Bruxelles 1932 71.

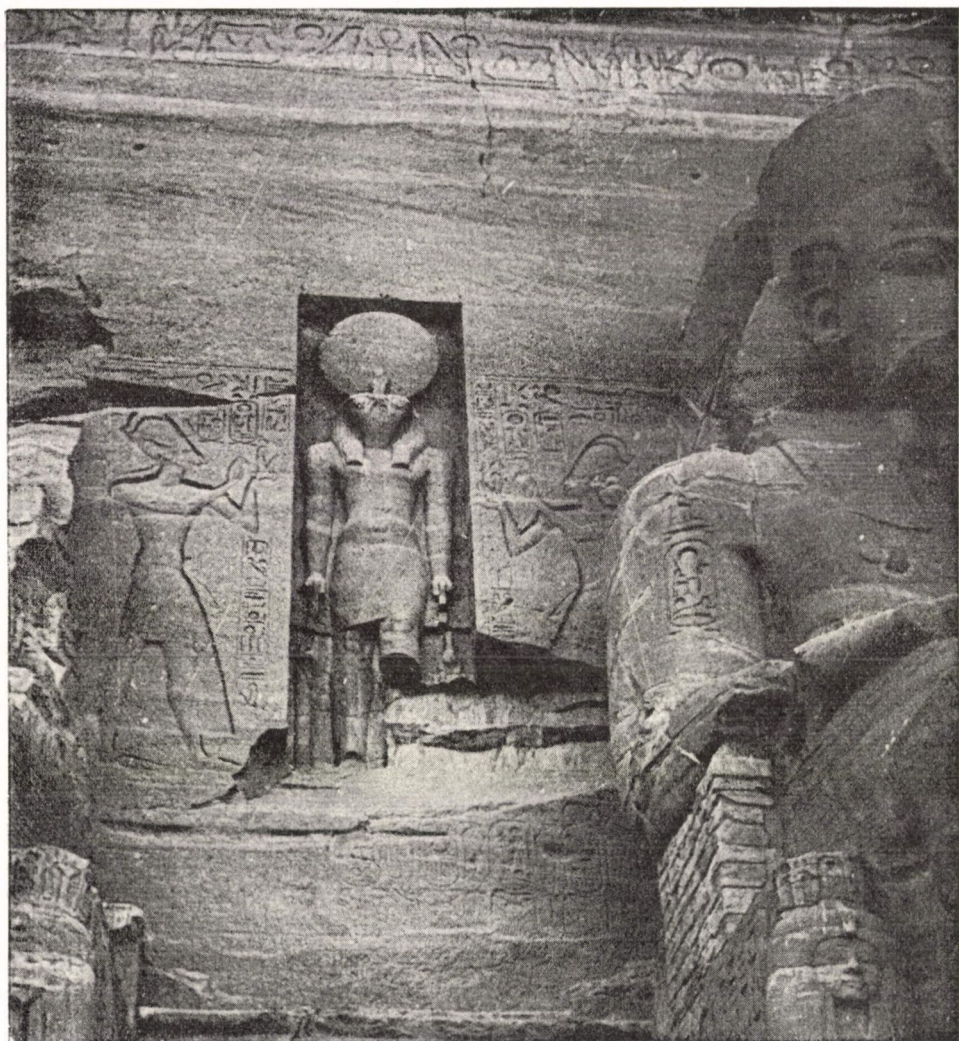


Abb. 1

mehr wert ist, als alle Schätze der alten Könige. Von Ramses IX. sagt Wenamun gerade heraus, daß er auch nur ein Mensch war und nur menschliche Boten aussenden konnte.²⁸ Amun, der neue Herr des Landes aber hat einen göttlichen Boten, den «Amun des Weges» nach Byblos gesandt.

So endete der dramatische Kampf zwischen Amun und dem Königtum. Nach Ramses XI. stellt niemand mehr die Allmacht des Amun in Frage, die sich natürlich hauptsächlich im Süden Geltung verschaffen konnte, offiziell aber auch von den neuen Königen in Tanis anerkannt wurde. Es hat keine besondere Bedeutung, wenn bald Herihor, bald einige seiner Nachfolger sich den Königstitel beilegen. Man kann beobachten, daß in Theben selbst in der

²⁸ Wenamun 2, 53—4 GARDINER 72.

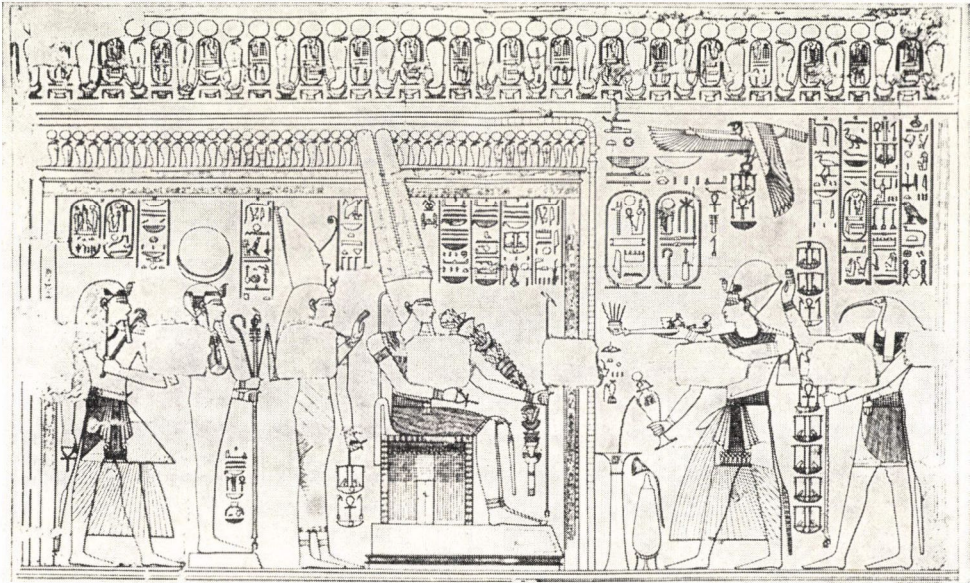


Abb. 2

königlichen Titulatur der Titel «Hohepriester Amuns» den Vorrang hat. Es scheint sogar, als weigerten sich manchmal die Herrscher in Tanis (Psusennes I.) alle traditionellen Königstitel zu tragen.²⁹ Das alles deutet auf eine radikale Umwandlung des Begriffs vom Königtum. Die Amunspriester halten das weltliche Königtum für überflüssig, ist doch Amun der höchste Herr im Lande, das er nicht aus unerreichbaren Fernen, sondern in Gestalt seiner Statue von seinem Tempel in Karnak aus regiert. Amuns Wort ist in allen politischen Fragen entscheidend. Die alle Gebiete des Lebens umfassenden Dekrete werden in seinem Namen erlassen.³⁰ Die Funktionen der übrigen Götter werden auf ihn übertragen. Er ist der Schöpfer, er die Sonne, der Herr des Himmels und der Erde, er übernimmt sogar die Macht im Jenseits, im Lande des Osiris. Amuns Dekrete regeln das Leben der Toten in der Unterwelt,³¹ sogar die Uschebtis arbeiten auf sein Geheiß für den Toten.³² So erreichten die Priester des Amun nach jahrhundertlangem, beispiellos zähem Ringen ihr Ziel. Doch wurden sie nicht Herren über das ägyptische Weltreich, sondern es gelang ihnen nur, sich die Macht über einen Teil des immer mehr zerfallenden Staates zu sichern.

Budapest

²⁹ H. KEES: Die Hohenpriester des Amon von Karnak von Herihor bis zum Ende der Äthiopienzeit. Leiden 1964 13, 24. Auf die XXI. Dyn. siehe neulich: J. ČERNÝ in Cambridge Ancient History vol. II. rev. ed. Cambridge 1965 (Fasc. 27.)

³⁰ Zusammenfassend s. PARKER op. cit. und H. BONNET: Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. Berlin 1952.

³¹ S. die Dekrete für Pinodem II. und Neši Honsu. G. ROEDER: Der Ausklang der ägyptischen Religion mit Reformation, Zauberei und Jenseitsglauben. Die ägyptische Religion in Text und Bild IV. Zürich 1961 288 ff.

³² ČERNÝ: BIFAO XLI. 105 ff.

DER HEILIGE IBISVOGEL DER ÄGYPTER IN DER ANTIKE

Der Ibis galt in der Antike weithin als der heilige Vogel der ägyptischen Religion, teils wurde er auch als unreiner, als Schmutzvogel bezeichnet. Diese beiden Darstellungen laufen Jahrhunderte hindurch in der literarischen Tradition der Antike parallel, ohne daß der Widerspruch konstatiert worden wäre oder sich jemand um einen Ausgleich oder eine Erklärung bemüht hätte.¹ Ich möchte darzulegen versuchen, wie die Interpretation des Ibis als unreinen, als Schmutzvogels entstand und welche Komponenten dafür wesentlich wurden.² Die Griechen machten schon frühzeitig mit dem Ibis literarisch Bekanntheit. Daß bereits Hekataios von Milet bei seiner Beschreibung Ägyptens unter anderen heiligen Tieren auch diesen spezifisch ägyptischen Vogel beschrieben hat, kann man vermuten. Für uns zuerst faßbar ist die Darstellung Herodots, der das Tier auf seiner Ägyptenreise, die ihn bis nach Elephantine führte,³ auf alle Fälle gesehen hat. Herodot beschreibt ihn wie folgt: er sei am Kopf und am ganzen Hals kahl, sein Gefieder sei weiß, ausgenommen der Nacken, die Flügel- und Schwanzspitze; diese Teile seien alle ganz schwarz. Er habe Schenkel wie ein Storch, der Schnabel sei stark gebogen. Seine Größe sei die des Vogels Krex (II 76). Als wesentlich erscheint Herodot, daß dieser Vogel die aus Arabien nach Ägypten einfallenden geflügelten Schlangen töte.⁴ Das sei der Grund dafür, daß der Ibis als heiliger Vogel gelte (II 75). Herodot weiß zu

¹ In Ovids Metamorphosen ist der Ibis der vogelgestaltige Gott Hermes (5,331), als den Schmutzvogel faßt ihn der Dichter in dem gleichnamigen Schmähgedicht auf.

² Zum Ibis allgemein vgl. ROEDER: RE 9, 1914, 808—815 s. v. und TH. HOFFNER: Der Tierkult der alten Ägypter nach den griechisch-römischen Berichten und den wichtigeren Denkmälern. Wien 1914.

³ II 29; J. VOGT: Herodot in Ägypten, in: Herodot, eine Auswahl aus der neueren Forschung, hrsg. W. MARG: München 1962, 412. Herodot hielt sich besonders in Unterägypten, d. h. im Nildelta auf, wo der Ibis als Sumpfvogel häufig vorkam. Herodots Aufenthalt fiel in die Zeit der Überschwemmung, in der Sumpfvögel besonders günstige Bedingungen vorfanden. Vgl. W. SPIEGELBERG: Die Glaubwürdigkeit von Herodots Bericht über Ägypten im Lichte der ägyptischen Denkmäler. Heidelberg 1926, 13.

⁴ Das sagt Herodot fälschlich II 76 vom schwarzen Ibis, den er auch kennt. Mit der schwarzen Art ist wohl der Sichler, *Plegadis falcinellus*, gemeint (Brehms Tierleben, Die Vögel. Leipzig—Wien 1911. 190; O. KELLER: Die antike Tierwelt. Bd. 2, Leipzig 1913, 200; D'ARCY WENTWORTH THOMPSON: A Glossary of Greek Birds. Oxford—London 1936². 108).

Zur Frage nach den »geflügelten Schlangen« (Heuschrecken?) vgl. A. WIEDEMANN: Herodots zweites Buch. Leipzig 1890. 319. Daß der Ibis Schlangen, wenn auch nur

berichten, daß jeder, der selbst unabsichtlich einen Ibis oder Habicht töte, dem Tode verfallen sei (II 65). Die gestorbenen Ibisvögel brächte man nach Hermopolis (II 67).⁵ Das zahme Wesen des Tieres, welches den Menschen vor den Füßen herumläuft, scheint dem wissensdurstigen Griechen besonders aufgefallen zu sein (II 76). Sehr früh scheinen aus dem Wunderland am Nil jedoch auch abenteuerliche, fabulöse Nachrichten nach Griechenland gelangt zu sein. Anaxagoras und andere frühe Philosophen, physikoi, behaupteten, Rabe und Ibis begatteten sich mit dem Schnabel.⁶ So dürfen wir vermuten, daß die Griechen von dem fremden Vogel eine wenn auch nicht immer sachlich richtige, so doch deutlich umschriebene Vorstellung hatten. Wesentlich förderte dies der Umstand, daß der Ibis der heilige Vogel des Gottes Thot⁷ war, aber auch zur Göttin Isis gehörte. Platon kennt diesen Schreiber- und Gelehrtegott und den zu diesem gehörenden Ibis (Phaidr. 274c), schon vorher, zur Zeit des Peloponnesischen Krieges im Jahre 414,⁸ durfte Aristophanes in den «Vögeln» auf Verständnis bei seinen Zuschauern rechnen, wenn er Männern Vogelnamen beilegte und dabei einem Lykurgos den Namen Ibis (v. 1296) gab. Die bei den übrigen Personen gewählten Vogelnamen zielen wohl meist auf eine körperliche Besonderheit des Namenträgers,⁹ so könnte man auch in unserm Falle etwa an eine gravitatische Gangart¹⁰ oder eine eigenwillige Nasenform denken, eher wahrscheinlich jedoch spielt der Dichter auf Lykurgos als den Förderer des Isiskultes an. Dieser hatte die Errichtung eines Isisheiligtums für die in Athen ansässigen ägyptischen Kaufleute gefördert¹¹ und sich dadurch den Spott auch der anderen Komiker zugezogen.¹² Auch Timokles, ein Dichter der Mittleren Komödie, spielte auf die für Nicht-Ägypter befremdliche Tierverehrung mit der Nennung von Ibis, Hund und Katze an;¹³ den Anlaß dazu gab vielleicht die Errichtung eines Tempels für Isis in Athen,¹⁴ der Göttin,

kleine, frißt, vermuten WIEDEMANN a. a. O. 319, Brehms Tierleben a. a. O. 193 (nimmt es mit größeren, gefährlichen nicht auf), F. S. BODENHEIMER: Animal and Man in Bible Lands, Leiden 1960, 61; ablehnend THOMPSON a. a. O. 106 und C. H. SUNDEVALL: Die Tierarten des Aristoteles. Stockholm 1863. 149.

⁵ Ibismumien und Ibisfriedhöfe bestätigen die Aussage (KELLER: a. a. O. 199 mit Abb. einer Ibismumie; THOMPSON a. a. O. 110 f.; GAILLARD et DARESSEY: La faune momifiée. Le Caire 1905. 59 f., 148 (Gefäße mit Ibismumien), Abbildungen Pl. XXX 29 561, Pl. XLV f.

⁶ H. DIELS: Die Fragmente der Vorsokratiker. 2. Bd. Berlin 1954⁷ (hrsg. W. KRANZ).

⁷ H. BONNET: Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin 1952, 320 f.; L. KÁKOSY: Problems of the Thoth-Cult in Roman Egypt, Acta Arch. 15 (1963) 123 ff.

⁸ A. LESKY: Geschichte der griechischen Literatur. Bern—München 1963². 478.

⁹ Th. KÖCK: Ausgewählte Komödien des Aristophanes. Die Vögel. Berlin 1927⁴ (bearb. O. SCHROEDER) zu vss. 1292 ff.

¹⁰ Das würdevolle, gemessene Schreiten des Vogels wird in vielen Quellen betont: Brehms Tierleben a. a. O. 189; Aelian II 38.

¹¹ U. KÖHLER: Attische Psephismen. Hermes 5 (1871) 351 f.; OBST: RE 13, 1927, 2466 s. v. Lykurgos Nr. 14.

¹² Pherekrates frg. 11 (EDMONDS), Kratinos frg. 30 (EDMONDS).

¹³ J. M. EDMONDS: The Fragments of Attic Comedy. II. Leiden 1959. S. 603 (erhalten bei Athenaios VII 300 A).

¹⁴ EDMONDS zur Stelle.

deren Kult sich im Mittelmeerraum stark ausbreitete. Das vierte und dritte Jahrhundert sahen im Ibis aber nicht nur den heiligen Vogel, sondern um ihn rankten sich wie um viele andere Tiere Wundergeschichten, die die Beobachtungen der exakten Forschung überwucherten. Aristoteles, der die beiden Ibisarten kennt,¹⁵ greift die mystischen Naturgeschichten in seiner Schrift *Περὶ ζῴων γενεσέως*¹⁶ an, setzt sich mit der bereits erwähnten Behauptung des Anaxagoras und anderer auseinander, der Ibis begatte sich mit dem Schnabel, und versucht eine sinnvolle Erklärung durch Vergleich mit dem Schnäbeln der Tauben. Trotz spärlicher Überlieferung dürfen wir annehmen, daß die Herodotberichte im Hellenismus weiter ergänzt¹⁷ und der heilige Ibisvogel durch allerlei Wundergeschichten mehr im Reich des Fabulösen als im Reich der Wirklichkeit angesiedelt wurde. Wie weit dabei aus praktischen Gründen die ägyptischen Priester die Hand im Spiel hatten — der Ibis war ein Ungeziefervertilger¹⁸ —, bleibt eine offene Frage. Die Überlieferung weiß jedoch an keiner Stelle vom Ibis als einem Schmutzvogel.

In den ersten Jahrzehnten des dritten vorchristlichen Jahrhunderts setzt sich eine wesentlich andere Auffassung vom Ibis durch. Er wird zum kultisch unreinen Tier und zum Schmutzvogel. Die Angriffe kommen von zwei Seiten, von den Juden und vom Griechen Kallimachos; der Ort dieser Angriffe ist die Metropole Alexandria. In dieser Weltstadt, dem Hauptsitz des hellenistischen Judentums, stießen verschiedene Völker mit ihren Religionen aufeinander. Zwei der fünf Quartiere Alexandrias waren jüdisch, Philon von Alexandria gibt die Zahl der in Ägypten wohnenden Juden mit einer Million an.¹⁹ Für diese große Zahl Juden mußte die Tierverehrung, auch die des Ibisvogels, ein großes Ärgernis sein. Als nun im Interesse der alexandrinischen Juden, die des Hebräischen nicht mehr kundig waren und ihre heilige Schrift daher nicht verstanden,²⁰ das Alte Testament ins Griechische übersetzt wurde, erscheint der Ibis in den Septuaginta²¹ unter den unreinen Vögeln, deren Genuß Leviticus 11, 17 und Deuteronomium 14, 16 verbieten. Der hebräische Text hat an beiden Stellen das Wort *יִבְשִׁיף* (oder *יִבְשִׁיף*). Der gleiche Vogel erscheint nochmals Jesaja 34, 11. Dort verkündet der Prophet die Rache an den Edomitern, die Jahwe üben werde. Das Land werde in Feuer und Rauch aufgehen, es werde wüst liegen und in ihm u. a. der *יִבְשִׁיף* wohnen. Was für eine Vogel-

¹⁵ Historia animalium 9, 27 (617b): die schwarzen Ibis nur in Pelusion vorkommend, die weiß-schwarzen im ganzen übrigen Ägypten außer Pelusion.

¹⁶ Aristotelis opera, I. Band, ed. J. BEKKER, Berlin 1831, Buch III, S. 756, Sp. b.

¹⁷ Die Scholien zu Lykophrons Alexandra (ed. E. SCHEER, Berlin 1908) vergleichen den v. 513 genannten Vogel *Krex* mit dem Ibis und verweisen dabei auf Herodot II 76, setzen also genaue Kenntnis des *Ibis* voraus (umgekehrt wie bei Herodot).

¹⁸ Seine Nützlichkeit betont KELLER a. a. O. 199.

¹⁹ Ad Flaccum 43; E. SCHÜRER: Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 3. Band. Leipzig 1909⁴. 37, LESKY a. a. O. 853.

²⁰ Nicht einmal der bedeutendste der hellenistisch-jüdischen Philosophen, Philon von Alexandria, konnte Hebräisch (H. LEISEGANG: RE 20, 194), 4).

²¹ A. RAHLFS: Stuttgart 1935.

art der hebräische Text meint, bleibt unklar. Eine Wüsten und Trümmer bewohnende Eulenart ist an der letzten Textstelle gut denkbar, auf keinen Fall meint das hebräische Wort den Ibis, da dieser in Palästina nicht vorkam.²² Auch für die beiden erstgenannten Stellen hat man sich in der Forschung auf eine Eulenart geeinigt.²³ Die Absicht ist deutlich: die Juden wollten den Ibis, den Gegenstand ihres Abscheus, dem sie überall in Ägypten begegneten und der als heiliges Tier einer fremden Religion angehörte,²⁴ als unrein im Gesetz verankert wissen.²⁵ Wir fassen somit in den Septuagintastellen eine Form der Polemik des Judentums gegen den ägyptischen Kult. Von welcher ungeheurer Wirkkraft diese Fixierung des Ibis als unrein sich erweisen mußte, wird durch den Umstand deutlich, daß die Septuaginta ganz allgemein von den Juden der Diaspora als ihr Bibeltext aufgenommen wurden, daß man sie beim Synagogengottesdienst als heilige Schrift verwendete und daß sie später als der authentische Bibeltext der christlichen Gemeinden galten.²⁶ Die Bibel hat jedoch wesentlich auch in ihrer lateinischen Gestalt gewirkt.²⁷ Wie die Fassung des altlateinischen Bibeltextes vor Hieronymus aussah, vermögen wir nicht zu sagen. Das befolgte Übersetzungsprinzip starrer Wörtlichkeit²⁸ aus dem *griechischen* Text läßt schließen, daß in den uns angehenden Partien auch der Ibis erschien. Als dann Hieronymus das Alte Testament aus dem hebräischen Urtext übertrug, setzte auch er an die Stelle des hebräischen יִבְשׁוֹן den Ibis.²⁹ Verzicht auf sklavische Wiedergabe des Textes³⁰ und Rücksicht auf die Anhänglichkeit der Christen an dem hergebrachten Bibeltext der Septuaginta, dem Hieronymus an zahlreichen Stellen folgt,³¹ mögen dabei zusammengewirkt haben.

Betrachten wir jetzt, wodurch Kallimachos die Vorstellungen vom Ibis modifizierte. Er gab einer nicht erhaltenen Schmähschrift, die wahrscheinlich

²² Auch der *Comatibis eremita* ist nur in der Wüste in Nordsyrien entdeckt worden (BODENHEIMER a. a. O. 61).

²³ S. BORCHART: *Hierozoicon*, Lipsiae, 3. Band 1796, 24–29 (bubo gemeint, bes. wegen Jesaja 34,11), W. BAUMGARTNER: *Lexikon in veteris Testamenti libros*, Leiden 1953 gibt «Ohreneule, Bienenfresser» an; M. NOTH: *Das dritte Buch Mose*, Leviticus, Berlin 1964 «Bienenfresser», G. FOHRER: *Das Buch Jesaja*, 2. Band, Zürich 1962 «Ohreneule», O. PROCKSCH, *Jesaja I*, Leipzig 1930, 430 «Eule», wobei er אֵיבָן «Abend» verglichen hat. J. DÖLLER: *Die Reinheits- und Speisegesetze des Alten Testaments*, Münster 1917, 202 stellt אֵיבָן «Dämmerung» und אֵיבָן «schnaufen» zur Auswahl und vermutet den Uhu, ebenso J. AHARONI: *On some Animals mentioned in the Bible*. *Osiris* 5 (1938) 470.

²⁴ DÖLLER a. a. O. 188; R. RENDTORFF: *RGV* V, 1961³, 943: fremder Kult macht unrein.

²⁵ S. MORENZ: *Ägyptische Spuren in den Septuaginta*, *Jahrbuch für Antike und Christentum*, Ergänzungsband 1, 1964 (Festschrift Th. Klauser), 254.

²⁶ SCHÜRER: a. a. O. 428.

²⁷ F. STUMMER: *Einführung in die lateinische Bibel*, Paderborn 1928, 1.

²⁸ H. KÜSCH: *Die Beuroner Vetus Latina und ihre Bedeutung für die Altertumswissenschaft*, Forschungen und Fortschritte 29, 1955, 55.

²⁹ *Biblia Sacra*, Ratisbonae et Roma 1914.

³⁰ STUMMER: a. a. O. 98.

³¹ STUMMER: a. a. O. 99 ff.; Hieronymus hatte hebräische Lehrer, die ihm die Bedeutung des hebräischen Wortes erklärt hätten.

gegen Apollonios von Rhodos gerichtet war,³² den Titel «Ibis».³³ Unter dem Namen des Vogels greift er seinen Gegner an. Den Scholien zu Ovids «Ibis» zufolge³⁴ habe der Dichter den Titel deshalb gewählt, weil der Ibis sich mit seinem Schnabel klistiere. In der wunderfreudigen hellenistischen Zeit war ihm auch dieses Kuriosum angedichtet worden. Vermutlich ist jedoch nicht dieses biologische Wunder der Grund für die Wahl des Titels, sondern ein anderer, sehr realer, der in dem Vogel selbst liegt. Ich zitiere Strabon, einen zuverlässigen, unbestechlichen Zeugen, der sich längere Zeit in Alexandria aufgehalten hat und in seinem Bericht auf eigenen Erfahrungen fußt:³⁵ «Jede Straßenecke (τρίοδος) in Alexandria ist voll von ihnen. Sie sind teils nützlich, teils unnütz. Nützlich sind sie, weil sie jedes Tier (πᾶν θηρίον) und auf den Fleisch- und Fischmärkten die Abfälle, den Unrat (ἀποκαθάρματα) auflesen, unnütz, weil sie alles fressen (παμφάγον), unsauber und schwer von Reinem und von dem fernzuhalten sind, was keinerlei Beschmutzung (μολυσμοῦ) verträgt.» Mit gesundem Blick für Tatsachen hat hier der religiös Unbefangene Nutzen und Schaden des Tieres abgewogen. Der zahme Vogel, der sich in Scharen überall in der Stadt umhertrieb, erfüllte zwar die Funktion der Gesundheitspolizei, indem er Kleingetier, Ungeziefer und Abfälle fraß,³⁶ war aber auch sehr lästig, weil er als Sumpfvogel im Schmutz wühlte und überall seine Spuren hinterließ. Ein Wandgemälde aus Herculaneum, das, wenn auch nicht photographisch treu, einen Gottesdienst im Isistempel darstellt, läßt erkennen, wie die Vögel selbst bei der heiligen Handlung sich ungehindert unter den Gläubigen bewegten und überall umherkletterten.³⁷

Ihn als heiligen Vogel zu verjagen schien wohl selbst Nichtägyptern nicht ratsam.³⁸ Seine lästigen Eigenschaften haben möglicherweise sogar Ägypter bereits am Ende des Alten Reiches beklagt. Die unruhigen sozialen Verhältnisse dieser Zeit werden folgendermaßen dargestellt: «Wahrlich, die Menschen sind wie Ibis, Schmutz ist im Lande; da ist keiner, dessen Kleider weiß sind in dieser Zeit.»³⁹ Kallimachos, von dessen «Ibis» wir ausgingen, hat offenbar den Ibis besonders eindringlich von dieser Seite kennengelernt — wie übrigens der Scholiast zu Lykophron⁴⁰ auch. Denn er hatte vor seinem glanz-

³² Callimachus, ed. R. PFEIFFER, Oxford 1949. 1. Band, 307.

³³ Bei PFEIFFER a. a. O.

³⁴ Zu v. 449 (PFEIFFER a. a. O.).

³⁵ W. ALY: Strabon von Amaseia. 4. Band. Bonn 1957. 69.

³⁶ Brehms Tierleben a. a. O. 189; vgl. auch Diodor I 87 (Schlangen, Heuschrecken, Raupen).

³⁷ H. LEIPOLDT: Die Religionen in der Umwelt des Urchristentums, Leipzig—Erlangen 1926. Nr. 53 (= U. KAHRSTEDT: Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit. Bern 1958, Tafel 96).

³⁸ H. GRESSMANN: Die orientalischen Religionen im hellenistisch-römischen Zeitalter. Berlin—Leipzig 1930. 20 f.; HOPFNER a. a. O. 22.

³⁹ A. H. GARDINER: The Admonitions of an Egyptian Sage from a Hieratic Papyrus in Leiden. Leipzig 1909. 26, Nr. 2,8 (Anspielung auf die Farbe der schwarzen Ibis oder auf die Gewohnheit, im Schmutz zu wühlen); vgl. dazu H. KEES: Der Götterglaube im alten Ägypten, Berlin 1956. 48,2.

⁴⁰ ὁππαροφάγον zu v. 513.

vollen Aufstieg zum Hofdichter des Ptolemaios Philadelphos als Elementarlehrer in der Vorstadt Eleusis die Schattenseiten des Lebens kennengelernt, darunter wohl auch die negativen Eigenschaften des Vogels. Es ist durchaus denkbar, daß die Antipathie der alexandrinischen Juden gegen den Ibis zugleich auch aus dieser Quelle gespeist wurde. Zumindest gehört bei den Juden zu den Gründen für die Unreinerklärung neben der Abwehr von Tierkulten auch der Ekel, den die Juden vor gewissen Tieren empfanden.⁴¹ Von nun an wurde diese doppelte Unreinheit des Ibis, die kultische wie die profane, von den Schriftstellern aufgegriffen. Parallel dazu läuft natürlich die Überlieferung vom Ibis als dem heiligen und dem Wundervogel der Ägypter weiter. Diese Darstellungen lassen wir beiseite. Sie enthalten sich in Sachlichkeit entweder ganz eines Urteils (Strabon, Josephus, Plinius, Tertullian, Ammianus Marcellinus, Solinus, Martianus Capella u. a.), oder die Verehrung des Ibis ist bei Heiden, Juden und Christen⁴² nur sinnfälliger Ausdruck abstoßender religiöser Verirrung (Cicero, Philon von Alexandria, Juvenal, Prudentius u. a.). Verfolgen wir nur diese neue Auffassung vom Ibis als einem kultisch unreinen und als einem Schmutzvogel durch die folgenden Jahrhunderte der Antike! Die Anspielungen auf den profan unreinen Vogel sind relativ selten. In der literarischen Nachfolge des Kallimachos⁴³ steht Ovid mit seinem erhaltenen Schmähdgedicht »Ibis«. Der Dichter hat das Tier wohl gar nicht gesehen.⁴⁴ Die Intention ist die gleiche wie bei seinem Vorbild: zur größeren Schmach des ungenannten Gegners gibt er diesem den Namen »Ibis«,⁴⁵ »quia ibis est avis sordidissima«, wie es in den Scholien heißt.⁴⁶ Erst später hat zur Begründung der schmutzigen Eigenschaften des Ibis gelegentlich eine Tatsache gedient, die im gesamten Altertum von Herodot an bekannt,⁴⁷ in früheren Zeiten jedoch nie abwertend beurteilt oder in Kausalnexus zu des Vogels mangelnder Reinlichkeit gebracht worden war (bei Herodot II 75 war es sogar ein Grund dafür, daß der Ibis verehrt wurde): die Tatsache, daß dem Ibis auch Schlangen zur Nahrung dienten. Offensichtlich reichte die Lebensweise des Ibis, die sich von der anderer Vögel, z. B. Gänse und Enten, in dieser Hinsicht nicht wesentlich unterschied, nicht mehr aus, ihn zum Schmutzvogel zu erklären. Aelian nennt ihn *κακοβορώτατον, εἶπε ὄφεις σιτεῖται καὶ σκορπίους* (n. a. 10, 29).⁴⁸ Christen, die gegen den Ibis nicht mit

⁴¹ RENDTORFF a. a. O. 943.

⁴² F. ZIMMERMANN: Die ägyptische Religion nach der Darstellung der Kirchenschriftsteller und die ägyptischen Denkmäler. Paderborn 1912. 116—118.

⁴³ Ibis v. 55 f., 59 f.; F. W. LENZ: P. Ovidi Nasonis Ibis. Torino 1937. Scholia in Ibin, 121.

⁴⁴ Erst im Gefolge des Isiskultes scheint der Ibis auch in Italien bekannt geworden zu sein. Die Verehrung der Isis wurde zwar von Augustus in beschränktem Maße toleriert (K. LATTE: Römische Religionsgeschichte. München 1960. 283), die großen Heiligtümer, in denen Ibisse gehalten wurden, gehören jedoch einer späteren Zeit an.

⁴⁵ v. 51 f., 62, 95, 100, 220.

⁴⁶ LENZ a. a. O.

⁴⁷ Einige der zahlreichen Beispiele Cicero, *nat. deor.* 1,36; Plin., *n. h.* 10,75; Juven. 15,3; Etymol. Magn. und Suda s. v. Ibis.

⁴⁸ Andererseits betont gerade Aelian, daß sich der Ibis reinigt, bevor er in sein

theologischen, sondern mit naturwissenschaftlichen Argumenten kämpften, bezeichneten ihn als giftfressendes Tier (*λο βόρον*), so der Bischof Epiphanius von Cypern.⁴⁹ Bei Theophylaktos Simokattes⁵⁰ ist er der gefräßige Vogel (*πολυβορώτατος*), der Jagd auf giftige (*ιοβόλων*) Tiere macht, sich mit Schlangen und Skorpionen mästet und stinkende Tiere (*δυσώδη*) bevorzugt, so daß mit Recht die Ägypter Jagd auf die Ibiseier machten, um sie zu vernichten und so zukünftiges Verderben zu verhindern. Theophylaktos⁵¹ ist Ägypter und kennt die Praktiken, mit denen die Christen gegen die unterlegene ägyptische Religion bzw. deren Rudiimente kämpften. Theologische Begriffe von Unreinheit im jüdischen Sinne gegen den Ibis ins Feld zu führen, wie es noch der Physiologus tat (s. u.), war anachronistisch. Hat sich vielleicht — es sei mit der gebotenen Vorsicht vorgetragen — die christliche Propaganda auch pseudonaturwissenschaftlicher Gründe bedient und so zu ihrem Teil dazu beigetragen, daß durch Vernichtung der Gelege die Zahl der Ibisvögel geringer wurde, der Vögel, die offensichtlich von den zu Christen gewordenen einheimischen Ägyptern noch in atavistischer Scheu betrachtet wurden? Fest steht jedenfalls, daß der Ibis heute in Ägypten nicht mehr vorkommt und in Abessinien von den Eingeborenen respektvoll als Vater Johann bezeichnet wird (s. u.).

Die Darstellung des Ibis als des *kultisch unreinen* Vogels blieb naturgemäß immer mit dem Judentum verbunden. So haben auch jüdische Vorstellungen vom Ibis auf die Gestaltung der vorchristlichen Stufen des «Physiologus» eingewirkt. Man ist sich zwar in der Forschung über Zeit und Verfasser seiner unbekannten heidnischen Hauptquelle nicht einig, wohl aber darin, daß diese Vorstufe in Ägypten,⁵² in Alexandria⁵³ entstanden ist, wo sich ägyptische, jüdische und griechische Vorstellungen mischten.⁵⁴ Als dann der christliche Physiologus entstand, wiederum wohl in Ägypten,⁵⁵ erhielt der Ibis ein eigenes Kapitel darin. Es beginnt: «Der Ibis ist nach dem Gesetz unrein (*Ἀκάθαρτός*

Nest geht (n. a. 10,29) und daß die ägyptischen Priester sich nur in Wasser waschen, aus dem ein Ibis getrunken habe, weil dieser nur reines, *unvergiftetes* Wasser genieße (n. a. VII 45; Plut., *soll. an.* 20, *De Isid.* 75). Die Widersprüchlichkeit erklärt sich wohl aus der Tatsache, daß hier in die außerägyptische Tradition auch ägyptische Vorstellungen eingeflossen sind. Die Quelle Aelians ist eine Spezialschrift über Ägypten (Apion nach M. WELLMANN: *Hermes* 31 [1896] 249).

⁴⁹ GCS 25, Ancor. 103.

⁵⁰ I. L. IDELER: *Physici et medici Graeci minores* I. Berlin 1841. 179 f.

⁵¹ K. KRUMBACHER: *Geschichte der byzantinischen Literatur*. München 1897². 247.

⁵² F. LAUCHERT: *Geschichte des Physiologus*, Straßburg 1889, 41, E. PETERS: *Der griechische Physiologus und seine orientalischen Übersetzungen*. Berlin 1898. 10 f., M. GOLDSTAUB: *Der Physiologus und seine Weiterbildung*. *Philologus Supplement* 8. Heft 3. Leipzig 1899—1901. 344, M. WELLMANN: *Der Physiologus*. *Philologus Suppl.* 22. Heft 1. 1930. 18 ff.

⁵³ B. E. PERRY: *RE* 20, 1941, 1100 s. v. *Physiologus*; GOLDSTAUB: a. a. O. 344.

⁵⁴ PETERS a. a. O. 10; WELLMANN a. a. O. 18 ff.

⁵⁵ PETERS a. a. O. 11, F. HOMMEL: *Die aethiopische Übersetzung des Physiologus*. Leipzig 1877, XV; anders WELLMANN a. a. O. 12 (Caesarea), dagegen F. DREXL: *BZ* 33 (1933) 368. O. SEEL: *Der Physiologus*. Zürich—Stuttgart 1960, 58.

ἔστι κατὰ τὸν Νόμον ἢ Ἰβίς).⁵⁶ Er versteht nicht unterzutauchen, sondern liebt die Mündungen der Flüsse und Seen, und dort nimmt er seine Nahrung. Er kann nicht in die Tiefe tauchen, in welcher die reinen Fische (καθαροὶ ἰχθύες) schwimmen, sondern lebt nur da, wo die unreinen Fischlein (ἀκαθάρα ἰχθύδια) sich aufhalten.» Das Wühlen im Schlamm war also auch hier das Augenfälligste am Ibis — und das einzige, was von ihm überhaupt berichtet wird. Auffällig ist die mehrmalige Wiederholung der Begriffe rein — unrein, wobei zu bedenken ist, daß das Merkmal, nach dem im Judentum die Fische rein bzw. unrein waren, in keinem Falle die Größe war.⁵⁷ Der früheste Ansatz des Physiologus ist das 2. Jahrhundert nach Christi Geburt,⁵⁸ eine Zeit also, in der sich die Christen bereits von den jüdischen Reinheitsgeboten losgesagt hatten, allerdings nur zögernd.⁵⁹ Schon Paulus lehnte die jüdischen Speiseverbote ab (Röm. 14, 20: πάντα μὲν καθαρά; Tit. 1,15 Πάντα καθάρὰ τοῖς καθαροῖς). Damit hätte auch die Verfemung des Ibis als eines unreinen Tieres ein Ende finden müssen. Seine Verbindung mit Isis jedoch, der vielleicht stärksten Konkurrentin des christlichen Glaubens, reihte ihn aber nunmehr in die Reihe der von den Ägyptern heilig gehaltenen Tiere ein, gegen deren Verehrung sich die Polemik der Christen wandte. So erscheint der Ibis unterschiedslos zusammen mit Tieren, die nach jüdischer Auffassung rein sind. Die Verfasser des Physiologus waren wohl alexandrinische Theologen, vielleicht Judenchristen,⁶⁰ die ihrer Darstellung die Septuaginta⁶¹ zugrunde legten und besonders gern Tiertypen des Alten Testaments für ihre Moralisationen verwendeten;⁶² so erklärt sich die Aufnahme des Ibis in das Werk. Der Physiologus erfuhr als Volksbuch eine ungeheuer weite Verbreitung. Er diente als Schulbuch, erlebte viele Wandlungen und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Das Kapitel vom Ibis als dem verhaßten unreinen Vogel fehlt in einer Anzahl von Übersetzungen,⁶³ eben weil das einzige Merkmal, die Unreinheit im jüdischen Sinne, für die Christen und das Mittelalter überhaupt nicht mehr relevant war. Die arabische Fassung z. B. übersetzt «unrein» mit «feig»,⁶⁴ da die Mohammedaner Vögel nicht als unrein

⁵⁶ F. SBORDONE: Physiologus. Mediolani 1936.

⁵⁷ DÖLLER a. a. O. 195; die Wassertiere sind unrein, die keine Schuppen oder Flossen haben. Die an das einzige Wesensmerkmal angeschlossene Moralisation (Kreuzessymbolik) hat wenig Zusammenhang mit dem Verhalten des Tieres; vgl. SEEL a. a. O. 68.

⁵⁸ LAUCHERT a. a. O. 65 und Theolog. Revue 30 (1931) 408 (vor 140 entstanden), PERRY a. a. O. 1103, SEEL a. a. O. 55; L. HAMMERICH: Die deutsche Literatur des Mittelalters, hrsg. K. LANGOSCH, 3. Band. Berlin 1943. 895 (3. Jhd.); WELLMANN a. a. O. 11 (um 370). Für die Spätdatierung zuletzt W. FAUTH: Gymnasium 1963, 259 (um 300).

⁵⁹ E. LOHSE: RGG V. 1961³, 944; allerdings kann das Weiterwirken der mosaischen Speisegesetze bis zum 8./9. Jh. nachgewiesen werden (DÖLLER a. a. O. 171 f.).

⁶⁰ PETERS a. a. O. 13.

⁶¹ PETERS a. a. O. 13.

⁶² PETERS a. a. O. 13.

⁶³ z. B. in der armenischen (J. B. PITRA: Spicilegium Solesmense III, Paris 1855), in der mittelhellenischen (LAUCHERT a. a. O. 100), in der älteren (unvollständigen) deutschen (LAUCHERT a. a. O. 116), in der (unvollständigen) isländischen, im waldensischen Physiologus (LAUCHERT a. O. 149), in der rumänischen Fassung (LAUCHERT a. a. O. 308).

⁶⁴ PETERS a. a. O. 70,1: der feige Ibis esse nicht von den reinen Speisen.

betrachten.⁶⁵ Eine syrische Übersetzung ersetzt die dem Ibis zur Nahrung dienenden « unreinen » durch « kleine » Fische.⁶⁶ Auch in den Übersetzungen und in bildlichen Darstellungen⁶⁷ des Physiologus in Europa und in der christlichen Tiersymbolik spielte der Ibis nur noch eine unbedeutende Rolle. Man hatte keine Vorstellung mehr von ihm, wie aus den Glossen des Mittelalters deutlich wird,⁶⁸ wo er mit verschiedenen einheimischen Vögeln identifiziert wird. Die deutschen Bibelübersetzungen gehen wieder auf den hebräischen Urtext zurück. M. Luther übersetzt יֵשׁוּב in Lev. 11, 17 und Deuteronom. 14, 16 mit « Uhu », in der Jesajasstelle mit « Nachteule ». Er hat bei der Übersetzung des Alten Testamentes Rabbiner zur Fachberatung herangezogen und gern Begriffe aus seiner deutschen Umwelt verwendet.⁶⁹ Die Zürcher Bibel entscheidet sich an allen fraglichen Stellen für den Uhu.⁷⁰

Im 18. Jahrhundert erst gelang Bruce die Identifikation des Ibis.⁷¹ Der Vogel hält sich heute nicht mehr in Ägypten auf, man trifft ihn im südlichen Nubien und im Sudan.⁷² Auch heute noch, so wird berichtet, essen die Eingeborenen — meist Mohammedaner — den Ibis nicht, obwohl sein schmackhaftes Fleisch die Jagd wohl lohnen würde.⁷³ Es sind wohl eher die Vorstellungen vom Ibis als dem heiligen Tier als die vom unreinen Vogel,⁷⁴ die ihre alte Wirkkraft über Jahrtausende hin weiter zu bewähren scheinen, so wie noch heute in weiten Bevölkerungskreisen Englands und Deutschlands eine gewisse Abneigung besteht, Pferdefleisch zu essen, weil das Pferd einmal heiliges Tier des Germanengottes Odin war.⁷⁵

Leipzig.

⁶⁵ S. unten und Anm. 74.

⁶⁶ PERRY a. a. O. 1105; WELLMANN a. a. O. 16.

⁶⁷ Bei J. SZRZYGOWSKI: Der Bilderatlas des griechischen Physiologus des Kosmas Indikopleustes und Oktateuch. Byzantinisches Archiv, Heft 2, Leipzig 1899. Tafel XX 1 ist sein Bild zerstört.

⁶⁸ 19 ahd. Glossen — Hss. übersetzen mit *scarivo*, *scariva* = « Scharb », der an anderen Stellen als Sumpfvogel bezeichnet wird; andere Hss. glossieren mit Weihe, Storch, Erdhuhn, Birkhuhn, Kranich, auch Verwechslung mit *ibex* = Steinbock kommt vor (« steingeiz », « stenbuc »). Für freundliche Hilfe danke ich Frau Dr. ULBRICHT vom Ahd. Wörterbuch Leipzig.

⁶⁹ Für freundliche Auskunft danke ich Frau Dozentin Dr. LUDOLPHY von der Theologischen Fakultät Leipzig.

⁷⁰ Die heilige Schrift, Zürcher Bibel, Berlin 1963.

⁷¹ G. CUVIER: *Annales du museum national d'histoire naturelle*, Paris 1804, Band 4, 117 ff.; THOMPSON: a. a. O. 106 f.

⁷² BREHM a. a. O. 193.

⁷³ BREHM a. a. O. 194; KEES a. a. O. 50 nimmt an, daß der Ibis noch im Neuen Reich für die Tafel gemästet wurde; der Ibis heißt heute bei den Abessiniern und im Sudan Abou Hannes oder Vater Johann (CUVIER: a. a. O. 128, THOMPSON: a. a. O. 106), woraus eine gewisse Achtung vor ihm erschlossen werden darf.

⁷⁴ J. SCHACHT: *Enzyklopädie des Islam*, Bd. 3, Leiden—Leipzig 1936, s. v. Maita, 168 f.: nach den Geboten des Islam fällt der Ibis nicht unter die Speisen, die zu essen dem Gläubigen verboten ist. Immerhin übten die mosaischen Speisegesetze in der griechischen Kirche teilweise bis zum 9. Jh. ihren Einfluß aus, in der abendländischen Kirche ist ihr Einfluß bis zum 8. Jh. nachweisbar (DÖLLER a. a. O. 171, 172).

⁷⁵ DÖLLER: a. a. O. 180.

IRANISCHE ELEMENTE IN DER URARTÄISCHEN KULTUR UND RELIGION

Die Urartäer haben als die Nachkommen der Hurriter das hurritische Pantheon ohne große Änderung übernommen.¹ Der Wettergott Teshup heißt nun Tescheba, der Sonnengott Schimegi Schiwini. Auch die weiblichen Gottheiten lassen sich noch erkennen. An der Spitze die Zwillingsgestalt Hutena-Hutellura (Hutezzi, Hutumana).² Sie erhält sich in Huṭuini, die in der Götterliste von Meher-Kapussy an fünfter Stelle, also stark im Vordergrund steht. Auch der in Vorderasien so bedeutsame Kindergott³ erscheint als der «kleine Haldi». Daß er an der Spitze der gesamten Götterliste steht, besagt nichts über seine Bedeutung, denn die Liste ist nach Opfergruppen geordnet, und er steht mit den sechs Lämmern, die vermutlich nicht geschlachtet sondern zerrissen wurden — wie noch in den orgiastischen Umzügen seines wilden Nachfahren Dionysos — durchaus allein. Daß er Haldi genannt wird, gehört zu den charakteristischen Erscheinungen der Naturreligionen, die leicht patriarchalische Züge annehmen und alle Gottheiten in ein Verwandtschafts- oder Gefolgschaftsverhältnis einbeziehen, wobei dann der Kindergott nahezu regelmäßig zu dem Sohn oder Enkel des als Familienoberhaupt empfundenen Hauptgottes wird.

Ein einziger der urartaischen Hauptgötter fehlt dem hurritischen Pantheon, und zwar der Staatsgott, jener Haldi, der dem jungen Gott zwar seinen Namen leiht, aber sonst mit den Naturgottheiten nicht das geringste zu tun hat.

Man liest mitunter, die Urartäer hätten eine Göttertrilogie: Haldi, Tescheba und Schimegi. Nichts ist falscher als das. Denn wenn es in der Fluchformel bei flüchtiger Betrachtung auch so erscheint, so erkennt man doch deutlich, daß dies nur ein sehr loses Zusammentreten ist. Wenn hier der Frevler dem Haldi, dem Wettergott, dem Sonnengott und den Unterirdischen Göttern ausgeliefert wird, so müssen wir den Schnitt nach Haldi legen und unter den Unterirdischen eine ganze Reihe von nicht eigens aufgeführten Gottheiten mit einbegreifen, darunter auch den Mondgott. All dies lehrt uns die Götterliste von Meher-Kapussy. Denn wenn sie in vielem auch noch rätselhaft ist, in einem

¹ Verf. Die urartäischen Gottheiten. *Orientalia* 32 (1963).

² I. LAROCHE: *Recherches sur les noms des dieux hittites*.

³ Verf. Die Namen des hethitischen Knabengottes, *Orientalia* 32 (1963).

ist sie deutlich: in der Bewertung der Gottheiten. Hier erhält der Wettergott 6 Rinder und 12 Schafe. Das entspricht seiner Stellung im ganzen Vorderen Orient. Der Sonnengott erhält immerhin noch 4 Rinder und 8 Schafe. Huṭuni mit ihrem noch nicht ganz vergessenen Namen der weiblichen Hauptgottheit 2 Rinder und 4 Schafe. In allen anderen Opferlisten verschwindet sie mit ihrer ganzen Umgebung und geht samt dem Mondgott, der mit einem Rind und zwei Schafen in Meher-Kapussy and dreizehnter Stelle steht, in der großen Gruppe der Unterirdischen auf. Man kann diese zusammen mit Tescheba und dem Sonnengott als eine einheitliche Gruppe auffassen, die sich scharf von dem Staatsgott abhebt.

Selbst den 6 Rindern des Wettergottes gegenüber ist die Opferzahl für Haldi mit 17 Rindern und 34 Schafen gewaltig. Natürlich steckt in der Siebzehn oder zweimal Siebzehn nicht geradezu ein Maßstab für die Größe Haldis, es handelt sich um eine kultische Zahl, die sich bis in das biblische Schrifttum und die Legende hinein am Ararat und in dem frühchristlichen Edessa zählt erhält. Gerade die Siebzehn zeigt, daß hier ein anderes Prinzip gewählt wird, das die Steigerung 2, 4, 6, 8, 12 durchbricht und eigene Wege geht. Aber Haldi ist eben kein Naturgott, er ist Stammes- und Staatsgott. Er erwächst nicht dem hurritischen Pantheon, er kommt von fremd her und zwar aus dem Osten. Die Urartäer begegnen ihm zuerst in Mussassir, und da sie in dieser wichtigen Kultstadt und vor allem am Südufer des Urmiasees weithin in medisches Gebiet vorstoßen, verlangt es die Staatsraison, daß sie den Gott dieser Völker als ihren eigenen annehmen und ihm ihre Huldigung darbringen. Wenn er so weithin als der sichtbarste Gott der Urartäer erscheint, so doch deshalb, weil eben nur der Staat, beziehungsweise die Könige es sind, die schreiben, und weil nur sie es sind, die neu unterworfenen Gebieten ihren Willen aufzwingen. Daß hier Staat und Volk nicht identisch sind, ergibt sich aus gewissen rückläufigen Erscheinungen, die vor allem unter Rusa I deutlich greifbar sind.⁴

Ob Haldi — die Urartäer schreiben ihn zunächst versuchsweise Aldi — ein Epitheton ist und welcher Sprachgruppe der Name angehört, wissen wir vorerst nicht,⁵ aber wir haben genug Anhaltspunkte, um seine Herkunft erkennen zu lassen. Daß er Stammes- und nicht Naturgott ist, ist deutlich. So wenig wie der assyrische Assur gehört er zu irgend einer Naturerscheinung. Wie dieser wird er nur als Standarte, aber niemals als Kultstatue verehrt. Bildlosigkeit ist keineswegs auf Jahwe beschränkt. Sie stammt aus dem Bereich der Wandervölker, die keine Bildwerke mit sich herumschleppen kön-

⁴ Verf. Das Reich am Ararat. Leipzig 1965.

⁵ Wenn man Haldi aus dem Iranischen ableiten dürfte, so wäre er der Gott der gemeinsamen Kultstätte. *hadiš-* ist jungavestisch und persisch der Name der Gottheit des heimatlichen Wohnsitzes. Das Wort hängt zusammen mit *hada* «zusammen, zugleich». Vgl. CHR. BARTHOLOMAE's Iranisches Wörterbuch, Berlin 1924. Vgl. auch den Namen Parni-aldi. Es handelt sich um einen Gesandten von und nach Urartu. S. Iraq XX S. 197.

⁶ Verf. Von Olympia bis Ninive im Zeitalter Homers. Leipzig 1963.

nen.⁶ Während aber zu Assur Bogen oder Schwert gehört, so zu Haldi die Lanze. Es ist nicht unbedingt sicher, daß diese Lanze der Ausgangspunkt ist und gewissermaßen als Fetisch verehrt wurde. Viel wahrscheinlicher ist Haldi eine Vorform des Ahura Mazda, also ein Gott mit Universalanspruch, der aber eben in einer Standarte seine göttliche Gegenwart an einem Ort oder bei einer Gelegenheit kundtun muß. Diese Rolle wird später der Feueraltar übernehmen. Bei den kriegerischen Völkern, die den Gott auf dem Standartenwagen voraufrufen ließen, wird es ein Kriegsgerät: Bogen, Schwert oder Lanze sein.

Daß man Haldi als Kriegsgott empfindet, ja sogar so nennt, ergibt sich aus der urartäischen Grußformel in der Korrespondenz.⁷ «Es bewahre dein Leben der Kriegsgott» — *zanidabi TI DINGIR guni*. Da in diesen Texten, die rein wirtschaftliche oder Verwaltungsgeschäfte betreffen, der Kriegsgott ganz gewiß nichts zu suchen hat, in einer königlichen Kanzlei aber schwerlich ein anderer als der Staatsgott genannt werden konnte, erscheint Haldi hier also als der Kriegsgott.

Im Tempel von Mussassir hat nicht Haldi sondern Bagbartu die Siegelgewalt, die in einem Ring mit kostbarem Stein besteht. Bagbartu ist sicher iranisch und heißt «Gottesgemahlin». Nun kann aber weder vom Iranischen noch innerhalb jedes anderen bildlosen Standartenkultes eine Gattin des Universalgottes erscheinen. Dies muß eines der vielen Mißverständnisse der Assyrer sein, bei denen nach babilonischem Vorbild jeder Gott eine Gattin zu haben hatte. Wenn die Siegelgewalt nicht Haldi zusteht, so muß diese «Gottesgemahlin» eine Haldieigenschaft sein oder einfach sein Zeichen, die Lanze. In fast allen Sprachen ist die Lanze etwas Weibliches. Ich glaube, daß es sich auch bei der Gottheit Iwarscha vom Arinberd um die Lanze handelt.⁸

All dies ist nicht so abwegig, wie es erscheinen mag. Wir können durchaus damit rechnen, daß hinter der Gottesgemahlin oder der Gottheit Iwarscha eine Personifikation steckt. Später gibt es in Kleinasien eine Din Mazdayasniš. Das ist die als Frau vorgestellte Mazdajanische Religion, die als Schwester und Gemahlin des Ahura Mazda gilt.⁹

In dem berühmten Gottesbrief des Sargon finden wir in Zeile 342 eine spöttisch gemeinte Bemerkung über den Gott des Urzana, des Königs von Mussassir. Sie, die Urartäer hätten Haldi, seinen (des Urzana) Gott, mit der königlichen Tiara geschmückt und ihn das Königszepter von Urartu halten lassen. Das wäre eine kuriose Beschreibung, wenn es sich um ein Bildwerk handelte, denn das sähe doch so aus, als ob eine bereits vorhandene Statue — von der sonst nirgends die Rede ist — mit Tiara und Zepter vervollständigt worden wäre. Gemeint ist in der blumenreichen Ausdrucksweise des Schreibers doch nur: «Da haben nun die Urartäer sich diesen obskuren Gott von Mussassir

⁷ I. M. DJAKONOW: Урартские письма и документы, Moskau 1963.

⁸ Verf. Urartäische Bauten in den Königsinschriften, *Orientalia* 34 (1965) S. 396.

⁹ GELZER: Zur armenischen Götterlehre, Ber. d. sächs. Gesellschaft 1896. S. 99.

ausersehen und zu ihrem Haupt- und Staatsgott gemacht.» In jedem Fall ergibt sich deutlich, daß Haldi ehemals kein urartäischer Gott war.

Viel stärker als in den Texten zeichnen sich die iranischen Elemente in der Architektur ab. Man hat gesagt, die Grabmäler der medischen Stammeshäuptlinge wären nicht denkbar ohne die urartäische Felsarchitektur. Dies ist gewiß richtig. Nur fehlt den iranischen Grabbauten gerade ein Kennzeichen, das die phrygischen besser bewahrt haben: der Giebel.

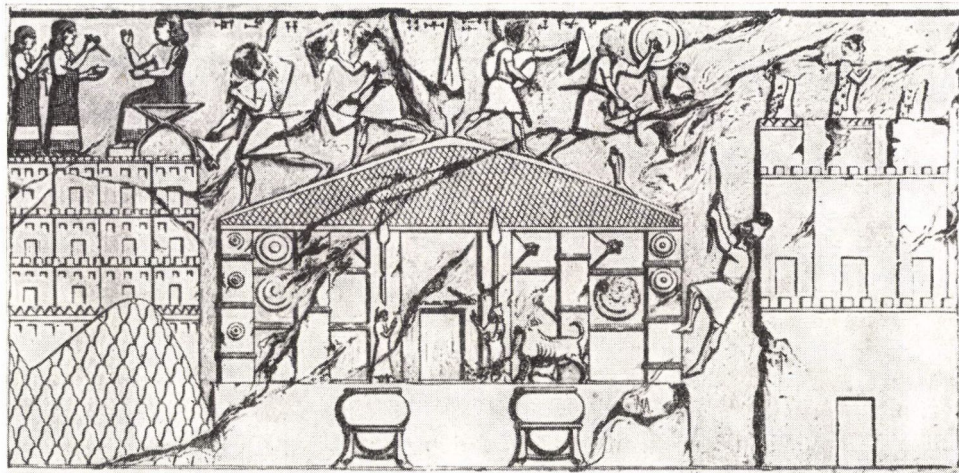


Abb. 1. Plünderung Mussasirs (nach Botta—Flandin: *Monuments de Ninive*. Paris 1849/50. II. T. 141)

Der Tempel von Mussassir (Abb. 1) hat einen Giebel. Nun haben alle urartäischen Tempel den gleichen Grundriß. Sie sind nicht mehr als 5 mal 5 Meter groß — also quadratisch — und haben ungeheure, 3,5 Meter dicke Wände: demnach zusammen sieben Meter für die Wände bei fünf Meter Breite und Tiefe des Innenraums (Abb. 2). Diese dicken Wände sind nur erklärbar durch die Giebelkonstruktion. Die Giebelüberdeckung des Innenraums muß den gewaltigen Fundamenten zufolge sehr schwer gewesen sein, da man mit einem derartigen Seitenschub rechnete. Das bedeutet, daß sich keine gerade Zwischendecke von Wand zu Wand zog, etwas was bei nur fünf Meter Breite in Holz leicht herzustellen gewesen wäre. Man wollte also — genau wie bei den urartäischen Felsengräbern — die hohle Giebelkonstruktion auch im Innern bewahrt wissen. Demnach hält sich der urartäische Tempel von Mussassir ebenso wie alle seine Nachfolger an die schon im 3. Jahrtausend übliche Steppenarchitektur. «Solche Gräber» — das heißt Gräber mit Giebel — «sind überall im weiten Steppengürtel und an seinen Rändern zu finden, im Norden, wo er an die unerschlossenen Wälder angrenzt, im Süden, wo er mit den alten

Kulturlandschaften in Berührung kommt: in Podolien, am Kaukasus, auf dem iranischen Hochland, im Altai, in Ostsibirien und in den Randgebieten der nordchinesischen Ebene.»¹⁰

Es ist ersichtlich, daß der Giebel unmöglich aus der so völlig vorderasiatisch beeinflussten hurritischen Kultur stammen kann. Man wird aber keinen Gott in eine ihm ungemäße Umgebung setzen. Mit Haldi und seinem bildlosen Kult strömen auch architektonische Elemente von iranischer Seite her in die urartäische Kunst.

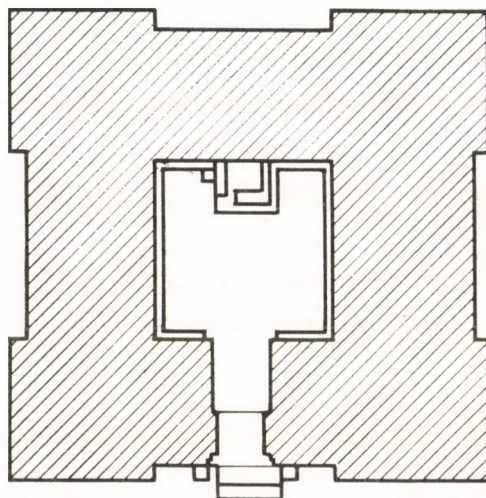


Abb. 2. Grundriß des Heiligtums in Altintepe (nach Özgüz: Excavations at Altintepe. Belleten XXV 1961)

Wichtiger noch als die Giebelkonstruktion ist der quadratische Grundriß.

Er erklärt sich durch die eigenartige Erscheinung, daß diese Gebäude, die wir gedankenlos «Tempel» nennen, in Wirklichkeit gar keine Tempel waren, das heißt Stätten, in denen sich ein Kult abspielt. Sie dienten allein der Aufbewahrung der Standarte, die man in dem schneereichen Lande nicht der Witterung aussetzen konnte. Wichtiger als der enge und vermutlich düstere Innenraum waren die vier als Blendnischen ausgestatteten Seiten (Abb. 3 und 4), die jeweils durch ein von Holzsäulen getragenes Pultdach geschützt wurden. In diese Blendnischen stifteten die Könige dem Gott nicht nur kostbare Waffen, sondern auch Dinge, die ihn außerhalb des Krieges erfreuen sollten, wie Leuchter und vor allem bronzene Tiere. Genau genommen stellte man sie auf die umgebende Terrasse unter das der Mittelnische angelehnte Schutzdach, auch

¹⁰ H. H. VON DER OSTEN: Die Welt der Perser. Stuttgart 1956. S. 44.

dies wohl nur wegen der im Hochland nun einmal vorhandenen ungünstigen Witterungsverhältnisse. Wir dürfen Nische und Terrasse nicht trennen. Kein Wunder also, daß die Terrasse das Bauwerk nach Möglichkeit genau quadratisch umgibt — was auf einer Burg freilich kaum je durchzuführen ist —, kein Wunder auch, daß die Texte niemals von Tempeln — in der Keilschrift kann man dies erkennen¹¹ —, sondern am liebsten von den Halditoren sprechen und zwar stets im Plural.

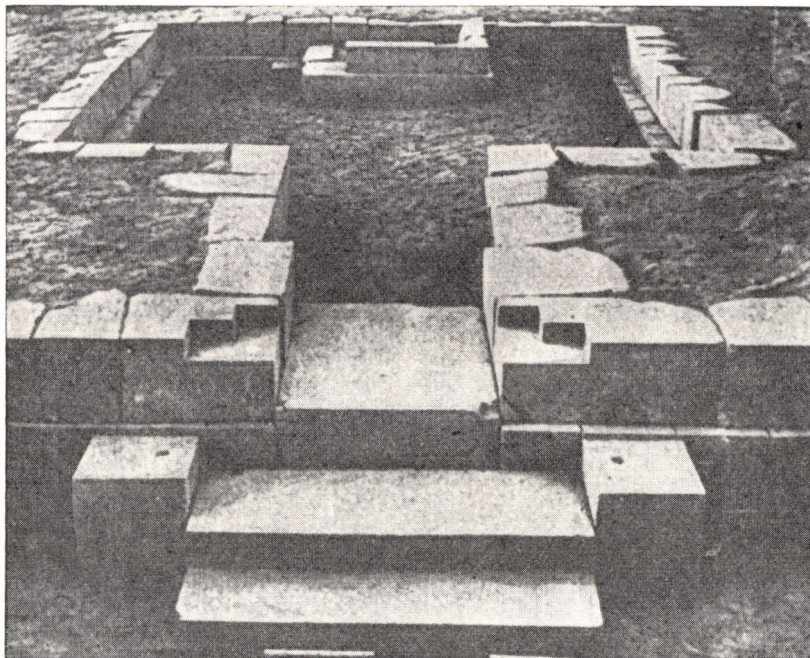


Abb. 3. Innenraum des Heiligtums in Altintepe (nach Özgüz: Excavations at Altintepe)

Die späteren iranischen sog. Feuertürme haben die Blendnischen an den vier Seiten bewahrt, ja sie sind mitunter nichts als ein Viertorebau (Abb. 5 und 6). Auch sie dienten der Aufbewahrung der Symbole. In Naqsch-i-Rustam liegt der Boden des Turmes — er hat übrigens einen von unten nicht sichtbaren Giebel — hoch über der Terrasse, aber in gleicher Ebene mit dem Fenster (Abb. 7 und 8). Von der Mitte dieses Raumes bis an das Fenster führt eine Schiene, aber nicht darüber hinaus. Man konnte also das Kultsymbol an das Fenster schieben, so daß es den Gläubigen von unten her sichtbar wurde.¹² Auch in Urartu stand das Symbol genau gegenüber dem Eingang auf einem Sockel, zu dem Stufen emporführten.

¹¹ Verf. *Orientalia* a. a. O.

¹² K. ERDMANN: *Das iranische Feuerheiligtum*. Leipzig 1941.

Auf diese Weise erklärt sich der Widerspruch in der Aussage des Herodot (I 131f), es habe bei den Persern des 5. Jahrhunderts weder Götterbilder noch Tempel und Altäre gegeben, und der Inschrift des Darius am Felsen von Bisutun: «Ich baute die ayadana wieder auf, die Gaumata, der Magier zerstört hatte.» Ayadana ist der «Ort der Verehrung». Was hier verehrt wird, ist das Kultsymbol, und das zerstörte Gebäude, das wieder aufgebaut werden muß,



Abb. 4. Nische an der Außenmauer des Heiligtums in Altintepe (nach Özgüz: Excavations at Altintepe)

ist kein Tempel, sondern der turmartige Bau, der das Symbol birgt und der seltsamerweise in den vier Nischen — anscheinend ohne rechten Sinn — die alte urartäische Bauweise widerspiegelt.

Der Kult selbst findet auf der Terrasse statt, die — wenn irgend möglich — quadratisch ist. Wir werden daher die vielen quadratischen Terrassen der achämenidischen Architektur in irgend einer Weise immer als kultisch



Abb. 5. Čahar tag im Hof des Feuerheiligtums bei Baku (nach Erdmann: Das iranische Feuerheiligtum. Leipzig 1941. T. VIIIb)



Abb. 6. Čahar tag in Djerre (Nach Erdmann T. VIIa)

ansprechen müssen, auch da, wo sie ersichtlich profane Bauten tragen. Alles, was den Herrscher betrifft, entfernt sich von vornherein nicht aus der kultischen Sphäre.

Die Terrasse ist in Mussassir nicht nur deutlich erkennbar, sie spielt auch in den Texten eine große Rolle. Schon Ispuini und Menua, die Eroberer Mussassirs, rühmen sich, dem Gott eine Terrasse gebaut zu haben, auf der sie Tiere



Abb. 7. Naqsh-i Rustam. Feuerturm (nach Erdmann T. III)

aufgestellt hätten. Ganz nebenbei wird dann das Heiligtum «Halditore» genannt. Auf dem Toprakkaleh war die Terrasse in kostbarem Mosaik ausgelegt, während die Paläste nur gestampften Lehm als Fußboden kannten. Die zum Teil in London noch erhaltenen Schmuckteile der Terrassenmauer entsprechen genau der Terrassenummauerung in Pasargadae.¹³ In beiden Fällen handelt es sich um ornamental verwendete getreppte Zinnen.

¹³ ERDMANN: a. a. O. Abb. 7.

Das wichtigste Zeugnis für eine solche Terrasse liefert uns Herodot (IV 62) als kultische Verehrungsform des «Ares» bei den Skythen.

«In jedem Gau ist dem Ares ein Heiligtum errichtet in Gestalt eines großen Haufens von dürrem Holz, der drei Stadien lang und breit, aber nicht sehr hoch ist. Oben ist eine viereckige ebene Fläche. Drei Seiten sind steil, die

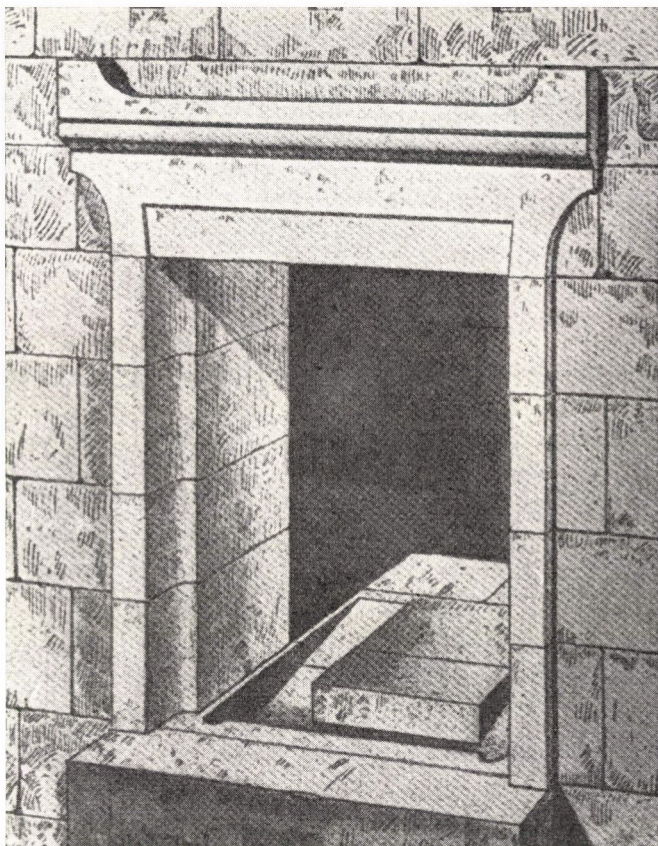


Abb. 8. Naqsh-i Rostam. Feuerturm (nach Erdmann T. IIa)

vierte ist ersteigbar. In jedem Jahr häufen sie fünfzig Wagen voll Reisig auf, denn die Haufen sinken infolge der Witterung immer wieder zusammen. Auf jedem solchen Hügel steht nun aufrecht ein uraltes eisernes Kurzsword. Das ist das Bild des Ares.»

Herodot sagt *φρυγῶν φάκελοι*. Das sind Bündel von trockenem Holz. Die Seitenlänge dieser quadratischen Plattform, die oben eben, an drei Seiten steil ist, wird mit drei Stadien angegeben. Das wären 500 Meter. Diese gewaltige Ausdehnung einer Terrasse, auf der nichts als ein Schwert steht, macht uns

darauf aufmerksam, daß hier nicht alles stimmt. Das Schwert wäre schon im nächsten Jahr nicht mehr auffindbar gewesen. Die jeweilige Ausbesserung wäre bei diesem kuriosen Bau zwar nur zu begreiflich, aber — ist das Ganze nicht recht feuergefährlich?

Was steckt dahinter? Doch ersichtlich ein Bohlenbau mit zwischengestreuter Erde, in Gestalt einer — wenn auch nicht einen halben Kilometer langen! — quadratischen Plattform. Aber auch bei bescheidenen Verhältnissen verlangt das Kultsymbol, das Schwert, nach einem Schutzdach, das wir uns gewiß klein und gleichfalls aus Holz vorstellen können. Wichtig für uns ist der quadratische Grundriß, die Plattform und das darauf errichtete Symbol. Herodot sagt: *τοῦ Ἀρεως τὸ ἄγαλμα*. Auch die Hethiter kannten das Schwert als Kultsymbol. Schwert oder Lanze ist kein großer Unterschied. Die große Lanzenspitze auf dem Dach des Tempels von Mussassir sieht genau wie ein Schwert aus und wenn Sargon (Z. 377) von einem 26 Minen schweren goldenen Schwert spricht, das er in Mussassir erbeutet hat, so wird auch dies wohl eher eine Lanzenspitze gewesen sein. Wir kennen bronzene Lanzenspitzen von unhandlicher Größe vom Toprakkaleh, die schwerlich etwas anderes als Haldisymbole gewesen sein können. Das Symbol Assurs war ein Schwert.¹⁴ Außerdem gibt es dort noch das šugarria'um-Enblem, das «in seinem Tor steht». Es ist bisher ungedeutet, kann aber kaum etwas anderes sein als das in den Reliefs häufig dargestellte Enblem Assurs, des Gottes mit Vogelleib, der mit dem Bogen aus der Sonnenscheibe schießt, ein Enblem, das von den Achämeniden — freilich ohne das Bogenschießen — übernommen wurde. Statuen von Assur lassen sich nicht nachweisen. Ein einzigesmal ist von einer gestohlenen Sonnenscheibe von der Brust Assurs die Rede. Aber könnte dies nicht eben die Sonnenumrahmung des bogenschießenden Assur sein, der ja nur bis zur Brust erscheint? Also auch dies die Standarte?

Noch die armenische Kreuzkirche, die ihre Gestalt bis zum heutigen Tage nicht verändert hat, steht in der Mitte eines genau quadratischen Mauerzings (Abb. 9). Der Wehrcharakter dieser Kirchen kann nicht der Grund sein. Die verhältnismäßig niedrigen Mauern bieten einen schwachen Schutz, erinnern mit ihren Zinnen aber immer noch an die Umfassungsmauer der urartäischen Terrassen.

Die Kreuzkirche ist gleichsam der Umriß der ins Innere gezogenen vier Tore mit der jeweiligen Vorhalle, die zusammen ja bereits bei dem urartäischen Bau eine genaue Kreuzform ergaben. Erstaunlich ist hier nur der Abstand von tausend Jahren. Armenien wurde nach gelegentlichen Raub- und Plünderungszügen aus den nördlich angrenzenden Gebieten, die schon im 7. Jahrhundert nicht mehr zu Urartu gehörten, zu Beginn des 6. friedlich von den Medern besetzt. Sie haben — wie kurz nach ihnen die Achämeniden — die urartäische

¹⁴ H. HIRSCH: Untersuchungen zur altassyrischen Religion. Graz 1961.

Religion für verwandt gehalten, und das sicherlich mit Recht. Dadurch erklärt sich, daß sie in Armenien weder Inschriften noch Wandmalereien zerstörten. Sie haben lediglich aus vorgefundenen Säulentrommeln ihre *apadāna* errichtet. So werden die Halditore mit ihrem gewaltigen Giebeldach und den dicken Mauern noch Jahrhunderte hindurch aufrecht gestanden haben, umso mehr als sie sich zur Aufbewahrung des achämenidischen Kultsymbols nicht schlech-



Abb. 9. Blick auf Mzghetta

ter eigneten als die neu gebauten Viertore- und späteren Feuertürme. Das Feuer mußte noch weit mehr gegen die rauhe Witterung Armeniens geschützt werden. Die christliche Kirche hat klugerweise den Grundriß, den sie vorfand, übernommen. Da sie aber den Gottesdienst ins Innere verlegte, zog sie die Vorhallen in den Raum mit ein. So manche kleine armenische Kirche ist aus urartäischem Material geschichtet, in urartäischer Technik gebaut und steht sicherlich an der gleichen Stelle wie die Halditore.

Nicht weniger auffallend als Kult und Kultbau ist in Urartu aber der Wechsel der Tracht. Über die frühe Kleidung der Könige und des Hofes wissen wir nichts. Wir kennen hier nur die Soldaten. Zur Zeit Rusa I., dessen Regierung durch eine Rückkehr zu den alten Naturgöttern auffällt, kleidet sich der Hof assyrisch. Bereits sein Sohn aber — wenn wir das Relief in Herir für ein

Porträt Argisti II. halten können (Abb. 10) — trug sich iranisch. Und dies scheint bis zum Untergang des Reiches sich nicht geändert zu haben.

Kennzeichen der iranischen Tracht ist nach Herodot der Hut, wir würden freilich sagen: die Mütze (VII 61 2). Er nennt die Kopfbedeckungen der Perser und Baktrer, deren Ausstattung aber genau der der Meder und Arier gleicht *πίλους ἀπαγέας*, weiche Hüte. Im Gegensatz dazu tragen die skythischen Saken spitze steife Hüte: *κροβάσας ἐς ὀξὺν ἀπηγμένας ὀρθάς*.



Abb. 10. Oberteil der Skulptur von Herir-Batas (nach Lehmann-Haupt, Armenien einst und jetzt)

Der Kinnschutz wird bei ruhiger Bewegung mit einer Schleife auf dem Kopf zusammengebunden. Bei schnellem Reiten wäre die Mütze, hätte man sie nicht unter dem Kinn festgebunden, davongeflogen.

Wir machen uns für gewöhnlich nicht klar, welch ein Einbruch in die Vorstellungswelt des Vorderen Orients diese Art der Kopfbedeckung bedeutet. Man kennt den Helm und die Perücke, aber nicht Mütze und Hut. Das Reiten stellt eben besondere Bedingungen: den kurzen oder vorn offenen Rock (Abb. 12) und den Schutz der Beine durch Hosen oder hohe Schnürstiefel. Natürlich hatten auch die Assyrier um diese Zeit bereits das Reiten gelernt und die Kleidung ihrer Soldaten der der Nachbarvölker angeglichen. Der Unterschied ist aber der, daß bei ihnen Hof- und Soldatentracht unterschieden wird, während es sich bei den iranisch gekleideten urartäischen Gesandten am Hofe des Assurbanipal um die Hoftracht handelt. Da der Hof zur Zeit Rusa I. assyrisch gekleidet ging, muß man diesem Wechsel eine große Bedeutung beilegen. Hier spiegeln sich deutlich die beiden Parteien der verschiedenen Volksteile wider: die im Vorderen Orient seit alters ansässigen hurritisch-urartäischen Volksteile mit ihren Naturgöttern, und die noch kaum wirklich seßhaften Reitervölker

mit ihrem Stammesgott, den sie lediglich als Standarte, aber niemals in bildlicher Darstellung verehren.

Können wir nun die Konzessionen an die iranischen Elemente des urartäischen Staates auch auf ihr Verhältnis zu den Kimmerien beziehen. Bestand ein Bündnis mit ihnen? Doch wohl kaum. Wenn Rusa II. mit ihnen nach Kleinasien zieht, so geschah dies schwerlich freiwillig. Es waren ja immer neue Scharen, die an den Grenzen Urartus vorbeibrandeten. Übergriffe wie die Nieder-



Abb. 11. Tributbringer aus Persepolis

brennung des Karmir Blur werden an der Tagesordnung gewesen sein. Es bedeutete nicht viel. Der starke Arinberd in Erebuni widerstand ihnen. Man befestigte die nördliche Grenze bis kurz vor Toresschluß. Wir wissen es von Argistichinili, dem heutigen Armavir, der stärksten Festung des Nordens. Das ganze weite Land nördlich der Straße Sevanga-See bis Erzerum war damals an die Reitervölker verloren. Man war nicht einmal sicher, ob man diese nördliche

Straße auf die Dauer würde halten können, denn man befestigte vorsichtshalber die südlichere Straße, die am Nordufer des Vansees entlang ebenfalls nach Kleinasien und Syrien führt, auf eine unheimliche Weise. Daß diese Anstrengungen in der Tat nützten, zeigt die friedliche Besetzung des Landes durch die Meder nach dem Zusammenbruch des urartäischen Königshauses, dessen Schwäche sich durch den raschen Wechsel der letzten Könige dokumentiert, von denen wir nur zufällig einige — wenngleich schon zu viele! — kennen.



Abb. 12. Urartäische Gesandte am Hof des Assurbanipal (nach Layard: *Monuments of Niniveh*. I. 1853)

Die Tracht, die die Urartäer trugen, war die der neuen Eroberer. Die Urartäer scheinen sich in Abwehr gegen die nördlichen Reitervölker anscheinend schon geraume Zeit hindurch auf die medischen Nachbarn im Südosten gestützt zu haben. Daß sie sich im Endkampf gegen die Assyrer und für die Meder entschieden, erfahren wir aus der Bibel. Sicherlich hat dies der zurückgebliebenen Bevölkerung vieles Blutvergießen erspart. Die Unterwanderung in den nächsten Jahrhunderten durch die Phryger war unmerklich, wenn auch stetig. Auch hier begegnen wir nirgends Spuren der Zerstörung. So kommt es,

daß die Armenier die urartäische Überlieferung ganz einfach für die eigene halten, es gibt hier scheinbar keinen Bruch. Den größten Vorteil daraus bezog das Christentum, das sich hier früher und ungestörter ausbreiten konnte als im Westen. Die hohe Kultur, die es in Armenien entfaltet, können wir noch heute in vielen Sonderzügen der armenischen Kirche beobachten. Das Hauptgewicht liegt hier freilich auf dem etwas weiter südwestlich gelegenen Edessa-Urfa. Gerade hier haben sich alte Vorstellungen erhalten, die den Bergländern entstammen und dort verschwunden sind. Aber diese Fragen gehören schon in die Byzantinistik. In jedem Fall sind es die iranischen Elemente gewesen, die dem Christentum in Vorderasien den Boden bereitet haben.

Leipzig.

М. ЧИКОВАНИ

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГРЕЧЕСКОГО МИФА О ПРОМЕТЕЕ И КОЛХИДО–ИБЕРИЙСКОГО СКАЗАНИЯ О ПРИКОВАННОМ К КАВКАЗСКОМУ ХРЕБТУ АМИРАНИ

Эпическая изустная традиция, как это видно на многовековом пути развития художественного творчества, занимает почетное место в истории культуры народа. Появление широких эпических полотен всегда обусловливается историческим развитием фольклорных жанров, острыми общественными конфликтами. Эпос — явление сравнительно более позднее, чем другие виды искусства, причем отдельные образцы его (мифологический, героический, любовный, исторический) возникают в определенной последовательности. Произведения с особенно сложной структурой — самой поздней формации, что же касается баллад сюжетного характера, то они предположительно могли зародиться на первоначальной ступени развития фольклора.

Для возникновения и развития эпоса свойственны определенные закономерности, отличные, скажем, от своеобразностей лирической или драматической поэзии. Стремление разыскать такие закономерности вообще характерно для фольклористики последнего времени. Активизация проблемы эпоса ощущается в трудах как советских, так и зарубежных фольклористов и мифологов. Здесь следует обратить внимание на два аналогичных явления.

Давно уже в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук Союза ССР функционирует отдел по изучению народного эпоса, но совсем недавно, в июле 1964 г., при участии Лондонского университета, научно-исследовательских институтов Великобритании был создан «Лондонский семинар по изучению эпоса» с широкой исследовательской программой. Мероприятия, проводимые советскими и английскими учеными, сами по себе свидетельствуют о важности изучения эпоса, с точки зрения как имманентного для данного жанра, так и общего художественного процесса, а также с позиций культурно-исторических взаимосвязей.

Следует также добавить, что проблемы эпического творчества занимали далеко не последнее место в программах международных форумов, состоявшихся за последнее время. Для примера укажем на XXVI международный конгресс ориенталистов в г. Дели и на VII международный конгресс антропологов и этнографов в Москве, состоявшиеся в 1964 г. Являясь участником обеих встреч, автор этих строк имел возможность высказать свое мнение по ряду проблем.

В первом докладе мы рассматривали со сравнительной точки зрения сюжет о герое, ищущем бессмертия, по сказаниям о Гильгамеше и Амირани, о мудрости Варлаама и Иоасафа, а также по записанной в XVII в. грузинской сказке о юноше, ищущем бессмертия;¹ во втором докладе был освещен замечательный памятник древнего классического эпоса на тему об Амირани.² Этот доклад также касается цикла эпических произведений, только в другом аспекте.

Указанные работы касаются, главным образом, древнего грузинского эпоса и его отношения к эпосу других народов. Конечно, устная словесность одного народа или даже группы народов не может представить универсальной картины фольклорного процесса, пригодной для характеристики устной словесности всех народов. Несмотря на это, мы все же предполагаем, что историческое изучение таких древних эпосов, как сказания об Амირани, Гильгамеше и др., все же дает некоторую возможность учитывать общий процесс эпического творчества. Начав с анализа грузинского фольклорного сюжета, мы постепенно расширяем область исследования от фольклора на картвельских языках (грузинском, мегрельском, сванском, чанском) к Кавказским (абхазскому, адыгейскому, осетинскому), а затем для сравнения обращаемся к армянскому, славянскому, шумеро-аккадскому и античному эпосу и мифологии.

Автор данной работы задался целью заострить внимание на мифе о Прометее и высказать предварительные соображения по поводу того, какое место должен был занимать любовный мотив в этом замечательном памятнике античной мифологии, еще до его литературного оформления. В плеяде героев, подвергнутых каре, Прометей занимает первое место. Среди известных прикованных титанов ближе всего к Прометею по своему сюжету и философской концепции находится богоборец Амირани, прикованный к кавказскому хребту. Это сказание оказалось более древнего происхождения, нежели сам греческий миф. Эти вековые образы являются художественными двойниками, имеющими независимую историю.³ Несмотря на это, греческий миф все же в каких-то рамках соприкасается с колхидо-иберийскими сказаниями, что свидетельствует о связях античного мифа с колхидо-иберийским культурным миром. В древнейших версиях греческого мифа отсутствуют эпизоды приковывания к Кавказскому хребту (Гесиод) и заключения героя в пещеру (Гесиод, Эсхил). Видимо, на ранней ступени эти эпизоды не присутствовали в мифе и проникли в него позднее, когда греческие колонисты

¹ М. Я. Чиковани: Сюжет ищущего бессмертия юноши в древнем фольклоре и литературе. XXVI международный конгресс востоковедов. М., 1963.

² М. Я. Чиковани: Образ прикованного героя Амირани в колхидо-иберийском фольклоре. VII международный конгресс антропологических и этнографических наук, М., 1964.

³ М. Я. Чиковани: Прикованный Амირани, 1947. Стр. 124—32; его же: Грузинский эпос, 1. 1959. (Стр. 197—206 (на груз. яз.); его же: Амირаниани. 1960. Стр. 132—137.

познакомились с эпосом и мифологией колхских племен — аборигенов черноморского побережья.⁴

В самом героическом сказании об Амирани мотив заключения в пещеру занимает большое место, как отмечалось в более ранних работах⁵ (Дици, Чилоу, Гергети, Эльбрус, Мамисони, гора Амирани вблизи Ахалкалаки).

Интересно установить, какое место занимают любовные приключения в сюжете героев, наказанных по воле всевышнего божества. Здесь же следует отметить, что в известных нам филиппинских, индонезийских, тибетских и греческих сюжетах прикованных героев любовный мотив не играет никакой роли.

С точки зрения любовных приключений сказание об Амирани стоит особняком. Огромное большинство записей колхидо-иберийских преданий, относящихся как к XII,⁶ так и к XIX и XX векам,⁷ повествуют о любовных отношениях между дочерью повелителя туч Камар и Амирани. Герой грузинского сказания Амирани сперва заочно влюбляется в «находящуюся за рекой девушку», затем разыскивает ее в неприступной башне и похищает. В конце концов Амирани терпит поражение в единоборстве с отцом Камар — повелителем туч. Согласно некоторым вариантам, возлюбленная Амирани продолжает ждать его и после того, как он был прикован к Кавказскому хребту.⁸ Структурный анализ показывает, что сюжет Камар занимает центральное место в героико-романтических приключениях Амирани. Характерно, что Амирани похищает с небес деву Камар-красавицу, а Прометей — огонь. Первый закладывает основу парной семьи, а второй дарует людям огонь — основу цивилизации. Правда, похищение Камар в сказании об Амирани не исключает эпизода добывания огня. Амирани так же, как Прометей, приносит огонь, но не в том порядке и не из того места. Следовательно, похищение красавицы, т. е. любовный эпизод характерен для колхидо-иберийского сказания, причем имеет место и в древнейшей структуре сюжета.

Как обстоит дело в этом отношении у греческого двойника? Ни Гесиод, ни Эсхил ничего не рассказывают о любви Прометея. У обоих писателей Прометей наказан за похищение огня. Появление же кокетливой Пандоры не имеет непосредственной связи с приключениями титана. Следовательно, античные искусство и литература VIII-V вв. не знали эпизода любви Прометея. Такой вывод, однако, справедлив лишь для определенной ступени развития греческого мифа. Он касается его литературной обработки, причем

⁴ М. Я. Чиковани: Прикованный Амирани. 1947. Стр. 46—47; его же: Амираниани, 1960. Стр. 37—38; его же: Образ..., стр. 5.

⁵ А. Олрик: Вагнарбк. 1922, Стр. 229.

⁶ М. Хонели, Амиран — Дареджаниани, перев. с грузинского Б. Абуладзе. Тбилиси, 1965.

⁷ М. Я. Чиковани: Прикованный Амирани. 1947; №№ 2, 21, 24, 27.

⁸ Там же, стр. 350.

только периода VIII-V вв. В дальнейшем же положение изменяется, и именно на этом мы хотим специально заострить внимание.

В греческой литературе V века до н. э. и ранее причиной наказания Прометея являлось похищение огня. Такое объяснение считалось настолько общепринятым, что комментатор «Похода аргонавтов» Апполония Родосского — писатель более поздней эпохи, III века до н. э., — без колебания указывает: «Гесиод говорит, что Прометей был заключен в оковы и орел наслан на него за похищение огня.»⁹ Хотя из этого же комментария видно, что такое объяснение не было единственным. «По словам же Дуриса — за то (был наказан), что он влюбился в Афину; вследствие чего обитатели Прикавказья не приносят жертв только Зевсу и Афине за то, что они были виновниками наказания Прометея, и, напротив, чрезвычайно чтут Геракла за убиение им орла. Естественно, и Аполлоний, дойдя в своем повествовании до Кавказа, упомянул и об этом.»¹⁰

Как известно, Аполлоний Родосский подробно описывает страдания и печаль Прометея, который видит летящего к Кавказским горам орла вблизи устья Фазиса (нынешнего Риони). Хорошо осведомленный комментатор в объяснении причин наказания противопоставляет сведения Гесиода второму источнику, сохранившемуся в сочинении Дуриса: причина наказания титана состоит не в похищении огня с неба, а в любовной связи Прометея с Афиной и мести Зевса. «Любовь к Афине» упоминается в одной фразе, но из контекста все же чувствуется, какое важное место должен был занимать этот мотив в сюжетной ткани мифа. Видимо, он является одним из главных эпизодов.

Можно ли считать «любовь к Афине» случайной конъектурой и не учитывать ее при исследовании мифа? Нет, нельзя. Для опровержения Гесиода ссылка на любовный мотив уже свидетельствует о том, что по греческому мифу в древней народной версии имелся сюжет любовных отношений Прометея и Афины, получивших, повидимому, огласку и ставших настолько общеизвестными, что они дошли до ушей Зевса. Последнему не оставалось ничего другого, как наказать титана с помощью орла. Надо полагать, что в долитературной, народной структуре мифа любовь Прометея к Афине занимала приблизительно такое же место, какое в грузинском сказании уделено любви Амирани и Камар. Тот факт, что любовь к Афине в мифе о Прометее занимала немаловажное место, подтверждается и тем, что указанием именно на этот мотив схолиаст пытается объяснить непопулярность Зевса и Афины на Кавказе, мотивируя этим отсутствие жертвоприношений в честь Зевса, и угрозы орлам. На Кавказе орла считали врагом людей. На этой почве возник даже определенный обычай. Филострат (III век) пишет: «А птицу орла обитатели Кавказа считают врагом, и гнезда, которые орлы устраивают

⁹ В. В. ЛАТЫШЕВ: Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. ВДИ № 3, 1947, стр. 291, § 1249.

¹⁰ Там же, стр. 291.

на скалах, сожигают посредством огненосных стрел, ставят также и западни на них, объясняя все это мстью за Прометея: до такой степени уверены они в справедливости предания» (ВДИ, № 2, 1948, стр. 294).¹¹ Действия, переросшие в обычай, сохраняют значение неопровержимого документа; тем более, что на такую традицию указывают писатели, которых отделяют друг от друга шесть столетий.

Таким образом, мы заключаем: в долитературной структуре греческого мифа существовал любовный мотив, выражавшийся в любви к богине. Любовь эта, видимо, не была односторонней, поскольку из-за Афины Зевс жестоко наказал Прометея, приковав его к далекому Кавказскому хребту и послав орла клевать его сердце и печень.

У Зевса был и другой повод для враждебного отношения к Прометею, также носивший любовный характер. Для ясности достаточно вспомнить одно сведение схолиаста.

Зевс, оказывается, был влюблен в Фетиду и хотел овладеть ею. Богиня бежала от преследовавшего ее бога. Но когда Зевс достиг Кавказских гор и ему уже немного оставалось до удовлетворения своего желания, путь ему преградил прозорливый Прометей. Титан сообщил повелителю Олимпа, что его сын от Фетиды окажется сильнее своего отца. Сообщение об ожидаемом сопернике испугало Зевса, который поспешно покинул эти края.¹²

Теперь естественно возникает вопрос: если в древней редакции мифа о Прометее имел место любовный мотив, то почему не включили его в свои произведения Гесиод и Эсхил? К сожалению, мы пока еще не располагаем необходимыми письменными источниками для того, чтобы дать исчерпывающий ответ на этот вопрос.

В связи с этим мы допускаем несколько возможностей.

1. В античной Греции (VIII-V вв. до н. э.) миф о Прометее был распространен в нескольких вариантах. Различия между вариантами создавались мотивами похищения огня и любви к Афине. (Подобные сюжеты и поныне существуют на грузинском языке в сказаниях о прикованном Амირани.) Греческие писатели и поэты использовали старинное предание и подвергли его значительной переработке. В то же время в основу своих произведений они положили именно ту версию, в которой главным узлом являлось похищение огня. Добывание огня считалось более возвышенным общечеловеческим идеалом, чем похищение солнце-девы и создание парной семьи.

2. Гесиод и Эсхил не внесли в миф существенных изменений и сохранили древний сюжет.

¹¹ М. Я. Чиковани: Грузинский эпос, 1, стр. 95; В. В. Латышев: ВДИ, № 2, 1948, стр. 294.

¹² В. В. ЛАТЫШЕВ: Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. ВДИ, № 1, 1947, стр. 284.

3. Сведения о любовном мотиве стали связывать с именем Прометея позднее, в частности после того, как осведомленные комментаторы попытались дать убедительное объяснение приковыванию титана и ознакомились с аналогичным преданием в Колхиде и ее окрестностях.

На основе высказанных предположений читатель уже мог заметить, что мы предпочтительнее относимся к первой возможности, и принимаем ее в качестве рабочей гипотезы.

Современная сравнительная мифология и фольклористика признают, что миф о Прометее заимствовал некоторые черты у грузинско-колхского предания об Амирани,¹³ и что изучение взаимоотношения этих вековых образов является плодотворной проблемой.¹⁴ Амирани, подобно Прометею, представляется в роли «культурного героя».¹⁵ Сюжет прикованного героя не является исключением. Связь античной мифологии с древней Колхидой проявляется и в других произведениях.¹⁶

Тбилиси.

¹³ И. ТРЕНЧИНИ-ВАЛЬДАПФЕЛЬ: Мифология, пер. с венгерского, 1959, стр. 43.

¹⁴ D. M. LANG: Amiraniani. A Georgian epic. Folklore. Vol. 73. Sp. 1962, стр. 59—61.

¹⁵ М. МЕЛЕТинский: Происхождение героического эпоса. М., 1963, стр. 224.

¹⁶ А. В. УРУШАДЗЕ: Древняя Колхида в сказании об аргонавтах, Тбилиси, 1964 (на груз. яз.).

L. CASTIGLIONE

DIE DISKOBOLIA—EIN AGRARRITUS?

NULLA SECTA EST, QUAE OMNE VIDIT VERUM,
NULLA QUAE NON ALIQUID EX VERO.
H. GROTIUS

Die Diskobolia¹ zählt zu den ältesten athletischen Übungen der Griechen. Wir begegnen ihr mehrfach in den homerischen Gedichten, nicht nur als Zeitvertreib und Kraftprobe der Männer und Krieger,² sondern dem Diskoswurf auch als Längenmaß.³ Als Zweig der körperlichen Übungen der Krieger tritt sie gemeinsam mit dem Speerwerfen und Bogenschießen auf, es liegt daher auf der Hand, ihren Ursprung mit dem Werfen der primitivsten Wurfgeschosse, von Steinen, von schweren Gegenständen zu verknüpfen. Demnach verstand man unter dem fortgeschleuderten Gegenstand, dem Diskos,⁴ ursprünglich jede Art von natürlichen Steinen oder anderen schweren Gegenständen, während sich das scheibenförmige Schleudermittel ausschließlich für athletische Zwecke erst später ausgebildet hat.⁵

Das Diskoswerfen ist also praktisch aus einer der einfachsten Handlungen des Krieges und der Jagd abzuleiten. Doch gilt dies nicht von seinem Werkzeug, dem scheibenförmigen Diskos. Dessen Ursprung kann sich keinesfalls mit der Praxis des Schleuderns für kriegerische oder jagdliche Zwecke decken. Scheibenförmige Wurfgeschosse sind unseres Wissens bei keinem Volk zu finden. Außerdem ermöglicht die klassische Art der Diskobolia⁶ nur die Erhöhung der Wurfentfernung und schließt das Zielen sozusagen aus. Die scheibenförmige Gestalt des Diskos konnte sich also praktisch nur in Hinblick auf den besseren Griff oder auf die leichtere Bewegung in der Luft entwickeln. Doch gerade dies wirft ein weiteres Bedenken auf. Wie bekannt, ist es ein Kernproblem der Technik des Diskoswerfens, die Art zu finden, um das Kippen und Wirbeln der Scheibe zu vermeiden. Die Scheibe ist keineswegs die einzige

¹ P. STENGEL: Die griechischen Kultusaltertümer. München 1898. 182; JÜTHNER: Diskobolia. RE V (1903) 1187 f.; E. N. GARDINER: Throwing the Diskos. JHS 27 (1907) 1 ff.; derselbe: Athletics of the Ancient World. Oxford 1955 154 ff.

² Ilias II 774, XXIII 826 ff.; Odysseia IV 626, VIII 97 ff., XVII 168.

³ Τὰ δίσκουρα: Ilias XXIII 431, 523; Od. VIII 129, 186. Vgl. N. E. GARDINER: JHS 27 (1907) 1.

⁴ JÜTHNER: Diskos. RE V (1903) 1188 f.; E. N. GARDINER: op. cit. 5 f.

⁵ E. N. GARDINER: Athletics. Oxford 1955 26 f.

⁶ Siehe die zitierten Werke von GARDINER.

noch auch die natürlichste Form des athletischen Wurfgeschosses. Das einfachste Wurfwerkzeug ist die auch heute noch übliche Kugel, falls der Wurf durch Stoßen geschieht; wenn hingegen die Schleuderkraft durch Drehung und Schwingung erzeugt wird, wäre ein mit einem Stiel versehener Gegenstand oder so ein aufgehängtes Gewicht vorzuziehen, wie es das Werkzeug des modernen Hammerwerfens ist.

Es sei betont, daß sich bei der Ausbildung der Praxis des Diskoswerfens und der Gestalt des Diskos die Rolle der praktischen Elemente keineswegs ausschließen läßt. Trotzdem halten wir die praktische Erklärung nicht ohne weiteres ausreichend und evident. Der Grund unseres Zweifels liegt weniger in den wunden Punkten dieser Erklärung, als vielmehr in den positiven Faktoren, die uns dazu zwingen, einen völlig anderen, nämlich den religionshistorischen Gesichtspunkt zu prüfen.

Die Diskoi des homerischen Zeitalters hatten allen Anzeichen nach keine ausgebildete Gestalt.⁷ Archäologische Daten besitzen wir jedenfalls erst seit dem 6. Jahrhundert v. u. Z. und diese bezeugen, daß der älteste ständige typus, den wir kennen, eine dicke Steinscheibe war,⁸ während sich gegen Ende des Jahrhunderts allgemein der Gebrauch des dünneren Bronze-Diskos verbreitete. Der rituelle Gebrauch und die kultische Bedeutung der Scheibe ist uns aber schon aus viel früheren Zeiten und in universeller Verbreitung bekannt.

Es ist eine allbekannte Tatsache, daß die Scheibe als das Bild und Symbol der Sonne von dem Neolithikum an sozusagen in allen Religionen der Erde zu den wichtigsten kultischen Zeichen zählte. Besonders groß war die Rolle dieses Symbols in jenen urzeitlichen Gesellschaften, deren Leben auf Ackerbau und Viehzucht basierte. Es genüge, neben der griechischen Religion⁹ auf die solare Symbolik des Alten Orients, von Ägypten,¹⁰ Mesopotamien¹¹ und Iran,¹² sowie der Völker der europäischen Bronzezeit¹³ zu verweisen. In der Religion der

⁷ Das zeigt z. B. der Gebrauch des Wortes *σάκος* in demselben Sinne, vgl. E. N. GARDINER: *Athletics*. Oxford 1955. 154; derselbe: *JHS* 27 (1907) 1,5.

⁸ E. N. GARDINER: *JHS* 27 (1907) 1; derselbe: *Athletics*. Oxford 1955. 154 ff. Abb. 112 f.

⁹ RAPP: *Helios*. *ML* I. 2 (1886—90) 1996 f.; FR. MARX: *Aktaion und Prometheus*. *Ber. Sächs. Ges. d. Wiss.* 58. Leipzig 1906. 116. — Nach Maxim. Tyr. VIII 8 verehrten die Päonier Helios in der Gestalt einer Scheibe auf einer Stange, vgl. J. E. HARRISON: *Themis*. Cambridge 1927. 465, 524.

¹⁰ F. BOLL: *Die Sonne im Glauben und in der Weltanschauung der alten Völker*. *Kleine Schriften zur Sternkunde des Altertums*. Leipzig 1950. 89 ff.; H. BONNET: *Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*. Berlin 1952. 59 ff., 729 ff.

¹¹ F. BOLL: *op. cit.* 87 f.

¹² Allgemein bekannt ist der Ahuramazda-Typus der achämenidischen Kunst, der sich aus dem ägyptischen Bild der beflügelten Sonnenscheibe entwickelt hatte, vgl. R. GHIRSHMAN: *Iran*. Harmondsworth 1961. 160 f.

¹³ E. LOHSE: *Versuch einer Typologie der Felszeichnungen von Bohuslän*. Leipzig 1934. 19 ff.; J. DE VRIES: *Altgermanische Religionsgeschichte*. Berlin 1935. I. 129; C. A. ALTHIN: *Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichnungen von Skane*. Lund 1945. 188 ff., 193 ff. — Das hervorragendste Denkmal ist der Sonnenwagen von Trundholm: C. CLEMMEN: *Urgeschichtliche Religion*. I. Bonn 1932 111 ff.; II. KÜHN: *Die vorgeschichtliche*

Urgesellschaften und der antiken Völker kommt die Sonnenscheibe nicht nur als abgebildetes Zeichen, sondern auch als kultischer Gegenstand vor. Beispiele dafür sind u. a. der Inschriftendiskos von Phaistos,¹⁴ der bronzene, ebenfalls beinschriftete Diskos von Kyme aus dem 7. Jahrhundert v. u. Z.,¹⁵ die Scheiben des Juppiter-Kultes zu Iguvium,¹⁶ sowie die aus der literarischen Überlieferung bekannten Bronzescheiben des römischen Semo-Sancus-Heiligtums.¹⁷ Diese letztgenannten Scheiben wurden, aus dem Erlös der Vermögen von Meineidigen, der Gottheit geweiht, die über die Eide wachte. In keinem dieser Fälle kann es sich um Opfergeschenke handeln, die mit den athletischen Spielen zusammenhängen. Die kultischen Diskoi sind genetisch unbedingt älter als jene, die bei den Spielen gebraucht und geweiht wurden.¹⁸ Zu beachten ist auch, daß bei manchen der als Votivgaben dargebrachten Spiel-Diskoi bzw. Diskosmodelle die Ornamentik auf die solare Symbolik hinweist,¹⁹ was nicht aus der Ideenwelt der athletischen Spiele ableitbar ist. Es scheint also, daß die Diskoi des griechischen Sportes unter den Einfluß der kultischen Diskoi kamen. Das Gegenbeispiel dafür ist es andererseits, daß der Name *Diskos* selbst von der Wurfscheibe auf die Sonnenscheibe übergang²⁰ und sich in dieser Bedeutung derart einbürgerte, daß wir das Wort auch als Personennamen bei den eponymen Helios-Priestern von Rhodos antreffen,²¹ mit zweifelloser Anspielung auf den Sonnengott.

Dies würde aber noch nicht hinreichen, um im Diskoswerfen ein kultisches Element zu vermuten, falls wir nicht von Riten wüßten, in denen das Schleudern der Scheibe eine wichtige Rolle spielt. Es handelt sich um jene, hauptsächlich aus dem indoeuropäischen Kreis bekannten Bräuche, bei denen Scheiben oder Räder in die Luft geschleudert, auf dem Boden gewälzt oder, noch feierlicher, in Prozessionen umhergetragen wurden.²² Der Sinn dieses

Kunst Deutschlands. Berlin 1935. 529 Taf. VII; J. DE VRIES: op. cit. 132 ff.; C.-A. ALTHIN: op. cit. 242 f. — Die Darstellung der Sonnenscheibe ist schon aus dem Neolithikum bekannt, vgl. O. ALMGREN: Nordische Felszeichnungen als religiöse Urkunden. Frankfurt 1934. 227; J. DE VRIES: op. cit. 105.

¹⁴ A. GUTH: Zum Diskus von Phaistos. Arch. f. Relw. 33 (1936) 282 ff.

¹⁵ M. GUARDUCCI: Appunti di epigrafia greca arcaica. Archaeologia Classica XVI (1964) 136 ff. Taf. XLI Abb. 1.

¹⁶ W. WARDE FOWLER: Roman Festivals. London 1899. 139; F. ALTHEIM: Römische Religionsgeschichte. Berlin—Leipzig 1931. 103; R. PETTAZZONI: S. Anm. 17.

¹⁷ F. ALTHEIM: op. cit. 103; R. PETTAZZONI: La ruota nel simbolismo rituale di alcuni popoli indoeuropei. Studi e materiali di storia delle religioni. XXI (1947—48) 124 f., 135 passim; K. LATTE: Römische Religionsgeschichte. München 1960. 127 bezweifelt den symbolischen Sinn der Bronzescheiben. Die Skepsis scheint nicht begründet zu sein, nachdem es allgemein bekannt ist, daß in der Antike die Sonne, die alles sieht, als Wächter des Schwures galt; vgl. RAPP: op. cit. 2020.

¹⁸ E. N. GARDINER: JHS 27 (1907) 6.

¹⁹ E. N. GARDINER: op. cit. 7; Öjh II. 201, Taf. I.

²⁰ U. a. Plut., plac. philos. 24.

²¹ IGIns I 1122; KIRCHNER: RE V (1903) 1188; W. PAPE—G. BENSELER: Wörterbuch der griechischen Eigennamen. I. Graz 1959. 314.

²² W. MANNHARDT: Wald- und Feldkulte. I. Berlin 1875. 430, 455 f., 465 f., 497 f., 500 ff., 507 ff., 519, 521, 536 f., 565; J. G. FRAZER: The Golden Bough.² III. 267, passim;

Agrarritus, der am Johannestag, allgemein um die Sonnenwende stattfand, ist völlig klar: die imitierende Heraufbeschwörung des Laufes und der Drehung der Sonne und der Jahrzeiten geschah, um die Kraft des belebenden und reifespendenden Himmelskörpers zu erhöhen, bzw. um die normale Wiederkehr der Jahreszeiten zu sichern. Der Ursprung des Brauches dürfte sehr weit zurückliegen, seine Darstellung kennen wir jedenfalls schon aus den Felsenzeichnungen der Bronzezeit.²³ Die Bedeutung dessen liegt für uns weniger darin, daß dabei die Scheibe die Sonne vertritt, da wir dafür auch sonst unzählige Belege haben,²⁴ als vielmehr darin, daß es ein Element des Ritus bildet, die Scheibe bzw. das Rad zu bewegen,²⁵ ja in die Luft zu schleudern, also den Himmelsweg der Sonne symbolisch nachzuahmen. Der Urritus in den Bräuchen der indoeuropäischen Völker entspricht also in dieser Form genau der Handlung der *Diskobolia*. Es fragt sich nur noch, ob man diese formelle Übereinstimmung als das Zeichen eines tieferen kultischen Zusammenhanges auffassen darf.

Die Antwort ergibt sich aus den auf das Diskoswerfen bezüglichen griechischen Mythen. Wie bekannt, erscheint das Diskoswerfen in drei Mythen als todbringender Wurf:²⁶ mit der Wurfscheibe wurden Hyakinthos von Apollo,

S. REINACH: Cultes, mythes et religions. IV. Paris 1912. 49 f.; J. E. HARRISON: Themis. A Study of the Social Origins of Greek Religion. Cambridge 1927. 199; C. CLEMEN: Urgeschichtliche Religion. I. Bonn 1932. 114, 121; Altgermanische Religionsgeschichte. Bonn 1934. 77; O. ALMGREN: op. cit. 83 ff.; J. DE VRIES: op. cit. 302 f.; FR. HEILER: Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Stuttgart 1961. 51. — Mit diesem Ritus läßt sich eine der hervorragendsten Gottheiten der keltischen Religion in Zusammenhang bringen, die mit Rad-Attribut dargestellt wurde, vgl. J. DE VRIES: Keltische Religion. Stuttgart 1961. 31, 34 ff. Man darf das Fortleben dieser Gottheit hinter der Gestalt Mog Ruith («magus rotarum») in der irischen Legende vermuten, vgl. E. HULL: Folklore of the British Isles. London 1928. 184 ff. — M. RIEMSCHEIDER: Rad und Ring als Symbol der Unterwelt. Symbolon 3. 46 ff., hebt den chthonischen Charakter des Ritus hervor, indem sie auf die universale Totensymbolik des Rades, des Kreises und des Ringes hinweist. Wir halten zwar die These von M. RIEMSCHEIDER für übertrieben einseitig, aber wir möchten dennoch hervorheben, daß das Rad, besonders das rollende Rad in dem Ritus, unserer Meinung nach keineswegs bloß ein Sonnensymbol darstellt, sondern es ist auch ein Sinnbild des Herumgehens der Jahreszeiten und der in sich selbst wiederkehrenden Bewegung des Lebens. Richtig hat darauf auch schon J. E. HARRISON (6 op. cit. 523 ff.) hingewiesen. Das Anzünden des Rades und der Scheibe läßt jedoch schon eindeutig an die Sonne denken. Wir können uns hier nicht anheischig machen, um auch den Zusammenhang zwischen dem brennenden Rad in den europäischen Riten und dem Attribut des indischen Gottes Vishnu eingehender zu erörtern. Über das Rad des Vishnu siehe G. JOUVEAU-DUBREUIL: Iconographie du Sud de l'Inde. Paris 1914. 62 ff.

²³ C. CLEMEN: Urgeschichtliche Religion. I. Bonn 1932. 112 ff.; O. ALMGREN: op. cit. 87 ff.

²⁴ Z. B. Sonnenzauber mit Hilfe der Scheibe in Neu-Kaledonien: J. G. FRAZER: Golden Bough. Part I. Vol. I. London 1911. 313. — Im allgemeinen: R. PETTAZZONI: op. cit. 124 ff.

²⁵ W. CALAND: Das Rad im Ritual. ZDMG 53 (1899) 700 f. E. HULL: op. cit. 183 ff. — Ein Blumenrad zu machen anläßlich des Frühlingsfestes ist nicht nur in Europa, sondern auch in Indien Brauch, vgl. W. MANNHARDT: op. cit. 552, Anm. 4.

²⁶ JÜTHNER: Diskobolia. RE V (1903) 1187. — Es bleibe hier nicht unerwähnt, daß wohl auch ein anderes mythisches Motiv, die auf den Berg hinauf gerollte Steinscheibe des Sisyphos, wahrscheinlich aus dem erwähnten Ritus entstammt; vgl. J. E. HARRISON: op. cit. 454, 529 f. Abb. 151; M. RIEMSCHEIDER: Augengott und heilige Hochzeit. Leipzig 1953. 278.

Akrisios von Perseus, Phokos von Peleus und Telamon getötet. Auf die kennzeichnendste Parallele der drei mythischen Diskoswürfe, auf das Motiv des Todes, kommen wir noch zurück. Abgesehen davon ist uns von den beiden letzteren Mythen recht wenig bekannt. Der Mythos des Phokos, der einem Brudermord zum Opfer fiel,²⁷ und das darin enthaltene Motiv des mythischen Diskoswerfens dürfte im 6. Jahrhundert v. u. Z. literarische Form erhalten haben,²⁸ was die alte Herkunft des Motivs auch dann beweist, wenn es in diesem Fall keinen unmittelbaren ritualen Kern haben sollte, sondern sich als Übernahme oder dichterische Erfindung erwiese. Die tödliche Diskobolia des Perseus-Mythos²⁹ bietet schon tieferen Einblick in die religiösen Grundlagen des Motivs, weniger dadurch, daß diesem Zusammenhang Perseus als Erfinder der Diskobolia gilt, sondern weil sich hinter der Gestalt des Perseus allem Anschein nach ein archaischer Himmels- und Gewittergott birgt.³⁰

Am bedeutsamsten für uns ist jedoch die berühmte Diskobolia der Hyakinthos-Sage. Wie bekannt, ist Hyakinthos³¹ eine uralte, vorgriechische Gottheit, deren Kult zu Amyklai bis in das 2. Jahrtausend v. u. Z. zurückreicht,³² und viel älter ist als derjenige des Apollo. Das archaische Alter des Kultes zeigt sich an dem Charakter der Gottheit. Seit E. Rhode, und vornehmlich auf Grund der hervorragenden Auslegung S. Eitrem's wissen wir bestimmt, daß Hyakinthos ein chthonisches Numen war, dessen Verehrung formell übereinstimmende Züge mit dem Heros-Kult aufweist.³³ Mehrere andere Züge verknüpfen ihn dabei mit jener Gruppe der chthonischen Gottheiten, die man als sterbende Götter zu bezeichnen pflegt.³⁴ Mehrere Elemente seines Mythos

²⁷ Schol. Eur. Andr. 678; Schol. Pind. Nem. V 25; Ovid. Met. XI 266 ff.

²⁸ H. J. ROSE: A Handbook of Greek Mythology. London 1953. 260, Anm. 18.

²⁹ JÜTHNER: Diskobolia. RE V (1903) 1187; H. J. ROSE: op. cit. 273; Paus. II 16, 2; Apollod. II 4,4. — Es ist beachtenswert, daß das Opfer, Akrisios, nicht nur eine Sagengestalt ist, sondern auch ein Heros im Grab des Athena-Tempels von Larissa, vgl. L. R. FARNELL: Greek Hero Cults and Ideas of Immortality. Oxford 1921. 413.

³⁰ G. A. WAINWRIGHT: Some Celestial Associations of Min. JEA XXI (1935) 135 ff. — Wir sind nicht einverstanden mit der gegenteiligen Ansicht von L. R. FARNELL (op. cit. 337).

³¹ GREVE: Hyakinthos. ML I 2 (1886—90) 2759 ff.; E. ROHDE: Psyche I.⁴ Tübingen 1907 138 ff.; L. R. FARNELL: The Cults of the Greek States III. Oxford 1907. 284, IV 125—130; S. EITREM: Hyakinthos. RE IX (1914) 7 ff.; M. P. FOUCART: Le culte des héros chez les Grecs. Paris 1918. 10 ff.; L. R. FARNELL: Greek Hero Cults. Oxford 1921. 405; J. E. HARRISON: op. cit. 504; ZIEHEN: Sparta. RE III A, 2 (1929) 1507; H. J. ROSE: op. cit. 142; M. P. NILSSON: Geschichte der griechischen Religion. I.² München 1955. 388, 552; M. P. NILSSON: Griechische Feste. Stuttgart 1957. 129 ff.; U. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF: Glaube der Hellenen.³ II. Basel 1959. 33, 43, 55, 103 f. Darstellung: H. SICHTERMANN: Hyakinthos. JdI 71 (1956) 97 ff. — Das neueste grundlegende Werk über Hyakinthos, M. J. MELLINK: Hyakinthos. Utrecht 1943 hat endgültig festgestellt, dass der Heros ursprünglich eine Vegetations-Gottheit war. Unsere Meinung über das Diskos-Motiv passt besser zur Mellinks Ergebnissen, als seine bloss kritische Bemerkungen, siehe S. 165 ff.

³² E. ROHDE: op. cit.; S. EITREM: op. cit. 7 f., 13; M. P. NILSSON: op. cit. 130. — Über die frühen Funde von Amyklaion s. P. PERDRIZET: Offrandes archaïques du Ménélaiion et de l'Amyclaiion. RA 1897. 19.

³³ E. ROHDE: op. cit. 137 ff.; M. P. FOUCART: a. a. O.; S. EITREM: op. cit. 14.

³⁴ U. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF: op. cit. 103. — Beachtenswert, daß man unter den auf ihn bezüglichen Angaben auch solchen begegnet, die auf seine Auferstehung

und seines Kultes bezeugen eindeutig, daß er in enger Verknüpfung mit der Vegetation, des näheren mit dem Kreislauf des vegetativen Lebens stand. Hyakinthos zählt also zu den typischen Fruchtbarkeitsgöttern der frühen Ackerbaugesellschaften, dessen Person mit der neuen religiösen Strömung hinter dem olympischen Apollo in den Schatten trat. Aber sein Kult hielt sich auch in der neuen Lage mit großer Kraft am Leben. Besonders erhielt er sich durch eine der wichtigsten Feste der Spartaner, die Hyakinthia.³⁵ Im Laufe des dreitägigen Festes wechselten die düsteren und die heiteren, die «chthonischen» und die «olympischen» Elemente. Diesen Wechsel erklärte die moderne Forschung damit, daß die düsteren und chthonischen Elemente dem Hyakinthos galten und die archaische Tradition bedeuteten, während man die heiteren Elemente dem Apollo zuzurechnen habe, der sich das Fest angeeignet hatte.³⁶ Diese Aufteilung ist unseres Erachtens gar nicht nötig. Um den wahren Sinn des Festes zu erkennen, müssen wir auf die alte Deutung P. Stengels zurückgreifen und die beiden Elemente als die unzertrennlichen Bestandteile des gleichen Kultes betrachten. Der Tod und die Auferstehung der Gottheit, die im Brennpunkt des chthonischen Vegetationskultes steht, sind solche, einander ergänzende, rituelle Ereignisse, die nur gemeinsam einen Sinn ergeben. Wichtig ist es ferner, daß das Fest mitten in den Sommer, in den Zeitpunkt der Sommer-sonnenwende fiel,³⁷ und daß wir daher den wahren Anlaß und Inhalt des Festes in der Reife und den damit eintretenden Tod der Vegetation, sowie im Beginn des Niederganges der Sonne erblicken müssen.

In diesem Zusammenhang wird der ursprüngliche Sinn des mythischen Diskoswerfens klar. Nicht allein darum, weil auch die Scheiben-Riten der vergleichenden Religionsgeschichte und Folklore genau in diesem Zeitpunkt und aus diesem Anlaß aufgeführt wurden, sondern weil auch das Diskosmotiv des Hyakinthos-Kultes an sich das Gleiche beweist. Dem Mythos müssen wir hauptsächlich aitiologischen Charakter zusprechen. Die romantische und erotische Färbung des hellenistischen und römischen Zeitalters hat natürlich mit dem ursprünglichen Sinn des Kultes nichts zu tun. Der Kern der Umdeutung jedoch, die mythische Episode, laut derer Hyakinthos durch den Diskos des Apollo getötet wurde, läßt sich schon im 5. Jahrhundert v. u. Z. nachweisen.³⁸ Diese Episode kann nur ein Aition gewesen sein, das die Rolle des Diskos und des Diskoswerfens im Hyakinthos-Kult und beim Hyakinthos-

hinweisen: Nonnos, Dionys. XIX 104; L. R. FARNELL: op. cit. IV 265 Anm. e. — Hyakinthos erhielt nicht ein Heroenopfer, sondern ein solches, das man sonst nur den Göttern darzubringen pflegte: A. D. NOCK: The Cult of the Heroes. Harvard Theological Rev. 37 (1944) 144.

³⁵ P. STENGEL: op. cit. 218 f.; Hyakinthia. RE IX (1914) 1 f.; L. R. FARNELL: op. cit. IV 264 ff., 419 f.; M. P. NILSSON: op. cit. 129 ff.; vgl. Anm. 31.

³⁶ Besonders E. ROHDE: op. cit. 139 f.

³⁷ BISCHOFF: Hyakinthos. RE IX (1914) 3 f.; S. EITREM: ebd. 15; ZIEHEN: Sparta. RE III A 2 (1929) 1518.

³⁸ Euripides, Hel. 1472 ff.

Fest erklärte, in einem Zeitalter, als im Kult schon die Gestalt des Apollo stark im Vordergrund stand. Daß der Diskos auch früher seine selbständige rituelle Rolle im Hyakinthos-Kult hatte, geht nicht nur aus den Votiv-Diskoi des Amyklaion hervor,³⁹ sondern auch daraus, daß Hyakinthos auch viel später mit Vorliebe als Diskobolos dargestellt wurde,⁴⁰ was für die spätere Version des Mythos gar nicht bezeichnend gewesen wäre. Es scheint also, daß die rituelle Diskobolia und der, ebenfalls archaische, jährlich wiederkehrende Tod des Hyakinthos in der klassischen Literatur mit dem Aition verknüpft wurden, das später, in der Zeit des Hellenismus, zu einer Geschichte abgerundet wurde. Anders ließe es sich kaum erklären, wie das sonst sonderbare und gekünstelte Motiv des durch den Diskos verursachten Todes entstanden wäre.

Die Diskoswürfe mit tödlichem Ausgang in den übrigen Mythen konnten nunmehr entweder der Hyakinthos-Sage oder anderen ähnlichen kultischen Wurzeln entsprossen sein. In den Zeremonien, die die Scheiben- oder Radriten enthielten, kommt ursprünglich fast ausnahmslos das Todesmotiv vor, und zwar nicht nur in der Gestalt des symbolischen Todes der Vegetation, der Tötung der reifen Ernte, des Untergangs des Alten, sondern auch in der Form tatsächlicher Menschenopfer.⁴¹ Das Opfer konnte sowohl ein Repräsentant oder Stellvertreter der absterbenden Vegetation und Jahreszeit sein, wie auch der Stärkung, dem Ersatz und der Aussöhnung der erlöschenden und schwindenden natürlichen Energien dienen. Der imitative Ritus stand in den archaischen Religionen nie völlig allein, sondern verknüpfte sich gewöhnlich mit dem Inhalt des mythischen Geschehens und einem Opfer, das der Zwangsvorstellung der Naturverbundenheit entsprang. Damit schließt sich der Kreis, der der fragmentarisch bekannten, späten Gestalt des Hyakinthos-Kultes mit dem Sinn der archaischen Vollkommenheit verleiht. Die Gestalt und das Schicksal des Gottes war das in den Kreislauf der Natur gebettete mythische Bild des reifen und der Vernichtung verfallenen vegetativen Lebens; das Fest war die Vereinigung der Trauer über die Vergänglichkeit mit der Hoffnung auf die Entstehung des Neuen, und seine Riten, die mit der Kraft der Imitation und des Opfers wirkten; Trauer und Hoffnung bildeten dessen unerläßlichen Bestandteil. In diesem archaischen, religiösen Kreis findet die Diskobolia ihren sinnvollen Platz, in den rezenten Bräuchen ebenso wie in den tieferen Schichten der griechischen Religion. Dieser Zusammenhang ist unseres Erachtens zumindest ebenso wichtig, wie die in den Einzelheiten gar nicht beweisbare, rein praktische Erklärung der Entstehung der Diskobolia. Jedenfalls genügt dieser Zusammenhang um zu fragen, ob die klassische Form der Diskobolia nicht sowohl aus der Kraftprobe des Gewichtswürfens, wie auch aus dem Ritus des Scheibenschleuderns abzuleiten sei.

Budapest.

³⁹ S. EITREM: op. cit. 13.

⁴⁰ GREVE: op. cit. 2765 f.; CIG 7050.

⁴¹ J. G. FRAZER: *The Golden Bough*. Part V. Vol. I. London 1912. 236 ff.

L'ÉVOLUTION DU MARS ITALIQUE D'UNE DIVINITÉ DE LA NATURE A UN DIEU DE LA GUERRE

Le sujet de notre rapport, la signification et le rôle ainsi que la nature primitive de Mars, sont si souvent traités et discutés qu'on a l'impression qu'il n'est rien resté à ajouter à ce qui a été dit et est depuis longtemps connu. Néanmoins, je voudrais exposer quelques-unes de mes observations faites il y a plus de 20 ans, pour stimuler de nouveau, s'il est désirable, une discussion sur la vraie nature du Mars italique et de son culte, établir ce qu'il y a de primitif et ce qui est une addition ou une évolution postérieure. Sa nature belliqueuse et son rôle de dieu typique de la guerre chez les Romains et, notamment, dans le culte officiel de Rome sont très bien connus et il serait inutile de perdre du temps à en reparler. Cela ne fut d'ailleurs jamais contesté. D'autre part, sa nature chthonienne et agraire fut souvent mise en doute et arbitrairement interprétée même de la part de grandes autorités dans ce domaine, tel que G. Wissowa par exemple.

Prenons un endroit caractéristique du manuel *Orpheus* de S. Reinach¹ concernant l'*interpretatio latina* de la divinité gauloise *Mars Buxenus*. Voici la note de Reinach: « . . . on connaît aussi un *Mars Buxenus*, c.-à-d. un dieu du bois sacré, identifié, *nous ne savons pourquoi*,² au Mars Romain. » Nous regrettons de manquer d'autres détails sur la nature et le culte de ce dieu gaulois de la Narbonnaise. Cependant, si nous avons vraiment affaire à un bois sacré, il faudrait peut-être penser non pas au Mars de la religion officielle romaine qui était toujours un dieu de la guerre, mais au Mars ou *Mavors*, *Mamers* des cultes locaux des paysans italiques, qui était un dieu complexe et de préférence chthonien, protecteur des paysans, de leurs champs et vergers, des bois et du bétail. Cette divinité chthonienne et agraire a survécu même dans la Rome de l'époque impériale, comme nous le savons grâce à une série d'inscriptions publiques du collège des frères Arvales, constituant des traces certaines du culte archaïque d'un cercle de divinités chthoniennes, adorées dans le bois sacré de la déesse Dia, et parmi lesquelles se trouvaient les lares et Mars. La prière des prêtres sous forme d'un enchantement avec des opérations et une danse

¹ S. REINACH: *Orpheus*. Paris 1918, p. 168.

² Souligné par nous (M. D. P.).

magiques avaient pour but d'assurer une bonne moisson (*ut fruges ferant arva*). D'autre part Caton³ cite un autre enchantement qu'on doit adresser à Mars Silvanus pour que celui-ci maintienne les boeufs en bonne santé (*pro bubus uti valeant*). Ajoutons-y un endroit de Plaute⁴ qui a presque complètement échappé à l'attention des savants:

«*Fuit edepol Mars meo periratus patri,
nam oves illius hau longe absunt a lupis.*»

Il est vrai que l'endroit mentionné de Caton provoque, chez les savants modernes, des doutes sur l'authenticité de la donnée et sur l'existence d'un *Mars Silvanus* romain. Cependant, l'autre passage du même auteur (*l.c.* 141, 2) est d'autant plus important et plus intéressant, vu que son autorité et l'authenticité du texte n'ont été jamais mises en doute. Le dieu Mars reçoit les sacrifices d'un porc, d'un mouton et d'un boeuf (*suovetaurilia*) de la part du père de la famille qui lui adresse en même temps une prière pour que Mars soit bienveillant envers la famille, qu'il lui réserve tous les biens d'une année fertile et abondante et qu'il en chasse tous les maux. Mars y est invoqué comme un père des paysans, comme une divinité puissante de la nature. C'est un passage classique qui ne peut provoquer aucun doute sur l'authenticité du contenu ni sur le sens de la prière, dont voici le texte:

«Mars pater, te precor quaesoque uti sies volens propitius mihi domo familiaeque meae, quouis rei ergo agrum terram fundumque meum suovetaurilibus circumagi iussi, uti morbos visos invisosque viduertatem vastitudinemque calamitates intemperiasque prohibessis defendas averruncesque; fruges frumenta vineta virgultaque grandire dueneque evenire siris, pastores pecuaque salva servassis duisque duonam salutem valetudinemque mihi domo familiaeque nostrae etc.»

Mais G. Wissowa et S. Reinach ne sont pas les seuls savants qui ignoraient ce rôle et cette fonction de Mars. Il y en a un nombre beaucoup plus remarquable qui ignoraient une nature chthonienne chez Mars. Outre les sus-nommés mentionnons encore Deubner, Meringer, Grienberger, Bradtke, Solmsen, etc. Quelques-uns d'entre eux, qui acceptaient une telle nature et fonction du dieu Mars, ne pouvaient ou ne voulaient pourtant voir que cette nature devait être la primitive. Ils s'efforçaient de démontrer que sa nature guerrière est la primaire et que la nature chthonienne est secondaire. Nous voyons que même Marbach, l'auteur de l'article *Mars* dans l'encyclopédie de Pauly-Wissowa, ne put échapper à cette influence d'autorités éminentes, de Wissowa et d'autres.

³ *De agricultura*, c. 83.

⁴ *Trucul.* III 1, 11–12.

D'autre part, il y avait aussi un grand nombre de savants célèbres, tels que Roscher, Preller, Fowler, Wide, Nilsson, Schrader, Nehring etc. avec Mannhardt et Frazer à leur tête, qui voyaient et appréciaient, dans la nature et le culte de Mars, les éléments dont nous avons parlé plus haut. Roscher⁵ est l'un des premiers savants qui ait aperçu des ressemblances frappantes dans la nature et le culte de l'Apollon grec et du Mars italique, quoiqu'il ait exagéré quelques détails, comme on peut le voir aussi chez Marbach (dans l'article cité plus haut).

Parmi les éléments les plus caractéristiques, outre ceux dont nous avons déjà parlé, ajoutons le fait que la plupart des fêtes de Mars tombaient au commencement du printemps et de l'automne, que les Romains et les Latins commençaient l'année autrefois non pas par le mois de janvier, mais le mois qui portait le nom de Mars et que le *ver sacrum* des anciens peuples italiques, avec ses offrandes de tout ce qui était né au printemps, était de prime abord lié au culte de Mars. Il faut souligner que tout cela ne représente pas un simple hasard. Il y avait jadis, dans le culte populaire de Mars, des rites anciens et extrêmement primitifs, dont nous n'avons plus tard que des vestiges.

Le bannissement de la vieille année et la rencontre du nouvel an étaient selon toute apparence des cérémonies populaires liées au culte primitif de Mars. Il est vraisemblable que le nom symbolique de *Mamur(r)ius Veturius* représente le double rôle de Mars comme dieu, d'une part, de l'année passée (*le vieux Mars — Veturius*), qui, d'autre part, doit être chassée par le jeune Mars de l'année qui commence (peut-être le *Mamurius*, qui serait, au point de vue étymologique, lié au nom osque de Mars — *Mamers = Māvors*). L'imagination du peuple en a fait plus tard un personnage légendaire, un forgeron du roi Numa.

Le nom du dieu et son étymologie étaient un des points les plus intéressants et les plus importants dans la recherche de la vraie nature et de la fonction primitive de cette divinité italique. C'était, d'autre part, le terrain le plus favorable pour une série d'hypothèses et de combinaisons. Mentionnons-en quelques-unes.

L'étymologie qui part d'une racine **mar-* «briller», adoptée par W. Roscher, M. Müller et d'autres, correspondrait à la nature solaire et printanière de Mars. Elle pourrait être probable en ce qui concerne les formes *Mamers* (des Osques), *Marmar* et *Marmor* (toutes les deux connues du *carmen arvale*), qui peuvent être dérivées d'un thème avec reduplication **mar-mar-*, si la forme latine ancienne *Māvors* ne l'empêchait pas.

L'autre étymologie qui part d'un thème **māwrt-*, avancée par Bradtke et adoptée par quelques savants, serait de même possible et donnerait une interprétation satisfaisante pour le nom sanscrit du démon de l'orage *Marut*, si

⁵ Apollon und Mars. Leipzig 1873, p. 25 ss.; cf. son article *Mars* dans ROSCHER: Ausführliches Lexicon der griech. und röm. Mythologie, col. 2399.

nous pouvions voir clairement la racine et le sens primitif du mot. En ce cas resterait la forme osque *Mamers*.

Quelques hypothèses modernes partent de l'étymologie classique de Cicéron⁶ (*iam qui magna vorteret Mavors*) prenant la racine verbale *vort*-ou *vert*-«tourner» comme point de départ. Solmsen y voit l'élément **macs-*, *maghs-*, c.-à-d. un mot perdu **maghos*, *maghes-* (cf. gr. μάχομαι, μάχη) «bataille, combat» et fait dériver *Māvors* de **maghs-vort-s* «Wender der Schlacht, Schlachtreihe». P. Kretschmer d'autre part est plus près de l'étymologie de Cicéron proposant pour premier élément du nom une forme **mages* avec la signification de «puissance». *Māvors* d'après lui voudrait dire «der mit Macht wendende». ⁶ Mentionnons encore l'étymologie de Pott qui part des éléments *mares* (*mas*) et *vertere* («qui mares vertit» ou «mares in fugam vertens»).⁷

On est souvent disposé à considérer les trois formes de son nom *Mārs*, *Māvors* (avec les dérivés *Marmar*, *Marmor*, *Mamor* et *Mamurius*) comme corradicales et issues d'une forme commune primitive. Vu que la forme récente *Mārs* est évidemment dérivée de *Māvors*, qui est plus ancienne, comme on le voit de la forme intermédiaire *Maurte* d'une inscription latine ancienne, il resterait à interpréter la forme osque *Mamers* parce que *Marmar* et *Marmor* du *carmen arvale* peuvent être interprétés comme des formes dérivées par reduplication de la forme récente Mars (de *Mars-Mars* simplifié). Si nous connaissions mieux la phonétique du dialecte osque, je pourrais peut-être parler avec plus d'autorité sur la probabilité d'une forme primitive **mām(o)-wert-* (**māmo-* = ombr. *maimo* «maximus»). La perte de *w* après une labiale serait comparable à celle des mots latins *aperio* et *oportet*, dérivés des plus anciens **apverio* et **opwertet*.

Nous croyons que l'étymologie de Cicéron, bien que les anciens auteurs latins et grecs aient été de faibles étymologues, est non seulement possible mais du point de vue phonétique elle est plausible et presque irréprochable. Si nous tenons compte du composé verbal *mālo*, *māvolo*, dont l'étymologie est depuis toujours claire, les éléments *magis* et *volo* n'ayant jamais été mis en doute, nous ne voyons aucune raison convaincante de contester la certitude des éléments *magis* et *vertere* (ancien *vortere*) de la forme *Māvors*. *Mārs*: *Māvors* = *mālo*: *māvolo*. Si le comparatif *magis* est préférable pour le sens du verbe *malo*, *mavolo* «aimer mieux, préférer», c'est le positif ou le superlatif (*magnus* ou *maximus*) qui convient mieux à *Mavors* (et *Mamers*) au point de vue du sens. Ce serait un *deus* (*pater*) *qui magna* (ou *maxima*) *vertit*, un *deus averruncus maximus*, puissant et capable de protéger les hommes de toutes les maladies et calamités, de leur assurer une riche récolte et une bonne santé.

C'est un fait notoire que la nature belliqueuse et le caractère guerrier de Mars s'accroissent avec le temps, tandis que sa fonction agraire s'oubliait

⁶ *De natura deorum*, II. 26, 67.

⁷ Dans KZ 26, p. 204.

de plus en plus et disparaissait. Une question, cependant, s'impose à nous: Qu'est-ce qui a le plus contribué à ce que son rôle agraire tombe dans l'oubli et que son caractère belliqueux et cruel se distingue et triomphe? Nous ne pouvons, bien sûr, nullement accepter les affirmations des savants qui voient en Mars une divinité guerrière primitive. Si G. Wissowa même, plus tard, jugeait convenable d'expliquer et de compléter son opinion sur la nature primitive de Mars par les mots: «. . . wenn ich Mars ausschliesslich als Kriegsgott gefasst habe, so trifft das zwar für den römischen Staatsgott zu, wird aber dem allgemeinen italischen Gott und den in seinem Kult hervortretenden Beziehungen zum Gedeihen der Felder nicht gerecht»,⁸ ce serait un argument de plus que la nature primitive de l'ancienne divinité italique est non seulement complexe, comme K. Latte l'a très bien constaté,⁹ mais avant tout qu'elle est étroitement liée à la manière de vivre et de penser des paysans primitifs de l'Italie, qui étaient intéressés surtout dans la paix et le succès de leur travail domestique et agricole. La guerre était pour le paysan italique, ainsi que pour tous les autres paysans et les hommes du bas peuple, un fléau, une calamité terrible qui apporte la mort, la misère, la famine, la dévastation, et ce n'était que le dieu Mars qui pouvait sauver les paysans et le peuple entier de tous les malheurs, y compris les calamités de la guerre.

Si nous réfléchissons donc sur le fait qui a le plus contribué à ce que le dieu Mars, à Rome et chez les peuples italiques, se développe en une divinité exclusive de la guerre, nous pouvons en conclure que c'était avant tout la vie même des paysans latins et italiques qui avait mené à de grands changements dans leur façon de penser. Les guerres fréquentes, d'abord défensives et plus tard même offensives, après les grands succès et les victoires remportées, les butins et les richesses enlevés aux ennemis, firent avec le temps des paysans paisibles et pacifiques de l'Italie un peuple belliqueux et guerrier. Leur protecteur Mars (*Mars pater*, *Marspiter* et *Maspiter*), qui était toujours avec eux, se transforma peu à peu, dans les conditions changées de ses adorateurs, en un dieu guerrier par excellence. En fait, ce n'est pas le dieu Mars qui a changé mais les conditions sociales et économiques ainsi que le caractère du peuple romain, sa manière de vivre, ses idées sur le monde et la vie.

Il y a, cependant, encore un moment qui me semble décisif dans la transformation du dieu Mars. C'est l'introduction du panthéon officiel romain à l'exemple du panthéon grec, avec les six paires de divinités olympiennes, proclamé en 217 av. n. è. Dès lors le Mars romain est identifié avec Arès, le dieu grec de la guerre; il a obtenu le *lectisternium* avec sa femme Vénus, qui est en effet l'*interpretatio latina* d'Aphrodite, à la manière grecque (*graeco ritu*). Il faut pourtant reconnaître que c'était un acte plutôt formel et que le moment vraiment décisif et essentiel dans la transformation et l'évolution de Mars est

⁸ Dans PhW 1921, p. 994s.

⁹ Dans ARW XXIV, p. 250.

celui dont nous avons parlé plus haut. C'était, répétons une fois encore, le changement des conditions sociales et de la mentalité du peuple romain.

Il est d'ailleurs bien connu que les divinités de la guerre chez les autres peuples¹⁰ et chez les Grecs même, comme chez les Juifs (Jahwe) et les anciens Germains (Wotan = Odin), ont pris ce rôle guerrier plus tard, au cours de leur évolution, et qu'elles étaient, auparavant, le plus souvent, des divinités chthoniennes. Il est difficile de penser qu'on puisse trouver une religion populaire, surtout aux temps précédant la formation de l'Etat, dans laquelle une divinité quelconque eût un rôle belliqueux et guerrier en premier lieu. Tant que quelques dieux ou démons paraissent munis de telles qualités, ils les ont acquises comme des divinités ou des démons hostiles ou rivaux des forces opposées, que l'imagination populaire représentait comme se trouvant dans une lutte réciproque continue, dont dépend le résultat définitif et le succès dans la nature et la vie des hommes.

Skopje.

¹⁰ Voir FR. SCHWENN: *Ares* dans ARW XXII, p. 235ss.

Г. А. ПУГАЧЕНКОВА

ДИОНИСИЙСКАЯ ТЕМА В АНТИЧНОМ ИСКУССТВЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Дионисизм — одна из увлекательнейших проблем в истории античных религий. И прежде всего потому, что выходит далеко за грани мифологии греко-римского мира, захватывая всю ойкумену эллинизма, от самых дальних границ которой били животворные струи, способствовавшие его постоянному обогащению. Азиатский Восток давал при этом едва-ли не главные импульсы, уже в глубокой древности породив оргиастические культы плодородия, умирающей и воскресающей природы — культы Адониса и Аттиса, Великой Сирийской богини и Нанайи-Атаргатис. Дионисизм органически вошел в этот цикл. Не случайно в древнегреческих мифах Дионис был воспитан нимфами в мидийской Нисе, прежде чем в расцвете своей юности и вновь создаваемого культа возвратиться в собственно-Грецию. Те же предания повествуют о триумфальном шествии Диониса к самым отдаленным пределам азиатского мира. Они возникли под влиянием туманных, но настойчивых сведений, проникавших в Грецию из далеких, неведомых стран — и как же были поражены даже скептические умы, получив тому реальное подтверждение в эпоху македонских походов! Когда войска Александра двинулись из Бактрии в Индию, они встретили у заросшей плющем горы Мерос поселение, жители которого поклонялись своему «Дионису»; Александр принес ему жертвы, а македонцы, увенчавшись венками, вели себя иступленно, как вакханты. Очень важно указание Аполлония Тианского, что стоявшая здесь статуя Диониса передавала его в образе индийского юноши.

Еще Эврипид вкладывал в уста Диониса слова, которые трезво настроенный Страбон именует «хвастовством» и все-же цитирует, как содержащие зерно истины:

— Покинув пашни Лидии златой,
И Фригии и Персии поля,
Сожженные полдневными лучами,
И стены Бактрии и мидян,
Изведав холод зимний, я арабов посетил
И всю страну асийцев.

(Эврипид, Вакханки, 13)

Мидия, Персия, Бактрия, «Страна асийцев» — жителей Азии — бесспорно знали своих Дионисов, какие-бы локальные имена они не носили. Обширные области древней высокой культуры виноградарства и виноделия не могли остаться вне идеи, что буйное веселье, хмельной экстаз, утрата человеком в этом состоянии рассудочных действий — все то, что приносит алая струя, является внушением свыше, порождением чьей-то верховной воли. Вино сопровождало сезон окончания полевых работ, который отмечался празднеством земледельцев, перешедшим затем в города, и всеобщность этих празднеств порождала определенный ритуал. Беспорядочная толпа организовывалась в шумные процессии, в которые музыка, пение, танцы вносили определенный ритм. Общеизвестно, что на греческой почве на основе Дионисий возник профессиональный театр, перешедший на подмостки. Не так же ли зачиналось древнейшее театральное искусство и на азиатском Востоке?

Если письменные известия о дионисизме на Среднем Востоке крайне скудны, то эту нехватку ныне восполняют открытия памятников изобразительного искусства с дионисийской тематикой. Ареал распространения их очень широк, захватывая огромные территории Ирана (от эллинизированных скульптур Демавенда до римско-сасанидских мозаик Бишапура), афгано-пакистано-индийских областей (Беграм, Хадда, Буткара, Таксила, Гандхара), Средней Азии и Восточного Туркестана. Посмотрим же, как проявляется дионисийская тема в памятниках среднеазиатской античности: области Парфии, Бактрии, Согда, Хорезма ныне уже дают к тому достаточно разнообразный материал.

Целая галерея вакхических образов предстает на вотивных ритонах II в. до н.э. из парфянской Нисы. Верхняя часть резервуара этих крупных, выточенных из слоновой кости рогообразных сосудов завершена широкой полосой, на которой разворачивается какая-либо сцена, а по краине проходит венчающий карниз с ритмически размещенными скульптурными головками. Сюжеты круговых композиций разнообразны и одно из главных мест среди них принадлежит вакхическим мотивам.

Состав участников здесь многолик и пестр — это нагие, либо прикрытые шкурой танцоры, обнаженная плясунья, задрапированные в длинные одежды музыкантши с бубном или с лютней, музыканты со свирелью или с двойным гобоем, мужчины, ряженные под козлоногих, поросших шерстью сатиров, кравчие с бурдюками вина, жрецы и жрицы, совершающие обряды, мальчуганы-погонщики жертвенных козлов, просто юноши, девушки, лысые старцы — несть им числа! Пляски и музыка, игрища ряженных, воскурения и возлияния у алтаря, привод животных на закланье — все эти мотивы то следуют некоей единой, выработанной изобразительной композиции, то варьируют, благодаря введению всё новых подробностей, то совершенно оригинальны по составу своих участников.

Сами образы этого цикла очень эмоциональны, фигуры подвижны, поданы в сложных поворотах, в стремительных или пластически-замысловатых движениях, но в композиции нет хаотичности толпы, а напротив, ощущается упорядоченность организованной процессии.

Как будто вполне очевидна здесь стилевая близость к эллинистической скульптуре, а между тем в обширном репертуаре греко-римского ваяния вакхические композиции нисийских ритонов не встречают себе прямых соответствий. Единый дух времени, который определяет ведущую черту эллинистической художественной культуры, как слияния эллинства и ориентализма, порождает эту общность стиля. Но она не стирает того своеобразия — может быть еще точнее — той самобытности, которая присуща для художественного творчества стран азиатской античности, не утративших, даже после приобщения к духовным ценностям Греции, собственного творческого мировоззрения.

Эта черта не менее наглядна и в скульптурных головках, венчающих ритоны карнизов. Выполненные в круглом рельефе, они выступают по-шею, полусклоненные, словно бы взирая с высоты на разворачивающееся ниже действие. По существу они его продолжают — это те же участники вакхической процессии: миловидные круглолицые девушки, простолюдины-юноши, то гололобые, то с лохматою копною волос, немолодые мужи с всклокоченными бородами. В соотношении с античными идеалами женской и мужской красоты, лица их едва ли не вульгарны, но при всем том необычайно экспрессивны и по-особому привлекательны в своей глубоко жизненной одухотворенности.

Вакхическая тема предстает также в другом изобразительном цикле нисийских ритонов. Он связан с мифом о Пенфее, положенном в основу «Вакханок» Эврипида, и передает эпизод, когда преследуемый обезумевшими вакханками юноша бежит, простирая руки к Зевсу. Парфянский резчик передает трагизм сюжета и всем динамическим строем круговой композиции, и характером венчающих скульптурных головок, лица которых воплощают гамму самых горестных чувств. Тесная связь дионисизма и театра Эврипида общеизвестна, а проникновение эврипидовой драматургии на азиатский Восток подкрепляется к настоящему времени на разнообразном материале.

Резьба на ритонах из парфянской Нисы принадлежит к категории прикладных искусств, но вместе с тем размещение пластических мотивов подчинено чисто архитектурным приемам разбивки, а стиль пластических изображений следует во всем своем существе принципам монументальных искусств.

Именно в формах настенной монументальной скульптуры предстает дионисийская тема в дворцовом здании I в. до н. э., раскопанном в Халча-яне — на территории северной Бактрии. Венчающий фриз главного зала здесь оформляет композиция в виде бегущих детей, поддерживающих гирлянды, в

свесах которых размещены мужские и женские полуфигуры. В составе последних — персонажи дионисийского круга — девушки-музыкантши, сатиры, скоморохи. Они отнюдь не повторяют участников вакхических фиасов греко-римского ваяния, но передают какое-то местное, бактрийское воплощение образов, близких по своему содержанию. Локальный элемент проявляется во всем их облике: женские лица округло-утяжеленные, по-своему миловидные, но они далеки и от строгих идеалов греко-римского ваяния, и от пышной красоты индийских статуй, для мужчин характерна особая подстрижка усов и бакенбардов, присущая для определенной этнической группы населения Бактрии. На принадлежность мужских персонажей к сатировой группе указывают такие детали, как козлиные уши, виноградный венок, но особенно в них привлекает внимание высокая эмоциональность, при всей подчеркнутой простонародности облика. Это богатство внутреннего духовного строя, запечатленное в облике халчаянских сатиров с сильной, бугристой лепкой их выразительных, хотя и несколько вульгарных черт, служило воплощением того высокого экстаза, который божество даровало своим спутникам и почитателям. Преобладающая черта их — какой-то внутренний драматизм, переданный через выразительную лепку лиц. Пафос, как героическое страдание, составлял одну из главных черт дионисизма. Наряду со смеющимся сатиром греческое ваяние эпохи эллинизма (может быть, не без влияния Азии) разработало и иной тип сатира страдающего. Халчаянские сатиры всем своим эмоциональным строем и мимическим складом передают настроения глубокой внутренней сосредоточенности и скорби — очевидно именно такая трактовка соответствовала духу того бактрийского культа, с которым сочетались эти пластические образы.

Вакхическая тема предстает на территории северной Бактрии и в изделиях прикладных искусств. Бронзовый фалар II-I вв. до н. э. из Душанбе передает рельефное изображение вакханта или самого Диониса, напоминающее эллинистические образы. Но особенно интересен керамический сосуд-аск из Термеза I в. н. э. На тулове его оттиснуты матрицами — явно привозного происхождения — вакхический фиас (прямую аналогию которому дает известная «ваза Боргезе») и набор жертвенных атрибутов римского понтифика (идентичный оформлению фриза храма Веспасиана в Риме). Под ручкой же аска размещена голова юноши — также вакханта или Диониса, — увенчанного виноградной лозой, с лицом некрасивым, но на редкость живым, преисполненным радости бытия. И здесь бактрийский коропласт вполне самостоятелен в воплощении темы, которая для него была связана не с чужеземным божеством, но с собственным мифологическим образом, получившим в его руках вполне оригинальную художественную интерпретацию.

Видимо ко времени Великих Кушан относится серебряная чаша Берлинского Антиквариума, поступившая из Бухары. На теле её в завитках виноградного побега размещены неистово мчащиеся менады, видимо Гани-

мед с орлом, бородатый сатир и стоящая мужская фигура в характерном среднеазиатском костюме: поколенном кафтане, шароварах и сапожках. Кто он — руководитель вакхической пляски или сам «кушанизированный» Вакх? . . . Кушанское искусство создавало такие смешанные образы — напомним чашу из Пенджаба, где чисто-азиатский «Дионис» потягивает из ритона вино, которое ему подносит индианизированная «менада».

Дионисийские образы очень ярко предстают в коропластике античного Согда, стойко сохраняясь вплоть до арабского завоевания. Среди них — юный вакхант-согдиец с мягко-округлым лицом и пушистыми усами, лысый старец-силен (оговорим, что термины «вакхант» и «силен» употребляются лишь потому, что согдийский эквивалент их пока неизвестен), пузатый фаллический божок. Иконография их разнообразна и очень самобытна. Бируни сообщает о сохранившемся еще в его дни согдийском древнем празднестве Баба-хвара, когда пили виноградный сок. Китайские же источники донесли известие о каком-то мистериальном празднестве поисков останков «сына Небесного духа», еще в VII в. справлявшемся жителями Самарканда и связанном с организацией особых процессий, ритуальным плачем а затем ликованием всех участников. Вероятно этот праздник, в котором явственно выступают черты столь распространенного у всех народов древнего мира культа умирающего и воскресающего божества, восходит на согдийской почве еще к эпохе античности, когда поэтическому оформлению древних локальных мифов отвечала разработка сложных, говоря языком театроведов, «постановочных» ритуалов, сопровождавших большие общенародные празднества.

О существовании дионисийских культов в античном Хорезме также свидетельствует мелкая терракотовая скульптура. Статуэтка из Кой-Крылган-калы (III-II вв. до н. э.) передает образ женщины в длинной, струящейся тунике, с двумя узкогорлыми амфорами в руках; по форме своей это явно сосуды для вина, и сама терракота, как полагают, изображает ту легендарную царицу Мину, празднование которой описал Бируни. В древности это был ночной праздник ранней весны (то есть воскресающей природы), связанный с преданием об упившейся вином царице Мине, скончавшейся от ночного заморозка. Фрагмент другой статуэтки из Кой-Крылган-калы представляет образ божества — покровителя виноделия, в азиатском одеянии, с виноградной гроздью в одной руке и ножом для подрезки винограда в другой. А в огромном дворце хорезмийских владык на городище Топрак-кала (III в. н. э.) один из залов украшают глиняные горельефы с изображением танцующих пар. Головы на стене не сохранились, но одна из них, найденная в завале, передает бородатую мужскую маску с козлиными ушами. Нет сомнений, что сама скульптурная композиция была связана с каким-то ритуальным танцем вакхического характера.

Ряженые и незамаскированные танцоры, экзальтированные плясуны и танцовщицы, музыканты и музыкантши, скоморохи и хорошенькие девушки

носители гирлянд и сосудов, простонародного облика юноши и бородатые мужи — то веселые, то скорбные, — таков контингент глубоко локальных в своей художественной интерпретации участников «среднеазиатских дионисий», предстающих перед нами в изобразительных памятниках среднеазиатской античности, — как яркое свидетельство существования своих «дионисийских» культов и образов, локальная иконография которых слагалась на основе синтеза эллинистических и местных парфянских, бактрийских, согдийских, хорезмийских традиций.

Ташкент.

L. VARCL

ZUR PROBLEMATIK DER FORSCHUNG ÜBER DEN GNOSTIZISMUS

Es wäre ein wirklich hoffnungsloses Unternehmen, sollten wir in einem nur zwanzig Minuten dauernden Referat eine, wenn auch kurze Übersicht von den bedeutendsten Fragen und Problemen geben, denen man beim Erforschen eines in der Tat wichtigen ideologischen Phänomens aus der Zeit des frühen römischen Kaisertums, nämlich bei demjenigen des Gnostizismus begegnet.

Es ist ja in einem solchen Fall, wie ihn die heutige Gelegenheit bietet, notwendig, eine strenge Auswahl von den Punkten zu treffen, die behandelt zu werden verdienen. Damit erhebt sich gleichzeitig automatisch die Frage, nach welchem Gesichtspunkt diese Auswahl durchgeführt werden soll oder, — wir können diese Frage auch umgekehrt stellen — zu welchem Zweck wir sie treffen sollen, sozusagen: *cui bono*? Ich möchte sie kurz und bündig auf diese Weise beantworten: «Meine *meditationes* sollen *ad usum marxistarum* dienen!» Verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, wenn er Ihnen ein wenig unangemessen vorkommt. Ich habe diese Redewendung ganz bewußt und mit Absicht benützt, da sie an eine andere, mehr übliche — sozusagen *e contrario* — erinnern soll, die eine gewisse emotionale Ladung enthält — nämlich '*ad usum delphini*'! Sie soll eine Warnung sein, die verhüten möchte, daß diese meine Betrachtungen auf eine solche Weise ausarten, wie es bei den marxistischen Dogmatikern zu sein pflegte — und immer noch pflegt. (Denn vor dieser Art pseudowissenschaftlicher Forscher muß man sich immer in acht nehmen; der Dogmatismus ist nämlich nicht bloß ein zufälliges Phänomen, und er beschränkt sich nicht auf eine geschichtliche Periode, außerhalb derer er seine Gefährlichkeit, seine Virulenz verlieren würde!) Diese Leute haben die wissenschaftliche Forschung auf die Applikation einiger 'heilbringender' Formeln beschränkt, in der Regel sog. *soziologisierender* Abtönung. Mein Ausfall gegen das 'Soziologisieren' soll freilich nicht bedeuten, daß jeder 'soziologische' Zutritt zu wissenschaftlichen Problemen *a limine*, ohne kritisches Abwägen abgelehnt werden soll!

Es schien mir nötig, solche warnende Worte vorausszuschicken; denn nur ungeschminkte Wahrheit dieser Art kann uns helfen, diejenigen Leute zu dem beginnenden — oder zu dem schon laufenden — West—Ost-Dialog auszurüsten, die sich bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit auf den historischen Mate-

rialismus, auf die historisch-materialistische Methode stützen. Dies ist in unserem Fall um so dringender, weil wir uns da auf einem der bedeutsamsten Schlachtfelder befinden, wo die Angehörigen beider gegnerischen Lager in Streit geraten, d. h. auf dem Gebiet der Religionsforschung, also auf einem ideologischen Gebiet *kat'exochēn*.

Damit — mit der Losung 'West—Ost-Diskussion' — bekamen wir eine schickliche Gelegenheit, zum Leitmotiv meiner Erwägungen, nämlich zu der Frage über die Möglichkeit einer solchen Diskussion überhaupt zu übergehen. Denn, soll ein solcher Dialog zwischen den beiden sich scharf — in manchen Fällen diametral — unterscheidenden Parteien nicht nur nützlich, sondern überhaupt prinzipiell möglich sein, dann müssen zwischen diesen Lagern notwendig mindestens einige wenige Berührungspunkte existieren. Das ist meiner Meinung nach eine so dringliche Wahrheit, daß ich vielleicht berechtigt bin zu hoffen, nicht zu einem Revisionisten gestempelt zu werden, der trügerisch die Schärfe der historisch-materialistischen ideologischen Bewaffnung stumpf machen will, bevor ich aussprechen darf, was ich mir unter diesen 'Berührungspunkten' vorstelle.

Ich möchte mich hier nicht über das Argument vom 'gemeinsamen Schiffe' ausbreiten, das uns alle zusammen — West und Ost ohne Unterschied — sinkend zum Grunde mitreißen würde, falls wir nicht zu einer Verständigung, zu einer vernünftigen Lösung vorhandener Widersprüche gelangen — obwohl auch dieses Moment verdient, ernstlich erwogen zu werden!

Es gibt zwei Arten von Berührungspunkten: stoffliche (inhaltliche) und formale (methodologische).

Unter den stofflichen Berührungspunkten verstehe ich in erster Reihe die Kulturgemeinschaft, die einen bestimmten — und bedeutsamen! — Teil des «Ostens» mit dem «Westen» verbindet; d. h. der Dialog über unsere Frage (nämlich über Ursprung, Entwicklung und Formierung des antiken Gnostizismus) kann einen Sinn nur in denjenigen Gebieten — und zugleich auch für diejenigen Gebiete — haben, die mit ihrer modernen Zivilisation an die antike Kultur anknüpfen. Ich kann mir z. B. nicht gut vorstellen, daß eine Diskussion über den Gnostizismus und sein Verhältnis zum Christentum (laßt uns sagen) die Einwohner des Fernen Ostens erhitzen könnte, seien es Menschen aus dem riesigen Chinesischen Reich oder aus Indochina, soweit sie nicht zum katholischen (oder überhaupt christlichen) Glauben gebracht wurden; denselben Mangel an Interesse würden aber sicher auch die vorderasiatischen Araber und ihre Brüder aus dem afrikanischen Maghreb zeigen. Die afrikanischen Länder, die sich erst im Stadium der Entwicklung (sozusagen *in statu nascendi*) befinden, miteingerechnet. Diese Art von Berührungspunkten ist also so «naturegegeben», daß sie keine ernsthafte Diskussion erheischt.

Desto mehr Aufmerksamkeit muß der anderen Art von Berührungspunkten gewidmet werden, nämlich der formalen (methodologischen). Ein-

fach ausgedrückt, verstehe ich darunter die Übereinstimmung im Ziele — man darf vielleicht sagen — das gemeinsame Streben, mit bewährten, oder aber mit neuen, objektiv vertretbaren Mitteln, Arbeitsverfahren, zu gut begründeten Erkenntnissen vorzudringen, die als feste Grundlage zum weiteren Bauen dienen könnten. Dies jedoch bedeutet, daß aus dem Kreise derjenigen Forscher, die bereitwillig und geeignet sind, zu erfolgreichem Ergebnisse des Dialoges mit ihren Kräften beizusteuern, automatisch auf beiden Seiten Rabulisten, Wahrheitsverdreher, ausgemerzt werden müssen, seien es vulgäre Atheisten, oder erstarrte orthodoxe kirchliche Dogmatiker. Rabulistik würde uns zu keinem positiven Ergebnis, sondern höchstens zu einem unnützlichen Entfesseln der Leidenschaften führen. Das positive Ergebnis dürfen wir uns freilich nicht als ein blutloses Kompromiß vorstellen, sondern als ein beiderseitiges Überzeugen mittels streng wissenschaftlichen Argumentierens.

Lasst uns aber schon vom generellen Reden zu einer konkreteren Aussprache über unser — enger gezogenes — Problem, d. h. über die Möglichkeit eines nicht von vornherein zu Erfolglosigkeit verurteilten Dialoges hinübergehen. Ich möchte, um möglichst konkret zu sein, meine weiteren Erörterungen auf denjenigen Gedanken begründen, die in mir bei der Lektüre zweier mir in letzter Zeit zugänglich gewordener Bücher hervorgerufen wurden.

Das erste, ältere Buch ist eine Monographie von Frau Antonie Wlosok über «Laktanz und die philosophische Gnosis» (herausgeg. in den Abhandlungen der Heidelberger Akad. der Wissensch. im Jahre 1960); es ist ein nicht nur wirklich gründliches, sondern methodisch ergiebiges Buch. Die Verfasserin zeigt darin nämlich, wie das traditionelle terminologische Gut, aus den Schriften der klassischen griechischen Philosophen ausgehend, im Laufe der Jahrhunderte unterschiedliche Bedeutungen bekam, bis es am Ende zum Vehikel diametral unterschiedlicher Gedanken wurde, als diejenigen waren, auf deren Grund es ursprünglich geprägt wurde.

Das andere ist ein scheinbar weniger gewichtvolles Büchlein, das wie am Rande des wissenschaftlichen Treibens entstanden ist, nämlich auf Grund der popularisierenden Vorträge von Professor E. R. Dodds auf dem Boden der Universität zu Belfast. Sein Titel heißt: «Pagan and Christian in an Age of Anxiety» (Heiden und Christen in einem Zeitalter der Angst); publiziert wurde es dieses Jahr (September 1965) in Cambridge University Press.

Dodds' Büchlein überschreitet' zwar inhaltlich die von mir in diesem Vortrag festgesetzten Grenzen (es behandelt nicht nur den Gnostizismus, sondern auch andere ideologische Phänomene), nichtsdestoweniger kann es als Modell für unsere Zwecke dienen. Denn es baut auf einer soliden Grundlage von bewußt ausgesprochenen, oder auch unausgesprochenen, aber immer deutlich anwesenden methodischen Prinzipien, denen wir Beifall zollen dürfen.

So führt Dodds gleich am Anfang seines Buches als erste, streng zu beachtende methodische Voraussetzung jeder Forschung im Gebiete der Reli-

gionsideologie folgendes an: jeder Forscher muß sich seiner inneren Einstellung zu dem untersuchten Gegenstand oder Phänomen bewußt werden, denn durch diese Einstellung wird bedingungslos der Prozeß des Forschens — und somit auch dessen Ergebnisse — beeinflußt.

Dodds selbst schreitet auch zu seinen Untersuchungen mit entdecktem Visier: er gesteht offen, ein Anhänger des Agnostizismus zu sein (wir mögen hinzufügen, daß sein Agnostizismus pragmatischer Färbung ist!). Dieser Ausdruck — «Agnostizismus» — wird vielleicht in den Ohren historischer Materialisten alarmierend ertönen. In unserem Fall jedoch, wenn wir diese Art von Einstellung mit dem anderen, entgegengesetzten Pol vergleichen, d. h. mit der orthodoxen Überzeugung von der eindeutigen Wahrheit des christlichen Standpunktes im Streit der Orthodoxie mit allerlei «Ketzerereien», dann ist ein solcher Agnostizismus entschieden mehr annehmbar; denn er ermöglicht seinem Anhänger die Voreingenommenheit der Verteidiger des traditionellen christlichen Standpunktes in richtigem Licht zu sehen und sie von diesem Gesichtspunkt aus zu kritisieren.

Wir sind uns freilich dabei der Schwäche dieser (agnostizistischen) Stellungnahme bewußt, u. zw. in einer der grundsätzlichen Fragen der Philosophie, nämlich in der Frage der Berechtigung des Monismus bzw. des Dualismus, für die Interpretation aller, den Menschen und die menschliche Gesellschaft umzingelnder Phänomene, d. h. auch der sog. gesellschaftlichen, speziell religiösen Phänomene. Diese führe ich deshalb an, weil keine christentums-, oder besser keine religionsfreundliche Forschung fähig ist, eine oder andere Form des Dualismus zu vermeiden.

Ein anderer der für Dodds' Verfahren charakteristischen Züge entspringt aus seinem pragmatistischen Agnostizismus. Sein älteres Muster, den Pragmatisten W. James befolgend, widmet er eine große Aufmerksamkeit der psychologischen Auswertung der beschriebenen Phänomene. Damit rückt bei ihm ganz natürlich der sog. soziologische Gesichtspunkt erheblich in den Hintergrund. Dodds meidet diese, d. h. soziologische Art von Interpretation prinzipiell nicht, er folgt sie besonders in dem Fall anzuführen, wenn einer von seinen Vorgängern eine Lösung der behandelten Probleme auf diesem Grund vorgebracht hatte. Gleichzeitig aber — meistens ganz berechtigterweise — drückt er seinen vorsichtigeren Zutritt zu der Frage aus, ob man eine unvermittelte Reflexion von der sozialen Realität in den Phänomenen der Religion annehmen darf oder sogar soll. Anderswo ist er jedoch bereit, mehr generell zuzulassen, daß diese — d. h. die soziale — Realität auf die Formierung der menschlichen Mentalität (vor allem in den sog. Konfliktsituationen) einwirkt.

Nun aber laßt uns folgende Frage stellen: was für einen Sinn haben in der heutigen Zeit (d. h. für die Lösung der gesellschaftlichen Probleme) die Forschungen über den Gnostizismus? Da wird es passend sein, einen kurzen geschichtlichen Überblick dieser Forschung, seitdem systematische Versuche, die Entstehung

und das Wesen des Gnostizismus, sowie dessen Entwicklung und Wirkung zu erklären gemacht werden — also seit der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts.

Es war die Zeit der sozialen und geistigen Gärung, in der sich in den Gesellschaftswissenschaften der Historismus von Meinecke mit Erfolg durchsetzte; die Zeit, in der sich gegen die kirchliche Orthodoxie die Bewegung der Freidenker unter der Losung 'Bibel oder Babel' erhob; in der der Kampf gegen diese Orthodoxie auch innerhalb der Kirche selbst im Namen einer Liberalisierung der theologischen Lehre und Denkart entflammte. Die durch die traditionelle Art und Weise der Interpretation diskreditierte christliche Lehre, Dogmatik, sollte sich dem rationalen Denken anpassen, wie es sich im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wissenschaften, vor allem der Naturwissenschaften, formiert hatte. Damals, durch diese Strömung des Rationalismus aufgemuntert, fing man an, weitere Möglichkeiten zu suchen, ob man nicht zu weiteren Quellen vordringen könnte, um die historische Situation zu beleuchten, in der die Lehre des frühen sowie des sich katholisierenden Christentums entstanden war und sich ausgebildet hatte. Auf das Christentum wurden die Grundsätze des Evolutionismus appliziert, so daß es auf dieselbe Weise wie jedes andere gesellschaftliche Phänomen behandelt wurde.

Damals wurden viele literarische Dokumente entdeckt, welche ein scharfes Licht auf mehrere sich parallel mit dem Christentum entwickelnde Lehren warfen, die die christlichen Dogmen beeinflussten oder aber ihren Einfluß erfuhren. Seien es die Mandäer, die für Nachfolger der baptistischen, durch das Auftreten Johannes' des Täufers hervorgerufenen Bewegung gehalten werden können. Seien es die durch die literarische Tätigkeit der jüdischen Sektierer entstandenen Schriften, z. B. die sog. Damaskusschrift, zu der etwa um 40 Jahre später in der jüdischen Wüste an der Küste des Toten Meeres Analogien und Parallelen in den Schriften der sogen. Qumrân-Sekte gefunden wurden; seien es endlich schriftliche Quellen, die uns über persische religiöse Vorstellungen älterer und neuerer Prägung belehren. Es wurden aber auch die schon seit lange her bekannten schriftlichen Quellen gründlicher untersucht; diese (z. B. die hermetischen Schriften oder die Bücher der radikalen jüdischen Sekten) wurden auf neue Weise interpretiert und als Dokumente geistigen Strebens der Menschen der späthellenistischen Zeit behandelt. In diesem Fall mag man von einem Wiederfinden reden, da die Forscher sie jetzt mit, sozusagen, neuen Augen zu sehen lernten.

Exempli gratia sei hier wenigstens ein Forscher aus jener Generation mit vollem Namen angeführt, als Vertreter derjenigen Gruppe klassischer Philologen, die sich mit dem Inhalt dieser Quellen beschäftigten, um ihre Angaben in Verbindung mit den Gedankenströmungen jener Zeit zu bringen, die als Epoche des Synkretismus bezeichnet ist. Es war Richard Reitzenstein, der seine Aufmerksamkeit sukzessive auf die ägyptischen, babylonischen und persischen Einflüsse richtete, so wie er sie zur Kenntnis nahm.

Welche Frage war damals an der Tagesordnung? Es war das chronologische Verhältnis zweier ideologischer Strömungen, des Christentums und des Gnostizismus. Den Verteidigern der Priorität des Christentums handelte sich darum, die Originalität der christlichen Lehre nachzuweisen, so wie sie aus der Predigt des Gottessohnes hervorging, nachdem er auf die Erde herabgestiegen war, um den Bedrückten und Ausgebeuteten Heil zu bringen. Heutzutage ist diese Frage nicht mehr im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses, sondern man darf — mindestens unter den wahren Wissenschaftlern — als erwiesen ansehen, daß dieses Verhältnis *nicht* in allen Fällen dasselbe ist — es gibt gnostische Systeme, die sich unter bestimmendem Einfluß des Christentums ausgebildet haben, sowie andere, die außerhalb des Rahmens des Christentums (und man darf sagen, auch vor ihm) aufgewachsen sind. Ja, daß sogar die den gnostischen nahestehenden Gedanken, wie sie in etlichen paulinischen, besonders aber in den pseudopaulinischen Episteln vorkommen, *nicht* Früchte der Spekulation ihres Verfassers sind, sondern von ihm aus dem Arsenal gleichzeitiger gnostischer Gruppen übernommen wurden. Kurz und gut, wenigstens in einer ganzen Reihe von Fällen ist es nötig, die zeitliche Priorität der «gnostischen Bewegung» zuzulassen.

Nach dieser Feststellung wird es vielleicht ein wenig überraschend, wenn ich erkläre, daß die Forschung über den Gnostizismus nur in bezug auf das Christentum einen Sinn haben kann. Da handelt es sich um keinen «Christiano-zentrismus»! Wir werden nämlich in den gnostischen Denkern nicht geistig verwandte Verbündete im Kampfe gegen die obwaltende orthodoxe Ideologie suchen, wie es in der geistigen Lage gegen das *fin de siècle* geschah — oder wie es in der modernen Zeit besonders die Existenzialisten zu machen versuchten. Wir werden den Gnostizismus *nicht* einer sozusagen *l'art pour l'art*ischen Untersuchung unterwerfen, sondern die gnostischen literarischen Werke für kostbare Dokumente halten, die uns ermöglichen, das geistige Milieu zu rekonstruieren, in dem die christliche Lehre entstand, sich entwickelte und bildete, teils gnostische (gnostisch formulierte) Gedanken übernehmend, teils sich gegen sie wehrend. Denn das Christentum kämpfte um eine eigene Dogmatik; es konnte auch nicht mit einer Strömung paktieren, die nicht in einem so scharfen Gegensatz gegen die damalige soziale Ordnung stand, wie es das Christentum eben tat.

Denn auch in diesem Punkt müssen wir dem Dodds zugestehen, daß die Gnostiker im Prinzip mehr Kollaboranten als unversöhnliche Widersacher des römischen Staates waren; wir dürften sagen, daß die Gnostiker sich mit einer 'inneren Emigration' begnügten, mit Ergründen des eigenen Inneren, mit Erhöhen der Gedankenwelt auf die höchste, maßgebende Quantität. Im Verhältnis zu dieser weicht dann freilich die materielle Welt ganz in den Hintergrund und ist nicht des menschlichen Strebens wert, um in eine bessere, gerechtere Welt verwandelt zu werden. Um gerecht zu sein, müssen wir hinzufügen, daß es da-

mals gar keine reale Möglichkeit einer solchen Veränderung gab; denn auch die Christen, soweit sie sich Vorstellungen von einer Änderung der diesseitigen Welt zuließen, schrieben ihre Realisierung der Wunderkraft des göttlichen Willens zu.

In einer solchen Situation dürfte man fragen, ob es sich im Falle des Gnostizismus tatsächlich um eine Bewegung handelte (Dodds gebraucht nämlich diesen Terminus in bezug auf den Gnostizismus!). Diese Frage möchte ich jedoch nicht langatmig erörtern; es genügt anzudeuten, daß die Hauptträger dieser Strömung meistens die Gruppen der Intellektuellen repräsentierten, die im Mangel an Selbstentfaltungsmöglichkeiten in den der politischen Autonomie beraubten Ländern mehr Gewicht auf die geistigen Eigenschaften legten, die ihnen eigen waren.

Wir werden also im Gnostizismus *nicht* eine bedeutsame selbständige soziale Strömung erblicken; höchstens einen der Äste eines mächtigen, reichlich verzweigten Stammes. Dabei sind wir uns dessen bewußt, daß unsere Vorstellung von diesem Ast notwendig unvollständig ist — in Ermangelung der Kenntnisse über den Grund, aus dem der Gnostizismus aufwuchs, nämlich über die vulgären Häresien, d. h. über die an niederem Niveau, an niedrigeren Spießeln der sozialen Leiter geführte Polemik.

Noch etwas über einen anderen sympathischen Zug, den man bei der Lektüre dieses Büchleins bemerkt. Es handelt sich um die vom Verfasser streng befolgte Forderung, nämlich um die Abweisung jeder — wie wir es zu nennen pflegen — Modernisierung, d. h. jeder Einschlebung der heutigen Gesichtspunkte, der heutigen Begriffe in die antiken Aussagen; also um eine Forderung, die selbstverständlich sein sollte — doch nicht immer auch ist.

Ist diese Forderung bei Dodds unverhüllt ausgesprochen, so ist ein noch wichtigerer methodischer Ausgangspunkt bei ihm nur praktisch appliziert, nämlich indem er zugibt, daß der Typus der religiösen Praxis durch das Kultur-niveau und dessen Charakter bedingt ist. Dieser Satz steckt mit seinen Wurzeln in dem theoretischen Prinzip, wonach die Religion ein *gesellschaftliches Phänomen* ist. Daraus folgt dann, daß sie sich nicht nur mit der Gesellschaft, in der sie erscheint, verwandelt, entwickelt, solange diese Gesellschaft existiert, mit ihr dauert — und mit ihrem Untergang auch sie untergeht; sondern auch, daß sie nur mit einer — ganz konkreten — Gesellschaft und in ihr existieren kann, daß sie also nicht an sich existiert, außerhalb der Gesellschaft wie eine Welt an sich und für sich, in diese unsere Welt einbrechend.

Steckt also dieser theoretische Satz latent in Dodds' Worten, so ist dennoch eine große Frage, ob der Verfasser unsere Extrapolation billigen würde (bei dem bekannten angelsächsischen Unwillen zum Theoretisieren und bei seinem vorangekündigten Agnostizismus!).

Noch einige Hinweise aus demselben Gedankenkreis, wie sie in Dodds' Büchlein enthalten sind: die sog. *unio mystica* (Vereinigung des Gläubigen mit

seiner Gottheit) war inkompatibel mit der christlichen Auffassung des Verhältnisses zwischen Mensch und Gott; der christliche Bekenner konnte sich nämlich nicht auf eine und dieselbe Stufe mit der Gottheit stellen (wie es in einigen der hermetischen Traktate geschieht!).

Wertvoll ist auch sein Hinweis, daß sich das Verhältnis zwischen der christlichen Lehre und dem Gnostizismus im Laufe der historischen Entwicklung änderte. Oder, daß das Christentum ein doppeltes Antlitz besaß, wenn es einerseits die Grenzen der ethnischen und sozialen Exklusivität beseitigte, andererseits jedoch mit seiner Intoleranz gegen die polytheistischen Kulte in seiner Umgebung sich ein eigenes Antlitz bewahrt hatte, was ihm ermöglichte, seine Konkurrenten — mindestens formell — zu überwältigen. Aber: *non multa, sed multum!*

Zum Schluß also: ohne generalisieren zu wollen, hoffe ich, daß ich deutlich gezeigt habe, daß es auch in nicht-marxistischem Westen Publikationen gibt, die methodologisch ganz nahe den Standpunkten des historischen Materialismus stehen, so daß man wagen darf, von einer Möglichkeit der Mitarbeit (mit einer gesunden Konkurrenz) zu sprechen. *Quod erat demonstrandum!*

Praha.

DAS BILD INDIENS IN DEN DIONYSIAKA DES NONNOS VON PANOPOLIS

Die erste Nachricht über den Zug des Dionysos nach Asien finden wir bereits im 5. Jh. v. u. Z. in Euripides' Tragödie *Bakchai* (V 13): *λιπὼν δὲ Λυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας Φρυγῶν τε Περσῶν θ' ἡλιοβλήτους πλάκας Βάκτριά τε τείχη τήν τε δύσχιμον χθόνα Μήδων ἐπελθὼν Ἀραβίαν τ' εὐδαίμονα Ἀσίαν τε πᾶσαν*. Diese Worte spricht Dionysos aus, als er mit einer Schar lydischer Frauen siegreich nach Theben zurückkehrt. Indien als Ziel seines Feldzuges kommt aber ausdrücklich erst nach dem Zuge Alexanders des Großen¹ bei den Alexanderhistorikern, u. zw. bei Megasthenes vor: *Ἀλλὰ Ἀλέξανδρον γὰρ στρατεῦσαι ἐπ' Ἰνδοὺς μόνον. Καὶ πρὸ Ἀλεξάνδρου Διονύσου μὲν περί πολλὸς λόγος κατέχει ὥς καὶ τούτου στρατεύσαντος ἐς Ἰνδοὺς καὶ καταστρεψαμένον Ἰνδοὺς*. Arrianos (*Anab.* VI 28), dem auch Plutarch (*Alex.* 67) folgt, behauptet ausdrücklich, daß Alexander diesen Feldzug *πρὸς μίμῃσιν τῆς Διονύσου βακχείας* geführt hat. Es fragt sich in diesem Zusammenhang, ob die Sage über den Zug des Dionysos nach Indien schon vor Alexander existierte, oder ob sie vom König und seiner Umgebung absichtlich verbreitet wurde, um den mühevollen Feldzug zwischen den Soldaten zu popularisieren oder um den König zu verherrlichen. Interessanterweise scheint Unsicherheit darüber bereits bald nach dem Tode Alexanders, ja sogar auch unter seinen Zeitgenossen geherrscht zu haben.² Aus Strabo (p. 506, 509, 686) erfahren wir, daß Megasthenes Dionysos' Indienfeldzug für historisch hielt, da er behauptet, die Inder seien nur gegen Herakles, Dionysos und Alexander ins Feld gezogen. Der nüchterne Eratosthenes (bei Strabo p. 688) war sich bereits der sagenhaften Art dieser Erzählungen bewußt, und er war sich auch darüber im klaren, daß diese Erzählungen von Leuten, die Alexander schmeicheln wollten, erfunden wurden (*οἷτι δ' ἐστὶ πλάσματα ταῦτα τῶν κολακεύοντων Ἀλέξανδρον*). Es besteht kein Zweifel darüber, daß der Ursprung dieses Mythos in der üblichen *interpretatio Graeca* fremder Kulte und Mythen liegt. Am eingehendsten befaßte sich mit dieser Frage in letzter Zeit A l l a n D a h l q u i s t in seinem Buch «Megasthenes and Indian Religion».³ Gegen die

¹ M. P. NILSSON: *Geschichte d. griech. Religion* I 578.

² FHG II 416, Frgm 21; Vgl. BRELOER—BÖMER: *Fontes historiae religionum Indicarum*, Bonn 1939. S. 20.

³ Stockholm—Göteborg—Uppsala 1962.

bisher von den meisten Forschern angenommene Hypothese, die Dionysos dem indischen Gott Śiva gleichsetzt,⁴ stellt er eine neue Hypothese auf, die Dionysos mit den Mythen des in den Bergen lebenden Munda-Stammes verbindet.^{4a} Einige Hypothesen halten die mythischen asiatischen Züge des Dionysos für Reminiscenzen an vorhistorische Völkerwanderungen im vorderasiatischen Gebiet.

In einem kurzen Artikel ist es nicht möglich, alle vorgeschlagenen Lösungen aufzuzählen und sich mit deren Analyse zu befassen. Da Nonnos' Gedicht *Dionysiaka* — trotz der großen Verbreitung der Sagen über die Züge des Dionysos in der hellenistischen und nachhellenistischen Zeit⁵ — die einzige und ausführlichste erhaltene dichterische Bearbeitung dieser Sage vorstellen, halte ich es im Zusammenhang mit den oben angeführten Fragen nicht für nutzlos, eine Analyse des Inderfeldzuges bei Nonnos durchzuführen.

Die *Dionysiaka* sind in gewissem Sinne eine Enzyklopädie der Dionysos-sagen und als solche verschmolzen in ihnen alle früheren ähnlichen Dichtungen. Als einziger literarischer Zeuge wurde eben dieses Gedicht von einigen Forschern zur Unterstützung der Hypothese über die vorhistorische Lokalisation der Inder in die Ebene zwischen dem Kaukasus und Indus herangezogen.⁶

Als erste befaßten sich mit der Schilderung Indiens bei Nonnos in den ersten Jahrzehnten des 19. Jhs die englischen Indologen Wilford und Jones⁷ und sie suchten damals sogar indische Vorbilder dieser griechischen Dichtung in den bekannten indischen Epen *Mahābhārata* und *Rāmāyaṇa*. Die Namen der indischen Kämpfer bei Nonnos *Deriades* und *Morrheus* leiteten sie von den indischen Namen *Duryodhanah* und *Mauryah* ab.⁸ Die moderne Wissenschaft stellt sich natürlich zu der Frage der Quellen viel kritischer, und es besteht kein Zweifel darüber, daß Nonnos nur ältere griechische Quellen benutzte. Am eingehendsten befaßte sich mit diesem Problem Sieglin in seiner nicht veröffentlichten Analyse des 26. Gesanges der *Dionysiaka*, die Bogner im Kommentar zu T. v. Scheffers Übersetzung der *Dionysiaka* benützte.⁹ Er kam

⁴ W. KIRFEL: Śiva und Dionysos. ZfE 78 (1953), S. 83—90.

^{4a} Vgl. Dion. 27, 21 ὁρῶσανόμον Διονύσου, V. BULLA: Le Dionisiache et l'ermetisme. Catania 1964. S. 175 Anm. 3.

⁵ Den Indienzug des Dionysos verherrlichte Euphron aus Chalkis, Soterichos zur Zeit des Kaisers Diokletian, Dionysios in dem verlorenen Gedicht Bassarika u. der Anonymus auf dem Londoner Pap. Nr. 273. Über künstlerische Darstellungen vgl. H. GRAEVEN: Der Inderkampf des Dionysos auf Elfenbeinskulpturen. Jahresh. d. öster. archäol. Instituts. 4, 1901, S. 126—142.

⁶ J. NOUVILLE: Les Indes de Bacchus et d'Héracles. Revue de philologie III, 55, 1929, S. 245—269. H. HERAS: Studies in Proto-Indo-Mediterranean culture, Bombay 1953. — Bekanntlich gibt es auch linguistische Hypothesen über diese Wanderungen, die auf toponomastischem Material beruhen (vgl. W. EILERS—M. MAYRHOFER: Namenkundliche Zeugnisse der indischen Wanderung? Die Sprache 6 (1960) S. 107—134.

⁷ Asiatic Researches 9 (1822); 17 (1832) S. 607—630.

⁸ Vgl. hierzu neuerdings die Versuche, indische Vorbilder für die Aeneis des Vergilius zu finden: J. LALLEMANT: Une source de l'Énéide, le Mahābhārata. Latomus 18 (1959) S. 262—287; G. E. DUCKWORTH: Turnus and Duryodhana. Trans. and Proceedings of the Amer. Philol. Association 92 (1961) S. 81—127.

⁹ TH. V. SCHEFFER: *Dionysiaka*, München 1924.

zu folgendem Ergebnis: Nonnos schöpfte für seine Schilderung des Inderzuges nur aus dem verlorenen Gedicht Bassarika des Dionysios. Die eigentliche Aufgabe des Forschers bestehe darin, die Quelle der Bassarika zu bestimmen. Siegelin hielt diese Quelle für älter als Megasthenes und setzte sie in jene Zeit nach den Feldzügen Alexanders des Großen, in der die indische Herrschaft sich unter Sandrokottos ziemlich nach dem Westen ausbreitete. Diese Datierung hängt mit der sonderbaren Lokalisierung des Inderfeldzuges bei Nonnos zusammen.

Der Kampf mit den Indern fängt bei Nonnos *παρ' Ἀστακίδος στόμα λίμνης* (Dion. XIV 327; 386; 409; XV 169; 379; XVI 46; 166; 403), d. h. bei dem Astakischen Golf in Bithynien an, wo Dionysos laut Dion. XVI 403 nach dem Siege über die Inder die Stadt Nikaia gründen sollte: *καὶ πόλιν εὐλαΐγγα φιλακρήτω παρὰ λίμνη τεῦξε θεὸς Νίκαιαν, ἐπώνυμον ἦν ἀπὸ νύμφης Ἀστακίδης ἐκάλεσσε καὶ Ἰνδοφόνον μετὰ νίκην*. Von hier eilt sein Bote in eine unbenannte indische Stadt *Κανκασί-οιο δι' οὄρεος*, d. h. durch den indischen Kaukas, den Paropamisos an der Grenze Baktriens — den heutigen Hindukusch. Diese Benennung war seit dem indischen Alexanderzug verbreitet. Beide Armeen begegnen einander im 22. Gesang am Flusse Indos. Aus dem ganzen Feldzug des Dionysos stehen also nur drei Punkte fest: *Nikaia — Paropamisos — Indos*. In solchen breiten Linien wird auch die Stellung der Armeen des Dionysos vor der entscheidenden Schlacht angedeutet (Dion. XXVII 145—166). Im Norden läuft die Linie längs des *Paropamisos* und *Hydaspes*, im Westen den *Indos* entlang durch die Landschaft *Patalene*, im Süden dem *Meer* entlang und im Osten am *Gangesfluß*. Dieses Bild entspricht aber ziemlich genau den Vorstellungen des Aristoteles, die um einige Kenntnisse, die durch die Züge Alexanders gewonnen wurden, erweitert sind.¹⁰ In der voralexandrinischen Zeit verstand man unter Indien hauptsächlich das Tal des Flusses Indos, der der indische Fluß *κατ' ἐξοχήν* war.¹¹ Die Literatur des V. und IV. Jhs. v. u. Z. bis Aristoteles kennt den Fluß Ganges nicht. Über dessen Existenz erfuhr Alexander wahrscheinlich erst während seines indischen Feldzuges (Arr. V 25, 1; Plut. Alex. 62; Diod. XVII 93; Curt. IX 2, 2ff.)¹² und er hat ihn in der Wirklichkeit niemals erreicht.¹³ Nur die romanhafte Literatur der nachalexandrinischen Zeit, der sich das

¹⁰ B. C. LAW: Historical Geography of Ancient India. Calcutta 1954, S. 11; The ancient Indians had a very accurate knowledge of the true shape and size of their country. Alexander's informants gathered their knowledge from the people of the country and described India as a rhomboid or unequal quadrilateral in shape with the Indus on the west, the mountains on the north and the sea on the east and south; vgl. Ptolem. Geogr. VII 1 *Ἡ ἐντὸς Γάγγων ποταμοῦ Ἰνδική περιορίζεται ἀπὸ μὲν δύσεως Παροπανισδαίς ... ἀπὸ δὲ ἄρκτων Ἰμάω ὄρει ... ἀπὸ δὲ ἀνατολῶν τῷ Γάγγῃ ποταμῷ, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας καὶ ἐπὶ δύσεως μέρει τοῦ Ἰνδοῦ πελάγους*.

¹¹ Ktesias frgm. 1: *ὅτι οὐχ ὕει ἄλλ' ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ ποτίζεται ἡ Ἰνδική*; frgm. 27: *ὅτι ἐν τῷ ποταμῷ τῶν Ἰνδῶν*.

¹² KAERST I², S. 460, Anm. 3.

¹³ F. SCHACHERMEYER: Alexander und die Gangesländer. Natalicium C. Iax ed. R. MUTH Innsbruck 1955.

Epos unseres Dichters nähert, ließ ihn den Ganges erreichen. Der Ganges wird bei Nonnos an mehreren Stellen angeführt (Dion. XXI, 244; XXIII, 275; XV, 273; XXVII, 4; XXIX, 163; XXXI, 76; XXXII, 288; XLII, 494), aber niemals kommt er im XVI. Gesang vor, der sonst den größten Teil der topographischen Angaben über Indien enthält, was eine besondere Quelle für diesen Gesang zu beweisen scheint.

Besonders die Behauptung, die Armee des Dionysos sei bis am Meeresufer gestanden, entspricht dem verzerrten Bild Indiens, das Alexander von Aristoteles übernommen hat. Laut Aristoteles war Asien im Osten durch Indien begrenzt, dessen Ufer vom Äußeren Meer gespült werden (Meteor. I 13, 15 p. 350a; II 5, 15 p. 362b₂₅; De caelo II 14 p. 298a₁₁). Aristoteles, ebenso wie nach ihm Alexander, wußte nur über Nordindien, sie kannten nicht die indische Halbinsel und sie stellten sich das Meer zu nahe vor.¹⁴

Kehren wir nun zur Frage zurück, warum Nonnos die erste Schlacht mit den Indern bei dem bithynischen Nikaia und die zweite erst am Indosflusse sich abspielen läßt. Einige Forscher¹⁵ bemühten sich, diesen befremdenden geographischen Hiatus mit Hilfe der Hypothese über die Existenz eines vorhistorischen Urindiens unter dem Kaukasos zu erklären. Nonnos schien ihnen diese Hypothesen eben durch jene Stellen seines Gedichtes zu beweisen, in denen der Kampf des Dionysos mit den Indern nördlich des Indostales bis in Kilikien und Assyrien (Dion. XXXIII, 284ff.) lokalisiert wird. Die Sage über den Inderfeldzug des Dionysos sollte Erinnerungen an das Vordringen der Phryger gegen die ältere indoarische kleinasiatische Bevölkerung bewahrt haben. Bekanntlich gibt es auch linguistische Hypothesen, die die Existenz der Protoinder in diesem Gebiet auf Grund der Analyse des toponomastischen Materials zu beweisen sich bemühen.¹⁶ Einer der vielen Einwände, die gegen diese Hypothesen gestellt wurden, gilt auch in unserem Fall: es ist äußerst unwahrscheinlich, daß eine ähnliche Tradition latent, besonders in einem Gebiet, in dem sich große historische und ethnische Umwälzungen abspielten, 2000 Jahre lang hätte sich erhalten können.¹⁷

Ich möchte an dieser Stelle eine einfachere Lösung der Frage versuchen. Wir haben bereits angedeutet, daß der Epik, die den Inderfeldzug des Dionysos verherrlichte, der Inderfeldzug Alexanders des Großen als Vorbild diente.

¹⁴ P. BOLCHERT: Aristoteles Erdkunde von Asien und Libyen. Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und Geographie 15, Berlin 1908, S. 7. Vgl. Plut. Alex. 63: ἐντεῦθεν ὁρμήσας Ἀλέξανδρος τὴν ἕξω θάλασσαν ἐπιθεῖν; Curt. IX 4, 21: (Alexander ad milites): iam prospicere se Oceanum, iam perflare ad ipsos auram maris; Paul. Oros. III 19, 1: post haec Indiam petit (Alexander), ut Oceano finiret imperium; Arr. V 1, 5: Διόνυσος γὰρ ἐπειδὴ χειρωσάμενος τὸ Ἰνδῶν ἔθνος ἐπὶ θάλασσαν ὀπίσσω.

¹⁵ Vgl. oben Anm. 6.

¹⁶ Vgl. oben Anm. 6; B. HROZNÝ: Archiv Orientální 12 (1941) S. 198—9; 221; B. HROZNÝ: O nejstarším stěhování národů a o problému civilisace protoindické, Praha 1940. S. 28.

¹⁷ L. ZGUSTA: Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Praha 1955, S. 37—8.

Nun begann Alexander seinen Feldzug gegen Indien im Spätfrühling des Jahres 327 v. u. Z. von Alexandria am Kaukasos, er zog zu der Stadt Nikaia, die meistens mit dem heutigen Kabul in Afghanistan identifiziert wird.¹⁸ Hier bereitete er den weiteren Zug zum Flusse Indos vor. Das Überschreiten des Indos sollten für ihn Hephaistion und Perdikkas, die als Boten zu Taxilas vorausgesandt wurden, vorbereiten (Arr. An. IV 22,6). Ähnlicherweise schickt bei Nonnos Dionysos nach der Besetzung Nikaia einen Boten zu Deriades. Alexander gründete dann nach seinem Sieg am Hydaspes am linken Ufer dieses Flusses eine zweite Stadt mit dem gleichen Namen Nikaia.¹⁹ Wenn also Nonnos Dion. XVI 403 ff. über Nikaia in Bithynien sagt, *καὶ πόλιν . . . παρὰ λίμνῳ τεῦξε . . . Νίκαιαν . . . Ἰνδοφόρον μετὰ νίκην*, so verwechselt er diese Stadt mit Alexandros' Städtegründung am Hydaspes. Nikaia als Ausgangspunkt des Inderfeldzuges des Dionysos fällt wieder mit Nikaia in Afghanistan als Ausgangspunkt des Inderfeldzuges des Alexandros zusammen.

Wie läßt sich diese Verwechslung erklären? Wir haben bereits gesagt, daß die Dionysiaka ein Repertorium der Dionysosmythen darstellen. Nonnos bemühte sich, womöglich alle Sagen aus diesem Umkreis aus den verschiedensten Quellen in ein Ganzes zu verarbeiten. Dabei stieß er an reiches Quellenmaterial über die kleinasiatische Stadt Nikaia, deren *προπάτωρ* (laut Dio Chrysostomos, Or. 39, 8 Arnim) eben Dionysos war. Eine Sage über Dionysos und Nikaia kennt Memnon aus Herakleia (Jacoby FHG III B p. 357), Menekrates schrieb eine Monographie über diese Stadt (FHG II 345). Wahrscheinlich existierten auch lokale dichterische Verherrlichungen der Stadt, aus denen Nonnos schöpfen konnte. Diese Möglichkeit scheint mir das Epitheton *ἐδλάγξ* für die Bezeichnung der Stadt, die wir in der Inschrift CIG 3747—8 (269 u. Z.) und bei Nonnos (Dion. XVI 403) finden. Auch Nonnos' Bezeichnung *Ἀστακίη* für diese Stadt ist in der griechischen epigrammatischen Dichtung der Kaiserzeit häufig (Kaibel, Epigr. Gr. 168; AP VII 627; 701). In ähnlichen Quellen fand der Dichter Stoff für drei Gesänge (15—17) seiner großen Dichtung. Da ein Nikaia laut der historischen Alexandertradition, die Nonnos — oder besser gesagt sein Vorbild für diesen Teil des Gedichtes — wieder als Quelle für den Inderzug des Dionysos benützte, der Ausgangspunkt des Inderfeldzuges war, ließ auch der Dichter den Dionysos hier seine erste Schlacht gegen die Inder liefern.

Der oben angeführte topographische Hiatus zwischen Bithynien und dem Indos kann also auf einfache Weise durch die Arbeitsweise des Dichters, die in Benützung und nicht immer ganz kunstvoller Verarbeitung verschiedener Quellen bestand, erklärt werden. Diese Behauptung kann eben für die Erzählung über Dionysos und Nikaia noch auf eine andere Weise unterstützt

¹⁸ RITTER: Abh. Berl. Akad. 1892, S. 162; CUNNINGHAM: Ancient Geography of India. Calcutta 1924. S. 42; O. STEIN: PWRE XVII 1, S. 243, s. v. Nikaia 8.

¹⁹ Arr. Anab. V 19, 4; Diod XVII 89, 6; Curt. IX 1, 6; Justin. XII 8, 8; Strab. XV 698 s.; Oros. III 19, 4; Itin. Alex. M. 104; O. Stein, PWRE XVII 1, S. 243, s. v. Nikaia 9.

werden. G. d'Ippolito²⁰ hat nachgewiesen, daß Nonnos erst ein wirkliches Epyllion über Nikaia (laut der Erzählung Memnons) geschrieben und dieses erst nachträglich in das Epos eingearbeitet hatte. In der Sage, die Memnon erzählt, trinkt Nikaia aus einer *Quelle*, deren Wasser Dionysos vorher in Wein verwandelt hatte. Im Epos trinkt aber Nikaia aus dem *Flusse*, der die beiden Armeen teilt und dessen Wasser Dionysos *der Inder wegen* in Wein verwandelte, um diese vor der Schlacht betrunken zu machen.²¹ Dabei blieben aber in den Dionysiaka einige Verse, die zeigen, daß Nonnos ursprünglich das Motiv der Quelle benützte. Auch im Epos selbst finden wir an einigen Stellen Formeln, die die Verarbeitung verschiedener Quellen beweisen: Dion XII 293: *ἄλλη προσβυτέρη πέλεται φάτις, ὥς...*; XI 158; *ἀλλὰ τις ὀπλοτέρη πέλεται φάτις*. Die Ähnlichkeit mit der Alexanderhistoriographie und mit der romanhaften Alexanderliteratur läßt sich an mehreren Stellen nachweisen. Pseudokallisthenes (III 2, 6; 3, 1; 17, 19) ebenso wie Nonnos (Dion. XXVI 236 ss; 245—328; XL 261; XL 279; XXVI 203, XXVI 212) beschreiben sonderbare indische Tiere und Pflanzen (Pseudokall. III 17, 13 — Dion. IX 276)²². Die Stadt des Poros ebenso wie diejenige des Deriades werden *πόλις* kat' exochen (Pseudokall. III 4, 12; 17, 2 — Dion. XXI 201 *εἰς πόλιν Ἰνδῶν* genannt. In beiden Werken verehren die Inder Sonne und Mond (Pseudokall. III 17, 27 — Dion. XVII 284) und das sonderbare Verschwinden dieser Himmelskörper wird erwähnt (Pseudokall. III 17, 9 — Dion. XXXVI 344). Beide Werke enthalten den «locus communis» der Alexanderliteratur über die Gymnosophisten (Pseudokall. III 5 — Dion. XXIV 162; XXXVI 344; XXXIX 357—9). Bei Pseudokall. III 2 geben die Boten Alexanders seinen Brief an Poros ab, ebenso wie bei Nonn. Dion. XXI 275 ein Bote des Dionysos seinen Brief dem Inderkönig Deriades bringt.²³ Dion. XXVII 167 ff. enthält eine Rede des Dionysos an seine Soldaten, die eine Nachahmung der Rede des Alexandros ist.

Um die Arbeitsweise des Dichters näher zu erfassen, ist an dieser Stelle auch eine Analyse der geographischen Namen bei Nonnos nötig.

Orographische Namen:

Neben dem bereits erwähnten Paropamisos (*Κανκάσιον ὄρος* vgl. S.) kennt der Dichter das *Ἰμάιον ὄρος* (XL 258) und *Ἡμωδός* (XL 260). Beide diese

²⁰ G. D'IPPOLITO: Studi Nonniani. Palermo 1964, S. 89.

²¹ Zu der Besiegung der Inder durch Trunkenheit vgl. FHG II 146 (Duris Samios laut Etym. M. 460, 49) *Λοῦρις ὁ Σάμιος ἐν τῷ Περὶ Νόμων φησὶν ὅτι Διόνυσος ἐπιστρατεύσας Ἰνδοῖς καὶ μὴ δυνάμενος αὐτοὺς χειρώσασθαι κρατῆρα οἶνον πληρώσας πρὸ τῆς χώρας αὐτῶν ἔθηκεν· οἱ δὲ ἐμφορηθέντες τοῦ πόματος ἀσυνήθεις ὄντες οὕτως ἐχειρώθησαν μεθύσθοντες.*

²² Max. Tyr. Dial. II 6 p. 241: *ἐπεδείκνυν Ἀλεξάνδρῳ Ταξίλης τὰ θαυμαστὰ τῆς Ἰνδῶν γῆς, ποταμοὺς μεγίστους καὶ ὄρηθας ποικίλους καὶ εὐώδη φντὰ καὶ εἴτι ἄλλο ξένον ὀφθαλμοῖς Ἑλληνικοῖς*. Die Beschreibung des Nilpferdes vgl. auch Ach. Tat. IV 2 ff. Über die Märchenvögel *ὠρίων* (Dion. XXVI 203) und *κατρεύς* (Dion. XXVI 212) schrieb Kleitarchos (vgl. Ael. hist. an. 17, 23).

²³ Vgl. Arr. An. IV 22, 6 über die Botschaft des Hephaistion und Perdikkas zu Taxiles.

Gebirgsketten waren seit den Alexanderfeldzügen gut bekannt (Megasthenes bei Diod. Sic. II 35; Strab. II 129; XV 698; XI 519; Arr. Ind. II 3; V 4; VI 4; Plut. Alex. II 2). Bei Nonnos allein kommt der Name *Oἶτη* (XXVI 295) vor, welcher vielleicht mit dem Gebirge Vindhya (*Οὐνδίων ὄρος* bei Ptol. VII 1, ²³ in Zusammenhang gebracht werden könnte.

Hydrographische Namen:

Von den indischen Flüssen haben wir bereits den *Indos*, den der Dichter nach dem Vorbild der alexandrinischen Literatur eingehend mit dem Nil vergleicht (XXVI 229 — 244) und den *Ganges* angeführt. Weitere, dem Dichter bekannte Flüsse sind der *Hydaspes* und *Hysporos* (XXVI 167). Nicht ganz klar ist der Name Hysporos. Er könnte mit dem Fluß Hypobaros, den wir aus Ktesias kennen (Plin. N. p. XXXVII 39; Phot. S 83 u. 89) gleichgestellt werden. Der Name Hypobaros entspricht der indischen Bezeichnung für den Ganges *hu-upabara*, d. i. «*derjenige, der alles Gute gibt*». Über den Ganges war die Sage verbreitet, daß er 30 Tage im Jahre Bernstein (*ἤλεκτρον*) trage. Nonnos (XXVI 168: "Υσπορον αἰγλήεντι διαστίλβοντα ῥέεθρον | ἤλεκτρον κομῶντα βαθυπλόυτοισι μετάλλοις vertauschte den Bernstein mit dem Metall.

Auch der Flußname *Ombelos* (XXVI 49) ist sonst nicht bekannt. Am nächsten steht diesem Namen die Bezeichnung eines Armes des Indus bei Ptol. VII 1, 2, 28 — *Σαβαλάεσσα*. Gut bekannt ist der Fluß *Sydros* (Dion. XXXII 288). Es ist der größte Nebenfluß des Indus, der Śatadru (heute Sutlej). Ptol. VI 20, 3 u. VII 1, 61 kennt ihn unter dem Namen *Ζάραδρος*, Plin. h. n. VI 92 *Hesydrus*. Es ist ersichtlich, daß einige dieser Flußnamen erst aus der nachalexandrinischen geographischen Literatur belegt sind.

Die indischen Städte bei Nonnos:

Sehr schwierig und bisher nicht immer auf befriedigende Weise gelöst ist die Frage der Identifikation der bei Nonnos im XXVI. Gesang angeführten Ortsnamen. Schon die antiken Geographen machten auf die hohe Anzahl indischer Städte aufmerksam.²⁴ Nonnos führt 20 Städtenamen an. Wir wollen uns im weiteren um deren Interpretation der Versfolge nach bemühen:

Kṛṣṇa (Dion. XXVI 48) *Kirata* im no. Pandshab. Vgl. B. C. Law, *Historical Geography of ancient India*, Calcutta 1954, S. 98.

²⁴ Die Nachricht über die große Anzahl indischer Städte war im Altertum verbreitet: Strabo (XV 1, 3) führt die Zahl 5000 an (vgl. Plin. n. h. VI 59); Pomponius Mela Chronograph. III 66 — *urbium, quas incolunt sunt autem plurimae*, Pānini hat die Zahl 750. Vgl. V. S. AGRAWALA: *India as known to Pānini*. Allahabad 1953 S. 73.

Baidion (48) wird näher als *παρά πλανὺν βάργβαρον ὕδωρ Ἰνδῶν ποταμοῖο Ὀμβηλοῖο* liegend beschrieben. Dieses *βάργβαρον ὕδωρ* entspricht dem bekannten Emporion *Βαργβαρεῖ* (Ptol. VII 1, 59a; VIII 26,11) auch unter dem Namen *Barbarikon* oder *Barbara* (Pāṇini IV, 3, 93) bekannt. Dieses griechische Emporion lag auf dem mittleren Arm des Indusdelta und kann vielleicht mit dem heutigen *Bahardipur* gleichgesetzt werden. (Vgl. V. S. Agrawala, *India as known to Pāṇini*, S. 62; E. H. Warmington, *The Commerce between the Roman Empire and India*, Cambridge 1928, S. 55). Etymologisch liegt dem Namen *Baidion* der im Ostindien vorkommende Name *Baidyanatha* nahe. VI. Law (a. o. O., S. 211). Nundo Lal Dey (*The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India*, London 1927, S. 16) kennt 3 Ortschaften dieses Namens, von denen eine ein altertümlicher Wallfahrtsort war. *Baithava* bei Ptol. VII 1, 82 u. VIII 26,14 kommt nicht in Erwägung, da es ausdrücklich als binnenländische Stadt angeführt wird.

Ῥοδόη (50). Aus dem Dionysioszitat bei Steph. v. Baz. s. v. *Γήρεια* wissen wir, daß Nonnos diesen Vers aus Dionysios übernommen hat. Die Identifikation ist bisher nicht gelungen. Der Lautgestalt nach kann sie mit der Stadt *Rouda* verglichen werden (vgl. Mc Grindle, *Ancient India as described by Ptolemy*, Calcutta 1927, S. 313) *Ῥοῦδα Ἀργαριανῆς* Ptol. VI 19,4).

Γραιῶν νῆσος (51). Diese Lokalität ist unbekannt. Sie wird bei Nonnos mit der Stadt *Ῥοδόη* in Zusammenhang gebracht. In Nonnos' Quelle — Dionysios — wird *Ῥοδόη* mit der Stadt *Γήρεια* verbunden (vgl. Stephanos von Byzanz s. v. *Γέρεται*.) Den Stamm *Geretai* kennt auch Plinius VI 78.

Σαίνδιον (55). In antiken Quellen ist diese Lokalität nicht bezeugt. Etymologisch könnte die Stadt *Σάξαντιον* (Ptol. VII 1,63) in Erwägung kommen.

Γάζος (56). Die Stadt kennen wir aus Stephanos v. Byzanz der s. v. *Γάζος* eine Stelle aus Dionysios anführt. Ptolemäos (VI 18,4) u. Ammianus Marcell. (XXIII 6,70) kennen die Stadt der Paropamisaden *Γάζακα* (oder *Gaudzaka*), die mit dem späteren *Ghazna* in Afghanistan identifiziert wird.

Αἰθρη, *Ἡλίοιο πόλις* (85). Die Lokalität ist unbekannt. Der Kult der Sonne in Indien wird aber für Indien auch an anderen Stellen im Zusammenhang mit Toponymen bezeugt: Pseudoplutarch (IV 3): *Παράκειται δ' αὐτῷ (scil. τῷ Γάγγη) ὄρος Ἀνατολή καλούμενον δι' αἰτίαν τοιαύτην Ἀναξιβίαν νόμῳ "Ἡλιος θεασάμενος . . . εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῆς ἐνέπεσε — ἡ δὲ κατέφωγεν ἐπὶ τὸ τέμενος, ὅπερ ἦν ἐν ὄρει Κορύμφη — — οἱ δ' ἐρχόμενοι τὴν ἀκρόρειαν Ἀνατολὴν μετονόμασαν* und Pomponius Mela Chronogr. III 71 *contra Indi ostia illa sunt, quae vocant Solis*.

Ἀνθηνή (87). In Zusammenhang mit dieser Stadt könnte die indische Lokalität *Andhavana* (Law Bimala Churn, *Historical Geography of Ancient India*. Calcutta 1954, S. 65) angeführt werden. Nundo Lal Dey (*The Geographical dictionary of anc. and mediaeval Indias*, London 1927) führt unter *A* den Fluß *Andha* (vgl. auch Ptol. VI 84 *Ἀνδάνιος ποταμοῦ ἐκβολαί*) u. *Andhanada* an. Plinius (VI 78) kennt den Stamm *Andiseni*.

Ῥονκίη (87) — vgl. den Flußnamen *Arjikiya* (Nundo Lal Dey, *Geogr. dict.* S. 11).

Νήσαια (88). Der Name könnte mit dem Namen des Stammes *Nesei* (Plin. n. h. VI 76), die am unteren Indus angesiedelt waren, oder mit der indischen Stadt *Nisāda* (Law Bimala Churn, *Historical Geography* S. 291) verbunden werden. Das Epitheton *φλογερή* bei Nonnos könnte auch auf einen Zusammenhang mit der medischen Lokalität *Νισαίων πεδίων* (Arr. An. VII 13,1; Stephanos v. Byz. s. v. *Νισαίων πεδίων* zeigen, wo die besten Pferde des Altertums, die *Νισαῖοι ἵπποι* (Herod. III 6), die laut Photios (p. 371 a 35) auch Helios dienten, gezüchtet wurden. Da auch die Pferdezucht der indischen Stadt *Nisāda* und deren Königs *Nala* (s. Law a. a. O. S. 291) berühmt war, könnte hier ein verbindendes Glied gesucht werden. Ptol. VI 10,4 kennt die Stadt *Nisaia* in Margiane.

Μελαίνα (88). Der Name ist in dieser Form durch keinen anderen Zeugen belegt. Arrian (Ind. XXV 1) kennt den Ort *Mālana* im Gebiet der Oreitai. Law (a. a. O. S. 110) u. Dey (a. a. O. S. 122) führen einen Ort *Mālava* an. Bei Ptolemäos vgl. die Städte *Μελαγγή ἐμπόριον* (VII 1,14) oder *Μάλαγγα* (VII 1,92).

Παταλήνη (89) ist die bekannte Lokalität im Indusdelta (daher *ἀλιστεύφανος*, in neuer Zeit *Brāhmanābād*), die den Alexanderhistorikern unter dem Namen *Πάταλα* (Ptol. VII 1,59; VIII 26,10), *Πατάλη* (Arr. An. V 4,1; VI 20,1; Ind. II 6,8) und *Παταλήνη* (Strab. XV 3; Dion. Perieg. 1093) bekannt ist.

Ἀρσανίη (170). Der Name ist wahrscheinlich fehlerhaft. Bei Dionysios wird die Stadt *Darsania* genannt (vgl. Steph. v. Byz. s. v. *Δαρσανία*). Es handelt sich um die indische Stadt *Daśāsra* (*daśa* = 10, *rīna* = Festung; vgl. Nundo Lal Dey S. 54).

Ἀρειζάντεια (183) kommt als Ortsname nur bei Nonnos vor. Der Name kann ety-

mologisch mit dem Wort *arayazantu* «aus gutem Geschlecht stammend» verbunden werden. Einen indischen Stamm ähnlichen Namens *Ἀριστόφουλοι* kennt Ptolemaios (VI 18, 3).

Καρμίνα (219) ist eine indische Insel im Persischen Golf auch aus Ptolemaios (VI 8, 16; VII 22, 23) bekannt. Nonnos (XXXVI 28) kennt auch einen Stamm *Καρμίνας*.

«Dreihundert Inseln» (222) die Stelle ist unklar. Vielleicht sind die Inseln am Indos gemeint (laut XXXIX 25 kommt der Bote zu den indischen Stämmen zu Fuß).

Πύλαι (292) ist wahrscheinlich die griechische Übersetzung des Namens *Abisera* (Arr. Ind. VII 12), da *Abhisara* — Eingang bedeutet.

Εὔκολλα (293). Laut Nonnos liegt die Stadt im äußersten Osten. Der Name kann mit keinem anderen bekannten Namen identifiziert werden.

Γορῦνδος (294). Der Name kann mit der Stadt *Γόρνα* (Ptolem. VII 1, 43) oder *Γωρὺς* (Strabo 697) in Zusammenhang gebracht werden. Es ist die Hauptstadt des Stammes *Guraioi* (Arr. An. IV 25) am Fluß *Guraïos*. Die Wurzel hängt mit *ir. Kur, Gur*, die oft in Namen der Bergströme vorkommt, zusammen.

Ἐριστοβάρεια (338) wahrscheinlich mit *Ἀριστοβάθρα* (Ptol. VII 1, 57) identisch, das indische *Arishtapura* (Pāṇini VI 2, 100), die Hauptstadt der Sibai im nördlichen Pandshab (Nundo Lal Dey S. 11; Bimala Churn Law S. 66).

Von den 20 analysierten Toponymen sind 4 auch aus den Fragmenten der *Bassarika* im gleichen Verszusammenhang bekannt (*Ῥοδόη, Γήρεια, Γάζος, Ἀρσανή*), aus der *Alexanderhistoriographie* kennen wir 2 Namen *Παταλήνη, Καρμίνα* für 8 Namen finden wir gute Analogien und Erklärung in der späteren nachalexandrischen geographischen Literatur (besonders bei Strabo und Ptolemaios) oder in indischen Quellen: *Κῦρα, Βαίδιον, Ἀνθηγή, Νήσαια, Μέλαιναι, Πύλαι, Ἐριστοβάρεια*. 3 Namen können wenigstens hypothetisch etymologisch mit indischen Ortsnamen verglichen werden: *Σεσίνδιον, Ὠρνική, Γορῦνδος*. Nur für 2 Namen, d. i. 10% (*Ἀῖθρη, Εὔκολλα*) konnten keine Parallelen gefunden werden.

Die indischen Stämme bei Nonnos:

Δάρδαι (61) aus dem Zitat bei Stephanos von Byzanz s. v. *Δάρδαι* wissen wir, daß Nonnos diese Stelle aus Dionysios übernommen hat. Es handelt sich um den indischen Stamm *Darada* aus Dardistan (skr. *darad* + Berg; vgl. Nundo Lal Dey 5. 53). Arrian (Ind. 15) kennt sie unter dem Namen *Δέρδαι*. Sonst kommen sie auch bei Strabo (XV 706 aus Megasthenes) und Plinius (VI 67; XI 111) vor.

Πρασίαι (61) werden oft in der *Alexanderhistoriographie* und auch in der späteren Literatur genannt (Strabo XV 1, 36; Plut. Alex. 62; Plin. n. h. VI 68; Curt. Hist. Alex. IX 2, 3; Mela III 7). Ihr Name hängt mit dem skr. Wort *prachyaka* = 'östlich' zusammen. Nonnos übernahm die Stelle aus Dionysios; vgl. Steph. v. Byz. s. v. *Πρασίαι ἔθνος Ἰνδικὸν Λιονύσω πολεμήσαν*.

Σαλαγγοί (61). Der Name ist durch keinen anderen Zeugen belegt. Er könnte mit dem Flußnamen (*Σαράγγης*, skr. *Čaranga*), den wir aus Arrianos (Ind. 4, 8) kennen, verbunden werden. *Σάραγγα* war laut Arrian (Ind. 22, 3) auch ein Ort am Ufer Gedrosiens. Herodot (III 93 u. VII 67) kennt einen iranischen Stamm *Σαράγγαι*. Alexander der Große zog durch ihr Gebiet während seines Feldzuges nach Indien, wodurch erklärt werden könnte, daß sie bei Nonnos an der Seite der Inder kämpfen.

Ζάβιοι (65). Nonnos übernahm sie aus Dionysios (vgl. Steph. v. Byz. s. v. *Ζάβιοι*). Ptolemaios (VII 2, 6) kennt eine Stadt *Ζάβαι* am Ganges.

Δύσσαιοι (90). Dieser Stamm ist nicht bekannt.

Σάβειραι (90) — vgl. *Σαβάραι* bei Ptolem. VII 1. 80.

Ὀνατοκοῖται (91). Dieses Märendenvolk ist in der griechischen ethnographischen Literatur seit der Zeit Ktesias' (Ind. 31 — *Ἐνωτοκοῖται*) bekannt. Sie werden mit dem indischen Stamm *Karnapravarana* gleichgesetzt (vgl. O. Stein, Die Wundervölker bei Skylax, Epitymbion H. Swoboda 1927, S. 314 f.).

Βώλιγγες (143) sind auch aus Ptolemaios (VII 1,69) u. Plinius (VI 77 aus Megasthenes) bekannt. Sie lebten am östlichen Ufer des mittleren Indus. Nonnos übernahm sie aus Dionysios (vgl. Steph. v. Byz. s. v. *Βώλιγγες*). Pāṇini kennt sie unter dem Namen *Bhūlinga* (vgl. Agrawala, a. a. O. S. 58).

Ἀραχωτοί (148) sind die Bewohner der persischen Satrapie *Ἀραχωσία*, deren östlichen Teil Seleukos Sandrokottos I. überließ.

Λεραῖοι (149) wahrscheinlich mit den *Dorsii* des Plinius (n. h. VI 94) in Arachosien identisch.

Ξοῦθοι (165). Nonnos übernahm sie aus Dionysios (Steph. v. Byz. führt sie s. v. *Κάσπειρος*, *Ροιτία*, ὡς *Σώτειρα* an). Vielleicht mit den *Ξάθροι* bei Arrian (An. VI 15,1) identisch.

Ἀριητοί (165). Plinius (n. h. VI 94) kennt die *Arietai* in Ariané. Auch sie fielen wie die Arachoten im J. 302 Sandrokottos zu.

Ζόαροι (166). Nonnos übernahm sie aus Dionysios. (Vgl. Steph. v. Byz. s. v. *Ζόαροι*. Zoara wird hier als eine persische Stadt angeführt.)

Ἐαγες (166) könnten mit den *Ἐωγίται* des Ptolemaios VI 20,3) gleichgesetzt werden. Nonnos kennt sie aus Dionysios (Frgm. 24).

Κάσπειροι (167) sind die indischen Kásas aus dem Lande Káśyapapura (vgl. Nundo Lal Dey, a. a. O. S. 95–96), dem heutigen Kaschmir. Herodot (III 93) kennt die iranischen *Κάσπιοι*, Ptolemaios (VII 1,49 u. VIII 26,7) die parthische Stadt *Κάσπειρα* an der indischen Grenze. Stephanos v. Byz. führt diese *Κάσπειροι* aus Dionysios an, dem auch Nonnos die Stelle entnahm.

Ἀρβυες (167) war ein Stamm in Gedrosien (Plin. n. h. VI 25, 95; Strab. XV 720). Ptol. VIII 21,14 kennt den Fluß *Arbis* in Gedrosien.

Κυραῖοι (174). Da Nonnos sie als Inselbewohner beschreibt (*δεδαῶτες ἀλίκτυπον ἄντυγα νήσων*), könnte als ihr Wohnsitz vielleicht die Insel *Κύρη* im Persischen Golf (vgl. Steph. v. Byz. s. v. *Κύρη*) in Erwägung genommen werden.

Σίβαιοι (218) ein aus der Alexanderhistoriographie gut bekannter, in den Bergen wohnender Stamm (Arr. Ind. V 12; Strab. XV 688, 701; Diod. XVII 96; Curt. IX 4,1). Nonnos kennt sie aus Dionysios (Frgm. 18).

Υδάρκαι (218) vgl. Frgm. 19 aus Dionysios u. Ptol. VI 12,4; 20,3.

Δέρβικες (339) ein bekannter Stamm in Hyrkanien. Bei Ktesias (Pers. 6) kämpfen sie mit den Indern gegen Kyros. Vgl. auch Ptol. VI 10,2; Strab. XI 514, 520.

Αἰθιοπες, Σάκαι, ἔθνεα Βάκτρων (341) — zu den Namen der Saken und Baktrier ist kein Kommentar nötig, da es sich um die bekannten persischen Satrapien handelt. Bei dem Namen der Äthioper erzählt der Dichter über ihre eigenartige Kampfmethode, bei der sie Pferdeköpfe als Schutzwanne benutzten. Diese Eigenart kennt auch Herodot (VII 70: οἱ δὲ ἡλίον ἀνατολέων *Αἰθιοπες* . . . προσετείχιστο τοῖσι Ἰνδοῖσι . . . οὗτοι δὲ οἱ ἐκ τῆς Ἀσίας *Αἰθιοπες* τὰ μὲν πλέω κατὰπερ Ἰνδοὶ ἐσεσάχατο, προμετωπίδια δὲ ἵππων εἶχον ἐπὶ τῇσι κεφαλῇσι σὺν τε τοῖσι ὅσι ἐκδεδιωμένα καὶ τῇ λοφῇ).

Βλέμνες (342) die Lokalisation der Blemyer in die Nähe Indiens hängt wahrscheinlich mit der Unsicherheit über den Zusammenhang des Nil und des Indus in der Spätantike zusammen (vgl. unten S. 21). Da der obere Flußlauf des Nils mit dem unteren Lauf des Indus gleichgesetzt wurde, konnte der Hauptsitz der Blemyer Meroe in die Nähe Indiens gesetzt werden.

Nonnos führt also 24 Namen indischer Stämme an, wovon 15 auch durch andere literarische Zeugnisse belegt sind. 8 Namen stehen zwar nur bei Nonnos, aber sie können durch annehmbare Hypothesen erklärt werden. Unerklärt bleibt der Name *Δύσσαριοι* (d. i. 4,2%).

Wir wissen, daß Nonnos' unmittelbare Quelle für den 26. Gesang die Bassarika des Dionysios waren. Das ursprüngliche Vorbild für diese Art Dichtung war aber wieder die Alexanderhistoriographie. Oneisikritos führte seine Beschreibung Indiens mit einer Aufzählung indischer Städte und Stämme, Megasthenes mit einer Übersicht indischer Stämme ein.²⁵ Diese Aufzählung

²⁵ Vgl. Plin. Nat. Hist. VI 59; BRELOER: Megasthenes über die indische Stadtverwaltung, ZAMG. 14 (89) (1935) S. 62–63.

der Städte und Stämme scheint die Quelle des Katalogs in der Dionysiosepik zu sein.

Von den 39 Personennamen hat 6 auch Dionysos in den Bassarika (*Δηριάδης, Μορρεύς, Ψωρόντης, Βλέμυς, Διδνασιδής, Μωλαῖος*). Aus der mythologischen Tradition kommt wahrscheinlich der Name *Γύγλων* (XXVI 146), denn *Γιγών* kennen wir als einen äthiopischen König, den Dionysos besiegte (vgl. Et. M.; Steph. Byz., Hesych s. v. *Γιγών*). Der Rest sind meistens allegorische Namen, die die Eigenschaften der Kämpfer ausdrücken.

Die Schilderung der indischen Gesellschaft bei Nonnos entspricht ebenfalls der üblichen Topik der Alexanderhistoriographie, u. zw. meistens Megasthenes. Es sind einige Stellen über die indische Religion: nach Dion. XVII 284 beten die Inder die Sonne, die Erde und das Wasser als Götter an.²⁶ Der Dichter kennt auch die Lehre über die Seelenwanderung und verbindet diese mit dem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele (Dion. XXXVII 3–6). Die Brahmanen sind bei ihm weise Ratgeber des Königs, sie kennen heilende Künste und führen ein Leben ohne Waffen (XXIV 162; XXXVI 344; XXIX 357–9).²⁷ Er kennt die Einteilung der indischen Armee in Fußkämpfer, Reiter, Bogenschützen und Elephantenabteile, die der Wirklichkeit entspricht, da wir sie auch aus Pāṇini kennen.²⁸ Er weiß über die Benützung der eigenartigen Lederschiffe zum Wassertransport (XXVI 178–179), die laut Pāṇini unter dem Namen *bhastrā* besonders in Pandschab und Afghanistan bekannt waren.²⁹

Den sinkenden geographischen Kenntnissen der Spätantike entspricht die Unsicherheit an einigen Stellen des Gedichtes, die über den Zusammenhang zwischen Afrika, bzw. Äthiopien und Indien herrscht. Nonnos' Inder sind eher negroide Typen — sie sind schwarz und haben gekraustes Haar (XVI *αἰθοπεες*, XXVII 204 u. a. a. S. *μελαρρῖνες*; XI, 27 *μελανόχροοι* XXVII 48 *κνανέοι*, XXV 328 *οὐλοκάρηνοι*), obwohl die Alexanderhistoriker in diesem Punkt gegensätzliche Informationen bringen (Strab. XV 24, 690; 696 aus Megasthenes: *καθ' ὃ καὶ τοὺς Ἰνδοὺς μὴ οὐλοτριχεῖν φάμεν μηδ' οὕτως ἀπεφεισμένως ἐπικεκαῦσθαι τὴν χροάν*)³⁰. In der indischen Armee kämpfen auch Äthioper und Blemmyer (XXVI 341–2). Wir wissen, daß vor der Fahrt des Nearchos der obere Lauf des Nils mit dem Indos gleichgesetzt wurde (Arr. An. VI 1,2; Strab. XV 696; Aristot. de inund. Nili 44 s.). Ähnliche Ansichten tauchen wieder in der Spätantike auf (Prokop. de aed. VI 1, 6: *Νεῖλος μὲν ὁ ποταμὸς ἐξ Ἰνδῶν ἐπ' Αἰγύπτου φερόμενος*). Der Vergleich des Nils und des Indos mit der Be-

²⁶ Vgl. auch Dion. XVII 269; XX 224, 264; XXXIII 252; XXXIV 236 u. Strabo 718: *σέβονται μὲν τὸν ὀμβριὸν Λία Ἰνδοὶ καὶ τὸν Γάγγην ποταμὸν καὶ τοὺς ἐγγωρίους δαίμονας*.

²⁷ Vgl. Strab. 712 (aus Megasthenes); Onesikritos, Frgm. 10 p. 576; Nearchos Frgm. 14; Pseudokall. III 5.

²⁸ Vgl. V. S. AGRAWALA: India as known to Pāṇini. Allahabad 1953, S. 419–423.

²⁹ Ibidem S. 156.

³⁰ Arr. Ind. I 6; Arr. An. V 4, 10; Plin. V 66.

schreibung des Nilpferdes war ein beliebter Topos der Alexanderliteratur und auch Nonnos führt ihn in breiter Weise aus (XXVI 224—246).³¹ Spuren dieser Tradition, die Afrika mit Indien verbindet, finden wir sogar noch im Mittelalter im Kommentar des Eustathios zu Dion. Perieg. 606: "Ἄλλοι φασί . . . οἱ δὲ κατὰ ἐπίθετον ἔθνικόν 'Ερυθραῖον βασιλέα τὸν Δηριάδην νοοῦσιν αὐτόθι τεθαμμένον — — — ὃς 'Ερυθραῖος μὲν ἦν τῷ γένει, χρόνῳ δὲ ὕστερον εἰς 'Ινδοῦς ἐλθὼν ἀντέστη λαμπρῶς τῷ τοῦ Διὸς Διονύσῳ στρατευσαμένῳ κατὰ τῶν 'Ινδῶν.³²

Im Anschluß an die Interpretation des Inderfeldzuges bei Nonnos seien noch einige Bemerkungen über die sogenannten Londoner Dionysiaka (Pap. Brit. Mus. Nr. 273, 4. Jh. u. Z.) beigefügt (vgl. H. J. M. Milne — U. Wilamowitz, Arch. f. Papyrusforsch. VII, 1924, S. 3—10, 11—16). Auch in diesem Gedicht heißt der König der Inder Deriades, er führt das Volk der *Κηθαῖοι* in den Kampf gegen Dionysos. Diese *Κηθαῖοι* könnten mit den *Κηθαῖοι* bei Diodoros (XVII 91, 3), den indischen Kathoi (Kathas, vgl. Agrawala a. a. O. S. 70) identifiziert werden. Die Szene, die im Londoner Fragment geschildert wird, kommt bei Nonnos nicht vor, aber wir können wenigstens ein gemeinsames Motiv feststellen: *ein in ein Tierfell gekleideter Mann*.

Nonn. Dion. XXI 203 ff.:

ταυροφυῆς, νόθον εἶδος ἔχων κεραελκεῖ μορφῇ,
ἀντίτυπον μίμημα Σεληναίησι κερααῖαις,
αἰγὸς ὄρεσσινόμοιο περὶ χροῖ δέρμα συνάψας,
αὐχενίῃ κληῖδι καθειμένον ἐξ ἑνὸς ὤμον,
δεξιτεροῦ πλευροῖο κατήορον εἰς πτύχα μηροῦ,
ἀμφοτέρης ἐκάτερθε παρηγῖδος οὐατα σείων,
ὥς ὄνος οὐατόεις, λάσιος δέμας· ἐκ μεσάτης δὲ
ἰξὺς αὐτοέλικτος ἐσύρετο σύγγονος οὐρῇ·

Im V. 241 wird dieser Mann als *ἀνδρομέος θῆρ* bezeichnet. Ein ähnliches Motiv finden wir im Frgm. I der Londoner Dionysiaka: V. 3 ff.:

ἀτὰρ δεῖραν τε καὶ ἐκ δέρος εἰρὺς[αντες
κόσμεον ἀνέρα λυγρὸν ἀπὸ κράτός τε καὶ ὤ[μων
ἀμφὶ δὲ οἱ νεόδαρτος ἀνὶ χροῖ δύνετο ῥινός
ἐντυπάς, ἀτὰρ ὑπερθε κ[έ]ρα πάμφαινεῖν ἰδ[έσθαι
τηλόθεν, οὐδ' ἔτι θηρὸς ἐ[λ]είπετο δερκομέ[νοισιν
ὥς οἱ μὲν ποιητὸν ἐπ' ἀνήρι θῆρα τίθ[ε]σκ[ον]

³¹ Das Epitheton *θερευγενῆ ὕδατα* (Dion. XXVI 229) für die Nilschwelle entspricht der Erfahrung des Nearchos (bei Strab. XV 696: *Νέαρχος δὲ τὸ ζητούμενον πρότερον ἐπὶ τοῦ Νείλου πόθεν ἢ πλήρωσις αὐτοῦ, διδάσκειν ἔφη τοὺς 'Ινδικούς ποταμούς, ὅτι ἐκ τῶν θερμῶν ὀμβρῶν συμβαίνει*) Vgl. auch Flav. Philostr. *Vita Apol.* VI 1 p. 204, 15.

³² Vgl. Scholia in Dionys. Per. 607 (Geogr. Gr. Min. II, 1871): *'Ερυθρας δὲ βασιλεύς — — — ἦν τοῦ Δηριάδου, ὃς ἀντετάξατο Διονύσῳ ὑπὲρ 'Ινδῶν*.

Die Situation ist natürlich in beiden Gedichten verschieden. Bei Nonnos ist der *ἀνδρομέος θῆρ* ein Bote des Dionysos, der Mann in den Londoner Dionysiaka wird als *λυγρός* bezeichnet und soll wahrscheinlich geopfert werden. Vielleicht handelt es sich an beiden Orten um eine Reminiszenz an einen Ritus der Dionysosmysterien. (Vgl. M. P. Nilsson: Geschichte der griechischen Religion I, 1955, S. 570, L. Deubner: Attische Feste, Berlin 1956, S. 223 u. Demosth. 18, 259).

Zum Schluß kehren wir zur Interpretation des Mythos über den Inderkampf des Dionysos zurück. Daß Alexander der Große göttliche Verehrung eben nach der Rückkehr vom indischen Feldzug verlangte, wird allgemein anerkannt.³³ Nun enden auch Nonnos' Dionysiaka durch Dionysos' «Himmelfahrt» (Dion. XLVIII 974–978):

*καὶ θεὸς ἀμπελόεις πατρώιον αἰθέρα βαίνων
πατρὶ σὺν εὐώδινι μιῇς ἔψανσε τραπέζης,
καὶ βροτέην μετὰ δαῖτα, μετὰ προτέρην χάσιν οἶνον
οὐράνιον πλε νέκταρ ἀρειοτέροισι κνπέλλοις,
σύνθρονος Ἀπόλλωνι, συνέστιος νείει Μαίης·*

Diese Himmelfahrt war der Lohn für ein schweres irdisches Leben (Dion. XX 94–96):

*νόσφι πόνων οὐκ ἔστιν ἀνέμβατον αἰθέρα ναίειν
οὐ πέλε ῥηιδίῃ μακάρων ὁδός· ἐξ ἀρετῆς δὲ
ἀτραπὸς Οὐλύμποιο θεόσσυτος εἰς πόλον ἔλκει.^{33a}*

Vergißt man nicht, daß gegen alle anderen Zeugnisse aus der Antike,³⁴ die Inder des Nonnos gottlos, ungerecht, kämpferisch und böse sind (Dion. XIII 3; XIII 20; XVIII 221; XVIII 303; XLII 145), so wird man der Ansicht beistimmen, daß sie hier das Prinzip des Übels darstellen, das Dionysos besiegt, um der Welt Ordnung und Gerechtigkeit zu bringen und seine Apotheosis zu verdienen. Auch für diese Auffassung, die an christliche oder wenigstens hermetische Lehren erinnert,³⁵ können direkte Wurzeln schon in der Alexandertradition gefunden werden. Plut. Alex. 27 enthält das Wort Alexanders, daß Gott, der Vater aller Menschen, sich die besten für seine Leibsöhne auswählt. Aus-

³³ PWRE II 187; W. VOLLGRAFF: Le péan Delphique à Dionysos. BCH LI (1927) 423–468. U. WILCKEN: Alexander der Große. Leipzig 1931. p. 200.

^{33a} M. MÜHL: Des Herakles Himmelfahrt. RhM 101 (1958) S. 106–134; Cic. Tusc. disput. I 32; Sen. Herc. Oet. 1942.

³⁴ Ktesias (REESE p. 8) *Περὶ τῶν Ἰνδῶν* ὅτι δικαιοτάτοι p. 9: πολλὰ δὲ λέγει περὶ τῆς δικαιοσύνης αὐτῶν Herod. III 10 οὐτε κτείνουσι οὐδὲν ἔμνηγον Arr. Ind. 10, 8–9; 9, 12: οὐ μὴν δὴ οὐδὲ Ἰνδῶν τινα ἔξω τῆς οἰκείης σταλῆναι ἐπὶ πολέμῳ διὰ δικαιοσύνην Diod. II. 39, 5; Strab. XV 1, 1; XV 1, 53.

³⁵ Vgl. V. BULLA: Le Dionisiache e l'ermetismo, Catania 1964 S. 159 ff.

drücklich finden wir die Idee der zivilisatorischen Rolle Alexanders bei Plut. De fort. Alex 329: (durch Alexanders Städtegründungen): ἀπεσβέσθη τὸ ἄγριον καὶ μετέβαλε τὸ χεῖρον ὑπὸ τοῦ κρείττονος ἐθιρόμενον. Εἴ τοίνυν μέγιστον μὲν οἱ φιλόσοφοι φρονοῦσιν ἐπὶ τῷ τὰ σκληρὰ καὶ ἀπαίδευτα τῶν ἡθῶν ἐξημερῶν καὶ μεθαρμόζειν, μυρία δὲ φαίνεται γένη καὶ φύσεις θηριώδεις μεταβαλῶν Ἀλέξανδρος — — — und diese zivilisatorische Rolle war ihm vom Gott gegeben: ibid. 329 Ὡς ἀλλὰ κοινὸς ἦκειν θεόθεν ἁρμοστής καὶ διαλλακτὴς τῶν ὅλων νομίζων.

Im 5. Jh. u. Z., zur Lebenszeit des Nonnos verschwand natürlich die ursprüngliche Alexanderlegende hinter zeitgenössischen ideologischen Auseinandersetzungen zwischen Heidentum, Orphismus, Gnostik, hermetischen Lehren und Christentum. Als literarisches Genos dürfen wir aber die Dionysos-epik, von Euphorion von Chalkis an bis zu Nonnos, für einen Abzweig der legendären Literatur über Alexander den Großen halten.

Praha.

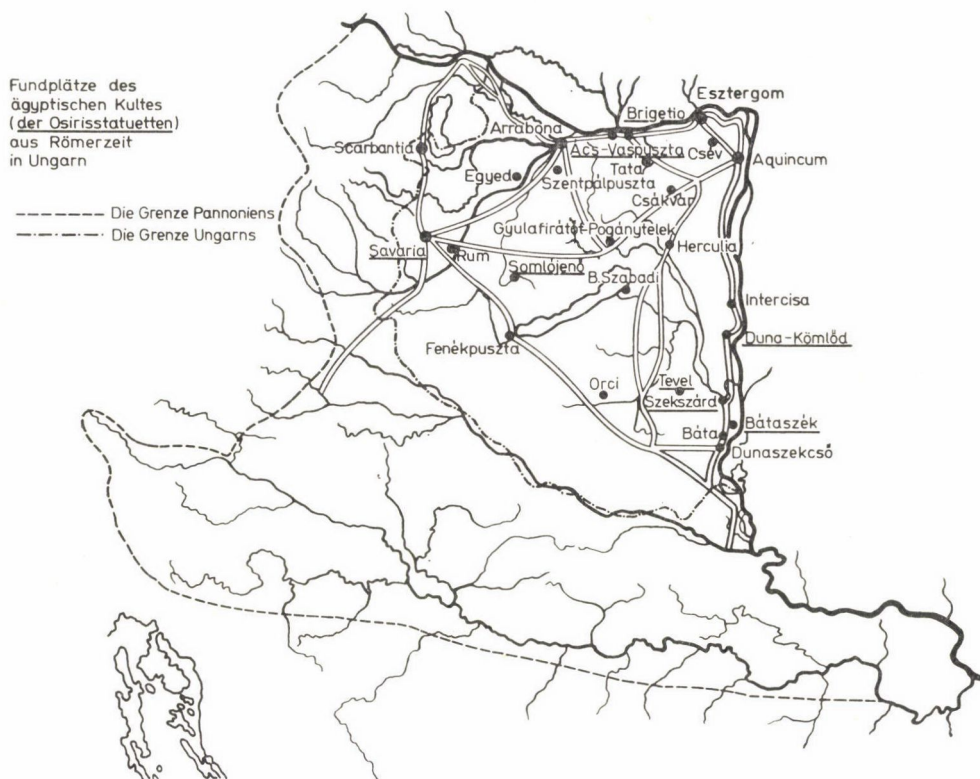
ZUR WERTUNG DES ÄGYPTISCHEN TOTENKULTES
IN PANNONIEN

Das ägyptische Denkmalmaterial Pannoniens aus der Römerzeit kann — im Vergleich mit anderen außerägyptischen Gebieten — überaus reich genannt werden.¹ — Das Heiligtum von Savaria, eine ganze Reihe von Steindenkmälern (Altäre, beschriftete Denksteine), daneben aber besonders zahlreiche Kleinplastiken aus Bronze wurden in pannonischer Erde gefunden. Alle diese Statuetten bezeugen das Vorhandensein des ägyptischen Kultes, doch muß man, gerade wie bei den Steindenkmälern, auch unter diesen zwei Gruppen unterscheiden. Die eine umfaßt jene Denkmäler, die mit Sicherheit aus der Römerzeit stammen und das Werk alexandrinischer, italischer oder gar provinzialer Künstler sind; neben diesen stehen die ursprünglich-ägyptischen Kultgegenstände, beziehungsweise solche, deren Ausführung mit den ägyptischen vollkommen identisch ist. Das Charakteristische der ersteren wird bereits an der Kleidung offenbar, in der sich der Einfluß der *interpretaatio romana* geltend macht. Zu dieser Gruppe gehören in Ungarn die Statuetten der Isis-Fortuna, ein Apiskopf, ein Hermes-Thot (aus Brigetio und Solva, bzw. aus Szentpálpuszta und Fenékpuszta). Die andere Gruppe, deren Typus das ursprünglich-ägyptische andeutet, umfaßt eine Bronzestatuetten (ein in Rohonc, Rechnitz aufgefundener Chons) und die fast unerwartet zahlreich anzutreffenden Osirisstatuetten. Diese letzteren sind in fast allen Teilen des römischbesetzten Gebietes ans Tageslicht gefördert worden. Savaria, Brigetio, Ács, Somlójenő, Dunakömlőd, Tevel, die Umgebung von Szekszárd, sowie Bátaszék sind die bisher bekannten Fundorte dieser Osirisstatuetten. Dagegen sind in Ungarn nur zwei Sarapisstatuetten ans Tageslicht gefördert worden, sowie zwei dem Sarapis geweihte Inschriften, die jedoch von den Stiftern — dem Imperator Marcus Aurelius zum Heil — aus Anlaß eines Feldzugs gestiftet worden waren.

Die Frage kommt von selbst: was für ein Verhältnis besteht zwischen der Auffassung $E\tilde{\iota}\varsigma\ \text{Ζεύς}$, $\epsilon\tilde{\iota}\varsigma\ \text{Ἄιδης}$, $\epsilon\tilde{\iota}\varsigma\ \text{Ἥλιος}$ $\epsilon\sigma\tau\iota\ \text{Σάραπις}$, und dem ur-

¹ Zusammenfassend (mit der bisherigen Literatur) V. WESSETZKY: Die ägyptischen Kulte zur Römerzeit in Ungarn. *Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire Romain*, I. Leiden, 1961.

sprünglich osirianischen Gedanken. Wir brauchen nicht zu den Anfängen zurückzukehren; die durchschlagende Kraft des in der ägyptischen Religion von Anfang an gegenwärtigen Osirisglaubens ist allgemein bekannt. Untersuchungen über das Wesen dieses Glaubens gerade im Zusammenhang mit der Verehrung des Osiris zur Kaiserzeit hat schon vor Jahren A. Dobrovits unternommen.²



Bevor wir zur Wertung des auf ungarischem Boden gefundenen dies-bezüglichen Denkmalmaterials übergehen, seien hier noch einige Vorbemerkungen gestattet.

Das Verhältnis von Osiris und Osiris-Apis hat man bisher noch nicht befriedigend beleuchtet. Zur Lösung dieses Problems bedarf es noch zahlreicher Belege, doch ist — nach unserem Ermessen — die Kenntnis des in den Provinzen vorhandenen Materials hierzu unentbehrlich. Die Bearbeitung des Materials ist sozusagen in ganz Europa im Gange³, und zu diesen Forschungen

² A. DOBROVITS: A császárkori Osiris-vallás megértéséhez (Zum Verständnis des kaiserzeitlichen Osiris-Kultes). EPhK 57 (1933) 221—228; 58 (1934) 58—76, 164—176.

³ Études Préliminaires aux Religions Orientales, Leiden, seit 1961.

möchten wir mit dem Behandeln des in Ungarn gefundenen erwähnten Materials beitragen.

Bei unserer Analyse bieten sich von sich selbst drei Gebiete, und zwar Ägypten, Italien und die Provinzen zum Vergleich an.

Ägypten, die ursprüngliche Heimat des Kultes, Italien als bedeutendster «Aufnehmer» ägyptischer Kulte, die Provinzen als sekundäre Empfänger.

Ein Vergleich dieser drei Gebiete als drei Stufen in der Verbreitung ägyptischer Kulte weist neben dem räumlichen auch einen zeitlichen Unterschied auf, da die ägyptischen Götter hauptsächlich über Italien in die Provinzen gelangt sind.

In Ägypten müssen vor der Verbreitung des Sarapiskultes einige Erscheinungen der ägyptischen Religion in Betracht gezogen werden. Vor allem die große Verbreitung der Schutz- und Heilgötter, gleicherweise in den Tempelinschriften⁴ und im Volksglauben,⁵ unter ihnen: Amenophis, Sohn des Hapu, Imhotep, und andere.⁶ Der Erstere tritt auch als Sohn des Apis, der zweite als Sohn des Ptah auf. Durch die Vermittlerrolle des Amenophis wird die Verehrung des Apis als beschützender und bewahrender Gott stärker betont. Besonders in der Spätzeit lautet einer der charakteristischen und oft gebrauchten Beinamen ägyptischer Götter: «der die Bitten erhört.»⁷

Schon seit der Zeit nach Amenophis IV — als Reaktion gegen denselben — macht sich in immer höherem Grade ein neuer Aufschwung des Osiriskultes geltend. Zu dieser Zeit entstehen in den Tempeln besondere Kultstätten des Osiris, Kulträume des gestorbenen und auferstehenden Gottes.

Wenn auch nicht parallel damit, so ist doch von diesen Zeiten an ein Aufschwung des offiziellen Herrscherkultes bemerkbar, der sich in einigen Punkten mit dem Kult des Osiris begegnet. (Horus als einziger Erbe in der Thronfolge, das Symbol des Erdaufhackens und der Aussaat sind osirianische und königliche Feste; die Herrscherstatuen in Osirisgestalt.)

Neben dem die göttliche Ewigkeit für sich allein beanspruchenden Herrscher konnte jedoch — wie bekannt — im Laufe der Entwicklung jedermann zum Osiris werden; das begrabene und auferstehende Symbol gehört fortan jedermann. «Ich lebe und sterbe, ich bin Osiris, ich lebe und sterbe, ich bin die Gerste, nicht vergehe ich» — steht in den Sargtexten,⁸ doch bezeugt die große Anzahl von «Osirisgarten» und Kornosirisstatuen in der Spätzeit, wie verbreitet damals dieser Kult war.

⁴ E. OTTO: Gott und Mensch nach den ägyptischen Tempelinschriften der griechisch-römischen Zeit. Heidelberg, 1964.

⁵ Für die Beziehung der Volksfrömmigkeit und des Tempels grundlegend S. MORENZ: Ägyptische Religion, Stuttgart, 1960, 110 ff.

⁶ Zusammenfassend E. OTTO: Die Religion der Alten Ägypter. Handbuch der Orientalistik. I. Abt. 8. Bd. 1. Abschn. 29 ff.

⁷ E. OTTO: Gott und Mensch, 81, 87, 154 ff. und Zum Gottesbegriff der ägyptischen Spätzeit. Forschungen und Fortschritte 35 (1961) 280.

⁸ E. OTTO: Die Religion der Alten Ägypter, 42 ff.

In diese Zeit fällt auch die immer stärkere Anwendung der Magie in einem für die ägyptische Religion der Spätzeit charakteristischen Ausmaß. «Gott hat den Zauber gegeben, damit der Mensch mit seiner Hilfe die Schicksalsschläge abwehren kann» sagt ein ägyptischer Text.⁹

Alle Grundbedingungen für die Ausbreitung ägyptischer Mysterien — wenn wir auch nur wenig von Mysterienspielen wissen — waren gegeben.

Alle diese Merkmale brachten die auch in ihrer äußerlichen Erscheinung bezaubernd wirkende ägyptische Religion dem sie kennenlernenenden Fremden näher. Auch die *interpretaatio Graeca* wirkte an ihrer Gestaltung mit. Mit Sarapis bricht sich eine in griechischen Ornat gekleidete ägyptische Gottheit in die Gebiete jenseits des Meeres Bahn. Wie die neuere Forschung bereits eindeutig festgestellt hat, kann weder von einer seitens des Herrschers aufgedrungenen Propaganda (s. Castiglione¹⁰) noch von einem künstlichen Export der Götter die Rede sein (s. Morenz¹¹). Die griechische sowohl als die römische Welt fühlte sich förmlich hungerissen von dieser innigen, mystischen, prächtigen, in der Not Hilfe verheißenden Religion.

Es ist eine andere Frage, welche Stellung die ägyptische Bevölkerung dem im neuartigen Gewand erscheinenden Gott gegenüber einnahm. Die ägyptischen Tempel sind Bewahrer der uralten Tradition, gleichsam Zufluchtsorte der ägyptischen Kulte. Im Mittelpunkt steht der Totenkult und der Osirisglaube, der seinerzeit nicht einmal vom neuen Kult von Amarna besiegt werden konnte.

Die ägyptischen Götter mit ihren vielartigen Funktionen und Aspekten — gerade das ist das Charakteristische für sie —, leben in der Glaubenswelt der Ägypter nebeneinander, ohne einander den Weg zu kreuzen. Die beiden Gottheiten aber, von denen die eine das ägyptische Jenseits beherrscht, die andere in neuem Gewand ebenfalls die Unterwelt für sich beansprucht — stehen einander doch gewißermassen als Rivalen gegenüber. Die Verhältnisse sind in vieler Hinsicht noch nicht gänzlich geklärt. Die Intensität der ägyptischen Reaktion auf die Verbreitung des Sarapiskultes läßt sich gegenwärtig noch nicht abschätzen, doch war sie gewiß vorhanden.¹² Das Serapeum von Memphis und Sakkara ist eine echt ägyptische Gründung, doch wandelt es sich mit dem Asklepieion auch in ein griechisches Heiligtum. In Einzelheiten zwar nicht zu überblicken, kann man doch als Tatsache annehmen, daß statt des unterweltlichen Charakters des Sarapis immer deutlicher und stärker der Soter, der Heilgott in ihm in den Vordergrund tritt. Ist diese Tatsache nicht auch als ein

⁹ Aus der Lehre des Merikare. MORENZ: *Ägyptische Religion*, 243.

¹⁰ Über die Darstellungen des Sarapis, L. CASTIGLIONE: *La statue de culte hellénistique du Sarapieion d'Alexandrie*. *Bulletin du Musée National Hongrois des Beaux-Arts*, 12 (1958) 17—39.

¹¹ S. MORENZ: *Ägyptische Nationalreligion und sogenannte Isismission*. *ZDMG* 111 (1961) 432 ff.

¹² S. MORENZ: *Ägyptische Religion*, 261.

Sieg des Osiris, als seine Überlegenheit im ägyptischen Glauben an das jenseitige Leben zu werten? Wohl errichtet die neue griechisch-makedonische Herrscherklasse dem Sarapis ein prächtiges Heiligtum, doch bewahren die alten Hieroglyphentexte in den ägyptischen Tempeln die Mythen der uralten Götter.

Die Sehnsucht nach Befreiung von den unzähligen Leiden des Lebens, die auch die Völker jenseits des Meeres ergriffen hat, ruft die neuen Götter zu Hilfe, Osiris sowohl als Sarapis. Das ist die von uns angedeutete zweite Stufe. Für die Verbreitung ägyptischer Kulte in Italien ist unsere sicherste archäologische Quelle nicht Rom, sondern Pompei. Die seit langem bekannte Bedeutung Pompeis wurde erst jetzt einer eingehenden Analyse unterworfen. Das jüngst voröffentlichte Werk¹³ über dieses Thema hat sogar auf so wichtige Probleme eine Antwort gefunden, wie die die weitesten Schichten umfassende Verteilung der Isisanhänger, und zwar bereits in der Periode vor der Kaiserzeit.

In Kenntnis der bisher aufgezählten historischen Faktoren erscheint es nicht als ein Zufall, daß die Frage nach der Priorität des Osiris oder des Sarapis in Pompei noch kein entscheidendes Ergebnis bringt. Die Darstellungen des Sarapis, sowie der uralten Quellen entspringenden Osirissage finden wir gleicherweise auf den Wandmalereien von Pompei dargestellt, ersteres noch etwas häufiger als das letztere. Der Helfer, der Soter Sarapis steht den Soldaten bei in den Gefahren, den Kranken in den Heiligtümern, wo sie Heilung suchen. (Es ist kein Zufall, daß eines der bei uns ziemlich seltenen Sarapisdenkmäler aus dem Heiligtum von Savaria stammt.)

Der ursprünglich-ägyptische Gedanke im Jenseitsglauben aber ist osirisch. Was dem Osirisglauben in den außerägyptischen Gebieten diene, das erwies sich immer stärker und stärker als der Glaube an den helfenden Sarapis. Wie E. Otto treffend bemerkt:¹⁴ «Nur zwei Gottheiten gibt es, die ursprünglich die reine Menschengestalt zeigen, und deshalb, weil ihre göttliche Mächtigkeit unlösbar mit ihrer menschlichen Erscheinungsform zusammenfällt und ihr göttliches Schicksal ein menschliches Schicksal ist: Den göttlichen König und Osiris.» Osiris ist die Flut, das in die Erde geworfene und keimende Samenkorn, die lebende Mumie, der Herrscher des jenseitigen Lebens, für den einfachen Menschen, der sich nach ihm sehnt, ebenso wie für den König. Von der Spätzeit an, als auch in der Kunst sich hauptsächlich religiöse, das jenseitige Leben betreffende Themen in den Vordergrund drängen, übte das «zu Osiris werden» als mystische Vorstellung eine immer steigende Wirkung aus.

Die von uns angedeutete dritte Stufe, zeitlich und räumlich am fernsten gelegen, sind die Provinzen.

Bei der Wertung des ägyptischen Kultes der Provinzen eignet sich vortrefflich Pannonien, schon wegen der Vielfältigkeit seines Materials und auch

¹³ V. TRAN TAM TINH: *Essai sur le culte d'Isis à Pompei*. Paris, 1964.

¹⁴ E. OTTO: *Die Religion der Alten gyÄpter*, 24.

durch den Umstand, daß das hiesige Denkmalmaterial zu den verhältnismäßig am besten untersuchten gehört. Das so häufige Vorkommen von Osirisstatuetten kann also in dieser Hinsicht nicht als zufällig betrachtet werden, sondern es bedeutet die Bevorzugung des Osirisglaubens, des von ihm repräsentierten Totenkultes, selbst auf Kosten der auch dem Sarapis zugeschriebenen Funktionen.

Abschließend wollen wir noch kurz anderweitige Beweise für die weite Verbreitung des Kultes des in der spätesten Zeit «wiederauflebenden» Osiris bringen. Das von L. Kákósy unlängst untersuchte Osiris-Aion-Problem¹⁵ hat zu ähnlichem Ergebnis geführt. Wie er feststellt: «In der Religion jener Zeit tritt der mysteriöse Charakter der Gottheit immer deutlicher hervor und bedeutet die Einführung in die Mysterien des Osiris einen höheren Grad.»

Als Beweis jedoch lassen sich auch jene Mumienbegräbnisse anführen, die gerade in Pannonien für unsere Hypothese Zeugnis ablegen und die auch der neuere Fund von Aquincum bekräftigt und unterstützt.¹⁶

Budapest.

¹⁵ L. KÁKÓSY: Osiris-Aion. *Oriens Antiquus* (Roma) 3 (1964) 15.

¹⁶ K. Sz. PÓCZY: Újabb aquincumi múmiasíró (Ein neues Mumiengrab aus Aquincum). *AE* 91 (1964) 176 ff.

T. SZENTLÉLEKY

ARCHITEKTONISCHE HERAUSBILDUNG UND ENTWICKLUNG DER ISEEN IN ÄGYPTEN, IHRE AUSWIRKUNGEN IN PANNONIEN

In der pannonischen Stadt Savaria wurde am Ende des 2. Jahrhunderts: des Römischen Kaisertums zu Ehren der Isis ein gewaltiges Heiligtum erhoben.¹ Die Ausgrabungen seit 1955 erschlossen die wesentlicheren Teile der Bautengruppe. Die Grundmauern und Fassadenbruchstücke, die glücklicherweise in ziemlich unversehrtem Zustand zum Vorschein gelangten, determinierten die einzelnen Bauten des einstigen heiligen Bezirkes ganz bis zur Dachkonstruktion.² Die freigelegte und restaurierte gewaltige Bautengruppe warf sehr viele Fragen auf.³ Dieser Vortrag befaßt sich nur mit einem Teil derselben, und zwar mit der architektonischen Entwicklung der Iseen. Eine Studienreise nach Ägypten i. J. 1964/65 lieferte viele Angaben zur Klärung dieser Fragen, und wir möchten jetzt die bisher summierbaren Resultate bekanntgeben.⁴

Die Hauptfragen sind die folgenden: 1. Das Erscheinen der Bauten der Isis-Heiligtümer und das Verfolgen deren Frühentwicklung von der XXI. Dynastie an bis zur XXX. Dynastie. 2. Die weitere Gestaltung der ägyptischen Iseum-Bauten in der Zeit des Hellenismus. Der Bau der unterägyptischen, sowie der oberägyptischen-nubischen Heiligtümer. 3. Das Iseum in Ägypten in der Zeit des Prinzipats bis zur zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts. 4. Der am Iseum-Bau von Savaria nachweisbare ägyptische Einfluß.

Die architektonische Entwicklung des Iseums steht in engem Zusammenhang mit jenen historischen und religionsgeschichtlichen Ereignissen Ägyptens, die beim Untergang des Neureiches und zur Zeit der Machtenfal-

¹ T. SZENTLÉLEKY: Die Ausgrabungen des Isis-Heiligtums von Savaria. *Acta Antiqua* Tom. VII. Fasc. 1—3. S. 200. A szombathelyi Isis szentély, Budapest 1960. Das Iseum von Szombathely, Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt, Band 11. Römisches Reich, Berlin 1965. 381. A szombathelyi Isis szentély — Das Isisheiligtum von Szombathely, Szombathely 1965.

² Gy. HAJNÓCZI—T. SZENTLÉLEKY: Rómaikori homlokzathelyreállítás Szombathelyen (= Römerzeitliche Fassadenrekonstruktion in Szombathely-Savaria), Műemlékvédelem (= Denkmalschutz) 1959—1960. S. 129—136. Budapest 1964.

³ V. WESSETZKY: A felsőpannóniai Isis-kultusz problémái (= Probleme des Isis-Kultes in Oberpannonien) *A. É.* 1959. S. 20—31.

⁴ Zu Dank verpflichtet bin ich Herrn Prof. ABD EL MONEMH MOHAMED ABU BAKR, dem Leiter des archäologischen Lehrstuhls an der Universität Kairo, der meine ägyptischen Forschungen gelenkt hatte.

tung der XXI. Dynastie zur Wende des 2. und 1. Jahrtausends v. u. Z. die Entwicklung Ägyptens bestimmten.

Wohl nahm die Persönlichkeit der Isis auch in der Zeit vor dem Bau der großen Heiligtümer des Neureiches eine Hauptstelle unter den ägyptischen Göttern ein, aber es wurden ihr zu Ehren früher keine großen selbständigen Heiligtümer errichtet. Das Entwicklungsgebiet der Iseum-Bauten ist in Unterägypten, im Delta zu suchen. Seit dem Machtantritt der XXI. Dynastie — obwohl das Übergewicht Oberägyptens, d. h. Thebens noch stark fühlbar blieb — nahm als Folge der damaligen historischen Ereignisse die Bedeutung des Deltagebietes stark zu, und Tanis, die hervorragende Stadt des Deltas, ist auch Abstammungsort und Zentrum der neuen Dynastie.⁵

Mit dieser neuen Entwicklung wuchs auch die Bedeutung der Gottheiten des Deltagebietes. Im Urzentrum des Deltas wurde auch zur Zeit des Neureiches im Ptah-Heiligtum weitergebaut. Hier müßte man die Teile der zur Zeit der Machtzunahme des Deltas, d. h. unter der Herrschaft der Tanis-Dynastien, zu Ehren des Osiris und der Isis errichteten Kultbauten untersuchen. Leider ist aber das Ptah-Heiligtum von Memphis in so brüchigem Zustand zum Vorschein gekommen, daß auch Flinders Petrie mit seinen Ausgrabungen nur noch einzelne Details aufklären konnte.⁶ Diese Spuren sind trotzdem von großer Wichtigkeit, da die Kultstätte des Apis, sowie die aus der Zeit der XXV. Äthiopischen Dynastie erhaltenen Steinblöcke und Baureste die für uns so wichtige Bauart auch an diesem Ort mit Sicherheit belegen.

Wir haben zwar heute kein klares Bild mehr von dem einstigen Isis-Heiligtum in Memphis, aber dennoch wurden aus demselben Zeitalter Reste eines bedeutenden Isis-Heiligtums in der Nähe der Pyramiden von Gizeh vorgefunden. Die von den drei kleineren Pyramiden am südlichst Gelegene — alle an der Ostseite der großen Pyramide — wurde für Henutsen, die Frau von Cheops errichtet. Zu diesem einfachen einkammerigen Totentempel baute man in der Zeit der XXI. Dynastie ein neueres Heiligtum.⁷ Ich bin Herrn Professor N. Millet, dem Direktor der Archäologischen Abteilung des amerikanischen Research Center zu Dank verpflichtet, daß er mir seine wertvollen und bisher noch nicht publizierten Forschungen über das Isis-Heiligtum vor der Henutsen-Pyramide zur Verfügung stellte.

Dieser Bau ist nicht nur deshalb von Bedeutung, da er eine solche Entwicklungsperiode des Isis-Heiligtums vertritt, aus der wir nur spärliche Denkmäler besitzen, sondern auch deshalb, weil er an der Hauptstelle der Totenbauten des Deltagebietes, im Bezirk der Pyramiden von Gizeh, zum Vorschein kam. Die Gestalt des Baues — obwohl stellenweise auch die Grundmauern

⁵ A. ROWE: Tanis, Its History and Biblical Associations. Bulletin De Société Royale d'Archeologie Alexandrie No. 34. 1941. 81—89.

⁶ W. M. FLINDERS PETRIE: Memphis I. S. 10. Pl. I., XXVII. London 1909.

⁷ N. MILLET: Isis Temple. Manuskript. American Research Center, Cairo 1964.

schon verschwunden sind — ist noch gut erkennbar. Am Bau wurde mehrere Zeitalter hindurch gearbeitet, und so lassen sich an den erhaltenen Resten mehrere Perioden beobachten.

Unmittelbar vor Henutsens Tempel und diesem in der Richtung der Mittelachse dem Norden zu etwas vergrößernd, wurde in der Zeit der XXI. Dynastie unter dem Pharaon Paseb-khanu I. eine Halle erbaut,⁸ deren Innenraum durch vier Säulen auf drei Schiffe geteilt wurde. Der Bau wurde auch nochunter dem Pharaon Amenemipot aus der XXI. Dynastie fortgesetzt,⁹ wie das eine am Fundort freigelegte Reliefdarstellung — zur Zeit im Museum von Kairo — beweist. Millet zeigte, daß das Tor der an den Totentempel der Henutsen angebauten Originalhalle mit dem unter Nr. 53 von Mariette Daressi publizierten Reliefstein verziert war, während die ebenfalls zur Zeit der XXI. Dynastie, unter der Herrschaft des Pharaos Amenemipot erbaute schmale Zweisäulen-Eingangspronaos mit den Berliner Nr. 7973 Reliefsteinen, die bei Mariette Daressi unter Nr. 108/b-C angeführt sind, dekoriert war.

Der heilige Bezirk wird dem Westen zu durch die Henutsen Pyramide, von Osten durch die Mastaben Nr. 7130 und 7140 aus der Zeit der V. Dynastie und vom Süden durch eine trennende Grenzwand begrenzt. Laut einer Vermutung Millets wurde die Straße zwischen den zwei Mastaben auch in östlicher Richtung ausgebildet.

Die Säulenköpfe stammen aus früherer Zeit als diejenigen an der Stelle des angeblichen Iseums vorgefundenen des Ptah-Heiligtums zu Memphis, die Flinders Petrie erschloß.

Die Schaffungsperiode der Säulenköpfe des Ptah-Heiligtums fällt laut Zeugnis der auf die dort vorgefundenen Steinblöcke geschnitzten Hieroglyphen in die Herrschaft des Schabaka (716—701) der XXV. Dynastie (Breastedt 712—700).

Der Bau des an die Henutsen Pyramide anschließenden Iseums wurde ebenfalls fortgesetzt, und zwar durch die Errichtung der Harbes-Harises Kapelle. Der Name Harises ist von Statuen in London und Kopenhagen hier bekannt und wir wissen, daß dieser während der Herrschaft der XXV. Dynastie geschaffen wurde.¹⁰

Die am Gelände aus der Ptolemäischen Zeit stammenden Spuren und die aus Ziegeln erbauten Grenzmauern, sowie die ebenfalls hier vorgefundenen römischen Münzen zeigen, daß das Heiligtum bis zu den siebziger Jahren des 3. Jahrhunderts u. Z., also bis zur Herrschaft des Aurelius besucht war.¹¹

In der Zeit der XXX. Dynastie gewann die Persönlichkeit der Isis unter den Göttern des Deltagebiets weiter an Bedeutung. Die Pharaonen der neuen

⁸ N. MILLET: Op. cit. S. 1.

⁹ N. MILLET: Op. cit. S. 2.

¹⁰ N. MILLET: Op. cit. S. 10.

¹¹ N. MILLET: Op. cit. S. 11.

Dynastie stammten aus Sebbenitos und richteten auch das Zentrum des Reiches dort ein. In der Nähe von Sebbenitos — dem heutigen Samannud — stand das Isis-Heiligtum von Behbet el Hagar. Heute ist nur noch der Rest der mächtigen Ziegelmauerrahmung von 320×220 m sichtbar, und in der Mitte des umgebenen Geländes die grandiosen Ruinenfelder des einstigen mächtigen Granittempels. Die Ruine spiegelt auch vollkommen die Benennung el Hagar. Der Grundriß läßt sich nur in großen Zügen feststellen, doch sind die noch sichtbaren Einzelheiten von großer Wichtigkeit. Es ist ratsam, die hier aufgenommenen Pläne der französischen Expedition zu studieren, nachdem vor anderthalb Jahrhunderten die Ruinen noch besser erhalten waren als heute.¹² Das Heiligtum am großen Hof dürfte die Ausmaße von 120×60 m gehabt haben. Es liegt etwas exzentrisch im großen Hof, in der Mittellinie ein wenig dem Westen zu verschoben. Die erhaltenen Hieroglyphen sind Zeugen der Bauten der Herrscher der XXX. Dynastie (Nakt-hor-hebi II., Naktenebos II. (359—341), Ptolemaios II., Philadelphus I. (285—246) und Ptolemaios III., Euergetes I. (246—221), zwar kann man sich von diesen Hieroglyphen kein zusammenhängendes Bild schaffen, solange die mächtigen Granitblöcke unbewegbar aufeinander stehen.¹³

Das Bausystem des großen zentralen Isis-Heiligtums mag später auf das Serepeum, das heißt auf den Haupt-Kultort der umgewerteten Götter des Deltagebiets zu Alexandrien eine starke Wirkung ausgeübt haben.

Die großen Bauten an den Hauptorten von Unter- und Oberägypten unter Naktenebos II. sind alle nachweisbar, es ist aber vielleicht von Interesse, auch die Bauten im weiteren Süden auf der Insel Philae im großen Zentrum des südlichen Isis-Kultes zu erwähnen.

Behbet el Hagar mußte eine ähnlich große Wirkung auf den weiteren Baustil der Isis-Heiligtümer unter den Ptolemäiden ausgeübt haben, wie Sebenitos die Entwicklung des ägyptischen Sarapis-Isis-Harpokratis Kultes beeinflusste.

Die griechischen Ptolemäiden mußten die Bauten der letzten großen Pharaonen-Dynastien zugrunde legen, wenn sie eine einheitliche Prägung der ägyptischen und griechischen Welt schaffen wollten.

Im Rahmen dieses kurzen Vortrages können wir auf die absichtliche Entfaltung des Apis-Sarapis- und Isis-Kultes unter den ersten Ptolemäiden nicht näher eingehen, höchstens nur darauf hinweisen.

Hiermit treten wir auch mit der Untersuchung der architektonischen Denkmäler in die Zeit der Ptolemäiden über.

¹² Description de l'Égypte. Tom. V. Pl. 30. Paris 1822.

¹³ K. PREHL: Le Temple de Behbit-el-Hagar. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, XXVI Leipzig, 1888. S. 109—111. G. ROEDER: Der Isistempel von Behbet, wie oben XLVI. S. 62—73. C. C. EDGAR—G. ROEDER: Der Isistempel von Behbet (II. Teil). Recueil de Travaux Relatifs à la Philologie et à l'Archeologie Égyptiennes et Assyriennes. XXXV. Kairo, 1913.

Die Sarapis-Isis Verehrung wird zum Hauptkult der unter neuem ägyptischen Einfluß stehenden griechischen Gebiete. Das Zentrum des neuen Königtums liegt am wesentlichen Küstenland des Delta, in Alexandrien. Auch die neuen Gottheiten bezeichnen wir als Alexandrinische Gottheiten, wie dieser Begriff durch die römischen Autoren in unsere Tage hinein erhalten blieb. Das große zentrale Heiligtum des Sarapis-Isis-Kultes, das Serapeum, wurde in Alexandrien errichtet¹⁴ und es zeigt große Ähnlichkeit mit dem Isis Heiligtum der XXX. Dynastie in Behbet el Hagar. Im Gegensatz zum Oberägyptisch-Thebanischen und anderen mächtigen Heiligtümern stand hier ebenfalls das im Verhältnis zum Hof kleiner bemessene zentrale Heiligtum in der Mitte des weiten großen Hofes. Auf der Fassadenseite des Hofes reihten sich der Länge nach angeordnete Raumreihen, die sich auch an den Seiten fortsetzten. Diese ringsum angebrachten Räume sind aus der griechischen Architektur als umzinkelnde Umbauten, Hallen der heiligen Bezirke wohl bekannt. In der Mitte dieses Hofes, etwas entfernt von der Hauptfassade des Hofes stand das Heiligtum, von dem heute nur noch Spuren vorhanden sind.

Sehr bedeutend war auch das unterirdische Grottensystem. In dieser unterirdischen Grotte richtete man das Heiligtum des Apis Stieres ein. Ein so mächtiger unterirdischer, dem Apis-Kult dienender Bau ist auch bei den Apis-Stier-Gräbern in Memphis wohlbekannt. Das Serapeum von Memphis wurde ja gerade zur Zeit der Ptolemäiden erweitert und zu einem mächtigen unterirdischen System ausgebaut.

Das Priesterkollegium des Serapeums hatte in Alexandrien und im ganzen Ptolemäischen Reich in der Führung des geistigen Lebens eine große Rolle. Das Serapeum besaß eine bedeutende Bibliothek.

Unter den zentralen großen Osiris-Serapis-Isis-Heiligtümern der Delta-Gegend, die unter starkem griechischen Einfluß stand, hebt sich das Ruinengebiet des Abusir Tap Osiris Magna hervor.¹⁵ Zwar sind hier die ptolemäischen Grenzmauern gut erhalten, doch sind die im Innern des Temenos vor der urchristlichen Periode erhobenen Bauten nur noch in Spuren sichtbar. Aber die Überreste weisen eine Hofausbildung auf, die derjenigen des Serapeums ähnlich ist.

Im Kultzentrum von Abu-Kir, in Menutis, stand ebenfalls ein bedeutendes Isis-Heiligtum, das sogar den Abriß des Serapeums von Abu-Kir überlebte.¹⁶

¹⁴ A. ROWE: Discovery of the Famous Temple and Enclosure of Serapis at Alexandria. Le Caire 1946.

¹⁵ I. B. WARD PARKINS: The Monastery of Taposiris Magna. Bulletin De Société Royale d'Archeologie Alexandrie, No. 36, 1943–1944. S. 48–53. Pl. III. A. ADRIANI: Travaux de fouilles et de restaurations dans la région d'Abusir (Mareotis). Annuaire du Musée Greco-Romain, Alexandrie (1940–1950). Alexandria 1952. S. 129–159.

¹⁶ E. BRECCIA: Le rovine e i monumenti di Canopo. Monumenti dell'Egitto Greco-Romaine Tom. I. 1926. Bergamo — Alexandria S. 23–24.

Wie schon erwähnt, wurde auch an dem großen Iseum bei Sebennitos, dem einstigen Zentrum der XXX. Dynastie weitergebaut. Laut der Hieroglyphen soll sich unter Ptolemaios II., Philadelphos I. und Ptolemaios III., Euergetes I. die Bedeutung des Tempels weiter vergrößert haben.¹⁷

Während der Ptolemäiden-Herrschaft baute man in den Zentren des Isis-Kults große Heiligtümer, und das Serapeum, sowie die erhaltenen Bauten des Tap Osiris Magna weisen darauf hin, daß auch in diesen — ähnlich dem Heiligtum des Behbet el Hagar der Pharaonen-Zeit — der zentrale Kultbau in der Mittelachse des von einer großen Mauer umzingelten Hofes stand. Zwar erhob man zu Ehren der Isis stellenweise besonders große Heiligtümer (z. B. Menutis in Abu-Kir), doch verband sich ihr Kult, der neuen Religionsreform entsprechend, mit demjenigen des Serapis. Unter den Ptolemäiden erhielt — durch das Verschmelzen des Osiris mit dem griechischen Sarapis und dem Apis von Memphis — die Gestalt der Gottheit Osiris-Sarapis-Apis in den gemeinsamen großen zentralen Heiligtümern eine stärkere Betonung. An den Bauten des neugeprägten Kultes ist der griechische Einfluß stark fühlbar. Auch die Bautenreihe des Alexandrischen Serapeums weist griechische architektonische Merkmale auf. Zwar wurde der unmittelbare Einfluß der griechischen Architektur in Ägypten erst mit Anfang des 3. Jahrhunderts allgemein fühlbar, aber seine Spuren sind bereits seit der Zeit der XXVI. Dynastie vorhanden. Das neue Bausystem entfaltete sich in Alexandrien und seiner Umgebung am klarsten, während in den früheren Zentren, wie z. B. in Sebennytos, das Bausystem der älteren Heiligtümer auch die Hauptzüge der weiteren Umbauten bestimmte. Dies ist damit zu vergleichen, wie die Ptolemäiden in den von Ägyptern bewohnten Gebieten absichtlich die lokalen Hieroglyphen der Urschrift gebrauchten.

Neben den Hauptheiligtümern wurden für den Isis-Kult, der immer mehr charakteristische Eigenschaften aufnahm, auch kleinere Heiligtümer gebaut. Bei diesen gehörte kein großer Hof und kein heiliger Bezirk zum zentralen Bau. Solche kleinere Votivheiligtümer standen auf der Insel Pharos (Isis Pharia), die den Schiffen zur glücklichen Seefahrt verhalf, das Heiligtum Isis Lochias an der anderen Einfahrtsseite des Osthafens, sowie das Heiligtum der Isis Plousia an der nördlichen Einmündung der Nabi Daniel Straße u. a. m.¹⁸ Es ist zu erwarten, daß bei der weiteren Erschließung von Alexandrien, oder bei Erdarbeiten von Neubauten auch noch weitere solche kleinere oder größere Heiligtümer, Geräte und Statuen freigelegt werden. Bauteninschriften und Statuen aus der Zeit der großen Ptolemäiden-Königinnen, Berenike I., Arsinoe II., Berenike II., Cleopatra III. und Cleopatra VII., sowie die Aufzeichnungen antiker Auktoren zeugen für die Popularität der Isis zu jener Zeit.¹⁹ Neuerdings

¹⁷ Siehe Anm. 13.

¹⁸ E. BRECCIA: *Alexandrea ad Aegyptum*, Bergamo 1922. S. 95.

¹⁹ I. L. TONDLIAU: *Princesses Ptolemaïques comparées à des Déeses*. Bull. Alex. No. 37. 1948. S. 12—33.

wurde beim Westufer der Insel Pharos aus der Meeresbucht der Bruchteil einer Isis-Statue herausgeholt.

Die dritte Gruppe der Iseum-Bauten aus Ptolemäischer Zeit ist unter den Totentempeln und Totenkapellen zu suchen, deren es in Alexandrien und Umgebung zahlreiche gab. Von diesen nur die meist charakteristischen und größten aufzählend, erwähnen wir die früheren Schichten der unterirdischen Grabtempel von Kom el Shukafa, nahe dem Serapeum der das innere Bild und den Raumeffekt des Iseums genau bewahrte.²⁰ Zum Teil zu diesen, aber zum Teil zu den Votivtempeln gehört das bereits aus der Kaiserzeit stammende Iseum von Ras-el-Soda, das am einstigen Weg zwischen Alexandrien und Abukir stand.²¹ Laut der Altarinschrift wurde das Heiligtum von Isidoros als Votivgeschenk erbaut, da ihm Isis aus seiner Not heraushalf.²²

In der Ptolemäer-Zeit wurden auch auf anderen Gebieten Ägyptens die Isis-Heiligtümer zum Teil weitergebaut, und gleichzeitig auch zu Ehren der Isis bzw. des Osiris Horus neue gewaltige Heiligtümer errichtet.

Besonders stark war der Einfluß des Isis-Kultes an der Südgrenze Oberägyptens. Die neu gegründeten Heiligtümer erhielten große Grundbesitze und Privilegien.²³ Die wichtigste Rolle, ohne das Hathorheiligtum von Dendera zu erwähnen, fiel dem Iseum der Insel Philae zu. Sein vollkommener Ausbau erfolgte unter der Herrschaft des Ptolemaios II. Philadelphos I. (285–246) auf Grundmauern aus der Zeit des Naktebennos der XXX. Dynastie. Dieses Heiligtum hatte auch in Nubien starke Auswirkungen. Sein weiterer Ausbau erfolgte in der Römerzeit von Augustus an, und das Heiligtum spielte noch im 5. Jahrhundert als Hauptheiligtum dieses Gebietes unter den Blemmyern eine wichtige Rolle. Hier widerstand der Isis-Kult auch noch im 6. Jahrhundert mit Erfolg dem Vorstoß des Christentums.

Aber die Iseum-Bauten Oberägyptens und Nubiens sind direkte Fortsetzungen der Heiligtumsbauten des Neureiches. Das System des Großtempels von Karnak und der Totentempel der Thebanischen Gräberfelder ist an ihrem Grundriß und ausnahmsweise heil erhaltenen Fassaden zu erkennen. Das Iseum auf der Insel Philae ist mit seinem ersten großen Pylon, seinem inneren Hof, mit dem Mammisi (Geburtstempel der Isis) an der Seite, sowie mit seiner zweiten Pylonreihe, Pronaos und Vestibulum den Heiligtümern der Zeit der XIX. Dynastie sehr ähnlich. In diesem Heiligtum ist auch das gesonderte innere Granitschiff vorhanden. Infolge der Oberfläche und der Gestalt der Insel fallen die erste und zweite Pylonreihe nicht in dieselbe Achse.

Das Bausystem des Horus Tempels von Edfu ist ein kristallklares Beispiel

²⁰ A. ROWE: New Excavations at Kom-El-Shukafa (Part. II.) Bull. Alex. 1942. No. 35. Alexandria, S. 46. Pl. III.

²¹ A. ADRIANI: Sanctuaire de l'époque romaine à Ras-el-Soda. Annuaire du Musée Gréco-Romaine (1935–39), Alexandria, 1940. S. 136–148.

²² A. ADRIANI: op. cit. S. 146.

²³ LABIB HABACHI, HENRI RIAD: Aswan. Cairo, 1959. S. 46–48.

für die Bauten der Tempeln im hellenistischen Oberägypten. Nach dem von einer mächtigen Säulenreihe umgebenen Hof und zwischen gewaltigen Pylons tritt man in den Pronaos ein, und durch eine Hypostil Halle, einen weiteren Raum durchquerend in die Zentralhalle, in der Mitte deren das den Naos enthaltende Heiligtum steht.

In der Ptolemäiden-Zeit trennt sich das Iseum-Bausystem des Deltas und besonders Alexandriens vom Bausystem Oberägyptens. In Oberägypten entwickelte sich der den Hauptbau des Tempels umgebende mächtige Hof nicht.

Neben den Hauptheiligtümern findet man auch in Oberägypten kleinere Iseen aus der Ptolemäer-Zeit, so zum Beispiel in Asswa, wo sich das kleine Heiligtum in zwei Hauptteile gliedert: den Pronaos und die dreiteilige Cella.

In der Römischen Kaiserzeit entstehen weitere Iseen. Auch in dieser Zeit zeigt sich der Unterschied zwischen der Delta-Gegend mit Zentrum Alexandrien und Oberägypten und Nubien.

Das Sarapeum von Alexandrien wurde im 2. Jahrhundert neu gebaut. Die Seitenhallen der ringsum laufenden Raumreihen wurden durch große Granitsäulen verziert. Unter den Grenzbauten erhielt die südliche Fassadengruppe eine betontere Prägung. Auch die Ostseite wurde stark ausgebaut, wo vermutlich die Bibliothek untergebracht war. Die Bauten der Nord- und Westseite können wegen der Verwüstung nicht verfolgt werden.²⁴

Auch in Tap Osiris Magna (in der Kaiserzeit) wird der Hof die ganze Grenzmauer entlang von einer auf kleinere Räume aufgeteilten Bautengruppe umringt.

Auf den an Ort und Stelle aufgenommenen Diapositiven sind diese Bauten noch gut zu unterscheiden.²⁵

Sehr charakteristisch ist das Isis-Heiligtum von Ras-el-Soda, das in der Kaiserzeit, vermutlich unter Hadrian, erbaut wurde. Der kleine Tempel ist mit seiner Viersäulen-Vorhalle und mit der podiumumringten Zelle für die Kultstatuen ein typischer römischer Bau des 2. Jahrhunderts. Das Heiligtum stand nicht allein. A. Adriani fand während der Ausgrabungen einen weiteren, etwas höher liegenden Raum, und auch Mauerreste weiterer Bauteile konnten erschlossen werden.²⁶

Will man die Entwicklung dieses Bautypus verfolgen, so kommt uns dabei die Untersuchung der Totentempel und Heiligtümer des mittel-ägyptischen Tuan-El-Gebel zur Hilfe. Den Totentempel des Petosiris, der noch von der Anfangszeit der Ptolemäiden-Herrschaft stammt, verbindet eine Reihe

²⁴ A. ROWE: Discovery of the Famous Temple and Enclosure of Serapis of Alexandria, Le Caire 1946. Pl. XVII.

²⁵ Autopsie im Dezember 1964.

²⁶ A. ADRIANI: Sanctuaire de l'époque romaine à Ras-el-Soda, *Annuaire du Musée Gréco-Romaine* (1935--39), Alexandria, 1940. S. 137.

kleinerer Grabbauten mit dem Tempel des 2. Jahrhunderts.²⁷ Die Entwicklung des Grundrisses, die zuletzt zu dem Hadrianischen Tempelbau mit der vier-säuligen Vorhalle und zweiteiligen Zelle führt, kann hier klar verfolgt werden. Eine schmale Treppe führt zu der Vorhalle, und vor dieser steht der Freialtar.²⁸

Der schon erwähnte Alexandrinische Isis-Tempel aus Hadrians Zeit in Ras-el Soda hat dieselbe Einteilung. Das Beispiel des Tuan-el Gebel von Hermopolis ist auch daher am günstigsten zur Verfolgung der mittellägyptischen, oder zumindest der ägyptischen Entwicklung, da hier gerade in diesem Gebiet — Antinopolis am Ostufer des Nils einbezogen — große Bauarbeiten durchgeführt wurden.

In Oberägypten bewahrte man auch bei den Iseumbauten aus der römischen Kaiserzeit die uralten Traditionen. So wurde auch der kleine Isis-Tempel ein Kilometer südlich von Médinet Habou erbaut. Im römischen Zeitalter wurden aber die früheren Bauten neu hergerichtet. Das beste Beispiel dafür — auch bezüglich des Grundrisses — ist der Tempel von Kalabsha, der in der römischen Kaiserzeit neugebaut wurde. Auch hier umgibt eine durch Raumreihen aufgeteilte Grenzmauer den großen Hof um den früheren Tempel.

Hierfür gibt es übrigens auch in Oberägypten Beispiele, z. B. das Iseum von Asswan aus der Ptolemäiden-Zeit. Es war festzustellen, daß der ursprüngliche Bau auch hier von einem aus Ziegeln später gebauten Raum umgeben war.

Die Entwicklung der ägyptischen Iseumbauten führt bis in die Mitte des 2. Jahrhunderts des römischen Kaisertums. Der Bau des Isis-Heiligtums von Savaria wurde im Jahre 188 unter der Herrschaft des Commodus begonnen.²⁹ Seine Ausmaße und auffallende Übereinstimmung mit den zentralen großen Iseen weist darauf hin, daß auch in Savaria ein großes und zentrales Heiligtum des Isis-Kults gestanden hat. Die schmalere nordöstliche Hauptfassade des von Raumreihen umgebenen Hofes wurde durch eine größere Bautengruppe abgeschlossen. In der Mitte des Hofes, und zwar in der Mittelachse, aber etwas nach rückwärts versetzt, stand der Bau des Zentralheiligtums. Dem Baustil des 2. Jahrhunderts entsprechend führte eine Viersäulen-Vorhalle in das Innere des Tempels.³⁰

Das Iseum von Szombathely weist (über den Grundriß hinaus) manche solche übereinstimmenden Züge mit den ägyptischen, besonders den Alexandrinischen bzw. in dessen Umgebung erbauten Iseen auf, die noch die Untersuchung einiger weiterer wichtiger Tatsachen beanspruchen.

Obwohl in der Zeit des Hellenismus an der Entwicklung der Iseen in

²⁷ SAMI GABRA: Avec la collaboration E. Drioton, P. Perdrizet, W. G. Waddel, Rapport sur les Fouilles D'Hermopolis Ouest (Touna el-Gebel), Caïro, 1941.

²⁸ SAMI GABRA: Op. cit. S. 66. Pl. XXIX.

²⁹ T. SZENTLÉLEKY: Das Iseum von Szombathely, Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt, Band II. Römisches Reich, Berlin 1965.

³⁰ T. SZENTLÉLEKY: A szombathelyi Isis szentély — Das Isisheiligtum von Szombathely, Szombathely 1965.

Ägypten ein starker griechischer Einfluß fühlbar ist, und die römischen Bauten in Ägypten, in der Provinz Afrika, in Mauretanien und in Syrien in der Kaiserzeit eine ähnliche Anordnung aufweisen, deren Wurzeln, besonders in der Kaiserzeit in Rom zu suchen sind, so gibt es doch einige charakteristische Züge, die allen Iseen eigen sind.

Der große, von einer Raumreihe umgebene Hof wurde schon öfters erwähnt; aber ebenso erwähnenswert sind auch die für die Römer auffallend hohen Fassaden in Alexandrien, die im Innern der Zelle gebildeten Podien, auf denen wie z. B. in Ras-el-Soda und im Isis-Heiligtum von Pompei, die Götterstatuen standen. Hier könnte man noch die zweiteilige Zelle erwähnen, deren erster Raum kleiner, und der innere größer war.

Vom Zentralheiligtum nach außen schreitend kann der Kultplatz erwähnt werden, wo im 1. und 2. Jahrhundert der Altar stand, und zwar vor der schmalen, zu der Viersäulenhalle führenden Treppe.

Es wäre übertrieben anzunehmen, daß am Ende des 2. Jahrhunderts in Savaria grundlegende direkte ägyptische Einflüsse bestanden hätten; es ist auf Grund der Analyse der Gründungen eher zu vermuten, daß diese Einflüsse über Rom und durch die Vermittlung der Nordgebiete Italiens in die weitnördlich gelegenen Provinzen gelangten. Die typische, durch Nord-Italien vermittelte Bauart ist natürlich nicht nur in Pannonien, sondern z. B. auch in Noricum fühlbar. Dort steht auf dem Frauenberg neben Flavia Solva — heute Leibnitz — ein Heiligtum,³¹ das dieselben Proportionen und dieselbe zweiteilige Zelle aufweist; in die Vorhalle führt eine schmale Treppe, vor welcher im Freien der Altar steht. Dieses Heiligtum war jedoch nicht nur zu Ehren der Isis erbaut, sondern es war ein Tempel für Isis-Noreia. Unter den bisher bekannten Iseen entspricht ihm das Heiligtum des 2. Jahrhunderts am meisten. Den Vermittlungsweg kann man nicht mit voller Sicherheit feststellen, da das Isis-Heiligtum im römischen Campus Martius, das das zentrale Iseum Roms war, auf Grund der bisherigen Ausgrabungen sich nicht rekonstruieren läßt. Die wenigen erhaltenen mächtigen Bauteile — große Granitsäulen, zwei Granit-Sphynxe im Museum des Conservator Palais in Rom — weisen darauf hin, daß es dem Alexandrinischen großen Isis-Heiligtum ähnlich gewesen sein dürfte.

Die über Norditalien nach Pannonien, besonders nach West-Pannonien, gelangten ägyptischen Einflüsse sind am Bau des Iseums von Szombathely gut zu verfolgen.

Szombathely,

³¹ W. MODRIAN: Frauenberg bei Leibnitz, Leibnitz 1955.

L'INFLUENCE DES REPRÉSENTATIONS DU CULTE DE CYBÈLE ET D'ATTIS SUR L'ICONOGRAPHIE PALÉOCHRÉTIENNE

Les recherches sur l'iconographie de l'art chrétien prouvent de plus en plus nettement la multiplicité des méthodes par lesquelles les chrétiens des premiers âges ont mis à contribution les types de représentation des monuments des religions de mystères antiques, pour exprimer la nouvelle conception du monde. Cette brève conférence voudrait apporter une nouvelle contribution à l'appui de cette thèse.

C'est M. Giuseppe Bovini qui s'est occupé à fond d'un porte-reliquies en marbre conservé au Museo Arcivescovile de Ravenne,¹ datant selon M. G. Francovich des années 440—450.²

Sur les quatre côtés de ce monument figurent la Traditio legis, Daniel parmi les lions, l'adoration des Mages, puis les scènes des Dames pieuses sur la tombe de Jésus, et celles de l'Ascension. Parmi ces reliefs, c'est la représentation de Daniel qui mérite en particulier notre attention au point de vue de l'iconographie et de l'histoire des religions. C'est en effet le premier type de représentation où le prophète Habacuc apporte de la nourriture à Daniel qui se trouve parmi les lions.³ C'est de la manière suivante que le statuaire a réalisé ce type de représentation avec un sens caractéristique de sotériologie, qui est le symbole de la résurrection définitive d'une mort éternelle:

Daniel, coiffé d'un bonnet phrygien et habillé d'un manteau et d'un *anaxyron* est debout entre les deux lions; à droite du relief, sur un rocher en forme de trapèze se trouve Habacuc «*capite velato*», présentant à Daniel de la nourriture sur un plat ovale (p. 468. fig. 1).

Contrairement aux monuments de la cité de Rome, sur lesquels il est représenté comme un athlète et sans vêtements, Daniel porte ici des habits

¹ G. BOVINI: I principali monumenti paleocristiani del Museo Arcivescovile di Ravenna, XI. Corso di cultura sull' arte ravennate e bizantina, Ravenna, 1964, p. 53. sqq. (avec les publications précédentes).

² G. DE FRANCOVICH: Studi sulla scultura ravennate, I. I sarcofagi, Felix Ravenna, 1958, fasc. 26—27. p. (LXXVII) p. 62. sqq.

³ NEUSS: Ikonographische Studien, Zeitschr. f. christ. Kunst, XXVII, 1915, 109. sqq.; H. LECLERCQ: DACI. s. v. Daniel, IV. 221. sqq., figg. 3580—3592.

phrygiens, comme en général sur les monuments de caractère oriental de la chrétienté primitive, ainsi p. ex. sur deux sarcophages de Ravenne.

Mais le personnage de Habacuc est tout à fait particulier. C'est qu'il est représenté couvert d'un voile, — par contre, sur les monuments plus tardifs de la chrétienté primitive, ainsi sur les reliefs de Florence de Trière et de Moggio, il est représenté sans voile, et accompagné d'un ange.⁴ Ce type de représentation de la figure de Habacuc est tout à fait particulier dans l'art des chrétiens des premiers âges, et l'on ne peut en trouver l'origine qu'en insérant cette composition d'un caractère oriental dans la typologie de l'art des provinces orientales de l'Empire romain.



Fig. 1

Les relations de Ravenne avec l'Orient remontent aux débuts de l'Empire romain. Selon les traditions, c'est d'Antioche que l'apôtre même du christianisme de Ravenne, Apollinaire, canonisé plus tard, serait venu dans cette ville de l'Adriatique au temps des apôtres. L'on sait que depuis Auguste c'était la base navale la plus importante de la flotte de l'Adriatique, munie d'un équipage d'origine surtout orientale. Selon le témoignage des inscriptions, ce n'étaient pas seulement les marins qui étaient de provenance orientale, mais les milieux dirigeants et la plupart des habitants même de la ville étaient des Orientaux.⁵

Sur de nombreuses stèles figurent des inscriptions désignant l'origine orientale du défunt, comme par exemple: Aegyptius, Alexandrinus, Aradeus, Bithynius, Nicomedius, Parthus, Seleucus, Syrus, etc., — même si l'on ne tient

⁴ K. WESSEL: Studien zur oströmischen Elfenbeinskulptur, Wiss. Zeitschr. d. Univ. Greifswald, III, 1953/54, p. 11. sqq.; W. F. VOLBACH—M. HIRMER: Arte Paleocristiana, Firenze, 1958, pl. 236 (en haute), p. 108 (de Moggio).

⁵ G. BOVINI: Le origini di Ravenna e lo sviluppo della civiltà in età romana, Felix Ravenna, LXX, 1956, p. 38. sqq., *ibidem* LXXII, 1956, p. 27. sqq.

pas compte des noms tels que Ptolemeus, Sarapammon, Herodes, etc.⁶ Par suite de l'iconoclastie du christianisme, il y a très peu d'inscriptions votives qui nous soient parvenues de l'époque païenne de Ravenne; cependant nous savons que l'une d'elles avait été dressée par un augure d'origine syrienne en l'honneur de Jupiter Optimus Maximus Dolichenus Conservator.⁷

Malheureusement on connaît très peu d'inscriptions sépulcrales de l'époque chrétienne, dont on pourrait présumer la composition ethnique de la population de Ravenne, mais dans ses milieux dirigeants on peut relever aux cinquième et sixième siècles des noms comme Néon, Anastasius, Isidorus, Sergius, — fait qui nous révèle l'influence byzantine et l'importance politique de la ville à cette époque.⁸ L'influence orientale qui se révèle si fréquemment dans les arts industriels locaux et dans la sculpture sur pierres, est aussi une conséquence du brassage des peuples et des relations de Ravenne avec le commerce de l'Orient.

À la lumière des faits que nous venons d'examiner, passons en revue les antécédents iconographiques et iconologiques de la composition Daniel — Habacuc, qui se trouve sur un porte-reliques de Ravenne. Dans les recherches précédentes, le jeune homme habillé à l'orientale, portant un bonnet phrygien et un vêtement ceinturé à la taille, avait déjà été comparé au point de vue formel, iconographique, aux représentations mithraïques. La parenté iconographique de la représentation en question avec les types d'images des religions de mystères hellénistiques-romaines de l'Asie Mineure est incontestable. Cependant, à mon avis, cette parenté remonte moins aux représentations mithraïques qu'à celles d'Attis.

Attis, l'amant de la Grande Déesse Cybèle à la destinée tragique, fait son apparition sur des représentations diverses entouré de lions, dans un vêtement pareil à celui des représentations de Daniel à Ravenne. Sur le plat d'argent provenant de Parabiago et datant de l'Antiquité tardive, (Milan, Museo Archeologico) et sur les contorniates, il est assis près de Cybèle sur un quadrige à lions. Sur le relief conservé à la Villa Albani, il est debout en face du char aux lions.⁹ D'autre part, sur le fragment d'un relief qui est conservé au Musée des Beaux-Arts à Budapest, il traîne à la longe les lions du char de Cybèle.¹⁰ Dans l'art funéraire des provinces rhénanes et danubiennes nombreuses sont les représentations où sa figure est accompagnée de lions; comme par ex. sur les monuments funéraires à Andrenach (p. 471. fig. 3) et Kreuznach; alors que sur le

⁶ Cf. G. C. SUSINI: Indicazioni dell'epigrafia per la storia romana di Classe, Studi storici, topografici ed archeologici sul «Portus Augusti» e sul territorio classicano, Faenza, 1961, p. 55. sqq.

⁷ CIL XI 2.

⁸ Voir la bibliographie in IX Corso di Cult. Rav. e Biz. Ravenna, 1962, I. 14. sqq.

⁹ F. CUMONT: RE, s. v. Attis, I, col. 2250 sq.; A. BRELICH: EdAA, s. v. Attis O. p. 908; à l'iconographie de Cybèle: RAPP: Roscher, Myth. Lex. s. v. Cybele, II. col. 1644. sqq., — B. M. FELLETTI-MAI: EdAC, s. v. Cibeles, II. p. 572. sqq.

¹⁰ A. HEKLER: Die Sammlung antiker Skulpturen, 1929, p. 138, fig. 129.

fragment d'un édicule tombal de Solymár (près de Buda, encore inédit), nous voyons la tête d'Attis coiffée d'un bonnet phrygien entre deux lions. Ces monuments sépulcraux rappellent aussi le rôle mortel et funeste des lions dans la vie d'Attis. L'empereur Julien y fait également allusion dans son V^{ème} sermon *Εἰς τὴν Μήτηρα τῶν Θεῶν* en nous faisant part de ce qui suit:

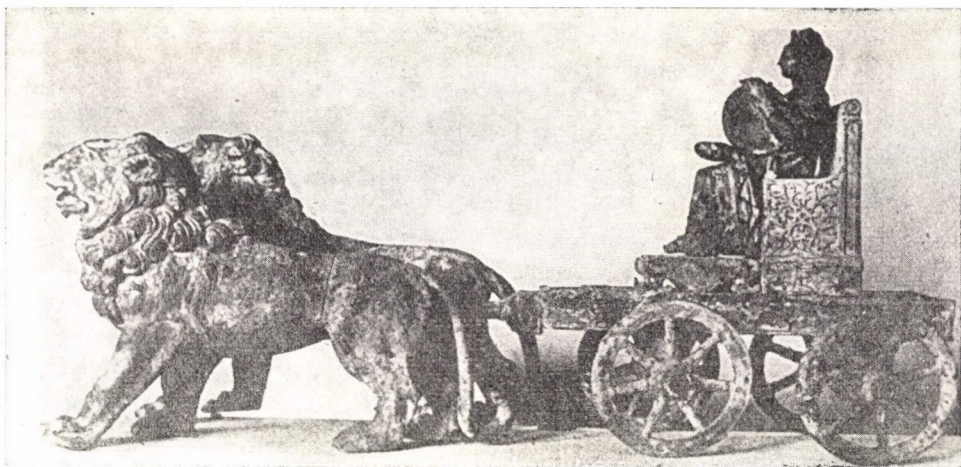


Fig. 2

Quand Attis, violant son serment fait à Cybèle, enlaça la nymphe dans la grotte, ce fut l'un des corybantes qui révéla son crime à la déesse: *τίς δὲ ὁ λέων; αἰθῶνα δῆπουθεν ἀκούομεν αὐτόν, αἰτίαν τοίνυν τὴν προεστῶσαν τοῦ θερμοῦ καὶ πυρώδους, ἣ πολεμήσειεν ἔμελλε τῇ νύμφῃ καὶ ξελοτυπήσειεν αὐτὴν τῆς πρὸς τὸν Ἄττιν κοινωνίας. εὖρηναὶ δὲ ἡμῖν τίς ἡ νύμφη. τῇ δημιουργικῇ προμηθεΐα τῶν ὄντων ὑποεργῆσαι φησι, δηλαδὴ τῇ Μητρὶ τῶν Θεῶν* (167 B¹¹ c).

Cependant nos sources rappellent aussi qu'après la mutilation volontaire d'Attis, il fut libéré par Cybèle, qui eut pitié de lui et l'éleva au rang de demi-dieu, en le faisant escorter par les lions (Cf. Jul., or. V. 180 A, 168 A.).

C'est ainsi qu'Attis devient le symbole de la libération de la mort ainsi que celui de la résurrection et de la palingénésie, comme par exemple Sextilius Agesilaus Aedesius en l'année 376 à Rome, après avoir fait une offrande à la Magna Mater et à Attis, se déclare *in aeternum renatus*. (CIL VI. 510: Dessau ILS 4152) Et François Cumont même fait remarquer «la résurrection de ce dieu de la végétation, dont le sort était le prototype et le garant de leur propre destin; car de même que le pâtre de l'Ida avait péri et était revenu à une existence nouvelle, eux aussi (c'est à dire les fidèles), devaient être sauvés et jouir après leur décès d'une vie bienheureuse.»¹²

¹¹ La littérature classique concernant Attis: H. HEPDING: Attis seine Mythen und sein Kult, RGTV, I, 1903, p. 5. sqq.

¹² F. CUMONT: Recherches sur le symbolisme funéraire chez les Romains, Paris, 1954, p. 491.

Et c'est pour cette raison — étant donné que la jeunesse de Carthage faisait encore des offrandes à la Mater Bercynthia et à Attis à cette époque — que saint Augustin dans son *De Civitate Dei* (II. 4.) avertit les Chrétiens de



Fig. 3

ne pas croire — en état d'ivresse — qu'Attis même est chrétien: «*Et ipse Pileatus Christianus est.*» (In Ioann. evang. tract. VII. 1, 6.)

Nous venons d'affirmer que sur le porte-reliques de Ravenne, la figure de Habacuc tenant dans ses mains le plat, revêt des traits d'un caractère féminin. Il est vrai que sur le pyxis d'ivoire de Florence, auprès de Daniel faisant ses prières sous un baldaquin, parmi les lions qui lui montrent les dents,

on voit aussi le prophète Habacuc faisant son apparition sur l'intercession d'un ange; c'est aussi une figure d'une aspect un peu féminin.

Par contre, sur le relief plus ancien de Ravenne, Habacuc a une allure plus majestueuse. Ce n'est pas par terre qu'il offre le plat chargé de pain, mais il est placé sur un rocher en forme de trône. On peut voir d'en haut le plat que la figure représentée de profil tient dans la main. Il est frappant d'observer de quelle façon tout ce type de représentation rappelle la figure de Cybèle assise sur un trône de char, et particulièrement le char en bronze portant le trône de Cybèle qui est conservé au Musée Metropolitain de New York. Cette déesse vue de profil sur le trône tient à la main le tympan, et le char est tiré par deux lions (p. 470. fig. 2).

C'est Firmicus Maternus, le néoplatonicien païen devenu chrétien à l'époque de Constantin, qui nous éclaire sur les rapports iconologiques entre la représentation de Habacuc tenant le plat avec la nourriture, et celle de Cybèle tenant le tympan. Les mots suivants de cet auteur, qui entre en polémie avec les fidèles de Magna Mater, sont d'un certain intérêt pour nous: . . . *in quodam templo, ut interioribus partibus homo moriturus possit admitti, dicit: de tympano manducavi de cymbalo bibi, et religionis secreta perdidici, quod Graeco sermone dicitur, ἐκ τυμπάνου βέβρωκα, ἐκ κυμβάλου πέπωκα, γέγονα μύστης Ἀττεως*.

Finalement, il ressort de l'analyse que nous venons de faire sur le porte-reliques en question de Ravenne, que ce type de représentation est influencé au point de vue iconologique, aussi bien qu'au point de vue iconographique, par le culte de Cybèle-Attis. Par là, nous avons apporté une nouvelle contribution aux rapports de l'iconographie chrétienne avec les religions des mystères antiques.¹³

Debrecen.

¹³ Attis et le christianisme: A. B. COOK: Zeus, Cambridge, II, 1925, p. 303. sqq. — H. STRATHMANN: RfAuC, s. v. Attis, 6, col. 897. sqq., — A. MOORTGAT: Tammuz, Berlin, 1949, p. 147. sq.

INDEX

<i>И. М. Тронский</i> : Лингвистическое изучение древнегреческого языка в России (до 1917 г.)	1
<i>E. Ferenczy</i> : The Censorship of Appius Claudius Caecus	27
<i>З. А. Покровская</i> : Философская терминология Лукреция и Эпикура	63
<i>B. Gerov</i> : Epigraphische Beiträge zur Geschichte des mösischen Limes in vor-claudischer Zeit	85
<i>L. Castiglione</i> : Kunst und Gesellschaft im römischen Ägypten	107
<i>E. Maróti</i> : Zum römerzeitlichen Weiterleben des Theognis	777
<i>T. Nagy</i> : Reoccupation of Pannonia from the Huns in 427	159
<i>Gy. Székely</i> : L'Italie du Sud et Byzance aux X ^e —XI ^e siècles	187
<i>I. Trencsényi-Waldapfel</i> : Antiquité et réalité contemporaine dans les Colloques d'Erasmе	205
Zum Illyrischen. (A. Mayer: Die Sprache der alten Illyrier. I—II. Rec. <i>J. Harmatta</i>)	
Язык и стиль античных писателей. (Rec. <i>I. Trencsényi-Waldapfel</i>)	235
<i>С. Л. Утченко</i> : Кризис и падение Римской республики. (Рец. <i>И. Хан</i>)	240
<i>И. Ф. Фихман</i> : Египет на рубеже двух эпох. (Рец. <i>И. Хан</i>)	242

VORTRÄGE GEHALTEN AM KONGRESS FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (1—6 NOVEMBER 1965)

I. TEIL

<i>Ю. Б. Юсифов</i> : Общие черты наследования в гражданской и правящей семьях Элама	247
<i>I. Tegyei</i> : Die Organisation des pylischen Staates	255
<i>J. Bouzek</i> : Balkanische Elemente im spätmykenischen und geometrischen Griechenland	261
<i>В. И. Авдиев</i> : Международные связи Пунического Карфагена	263
<i>P. Oliva</i> : Das lykurgische Problem	273
<i>V. Zinserling</i> : Die Anfänge griechischer Porträtkunst als gesellschaftliches Problem	283
<i>F. Schachermeyr</i> : Die griechische Polis zur Zeit der frühen Klassik (510 bis 460)	297
<i>E. Ch. Welskopf</i> : Können wir den Peloponnesischen Krieg als eine Einheit betrachten?	303
<i>G. Bockisch</i> : Die Harmostie Herakleia Trachis	311
<i>E. Maróti</i> : Bewusstheit und ideologische Faktoren in den Sklavenbewegungen	319
<i>G. Zinserling</i> : Der Augustus von Prima porta als offizielles Denkmal	327
<i>K. Wachtel</i> : Sklaven und Freigelassene in der staatlichen Finanzverwaltung des römischen Kaiserreiches	341
<i>H.-J. Diesner</i> : Mobilität und Differenzierung des Grundbesitzes im nordafrikanischen Vandalenreich	347
<i>H. Köpstein</i> : Zur Sklaverei in byzantinischer Zeit	359

II. TEIL

<i>J. Kákósy</i> : Zur Vorgeschichte der Errichtung des thebanischen Gottesstaates	369
<i>I. Becher</i> : Der heilige Ibisvogel der Ägypter in der Antike	377
<i>M. Riemschneider</i> : Iranische Elemente in der urartäischen Kultur und Religion	387

<i>М. Чиковани</i> : К проблеме взаимосвязи греческого мифа о Прометее и колхидо-иберийского сказания о прикованном к Кавказскому хребту Амирани	403
<i>L. Castiglione</i> : Die Diskobolia — ein Agrarritus?	409
<i>М. D. Petruševski</i> : L'évolution du Mars italique d'une divinité de la nature à un dieu de la guerre	417
<i>Г. А. Пугаченкова</i> : Дионисийская тема в античном искусстве Средней Азии	423
<i>L. Varcl</i> : Zur Problematik der Forschung über den Gnostizismus	429
<i>R. Dostálová</i> : Das Bild Indiens in den Dionysiaka des Nonnos von Panopolis	437
<i>V. Wessetzky</i> : Zur Wertung des ägyptischen Totenkultes in Pannonien	451
<i>T. Szentlőleky</i> : Architektonische Herausbildung und Entwicklung der Iseen in Ägypten, ihre Auswirkungen in Pannonien	457
<i>Z. Kádár</i> : L'influence des représentations du culte de Cybèle et d'Attis sur l'iconographie paléochrétienne	467

LISTY FILOLOGICKÉ

(Philologische Blätter)

Listy filologické erscheinen im Verlag Academia (Verlagshaus der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften) viermal jährlich im Umfang von 448 S. jährlich. Im J. 1967 erscheint bereits der neunzigste Jahrgang. Die Zeitschrift enthält Beiträge aus dem Gebiet der klassischen Philologie und Archäologie, der lateinischen mediävistischen Philologie und aus dem Gebiet der älteren böhmischen Literatur und Philologie. Die Beiträge werden in der deutschen, englischen, französischen, lateinischen, russischen oder tschechischen Sprache veröffentlicht. Den tschechischen Artikeln ist ein fremdsprachliches Résumé beigelegt.

Der Preis des Jahrganges ist US \$ 16 oder £ Stg. 5,14,0.

*Bestellungen sind an Poštovní novinový úřad — vývoj tisku,
Štěpánská 27, Praha 1, zu leiten.*

1967 erscheint der 13. Band

Das Altertum

Im Auftrage der Sektion für Altertumswissenschaft bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin herausgegeben von Prof. Dr. Johannes Irmscher

Die Sektion für Altertumswissenschaft bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin stellt sich mit dieser Zeitschrift die Aufgabe, Erkenntnisse über die alten Kulturen um das Mittelmeer zu verbreiten. Dabei werden die griechisch-römische Antike und der Vordere Orient gleichermaßen berücksichtigt.

„Das Altertum“ wendet sich an alle, die sich für die antiken Kulturen interessieren und an den Ergebnissen der Altertumsforschung Anteil nehmen, an den Fachgelehrten, Lehrer, Studenten und an die zahlreichen Freunde des Altertums in anderen Berufen.

Die Zeitschrift behandelt die gegenwärtigen Probleme der Altertumswissenschaft und bietet die Lösungsversuche, an denen die Forschung heute arbeitet.

Erscheinungsweise viermal jährlich — Je Heft 64 Seiten im Format 16,7x24 cm mit Abbildungen — Bezugspreis je Heft MDN 4,—

Interessenten im Ausland erfahren den Bezugspreis in ihrer Landenswährung durch ihren Buch- bzw. Zeitschriftenhändler.



Bestellungen durch eine Buchhandlung erbeten

AKADEMIE-VERLAG · BERLIN

DDR, 108 Berlin, Leipziger Str. 3-4

Anthologie der Literatur der griechischen Widerstandsbewegung von 1941 bis 1944

Band I: Prosa

(In griechischer Sprache)

Herausgegeben von Elli Alexiu

(Berliner Byzantinistische Arbeiten, Band 32)

1965. XIV, 418 Seiten — 1 Abbildung auf 1 Tafel — gr.8° — MDN 58,—

Eine repräsentative Auswahl der literarisch besten Erzählungen bedeutender griechischer Autoren bietet in der Originalsprache die von der namhaften griechischen Schriftstellerin Elli Alexiu besorgte Anthologie. Es handelt sich bei dieser Ausgabe um ein für die neugriechische Literaturgeschichtsforschung einzigartiges wertvolles Dokument, das zum großen Teil verstreute und schwer zugängliche Prosawerke jener von einem gemeinsamen Ziel gekennzeichneten Epoche der neugriechischen Literatur enthält. Jeder in der Anthologie aufgenommene Autor ist durch eine Kurzbiographie charakterisiert.

Griesgram oder die Geschichte vom Topf

Querolus sive Aulularia

Lateinisch und deutsch vom Willi Emrich

(Schriften und Quellen der Alten Welt, Band 17)

1965. VI, 194 Seiten — 9 Abbildungen, dav. 8 auf 4 Tafeln — gr.8° — Leinen
MDN 19,40

„Querolus sive Aulularia“ ist die einzige vollständige erhaltene originalrömische Komödie aus der Spätantike. Sie verdient nicht nur als Zeugnis gallischen Humors und römischer Sprachzucht Beachtung, sondern auch als geschichtliche Quelle eines bewegten Zeitalters. Zum ersten Male wird diese im Mittelalter für plautinisch gehaltene und viel gelesene gefällige Diebeskomödie in deutscher Sprache vorgelegt.

Bestellungen durch eine Buchhandlung erbeten



A K A D E M I E - V E R L A G . B E R L I N

DDR 108 Berlin, Leipziger Str. 3—4

Printed in Hungary

A kiadásért felel az Akadémia Kiadó igazgatója

Műszaki szerkesztő: Farkas Sándor

A kézirat nyomdába érkezett: 1967. VIII. 22. — Terjedelem: 41,75 (A/5) ív, 45 ábra

67.64286 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György

The *Acta Antiqua* publish papers on classical philology in English, German, French, Russian and Latin.

The *Acta Antiqua* appear in parts of varying size, making up volumes.

Manuscripts should be addressed to:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24.

Correspondence with the editors or publishers should be sent to the same address.

The rate of subscription to the *Acta Antiqua* is 165 forints a volume. Orders may be placed with "Kultúra" Foreign Trade Company for Books and Newspapers (Budapest I., Fő utca 32. Account N° 43-790-057-181) or with representatives abroad.

Les *Acta Antiqua* paraissent en français, allemand, anglais, russe et latin et publient des travaux du domaine de la philologie classique.

Les *Acta Antiqua* sont publiés sous forme de fascicules qui seront réunis en volumes.

On est prié d'envoyer les manuscrits destinés à la rédaction à l'adresse suivante:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24.

Toute correspondance doit être envoyée à cette même adresse.

Le prix de l'abonnement est de 165 forints par volume.

On peut s'abonner à l'Entreprise pour le Commerce Extérieur de Livres et Journaux «Kultúra» (Budapest I., Fő utca 32. Compte-courant No 43-790-057-181) ou à l'étranger chez tous les représentants ou dépositaires.

«*Acta Antiqua*» публикуют трактаты из области классической филологии на русском, немецком, французском, английском и латинском языках.

«*Acta Antiqua*» выходят отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том.

Предназначенные для публикации рукописи следует направлять по адресу:

Acta Antiqua, Budapest 502, Postafiók 24.

По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и администрации.

Подписная цена «*Acta Antiqua*» — 165 форинтов за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет «Kultúra» (Budapest I., Fő utca 32 Текущий счет № 43-790-057-181), или его заграничные представительства и уполномоченные.

Reviews of the Hungarian Academy of Sciences are obtainable
at the following addresses:

ALBANIA

Nderrmarja Shtetnore e Botimeve
Tirana

AUSTRALIA

A. Keesing
Box 4886, GPO
Sydney

AUSTRIA

Globus Buchvertrieb
Salzgries 16
Wien I

BELGIUM

Office International de Librairie
30, Avenue Marnix
Bruxelles 5
Du Monde Entier
5, Place St. Jean
Bruxelles

BULGARIA

Raznoiznos
1, Tzar Assen
Sofia

CANADA

Pannonia Books
2, Spadina Road.
Toronto 4, Ont.

CHINA

Waiwen Shudian
Peking
P. O. B. 88

CZECHOSLOVAKIA

Artia
Ve Smečkách 30
Praha 2
Poštova Novinova Služba
Dovoz Tisku
Vinohradská 46
Praha 2
Maďarská Kultura
Václavské nám. 2
Praha I
Poštova Novinova Služba
Drvoz Tlacc
Leningradská 14
Bratislava

DENMARK

Ejnar Munksgaard
Nørregade 6
Copenhagen

FINLAND

Akateeminen Kirjakauppa
Keskuskatu 2
Helsinki

FRANCE

Office International de Documentation
et Librairie
48, rue Gay Lussac
Paris 5

GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

Deutscher Buch-Export und Import
Leninstraße 16
Leipzig 701
Zeitungsvertriebsamt
Clara Zetkin Straße 62
Berlin N. W.

GERMAN FEDERAL REPUBLIC

Kunst und Wissen
Erich Bieber
Postfach 46
7 Stuttgart S.

GREAT BRITAIN

Collet's Holdings Ltd.
Dennington Estate
London Rd.
Wellingborough, Northants
Robert Maxwell and Co. Ltd.
Waynflete Bldg. The Plain
Oxford

HOLLAND

Swetz and Zeitlinger
Keizersgracht 471—487
Amsterdam C
Martinus Nijhof
Lange Voorhout 9
The Hague

INDIA

Current Technical Literature
Co. Private Ltd.
India House OPP
GPO Post Box 1374
Bombay I

ITALY

Santo Vanasia
Via M. Macchi 71
Milano
Libreria Commissionaria Sansoni
Via La Marmora 45
Firenze

JAPAN

Nauka Ltd.
92, Ikebukuro O-Higashi 1-chōme
Toshima-ku
Tokyo
Maruzen and Co. Ltd.
P. O. Box 605
Tokyo-Central
Far Eastern Booksellers
Kanda P. O. Box 72
Tokyo

KOREA

Chulpanmul
Phenjan

NORWAY

Johan Grundt Tanum
Karl Johansgatan 43
Oslo

POLAND

RUCH
ul. Wronia 23
Warszawa

ROUMANIA

Carltime
Str. Aristide Briand 14—18
București

SOVIET UNION

Mezhdunarodnaja Kniga
Moscow G—200

SWEDEN

Almqvist and Wiksell
Gamla Brogatan 26
Stockholm

USA

Stechert Hafner Inc.
31, East 10th Street
New York, N. Y. 10003
Walter J. Johnson
111, Fifth Avenue
New York, N. Y. 10003

VIETNAM

Xunhasaba
19, Tran Quoc Toan
Hanoi

YUGOSLAVIA

Forum
Vojvode Mišića broj 1
Novi Sad
Jugoslovenska Knjiga
Terazije 27
Beograd